И.А.Бунин. ПУБЛИЦИСТИКА 1918–1953 гг.

И.А.Бунин

ПУБЛИЦИСТИКА 1918–1953 годов

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А.М.ГОРЬКОГО

И.А.Бунин

ПУБЛИЦИСТИКА 1918–1953 годов

Под общей редакцией
О.Н.Михайлова

Москва
"Наследие"
1998

ББК 83.3

Вступительная статья
О.Н.Михайлова

Комментарии
С.Н.Морозова
Д.Д.Николаева
Е.М.Трубиловой

Рецензенты
А.Н.Николюкин
А.И.Чагин

Бунин И.А. Публицистика 1918—1953 годов / Под общ. ред. О.Н.Михайлова; Вступ. ст. О.Н.Михайлова; Коммент. С.Н.Морозова, Д.Д.Николаева, Е.М.Трубиловой.— М.: Наследие, 1998.— 640 с.

Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И.А.Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И.А.Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И.Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
№ проекта 97-04-16065

© Институт мировой литературы им. А.М.Горького, 1998
© Наследие, 1998

ISBN 5-201-1326-6

СТРАСТНОЕ СЛОВО

Публицистика Бунина — органическая часть его художественного творчества.

Говоря это, хочу подчеркнуть слово "художественного". Для Бунина-художника необыкновенно велика роль эмоционального, страстного и даже пристрастного начала. Современники, однако, долгое время воспринимали его как парнасца, холодно копящего свои наблюдения, как летописца Руси, равнодушно внимающего добру и злу. Эта книга — лучшее опровержение такого расхожего мнения.

Из эмигрантской публицистики Бунина выросло многое, позднейшее: ряд его рассказов; "Воспоминания", вышедшие в Париже в 1950 году; неоконченная книга "О Чехове" и даже "Освобождение Толстого". Хотя другие, также многочисленные очерки, статьи, заметки, интервью, особенно одесского периода 1918–1919 гг., а также парижской поры 1920–1922 гг. ближе всего книге "Окаянные дни", которая не включена в данный том, так как несколько раз публиковалась в последние годы в России.

В этих полемических, гражданственных и патриотических выступлениях, кажется, предельного накала Бунин выражает себя как беспрекословный и последовательный сторонник Белой идеи, Белого движения, что, пожалуй, ярче всего выражено в его программном произведении "Миссия русской эмиграции" (1924). Можно без преувеличения сказать, что в 20-е годы в эмиграции Бунин выдвигается как безусловный лидер того большинства, которое исповедовало православно-монархические идеалы.

Этому, однако, предшествовала определенная эволюция взглядов.

С истоков дней, волею судьбы, Бунин впитывал в свой жизненный состав два основных начала: дворянское, с его замечательной книжной культурой и простонародно-крестьянское с его космосом. Народовольческое вольнодумство, шедшее от старшего брата Юлия и совершенно умозрительное, лишь

коснулось его натуры, оставив язвительные характеристики этого революционного интеллигентского племени в "Жизни Арсеньева" (совершенно публицистические по существу). Таким образом, ему не нужно было "познавать народ", преодолевать тот сословный разрыв, который существовал даже и для Тургенева, бывшего для крестьян все-таки "охотником" ("Записки охотника"). Не говоря уже о либералах-интеллигентах позднейшей формации, вроде одного из "властителей дум" Скабичевского, который поразил Бунина признанием, что никогда не видел, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

В своей публицистике Бунин не раз повторяет, как общались с народом его "заступники": "Поздней ночью, едучи из гостей или с какого-нибудь заседания на стареньком, гнутом извозчике по улицам Москвы или Петербурга, позевывая спрашивает:

— Извозчик, ты смерти боишься?

И извозчик машинально отвечает дураку барину:

— Смерти? Да чего ж ее бояться. Ее бояться нечего.

— А японцев, как ты думаешь, мы одолеем?

— Как не одолеть? Надо одолеть.

— Да, брат, надо... Только вот в чем заминка-то: царица у нас немка! Да и царь — какой он, в сущности, русский?

И извозчик сдержанно поддакивает:

— Это верно. Вот у нас немец управляющий был — за всякую потраву полтинник да целковый! Прямо собака...

Вот вам и готова твердая уверенность, что "наш мужичок мудро относится к смерти", что он революционер и так далее". (См., напр., "Записную книжку", наст. изд., с. 181).

Для Бунина книжная выморочность интеллигентных воззрений на народ издавна была аксиоматична, не нуждалась ни в каких доказательствах. Другое дело, что он, начиная с самых ранних произведений ("Федосеевна", потом — "Новая дорога", "Сосны", "Мелитон", "Антоновские яблоки") и чем дальше, тем пристальнее ("Деревня", "Ночной разговор", "Игнат" и т.д.) пытался разгадать некую тайну, загадку русского народа, придя в итоге к выводу о вулканическом противоборстве в его недрах "азиатского", "скифского" и великорусского начал, "Инонии" и "Китежа", если воспользоваться образами бунинской статьи 1925 года к 50-летию со дня смерти гр. А.К.Толстого. Впрочем эти грозные выводы Бунин сделал для себя гораздо раньше, предвидя тектонические катастрофы и "реку огненную", о какой "орет" один из его героев, "выпавший" из обыденной жизни юродивый Шаша ("Я все молчу").

Потому-то и революция, а точнее, бессмысленный и беспощадный русский бунт, где разинская и пугачевская голь, "лодыри" и "босяки", а того пуще — интернациональные садисты, психопаты-матросики и всякого рода уголовная рвань, направляемая на "мировой пожар" патологическими лицами с университетским образованием, не была для Бунина (в отличие от большинства писателей — от Мережковского до Горького и Куприна) чем-то неожиданным, хотя и он не мог предвидеть аховых жестокостей и крови, какие она явит. Иных, здоровых и разумных сил в противоборствующем стане Бунин не видит: одни "бесы". Он обращается к нелюбимому Достоевскому, открывая для себя его провидения и пророчества, и неоднократно цитирует его в своих политических статьях. Впрочем, гениальный роман, кажется, сделался у Буниных настольной книгой. Вера Николаевна Муромцева-Бунина заносит в дневник: "Начала читать "Бесы". Первая глава удивительно хороша"[1]. Страстная до исступления публицистика Бунина где-то оказывается близка горячечным монологам героев Достоевского.

Слово "страстный" на Руси испокон века носило два значения, правда, с переносом ударения: "Увы мне, стра́стному!" и "Страстна́я служба". В многочисленных статьях и выступлениях Бунин обращается к Вечной Книге — Библии, находя в ней грозные символы и уподобления новому Екклезиасту, когда люди с циническим равнодушием переносят тиранию и деспотию. Воистину, публицистика Бунина — это "страсти по Иоанну". Его Патмосом становится Франция; его Апокалипсисом — "Окаянные дни".

Впрочем, изгнание для Бунина началось вовсе не 26 января 1920 года, когда он покинул Одессу на французском пароходе, а в Орше 26 мая 1918 года, ставшей, увы, границей между двумя "независимыми государствами" РСФСР и Украиной. Этот несчастный город, бывший до XIII века владением Мономаховичей, а затем переходивший под власть Литвы и Польши, только в XVIII столетии вернулся к России и вновь был отторгнут от нее по позорному Брестскому миру. Здесь, в Орше, Бунин плакал, "оставив за собой развалины России" ("Страшные контрасты"). Отсюда начался его крестный путь через Одессу, Константинополь, Софию в Париж, чтобы в конце концов упокоиться в чужой, французской земле.

Бунин чувствовал в себе все более крепнущую убежденность бороться с большевиками не только словом, но и делом. В марте 1919 года, когда Добровольческая армия терпела поражения и банды атамана Григорьева (впоследствии убитого своим

подельником батькой Махно) готовились войти в Одессу, говорил Вере Николаевне:

"Мои предки Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен быть писателем, а должен принимать участие в правительстве".

"Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, — продолжает Вера Николаевна, — и я вдруг увидела, что он похож на боярина.

— Я все больше и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольческую и вступить в правительство. Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пытка, ты и представить не можешь, как я страдаю..."[2].

Это признание проливает свет на многое. И неудивительно, что в августе 1920 года П.Б.Струве, от имени правительства Вооруженных сил Юга России, пригласил Бунина в белый Крым: "Переговорив с А.В.Кривошеиным, мы решили, что такая сила, как Вы гораздо нужнее сейчас здесь у нас на Юге, чем заграницей. Поэтому я послал Вам телеграмму о Вашем вызове. Пишу спешно"[3]. Однако последний в России белый анклав был к тому времени обречен и должен был пасть. 15 ноября 1920 года Вера Николаевна занесла в дневник: "Армия Врангеля разбита. Чувство, похожее на то, когда теряешь близкого человека"[4].

Таким образом, с первых дней горестной эмигрантской жизни Бунин занимает крайне правые позиции, выступая со статьями, резкость тональности которых выделяет их даже и в "белой библиотеке". Он восхищается вождями "русской Вандеи" — Л.Г.Корниловым, А.И.Деникиным (с которым познакомился еще в Одессе — "очень изящный человек с голым черепом, легко и свободно ходит. Глаза бархатные под густыми ресницами, усы черные, бородка седая. Улыбка удивительно хорошая. Прост в обращении"[5]), А.В.Колчаком ("Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской Земли" — статья 1921 года "Его вечной памяти"), П.Н.Врангелем. Их имена неотрывны для него от утраченной России. 1(14) апреля 1921 года заносит в дневник: "Вчера панихида по Корнилове. Как всегда, ужасно волновали молитвы, пение, плакал о России"[6]; через год: "Панихида по Колчаке. Служил Евлогий. Лиловая мантия, на ней белые с красными полосы. При пении я все время плакал. Связывалось со своим — с Юлием и почему-то

с Ефремовым, солнечным утром каким-то, с жизнью нашей семьи, которой конец"[7].

В своих взглядах Бунин бескомпромиссен, выражая мнение большинства, однако трибуну ему найти, как это ни парадоксально, не так-то легко. Впрочем, парадокс этот просто объясним.

Почти вся русская эмигрантская печать с 20-х годов оказалась в руках представителей левых партий, партий меньшинства, преимущественно эсеров, имевших богатый опыт пропагандистской работы и, можно сказать, не просто ушедших в изгнание, но зачастую как бы возвратившихся на свои прежние явки, обладая к тому же значительными капиталами. "Они были богатые люди, — вспоминал много позднее Роман Гуль, — Цетлины, Гавронские, Фондаминские, Гоцы, это все — чайная фирма "Высоцкий и сыновья", причем отцы делали миллионы, а сыновья — революцию. Все были эсерами"[8]. Они, в своем большинстве "учились в Москве <...>, потом уехали в университет в Германию. Вернулись к 1905 г<оду> уже соц<иал> — револ<юционерами> потом тюрьма, ссылка, эмиграция. Все видели, кроме слона, т.е. народа", — записала В.Н.Муромцева-Бунина[9]. При этом эсеры (и левые кадеты) хорошо знали, как создавать политические структуры и проводить через печать свои партийные взгляды. Им принадлежали газеты "Общее дело" В.Л.Бурцева, "Последние новости" П.Н.Милюкова, "Дни" А.Ф.Керенского, превратившаяся с 1922 года из ежедневной газеты в журнал "Воля России" Е.Е.Лазарева и даже "главный" общественно-политический и литературный журнал русского Зарубежья, однопартийно-эсеровский по составу редакции "Современные записки". Это меньшинство идейно сражалось сразу на два фронта: против коммунистического руководства Москвы и против угрозы "справа". Время от времени от этого меньшинства откалывались те, кто прямо "шел в Каноссу" и требовал (хотя бы из тактических соображений) примирения с большевиками в надежде на их перерождение. По убеждению Бунина, это была как раз та либеральная интеллигенция, которая, раскачивая в России монархию требованиями "свобод", подготовила почву для большевистского переворота. Только в 1925 году эмиграция получила периодическое издание, выражавшее интересы ее монархического большинства — газету "Возрождение" (Париж), во главе которой встал П.Б.Струве и на страницах которой Бунин регулярно выступал в пору его редакторства.

Отвергая большевистскую диктатуру как "великий дурман", царство дьявола, Бунин (о чем уже говорилось) ничего не прощал и тем либералам, которые "подняли крик о "реакции" на смех курам, в первые же мартовские дни 1917 года и накричали реакцию такую, какой еще не бывало" (статья 1922 года "Итоги"). В свой черед, его выступления вызывали ответную волну, можно сказать, либерального террора.

Когда 16 февраля 1924 года Бунин выступил на собрании "Миссия русской эмиграции" с одноименной речью, затем опубликованной в газете "Руль", на него и на других участников обрушилась едва ли не вся "левая" периодика и прежде всего "Последние новости". После передовой от 20 февраля "Вечер страшных слов" (написанной, очевидно, самим Милюковым), последовали статьи "Вечер самооправданий и демагогии", "Голоса из гроба", "Новый Апокалипсис", "Бессильные потуги", авторы которых порой опускались до беспардонной грубости. Недаром даже сотрудники кадетской газеты "Руль" отмечали, что выступления против "правых" в "Последних новостях" велись с бóльшим раздражением, чем даже против Ленина и большевиков. По крайней мере эти отклики шли совершенно в той же тональности, что и статья в коммунистической "Правде" "Маскарад мертвецов", подписанная инициалами Н.С. (нетрудно угадать, что ее автором был молодой критик Н.П.Смирнов, занимавшийся литературой русской эмиграции и впоследствии репрессированный как троцкист).

Однако на родине Бунина воспринимали не просто как творца "мертвой красоты и живучего безобразия" (формулировка критика-перевальца Д.А.Горбова), но прежде всего как активного политического противника. Неприятие было, как мы знаем, взаимным и принимало у Бунина, — при его темпераменте художника-публициста — самые резкие формы: "Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить семь заповедей Ленина <...> Боже, и вот к этому самому дикарю должен я идти на поклон и служение?" ("Миссия русской эмиграции").

В этом политическом (и человеческом) контексте совершенной фальшивкой выглядит недавно опубликованное в периодике "послание", якобы обращенное в том же самом 1924 году к советской власти, то есть, по Бунину, к "планетарному злодею": "я изъявляю готовность добровольно ехать в СССР и предстать перед судом. Я это делаю в уверенности, что сомне-

ний и недоверия по отношению ко мне теперь быть не может. Я прошу разрешения явиться в посольство" и т.д.[10] Тут, что ни слово, то отдает лубянской "липой", например, словцо "теперь" — уж не после ли произнесения им речи "Миссия русской эмиграции"? Правда, публикатор оговаривается: "Эпистола написана женским почерком (может быть, это Вера Николаевна Муромцева-Бунина взялась переписать сие "прошение"? — *О.М.*), да и подпись "И.Бунин не характерна для классика". И все же вывод категоричен: "Письмо писалось под диктовку Бунина <...> Так что случилось, почему Бунину не позволили вернуться в 1924 году на родину?"[11]

Быть может, не следовало бы и останавливать внимание читателя на этой явной фальшивке, если бы не печатно высказанные уверения о возможности приезда Бунина с повинной в 1924 году к "этому самому дикарю" "на поклон и служение". Вернемся к реальности. Бунин не только идейно отвергал большевизм, он даже **физически** ("Я как-то физически чувствую людей", — повторяет писатель и в "Окаянных днях", и в "Записной книжке") ощущал свою несовместимость, своего рода идиосинкразию, с коммунистическими "вождями и ведомыми".

Мучительные впечатления, вынесенные Буниным из "красной Москвы" и "красной Одессы" жгли его все 20-е годы, мешая "чистому" творчеству и порождая страстные, пристрастные и голографически живые зарисовки:

"Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы "пламенной, беззаветной любовью к человеку", "жаждой красоты, добра и справедливости"!

А его слушатели?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель в накидку, картуз на затылке. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы, — не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, животно-первобытных губах"[12].

Или вот еще:

"Закрою глаза и вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей... Во век теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!"[13]

В эту Россию Бунин возвратиться не мог. Не о том ли писал он все 20-е годы, отвергая упреки "слева", со стороны "пражских комсомольцев", в яростной полемике с "Верстами" и "Волей России", с Марком Слонимом и Д.С.Святополком-Мирским: "Из-за России-то и вся мука, вся ненависть моя. Иначе чего бы мне сидеть в Приморских Альпах, в Париже? Я бы и в земляные работы не стал играть. А просто, без всяких разговоров, махнул бы через ров в российскую "человечину" (статья 1925 года "Российская человечина").

И все, что шло из этой, новой России — прежде всего, понятно, литература, — отвергалось им, что называется, с порога. Хотя и здесь Бунин не изменял себе, оставаясь верным выношенным десятилетиями оценкам. Он и так называемый "серебряный век", который почитается многими исследователями недоступной вершиной духовности и красоты, эру символизма и иных предреволюционных течений, воспринимал как одну сплошную "Вальпургиеву ночь" (см., напр., его речь 1913 года на юбилее газеты "Русские ведомости"). Чего уж говорить о литературе советской!

Бунин "новые" течения отвергал яростно, терял порой самообладание и всякое чувство меры, когда в эмигрантских изданиях читал, скажем, перепечатки произведений советских авторов. Таково, например, его выступление 1926 года "Версты" (в связи с выходом одноименного парижского журнала; появилось всего три номера). На страницах журнала, за исключением А.Ремизова и М.Цветаевой, все было отдано писателям коммунистической метрополии (Бабель, Андрей Белый, Пастернак, Сельвинский, Артем Веселый). Бунин нашел в "Верстах" лишь "дикую кашу", "смесь сменовеховства и евразийства", превознесение до небес "новой" литературы в лице Есениных и Бабелей рядом с охаиванием "старой". Особое неприятие вызвал у него появившийся там отрывок безусловного ученика Андрея Белого по форме и большевика по содержанию своих произведений (впоследствии репрессированного) — Артема Веселого из романа "Вольница":

"Страниц двадцать какого-то сплошного лая, напечатанного с таким типографическим распутством, которое даже Ремизову никогда не снилось: на страницу хочется плюнуть — такими пирамидами, водопадами, уступами, змееподобными лентами

напечатаны на ней штуки, вроде, например, следующих: "Гра, Бра, Вра, Дра, Зра с кровью, с мясом, с шерстью..." Что это значит и кого теперь этим удивишь? <...> Кстати сказать, узнал я из этих "Верст", что "гениальный" Белый написал новый роман..." Впрочем, достается и выступающим в журнале литераторам-эмигрантам — М.Цветаевой, в поэзии которой Бунину видится тот же ненавистный "авангард", и кн. Д.Святополку-Мирскому за его нападки на ретроградов-"стариков": "А рядом с Цветаевой старается Святополк-Мирский: в десятый раз долбит, повторяет слово в слово все, что пишется о нас в Москве, наделяя нас самыми нелепыми, первыми попавшимися на язык кличками и определениями." (Оба они, и Цветаева, и Мирский, как известно, вернулись в СССР и погибли).

Статья "Версты" находится в одном ряду с другими, столь же темпераментными выступлениями на литературные темы — "Записная книжка" (1926, 1929, 1930), "Своими путями" (1926), "Заметки" (1927), "Большие пузыри" (1927), "О Волошине" (1932), "Босоножка" и др. Конечно, не одна "чистая" эстетика водила бунинским пером; но и эстетика тоже. Повторим. У Бунина с авангардизмом, заявившем о себе еще в конце XIX века, но расцветшим особенно пышно после октябрьского переворота, в качестве принципиально "нового искусства", были изначально "разные группы крови". И в своих исканиях он оставался в пределах реализма "с берегами", хотя это был и новый реализм.

Теперь, из Парижа и Приморских Альп литература "левой" эмиграции и их идеологи видятся Бунину как нечто общее. Так, в М.Слониме (который, по замечанию Глеба Струве, постоянно отдавал "предпочтение советского эмигрантскому"[14]) и кн. Д.Святополке-Мирском он находит едва ли не единомышленников советских критиков А.Воронского, Д.Горбова, В.Полонского и др. "Но не отстает от Москвы и Прага,— утверждал Бунин в "Записной книжке",— И вот опять: только что просмотрел в последней книжке "Воли России" "Литературные отклики" некоего Слонима, который счастливо сочетает в себе и заядлого эсера, и ценителя искусств, и переводчика <...> Удивительные "отклики"! Будучи якобы врагом большевиков, а на самом деле их единоутробным братом, который грызется с ним только из-за частностей, похваливая московский лай на нас, Слоним даже и Москву перещеголял: ничего подобного по лживости и пошлости я, кажется, даже в московских журналах не читал".

И в самом деле, М.Слоним в своих инвективах далеко обошел А.Воронского или Д.Горбова, сохранявших в полемике хотя бы интеллигентность тона.

"Оплевать и разнести молодых и инакомыслящих, — писал он в "Воле России", — вот чего добивается Бунин. Я не могу даже сказать, что он их ненавидит. Ненависть — слишком высокое чувство. В ненависти — трагедия. В злобе же — неведение, самомнение, чванство, зависть. Злоба — чувство низшего порядка. И именно со злобой подходит Бунин и к современной России и к ее искусству <...>

Спорить с такими уклонами мысли не приходится. Злоба всегда безнадежно мертва и тупа. И она жестоко наказывает тех, кто обращает ее в орудие борьбы. Напрасно восстает Бунин против большевиков как душителей свободы. Ему тоже чужд дух свободы и терпимости. Иной раз я со страхом представляю себе, что случилось бы с русской литературой, если бы на смену большевистским Лелевичам власть над искусством обрели бы цензоры бунинского типа и толка"[15].

Проще сказать, феномены типа Лелевича, этого "неистового ревнителя" выдуманного пролетискусства и душителя того лучшего, что было в литературе метрополии (Ахматова, Замятин, Булгаков и т.п.), оказался ближе Слониму, чем Бунин. При это он "не замечает" одного важного обстоятельства. Если Бунин оставался в пределах **оценки словом** (пусть даже самой несправедливой), то рапповская критика в 20-е годы составляла лишь часть общей подавляющей инакомыслящих машины, так что продолжением разгромной рецензии или статьи могло быть приглашение писателя в подвалы Лубянки. Размежевание было принципиальным. Недаром М.Слоним, чисто ритуально назвав Бунина "очень хорошим писателем", тотчас именует его "мертвым" (опять-таки, совмещаясь с советской критикой).

Сам Бунин не желал мириться с предлагаемой ему ролью живого трупа, кадавра. Полемизируя с Д.Горбовым, Воронским, М.Слонимом, он писал в "Возрождении": "Почему я обязан сходить в гроб ради каких-то Артемов Веселых, Пастернаков, Бабелей, Слонимов, да еще благословлять их? Я еще далеко не в Державинском возрасте, да и они далеко не Пушкины!" ("Записная книжка", наст. изд., с. 232).

Для него, чей метод сформировался в дореволюционной России, характерна безоговорочная ориентация на классику ("Инония и Китеж", "Думая о Пушкине", "К воспоминаниям о Толстом", "О Чехове", "Пушкинские торжества" и др.). Характерен в этом смысле спор при определении путей литературы Зарубежья Бунина с Г.В.Адамовичем, который в статье "О

французской "inquiétude" и русской тревоге" размышлял о путях развития русской литературы, сравнивая ее с французской, и говорил о необходимости поиска обновления, обогащения, в частности, за счет опыта французской культуры.

"В общем, в среднем французы пишут лучше нас, — утверждал Адамович, — острее, яснее, тоньше, гибче. Писательская техника их несравненно богаче, опыт разнообразнее. Французские романисты уже не прельщают ни натурализмом, ни "бытовизмом" (советское словечко), которые многим из наших писателей представляются сейчас не только средством, но и целью. В частности, они поняли, что нельзя без конца делать ставку на внешнюю изобразительность и что здесь уже в конце прошлого столетия был достигнут некий "максимум" <...> Все это французы уже поняли или чутьем почувствовали. У нас же еще многие молодые писатели тратят свои силы попусту и бьются в кругу, в котором после Толстого, собственно, делать нечего. <...> "Показать" что-либо яснее Толстого нельзя, и всякие надежды на этот счет надо оставить. Надо вообще оставить этот путь. <...> Крайне интересно в этом отношении творчество даровитейшего и убежденнейшего из "толстовцев" Бунина, особенно поздние его вещи, после "Господина из Сан-Франциско",— исключительно четкие, безошибочно выразительные по внешности и все-таки куда-то дальше рвущиеся, как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства"[16].

Бунина, конечно, не могло не задеть упоминание его имени в этом контексте, особенно в связи с пресловутой "внешней изобразительностью", а также категорическое утверждение, будто бы "традиционный", толстовский реализм, по сути, исчерпал себя, свои возможности. "Пора бросить идти по следам Толстого? — сердито спрашивал он в ответной статье "На поучение молодым писателям". — А по чьим же следам идти?" (Впрочем, сам же Бунин не мыслил свое творчество, свой метод в застывших канонах XIX века, находил в "Жизни Арсеньева" множество страниц "совершенно прустовских" и горячо отвечал критику Л.Ржевскому: "называть меня реалистом, значит <...> **не знать** меня как художника"[17]).

Обращаясь к писателям-современникам, Бунин как бы соизмеряет их мысленно с Толстым и Чеховым, следствием чего является такая высота требовательности, что даже о талантливейшем Куприне говорится в тонах сочувственно-снисходительных. Столь беспощадная бунинская взыскательность, повторим, не была позднейшим, эмигрантским приобретением, она оттачивалась одновременно с ростом художественных завоеваний Бунина в собственном творчестве. Требуя от искусст-

ва глубины жизненного содержания, естественности и простоты, он, не колеблясь, отвергает любые имена, коль скоро в их произведениях (как ему кажется) серьезная попытка осмыслить мир подменяется игрой в глубокомыслие, следованием моде, формалистическим ухищрениям.

Здоровое же начало, пусть даже скромно выраженное, в творчестве сверстников или младших современников вызывает у него добрые и задушевные оценки идет ли речь о Семене Юшкевиче, "человеке большого таланта и сердца" ("Памяти Юшкевича"), о сборнике сатирических стихов Дон-Аминадо "Наша маленькая жизнь" (одноименная рецензия), о безвременно ушедшем из жизни поэте Иване Савине или молодом прозаике Леониде Зурове.

Закономерно, что начиная с 20-х годов, когда заметно спадает накал политических страстей, в литературно-критической и мемуарной публицистике Бунина начинают преобладать позитивные тона ("Чехов", "Эртель", "Джером Джером", "Петр Александров" — о принце Петре Александровиче Ольденбургском, "Записи" — о Семеновых-Тянь-Шанских и поэтессе А.П.Буниной, "О Шаляпине" и др.). Впрочем, в других статьях по-прежнему выступает едкая, бунинская аттическая соль ("О Волошине", "Горький" и др.). Они составят затем книгу "Воспоминаний", которая воспринимается (при всей утрированности многих бунинских оценок) как высокая художественная проза. В этих очерках проявляется величайший изобразительный дар Бунина — мастера словесного портрета (а порою — талантливого шаржа, блистательной карикатуры), под пером которого оживают люди с их неповторимой индивидуальностью, особенностями характера и психологии, с их жестами, мимикой, лепкой лица, мельчайшими подробностями, ускользающими от "обычного" взгляда (в уловлении которых и заключается знаменитое "чуть-чуть" подлинного искусства, о чем сказал некогда Л.Н.Толстой).

И еще одно обстоятельство. Как и во многих его художественных произведениях, главным положительным героем и здесь выступает сам Бунин, с его мерой требовательности и высоким духовным, нравственным началом.

В пору второй мировой войны Бунин-публицист замолкает. Живя в Грассе, он отвергает все предложения печататься в прогерманских изданиях (хотя ряд писателей и в их числе И.Шмелев охотно публикуются на страницах "Парижского вестника", возглавляемого "фюрером" русской эмиграции Ю.Жеребковым[18]). Бунин во всем был **личностью**, независимой и свободной. Вспоминая те годы, автору этих строк писал о

Бунине и о себе Б.К.Зайцев: "Все мы жили тогда несладко, и меня звали немцы печататься, я отказался, и никакого "героизма" здесь не было, но оба мы выросли в воздухе свободы <...>, и никто нам не посмел бы диктовать что-то"[19]. Быть может, главную опору Бунин находит в мыслях о родине, о России. В час гитлеровского нашествия из-под пера старого писателя выходят строки: "...до чего, в самом деле, ни с чем не сравнима эта самая наша Русь!" Мысль о России придавала ему силы, и наперекор всему Бунин продолжает работать — создает книгу о любви "Темные аллеи".

В послевоенное время — и об этом говорят свидетели — Бунин был уже не тот непреклонный противник советского режима, как десять или двадцать лет ранее. Само время несло в себе необоримое начало, и многие из бывших "непримиримых" уже несколько по-иному вынуждены были оценивать произошедшее: большая история шла мимо. Это о них писала Нина Берберова, давая свое, субъективное объяснение произошедшему "сдвигу": "...так как политическая роль эмиграции, в сущности, кончена, то нечего выпячивать свое антикоммунистическое прошлое, лучше смотреть в будущее, где маячат перемены: перерождение коммунизма, заря свободы, амнистия эмигрантам. К этой группе принадлежали В.А.Маклаков, И.А.Бунин, С.К.Маковский, Г.В.Адамович и многие другие. С каждым из названных у меня был на эту тему разговор с глазу на глаз"[20].

И в самом деле, в 40-е годы мы встретим немало фактов, говорящих якобы о "полевении" Бунина. Он дал (широко цитируемое у нас) интервью полуофициозной газете "Советский патриот" и посетил посла СССР во Франции А.Е.Богомолова. После того, как руководство Союза русских писателей и журналистов в Париже исключило из своих членов всех, кто принял советское подданство, Бунин в знак солидарности с исключенными вышел из его состава. Большая часть эмиграции отнеслась ко всему этому как к отступничеству; от него отвернулись такие близкие люди как Б.К.Зайцев (которого Бунин именует теперь "подколодным ягненком") или М.С.Цетлина ("И даже она! Как я в ее дружбу верил! Ведь она столько для нас сделала", — возмущался он).

Между тем "заманивание" Бунина продолжалось. Через старого приятеля по литературным "Средам" Н.Д.Телешова он узнал, что в московском издательстве готовится том его избранных произведений. Бунина навещает в Париже и подолгу беседует наедине с ним К.Симонов. Насколько далеко зашло это сближение с советской властью, свидетельствует тот факт, о

котором сообщает в дневнике В.Н.Муромцева-Бунина (в истинности его сомневаться невозможно): "Предлагают Яну полет в Москву, туда и обратно, на две недели, с обратной визой"[21]. Ясно, что подобные предложения могли быть сделаны только с "высочайшего" разрешения.

Итак, Бунин едва ли не накануне возвращения. Как утверждается он "зачастил" в советское посольство. Но обе стороны (и официальная, большевистская, и эмигрантская) не учли самого важного: внутренней независимости Бунина и верности, в главном, его прежним идеалам. Скоро это и проявилось.

В итоге: интервью в "Советском патриоте" оказалось сфальсифицированным ("Меня просто на **удивление** дико оболгали",— сообщал он М.А.Алданову[22]); слухи о том, что он "зачастил" в советское посольство, были скорее всего инспирированы Лубянкой ("Был **приглашен** в посольство **позапрошлой осенью**, — возмущался Бунин в письме Андрею Седых, — и поехал — как раз в это время получил две телеграммы от Государственного Издательства в Москве — просьба немедля выслать сборник моих последних рассказов и еще несколько старых моих книг для переиздания. Увы, посол не завел об этом разговора, **не завел и я** — пробыл 20 минут в "светской" (а не советской) беседе, ничего иного не коснулся — и уехал. Ужели это тоже аморальные, преступные действия?"[23]); "Избранное" в Советском Союзе не увидело света. О возвращении в Россию, таким образом не могло быть и речи.

В итоге одинокий, глубоко больной, полунищий и лишенный возможности работать, Бунин оказался между двумя огнями: большинство эмиграции отвернулось от него, именуя "большевиком"; с советской стороны, раздраженной и разочарованной, было глухое молчание. Между тем полной неожиданностью явилась его книга 1950 года "Воспоминания", по резкости оценок, не только литературных, но и политических напоминающая Бунина 20-х годов. Это было убедительным ответом на все обвинения (часто самые нелепые), и Бунин с полным правом опроверг их. В статье 1951 года "Милые выдумки" он подытоживал:

"Года три или четыре назад, в какой-то русской газете, — не помню точно ее название, — издававшейся, кажется, в Сан-Франциско, какой-то Окулич сообщил, что я после второй мировой войны с Гитлером, летал в Москву и принимал какое-то участие в расстреле генерала Краснова <...> В книге моих "Воспоминаний" напечатано такое количество строк и целых страниц, посвященных большевикам, что они посадили бы меня на кол, будь я в их руках".

Да, колебания и сомнения в годы второй мировой войны и в послевоенную пору посещали Бунина. Но они не помешали сохранить ему драгоценное качество — верность идеалам свободы личности и свободы творчества (о чем он так ярко сказал в известной речи 1933 года при вручении ему Нобелевской премии). В этой связи хотелось бы привести слова, которыми откликнулся "главный" послевоенный журнал правой эмиграции "Возрождение" на 80-летие Бунина. Отметив, что инициатива чествования Бунина оказалась "в руках людей и организаций, несомненно чуждых ему по духу", автор редакционной статьи совершенно обоснованно заключал:

"Нам приходилось уже не раз говорить, что автор "Окаянных дней" по существу, конечно, не изменился и не примирился с насильствующим Россию политическим режимом, против которого он так ярко выступал в прежние годы. Недаром "Фигаро", помещая приветствие юбиляру, написанное нобелевским лауреатом Андре Жидом и отмечая неоднократные попытки правительства СССР "соблазнить писателя", напечатало строки: "Бунин вправе думать: что <...> благородством своего изгнанничества он, так же, как и своим творчеством, спас душу своей Родины и русского народа"[24].

Эти последние слова французского нобелевского лауреата, может быть, лучше всего выражают смысл и содержание бунинской публицистики, глубоко патриотической, вольнолюбивой, страстно (и пристрастно) отстаивающей духовные и нравственные ценности, которые в XX веке подверглись трагической проверке и страшному испытанию на прочность.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под редакцией М.Грин. — Т. 2.— Франкфурт-на-Майне: Посев, 1981.— С. 233.

2 Устами Буниных... Т. 1.— 1977.— С. 215—216.

3 Из истории русской зарубежной литературы: Переписка И.А.Бунина и П.Б.Струве // Записки Русской академической группы в США.— Т. 2.— Нью-Йорк, 1968.— С. 64. *Кривошеин А.В.* (1858—1923) — до революции министр земледелия и землеустройства; в Крыму возглавлял правительство Вооруженных сил Юга России.

4 Устами Буниных...— Т. 2.— С. 18.

5 Там же.— Т. 1.— С. 316.

6 Там же.— Т. 2.— С. 32.

7 Там же.— С. 78—79.

8 Переписка Светланы Аллилуевой и Ольги и Романа Гуль // Новый журнал.— Нью-Йорк, 1986.— № 164.— С. 194.

9 Устами Буниных...— Т. 2.— С. 8.

[10] Лавров В. Секретный Ив.Бунин // Московский комсомолец.— 1996.— 24 сент. (№ 180).— С.4.
[11] Там же.
[12] Бунин И.А. Собр. соч.: В 11 т.— Т. 10.— Берлин: Петрополис, 1935.— С. 88—89.
[13] Там же.— С. 97.
[14] Струве Г. Русская литература в изгнании.— 2-е изд.— Париж, 1984.— С. 69.
[15] Слоним М. Литературные отклики // Воля России.— № 8/9.— Прага, 1926.— С. 92—93.
[16] Адамович Г.В. О французской "inquiétude" и русской тревоге // Последние новости.— Париж, 1928.— 13 декабря (№ 2822).— inquiétude (*фр.*) — беспокойство, тревога.
[17] Ржевский Л. Памяти И.А.Бунина // Грани.— 1953.— № 20.— С. 4.
[18] См., напр.: Н. О парижской русской прессе и о коллаборантах // Русские новости.— Париж, 1947.— 6 июня (№ 105).
[19] Архив О.Н.Михайлова.
[20] Берберова Н. Курсив мой.— М.: Согласие, 1996.— С. 530—531.
[21] Устами Буниных... — Т. 3.— 1982.— С. 181.— Запись от 27 мая 1946 г.
[22] Бунин И. Письмо М.А.Алданову от 27 июля 1946 г. // Новый журнал.— 1983.— № 152.— С. 166—167.
[23] Бунин И. Письмо А.Седых от 18 августа 1947 г. // Седых А. Далекие, близкие.— Нью-Йорк, 1962.— С. 217—218.
[24] 80-летие И.А.Бунина // Возрождение.— Париж, 1950.— № 12.— С. 198.

О.Н.Михайлов

ПУБЛИЦИСТИКА
1918—1953 гг.

<ИНТЕРВЬЮ СОТРУДНИКУ "ОДЕССКОГО ЛИСТКА">

Впечатления от нынешней Москвы — самые тягостные. Грязные улицы; ухабы, наполненные водой; по ночам — тьма кромешная; серая толпа, злые лица; полудикие извозчики носятся с гиканьем и свистом; стрельба. Есть во всем этом что-то, заставляющее вспомнить о брянских лесах. Жизнь скверная, тяжелая. Продовольствия нет. Хлеб такой, что о нем вспоминать тошно. И везде, сверху до низу — кипящая ненависть к большевикам. Серая масса, разносчики, дворники, железнодорожники, извозчики, даже красногвардейцы — все клянут советскую власть, в которой видят причины всех зол. Не верьте рассказам, будто советская власть укрепляется, будто интеллигенция изменила свое отношение к ней. Укрепиться она не может, ибо ни в ком решительно не встречает поддержки: интеллигенция относится к большевикам так же отрицательно, как и прежде. Может быть, кое-кто пошел работать в большевистских учреждениях,— но это те, для кого вопрос существования стал особенно остро. Да и те занимают, преимущественно, нейтральные посты.

Литературные круги относятся к большевизму отрицательно. Если не считать И.Ясинского да Ал. Блока — нет ни одного крупного литературного имени в стане большевиков. Работает в органе левых с<оциалистов>-р<еволюционеров> Андрей Белый — но он сочетает свой большевизм с обычной для него теософией. Выходит непонятно и малоубедительно. Совсем зря пустили слух о том, будто Валерий Брюсов пошел к большевикам. Он работает еще с дней Вр<еменного> правительства в комиссии по регистрации печати, остается в ней и поныне. Ему приходится, правда, работать с комиссаром Подбельским, к которому крайне резко относится вся печать, и даже иногда заменяет его, но все же говорить о большевизме Брюсова не приходится.

События последнего года пока не отразились на русской литературе. Говорят, Сологуб написал рассказ, тема которого взята из событий. Я его не читал. Леонид Андреев замолк. Горький пишет по-прежнему в "Новой жизни". Куприн живет, кажется, в Гатчине.

Любопытно, что литературная жизнь Москвы перешла в кафе. Посетители и поэты охотно выступают в кофейнях, затевая "вечера жеманства", "вечера поэзии" и услаждая публику самыми изысканными мотивами. Темы современности не интересуют их. Маркизы, дофины и графы фигурируют чаще.

СТРАШНЫЕ КОНТРАСТЫ

Можно ли придумать более страшные контрасты: Тургенев и современная русская литература, годовщина тургеневского рождения — и годовщина так называемого большевизма, сделавшего родину Тургенева позором всего человечества! Можно ли говорить о Тургеневе при наличности таких контрастов!

В русской литературе уже давно началось и плотно водворилось нечто подобное тому, что ныне происходит в русской жизни. Литература Пушкина, Толстого, Тургенева за последние десятилетия так низко пала,— до того, что в ней считаются событием даже нарочито хамские, кощунствующие именем Христа и Его Двенадцати Сподвижников вирши Блока! — настолько потеряла ум, вкус, такт, совесть и даже простую грамотность, так растлила и втоптала в грязь "великий, правдивый язык", завещанный Тургеневым, что для меня достаточно было бы и одного этого, чтобы встретить тургеневский юбилей только стыдом и молчанием. Но говорить о Тургеневе в это ни с чем не сравнимое время, когда Бог привел мне видеть подтверждение моих дум о русском народе в такой ужасной мере, говорить о великом и прекрасном русском поэте и вспоминать наряду с этим 28 октября прошлого года, когда русский народ, с радостным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги наемных разбойников, жег и громил из пушек свою собственную Москву, свой собственный Кремль, говорить, еще чувствуя на глазах горечь тех слез, которыми я плакал в Орше, оставив за собой развалины России, праздновать тургеневскую годовщину в дни, когда там, на этих развалинах, тоже празднуют,— сразу две годовщины! — праздновать совместно с Троцким, Лениным, Петерсом и Горьким, который, может быть, в эту минуту, ломая роль "фанатика", произносит среди человеческих и лошадиных трупов пламен-

ные речи о пользе просвещения и щедро оделяет томиками "социализированного" Тургенева — победоносный русский демос, тот самый демос, который уже осквернил могилу Толстого, сжег дом Пушкина, в прах разнес родовое тургеневское гнездо, а теперь спокойно дерет окровавленными лапами эти самые томики на цигарки,— нет, говорить и праздновать в эти окаянные дни уже совсем выше моей силы.

НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ

Нет слов, нет сил говорить.

Из великого старческого сердца, переполненного слезами перед жестокой необходимостью человеческого общежития, вырвался когда-то страстный крик, отозвавшийся в тысячах человеческих сердец:

— Не могу молчать!

Да почиет Оно в мире, рожденное старой Россией и не ведающее, что те, кого прочат в строители России новой, с хохотом, щелкая подсолнухами, гадят на его священную могилу! Да почиет, избавленное Богом от ужаса и ветхозаветной мерзости наших дней, когда, мнится, окаменели бы уста самого Исайи, самого Иова!

Теперь из этого сердца мог бы вырваться только стон:

— Не могу говорить!

Ибо воистину возвратился мир на стези древние, какими бы новыми именами не называли их, сколько бы ни бредило о них современное умопомрачение, как о новой эре в истории человечества,— возвратился почти на три тысячи лет назад, когда йота в йоту сказано было так — точно о нашем сегодняшнем дне:

Возьмет Господь у вас
Всю вашу мощь,— отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника, вождя
И воина, провидцев и мудрейших,
И брат зарежет брата, и народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был угнетаем ближним, и падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье — срам и мерзость
Пред Господом, и выраженье лиц

Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, славят люди
Позор и грех.

Ибо воистину страшная повесть Иова стала нашей повестью.

"...Был некогда человек, сильный, богатый, счастливый, богобоязненный. Но истребил Сатана, с изволения Господня, все его имущество и поразил его проказою от подошвы до темени. И взял человек черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И открыл уста свои и проклял день свой: "Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек. Скажу Богу: За что Ты со мною борешься? За что гонишься, как лев, и нападаешь на меня и чудным являешься во сне? Но не ответит мне Бог!"

Да, так. Если продлится мой срок, может быть, душа моя, перегорев в этом злом огне, вновь взглянет с высоты на все то земное, низкое и подлое, грязное и кровавое, чем так больно живу я теперь. Но пока я живу им, как страстно хочется порою проклясть день рождения своего!

Да,— "вне селения", вне человеческого существования, на пепле пожарища, на гноище предградия, за пределом всего, чем дышал когда-то, за стенами разрушенного и опоганенного Сиона... Какими словами и к кому взывать с этого гноища? К Небу, к Вечному? "Но не ответит мне Бог!" К человеку, к ближнему? Но уж если что гибнет, исчезает с лица земли в наши дни, так это прежде всего вера в этого ближнего.

— Взывай к светлому будущему,— говорят своим пошлым и высокопарным языком те, у кого никогда нет настоящего, прошлое всегда "проклятое", а будущее всегда "светлое".

Знаю, знаю: их легион теперь, устроителей Эдема на земле, тунеядных и ледяных по отношению к живому человеку душ, пламенно защищающих всех трудящихся и обремененных, бешено клянущих войны между народами и еще бешенее призывающих к войнам между племенами и классами, вопиющих о лучезарной заре мира, когда этот мир так же далек от их свободы, братства и равенства, как Христос от гориллы. И они говорят давно готовое, привычное своим блудливым языком:

— Ты из-за деревьев не видишь леса. Будь жертвой за своего будущего потомка, верь в Сион грядущий.

Но зачем мне видеть лес, если я вижу на каждом суку этого леса удавленника. Кто уверит меня теперь, что этот будущий человечнее и лучше меня, настоящего? Вот прошло тысячу, пятьсот лет и было тысячу "великих революций" — разве не такой же зверь человек без узды, как прежде, разве не так же

режет он носы и уши, сажает на кол, надругается над убиенным и замученным? Вот почти весь европейский мир вольно и невольно распален этими новыми апостолами к лютой ненависти, к самым грубым вожделениям,— ибо ведь дело-то идет, в сущности, о самом грубом, самом материальном, невзирая на самые возвышенные лозунги! — и растет молодое человеческое племя среди хамства и варварства, голода и холода, мора и запустения,— кого, кроме кретина, выродка, может произвести на свет этот страшный или несчастный самец? А грядущий Сион — Бог мой, разве, повторяю, не к ветхозаветным дням возвратились мы, когда гибли величайшие царства земли, поражая народы мистическим ужасом, неотвратимостью рока, ненасытностью Иеговы? "И зарастали дворцы их колючими растениями, крапивою и репейником — твердыни их; и были они жилищем шакалов, пристанищем страусов; и звери пустыни встречались в них с дикими кошками, и демоны перекликались друг с другом..."

И наш Сион — что будет с ним? Может быть, уже навеки пал он, чтобы уже никогда не восстать из праха и унижения? "И пастухи со стадами приступят к нему, раскинут шатры вокруг него..." — Где Китай, Византия, Рим, Турция, Персия?

Да, так. То, что творится в Европе и особенно в России, самой Россией и над нею, так чудовищно, так преступно, так гнусно и нагло, что слово совершенно бессильно выразить даже тысячную долю того, что оно должно было выразить.

Это очень страшная потребность — крикнуть о невозможности молчать. Но во сто крат страшнее такое состояние, когда чувствуешь, что по-настоящему можешь сказать только одно: "Не могу говорить!" — можешь только закрыть лицо, дабы не видели очи, и заткнуть уши, чтобы не слышали они.

...И все же — как молчать! Жить все равно надо, в подлинный камень все равно не превратишься.

Все же надо говорить — хоть через силу, хоть сквозь стиснутые от боли, отчаяния и негодования зубы, хоть что-нибудь, хотя бы вот об этой невозможности говорить,— если не об общем, не о мировом, то хоть о частном, о нашем, о России, о Москве, где бражничают Емельки и Гришки за своей кровавой пьяной трапезой.

Говорить для чужеземцев, слишком еще мало знающих нас и волею судьбы призванных решать наши судьбы,— чтобы слышали они и мой голос, то, что я говорю,— я, Божиею милостью не последний сын своей родины.

Говорить для будущего историка, чтобы смутить его и заставить нахмуриться, стать строже к своему труду, когда дойдут до него наши загробные голоса — славословия этим дням и мое проклятие им до скончания и по скончании их, равно как и тем, кто творит и кто приуготовлял эти дни, а теперь тоже клянет, забывая, что "не властен ударяющий в барабан удержать грохот барабана".

Говорить для тех,— да сохранит Господь их драгоценную жизнь! — что доброю волею идут умирать за нашу Москву, за нашу Россию.

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ "ЮЖНОГО СЛОВА" О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ>

— Двух мнений о Добровольческой армии не только у нас, несчастных детей России, но и у всякого, кто в здравом уме и твердой памяти и сохранил в душе хоть искру человечности, быть не может. Я не в силах в нескольких словах достойно сказать об этой славнейшей и прекраснейшей странице всей русской летописи, искупившей весь библейский ужас так называемой "великой российской революции", этой колоссальной кровавой "нелепице", как называли подобные эпохи в древней Руси, когда умы еще не были запуганы иностранным словом революция. Я только вкратце повторю то, чем я заключил свое слово о наших днях, сказанное недавно публично:

— Повторилось уже бывалое на Руси, только в небывалой еще величине... И теперь наше спасение прежде всего в нас самих... "Затуманится Русь, заплачет по старым богам", пророчествует Шигалев в "Бесах" Достоевского, кончая свою страшную речь о том "цинизме", о том "разврате неслыханном", которым он надеялся отравить, одурманить русский народ. Надежды его сбылись полностью, только в мере, даже и им самим непредвиденной. Но остается в силе и конец его мечтаний и пророчеств: "заплачет Русь по старым богам". И старый Бог земли русской смилостивится над нею.

Спасение наше в нас самих. Мы все, пережившие и еще переживающие дни несказанных мук и унижений, боли и потерь, дни библейского "Горького Голуса" — горького изгнания из родной земли,— или вражеского пленения, мы все, как в дни ветхозаветные, "со связанными руками, закованные в железные путы, голые, подобно животным", мы молили к братьям своим: "Помощи! Милосердия!" Но как откликались нам порой? "Вот выходят израильтяне и предлагают соленого хлеба

и рыбного рассола, а вместо воды — меха, наполненные только воздухом. И поев соленого, мы хватаем зубами за меха — и воздух входит в наши легкие — и мы падаем замертво". Мы помним Принцевы острова, мы и теперь еще читаем, что Европа и Америка по радио интервьюируют тот адов синклит, что называется "рабоче-крестьянской властью", рассуждают с ним о его "политике", то есть о том непрекращающемся, гнуснейшем и свирепейшем злодеянии, которое совершается среди бела дня в двадцатом столетии, в христианской Европе, при кликах "социалистического пролетариата" Европы, будто бы несущего в мир новую религию братства, равенства, человечности — и требующего "невмешательства" в эти самые "внутренние дела" России!

"Вот, по слову писания, темнота покроет землю и мрак народы... И лицо поколения будет собачье..."

Но лицо Авеля русской земли не уподобится лицу брата его, Каина. Издревле был на Руси Авель рядом с Каином — и спасал ее своим воскресением.

"Вот темнота покроет землю. А над тобою воссияет Господь и Слава Его явится на тебе".

Так, воистину.

Спасение в нас самих, в возврате к Божьему образу и подобию, надежда — на тех, которые этого образа и подобия не утрачивали даже в самые черные дни,— которые, испив до дна весь ужас и всю горечь крестных путей, среди океана человеческой низости, среди звериного рева: "Распни Его и дай нам Варраву!" — перед лицом неслыханного разврата родной земли, встали и пошли жизнью и кровью своей спасать ее, и повели за собой лучших ее сынов, лучший цвет русской молодости, дабы звезда, впервые блеснувшая над темнотой и скорбью Ледяного похода, разгоралась все ярче и ярче — светом незакатным, путеводным и искупляющим несчастную, грешную Русь!

В ЭТОТ ДЕНЬ

Почти тысяча дней и тысяча ночей.

Лето семнадцатого года я помню как начало какой-то страшной болезни, когда уже чувствуешь, что болен смертельно, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то новую жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил.

В конце же этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик "всем, всем, всем!" — крик Керенского, который, не понимая творимого им, не ведая, что отныне имя его будет проклинаемо всей Россией до седьмого колена, крикнул urbi et orbi*, городу и миру, что Корнилов — "мятежник, предатель родины".

Что было потом.

А потом было третье ноября.

Третьего ноября Каин России, с безумно-радостным остервенением бросивший за тридцать сребреников уже всю свою душу под ноги наемных злодеев, восторжествовал полностью. Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась. Все стихло, все преграды пали — победители свободно овладевали ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над ее Кремлем. После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными дверями и окнами, я шатаясь вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, с ледяным сырым ветром, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги "борцов за светлое будущее", совершенно шальных от победы, водки и ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с браунингами в руках, с винтовками через плечо. Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней русской осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид. Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Я постоял, поглядел — и воротился домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма склонным к слезам, я вдруг заплакал, и плакал буквально до самого рассвета, плакал такими жгучими и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной, уже не один, а вместе со многими из тех, которые поздними темными вечерами, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, собирались, подобно первым христианам, по темным, стареньким церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакали, слу-

* городу и миру (*лат.*)

шая горькое страстное пение: "Волной морскою... гонителя, мучителя под водою скрыша...". Сколько тогда стояло в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в церкви, сколько плакало, никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и горя и какого-то болезненного восторга, восторга освобождения, оставив за собой и всю свою прежнюю жизнь и развалины России, перешагнув в изгнание из нее новую ее границу в Орше, имя которой стало отныне для нас символическим,— вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий облик человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были буквально затоплены все станции, начиная от самой Москвы и вплоть до самой Орши.

А потом я пережил тысячи леденящих вестей оттуда, где когда-то была *наша* Россия, и часто говорил себе: "Погибни день, в который я родился, и ночь в которую сказано: зачался человек! Если продлится мой срок, может быть, душа моя, перегорев в этом злом огне, вновь взглянет с высоты на все то земное, низкое и подлое, грязное и кровавое, чем так больно живу я теперь. Но пока я живу им, как страстно хочется порою проклясть день рождения своего! Ибо воистину страшная повесть Иова стала нашей повестью. Ибо воистину мы "вне селения", вне человеческого существования, на пепле пожарища, на гноище предградия, за пределом всего, чем дышал когда-то, за стенами разрушенного и поруганного Сиона".

А теперь, в этот день, у меня, пережившего все это, слов нет. И они не нужны, все понятно и без них.

Будь благословен Твой ратный путь, Надежда России.

<РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ В ЧЕСТЬ А.И.ДЕНИКИНА>

Ваше Высокопревосходительство!

Я не в силах выразить перед Вами даже и малейшей доли тех сложных и глубоких чувств, которыми охвачен я в сознании всей великой важности минут нами переживаемых, когда незримо пишутся новые славные страницы русской летописи, на коих уже неизгладимо начертано Ваше славное имя и коим предстоит такая долгая, долгая историческая жизнь. Позвольте мне только земно поклониться Вам ото всего моего сердца, с особой силой ощущающего ныне свою кровную связь с Россией,— сердца, бесконечно исстрадавшегося и в эту минуту бесконечно счастливого.

ЗАМЕТКИ

Опять еврейские погромы. До революции они были редким, исключительным явлением. За последние два года они стали явлением действительно бытовым, чуть не ежедневным. Это нестерпимо. Жить в вечной зависимости от гнева или милости разнузданного человека-зверя, человека-скота, жить в вечном страхе за свой приют, за свою честь, за свою собственную жизнь и за честь и жизнь своих родных, близких, жить в атмосфере вечно висящей в воздухе смертельной беды, кровной обиды, ограбления, погибать без защиты, без вины, по прихоти негодяя, разбойника — это несказанный ужас, это мы все — уже третий год переживающие "великую русскую революцию",— должны хорошо понимать теперь. И наш общий долг — без конца восставать против всего этого, без конца говорить то, что известно каждому мало-мальски здравому человеку и что все-таки нуждается в постоянном напоминании. Да, так жить дальше просто невмоготу. Да, пора задуматься подстрекателям на убийство и справа и слева, революционерам и русским и еврейским, всем тем, кто уже так давно, недоговаривая и договаривая, призывает к вражде, к злобе, к всякого рода схваткам, приглашает "в борьбе обрести право свое" или откровенно реветь на всех перекрестках: "смерть, смерть!" — неустанно будя в народе зверя, натравливая человека на человека, класс на класс, выкидывая всяческие красные знамена или черные хоругви с изображением белых черепов. Да, Троцкий — еврей, но ведь Ленин не еврей,— "отец его,— как сказано во всех его биографиях,— волжский крестьянин, выбившийся в люди и ставший впоследствии директором волжских народных училищ". Да, соборы нельзя переделывать и переименовывать в кинематографы "имени товарища Свердлова", и убийство за одного Урицкого целой тысячи ни в чем неповинных людей есть чудовищная гнусность, но ведь какой-нибудь конотопский еврей не виноват в осквернении московских соборов и ведь убивали-то за Урицкого все-таки русские матросы, русские красноармейцы, латыши, китайцы. Да, жить без Божеских и человеческих законов, жить без власти, без защиты, без обуздания своевольника — нельзя. "Страшно сказать, но большинство людей — животные",— сказал Л.Н.Толстой. И против животного в человеке всячески надо восставать, и животного в человеке надо обуздывать, и в действия его надо вмешиваться всякому человеку — и ближнему и дальнему, и русскому и еврею, и французу и японцу.

"Перед законом все равны",— сказал генерал Деникин. И его правительство не за страх, а за совесть, стремится проводить в жизнь его предначертания. Правительство неустанно декларирует о своей непреклонной воле всемерно бороться со всем, что несет скорбь и боль каждому гражданину России без различия национальностей и классов. Правительство уже не раз высказывалось и уже не раз действовало по мере сил и с успехом и с полной твердостью в этом духе. Еврейские погромы не его вина. Это вина части русского народа, и до сих пор еще распаляемого на всяческую братоубийственную рознь и всяческое озверение. "Власти,— как справедливо сказала недавно даже одна из самых левых газет в Одессе,— всячески добиваются восстановления порядка и прекращения кровавых событий".

Еврейские погромы длятся уже очень давно — стоит только вспомнить, что пережило несчастное еврейское население не только всей Украины, но и всего Юго-Западного края и всей Польши за осень, зиму и лето прошлого и нынешнего года. Мешаются потоки еврейской крови с реками крови, льющейся на всех фронтах нашей ужасающей в своей нелепости гражданской войны и ныне. Стихийность народной злобы, дико распаленной за годы великого российского бунта, еще бушует со страшной силой. Что может сразу сделать с этим несчастием правительство? Мы можем только надеяться и надеемся, что оно будет неуклонно идти своим путем, жестокой и праведной карой пресекая все преступное и злое, недопустимое в человеческом общежитии. Мы можем только надеяться и надеемся, что оно еще усилит свою решимость действовать с полной беспощадностью на этом пути. Горячо, свято и уже не раз возвышало свой голос о недопустимости всяческих изуверств и наше духовенство в лице своих высших представителей.

Да будет так и впредь. Ибо, повторяю, жить без усмирения погромщика, своевольника, без усмирения его словом и делом, нельзя. Да и вообще, говорю еще раз, надо обуздывать зверя в человеке и в действия его надо вмешиваться. Обойтись без этого нельзя, и это надо почаще вспоминать революционерам всяческих толков.

Вот все они совершенно справедливо возмущаются погромами и натравливанием русских на евреев, неистово клянут все это, шлют протесты "к народам всего мира" и, конечно, ничего не имели бы против, если бы не только русский доброволец, но и француз, англичанин, японец самой беспощадной рукой наказал и смирил погромщиков русских, малорусских, польских, австрийских, венгерских,— т.е. ровно ничего не имели бы

против этого "вмешательства во внутренние дела" России, Польши, Австрии, Венгрии. А ведь, Бог мой, как жестоко и уже не раз брали они в копья, например, меня, когда я говорил о темных и зверских сторонах своего народа, когда речь шла об этой темноте и об этом зверстве не в связи с еврейскими погромами, когда я выступал вообще против всяческих злодеяний, называемых революцией, и ждал вмешательства Европы в наше длящееся уже два с половиной года, на христианской земле, в двадцатом веке свирепое и бессмысленное злодеяние!

В декабре прошлого года, в дни для нас очень горькие и все же обещавшие возвратить нас хоть к минимальной человечности, когда Одесса встречала французов, я писал:

И боль, и стыд — и радость...
Да будет так. Привет тебе, Варяг.
Во имя человечности и Бога,
Сорви с кровавой бойни наглый стяг,
Смири скота, низвергни демагога!

Что же отвечали мне революционеры? "Од<есские> нов<ости>" заявили, что моя политика — "скверная политика", и поучали меня: "революция это нечто более сложное, чем думает Бунин". "Южный рабочий" слагал по моему адресу такие милые стишки:

Испуган ты и с похвалой сумбурной
Согнулся вдруг холопски пред Варягом,—

и никому-то из этих грубиянов, очевидно, и в голову не приходило, что просьба к Вильсону о вмешательстве в русский разбой над евреями совершенно одно и то же, что просьба к французам о вмешательстве в русский разбой над помещиками, над купцами, над офицерством, над интеллигенцией, и что ведь это очень неверный путь — отделываться рассуждениями о "сложности" того или иного зверства. То же самое встречаю я и теперь. Сколько, например, исписал бумаги какой-нибудь Павел Юшкевич, подсчитывая убиенных при погромах евреев, сколько этих уголовных дел зарегистрировал он, сколько сказал жестоких слов о зверстве русского народа, когда он громил евреев! А посмотрите, как наряду с этим издевается он надо мной по поводу моей лекции о русском народе и русской революции, как горячо заступается за этот же самый народ, как распекает, как поучает меня. "Суждения Бунина сухие, желчные" — для этих господ вся сложность, вся острота наших великих мук есть только желчь! "К революции,

уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилом и пониманием *уголовного хроникера...*" "Гегель говорил о разумности всего действительного... в российской революции есть свой разум, свой смысл" — и так далее, и так далее. О, многомудрый гегельянец, ведь и самое жестокое самодержавие и чума и холера могут чудесно уложиться в Гегеле; утверждая, что есть разум и смысл в дроблении помещичьих, купеческих, офицерских черепов, можно, следуя логике, дойти до Бог знает каких выводов...

Право, "стройные ряды революционного демоса" не многим отличаются от прочих "стройных рядов". Знаю я эти "стройные ряды". Помню, как осенью семнадцатого года мужики, разгромившие одну елецкую усадьбу, ощипали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных , летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало...

ЗАМЕТКИ

25 октября 1917 года падение Зимнего дворца, где сидело так называемое Временное правительство, состоящее из адвокатов, докторов и журналистов, мирно, со студенческими песнями распивавших некогда жигулевское пиво на "утесе" Стеньки Разина,— почему этому дню придается такое значение? Что случилось в этот день особенного? Только то, что был приклеен настоящий ярлык к тому, что уже полгода совершалось до этого дня в России под высоким водительством второсортного адвоката, который, как рассказывал мне один из министров этого временного правительства Н.М.Кишкин, часу не мог прожить без кокаина.

Защитники революций защищают "великую российскую революцию" между прочим тем, что говорят: "то же было и в дни великой французской революции". Можно только благодарить за такую защиту. Да, да, было то же самое: сперва идеалисты, мечтатели, оторвавшиеся от понимания живой действительности, люди легкомысленные, недальновидные, пусть даже одержимые благими целями, но многое не додумывающие до конца, болтуны, фразеры, честолюбцы — и все растущее ослабление, растерянность власти, а дальше что? Дальше все растущее ошаление народа, озверение его, все большее количество орущих от его имени подонков его, прирожденных убийц, грабителей, негодяев, из коих и выделяется шайка уже отборнейших негодяев и зверей, шайка истинных главарей всякой действенной революции,— негодяев, неистово, напыщенно, театрально,

"именем народа", "свободы, братства, равенства" устраивающих такой кровавый балаган,— *надо твердо помнить эту из главнейших черт всякой революции, черту отвратительной театральщины,*— разыгрывающих такую подлую и свирепую комедию, что потом мир сто лет не может прийти в себя, вспоминая, на какое море низости и кровожадности способно человеческое сердце, в некоторых отношениях самое подлое, самое злое из всех прочих сердец, бьющихся на земном шаре. Да, чудовищно мерзка и кровава была и французская революция, но как это можно одну мерзость и кровь оправдывать другой мерзостью и кровью? Истинно благодарить надо за такой довод — это довод как раз *против* революций, поелику все они так одинаковы, протекают с такой торжественностью. А что до "великой российской революции", то она отличается от великой французской только еще большим числом и еще большей бессмысленностью всяческих низостей, пошлостей, нелепостей, злодейств, разрушений, позоров, холода, голода, мора и, конечно, в тысячу раз большим хамством, грязью и глупостью, не говоря уже о том,— гнусный подлинник всегда все-таки простительней копии с него,— что то наглое, до ужаса бесстыдное и явное повторение шаг за шагом, йота в йоту кровавой мелодрамы, разыгранной когда-то во Франции, повторение ее на российских подмостках, среди головотяпов Пошехонья, среди лесных и степных полудикарей, повторение по указке немцев немецкими наемниками, есть настолько гнусный и кровавый балаган, которому нет имени на человеческом языке.

25 октября 1917 года есть начало народного спектакля. До этого дня скрипки только налаживались, хотя и до этого дня Россия была уже погублена, обесчещена и бесконечно опошлена Керенскими всех мастей, а народное зверство уже проявилось в *десяти тысячах* кровавейших и бессмысленных самосудов, зарегистрированных,— только зарегистрированных, с марта по август этим самым Временным правительством. Я хорошо знаю, что нынче этот день будет проклинаем почти всей русской печатью тех мест, что заняты Белой Армией, постепенно разрушающей те насквозь пропитанные кровью подмостки, на которых длится еще этот спектакль. Но я хорошо знаю и то, что много раздастся нынче и радостных воплей. "И все-таки да здравствует!.." — воплей тех, которые не хотят понимать или точно не понимают, что "нельзя удержать грохот барабана, ударив в барабан". И особенно будет усердствовать часть одесской печати. Давно ли чуть не треть одесского населения и даже со многими закоренелыми приверженцами рево-

люции металась в истинной панике, бежала куда глаза глядят при победном вступление в город "народно-революционной армии",— металась и бежала так, как не метались наши пращуры при вступлении в их города половецких орд? Давно ли на всех одесских "товарищах" и даже на извозчичьих лошадях как жар горели революционные банты и ленты,— кумач, красный цвет, при взгляде на который еще и до сих пор как-то болезненно и тошнотворно сжимает сердце? Давно ли от красных флагов и от стеклянно-розовых, похожих на медузы звезд, висевших на улицах, над чрезвычайками, над театрами и клубами "имени Троцкого", "имени Свердлова", "имени Ленина", кровью струились по асфальту отражения — в те жуткие проклятые вечера, когда еще светло было, а часы показывали что-то нелепое, издевательское, и всякая "товарищеская" аристократия, все эти "борцы за социализм", объявившие "мир хижинам и войну дворцам" и потому тотчас же крепко засевшие в эти дворцы, все эти матросы с огромными браунингами и нередко в лакированных ботинках, карманные воры, уголовные преступники и какие-то бритые щеголи, изо всех сил старающиеся походить на пшютов столь ненавистного им "старого режима", все во френчах и развратнейших галифе, в франтовских сапогах и непременно при шпорах, невзирая на полное отсутствие скакунов, все с золотыми зубами и с большими, темными, кокаиническими глазами, мчались по странно пустым, еще светлым улицам на автомобилях, на лихачах, с проститутками в свои собственные театры, глядеть на своих собственных крепостных актеров? Давно ли бешено и гулко стреляли по ночам моторы грузовиков, заводимые возле чрезвычаек, чтобы не были слышны ружейные выстрелы и крики убиваемых и истязуемых, с которых иногда буквально сдирали кожу — во славу всего европейского "социалистического пролетариата", яростно требующего и до сего дня невмешательства вот в эти самые "внутренние дела" России? Давно ли совсем рядом с этими адовыми вместилищами непрекращающихся злодеяний процветали всяческие "пролеткульты", без конца писались свирепо-хамские плакаты всякими молодыми негодяями с кличками футуристов, т.е. людей будущего, и хлопотали художники, озабоченные тем, как бы получше украсить лампионами этот забытый Богом город, превращенный в сплошное лобное место,— украсить к радостному первомайскому дню, того самого "революционного пролетариата", который будет похаживать да посматривать, пощелкивая семечки, натянув на свои социалистические ноги штаны убитых и ограбленных "контрреволю-

ционеров"? Давно ли тише воды, ниже травы были те самые демократы, которые так бесстрашно протестовали при добровольцах по поводу "удушения свободного слова", "стеснения демократической думы" и "бессудной казни" десятка явных разбойников и которые так примолкли, притаились при "рабоче-крестьянской власти", мгновенно задушившей уже всякое человеческое слово, кроме утробного рева: "смерть, смерть!" — и начавшей "бессудно" казнить и истязать уже сотни и тысячи? Давно ли все это было и что это было? Это и была настоящая революция, та самая, какой она и всегда бывала, а вовсе не какая-то часть ее, называемая большевизмом. Но кого это научило? Можно ли вразумить тех, которые мечтают начать все сначала и воображают, что это начало не приведет снова к его логическому продолжению, к большевизму!

Да, большевизм и есть революция, та самая революция, которая есть вечная радость тех, у которых никогда нет настоящего, прошлое всегда "проклятое", а будущее всегда "светлое"... "Вот выйдут семь тощих коров и пожрут семь тучных — и не станут оттого тучнее... Вот темнота покроет землю и мрак народы... низость возрастет, а честь унизится... в дома разврата превратятся общественные сборища... И лицо поколения будет собачье..."

Защищайте, защищайте все это тем, что это было не у нас одних, что на все "есть причины", что это — явление "стихийное": ведь и для чумы, для холеры есть причины, а землетрясение есть еще более стихийное явление, только кто же радуется им? Мечтайте, мечтайте, что "собачье лицо поколения" весьма будто бы способствует близкому появлению на свет Божий нового, гораздо более прекрасного, чем прежде, человеческого лица, что из посеянного чертополоха вырастет райский крин.

ЗАМЕТКИ

Перелистываю много, много раз читанные страницы Толстого.

— Нет другого просвещения, кроме христианского; наш же мир наполнен учеными дикарями... ("Мысли").

— Ваше императорское Величество. Я ничтожный, слабый, плохой человек, пишу русскому Императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда либо бывали... Отца Вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили во имя какого-то блага всего человечества. Вы стали на его место и перед Вами те враги,

которые для того мнимого общего блага, которого они ищут, должны желать убить и Вас. Более ужасного положения, чем Ваше, нельзя себе представить... Знаю, как далек тот мир, в котором мы живем, от тех божеских истин, которые даны Христом... Знаю, что я, ничтожный, дрянной человек, в искушениях в тысячу раз слабейших, чем те, что обрушились на Вас, дерзок и безумен, требуя от Вас той силы духа, которая не имеет примеров, требуя воздаяния врагам Вашим добра за зло... Но истина всегда истина. Будут два пути, два совета Вам: путь подавления зла злом и путь либерального послабления — оба испытанные и ни к чему не приводящие пути... но есть еще новый путь — путь христианского исполнения воли Божией... Государь! Вступите на этот путь... "Любите врагов своих"... ("Письмо Александру III").

— Горы книг написаны Марксами, Жоресами, Каутскими и другими теоретиками о том, каким должно быть человеческое общество... О том же, как устранить главную, ближайшую, основную причину зла — насилие, совершаемое рабочими над самими собой, не только никто не говорит, но, напротив, все допускают необходимость того самого насилия, от которого и происходит порабощение... ("К революционеру").

— Вступать русскому народу на путь, по которому шли западные народы, значит сознательно совершать насилия, т.е. грабить, жечь, взрывать, убивать, вести междоусобную войну... Заблуждение это стоит во всей основе всей неурядицы, как прошедшей, так и современной и даже будущей жизни христианских народов... Люди так привыкли к единственному средству воздействия на людей — принуждению, что не видят противоречия, которое заключается в мысли осуществления равенства, братства посредством насилия,— не видят того, что равенство по существу своему отрицает власть и подчинение, что свобода не совместима с принуждением и не может быть братства между повелевающим и подчиняющимся. От этого все ужасы террора. То противоречие, которое так ярко и грубо выразилось в большой французской революции, таким же осталось и теперь... И оно проявляется в представлении самых передовых социалистов, революционеров...

— Посредством убийства осуществлять идеалы человеческого блага!

— Французская большая революция была тем enfant terrible*, который в самой наивной форме выказал всю нелепость того

* ужасным ребенком.

противоречия, в котором бился тогда, бьется и теперь человек: "Свобода, братство, равенство — или смерть!"

— Во Франции, Испании, в Южной Америке, теперь в России устраивались и устраиваются революции, но удаются или не удаются революции, после революций, как отогнанная волна возвращается то же и то же положение, иногда даже и хуже прежнего... Меняются формы, но сущность отношений людей не меняется... ("Единое на потребу").

— Людям большой французской революции, желавшим достигнуть равенства, можно было заблуждаться, когда они думали, что равенство достигается насилием, хотя должно было быть очевидным, что равенство не может быть достигнуто насилием, так как насилие есть само по себе самое резкое проявление *неравенства.* Свобода же, составляющая главную цель теперешней революции, уже ни в коем случае не может быть достигнута насилием. А между тем теперь люди, производящие революцию в России, думают, что, проделав все то, что происходило в европейских революциях, с торжественными похоронными шествиями, разрушением тюрем, с блестящими речами, учредительными собраниями и т.п., они достигнут благой цели!..

— Кромвель, величайший лицемер и злодей, казнит такого же лицемера Карла I и безжалостно губит миллионы жизней и уничтожает ту самую свободу, за которую он будто бы боролся...

— Казнят Людовика, и тотчас же Мараты и Робеспьеры захватывают машину и творят еще большие преступления и тотчас же губят не только людей, но и истины, провозглашенные людьми того времени...

— И потому говорите о своих интересах, а не о народе, не лгите, говоря о нем. Боритесь с правительством, если вы не можете удержаться от этого, но знайте, что вы боретесь для себя, а не для народа, и что в этой насильственной борьбе не только нет ничего благородного и хорошего, но что борьба есть очень глупое и вредное и, главное, безнравственное дело...

— Чтобы положение людей стало лучше, надо чтобы сами люди стали лучше...

— При революциях нравственность общественная все более и более понижается, и героями времени становятся самые безнравственные люди...

— Постарайтесь как можно меньше пользоваться трудами народа и, если не помогать ему, то по крайней мере не путать, не мутить его...

— Люди же, борющиеся теперь в России против правительства,— либеральные земцы, врачи, адвокаты, писатели, студенты и несколько тысяч оторванных от народа опропагандированных рабочих,— называя и считая себя представителями народа, не имеют на это звание никакого права. ...Люди эти представляют правительству *во имя народа* требования свободы печати, свободы совести, свободы собраний, отделения церкви от государства, представительства и т.п. А спросите народ, сто миллионов крестьян о том, что они думают об этих требованиях: для них эти требования не представляют никакого интереса. Либеральные и революционные деятели, составляющие программы требований народа, не имеют никакого права считать себя представителями народа: они представляют только самих себя... (из разных статей).

Выписывая со страниц Толстого эти отрывки, напоминая истинную суть его учения, я думаю, что я делаю дело, которое он горячо одобрил бы и счел гораздо более нужным, чем выражение скорби, что уже нет его в мире в эти жестокие и темные дни. Нужно это напоминание еще и потому, что часто теперь защищают даже *его* именем эти дни, и я боюсь, что нынче многие из тех, о которых он говорит в этих отрывках, будут его именем кощунствовать, будут повторять только то из его писаний, что им выгодно и что, будучи выхвачено из этих писаний, зло искажает их. Повторяю: это уже делается, уже не раз делалось: это делается — и это всего ужаснее — даже теми окровавленными с ног до головы, еще не бывалыми в мире злодеями, кои царят уже два года в России именем русского народа и громче всех на всю вселенную кричат о благе человеческом. Одни часто говорят теперь: "Толстой много вреда принес своим разрушением престижа государства, власти, своим поношением верхов русского общества и русских правителей". Но они забывают, что Толстой чуть не всю жизнь говорил, как все величайшие учителя человечества, не для какого-нибудь определенного времени, что, укоряя его, нужно укорять и Христа, Будду. А другие счастливы тем, что он разрушал и поносил власть. Но они забывают, что он желал разрушения не одной русской власти, а власти всяческой, что он поносил не только Екатерину, не только Петра, не только Николая II, а поносил самыми последними словами, как величайшего преступника, и самого себя.

ЗАМЕТКИ

Был и, слава Богу, еще есть, не убит, не замучен, не умер от разрыва сердца, от скорби, от боли за свою родину и от стыда быть человеком талантливый и умный русский писатель, то есть писатель редкий, ибо талант и ум вещи вообще редкие, писатель, не погубивший ни своего ума, ни своего таланта среди всяческой мерзости, которая так пышно цвела в русской литературе за последние десятилетия,— Ив.Ф.Наживин.

Был и есть он крестьянин по рождению, прошел все, что полагается пройти, чтобы стать на уровне своего времени в смысле образования и развития, жил долго в Европе, был и толстовцем и левым, возвратился затем на родину, прожил целых два года в революции в среде своих кровных односельчан и той интеллигенции, к которой он принадлежал по умственным и духовным интересам, много видел, много страдал, много думал и многое переоценил за это время, и подвел некий итог всего этого,— написал замечательную книжку "Что же нам делать?", драгоценную по своей искренности, по своему таланту и, главное, по документальности, по наблюдению и изображению той подлинной, а не выдуманной русской жизни, чувства, ощущения, да даже и простого знания которой так недоставало нам всегда и, что всего ужаснее, так недостает и теперь.

И вот этого человека за эту книжку начинают зло, грубо, самым непристойным образом травить.

По какой причине?

А по той простой причине, что он посмел сказать кое-что не так, как это полагается по канону левых.

Можно было бы, кажется, просто возразить человеку: "Ты, по нашему мнению, ошибаешься, ты не прав вот потому-то и потому-то".

Можно было бы даже сильнее выразиться: "Ты говоришь вот то-то и то-то нехорошо",— если человек точно заслужил того.

Но начать глумиться над этим выдающимся русским человеком и писателем, начать всячески поносить его по левогазетному шаблону, называть его душу "лысой душой" — не пойму, в чем соль этой дурной выдумки! — "маленькой, сморщенной душой, опустошенной душой напуганного и кающегося интеллигента",— точно и впрямь нечего нам было пугаться среди всех адовых зверств и мерзостей нашей революции и так-таки решительно не в чем каяться! — говорить, что он "льет демо-

кратические слезы в жилет городового в трепетной лирике полицейского участка", что он "человек легкий, ибо в толстовцах служил", и вновь и вновь повторять, что у него "запуганная, сморщенная и воистину лысая душа", и всячески допекать его тем, что он несколько раз переменил свои убеждения, свои взгляды,— хотя позора тут нет решительно никакого, ибо этому были, как известно, подвержены многие великие и величайшие люди, ибо только дураки и тупицы, по слову Толстого, костенеют, не меняются, не растут с годами и с опытом,— и безбожно врать на него, на каждом шагу искажая его книжку,— поступать, одним словом, так, как поступил с Наживиным в позавчерашнем номере "Современного слова" Василевский (Не-Буква), и величать Наживина "этим господином", как величает его Б.Мирский во вчерашнем номере того же "Современного слова" в статейке, уже во второй раз повторяющей угрозу не пустить нас в Москву, если мы не скажем пароль, требуемый от нас Б.Мирским,— все это есть величайшая грубость по отношению ко всей современной русской литературе, и я, не последний человек в этой литературе, решительно протестую против всего этого и надеюсь, что мои чувства разделят многие из моих сотоварищей по перу, равно как и редактор "Современного слова", известный русский писатель Д.Н.Овсянико-Куликовский.

Повторяю: можно соглашаться или не соглашаться с Наживиным, можно спорить с ним, опровергать его, сожалеть, что он больше не социалист, не революционер, а конституционный монархист, как он стал теперь открыто называть себя, можно пожать плечами, что он полагает, что следует объявить евреев иностранными подданными,— если только точно, что он полагает это,— но так непристойно травить его, как начало "Современное слово", кидаться с такой яростью затыкать рот большому русскому человеку и писателю,— недопустимо, непозволительно и уж во всяком случае "нелиберально".

Бог мой, что же это такое в самом деле! Уж и слова не смей пикнуть теперь! Нельзя же уж так мордовать Фому у него же в дому! Ну, думает Наживин, что его дому, насколько он знает и чувствует его, пристала конституционная монархия больше, чем социалистическая республика,— что за повесная беда такая? Ну, ходил он по московским соборам, где перед ним "развертывалась вся наша история", где ему "перед лампадкой на гробнице Грозного царя мнилось, что это душа России теплится под старыми сводами", где он кровно почувствовал прошлое нашего старого, пусть мрачного, пусть темного, но

родного дома,— неужели это уж такое страшное преступление и неужели эти чувства так несложны и укладываются так подурацки в формулу: "влечение к Грозному", как это кажется "Современному слову"? Пусть этот дом наш общий, и все нации России равноправны в нем: есть же все-таки в его прошлом нечто и такое, что все-таки действует сильнее на прямых потомков его строителей, чем на человека другой национальности. Нам ли, например, не близок Иерусалим,— нам, из поколения в поколение, с младенчества начинающим познавать его историю и молиться его Богу? И все-таки, помню, как робко, как благоговейно опустил я глаза при входе в Иерусалим вместе со стариком Шором, остановившимся и долго, горячо, закрывшись рукавом, плакавшим у этого входа.

ЗАМЕТКИ

"Собаки лают, значит, едем!" — говорит восточная пословица. Однако, я знаю и такие, тоже восточные стихи:

Саади спросили: "Куда ты так быстро бежишь?" —
"Погоня за пьяным верблюдом!" — ответил Саади.
"Но ты-то чего же боишься? Ведь ты не верблюд!" —
"Э, полно, мой милый, ты вовсе не знаешь базара:
Тут стоит лишь крикнуть: "Саади есть пьяный верблюд!" —
И тотчас поверят, поверив же, тотчас убьют".

В Одессе, после моей лекции о русской революции, после двух, трех моих статей в газете, начали дерзить мне, начали на меня злобствовать, умышленно искажать мои слова и даже приписывать мне то, что я никогда не говорил.

Одесскому базару не удастся превратить меня в верблюда, но он уже старается над этим с редкой находчивостью. Он пустил слух, что я умер, и стал клепать на меня с той свободой, какая возможна только тогда, когда врешь на мертвого.

Да, необыкновенно быстро дошло даже и до этого, и это так типично для наших общественно-политических и журнальных нравов, что заслуживает быть отмеченным, записанным.

Да, на днях, по поводу моих "Заметок" о Наживине,— где я буквально ни слова не сказал в защиту убеждений Наживина и восстал вовсе не против возможности обличений того или иного заблуждения, той или иной неправоты и того или иного нехорошего слова, а только против грубости, нетерпимости, яростной узколобости, либеральной пошлости, уже принесшей столько зла России, и против дурного жаргона,— в "Современ-

ном слове" наговорили про меня Бог знает чего и даже более: статейку обо мне озаглавили "Траур", а в статейке написано, что я верблюд и что я поэтому погиб, умер для русской литературы.

Ну, не анекдот ли от Робина! Сами же выдумали, что я умер, и сами же стали плакать на всю улицу: "траур, траур!" — и, вероятно, некоторые прохожие все-таки приостановились: "мол, не бывает же дыма без огня, нельзя же плакать уж так-таки без всякой причины... ну, может, и не умер еще, может, еще жив, но, уж конечно, плох". А на другое утро этому слуху "поддакнули" "Одесские новости" — и пошло писать.

Ввиду всего вышеизложенного и принимая во внимание мудрость Саади, все-таки считаю не лишним довести до сведения читателей, что "слухи о моей смерти преувеличены".

А откидывая шутки в сторону, скажу вот что. Знаю, что не подобает связываться с базаром. Но повторяю: не случайный это факт, не частный, а типический и по сути своей более значительный, чем кажется с первого взгляда, и очень, очень дурной и печальный, ежели принять во внимание то страшное время, которое еще далеко не изжито нами.

Это форменное преступление в такие дни — клеветать на нас, людей все-таки не совсем рядовых, и клеветой зажимать нам рты, дискредитировать нас ради своего политического соперничества с нами. Это большевизм своего рода, как справедливо сказал один из сотрудников нашей газеты: что там, мол, рассуждать, все средства хороши, а лучше всех — "к стенке!".

Я не правый и не левый, я был, есмь и буду непреклонным врагом всего глупого, отрешенного от жизни, злого, лживого, бесчестного, вредного, откуда бы оно ни исходило.

Я не русофоб, невзирая на то, что имел смелость сказать о своем народе немало горьких слов, основательность коих так ужасно оправдала действительность... *оправдал даже Л.Н.Толстой, которым меня еще до сих пор укоряют и который, однако, сам, собственными устами сказал в 1909 году буквально следующее (Булгакову):*

"*Если я выделял русских мужиков, как обладателей каких-то особенно привлекательных сторон, то каюсь,— каюсь и готов отречься от этого*".

Я не германофоб, не англофоб, не румынофоб и не юдофоб,— покушение налепить на меня с злыми политическими целями этот ярлык дело глупое,— хотя довольно остро чувствую некоторые отличительные и скверные черты, присущие разным народам, и, вообще, невысокого мнения о людях, особенно же

теперь, после всего того, что привел Бог мне видеть за последние годы.

Я был,— в силу того, что прежде верил в людей немного больше, чем теперь,— приверженцем республик, теперь же стал несколько сомневаться в них,— не делайте, пожалуйста, страшных глаз на меня, "не запугаете",— и я не настолько горд, как одесские журналисты, чтобы воображать, что то, чем довольствуются конституционные монархисты англичане, никуда не годится для наших головотяпов, в трех соснах заблудившихся и грызущих друг другу глотки сатане на радость и потеху.

Я и теперь еще думаю иногда: "в идеале это, кажется, чудесная вещь — все эти прямые, равные, тайные, явные и вообще народовластие", но, будучи неробкого десятка, говорю совершенно открыто без всякой боязни: убежден, что Пила и Сысойка ни к черту не годятся ни для явных, ни для тайных и что из русского "народовластия" выйдет опять гнуснейшая и кровавейшая чепуха,— видели мы и видим это "народовластие", показало оно себя!

Я задыхаюсь от стыда и боли при мысли об этом "народовластии", о днях "Временного правительства" и "Рабоче-крестьянской власти". А в иное, лучшее я пока не верю. Нет, не верю. Уверьте меня — буду искренно рад.

И наконец, еще одно заявление: да, да, я и не думаю скрываться, я теперь, кое-что прочувствовав и продумав, имею истинно лютую ненависть и истинно лютое презрение к революциям, да и можно ли не иметь этих чувств в эти дни, каким нужно обладать твердокаменным сердцем, чтобы долбить о республиках, будучи еще в разгаре междоусобной бойни, на военном фронте, в окопах, стоя у самого края адовой пропасти, куда сорвалась Россия и где так несказанно страдают сотни тысяч еще живых, живых людей, гибнущих в слезах, в скорби, в тьме, в холоде, в голоде, среди пыток, расстрелов, кровных обид, вечных заушений и надругательств, под пятой торжествующих мерзавцев, извергов и хамов!

Вот. Вот что чувствую и думаю *лично я* и *в данный момент*. Что будет завтра — не знаю: буду первый счастлив, если жизнь уменьшит мой пессимизм. Пока же я говорю лишь то, что говорю: "я ничего не предлагаю, ничего не предполагаю, я — излагаю".

ИЗ "ВЕЛИКОГО ДУРМАНА"

<1>...Сумерки,— лето 1917 года, на деревенской улице сидит возле избы кучка мужиков и ведет речь о "бабушке русской революции", о Брешко-Брешковской. Хозяин избы размеренно рассказывает:

— Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только, избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные,— я ее портрет в фельетоне видел... Сорок два года в остроге на чепи держали, а уморить не могли, ни днем ни ночью не отходили, а не устерегли, в остроге, и то ухитрилась миллион нажить. Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать... А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты-то меня и так не возьмут, года вышли...

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, "краса и гордость русской революции", как оказывается потом, дерзко вмешивается:

— У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Но тот, кто говорил о "бабушке", возражает спокойно и твердо:

— А ты, хоть и матрос, а дурак. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня лезешь? Погоди, погоди, брат,— вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать! Это тебе не над господами издеваться! Я-то тебя с твоим Жучковым (Гучковым) не боюсь!

А третий прибавляет совершенно, как говорится, ни к селу, ни к городу:

— Да его, Петроград-то, и так давно бы надо отдать. Там одно разнообразие...

И я прохожу мимо и думаю: "Там одно разнообразие! Бог мой, что за чепуха такая?" Девки визжат на выгоне:

Люби белых, кудреватых,
При серебряных часах...

Из-под горы, слышно, идет толпа ребят с гармоньями и балалайкой:

Мы, ребята, ежики,
В голенищах ножики,
Любим выпить-закусить,
В пьяном виде пофорсить...

В голове у меня туман от прочитанных за день газет, от речей, призывов и восклицаний всех этих смехотворных и жутких Керенских. И я думаю: "Нет, большевики-то поумнее будут. Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику!"

...Мрачный вечер,— сентябрь того же года, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно и зловеще рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе навыпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо. Скушно.

— Да почему же?

— Да так. Был я вчера в городе. Прежде, бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нет. Нипочем нету. Приказчик говорит: "хлеба дадите, тогда и товару дадим". А я ему так: "нет уж, вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть". Только сказать — до чего дошло. Подметка 14 рублей. Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу,— будут буржуазию резать, ах будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед,— очень пьяный,— и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами дьякона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

— А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

— А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не дьякон разве?

— А тебя?

Уронил голову и, подумав, мрачно:

— Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. "Ты, говорит, свою долю уже взял". А если я еще хочу? "Нет, говорит, такого закону". Хорош, ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо. Теперь никакого закона нет... Погоди, погоди,— обращается он к караульщику,— и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу,— дай срок!

...Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы:

— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список № 3!

Мужики, слышавшие эти призывы в городе, говорят дома:

— Ну и пес! Долги, кричит, за нами есть великие! Голосить, говорит, все будете, всё, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его закройся? Нет, это новое начальство совсем никуда! В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать! Ну, да постой: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим и толкуем по этому поводу с бывшим старостой, небогатым середняком, но справным хозяином. Он говорит:

— Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Теперь царя нету. Теперь вот будем учередительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем кандрак составлять, мы будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он, будто, у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вон свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за што ж за это кинжал в бок вставлять? Это Бог с ним и жалованьем в этой думе!

— Да то-то и дело,— говорю я,— что жалованье-то хорошее.

— Ну? Хорошее?

— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает, потом, вздохнув:

— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

— Ну, вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин.

— Конечно. Я хозяин настоящий.

Подумав и оживляясь все более:

— Да. Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей, черт его несет, отымать самохватом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и именья-то одна курица! Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня моряк будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет,— какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном собрании и самый страстный в нашей деревне революционер, Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи:

— Я, товарищи, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного "Сатирикону" небось тысячу номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он черт министр, хоть Гвоздев-то этот самый! Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню, и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: "товарищ, товарищ", а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужикам говорю: ей, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное собрание, так уж, понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно.

...Конец октября, серый ненастный день. Пробираюсь по грязной деревенской улице, вхожу в сенцы, в избу. Старуха лежит на печи, солдатка, ее невестка, спит на нарах. Старик на конике плетет лапоть. Сумрак, вонь, на полу под ногами чмокает мокрая и гниющая солома. Такие будни, такая глушь и тишина, точно я в шестнадцатом столетии, а не в бурную эпоху

"великой российской революции", перед выборами в "Великое Учредительное собрание". Сев на лавку, закурив, говорю шутя:

— Что ж, старуха, к выборам-то готовишься? Ведь предвыборная кампания, собственно, уже началась.

Отвечает довольно злобно:

— К каким это выборам? Какая я тебе кампания?

— Да ведь я тебе уже десять раз рассказывал. Вот к таким-то и к таким-то.

Помолчав, говорит твердо, непреклонно, с той свободой грубости, которая позволительна в силу нашей старой дружбы, и приблизительно в таких выражениях:

— Понимаю, что шутишь. Только никакая баба, кроме любопытных дур девок, которым лишь бы придирка была нарядиться для сборища, не пойдет на этот срам. Громом их сожги, эти выборы. Спихнули такие-то, как ты, забубенные господа, да беглые солдаты царя,— вот увидишь, что теперь будет. И теперь хорошо, а то ли еще будет! То ли еще будет!

— А ты, старик?

Но и старик отвечает очень твердо:

— Меня, батюшка, на аркане туда не притащишь, там мне старую голову проломят, если я не туда, куда хочется им, этот квиток пожелаю просунуть. Пропала, батюшка, Россия, помяни мое слово, пропала! Мы не можем.

— Что не можем?

— Не можем себе волю давать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хорош, добер, когда мне воли не дано. А то я первым разбойником, первым разорителем, первым вором окажусь. Недаром пословица говорится — своя воля хуже неволи. Нет, батюшка, умру, а не пойду.

Солдатка проснулась, раскрыла ясные глаза, сыта сном, чуть улыбается, тянется, чувствуя, что я смотрю на нее.

— А ты пойдешь?

— Вона! Обязательно! Я Кабелька не боюсь.

Какого Кабелька, что за Кабелек? А это бушевал на нашей деревне все лето и всю осень семнадцатого года один из этих беглых солдат, о которых говорила старуха. Целые дни пьян и целые дни бегает по деревне. Увидал, что в церковной ограде народ собрался возле двух приехавших из города девиц, производящих во исполнение приказа какого-то нового министра какую-то перепись,— сейчас туда: подбежал, стол ногой к черту вверх тормашками, на девиц с кулаками, на мужиков — тоже, орет неистовым голосом: "Долой, так-то вас! Расходись! Не позволю! Подо что подписываетесь? Под крепостное право

подписываетесь? Перебью всех,— скройся все с глаз моих!" И так все лето, всю осень. Все разгоняет. Разогнал даже выборы от мирян и духовенства на церковный собор: "Долой, расходись! Вот мой брат с фронта придет — он вам всю эту новую службу по церквам сам установит!" Пять раз за лето сельский сход собирали, хотели "окоротить" немного — и пять раз напрасно: боятся "окоротить" — сожжет всю деревню.

<2>...Случилось то, чему нет имени на человеческом языке, но что должно было случиться, повторилось уже не раз бывалое, только в небывалых еще размерах.

Первого мая текущего года, в Москве, в так называемой "советской" России, достигшей к этому времени <.....>* первый номер "Коммунистического интернационала". На обложке красуется, конечно, обычный лубок, самым площадным образом наляпанный земной шар, весь опутанный железными цепями, и фигура яростно размахнувшегося на эти цепи молотом рабочего, конечно, голого, конечно, только в кожаном переднике, конечно, с геркулесовскими мускулами,— а в тексте можно прочесть потрясающее по своему бесстыдству заявление Горького "пролетариату всего мира", что Россия "творит ныне великое, планетарное дело", а во-вторых, такие душу раздирающие своей грубостью строки:

— "Цари и попы, старые владыки Кремля, никогда, надо полагать, не предчувствовали, что в его седых стенах соберутся представители самой революционной части современного человечества. И, однако, это случилось, крот истории недурно рыл под Кремлевской стеной".

Строки эти принадлежат одному из главнейших представителей "рабоче-крестьянской власти", царствующей в Кремле,— о, Бог мой, эта власть — какая это стократная нелепость, какой архииздевательский хохот над одурманенной, черту душу продавшей Россией! — строки принадлежат Троцкому и звучат, как видите, очень уверенно. Однако, только в одном прав Троцкий: подлый зверь, слепой, но хитрый и когтистый крот в самом деле недурно рылся под Кремль, благо почва под ним еще рыхлая,— в остальном Троцкий ошибается. Старые владыки Кремля, его законные хозяева, его кровные отцы и дети, строители и держатели русской земли, в гробах перевернулись бы, если бы слышали Троцкого и знали, что сделали над русской землей его сообщни-

* Пропуск строки в подлиннике (*ред.*)

ки; несказанна была бы их боль при виде того, что совершается в стенах и за стенами Кремля, где по развеселому восклицанию одного нынешнего московского поэта,

Из опрокинутой лоханки,—
Как вода в бане,
Кровь, кровь хлещет,

невыразимый ужас охватил бы этих царей и "попов" при виде того гигантского кровавого балагана, в который превращена Россия, но думаю все-таки, что предчувствовать всяческие новые беды и позорища, которые еще много раз могут поразить их несчастную родину, они не только могли, но и должны были. Они знали и помнили о страшных и многократно повторявшихся на Руси днях всяческих смут, усобиц, "свар", "нелепиц", когда, по слову летописца,— как будто о наших днях говорящего,— когда "земля сеялась и росла усобицами", когда "редко звучал голос земледельца, но часто каркали вороны, деля меж собой трупы, ибо сказал брат брату: это мое, а это мое же, а поганые со всех сторон приходили на них с победами, и стонал тугою Киев, а Чернигов напастями...". Цари и "попы" многие могли предчувствовать, зная и помня летописи русской земли, зная переменчивое сердце и шаткий разум своего народа, его и слезливость и "свирепство", его необозримые степи, непроходимые леса, непролазные болота, его исторические судьбы, его соседей, "жадных, лукавых, немилостивых", и его "младость" перед ними, его всяческую глушь и дичь и его роковую особенность: кругами совершать свое движение вперед,— знали, словом, все то, от напасти чего все-таки спасали его "цари и попы", подвижники и святители московские, радонежские, саровские, соловецкие,— все то, что заставило Грозного воскликнуть: "аз есмь зверь, но над зверьми и царствую!" — все то, что еще слишком мало изменилось до наших дней, да и не могло измениться по щучьему веленью при всех этих степях, лесах, топях и за такой короткий срок, который насчитывается настоящей русской государственности.

"Цари и попы!" Вот мы так действительно не предчувствовали долженствующего случиться. А случился, опять случился именно тот Пушкинский бунт, "жестокий и бессмысленный", о котором только теперь вспомнили, повторилось уже бывалое, хотя многие и до сих пор еще не понимают этого, сбитые с толку новым и вульгарно-нелепым словом "большевизм", мыслят совершившееся как что-то еще невиданное, в прошлом

имеющее только подобие, чувствуют его как нечто такое, что связано с изменяющейся будто бы мировой психикой, с движениями того самого европейского пролетариата, который несет будто бы в мир новую прекрасную религию величайшей гуманности и в то же самое время требует "невмешательства" в непрерывное и гнуснейшее злодеяние, которое творится среди бела дня в двадцатом веке, в христианской Европе.

История повторяется, но нигде, кажется, не повторяется она так, как у нас, и не Бог весть сколько оснований давала ее азбука для розовых надежд. Но мы эту азбуку сознательно и бессознательно запамятовали.

Один орловский мужик сказал мне два года тому назад удивительные слова:

— Мы, батюшка, не можем себе волю дать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хорош, добер, пока мне воли не дашь. А то я первым разбойником, первым грабителем, первым вором, первым пьяницей окажусь...

Что это, как не первая страница нашей истории? "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет... растащите нас, а то мы все перегрызем друг другу горло... усмирите нас — мы слишком жестоки при всем нашем прекраснодушии и малодушии... введите нас в оглобли сохи и принудьте нас пролагать борозды, ибо иначе наша богатейшая в мире земля зарастет чертополохом, ибо мы зоологической трудоспособности... словом, придите и володейте нами, в нас все зыбкость, все черезполосица... мы и жадны — и нерадивы, способны и на прекрасное, на высокое — и на самое подлое, низменное, обладаем и дьявольской недоверчивостью — и можем быть опутаны нелепейшей, грубейшей ложью, заведены в какую угодно трясину с невероятной легкостью..." Вот наше начало, а дальше что? А дальше Васька Буслаев, горько на старости кающийся, что уж слишком было много смолоду "бито и граблено"... А дальше "великие российские революции": удельные вековые смуты, московские вековые смуты, лжевожди, лжецари из последних ярыг и бродяг, перед которыми при исступленных криках радости и колокольных звонах окарачь ползли и над растерзанными трупами которых так исступленно и гадко измывались потом... Дальше несметные украинские побоища и зверства, кровавый хам Разин, которого буквально боготворили целые поколения русской интеллигенции, страстно жаждавшей его второго пришествия, той заветной поры, "как проснется народ...". Дальше, говорю, все то же: шатание умов и сердец из стороны в сторону, саморазорение, самоистребление, разбои, пожарища, разливанное море разбитых кабаков, в зельи которых ошалевшие

люди буквально тонули порой, "захлебываясь до смерти", а наутро — тяжелое похмелье и приступы лютой чувствительности, слезы покаяния перед святынями, вчера поруганными, "поклоны" перед Красным Крыльцом отрубленными головами лжецарей и лжеатаманов,— помни, помни это, "самая революционная часть человечества", засевшая в Кремль!

Вот невольно, только что пережив и еще не изжив все то, что творилось вчера и творится еще и нынче на Украине, в колыбели славянской души, невольно вспоминаешь Хмельницкого и его сподвижников: что это было? А вот прочтите по складам: "Холопы собирались в шайки, дотла разрушали гнезда и богатых, и бедных, уничтожали целые селения, грабили, жгли, резали, надругались над убитыми и посаженными на кол, сдирали с живых кожу, распиливали их пополам, жарили на углях, обливали кипятком, самое же ужасное остервенение выказывали к иудеям: на свитках торы плясали и пили водку, вырывали у младенцев внутренности и, показывая кишки родителям, с хохотом спрашивали: "Жид, это трефное?" — Вот что было. Мы же сваливали все погромы только на царя, да на его "сатрапов и приспешников". А сам Хмельницкий? "Он то постился и молился, то без просыпу пил, то рыдал на коленях перед образом, то пел думы собственного сочинения, то был очень слезлив, покорен, то вдруг делался дик и надменен..." А сколько раз менял он свои "ориентации", сколько раз нарушал клятвы и целование креста, с кем только не соединялся!

Вот Емелька и Стенька, мятежи которых, слава Богу, даже уже начали ставить в параллель с тем, что совершается, все еще не осмеливаясь, однако, делать из этого должных выводов. Снова разверните и прочтите читанное в свое время, может быть, невнимательно: "Стенькин мятеж охватил всю Россию... поднялось все язычество",— да, да, пусть не бахвалятся Троцкие и Горькие своей "красной" Башкирией, это "планетарное дело" уже было, было и до "третьего интернационала!" — "поднялись зыряне, мордва, чуваши, черемисы, башкиры, которые резались и бунтовали, сами не зная, за что бунтуют они. По всему московскому государству, вплоть до Белого моря, шли "прелестные письма Стеньки, в которых он заявил, что идет истреблять бояр, дворян и приказных, всякое чиноначалие и власть, учинить полное равенство...". Все взятые Стенькой города обращались в "казачество", все имущество этих городов "дуванилось" между казаками Стеньки, а сам Стенька каждый день был пьян и обрекал на смерть всякого, кто имел несчастье

не угодить "народу": "тех резали, тех топили, иным рубили руки и ноги, пуская потом ползти и истекать кровью, неистовствовали над девственницами, ели, подражая Стеньке, мясо в постные дни и силою принуждали к тому всех прочих..." А сам Стенька "был человек своенравный и непостоянный, то мрачный и суровый, то бешеный, некогда ходивший пешком на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, а потом отвергший посты, таинства, осквернявший церкви, убивавший собственноручно священников... Жестокий и кровожадный, он возненавидел законы, общество, религию,— все, что стесняет личное побуждение... сострадание, честь, великодушие были незнакомы ему, местью и завистью было проникнуто все существо его...". А все "воинство" Стеньки состояло из беглых, воров, лентяев,— всей той голытьбы, которая называла себя казачеством, хотя природные казаки Дона не терпели их, называли их "казаками воровскими". И всей этой сволочи и черни, которую уловлял Стенька в свои сети посулами, он обещал во всем полнейшую волю и полное с собой равенство, а на деле забрал ее всю в полную кабалу, в полное рабство: малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...". Бог мой, какое разительное сходство с теперешним разбоем, чинимым во имя будто бы "третьего интернационала", хотя, конечно, Стенькина власть была все-таки в тысячу раз естественнее нынешней "рабоче-крестьянской власти", самой противоестественной и самой нелепой "нелепицы" русской истории, хотя, конечно, "правительство" Стеньки,— все эти Васька Ус, Федька Шелудяк, Алешка Каторжный,— было все-таки во сто раз лучше нынешнего "рабоче-крестьянского правительства", засевшего в Кремль и в отель "Метрополь"!

<3>...Толстой говорил, что многое совершенно необъяснимое объясняется иногда очень просто: глупостью.

— В моей молодости,— рассказывал он,— у нас был приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последний грош заводную канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп!

Да, большую роль играет в человеческих делах и простая человеческая ограниченность, умственная скудость, слабость внимания, логики, наблюдательности, вялость и распущенность мысли, поминутно не доводящей своего дела до конца,— этим последним мы, народ сугубо эмоциональный, особенно страдаем.

Но помимо всех этих качеств, равно как и многих других, низких и корыстных, есть и другие тяжкие грехи на всех тех, что вольно и невольно содействовали всему тому кровавому безобразию и ужасу, среди которых мы живем уже третий год: отрешенность от живой действительности, незнание ее и даже *нежелание* знать ее.

Герцен сказал: "Не зная народ, можно его покорять, угнетать, но освобождать нельзя". А самому русскому народу принадлежит между прочим вот такая старинная пословица: "Из нас, как из древа,— и дубина и икона". Не мы ли сами, по нашей глупости, легкомысленности, хотели этой самой дубины? И не мы ли, наряду с этим, желали видеть в народе только икону?

Из жизни, из литературы бралось только то, что есть вода на революционную мельницу, остальное пускалось мимо ушей, замалчивалось. Вот, например, Глеб Успенский. Сколько жесточайших характеристик народа! "Нет, не о человеческом достоинстве говорят мои воспоминания... Все в деревне несчастны, бешены, злы, подлы... Молодость души, ум, могучий и кроткий тип — все это до тех пор, пока мужик во власти земли... Прежде туда, где жили звериным обычаем, вносил свет угодник, инок... теперь остался только Каратаев и хищник... Почему, говорили мне не раз, вы берете только возмутительные явления? Но я обречен на подбор этих ужасов, ибо это есть господствующее в деревне... Вот деревенский кулак, публичный дом держит — и все им восхищаются: "умел нажить!" — все ему холопски услуживают и восклицают с радостью: "уж он-то меня — и холоп-то я, и подлец-то я!". Вот молодой парень, какая природная кровожадность, какая глубокая ненависть к своему же брату мужику! Любит смотреть на смерть животных, на их страдания, сжег целый фартук щенят в печке — и весел... Весь деревенский ум, талант идет на кулачество, и злорадство в основе всей такой деятельности... И никто не ценит ни своей, ни чужой личности... Все говорят сами же про себя: "палки хорошей на нашего брата нету!" — Так писал Успенский. Но из него брали только нужное для революционной мельницы. И Успенским же опровергали, например, меня; им же пользуясь, распекал и учил меня насчет народа последний аптекарский ученик, ныне сделавший из русского мужика социалиста, республиканца.

Всего лет пять тому назад, мне, жившему тогда не в какой-нибудь зырянской глуши, а в Орловской губернии, не раз приходилось слышать, как мужики, эти самые социалисты-то,

всерьез рассуждали о том, что где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиной. Но какое дело нашим революционерам до этой кобылы! Обо мне неизменно говорили: "ну, конечно, художественный талант у него и такой и сякой, а все-таки это так, да не так, и все-таки он не мужик, а про мужика может по-настоящему сказать только мужик",— да, даже и такие махровые глупости говорили обо мне, совсем упустив из виду, что для того, чтобы писать, например, "Короля Лира", вовсе не обязательно быть самому королем, и что я мог спросить моих критиков: как же вы-то, не будучи королями, решаетесь критиковать "Короля Лира"?

В прошлом июле, в Одессе, я слышал, как просвещал своих товарищей один красноармеец, в бархатном кресле сидевший на часах, все время игравший затвором винтовки и поражавший боязливо проходивших мимо него "граждан" своей разломанной позой, картузом на затылок и сальными волосами, напущенными на мутные, сонно-неприязненные глаза:

— А Петроград весь под стеклянным потолком будет. Так что ни дождь, ни град, ничего...

А ведь как вознесли мы того самого солдата, которому нужно было привязывать к левой руке сено, а к правой солому, чтобы он мог в первые недели казарменной учебы отличать левую руку от правой, и о прохождении которым унтер-офицерской "словесности" рассказано столько смехотворных анекдотов! Как кричали и кричим мы на весь мир, что этот красноармеец есть пламенный и сознательный участник "мировой социальной революции"!

В четырнадцатом году орловские бабы спрашивали меня:

— Барин, а что же это правда, что пленных австрийцев держать на квартире и кормить будут?

Я отвечал:

— Правда. А что же с ними делать?

И бабы спокойно отвечали:

— Как быть! Да порезать, да покласть.

А ведь как уверяли меня господа, начитавшиеся Достоевского, что эти самые бабы одержимы великой жалостью к "несчастненьким" вообще, а к пленному врагу особенно, в силу своей кровной принадлежности к "Христолюбивому простецу". А ведь как топали на меня ногами мои критики, и что бы сказал про меня, например, критик Скабичевский, разбиравший всю жизнь произведения о народе и однажды признавшийся мне с идиотической радостью, что он никогда за всю свою жизнь не видал ржаного поля!

И все это не шутки и не мое личное дело, не мои счеты с моими читателями,— это дело, эти счеты общественные, тесно связанные с огромнейшим бедствием всей России. Я касаюсь литературы, ее деятелей, ее знатоков и изобразителей народа потому, что все те, которые так много способствовали всему тому, что случилось, и большинство которых еще и теперь, вольно и невольно, способствует продолжению этого случившегося, весьма и весьма питались в своих идеологиях и в своих знаниях о народе именно литературой. А литература эта была за последние десятилетия ужасна. Деды и отцы наши, начавшие и прославившие русскую литературу, не все же, конечно, "по теплым водам" ездили, "меняли людей на собак" да гуляли с книжками Парни в своих "парках, среди искусственных гротов и статуй с отбитыми носами", как это кажется писателям нынешним: они знали свой народ, они не могли не знать его, живя с ним в такой близости, они были плоть от плоти, кость от кости своего народа и не имели нужды быть корыстными и несвободными в своих изображениях его, и все это недурно доказали и Пушкин, Лермонтов и Толстой, и многие прочие. А потом что было? А потом началась как раз *несвобода*, начался разрыв с народом,— несвобода хотя бы потому, что стало необходимым служить определенной цели, освобождению крестьян, а разрыв — в силу ухода писателя в город. И знание народа стало слабеть, а нарочитое изучение его не шло на лад: записал кое-что Киреевский, Рыбников, сходил Якушкин раз, другой в народ, поссорился во хмелю с каким-то исправником — и конец. И пришел разночинец, во-первых, гораздо менее талантливый, чем его предшественники, а во-вторых, угрюмый, обиженный, пьющий горькую,— почитайте всех этих Левитовых, Решетниковых, Орфановых, Николаев Успенских,— и вдобавок уже сугубо тенденциозный, пусть с благими целями, но тенденциозный, да еще находящийся в полной зависимости от моды, от направления своего журнала, от идеологии своего кружка и в самом лучшем случае, т.е. при наличности большого таланта и благородства, человек с разбитым сердцем, как, например, Успенский Глеб. А дальше что? А дальше количество пишущих, количество профессионалов, а не прирожденных художников, количество подделывающихся более или менее талантливо под художество все растет, и читатель питается уже мастеровщиной, либеральной лживостью, обязательным, неизменным народолюбчеством, трафаретом: если лошадь, то непременно "росинант" или "лукавая пристяжная", а если мужик на козлах, то непременно "мужичонка", все

норовящий эту пристяжную "вытянуть кнутом", если уездный город, то непременно свинья в грязи среди площади, да герань в окне, если помещик, то непременно псарь, зубр, черносотенный земский начальник, а на столе у него — "желтые густые сливки, сдобные печенья собственного изготовления Марфы Поликарповны, ярко вычищенный самовар", если деревня, то "лохматые избенки, жмущиеся друг к другу и как-то пугливо взирающие на проезжего" — и, Бог мой, сколько легенд о жестокостях крепостного права и о Разине, слышанных будто бы на охоте: "случилось мне однажды, с ружьем и собакой, забрести в глухие приволжские леса; долго ходил я в поисках живности, а день между тем клонился к вечеру, а дождь между тем все усиливался, так что приходилось уже серьезно подумывать о ночлеге..." — где, конечно, и должна быть услышана легенда. А дальше что? А дальше уже нечто ужасное по литературщине, по дурному тону, по лживости, по лубку,— дальше Скиталец, Горький, тот самый Горький, который на моих глазах, в течение целых двадцати лет, буквально ни разу, ни единого дня не был в деревне, не был даже в уездном городе, если исключить один месяц в Арзамасе, и даже после восьмилетнего пребывания на Капри шагу не сделал, возвратясь в Россию, дальше Москвы, а все пишет да пишет на героический лад о русском народе, ушибая критика и читателя своей наигранной внушительностью, своим литературным басом, своей "красочностью"...

О народе врали по шаблону, в угоду традициям, дабы не прослыть обскурантом и благодаря круглому невежеству относительно народа, и особенно врала литература, этот главный источник знания о народе для интеллигенции, та невежественная и безграмотная литература последних десятилетий, которая уже спокойно заносит теперь в число своих изображений деревни описание "колосистого пшена", "цветущей полыни", "голубей, сидящих на березах", цветов, которые "поспевают" в саду,— та литература, которую Толстой очень часто называл "пересоленной карикатурой на глупость", "сплошной подделкой под художество", сплошной фальшью.

Крыленко, Дыбенко... Чехов однажды сказал мне:

— Вот отличная фамилия для матроса: Кошкодавленко...

А мы-то не предчувствовали этого Кошкодавленко и очень удивились Дыбенке!

Раз, весной пятнадцатого года, я гулял в Московском зоологическом саду и видел, как сторож, бросавший корм птице, плававшей в пруде и жадно кинувшейся к корму, давил каблу-

ками головы уткам, бил сапогом лебедя. А придя домой, застал у себя В.Иванова и долго слушал его высокопарные речи "о Христовом лике России" и о том, что, после победы над немцами, предстоит этому лику "выявить" себя еще и в другом великом "задании": идти и духовно просветить Индию,— да, не более не менее как Индию, которая постарше нас в этом просвещении этак тысячи на три лет! Что же я мог сказать ему о лебеде? У них есть в запасе "личины": лебедя сапогом — это только "личина", а вот "лик"...

Как интеллигенция почерпала свои знания о народе? Помимо литературы — еще и посредством общения с народом, а общение это было, например, такое:

Поздней ночью, едучи из гостей или с какого-нибудь заседания на стареньком гнутом извозчике по улицам Москвы или Петербурга, позевывая, спрашивали:

— Извозчик, ты смерти боишься?

И извозчик машинально отвечал дураку барину:

— Смерти? Да чего ж ее бояться? Ее бояться нечего.

— А немцев — как ты думаешь, мы одолеем?

— Как не одолеть! Надо одолеть.

— Да, брат, надо... Только вот в чем заминка-то... Заминка в том, что царица у нас немка... Да и царь — какой он, в сущности, русский?

И извозчик сдержанно поддакивал:

— Это верно. Вот у нас немец управляющий был — за всякую потраву полтинник да целковый. Прямо собака...

Вот вам и готова твердая уверенность, что наш "мужичок мудро относится к смерти" и непоколебимо убежден в победе. Вот вам и чудо-богатырь, и "богоносец", и "Христолюбивый простец", который, "если бы его не спаивали да не держали бы в рабстве"...

Думали и твердили все поголовно, с детской восторженностью, в начале марта семнадцатого года: "Чудо, великое чудо! Бескровная революция! Старое, насквозь сгнившее рухнуло — и без возврата!"

Что? Богоносец? Чудо? Бескровная?

Трезвый "богоносец" сотворил такое бескровное чудо, перед которым померкли все чудеса, сотворенные им во хмелю. Толки о чуде оказались чудовищными по своей легкомысленности и недальновидности. Да и насчет старого ошиблись. Старое повторилось чуть ли не йота в йоту, только в размерах, в нелепости, в кровавости, в бессовестности и пошлости еще неслыханных. Нет, "не прошла еще древняя Русь"! Я утверждал это

упрямо в свое время, утверждаю и теперь,— увы, с еще большим правом.

На всех перекрестках твердили: "В русском народе произошел огромный сдвиг, он растет не по дням, а по часам. Пришла великая война — взгляните, как сознательно встал он во весь рост на борьбу с немецким милитаризмом! Совершилась величайшая в мире революция — и взгляните: ни капли крови! Да здравствует война до победного конца! Да здравствует раскрепощенный солдат гражданин!"

Вот тебе и "сдвиг", и "во весь рост", и "ни капли крови", и "солдат гражданин", раскрепощенный по указу № 1, авторами которого были — какая опять ужасающая нелепость! — какой-то Стеклов-Нахамкес и какой-то адвокат Соколов, которому месяца через два после того, на фронте, куда он поехал уже военным комиссаром, один из этих солдат граждан так ахнул ведром в голову, что он был, по газетным известиям, "ниже пояса залит кровью"... Бог меня прости, я, помню, написал тогда на газете: "Прочел с удовольствием!"

Случилось то, чему не подберешь имени. И это случившееся можно было предугадать, и мы его не предугадали, да и не желали предугадывать.

Когда англичане еще воевали в союзе с нами против немцев, в Англии выходили книги о русской душе,— так они и назывались: "Душа России",— когда многие англичане думали, что революция брызнет живой водой на Россию, удвоит ее силы на одоление врага, мне попался в руки какой-то английский журнал и в нем такая картинка из русского быта: много снегу, на заднем плане — маленький коттедж, а на переднем — идущая к нему девочка, в шубке и со связкой учебников в руке; и коттедж этот, как оказалось при ближайшем рассмотрении, изображал русскую сельскую школу, а девочка — ученицу этой школы, и имела эта девочка, как гласила подпись под картинкой, следующее престранное для девочки имя: "*Петровна*". А вскоре после того я виделся с покойным Кокошкиным. И Кокошкин, убитый так бессмысленно, так скотски, с тем зоологическим спокойствием, которое не раз подчеркивалось мною в моих изображениях русских убийств и которое казалось таким возмутительно выдуманным чуть не всем моим тогдашним читателям,— Кокошкин, с которым мы разговорились о русском народе, сказал мне со своей обычной корректностью и на этот раз с необычной для него резкостью:

— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините, слишком исключительными, что ли...

И, помню, с каким удивлением и почти ужасом думал я, возвращаясь домой после этого разговора:

"Да что ж это такое? Чем это лучше "Петровны"? Англичанам, конечно, отчасти простительна "Петровна", но нам? Какое младенческое неведение или нежелание ведения относительно своего собственного народа, который как раз теперь призван к участию в судьбах Европы и о горячей, сознательной готовности которого участвовать в них уже сказано искренними Кокошкиными и сотнями других, гораздо менее искренних, столько ошибочных и просто обманных слов! Нет, это нам даром не пройдет!"

И точно — не прошло. От копеечной свечки Москва сгорела. В домах деревянных, крытых соломой, играть огнем особенно опасно.

<4>...Случилось то, что должно было случиться в стране полудикой, полуазиатской, и уж если употреблять это вульгарное слово "большевизм", то случился именно большевизм, которым не только продолжалось, но и началось дело. Еще в семнадцатом году сказал генерал Деникин, что налицо форменное помешательство народа, что армии уже нет, что она вконец разложена Временным правительством. Еще в семнадцатом году газеты, все эти "Власть народа", "Дело народа", "Воля народа", "Новая жизнь", "Новое слово", на одной полосе печатая хвалы народу и революции, т.е. почти то же, что печатают подобные им и до сей поры, на другой полосе о власти, о делах, о воле народа и о его новой жизни писали с ужасом, сообщали о каждодневных грабежах, погромах и пожарищах, о сожжении мужиками своих провинившихся односельчан на кострах,— "власть народа" в самом деле уже была тогда, в том смысле, что тогда буквально каждый вообразил себя властью,— сообщали о зарывании в землю живых людей, о пытках при допросах в разных "советах рабочих и крестьянских депутатов"... Мы не с октября, а с самого марта семнадцатого года пребываем в этом мраке, этом дурмане, дурмане злом, диком и, как всякий дурман, прежде всего переполненном нелепостями, на этот раз нелепостями чудовищными. И дурман этот еще длится, и человек, более или менее не поддавшийся ему, поминутно с ужасом и с изумлением протирает глаза. Кровь продолжает течь реками,— нелепейшая в мировой истории, колоссальная война между русскими, между двумя огромными русскими армиями, одна из которых идет под высоким водительством бывшего газетного корреспондента, еще в полном разгаре... Английский

композитор Коутс, недавно бежавший из Петербурга, сообщает, что в прошлом феврале в Петербурге умерло от голода восемь тысяч человек, и в то же самое время оперы, концерты были битком набиты матросами, солдатами, перед которыми артисты пели, едва держась на ногах от голодного головокружения... В Москве на днях в одну ночь убито семьдесят семь общественных деятелей, принадлежавших к цвету русской интеллигенции... А Вильсон, точно младенец, не имеющий ни даже малейшего понятия ни о мере, ни весе, проводит параллели, сравнения, от которых можно прийти в исступление ярости: "О да, теперь я вижу, русское советское правительство еще более жестоко, чем царское..." А социалистический конгресс, недавно заседавший в Люцерне во главе с нашим Церетели, царственно постановил, что "вмешательство во внутренние дела России" недопустимо ни в каком случае... Что это такое? Что за сумасшедший сон среди белого дня? А наши газеты приветствуют постановление этого конгресса, а наши газеты, извергая громы и молнии по поводу этих семидесяти семи убийств, все время восклицают: "Какое попрание интересов демократии! Страшно за демократию!" Что это такое? При чем тут "демократия"? Почему только за "демократию"?

И ведь все, все так; все повергает в изумление, все мутит разум. Голова постоянно полна не только страшными и нелепыми известиями, только что узнанными, но и столь же страшными и нелепыми воспоминаниями. Бывало, читаешь утром: "Да, мы верим в русский народ и его революцию,— сермяжный гражданин, отныне державный хозяин земли русской, крепко стоит на страже ее, крепко держит в своих мозолистых руках ее священное знамя!" А что видишь в полдень, выйдя на деревню? Сидит возле избы солдат-дезертир, курит и напевает: "Ночь темна, как две минуты..." Что за чушь? Что это значит — как две минуты? "А как же? Я верно пою: как две минуты — здесь делается ударение". Еще глупее! Какое ударение? И все это в семнадцатом, роковом для России году, и это тот самый русский солдат, которого Верховный главнокомандующий из адвокатов так долго и так по-товарищески вдохновлял на борьбу с немецким империализмом, а он, этот товарищ солдат, преспокойно перебил сотни своих офицеров вместо немецких, преспокойно швырнул этому империализму тридцать пять своих губерний да на целые миллиарды военного имущества и поспешил домой, в надежде стать обладателем одной барской десятины, по дороге искалечил сотни паровозов, заколол штыком несколько десятков начальников станций, не поспевших

мгновенно подать ему поезд, вдребезги разнес все стекла в вагонах, ободрал все вагонные диваны, завернул по дороге в свой уездный город, случайно поймал там воинского начальника, проломил ему камнем голову, разул его и весь день с гоготом водил его, босого, по городу,— бьет бутылки и заставляет плясать по стеклу! — а затем посидел дома на завалинке, покуривая, поплевывая и говоря: "А мне один черт — под немца, так под немца!" — а затем, обкладывая бранью "жида" Керенского, будучи в душе лютым жидоедом, выбрал в Петербургскую думу Шрейдера, в Московскую — Минора, в Елецкую — Лапинера, в Курскую — Соловейчика и так далее и так далее, кричал "ура" идиотке и кликуше Спиридоновой, отлично видя, что она идиотка и кликуша,— и все за что? — за то, что "землю сулят, волю мне полную во всем дают",— переименовал все "Вшивые горки" в Карл-Маркс-Штрассе, нагадил во всех дворцах, повалил чуть ли не все свои исторические памятники, расстрелял "за хорошее жалованье" свою Москву, свой Ярославль, убил Духонина, одобрил кивком головы Брестский мир, где за великую Россию расписался репортер Карахан, убил Корнилова, убил и утопил в Неве за одного Урицкого тысячу ни в чем не повинных людей,— "ровно тысячу", как с торжеством писала "Красная газета",— перебил и потопил, короче сказать, столько, что два года читаешь изо дня в день: "трупы в Черном море, трупы в Волге, в Каме, в Днепре...",— понаделал, одним словом, столько дел, что сам сатана не исчислит сразу все низости, все злодейства и все нелепости этого революционера, который еще вчера валялся на печи, мусором голову пересыпал, из косточки в косточку мозжечок переливал, а завтра, после всех славных похождений, начнет скулить, оправдываться: "Я что ж, я дурак, я баран, что Илья, то и я, это меня ребята сманули, это меня жиды подучили..." Бог мой, что было бы наконец с нашими душами, с нашим разумом, если бы не стало проглядывать небо среди этой дурманной мглы!

О ГОРЬКОМ

Год тому назад, в первом номере "Коммунистического интернационала", выходящем в Москве, Горький воспел хвалу русскому народу и его новым вождям,— Ленину, Троцкому и пр. Он писал:

"Еще вчера мир считал русских мужиков полудикарями, а ныне идут они к победе за III-м Интернационалом, идут пламенно и мужественно — и каждый должен признать *планетар-*

ное значение тех деяний, кои совершаются русскими честнейшими революционерами: их честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать..."

Недавно Горький разразился новой хвалой Ленину, которая далеко оставляет за собою вышеприведенную тираду о "планетарных" деяниях в России и об этой, тоже поистине "планетарной", честности своих соратников.

А вот что "еще вчера", а именно осенью 1914 г, говорил он в Москве, в Юридическом о<бщест>ве, открыто выражая опасения насчет победы русских над немцами:

"Я боюсь, боюсь, что Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!"

А вот как "еще вчера", а именно 7-го февраля 1918 г., аттестовал он гг. Лениных и Троцких в своей "Новой жизни" (снова цитируя буквально; у меня сохранилась вырезка из этого аттестата):

"Перед нами — компания авантюристов, которые ради собственных интересов готовы на самое постыдное предательство родины, революции и пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых!"

Думаю, что эту маленькую справку о Лениных и о "брюхе" (мне за нее в стране "планетарных деяний" вырезали бы язык!) стоит прочесть и французам.

СУП ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПАЛЬЦЕВ

Открытое письмо к редактору газеты "Таймс"

Господин редактор, до сведения моего дошло, что русский писатель Горький обратился к английскому писателю Уэллсу с престранным письмом — о супе из человеческих пальцев. Он пишет:

— "Дорогой Уэллс! Газета "Таймс" напечатала рассказ англичанина, вернувшегося из России и сообщающего, что в одной из коммунальных столовых Петербурга он ел суп, где плавали человеческие пальцы. Если бы эта мрачная глупость была напечатана в уличном листке, цель которого дать пищу дурным инстинктам толпы, я не обратил бы внимания на дикую выходку человека, видимо, раздраженного и, должно быть, неумного, но тут нахожу необходимым известить вас, что рассказчик солгал. Поверьте, дорогой Уэллс, мы, русские, все-таки еще не дошли до каннибализма и, я уверен, не дойдем, несмот-

ря на то, что высококультурные государства Запада весьма озабочены созданием для России таких условий, которые помогли бы скорейшему и окончательному одичанию и вырождению русского народа.— Мы живем в такие дни, когда самое разнузданное и злое воображение не может создать ложь и клевету, которые были бы страшнее правды, и одной из таких отвратительных правд является травля России, страны, напрягающей всю свою волю и творчество социального опыта общечеловеческого значения.— Следовало бы предоставить нас нашему разуму или нашему безумию, то и другое поучительно было бы для Европы. Но Европа стремится задушить нас. Не думаю, чтобы это удалось ей, но возможно, что ее политика толкнет нас в сторону Азии. Не предвидите ли вы в этом страшную угрозу культуре Европы? — Поверьте, дорогой Уэллс, я не закрываю глаза на отрицательные явления, но я вижу, как в русской массе пробуждается воля к творчеству. А для меня актуализм — начало всех начал, ибо в начале было деяние!"

Господин редактор, Вы, конечно, согласитесь со мной, что письмо это поистине замечательно, как, впрочем, и все, что исходит из горьковской России, где, очевидно, и в помине нет ни "мрачных глупостей", ни "уличных листков", ни "пищи для дурных инстинктов толпы", ни "диких выходок", где заборный язык, упрощенный заборным правописанием, так смел и точен: "солгал", "буржуазная сволочь", "шкурник", "прихлебатель капитализма", и так далее. Какая в каждой строке этого письма серьезность, широта взглядов, просвещенность! — "Важен только актуализм... В начале всех начал было деяние..." И вообще все так веско, внушительно, сурово и в то же время снисходительно, звучит то басом угрозы, то октавой нежности,— "поверьте, дорогой Уэллс!" — то скромным напоминанием о своей мощи,— "не думаю, чтобы Европе удалось задушить нас, не забывайте об Азии!" — то мудрой объективностью: "я не закрываю глаза на отрицательные явления..." А главное — какое утешение всему человечеству! В русских супах *еще* не плавают человеческие пальцы, "мы, русские, *еще* не дошли до каннибализма и, я уверен, не дойдем до него!" Но позвольте, г. редактор, заявить на страницах Вашей уважаемой газеты, что мне, тоже русскому писателю, и Божией милостью не последнему сыну своей родины, не менее Горького знающему и любящему ее, письмо это *все-таки* не импонирует и делает некоторую крупную неловкость перед "дорогим Уэллсом".

— "Мой бледнолицый брат есть лжец!" — страстно воскликнул один людоед в лицо миссионеру: — "мой бледнолицый брат утверждает, что мы съели его слугу, зажарив его на огне, меж тем, как мы еще не умеем жарить тех, кого едим!".

Согласитесь, г. редактор, что письмо Горького весьма напоминает благородное негодование этого людоеда. Хуже всего то, что Горький совсем не убедил меня: я *все-таки* сомневаюсь, что в горьковской России "еще не умеют жарить тех, кого едят", по следующим двум причинам: во-первых, потому, что вообще людоедство не такой уж древний факт,— ели же русские люди друг друга, например, при Борисе Годунове: "боялись пускаться в путь, чая быть в пути зарезанными и съеденными",— а во-вторых, в силу того, что, увы, уже *не впервые* появляются в европейских газетах те "мрачные глупости", в одной из коих с таким наивно-мрачным торжеством уличает Горький английскую газету: я уже не раз читал и слышал, будто китайцы торгуют в Петрограде человеческим мясом, конечно, еще из-под полы, но торгуют, и не вижу здесь ничего невероятного, ибо соратники Горького, воцарившиеся в России *"исключительно по нашей милости"*, как недавно дословно заявил немец Людендорф, загнали Россию, куда дальше времен Годунова, ибо факт неописуемого, чисто пещерного голода, истребляющего Россию уже целых три года, все-таки ни для кого в мире не подлежит сомнению.

Повторяю: мне, г. редактор, весьма неловко перед "дорогим Уэллсом". Конечно, он любитель всего фантастического и странного, но Вы все-таки, надеюсь, понимаете, что я хочу сказать. Допустим, хочу я сказать, что все эти слухи о людоедстве только "травля России" со стороны "буржуазных хищников", стремящихся Россию "задушить", в то время, как соратники Горького так горячо пекутся о ней и любят "травить" только русских "буржуев", русских интеллигентов, русских мужиков и рабочих, не приемлющих коммунизма, русских священнослужителей, русских помещиков, русских домовладельцев и вообще всяких "контрреволюционеров и саботажников", убивая их десятками тысяч и всячески зверствуя над ними в "чрезвычайках", ничуть не брезгуя в этом случае "давать пищу дурным инстинктам толпы" и делом и словом, уже давно низведенным в России до скотского, утробного рева: "смерть, смерть ему!" Допустим, говорю, вздорность слухов о пальцах и китайцах: как, тем не менее, нравятся вам эти горьковские "еще" и "все-таки"? И вообще: г. редактор, человек XX века, гражданин культурного, христианского мира, подумайте толь-

ко, до чего мы дошли! К дикому изумлению самого Сатаны оказалась вдруг в этом веке и в этом мире страна, "напрягающая всю свою волю на творчество социального опыта" — и уже давшая, благодаря этому "опыту", возможность,— пусть даже только возможность! — совершенно серьезно и перед лицом всего цивилизованного человечества спорить: — "едят или *еще* не едят в этой стране суп из пальцев ближнего своего?" — и тем давать повод скептикам качать головою: ох, мол, дыма без огня не бывает! К позору всего этого человечества, известный русский писатель совершенно серьезно принужден доказывать, что на пространстве большевистского опытного поля, именуемого советской Россией, люди *"все-таки еще не дошли"* до пожирания себе подобных!

Но еще крепче повторяю я, г. редактор, самое главное, самое страшное: да, да, мы, прочие русские писатели, тщетно кричавшие всему христианскому миру устами покойного Андреева: "спасите наши души!" — мы, погибающие в эмиграции, в несказанной муке за Россию, превращенную в необъятное Лобное Место, каменеющие в столбняке перед всем тем, чем горьковская Россия ужаснула и опозорила все человечество, мы, бежавшие из этой прекрасной страны, не будучи в силах вынести вида ее крови, грязи, лжи, хамства, низости, не желая бесплодно погибнуть от лап русской черни, подонков русского народа, поднятых на неслыханные злодейства и мерзости соратниками Горького, мы, трижды несчастные, с ужасом принуждены свидетельствовать, что совсем, совсем не так твердо уверены в том, в чем будто бы так уверен Горький. Мы не уверены, невзирая на все его послания к Уэллсам, что и впрямь стали пламенными борцами за Интернационал мужики из Чухломы и все те черемисы, чуваши, зыряне, в лесах которых всего каких-нибудь тридцать лет тому назад были обнаружены человеческие жертвоприношения. Мы не уверены, что русское "деяние", оно же было началом всех начал, еще не дошло до супа с человеческими пальцами, не говоря уже о том, что каннибальство не всегда же заключается только в самом подлинном людоедстве: ибо разве не злейшее каннибальство этот трехлетний "опыт" над страной, каннибальски алчущей и жаждущей, замерзающей во тьме и снегах, до нага раздетой и разутой, заедаемой вшами, под пятой свирепейших в мире деспотов? Разве не сверхканнибальство — петь бесстыднейшие гимны этому опыту, соловьем заливаться о всяческих культурах, о русской литературе и науке — в то время, как Россия по горло потонула в крови и всяческих нечистотах, и моральных

и физических, и почти вся русская интеллигенция перебита в "чрезвычайках", раздавлена морально и физически, поколела с голоду, разбежалась куда глаза глядят... в то время, когда новые "советские" писатели, эти поистине сказочные сверхнегодяи, пишут, обращаясь к Богоматери, так:

— Ах, зачем ты не сделала аборт!

Когда несметные покойники России по месяцу ждут очереди быть похороненными без гроба и нагими или пожираются собаками в полях, там, где их сразил тиф или пуля, когда, по свидетельству прошлогоднего Пироговского съезда врачей (в Харькове), количество психически больных в России растет с неописуемой быстротой и *"целым будущим поколениям России грозит маразм и вырождение"!*

Ах, господин редактор, довольно было бы с нас, русских, хотя бы и того, что вот дожили мы до таких дней, когда, по совершенно справедливому замечанию Горького, "самое разнузданное и злое воображение уже не может создать ничего постыднее и страшнее действительности", и пальма первенства в создании такого положения по самому полному праву принадлежит именно горьковской, "советской" России, ныне возглавляемой теми людьми, род которых будет проклинаем Россией будущей до семьдесят седьмого колена, как бы ни прикидывались иные из них "борцами за светлое будущее", какие бы бриллианты ни посылали они с Каменевыми в Англию и что бы ни писали они "дорогому Уэллсу"! Довольно было бы, говорю, и одного этого. Но поистине чаша скорби нашей и стыда нашего переполнена до безмерности: нет, *нас* Горький не убедил, невзирая на все свое негодование по адресу тех, кои "помогают скорейшему и окончательному вырождению и одичанию русского народа", на свою трогательную мольбу к Уэллсу еще немножко "предоставить нас нашему безумию" для "поучения Европы" и на всю запоздалую угрозу стать архиазиатом!

Париж,
25 сентября 1920 г.

КРАСНЫЙ ГИМН

Это рассказал один русский офицер, побывавший в свое время в плену у Петлюры.

— Я сидел, говорит он, в тюрьме петлюровской контрразведки в Жмеринке, когда привели к нам, в одну прекрасную

ночь, трех матросов, трех "борцов с империализмом, капитализмом и контрреволюцией", то есть служивших в таращанском красноармейском полку, а после отступления большевиков оставшихся на Украйне и только что попавшихся на зверском убийстве и ограблении какого-то "буржуазного хищника" из чистокровных украинцев.

Все трое были ребята рослые, широкогрудые, точно битюги, с валкой, но крепкой походкой, с теми бычьими шеями, на которых, по народному выражению, хоть дуги гни, так что матросы даже сутулились слегка, в наклоне держали головы. Один, самый дюжий, носил на груди георгиевский крест третьей степени, а на фуражке — белую кокарду из черепа и скрещенных под ним костей. Он особенно нагло и зловеще блестел маленькими черными глазами, широко разделенными совершенно гладким, плоским переносьем. Но хороши были и прочие.

Все трое сразу повели себя вызывающе, надменно, с какой-то беззаботно-хамской удалью и сразу стали первыми людьми в нашей камере, полными хозяевами ее. Да это было и понятно: помимо всепобеждающей наглости и каиновых печатей на лицах этих "интернационалистов", была у всех у них уйма денег,— откуда-то из штанов они то и дело вытягивали целые пачки самых разнообразных кредиток.

Привели их поздно ночью, а утром они уже поразили всю камеру самым широким размахом в тратах. И вот тут-то я и услышал впервые этот "красный гимн".

Едва проснувшись, матросы тотчас же отправили свободного караульного солдата за "самогоном", за папиросами, за мясными и яблочными пирожками и за "колотухой", жирной простоквашей из прокипяченного докрасна молока. А напившись, наевшись, накурившись до отвала, икая от плотной сытости, они растянулись на нарах и начали играть в карты на разостланном полушубке из белой овчины, явно содранном с чьих-то офицерских плеч. А наигравшись, двое лениво побросали карты и, уткнувшись лицами в овчину, задремали; третий же, тот самый, у которого было такое плоское переносье, лежа навзничь и кренделем загнув правую ногу на высоко подставленное левое колено, медленно тасуя и перетасовывая белыми от безделья руками разбухшую, атласную от грязи колоду, меланхолически заныл тусклым, сиповатым фальцетом:

— Наберу я товарищей смелых
И разграблю я сто городов,

Раздобуду казны, самоцветов —
И отдам ето все за любовь...

И потому, что пелось это таким равнодушным, таким тупоугрюмым голосом, становилось на душе тяжко, тоскливо, нудно. А матрос, все так же тошно и заунывно, все рисовал и рисовал счастье любви, какое он может дать:

— Как картинку тебя разукрашу
И куплю золотую кровать...

Мне вспомнились золоченые гербовые орлы, которые с таким остервенением сдирались по всей России с дворцов, с присутственных мест в приснопамятном марте семнадцатого года... Вспомнились дворцовые залы с золочеными карнизами, полные грязи, дыма, солдат, рабочих, жадно щелкающих семечки и внимающих с острыми глазами все как будто одной и той же лохматой фигуре, махающей короткими руками на эстраде вдалеке, среди мраморных колонн... Вспомнилась голая, как сарай, затоптанная, заплеванная зала, служившая для одной из виденных мной "чрезвычаек", где "чекисты" заседали на золоченых стульях,— недаром же золото считается символом могущества и власти! — и один за другим подмахивали смертные приговоры "в порядке проведения в жизнь красного террора"... Потом представилась мне эта "золотая" матросская кровать с лежащей на ней матросской Аспазией... А матрос, кончая песню, натужно заносил вверх мрачно окрепшим голосом:

Если ж ты мне, мой ангел, изменишь,
Будет месть моя зла и страшна,
И весь мир от меня содрогнется,
Ужаснется и сам сатана...

И вдруг, точно сорвавшись с тугой, опостылевшей привязи, залихватски, ухарски, необыкновенно гладкой, скользящей, сверкающей скороговоркой взвился:

Э-эх, жил бы да был бы,
Пил бы да ел бы,
Не работал никогда!
Жрал бы,
Играл бы,
Был бы весел завсегда!

И все это так ярко, так легко и откровенно, с такой полнотой и убежденностью вырвалось у него из груди, что я так и подскочил: — "Вот он, вот, подлинный, настоящий красный гимн! Не марсельеза там какая-то, не интернационал, вовсе

нет, а именно она, эта изумительная, ошеломляющая своим ритмом и своей жаждой "пить да жрать" частушка! Тут для этого "борца за коммунизм" весь закон и все пророки!

А матрос, развратно вихляя голосом, весь охваченный сладостью своей заветной мечты, упиваясь и темпом и смыслом своего "гимна", все катил и катил на все лады:

— Пил бы да ел бы,
Не работал никогда!
Жрал бы,
Играл бы,
Был бы весел завсегда!

"ПРЕСЛОВУТАЯ СВИНЬЯ"

Просматриваю "красные газеты", случайно попавшие в Париж через Гельсингфорс.

О, Бог мой,— помимо всех несметных зверств, убийств, низостей, растления всех основ мало-мальски пристойного и одухотворенного человеческого существования, какая еще бездна ужасающей пошлости, лубочной смехотворности и нестерпимой, адовой скуки во всем этом "красном"!

Пересмотрел клочки дневника, который я воровски вел в прошлом году в большевистской Одессе и в котором много выписок из разных "советских" газет.

Ах, какая злая и пошлая чепуха!

"Ультиматум" Раковского Румынии — "в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию и предать суду *всех* чиновников, *всех* помещиков и *вообще всех* буржуев, повинных в преступлениях против народа..."

Распоряжение о выдаче "всем трудящимся" по восьмушке горохового хлеба,— в городе был ужасный голод,— и рядом воззвание: "Граждане! Все к спорту!.."

Сообщение о том, что Нансен везет "десятки тысяч пудов" хлеба в Великороссию, "где, благодаря Антанте, ежемесячно умирают с голоду и от болезней сотни тысяч", и рядом стишки "Абрашки-Гармониста":

— "Тут вскочил как ошарашенный Колчак и присел от перепугу на стульчак..."

Бесконечные телеграммы о "перевороте" в Афганистане, о революции в Турции, о революции в Испании, о революции в Египте, о революции в Сербии, о том, что "Клемансо в панике", что "Париж весь в баррикадах", что "рыбаки, прибывшие на шаланде из Вилкова, передают о поголовном восстании *всех*

жителей по Дунаю..." "Манифест Временного Бессарабского Рабоче-Крестьянского правительства..." Болгарский коммунист Касанов "объявил войну Франции",— "смерть всем французским империалистам и издыхающей болгарской буржуазии!.."

Громовая статья о необходимости измерить "все комнаты во всех одесских буржуазных домах — в длину, в ширину и высоту..."

"Декрет об изъятии у буржуазии *всех* матрацов..." Объявление войны "империалистической Венгрии..." "Мировая свора буржуазной сволочи напрягает последние усилия..."

Известия из Москвы: "Разгрузка дров на всех железных дорогах упала на 80 процентов... Нардком решил реставрировать *все* памятники искусства... *Вся* Индия охвачена революционным пожаром..." "Румынские разбойники схватили за горло молодую советскую Венгрию... Румынские живоглоты и их прихвостни французы..."

Резолюция красноармейцев г. Вознесенска: "мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение *всего* мира, клянемся до последней капли крови..."

Объявление вне закона знаменитого завоевателя Одессы Григорьева: "Грязный, подлый, вечно пьяный наемник Антанты Григорьев ударил в спину борцам за свободу крестьян и рабочих... Белогвардейская сволочь, соединившаяся с этим подлым предателем социалистической родины, должна быть уничтожена, как бешеная собака... Григорьев окружил себя петлюровскими офицерами *с засаленными рожами, вздумал выкупаться в рабочей крови,* объявил себя гетманом и пускает глупые провокации, сочиненные в пьяном виде, о распятии Христа коммунистами, хотя всякий трудящийся должен знать, что не дело коммунистов распинать Христа, восставшего против буржуазии, и что *все* предатели и *сутенеры* должны быть изловлены и преданы в руки рабочих и крестьян..."

А дальше опять громовая статья — "товарищи красноармейцы ломают и колют приклады винтовок на *растопку* самоваров!" — а рядом наполеоновский приказ Подвойского: "Львы Красной Армии!" — это в лаптях-то и босиком! — "Львы Красной Армии! Ныне, в решительный час последней схватки с черными бандами всего мира, вы еще раз покажете всему миру..." — и опять десятки все новых и новых воззваний и приказов: "День учета всей буржуазии", "День мирного восстания", "Никаких самочинных обысков и реквизиций!", списки расстрелянных чрезвычайкой, списки убитых "на

месте" бандитов, "Мы куем новую прекрасную жизнь!", "Победа близка!", стихи о том, что Деникин хочет "взять в *свои лапы очаг*", передовицы с заголовками: "Вперед!", "На последнюю отчаянную схватку с прихвостнями Антанты!", "Прочь малодушие!", "Все к оружию!", "Социалистическое отечество в опасности!", описания торжественных похорон "борцов, павших с улыбкой на устах, под звуки Интернационала", некрологи: "ушел еще один из нас! Не стало светлого, стойкого товарища Матьяша! Гроб его утопает в цветах, у гроба — *знамена всех секций советских пекарей...*" — и вдруг совершенно неожиданное объявление: "Завтра в зале Пролеткульта грандиозный Абитур-Бал... После спектакля призы: 1) за маленькую изящную ножку, 2) за самые черные глаза... Хор исполнит Интернационал... Товарищ Коррадо изобразит лай собаки, *визг* цыпленка, пение соловья и других *животных* вплоть до *пресловутой свиньи*... Киоски в стиле модерн, сбор в пользу безработных спекулянтов, *губки и ножки целовать в закрытом киоске*, красный кабачок, *шалости электричества*, котильон и серпантин, 2 оркестра советской музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в 6 часов по *старому* времени, хозяйка — супруга командующего Третьей Советской Армией Мария Яковлевна Худякова..." (Клянусь честью, что я списываю буквально!)

Теперь передо мною петербургская "Правда" за июль и август нынешнего года.

Пересматриваю и думаю: увы, совсем даром погубленное время! Все то же, буквально все то же, что с тоской, болью, отвращением читал в восемнадцатом году в Москве, а в девятнадцатом в Одессе. Трудно представить себе более скудный и паскудный трафарет. Все тот же осточертевший жаргон, все та же яростная долбня трех-четырех мыслишек, все та же заборная грубость, все та же напыщенность самого низшего разбора, самый "высокий стиль" рядом с самой площадной бранью, все те же вопли, восклицательные знаки, аншлаги аршинными буквами, все та же превосходящая всякую меру наглость в лживости, которой пропитано буквально каждое слово, каждый призыв, каждый "лозунг", каждое сообщение, все та же разнузданная до тошноты хвастливость, все та же видимость бешеной деятельности, все та же страшная в своей маниакальности и в своей неукротимой энергии обезьяна, остервенело, с пеной у рта катающая чурбан — и все та же гнусная и жуткая действительность, явствующая в каждой газетной строке и чуть не в каждом заголовке!

Развертываешь номер за номером и видишь: "Борьба с цингой", "Борьба с холерой", "Борьба с тифом", борьба со всяческими несметными "разрухами", "Борьба со сквернословием",— "Товарищи! Пора с корнем вырвать все растущее среди нас матерное сквернословие!" — "Борьба с венерическими болезнями", "Борьба с хищениями", "Борьба с дезертирством",— "На черную доску шкурников! К стенке предателей мировой революции!" — "Облава на спекулянтов", "Облава на мешочников", "День изъятия излишков у буржуазии", "День изъятия сверхдекретных драгоценностей", "Неделя реквизиций у деревенских кулаков", "Неделя подарков бойцам западного фронта",— вы подумайте! подарков! — торжественные похороны одного "товарища", "павшего с львиным мужеством и беззаветной преданностью рабоче-крестьянскому делу", похороны другого, похороны третьего, празднество за празднеством, демонстрация за демонстрацией: — "Товарищи! Завтра народный смотр организованной мощи красного пролетариата! Все на улицу! Все под красные знамена!"

И так — из номера в номер, изо дня в день, из недели в неделю — и нет конца, нет краю этому кошмарному блудословию!

А передовицы! А военные реляции!

Опять стоит взглянуть только на одни заголовки, на одни аншлаги: — "Вперед!" — "Начало конца!" — "Они хотели войны,— они получат смерть!" — "Польша будет бита"! — "От победы к победе!" — "Польша разгромлена наголову!" — "Цепной собаке империалистов Антанты нанесен сокрушительный удар! Красные штыки твердо стоят на страже мировой революции и исполнят свой долг перед III Интернационалом до конца! Гром наших орудий вселяет ужас в сердца буржуазии всего мира!"

А там опять "ноты", опять воззвания, опять протесты: — "Мы шлем протест к рабочим всего мира! Поляки воскресили времена инквизиций, ознаменовали неслыханными зверствами оставление Луцка! Третий Интернационал не должен оставлять безнаказанными эти злодеяния!" — И не лопаются бесстыжие глаза и не становится колом распутный язык!

А среди всего этого, из глубины этого балагана, раздается от времени до времени наигранно-медлительный, то спокойно поучающий, то сурово распекающий бас Горького. Ведь нужно же ему показать, что он, невзирая на все свои хвалы "рабоче-крестьянской" России и ее властям, "не закрывает глаза на отрицательные явления".

И вот вам на страницах этой самой "Правды" — горьковская "Беседа о труде".

— "Что такое рабочий? Это человек, который взял бесформенный кусок той или иной материи и создает вещи и орудия прекрасной формы и огромной полезности... Каждая вещь — воплощение человеческой энергии... Это — неоспоримая истина. А, если — так, то казалось бы, что рабочие должны понимать культурное значение своего труда и то, что сокровища страны стали теперь собственностью их же... Но и до сего для у нас все еще не понимают этого. Нам все равно, это не наше, говорит самарский дикарь, ломая в Петрограде превосходную мебель на топливо. А дикарь пензенский уничтожает вещи в Самаре... Кроме того есть и другое отношение, это отношение глупых хвастунов, которые, ломая и разрушая, самонадеянно говорят, что они могут сделать лучше того, что они ломают... Национальное имущество разрушается и исчезает из нашего обихода со страшной быстротой..."

Так вещает Горький. И, слушая такие рацеи, всякий Уэллс должен понять, сколь мудр и объективен он.

"Дикари... Глупые хвастуны, говорящие, что они могут сделать лучше..." "Национальное (!) имущество разрушается со страшной быстротой..."

Правильно, товарищ Горький, правильно! Но неужели и впрямь вы не можете "сделать лучше" все то, что "ломаете и разрушаете?" Как же это так? Три года хвастаетесь на весь мир о своих "планетарных деяниях" и вдруг такое внезапное смирение, такое порицание "глупым хвастунам" и такая строгая нотация и кому же? — тем самым бедным "дикарям", что только и слышат от вас: "бей, грабь, ломай, ори, хвастайся!"

Впрочем, подобные вольности разрешаются в "Правде" только знаменитым беллетристам и поэтам: Горькому, Князеву, Малашкину, Гастеву, Филипченко... Мы то, конечно, знаем только Горького да Князева из всей этой честной компании, да разве виноват Малашкин в нашей буржуазной отсталости от века! Посмотри-ка, что разрешается этому самому Малашкину! Он пишет в своем стихотворении "Портрет Ленина":

Кто же он? Сумасшедший?
Или просто нахал? —

и "Правда", разбирая с величайшей серьезностью его "новые достижения", только за одно немного журит его,— за излишнее подражание Уитману. Он дерзко спрашивает о Ленине:

Кто же он? Сумасшедший?
Или просто нахал?

и "Правда" с истинно идиотской наивностью замечает: "Прямого ответа на этот вопрос поэт не дает..." — а затем расшифровывает дерзкого "поэта": "Поэт только намекает, что такой вопрос мог родиться в низких душах рабов, которые, изничтоженные величием фигуры Ленина, *шипя уползают во мглу, подобно кобрам...*"

Эти "кобры" и "мгла" — чем это хуже цыплячьего "визга", "красных львов" в лаптях или "пресловутой свиньи"?

"МНОГОГРАННОСТЬ"

Хохол выпил в корчме кварту сивухи и, уронив голову на стол, заснул. Корчмарь все время сидел над ним и кричал ему в ухо:

— Две кварты! Две кварты!

И хохол проснулся в полной уверенности, что он выпил именно две кварты.

А чем мы лучше этого хохла? Дурачить нас, и всегда-то не отличавшихся особой трезвостью ума и чувств, сбивать нас с толку — необыкновенно легко.

Вывесят огромнейшую вывеску: "Пролеткульт!" — и где же? — совсем рядом с десятью чрезвычайками, где всяческие представители русской культуры истязаются и убиваются денно и нощно (да не просто, а со смаком, например, над клозетной чашкой) — и сделано дело: мы уже разинули рот, мы уже бормочем:

— Нет, знаете, в этом-то *им* надо отдать справедливость, о культуре-то они заботятся!

Убьют или уморят, доведут до смерти физической или моральной Васнецова, Репина и тут же закажут компании каких-нибудь Маяковских "художественно" размалевать пятьсот дуг (по числу оставшихся на весь Петербург, еще не совсем околевших с голоду лошадей) — и опять готово:

— Ну, нет, батенька, уж что, что, а художество у них в большом почете!

В Одессе, когда человек старается вбить вам в голову, что вы не одну, а две, две кварты выпили, по заячьи путает следы, бешено утверждает то одно, то другое, совершенно противоположное,— сразу обрывают такого человека:

— Слушайте! Довольно крутить Янкеля! Не валяйте дурака!

И вот я обращаюсь с горячим призывом:

— Дорогие соотечественники! Да доколе же это будет? Доколе будут так грубо морочить вас! Протрите глаза и оборвите же наконец человека, который так издевательски крутит Янкеля!

Вот я опять читаю в газетах: "Думали многие и, может, и сейчас думают, что большевики охраняют, берегут науку... А ученые говорили мне в Петербурге: "Разрушьте, когда будете в Европе, эту легенду! Мы *два года* не получали пайков, получали только карточку В., то есть карточку *буржуазных прихвостней*. Нас арестовывали, мы вымирали с голоду!" И точно — за два с половиною года советской власти умерло *десять* процентов профессуры и врачей... Знаменитый физиолог Павлов молил выпустить его заграницу... Ленин приказал ему ответить категорическим отказом, только разрешил предоставить индивидуальный паек... Павлов отверг паек, заявив, что он не желает быть сытым в то время, когда его коллеги *умирают от истощения десятками...*"

А вот какое, якобы частное, письмо прочел я в газетах несколько дней тому назад:

— "Богатство и величие страны измеряются мощью и величием ее умственных сил, Владимир Ильич! С учеными нужно обращаться возможно лучше и особенно у нас, *где умственное развитие надолго стало невозможным...* Нельзя истреблять цвет интеллигенции, отрубать народу голову, уничтожать *мозги нашего и без того убогого народа...* "Красные" такие же враги народа, как и "белые"... Я не колеблясь, предпочитаю находиться под гнетом "белых", *ибо с вами мне больше не по пути*!"

Как вы думаете, кто это опять "крутит Янкеля"? Это опять Горький — в письме к Ленину!

Знаю, это ужасно скучно, что я опять о нем.

Но что же делать? Влияние его очень велико, волею судеб — он очень известный русский человек, и вспомните, скольких сбил с толку его открытый переход к большевикам, его двухлетний и горячий труд плечом к плечу с "Владимиром Ильичем", с Петерсом, с Дзержинским, его акафисты советской власти! Недаром же после убийства Урицкого (когда, по свидетельству петербургской "Красной газеты" в одну ночь была убита "ровно тысяча" ни в чем неповинных людей, а Горький выступил председателем на торжественном собрании "Цика"), недаром повесили большевики плакаты по всему Петербургу: "*Примирение русской интеллигенции с советской властью!*" — и ассигновали Горькому миллионы на издание "Пантеона всемирной литературы"!

После того,— сколько раз разевала рты почтенная публика, благодаря Горькому! О, он хорошо знает нашу зыбкость и силу путания следов! Он знает, что значит к черту отшвырнуть все меры, все границы обычного, среднего: средний человек, привыкший к мере, непременно ошалеет, непременно растеряется.

Приехали в Москву два, три жулика из Индии, а он на весь мир возгласил, что на поклон к "святому, величайшему из великих Владимиру Ильичу" течет вся Индия от Гималаев до Цейлона — и обалдел Париж, Лондон:

— А-а! Кажется, и впрямь все готово в Индии к канонизированию этого косоглазого плута, который, по словам Горького, "так чудесно хохочет", стоя по горло в крови и грязи!

Спас Горький одного своего знакомого от расстрела,— одного из тысячи, расстрелянной той самой властью, которую он так славословит и так подкрепляет своим влиянием,— и опять мы растеряны:

— Все-таки, знаете, спасает... Все-таки смягчает эту власть... А потом этот "Пантеон"... Все-таки, знаете, это сохранение хоть остатков русской культуры...

Да и как не растеряться? "Он многогранный... Он не политик... Он не подходит под общую мерку"...

И Горький, отлично учитывая нашу нетрезвость, все пышнее и пышнее являет свою "многогранность", особенно тогда, когда ухудшаются советские делишки.

И теперь уже сам черт не разберет, что он думает и исповедует: то русские мужики и рабочие — "дикари, хвастуны и лодыри", то они "пламенные борцы"... то советская власть творит дивное, планетарное дело, то "я с белыми, а не с вами,— мне, я вижу не по пути с такими разбойниками... Раз вы избиваете мозг России, русскую интеллигенцию — до свидания, имею честь кланяться!"

О-о, Бог мой, наконец-то открыта Америка! Догадался-таки, прозрел на исходе третьего года!

Но нет, даже и в Одессе не крутят Янкеля так грубо!

P.S. "Я далек от политики и... сам у большевиков на подозрении... *Девяносто пять процентов коммунистов — нечестные люди, далекие от коммунизма, склонные к мошенничеству и взяткам...*"

Я прочел это, когда моя статья была уже написана. Это — заявление Горького г. Борису Соколову, это отрывок из только что опубликованной заметки Соколова "Беседа с Горьким".

А я опять сделаю буквальную выписку из речи Горького на прошлогоднем "всемирном" съезде представителей III Интернационала, напечатанной в № 1 "Коммунистического интернационала" (Москва, май 1919 г.):

"Каждый должен признать *планетарное* значение деяний *честнейших* русских коммунистов... Их *честное* сердце не колеблется, *честная* мысль чужда соблазну уступок, *честная* рука не устанет работать..."

Он, без конца агитирующий путем всяческих посланий о красе советской власти, канонизирующий Ленина, председательствующий на съездах III Интернационала,— он "далек от политики"...

А то, что он заявляет теперь, что 95% "*честнейших*" коммунистов *бесчестно*, это г. Соколов называет только "непонятной двойственностью" его!

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ "ОБЩЕГО ДЕЛА" ПО ПОВОДУ ТРЕХЛЕТИЯ БОЛЬШЕВИЗМА>

1) *В чем сила большевиков?*
2) *Почему они сумели удержаться у власти 3 года?*
3) *Какие причины укрепили их власть и положение?*

"В чем *сила* большевиков? Почему они у власти три года? Что *укрепило* их?"

Ничто их не укрепило и не укрепляло, они лишь *существовали*. И как! Все время вися над пропастью; напрягая все силы, чтобы не рухнуть, среди вечного страха за это существование, среди вечных восстаний, заговоров, "мятежей", кои надо топить все в крови и в крови, в истерических, сумасшедших зверствах, в низостях неописуемых, в "похабных" мирах и похабнейших "передышках", среди вечных измен и предательств тех тварей, коими они вечно окружены, среди вечных буйно-балаганных буффонад, парадов, похорон, празднеств, имеющих лишь одну цель — все поражать, все дурачить, все лгать, все подкупать чернь, среди немолчных, надрывных криков и призывов, среди исступленной видимости какого-то "строительства", среди такой вопиющей пошлости, от коей, верно, тошнит даже наиболее пошлых из них, в гигантской, бессмысленной толще чиновничества, всяческих прислужников, приспешников, "спецов", спекулянтов, мародеров, в тесном кольце янычар и преторианцев из отребья инородцев и отребья вечно пьяных от кокаина, грабежа и крови воров, каторжников, су-

тенеров, полоумных сифилитиков, в атмосфере какого-то своего, нигде на земле не существующего, никаким языком не одолеваемого языка, вроде таких слов, как "губпрофнардсквуз",— и в сущности среди вечного, лютого одиночества и отщепенства! Прибавьте к этому гигантскую пустыню страны дотла разоренной, исковерканной, растленной, опоганенной буквально во всем и во вся, раздетой, разутой, во тьме, в холоде, всю свою энергию убивающей на заботу хоть чем-нибудь напитаться, страны вшивой, немытой, нечесаной,— "мы все воняем псиной", пишут из Москвы,— совершенно без всякой помощи гибнущей от тифов, цинги, холеры, помешательств, уже три года отрезанной от всего цивилизованного мира, живущей во власти только диких слухов и легенд, вечно ограбляемой, реквизируемой, дрожащей от вечных карательных экспедиций и прочих несметных кар, тонущей в море все новых и новых идиотских декретов,— прибавьте все это и у вас волосы на голове зашевелятся при мысли о таком существовании, о такой "крепости"!

И все-таки они существуют, и все-таки не только эта страна, но и весь мир, прежде ужасавшийся от какого-нибудь "самарского голода" или "армянской резни", терпит их, да не только терпит, а устами своего "пролетариата", своей "демократии", будто бы несущей в мир новую, дивную религию равенства и братства, яростно требует "невмешательства" вот в эти самые "внутренние дела" России. Почему?

На это в десяти строках не ответишь.

"Возвращается мир на *древние* стези свои", что бы ни говорило современное умопомрачение о "лучезарной заре новой жизни" в эту глубокую ночь, когда мы также далеки от братства и равенства, как горилла от Христа.— "Вот темнота покроет землю и мрак — народы... Низость возрастет, а честь унизится... В дом разврата превратятся общественные сборища... *И лицо поколения будет собачье...*"

Нет "силы", есть лишь использованные общемировые обстоятельства, использованное бессилие, недуг Руси, повторение одной из наших исконных "кровавых смут, усобиц и *нелепиц*".— "Се есть Русь, вельми *шатая* и темная, к свирепству поднятая, на велию зависть соседей лукавых и немилосливых пространная",— Русь, которую мы, "либерально, невинно, мило болтавшие, по выражению Достоевского, пленявшиеся лишь *чувствительной* стороной социализма, надевавшие лавровые венки на вшивые головы", никогда не хотели знать в ее подлинной жизни, в ее подлинных свойствах,— Русь и поныне забытая за

грызней партий, за прекраснодушными лозунгами, за долбней о "реакции",— Русь, в пучину ввергнутая при большой *нашей* помощи,— кто только не был из нас министром, какой уездный адвокат или мелкий журналист не командовал трехтысячным русским фронтом в дни величайшей мировой войны! — Русь, которая и поныне, среди всех обманов и каверз чехословацких, эстонских, английских, сибирских, кубанских и прочая, прочая, защищается только теми самыми "реакционными золотопогонниками", что *одни, одни* с беспримерным мужеством отстаивали три года тому назад Москву и Зимний дворец, *одни* костьми ложились все-таки не за "реакцию", а за разбегавшихся куда попало господ из Временного правительства, всячески теперь их шельмующих по Прагам и Парижам...

"Сила" *сама* шла и все идет и идет в руки этому отродью Шигалевых,— помните "Бесов"? — говоривших про себя: — "Надо разврата, разврата неслыханного... надо народу свеженькой кровушки... Мы мошенники, а не социалисты... Мы пустим цинизм, мы пустим пожары, легенды... Нам каждая шелудивая кучка пригодится... Безграничную свободу мы заключим безграничным деспотизмом... Раскачка такая пойдет, что мир ахнет... Затуманится Русь, заплачет по старым богам..."

И уже плачет она, бьется — в капкане, возле которого лежало так много сладких привад.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ АНГЛИЙСКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Уэллс рассказывает по воскресеньям о своем сентябрьском путешествии в Россию. Вот суть его рассказов (курсив мой):

— Я провел в России *15 дней*, был в Петербурге, живя у своего приятеля Горького, был в Москве, *всюду свободно разгуливал*, видел *почти все*, что хотел... *Русская действительность необыкновенно жестока и ужасна*... Огромный, ужасающий, небывалый в мире и непоправимый развал... Великая держава погибла, *благодаря шестилетней войне, своей внутренней гнилости и империализму*... Среди всеобщей дезорганизации *власть взяло правительство, ныне единственно возможное в России*... Ценой многих расстрелов, оно подавило грабежи и разбои, установило своего рода порядок... Социальный и экономический строй прежней России, *столь схожий с европейским*, развалился — и это грозное предостережение всей Европе...

— Развал этот очевиднее всего в Петербурге. Его дворцы теперь пусты или странно полны пишущими машинками новой власти, борющейся с голодом и *иностранными завоевателями.* Из всех несметных магазинов осталось с *полдюжины лавок, среди них посудная и цветочная.* Удивительно! В городе, где почти все умирают с голоду, все оборваны и в грязи, я мог купить за 5.000 руб. букет крупных хризантем...

— Для осуществления государственного контроля и помехи спекулянтам закрыты и все рынки. Пустота придает городу нелепый вид, редкие прохожие в лохмотьях всегда торопятся, всегда с какими-то узлами, точно убегают куда-то. Мостовая в глубоких ямах, их ломают и растаскивают, равно как и деревянные дома...

— Советская статистика, *очень откровенная и правдивая,* говорит, что смертность среди остатков голодающего и страшно подавленного петербургского населения увеличилась почти вчетверо, рождаемость очень пала...

— В узлах прохожих — пайки или предметы торговли, обмена на продовольствие, хотя всякая торговля считается в России спекуляцией и со спекулянтами там разговор короткий — расстрел...

— Каждая станция — тоже толкучка, где торгуют продовольствием крестьяне, имеющие вид сытый. Они не против советской власти, они лишь истребляют иногда реквизиционные отряды, но это не восстания,— *ничего подобного нет...* Все прочие классы в большой нужде. Много лишь чаю, папирос и особенно спичек (и прекрасных). Но нет ни простынь, ни вилок, ни ложек,— *ничего* для домашнего обихода. Лекарств тоже нет. *Нет даже бутылки для горячей воды, чтобы положить в постель...*

— Всякий маленький недуг вырастает в серьезную болезнь. Почти все имеют хворый вид. Веселый, жизнерадостный человек — редкость... Операций делать почти нельзя...

— На собрании писателей Амфитеатров обратился ко мне с длинной и горькой речью. Он хотел, чтобы все сняли пиджаки и показали то рубище, что под ними... Все в этом разрушенном городе ужасающе голодают и мерзнут. Прошлой зимой во многих домах было ниже нуля, санитарные трубы замерзли! лопнули,— вы понимаете последствия. Все сбивались в одну комнату, коротая время за чаем, в полутьме...

— Железные дороги почти не действуют. Но, если бы и действовали, все равно был бы голод,— *Врангель захватил продовольствие на юге... Во всех бедствиях виновны не большевики.*

Они *не* разрушали России ни силой ни коварством. Нездоровый строй сам себя разрушил...

— *Не коммунизм, а капитализм выстроил эти огромные, невозможные города.* Обанкротившуюся империю загнал в шестилетнюю войну не коммунизм, а европейский империализм, *ввергнувший Россию в целый ряд субсидированных нападений, нашествий и восстаний...* Керенский не сумел заключить мира с Германией — и русский фронт покатился назад, домой...

— Искусство, литература, наука — все погибло в общей катастрофе. Уцелели одни театры: в Петербурге каждый день 40 спектаклей, тоже и в Москве...

— Я слышал Шаляпина. Мы обедали у него. Он берет 200.000 рублей за выход и сохранил нормальную обстановку. Горький здоров, вырос духовно... Он не коммунист, как и я. *Он при мне свободно спорил в своей квартире против крайних взглядов* бывшего председателя петербургской чрезвычайки. Он завоевал *доверие* и *почет* у большевиков, одержим страстным сознанием *ценности западной культуры,* сделался *официальным спасателем* остатков культуры русской... организовал "Дом Науки". Тут центр выдачи пайков ученым, тут для них ванна, парикмахер, портной, сапожник... Я видел несчастные, озабоченные фигуры Ольденбурга, Карпинского, Павлова...

— Наша блокада отрезала их от культурного мира; они лишены инструментов, даже простой бумаги, работают в нетопленых лабораториях... Многие из них уже впали в отчаяние. Они целых три года со ступеньки на ступеньку спускались в полный мрак, *никак не ожидали, что увидят свободного, независимого человека, который так легко приехал из Лондона, которому возможно* не только войти к ним, но и *вернуться в потерянный для них цивилизованный* мир. Точно неожиданный луч света в темнице!

Я видел Глазунова — это уже не прежний большой, полнокровный человек, он худ, бледен, платье на нем висит. Он еще горит жаждой увидеть европейский город, полный жизни, во всем обильный, с веселой толпой, с теплыми светлыми комнатами. Я понял, до чего одаренные люди зависят от прочно организованной цивилизации...

— Смертность среди выдающихся русских людей теперь чрезвычайно высока. *Они не могут жить в хижине кафра...*

— Писание новых книг, кроме поэзии, прекратилось в России, но большинство писателей работает при грандиозном издании Горьковской энциклопедии всемирной литературы, над переводами для нее... хотя как будет распространяться эта ли-

тература? Книжные лавки закрыты, книготорговля, как и всякая другая, запрещена... Большевики, верные лишь Корану Маркса, не только лишенному созидательных идей, но и враждебному им, никаких планов строительства новой жизни не имеют, знают лишь классовую борьбу, во всем неуклюже импровизируют... Возможно, что эта жизнь умрет на руках у них...

Такова суть двух огромных, повторяющих все одно и то же статей Уэллса. Третья — вариант двух первых. Уэллс говорит: был в России строй "еще более слабый, гнилой, чем наш", потом пришла великая смута, Керенщина, "болтовня партий", "трупы на улицах"... Одни большевики "имели волю, веру, организацию" (волю к чему, веру во что,— Уэллсу безразлично), одни большевики установили некоторый порядок; *власть их, конечно, странна* уже хотя бы по одному тому, что "в России совсем нет еще рабочего класса", "коммунистов не наберется и одного процента", но ведь Колчак, Деникин, Врангель — "авантюристы, разбойники, лишенные всякой идеи", а у большевиков она все-таки есть, "они выше своих врагов, хотя неуклюжи, кровавы"... "они дали народу землю, мир с Германией..." "*чрезвычайки подавили всю оппозицию,* в них работают люди узкие, фанатики, но *честные, работающие с определенной целью*"... Марксизм учение тупое, "я ненавижу даже бороду Маркса и его совиную физиономию", и большевики, будучи марксистами, смешны для меня, жалки своей верой в европейскую революцию, "*которой, конечно, не будет*", но они "честные люди"... Что будет Уэллс писать дальше, я не знаю, да и не интересуюсь, ибо справедлива английская пословица, что для того, чтобы узнать, испортился окорок или нет, вовсе не надо съедать его весь. Но то, что я уже узнал, то, что я уже услыхал от английского писателя, возмутило меня, писателя русского, до глубины души.

Нельзя не отозваться на слова такого известного и, значит, влиятельного человека, как Уэллс, и вот я экстрактирую его статьи, чтобы резче выступил их ужасный, а порою смехотворный смысл, сжато повторяю их с определенной агитационной целью,— слушайте, слушайте, христиане, люди 20 века и цивилизованного мира, что говорится о России не одними нами, которых подозревают в пристрастии, но и знаменитыми англичанами!

Мне, которому слишком не новы многие открытия Уэллса насчет ужасов в России, было все-таки больно и страшно читать его; мне было стыдно за наивности этого туриста, совершившего прогулку к "хижинам кафров", в гости к одному из

людоедских царьков (лично, впрочем, не людоеду, "он не коммунист, как и я") — стыдно за это неподражаемое: "бедные дикари, у них нет даже бутылки горячей воды для постели!" — стыдно за бессердечную элегичность его тона по отношению к великим страдальцам, к узникам той людоедской темницы "с ванной и парикмахером", куда он, мудрый и всезнающий Уэллс, вошел, "как неожиданный луч света", куда "так легко", так непонятно легко для этих узников прогулялся он, "свободный, независимый" гражданин мира, не идеального, конечно, но ведь все-таки человеческого, а не скотского, не звериного, не большевистского,— стыдно, что знаменитый писатель оказался в своих суждениях не выше любого советского листка, что он без раздумья повторяет то, что напел ему в уши Горький, хитривший перед ним и для блага Совдепии, и для приуготовления себе возможного бегства из этой Совдепии, дела которой были весьма плохи в сентябре. Я обязан сказать кроме этого еще и то, что я, не 15 дней, а десятки лет наблюдавший Россию и написавший о ней много печального, все-таки от всей души протестую против приговоров о ней гг. Уэллсов.

Похоже, что Уэллс поехал в Россию, где остались только прекрасные спички, хризантемы и поэзия советских поэтов, частью из любопытства, частью потому, что такие поездки дают сенсационный материал для статей и, главное, с целью патриотической: подтвердить "правильность" английской политики, говорящей, что Россия все равно погибла и для ее же блага нужно вступить в сношения с правительством, "увы, единственно достойным ее" и на траты за "передышки" весьма щедрым.

Я объясняю себе дифирамбы Уэллса Горькому прежде всего тем, что гг. Горькие весьма полезны английским туристам в качестве гидов по советскому аду, вступают с ними в некое безмолвное соглашение, инспирируют их. "Мы, мол, понимаем, что именно нужно знать и слышать вам, вы, конечно, вполне невежественны на счет нашей экзотической страны, но мы подскажем вам кое-что. Скрывать всю нашу гнусность теперь уже глупо, поэтому будем говорить начистоту, но будем прибавлять, что за неимением гербовой пишут на простой — мы власть неважная, но единственно подходящая для России,— будем, кроме того, и плакаться перед Европой: пожалейте несчастный Петербург, гибнущий из-за блокады! Все это полезно и нам и вам. Вы, конечно, не Бог весть какие друзья наши, но все равно,— мы за ценой не постоим, а вы уж признайте нас так или иначе, сделайте вид, что и вам стало жалко "остатков

русской культуры" и дайте нам "передышку", а там видно будет, чья возьмет..."

Считаю своим долгом заявить, что дело свое Уэллс исполнил все-таки чересчур неловко и даже комично.

В статьях Уэллса что ни строка, то ужас,— один вид Петербурга и его прохожих чего стоит! — а он только бессердечно элегичен; в его рассуждениях, что ни слово, то перл, но он совсем не понимает, как жутки и даже кощунственны порою его смехотворные и наивные замечания: "да, там всюду ужас, смерть, непроглядная ночь, пустота погоста, но спичек, хризантем и пишущих машинок для борьбы с *иностранными завоевателями* — сколько угодно!" Он не понимает, что некоторые вещи не всегда удобно разглашать, некоторые мысли неловко выражать вслух. Помилуйте, чего только не врали ему о Совдепии, а вот он поехал — и ничего себе, свободно разгуливал, за 15 дней увидел в стране, занимающей часть земного шара, почти все... видел в *гостях у Горького* всемирно известного палача, который вовсе не кусается, а только "подавляет оппозицию" путем чрезвычайки, который дружит с Горьким (вообще снискавшим себе почет и *доверие* у палачей, очень, кстати сказать, идейных и честных), видел, говорю, этого палача, и он, представьте, дозволяет свободно спорить с собою этому самому Горькому, находящемуся, слава Богу, в добром здоровье и очень выросшему духовно... И, читая Уэллса, мне то и дело хотелось воскликнуть: "Ах, г. Уэллс, г. Уэллс!"

Вот он наблюдает и мыслит, руководимый своим Вергилием: "Развал небывалый, ужасающий; но ведь он не только есть, но и был, ибо Временное правительство не сумело заключить мира, и русский фронт покатился назад,— так что в чем же виноваты большевики?"

И дальше: "Среди всеобщей дезорганизации власть взяло коммунистическое правительство для России единственно пригодное, хотя в России не наберется и одного процента коммунистов"...

И мне хочется спросить: что это такое, г. Уэллс,— наивность, неосведомленность в том, что известно теперь даже детям, или что-нибудь другое?

Разве Временное правительство хотело, да только не смогло заключить мир? Развал нашего фронта разве не есть дело прежде всего большевиков и немцев? Разве не Ленин орал в Петербурге в апреле 17 года: "Да здравствует мир с немцами и — гражданская война, мировой пожар!"

Он, видите-ли, совсем не хотел и не хочет шестой год длить войну, он пожалел Россию,— увидал всюду "трупы и дезорганизацию" и волей-неволей взял власть в свои руки, правда, "неуклюжие, кровавые", но единственно подходящие для России и это империализм "ввергает ее в целый ряд субсидированных нападений и восстаний", а он решительно ни на кого не нападает, он против восстаний и субсидий (и особенно для некоторых английских газет)!

Но нет, г. Уэллс, дело было все-таки не совсем так: Ленины целую неделю громили Москву из пушек руками русских Каинов и пленных немцев, Ленины бешено клялись, захватывая власть: "наша победа уже не даст подлой буржуазии сорвать Учредительное собрание, навсегда обеспечит вам мир, хлеб, свободу!" — и это Ленины штыками разогнали это самое Собрание, это они, вместо мира, стали, тотчас же после захвата власти, "ковать" красную армию "на бой со всем буржуазным миром до победного конца", это Ленины задушили в России малейшее свободное дыхание, они увеличили число русских трупов в *сотни тысяч* раз, они превратили лужи крови в моря крови, а богатейшую в мире страну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше Англии, сделали голым погостом, юдолью смерти, слез, зубовного скрежета; это они затопили весь этот погост тысячами "подавляющих оппозицию" чрезвычаек, даже, кровавее которых мир еще не знал институтов, это они, которым вы дерзаете противопоставлять "разбойников" Деникина и Врангеля, целых три года дробят черепа русской интеллигенции, они заточили в ногайский плен великих Павловых, это от них бежали все имевшие возможность бежать,— ум, совесть, честь России,— это благодаря им тщетно вопил к христианской Европе покойный Андреев: "Спасите наши души!" — это при их ханской ставке из всех русских писателей осталось почти одно отребье их да ваш "приятель", скупающий на казенные деньги полуживые души и голодные животы русских интеллигентов для *этой подлой комедии с "энциклопедией"* — в стране, несчастные, оплеванные, раздавленные сыны которой, точно выходцы загробного мира, дивятся вам, даже пугаются вас, "свободный, независимый" Уэллс, грозящий буржуазному миру, как и я когда-то грозил "господам из С<ан>-Франциско": "Горе тебе, Вавилон, город крепкий!" — и не понимающий, что на этой бедной земле все-таки все познается, увы, по сравнению.

— "Ценой многих расстрелов они подавили грабежи и разбой..." Нет, не "многих", а *несметных*, все еще длящихся и длящихся, и вовсе не "подавили", а только возвели грабеж в закон, в норму, назвав их реквизициями и "отбиранием излишков", а разбой — трибуналами, чрезвычайками, да и то только в больших городах: по всей прочей необъятной земле русской кровь от руки разбойников и грабителей течет буквально реками уже без всякой нормы, даже не "в порядке проведения в жизнь красного террора", как выражаются советские газеты, паскудные, кровавые страницы коих так часто украшает ваш "приятель"!

— "Пишущие машинки новой власти, борющейся *с иностранными завоевателями*..." — это тоже недурно сказано, не хуже того, что Врангель, захватив Крым, т. е. одну крохотную частичку России, лишил всю Россию всего, всего, кроме советских поэтов, спичек и хризантем!

— "Не коммунизм выстроил эти огромные, невозможные города..." Правильно, г. Уэллс, коммунизм не выстроил еще даже и свиной закуты, и вольно же, в самом деле, империализму "строить такие огромные города"!

— "В Петербурге каждый вечер 40 спектаклей..." Да, совершенно верно, как и то, чего не скрывает и сама "откровенная и правдивая" советская статистика: и расстрелов каждый вечер 40, 50, 100.

— "Наша блокада отрезала Павлова от культурного мира"... Увы, опять и опять немного не так, г. Уэллс,— Павлов не раз, но совершенно тщетно молил выпустить его из ада, столь мило изображенного вами, столь дивно сочетавшего в себе "хижину кафра" — и "Дом Науки" с бритьем для умирающих от голода, чрезвычайку, где "знают, зачем работают", где с рук живых людей сдирают так называемые "перчатки" — и "Дом Литературы", к сожалению, "прекратившейся, за исключением поэзии", в России.

— "Горький не коммунист, он растет духовно..." О, да, растет, растет! Он, который 7-го февраля 1917 г. назвал Ленина и Ко "проходимцами, предателями родины, революции, пролетариата, именем коего они бесчинствуют на вакантном троне Романовых", а 1 мая 1919 г. участвовал во "всемирном" съезде коммунистов и говорил, что "русские коммунисты, *честнейшие* в мире люди, творят дивное, планетарное дело", а недавно заявил, что 95% этих коммунистов "бесчестные грабители и взяточники",— он несомненно растет! Я ведь видел его не три раза в жизни, как вы, знаю его не несколько дней, а 21 год и

не дивлюсь этому росту. Много слышал я от него и песен о "ценностях западной культуры", которую вы, г. Уэллс, считаете, впрочем, "гнилою"!

Но я бы никогда не кончил, цитируя вас, доказывая вам то, что уже давно известно всему миру. Вот вы заявляете: "Я понял, до чего одаренные люди зависят от прочной цивилизации..." Что мне остается, как не подписаться под этим великолепным открытием, хотя оно повторяю, и не совсем вяжется с вашими иеремиадами насчет "гнилой цивилизации империалистов"? Вот вы грозно ополчаетесь на "полицейский строй" прежней России, но ведь, г. Уэллс, этот строй был "столь похож" на ваш! Вот вы говорите про Глазунова: "Он еще горит жаждой увидеть европейский город, полный жизни, с веселой толпой, с теплыми, светлыми комнатами" — и у меня застилаются глаза такими едкими слезами горя, каких не дай вам Бог испытать никогда! Часто случается и так: еду или иду я по Парижу, смотрю, думаю что-нибудь совсем не связанное с Россией — и вдруг, в каком<-то> странном изумлении, мысли мои обрываются, и я внутренно восклицаю: ах, Бог мой, вот идут, едут, разговаривают, смеются люди — и ничего себе, никто их не бьет, не грабит, не ловит, никого они не боятся, сыты, обуты, одеты... И тогда сердце мое охватывает такая боль, такая ярость к вашим "приятелям", что не мудрить мне хочется, не спорить с подобными вам, а только кричать, плакать от этой боли и от жажды нестерпимой мести!

Любезный собрат, мы не забудем вашего заявления, что мы достойны только тех висельников, у коих вы гостили 15 дней, и что наши Врангели — "разбойники".

Я пишу эти строки в дни наших величайших страданий и глубочайшей тьмы. Но взойдет наше солнце,— нет среди нас ни единого, кто бы не верил в это!

И тогда мы припомним вам, как унижали вы нас, как хулили вы имена, для нас священные.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

У знакомых — только что полученное из Москвы письмо. Между прочим в нем сообщается: среди прочих плакатов, в несметном количестве продолжающих наводнять совдепию, появился недавно еще один,— новое произведение Московских правителей и придворных художников их поистине символическое: изображен огромный костяк,— смерть,— а у ног этого

костяка — огромная вошь, которой он пожимает своей дланью одну из клешней. Подпись под этой жуткой гнусностью гласит:

— Граждане! Блюдите чистоту!

"И в это-то время, прибавлено в письме, когда мы, уже давным-давно забывшие, что такое баня, спящие в тех же грязных лохмотьях, в которых сидим и весь день, все разим псиной и когда кусок мыла стоит у нас 5.000 рублей!"

* * *

Погиб целый народ — калмыки.

В прошлом году при Деникине работала комиссия по расследованию большевистских злодеяний, состоявшая из видных общественных и судебных деятелей и собравшая богатейший и достовернейший материал, который частично привезен на днях в Париж.

Я видел прибывшего вместе с этим материалом приятеля, ближайшего сотрудника этой комиссии, известного земского деятеля и писателя. Он между прочим говорит:

— Нам документы давал главным образом, конечно, лишь юг России. Но и этого было слишком достаточно, чтобы просто в тупик стать перед той картиной, которая развертывалась перед нами за нашей работой. Взять хотя бы один уголок этой огромной и страшной картины — тот отдел наших документов, который касается религиозных кощунств, религиозных гонений и мученичества верующих и священнослужителей. Я убежден, что еще мало кто отдает себе ясный отчет, что сделано большевиками, вот хотя бы в этой области. С трудом верится, а меж тем это факт, что Россия XX века христианской эры далеко оставила за собой Рим с его гонениями на первохристиан и прежде всего по числу жертв, не говоря уже о характере этих гонений, неописуемых по мерзости и зверству. А что до калмыков, о которых я давеча упомянул, то, выражаясь фигурально, на моих глазах произошла почти полная гибель этого несчастного племени. Как известно, калмыки — буддисты, жили они, кочуя, скотоводством. Когда пришла наша "великая и бескровная революция" и вся Россия потонула в повальном грабеже, одни только калмыки остались совершенно непричастны ему. Являются к ним агитаторы с самым настойчивым призывом "грабить награбленное" — калмыки только головами трясут: "*Бог этого не велит*!" Их объявляют контрреволюционерами, хватают, заточают — они не сдаются. Публикуются свирепейшие дек-

реты — "за распространение среди калмыцкого народа лозунгов, противодействующих проведению в жизнь революционной борьбы, семьи виновных будут истребляемы поголовно, начиная с семилетнего возраста!" — калмыки не сдаются и тут. Революционное крестьянство захватывает земли, отведенные некогда царским правительством для кочевий калмыков, для их пастбищ,— калмыки принуждены двигаться куда глаза глядят для спасения скота от голодной смерти, идут все к югу и к югу. Но по дороге они все время попадают в полосы военных действий, в "сферы влияния" большевиков — и снова лишаются и собственных жизней и скота — рогатый скот и отары их захватываются и пожираются красноармейцами, косяки лошадей отнимаются для нужд красной армии, гонятся куда попало — к Волге, к Великороссии и, конечно, гибнут, дохнут в пути от голода и беспризорности. Так, изнемогая от всяческих лишений и разорения, скучиваясь и подвергаясь разным эпидемиям, калмыки доходят до берегов Черного моря и там останавливаются огромными станами, стоят, ждут, что придут какие-то корабли за ними,— и мрут, мрут от голода, среди остатков дохнувшего скота... Говорят, их погибло только на черноморских берегах не менее 50 тысяч! А, ведь, надо помнить, что их и всего-то было тысяч 250. Тысячами, целыми вагонами доставляли нам в Ростов и богов их — осквернённых, часто на куски разбитых, в похабных надписях Будд. От жертвенников, от кумирней не осталось теперь, может быть, ни единого следа...

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

В "Совр<еменных> записках" г. Вишняк приводит некоторые собранные им данные о Совдепии.

"Обозревать внутреннюю российскую жизнь теперь нельзя,— говорит он,— в России жизни больше нет, есть только медленное умирание... Вымирают целые возрасты, целые разряды людей, вещи, учреждения, наука, культура, всякое умственное движение..."

И дальше: "*По официальному отчету большевистского комиссариата общественного здравия* выходит, что на третий год большевистской власти *смертность в России в шесть раз превысила рождаемость* — факт ужасный, небывалый... Русское население стремительно идет к своему *уничтожению*... Харьковский профессор статистики Анцыферов высчитал, что если бы советский

режим продержался еще 10 лет, то от 150 миллионов населения России осталось бы *меньше 20 миллионов.*

Прибавьте к этому, что вся Россия "в вечном ожидании насильственной смерти", в тьме, в холоде, в унижении неслыханном... Несколько месяцев тому назад была проделана паскуднейшая комедия отмены смертной казни в *тылу*, и "Всероссийская" чрезвычайка опубликовала сводку своей деятельности: за два года (1918—1919) расстреляно 9.641 человек. "Но, говорит г. Вишняк, эти цифры лишь *ничтожная доля* общего числа казней: а убитые без всякого учета? а расстрелянные чрезвычайками областными, губернскими, уездными, волостными, не говоря уже о "ревкомах" и "трибуналах"? Эти 9.641 подсчитаны под руководством Дзержинского (награжденного за свои труды "орденом Красного Знамени"), но опубликовал цифры убитых (по 20 губерниям центральной России) и знаменитый Лацис: за $1^1/_2$ года — 8.389 человек, да убитых при "восстаниях" 4.207. А самая отмена смертной казни была "кошмарна по своей подлости", как заявили узники Бутырской тюрьмы,— "ночь отмены стала ночью крови" и в Москве и в Петрограде: всю ночь вели на казнь, всю ночь стоял вопль и плач женщин, коих волокли на убой.

Но мало того, сохранив казнь лишь для *фронта*, смертников стали отправлять во фронтовые полосы и убивать там, а потом поступили еще проще: *объявили фронтом почти всю страну.* Но и этим не удовольствовались: *восстановили казнь и в тылу* через 3 месяца после фиктивной отмены ее — и опять пошла в ход "откровенная", по выражению Уэллса, советская статистика: с 22 мая по 22 июня казнено 600 чел. ("Правда"), с 23 июня по 22 июля — 898, с 23 июля по 31 авг.— 1183, за сентябрь — 1.200 ("Известия")... При этом "Известия" промахнулись: сообщили и число расстрелянных (521 человек) с 17 января по 20 мая, *т. е. как раз за этот период, когда казнь была якобы отменена...*

Итак, вот что говорят *советские* цифры. На деле, конечно, гибнут в России от одних только расстрелов *сотни тысяч.* Об этом писалось тоже тысячи раз и разум человеческий просто тупеет от этих цифр. Но все равно, все равно — об этом надо писать без конца, без конца!

— "*Мы* желаем научить весь мир новому порядку и новому укладу жизни",— заявил 13 июля в "Красной газете" Горький.

Как вам нравится этот "новый уклад"? Да,— помимо всего прочего, мир еще никогда не давал таких умопомрачительно бесстыжих глаз, какие оказались в советской России! И как

прекрасно это "*мы*" в устах "*не* коммуниста", как недавно аттестовал Горького Уэллс?

В той же книжке "Совр<еменных> записок" напечатана и статья Н.Д.Авксентьева "Patriotica", статья "о любви к отечеству и народной гордости", где автор пытается пробудить в нас национальное чувство, подкрепляя себя выписками из Фихте, горячо восстает, несмотря на все ужасы большевизма, против всякого иностранного вмешательства в деле одоления большевизма и, между прочим, укоряет меня,— "большой русский писатель И.А.Бунин недавно заявил, что он испытывает горькую радость, что избавлен от позора и муки дышать одним воздухом с хозяевами красной России", меж тем, как, по мнению Н.Д.Авксентьева, "мука — *не* дышать им, этим священным воздухом крестных мук России!"

Как с этим спорить? Через 10 лет, по словам проф. Анцыферова, из 150 миллионов умрет при советском режиме 120 миллионов. Но что с того? Неприятно, конечно, да зато не будет "национального унижения" России и "расхищения ее по кускам", как было бы при иностранном вмешательстве!

Благородная вещь и жажда "дышать священным воздухом крестных мук России". Только я бы при такой жажде тотчас уехал бы в Россию из того парижского дома на rue Jacques Offenbach, где мы ныне благополучно обитаем вместе с Н.Д.Авксентьевым: я — всего восемь месяцев, а он уже весьма многие годы (с небольшими передышками).

ЧЕХИ И ЭСЕРЫ

Читаю японскую газету "Дело России", основанную г. Гутманом (А. Ганом). Ужасные документы печатаются там!

Чешская дружина, говорится в этих документах, вступила в ряды русской армии в 1914 году и с течением времени, благодаря тому, что после русской революции, Чешскому национальному комитету была дана свобода в смысле использования всех военнопленных чехов, разрослась в корпус, численностью в 50-60 тысяч человек, в каковой массе, извлеченной из аморальной среды концентрационных лагерей, совсем потонула первоначальная кучка идейных воинов. После Брестского мира, в Париже было решено отправить этот корпус через Владивосток на французский фронт, и весна 1918 года застала чешские эшелоны растянутыми от Пензы до Тихого океана. Тогда Мирбах потребовал от покорных ему большевиков разоружения их, и *это было единственной причиной чешского антибольшевистско-*

го восстания: мы, говорит "Дело России", совершенно отрицаем идейность в действиях чехов на Волге и в Сибири. Что до командного их состава, то достаточно сказать, что только один из чешских генералов, Чечек, имел стаж австрийского лейтенанта. Прочие были вроде Сырового, бывшего коммивояжера, или Гайды, бывшего фельдшера, и солдаты их, конечно, ни в грош не ставили, думая лишь об одном — о скорейшем возврате на родину. Совершенно изменился и состав Чешского национального комитета: идейные его основатели были вытеснены политическими карьеристами, домогавшимися популярности у солдат грубейшей демагогией; руководителями всего комитета явились крайние социалисты — Павлу, Патейдель, Гирс, Благош, впоследствии предавший Колчака, и проч.

В чем выразилась тогда, т.е. весной 1918 года, борьба чехов против большевиков? Да почти ни в чем, говорит "Дело России": боевых сил у большевиков тогда в Сибири почти не было, а кроме того целый ряд городов — Челябинск, Омск, Иркутск — был очищен от большевиков исключительно русскими офицерами и добровольцами. Это не мешало, однако, чехам входить в эти города победителями, принимать овации населения, *а затем тотчас же приступать к реквизиции русского казенного имущества, якобы для воинских нужд.*

Без всяких почти усилий заняли чехи Уфу, Самару, Симбирск, Казань: большевистские латыши, китайцы и матросы заняты были тогда *подавлением* восстаний в центре России, а наскоро сбитые в Поволжье красные части разбегались при первом выстреле из хорошей пушки.

Какую роль могли сыграть чехи в деле возрождения России! Но, увы, о благе ее они думали менее всего,— вся деятельность их вождей была проникнута политиканством *да беззастенчивой спекуляцией*; и судьбу свою они связали исключительно с эсерами.

Начало этому было положено в Самаре.

Большевики направляли тогда весь свой террор на партии с национальными принципами. К с.-р. относились довольно снисходительно. И с.-р. благополучно здравствовали, и, почуяв возможность вновь пристроиться к власти, перебрались к тому времени на Волгу г. Чернов и присные его. Чешские социалисты приняли их, конечно, весьма тепло, и результатом этой встречи явилось создание "Самарского Правительства": *чешскими штыками была водворена на Волге власть эсеров, а вовсе не волею народа,* и эсеры, очень не любящие "генералов-диктаторов", должны это твердо помнить. А усилия "Самарского Правительства", равно

как и последовавшей за ним Директории, устремились исключительно к "созданию единого социалистического фронта", к компромиссам с большевиками и к "борьбе с контрреволюцией": *одной из первых забот новой власти было учреждение особой охранки* для уловления контрреволюционеров.

"Самарский Комуч", говорит г. Ган, комментируя эти документы, был таков, что его чуждались даже "Бабушка" и Авксентьев, и он сделал все, чтобы закрепить в массах большевизм, при полном отсутствии в те дни большевистского засилья на Волге... Государственная казна, захваченная эсерами, рекой текла на содержание огромного штата эсеровских агитаторов, партийных работников, инвалидов и т.д. Восстали Ижевский и Воткинский заводы — тотчас же как из-под земли вырастает эсеровский штаб и захватывает верховную власть... Снова обираются до чиста три казначейства, снова бесконтрольно текут народные деньги, снова создаются "агитационно-вербовочные кадры", снова "уговоры" идти на большевиков — и полное неумение использовать даже те силы, что сами рвались на борьбу.

В Поволжье "организация вооруженных сил" была поручена Черновым 26-летнему офицеру Галкину. Этот правнук "русской революции" был возведен в ранг генерала и военного министра, а Лебедев, бывший морской министр Керенского, видавший море только потому, что в дни своей эмиграции пробирался иногда на русские военные суда для агитации,— в помощники этому "Правнуку". Легко себе представить, какова была "организация"! К отбыванию воинской повинности призывали кого попало, без всякого толку, призванные митинговали, бездельничали, а г.г. Черновы травили офицерство и подрывали в армии последний престиж его... Чехи потеряли Казань при первом серьезном натиске красных. Русские, воспитанные г.г. Черновыми вышеуказанным способом и посланные на помощь чехам, оказались совершенно небоеспособными. А через два дня был потерян Симбирск, через месяц — Самара. *И чехи, нагрузив на поезда и подводы все, что можно было захватить из казенных русских складов, двинулись дальше к востоку.*

Провал чехов на Волге был одновременно и провалом их верных сотрудников эсеров. Они мнили себя "выразителями чаяний широких масс", но на массы не подействовало ничто: ни аграрная программа Чернова, ни "пламенные призывы" Комитета членов Учредительного собрания. А чехи, проиграв Волгу, двинулись дальше, стягивая за собой богатейшую

"военную" добычу. Поезда и склады их ломились от русского обмундирования, вооружения, продовольствия, обуви. "Металлы, разного рода сырье, ценные машины, породистые лошади объявлялись чехами тоже военной добычей. Одних медикаментов ими было забрано на сумму свыше трех миллионов рублей.

Чехи не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лаборатории Пермского университета. По самым скромным подсчетам эта своеобразная контрибуция обошлась русскому народу во многие сотни миллионов золотых рублей...

Часть этой добычи стала предметом открытой продажи, часть была погружена в вагоны к отправке в Чехию. Чешский национальный комитет поднял перед союзниками вопрос об эвакуации всех чешских войск из Сибири. *Мы подчеркиваем этот факт, ибо впоследствии главари чехов имели смелость утверждать, что чехи отказались от дальнейшей активной борьбы с большевиками только потому, что не хотели поддерживать власть Колчака. Между тем, в описываемое время благополучно здравствовала директория, демократизм которой не подлежал сомнению...*"

По странной случайности почти одновременно с получением "Дела России" мне пришлось говорить о роли чехов по отношению к Колчаку с одним видным эсером, ныне находящимся в Париже: он оппозицию чехов Колчаку, конечно, объяснил тем же самым, что и чехи: "Реакционностью сего истерического генерала". Как видите, дело обстояло несколько иначе...

Дело было в том, что чехи грабили и спешили домой, а эсеры все больше и больше проваливались в своей новой попытке властвовать и уловлять сердца народа (*что особенно надо твердо помнить в наши дни,* когда эсеры особенно громко говорят о всяческих недостатках "Колчаков, Деникиных и Врангелей"). Мобилизация, объявленная эсерами в августе, не дала никаких результатов. Крестьянский съезд, послушав сладкие речи "селянского министра", разъехался, решив не платить податей и не давать солдат. Тогда в Уфе собралось знаменитое "Уфимское Государственное совещание" — Авксентьев, Брешковская, Минор, Зензинов, Вольский, Роговский, Климушкин (бывший волостной писарь) и т. д. Целый месяц шла партийная свара, тысячи листов бумаги были застенографированы — наконец, согласие вылилось в избрание "директории", "во временную уступку сибирской реакции". Но и после этого в Уфе все еще длились митинги и разложение масс. Самара пала, "Комуч" бежал, чехи открыли фронт, а в Уфе новая керенщина

шла во всю; Уфу уже эвакуировали и беженцы платили бешенные деньги за места в вагонах... Наконец, в специальном поезде, с огромным штатом в несколько сот "партийных работников" и с несколькими десятками миллионов из Уфимского казначейства эсеры отбыли в Омск..."

Что было дальше? Чехам со своей огромной добычей надо было выбраться домой, но Колчак не выпустил бы их без осмотра. А эсерам нужна была власть. "И они, конечно, хорошо учли слабое место совсем разложившихся чехов и заключили с ними союз для совместных действий против Колчака... Знаменитый меморандум, выпущенный иркутским штабом чехов в декабре, после омской катастрофы, меморандум, полный высоких слов о "свободе русского народа, есть произведение вполне лживое и лицемерное..."

Таковы отрывки этой страшной для России и поучительной истории...

ЕГО ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ

...Думая о Нем и о той беспросветной тьме, что заступила уже все пути наши, развернул Библию,— делаю это теперь особенно часто,— и взгляд упал на 79 псалом:

— "Боже, пришли язычники в наследие Твое, осквернили храм Твой, превратили Иерусалим в развалины, отдали трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела святых Твоих — зверям земным... Боже, мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас... Пусть скорее встретит нас милосердие Твое, ибо мы весьма изнурены... Пусть придут перед лицо Твое вздохи узников, силою мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть..."

...Ничего не могу прибавить к этим изумительным ветхозаветным строкам. В них все сказано. И потом — воистину "мы весьма изнурены", и уже не хватает сил и желания говорить среди "окружающих нас". Одни из них мечут жребий о ризах наших, другие витийствуют о "светлом будущем", а *там — там* только "вздохи узников", муки "обреченных на смерть", защиты и спасения себе теперь уже ниоткуда не чающих.

Молча склоняю голову и перед Его могилою.

Настанет день, когда дети наши, мысленно созерцая позор и ужас наших дней, многое простят России за то, что все же не один Каин владычествовал во мраке этих дней, что и Авель был среди сынов ее.

Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской Земли.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

...Вспоминая купе вагонов, в которых столько колесил я по земному шару, неизменно вспоминаю одно и то же: переменив котелок на дорожный картуз, достав из несессера книжку, англичанин сидит весь день без малейшего движения, не роняя ни единого слова, ни на миг не снимая перчаток; я вхожу — он медленно осматривает меня оскорбительно холодными глазами и опять опускает их на книжку; за окном мелькают древние города, развалины замков, горные бездны и вершины, морские заливы, озера, пески, Нил, пирамиды, Нубийские хижины, тропические лесные дебри — он невозмутим, он не замечает меня, он читает, а если глядит в окно, то еще мертвее и оскорбительнее, чем глядел на мою фигуру.

Таким же вижу я его и на пароходе, в отеле. Я или не существую для него (благо днем полагается по английскому этикету быть свободным в одежде) или же он самым непристойным образом осматривает меня с головы до ног — в ту торжественную минуту, когда гудит обеденный гонг и все шествуют в столовую в смокингах и бальных туфлях, среди нарядных дам, блеска зеркал и электричества.

Однажды отель, в котором я проводил зимы на Капри, загорелся (с верхнего этажа). Весь городок сбежался, все двери в отеле были настежь, по всем лестницам носились люди, тушившие огонь, все жильцы не английского происхождения помогали им или хватали из своих комнат и выбрасывали в коридоры вещи,— англичане и бровью не повели: взяли пледы, книжки, сели в кресла, обернув пледами ноги, и преспокойно стали кто читать, кто писать дневники и письма.

В Ерусалиме, в Назарете, в Иерихоне жившие со мною в отелях англичане вставали раным-рано по утру, не спеша совершали туалет, плотно завтракали и затем, под предводительством гида от Кука, выходили на осмотр священных достопримечательностей с неизменным пением псалмов... Бог мой, как это было ужасно во всех смыслах!

В Египте, возле пирамид, храмов, я с утра до вечера слушал треск палок по головам арабов: арабы с бешеными криками осаждали туристов, предлагая им свои услуги, своих ослов, а английские полицейские молча лупили их направо и налево, да

так крепко и ловко, что только палки отскакивали... Мог ли я тогда думать, что благодаря "завоеваниям великой российской революции", будут ходить эти палки и по русским головам, как уже не раз они ходили, например, в английских пропускных бюро в Константинополе!

В Коломбо я глазам своим не верил, видя, как опасливо, все время начеку проходят англичане по улицам,— как они боятся осквернить себя нечаянным *прикосновением* к томилу, к сингалезу и вообще ко всякому "цветному" человеку, ко всякому "презренному" (по их любимому выражению) дикарю.

А какими скандалами сопровождались на Цейлоне все мои попытки проехать по железной дороге в третьем классе!

Каждый раз, когда я отправлялся в поездку по острову, происходило следующее:

Жара, адская, удушающая... Голый черный человек, то есть рикша, во всю прыть мчит раскаленную лакированную колясочку, в которой сижу я — всегда с большим стыдом, к чести моей сказать... Вот площадь, вот вокзал в мавританском стиле, почти страшный своей белизной на фоне белесого от зноя неба... Режут глаза черные волны и черная спина рикши среди этой белизны и белого солнечного света... Внутри вокзала легче, веет теплый сквозняк... Вытираю ледяной лоб, кость которого так ощутительна при поте, спешу к выходу на перрон... Высокий и тяжелый, с белыми крышами, поезд уже готов... Направляюсь к будочке кассира, вынимаю ровно столько монет, сколько требуется за проезд, скажем, до Анарадхапуры в *третьем* классе и крепко стукаю ими перед выглядывающим из будочки англичанином:

— Third class, Anaradhapura (третий класс, Анарадхапура)!

— First class (первый класс)? — отвечает тот вопросом.

— No, third class, third class! — кричу я.

— Yes, first class! — кричит и англичанин, выкидывая билет первого класса.

И тогда я багровею от бешенства, сую лицо в будочку и начинаю орать приблизительно в таком роде:

— Слушайте, будь я трижды проклят, мне осточертело это! Я хочу видеть все особенности страны, всю ее природу, всю ее жизнь, всех ее обитателей вплоть до самых "презренных", как вы выражаетесь, которые, конечно, не могут, да и не смеют ездить в первых классах! И вот, каждый раз, как я хочу сесть в третий класс, начинается эта борьба с кассиром! Я требую *третий* класс,— меня, пользуясь созвучием слов, дерзко перебивают, дурачат: "вы хотите сказать — первый?" Я начинаю

кричать: "нет, третий, третий!" — Мне все-таки выкидывают первый! Я швыряю его назад — и тогда кассир, вне себя от негодования и удивления, что "белый" человек одержим низким и безумным желанием сидеть рядом с "цветным", начинает тоже кричать на меня, запугивать насекомыми, которых я наберусь от "цветных", указывает на то, что никто из "белых" не ездит здесь в третьем классе, что это "не принято", неприлично, возмутительно! — Одним словом, извольте сию же минуту дать мне то, что я требую!

В конце концов кассир, конечно, сдается,— пораженный моей яростью, он на мгновение каменеет, смотрит на меня глазами кобры и вдруг решительно швыряет чуть не в лицо мне билет третьего класса. Торжествуя, водворяюсь в вагон и жду последнего звонка, а, главное, спутников. Но что за черт — их нет и нет! По платформе, мимо моего купе, несется непрерывный шорох бегущих босых ног, но почему же все мимо, все дальше куда-то? А, это их пугает мой шлем, белый шлем белого человека, в купе к которому, по их мнению, все-таки лучше не соваться! И я снимаю шлем, прижимаюсь в угол, снова жду — и снова напрасно! "Теперь-то почему же никого нет? — думаю я.— Ведь теперь они меня не видят?" А меж тем раздается свисток кондуктора, поезд готов тронуться... И тогда я вскакиваю с места, высовываюсь в окно, чтобы понять в чем дело; — и дело объясняется очень просто: на моем купе крупно написано мелом, что оно — *занято!* Настоял, мол, на своем, вырвал билет третьего класса, так вот же тебе — сиди, сумасшедший, один!

Конечно, я и тут остаюсь верен себе, я догадываюсь, что ведь и я могу устроить новую пакость и кассиру, и кондуктору — я на следующей станции хватаю свой сак и перебегаю в другой вагон, даже и не в третий, а еще хуже,— в четвертый, в самую гущу "презренных дикарей"... Но сколько же крови стоит мне это невиннейшее желание проехаться с ними, сколько крепчайших, чисто русских слов посылаю я по адресу просвещеннейшей Британии, вскакивая в этот четвертый класс, удушающий, как полок в бане, и, как баня в субботу, набитый черными и шоколадными телами, которые только по бедрам прикрыты мокрыми от пота тряпицами!

...Качаются головы на этих телах, сидящих и стоящих в полутемном от наружных навесов над окнами вагонов, мчится полутемный вагон в бездне белого, ослепительного зноя, льющегося с неба на радостную, райски богатую землю, чутко

отдается татаканье колес от цветущих, бесконечных лесных дебрей, летящих назад, мимо...

— Курумба-а! — звонко и жалобно кричат на остановках продавцы кокосовых орехов...

И опять, четко татакая, несется вагон, опять летят мимо окон джунгли, с райской нежностью синеют медленно проходящие за деревьями долины и слонообразные вершины гор...

Какой бег, какой наглый и чудесный поезд, как властно прорезает он этот Эдем!

Горе вам, "презренные дикари"!

Париж, 20–III.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Пустяк, но противный.

Кто бы мог подумать прежде, что в газете П.Н.Милюкова будет писать Василевский — Не-Буква. А вот он пишет, да еще как! Точно в каких-нибудь "Известиях" и сразу охаивает (в "Последних новостях" от 1-го апреля) Мережковского, Гиппиус, Куприна, А.Яблоновского, меня. На меня, кроме того, врет.

Он возмущается, утверждает, что мы пишем неправду о совдепии, преувеличиваем ее ужасы, выражаемся слишком грубо, говоря о большевиках... "Мережковский выдумал, будто в Москве казнят тем, что сажают в мешок со вшами... Бунин совершенно серьезно обсуждает вопрос, входит ли суп из человеческих пальцев в обычное меню в сов<етской> России... То ли еще сообщали всяческие недоброй памяти "Осваги!" Но когда такие сообщения исходят из уст Мережковского или Бунина, стоит призадуматься"... И "призадумавшись", Василевский несет удивительную чепуху: как "во дни царских казней" мы "естественно левели", так теперь, "в дни чрезвычаек", естественно правеем, а значит — злобимся ("эпидемия поправения это раньше всего эпидемия злобы и ненависти") и оттого делаемся "бесплодны", новых рассказов не пишем, не даем "ни одного живого слова"...

Вот как просто истолковывается в газете П.Н.Милюкова молчание русских художников, вот за что (за злобу и грубость к большевикам) Бог покарал нас бессилием ("когда поэт и пророк начинает лгать, Бог карает его бессилием"), вот как оценивается "Посл<едними> новостями" наша антибольшевистская деятельность.

А лжет-то, повторяю, вовсе не "поэт и пророк", а Василевский. Из моих "уст" никогда не исходило "сообщение о советском супе из человеческих пальцев", так что "призадумываться" надо мной было нечего. Правда, Василевский нарочно путает карты,— в другом месте своей статейки говорит, что я только "совершенно серьезно обсуждал вопрос, входит ли такой суп в *обычное* меню в Сов<етской> России". Но и "обсуждал" я этот вопрос не совсем так.

Я говорил об этом супе в "Открытом письме к редактору газеты Times", говорил только следующее: "господин редактор, русский писатель Горький горячо опровергает в письме к Уэллсу "мрачную глупость, напечатанную в вашей газете, сообщение одного англичанина, что он видел в одной советской столовой суп из человеческих пальцев, а вот я, зная тот ужас, в коем живет Сов<етская> Россия, не очень-то верю горьковским опровержениям, думаю, что неспроста так часто появляются в европейской прессе столь "мрачные глупости" о Сов<етской> России, что дым без огня не бывает, что какова же, значит, жизнь в этой России, если возможны такие выдумки (если только выдумки) о ней и совершенно серьезные опровержения их!.." Вот что я говорил и где? В газете самого же Василевского, в его "Свободных мыслях".

Василевский, осенью 1919 г. буквально обивший все пороги в одесском "Осваге" (Отделе пропаганды Добровольч<еской> армии) и таки успевший продать ему две своих книжечки (в одной из коих Добров<ольческая> армия изображалась в виде доблестного Бовы Королевича), осенью 1920 г. явился в Париж и допек меня такой изнурительно-настойчивой просьбой (и лично, и через А.И.Куприна, и через А.П.Шполянского), дать что-нибудь для "Свободных мыслей", что я уступил и дал ему "Открытое письмо к редактору газеты Times о супе из челов<еческих> пальцев". Тогда Василевский чуть не на коленях благодарил меня за это, выражал свое восхищение не только в словах, но даже в стонах, в хватании себя за голову: "изумительное, потрясающее письмо!" Теперь он этим письмом, напечатанным в его же собственной газете, столь же безмерно возмущается... Нужны ли "комментарии" к такой мелкой низости? Объясняется она, впрочем, очень просто: вскоре после напечатания моего письма в "Свободн<ых> мыслях", "мысли" эти повели себя так, что мы с А.И.Куприным заявили Василевскому, что не дадим ему больше ни строки.

Отсюда и все прочее вранье Василевского на меня,— напр<имер>, его глупая попытка записать меня в юдофобы

путем извращенной передачи того, что я писал в "Южном слове" в защиту не Наживина, которого тот же Василевский тоже хаял, обзывая "лысой душой", а в защиту газетной пристойности и в ответ на таковую же попытку со стороны "Современного слова" (а не "Одесских новостей").

САМОГОНКА И ШАМПАНСКОЕ

Народ, народ, народ... Нужды народа, идеалы народа, душа народа... "Дело народа" и "Власть народа", "Воля народа".

Пришла великая война. Чего только не врали мы о народе, о его патриотическом подъеме! Ведь это уже потом стали мы повторять ходячий анекдот:

— Нам что ж, мы вятские, он немец-то, до нас не дойдет...

А раньше что мы пели?

Народу принадлежит старинная пословица:

— Из нас, как из древа — и дубина и икона.

Была старая армия, была дисциплина, страшное сознание, что нельзя не покоряться государству, отечеству, власти — и была икона.

Но те, что сидели дома, в деревне, были, конечно, довольно-таки равнодушны, только поддакивали:

— Конечно, наша возьмет! Где же такая сила, как у нас? Говорят, будто и француз на нашего (т. е. на царя) *колебается*, ну, да и с французом справимся...

И не плохо сказал мне однажды один старичок-мещанин:

— Что их слушать? Все врут спросонья! Нет, для войны нужна смекалка и *невры* хорошие. А у нас в головах мухи дерутся (он сказал, конечно, не "дерутся", а иначе) и кишка слаба, нетерпелива, а потом и в кусты, надоело, ну его к черту...

В Англии, во Франции стали выходить тогда книги о русской душе, так они и назывались: "Душа России" — а в то же время я видел однажды какой-то английский журнал и в нем такую картинку: много снегу на заднем плане — маленький коттедж, а на переднем идущая к нему девочка, в хорошенькой шубке и со связкой учебников в руке; и коттедж этот, как оказалось при ближайшем рассмотрении, изображал русскую сельскую школу, а девочка — ученица этой школы, и имела эта девочка, как гласила подпись под картинкой, престранное для девочки имя:

— Петровна!

Думаю, что недалеко были и мы от такой же Петровны.

Как черпали мы тогда наши познания о народе, о его "воле", о его душе? Помимо газет, вравших несудом, еще и посредством общения с народом, а общение это было, примерно, такое:

Поздней ночью, едучи из гостей или с какого-нибудь заседания на извозчике по улицам Москвы или Петербурга, спрашивали, позевывая:

— Извозчик, ты смерти боишься?

И извозчик машинально отвечал дураку барину:

— Смерти? Да чего ж ее бояться? Ее бояться нечего. Двум смертям не бывать...

— А немцев — как ты думаешь, мы одолеем?

— Как не одолеть! Надо одолеть.

— Да, брат, надо... Только вот в чем заминка-то... ("Я умею говорить с народом!"). Заминка в том, что царица у нас немка... Да и царь — какой он, в сущности, русский? Измена везде...

И извозчик сдержанно подлаживал:

— Это верно. Вон у нас немец управляющий был — за всякую потраву полтинник да целковый! Прямо собака...

Чего же нам было надо больше для твердой уверенности, что "наш мужик мудро относится к смерти", что он непоколебимо убежден в победе, что он "Богоносец" и "чудо-богатырь"?

Раз, весной пятнадцатого года, я гулял в московском зоологическом саду и видел, как сторож, бросавший корм птице, плававшей в пруде и жадно кинувшейся к корму, давил каблуками головы уткам, бил сапогом лебедя. А придя домой, застал у себя Вячеслава Иванова и долго слушал его высокопарные речи о "Христовом лике России" и о том, что после победы над немцами, предстоит этому лику "выявить" себя еще и в другом великом "задании": идти и духовно просветить Индию, да, не более не менее, как Индию, которая постарше нас в этом просвещении этак тысячи на три лет! Что же я мог сказать ему о лебеде? У них есть в запасе "личины": лебедя сапогом — это только "личина", а вот "лик"...

Пришла революция. Нужно ли добивать лежачего, в тысячный раз напоминать, какую чепуху несли мы при сем примечательном случае?

— Чудо, великое чудо! Святая, бескровная! Старое, насквозь сгнившее рухнуло — и без возврата! Вот он, истинный Народ-Богоносец, которого спаивали, натравляли на погромы, держали в рабстве,— вот он, во весь рост!

Впрочем, я совершенно напрасно употреблял слова: "добивать лежачего". Где он, этот лежачий?

Трезвый "Богоносец" сотворил такое "чудо", перед которым померкли все чудеса, сотворенные им во хмелю. Толки о чуде оказались чудовищными по своей преступной легкомысленности. Старое повторилось чуть ли не йота в йоту, только в размерах, в нелепости, в кровавости, в бессовестности и пошлости еще неслыханных. Но вздор, пустяки! Мы ничуть не лежачие, мы и глазом не моргнули, в сущности, нам все Божья роса, мы долбили и долбим все то же, все то же!

Правда, мы немножко удивились: как же это так,— думали, что все дело кончится тем, что офицерам перестанут отдавать честь и что их вежливо попросят снять погоны:

— Революция, товарищ, а на вас погоны! Ведь это ужас! Ведь как же при этом пересоздать Россию и умирать в борьбе с немецким империализмом! Никак невозможно!

Думали, что и Нахамкес помирится на отмене чести, что "солдат-гражданин", "раскрепощенный" приказом № 1, на руках будет носить одного из авторов этого приказа, г. Соколова... Вышло не так: Нахамкес не помирился, Соколову этот самый солдат так ахнул ведром в голову, что он, как гласили газеты, "ниже пояса был залит кровью", а беспогонная Россия полетела в тартарары... Да что с того? Мы в сущности растерялись весьма мало. "Народ перешагнул через Духонина", и было уже вполне ясно, что он перешагнет и через Россию... Он и перешагнул... Но не беда! Будет "Третья Россия"!

Выйдешь, бывало,— летом семнадцатого года,— из усадьбы, пойдешь на деревню... На деревне сидит возле избы дезертир, курит и напевает:

— Ночь темна, как две минуты...

Что за чушь? Что это значит — как две минуты?

— А как-же? Я верно пою: как две минуты. Здесь делается ударение.

— Какое ударение?

— Обыкновенное.

— Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

— А мне один черт — под немца, так под немца!

За всем тем попробовали бы вы тогда заикнуться, что этот "революционный солдат" только головой кивнет одобрительно, когда Карахан подмахнет за него "похабный мир!" Вас бы собаками затравили за такую "клевету на народ".

"Мы свято верим в русский народ, в его революцию, в его победу! Сермяжный гражданин, отныне державный хозяин земли русской, крепко держит в своих мозолистых руках и священное революционное знамя, и винтовку!" — вот чем

переполнены были тогда все эти "Воли народа", печатавшиеся на всех тех Собачьих Площадках и Вшивых Горках, где теперь стоят памятники Маркса, Свердлова, Урицкого.

Пройдешь, бывало, в сад... В саду караульщик передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в 20 верст длиною,— *"вириятно, эрунда, барин?"* А мужик, его приятель, в сотый раз, с упоением рассказывает ему свое революционное прошлое.

Он в 1906 г. полтора года сидел в остроге за кражу со взломом — и это лучшее его воспоминание, потому что в остроге было "веселей всякой свадьбы и харчи отличные". Он рассказывает: "в тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики, а во втором — помощники этим политикам"; они никого не боятся, эти политики, "обкладывают матюком губернатора", а вечером песни поют мы жертвою пали; одного из них "царь приказал повесить и выписал *из синода самого грозного палача*", но потом ему пришло помилование, и к политикам приехал "Главный Губернатор, третье лицо при царском дворце", только что сдавший "экзамент" на губернатора; приехал — и давай гулять с политиками: "налопался, послал урядника за граммофоном, и пошел у них ход,— губернатор так напитался, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок... обещал прислать всем по 20 коп<еек> денег, по полфун<та> табаку турецкого, по 2 ф<унта> ситного хлеба, да конечно, сбрехал..."

Вот что, бывало, видишь и слышишь весь день на деревне. Всяческой чепухи, истинно русской, и трагикомической и прямо жуткой,— ведь на каком страшном переломе была тогда Россия! — хоть отбавляй. И чепуха эта все росла, превращалась в злую и непроглядную тьму. То вдруг подобьет кто-то деревню "изничтожить" в церкви икону Николая Угодника, и деревня уже готова к этому, как вдруг поднимается — как раз на Николин день, 9 мая — страшная метель, и деревня в ужасе бросает свою "революционную" затею. То скандал в церкви при пении "Яко до царя всех подымаем": — "Как так до царя? Опять до царя"? — То внезапно появляется толпа мужиков в казначействе в городе: — "Мы за царскими деньгами: раз теперь царя нету, а деньги, говорят, народные, то, значит, они наши — вынимайте, считайте и делите всем нам поровну..." Было уже ясно, что "великая французская революция а-ля-рюс" все более получает вкус чисто пошехонской, доморощенной самогонки. Но каждый вечер получал я кипу газет... Как чудесно преломлялась в них *подлинная* российская жизнь — это

я уже говорил. Там самогонка претворялась в чистейшее шампанское.

Теперь, кажется, все уже доделано. На полной свободе вышли все семь тощих коров, без остатка пожрали семь тучных и не только не стали оттого тучнее, но и сами подохли с голоду. Все казни египетские испытаны. И что же, в конце концов, ждет нас?

Опять твердят, что "все само собой образуется", и что, при нашей доброй помощи, при помощи "демократии", опять будет нечто чудесное... Третья, уже настоящая революция. Третья, свободная, прекрасная Россия...

Летом 1919 г. сидел однажды в Одессе один красноармеец на часах (да, сидел, они не стоят, а сидят на часах), сидел в красном бархатном кресле, играл затвором винтовки, поражал боязливо пробиравшихся мимо прохожих своей разломанной позой, картузом на затылок и сальными волосами, напущенными на мутно-неприязненные свиные глазки и просвещал своих товарищей, грызших семечки, тогда еще не дотла слопанные:

— А Петроград весь под стеклянным потолком будет. Так что ни дождь, ни град, ничто...

Вот так и мы в Париже фантазируем:

— Будет, будет! Да еще как! Все под дивным, демократическим потолком!

Все будет, ежели только сохранит Бог, а то вон Врангель хотел спасти Россию, да не удержался, отдал под цензуру "Крымский вестник" — и все пошло прахом...

Все будет. Уж кто-кто, а уж мы-то насчет "светлого будущего" равно как и насчет народа, его "воли", его "чаяний", достаточно осведомлены!

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Опять Горький! Ну, что ж, и мы опять...

Начало февраля 1917 г., оппозиция все смелеет, носятся слухи об уступках правительства кадетам — Горький затевает с кадетами газету (у меня сохранилось его предложение поддержать ее).

Апрель того же года — Горький во главе "Новой жизни", и даже большевики смеются,— помню фразу одного:

"Какой, с Божьей помощью, оборот!" — но, конечно, таким популярным соратником не пренебрегают. Ленин все наглее орет свои призывы к свержению Временного правительства, к гражданской войне, к избиению офицерства, буржуазии и

т.д.,— Горький, видя, что делишки Ленина крепнут, кричит в своей газете:

"Не сметь трогать Ленина!" — но тут же, рядом печатает свои "несвоевременные мысли", где поругивает Ленина (на всякий случай)...

Конец 1917 г.— большевики одерживают полную победу (настолько неожиданно-блестящую для них самих, что "болван" Луначарский бегает с разинутым ртом, всюду изливает свое удивление) — и "Новая жизнь" делается уже почти официальным органом большевиков (с оттенком "оппозиции Его Величеству"). Горький пишет в ней буквально так: "пора добить эту все еще шипящую гадину — Милюковых и прочих врагов народа, кадетов и кадетствующих господ!" — и результаты сказываются через два-три дня: "народ" зверски убивает двух своих заклятых "врагов" — Кокошкина и Шингарева...

Февраль 1918 г., большевики зарвались в своей наглости перед немцами — и немцы поднимают руку, чтобы взять за шиворот эту "сволочь" как следует... Горький пугается и пишет о Ленине и его присных (7 февраля 1918 г.):

"Перед нами компания авантюристов, проходимцев, предателей родины и революции, бесчинствующих на вакантном троне Романовых..."

Но заключается "похабный мир", Горький переводит "Новую жизнь" в Москву (знал о близком переезде туда "правительства")... Газета его "в опале", но все-таки внедряется она в великолепный особняк на Знаменке, где на двери надпись:

"Реквизировано комиссариатом иностранных дел для редакции газеты "Новая жизнь"...

Осенью 1918 года покушение на Ленина, зверские избиения в Москве буквально кого попало — Горький закатывает Ленину поздравительную телеграмму по случаю "чудесного спасения": ведь никто и пикнуть не смел по поводу этих массовых убийств — значит, "Ильич" крепок... Затем — убийство Урицкого. "Красная газета" пишет: "В прошлую ночь мы убили за Урицкого ровно тысячу душ!" — и Горький выступает на торжественном заседании петербургского "Цика" с "пламенной" речью в честь "рабоче-крестьянской власти", а большевики на две недели развешивают по Петербургу плакаты: "Горький — наш!" и ассигнуют ему миллионы на издание "Пантеона всемирной литературы"... Горький берет в подручные Тихонова и Гржебина, и подлая комедия издания "мировых классиков" в стране, заливаемой кровью, грязью и уже заедаемой пещерным голодом и вшами, дает благие результаты: сотни интеллигентов

стоят в очередях, продаваясь на работу в этом "Пантеоне"... Авансы текут рекой... Некоторые смущенно бормочут:

"Только, знаете, как же я буду переводить Гете — я немецкого языка не знаю..." Но Тихонов успокаивает:

"Ничего, ничего, мы дадим подстрочник, берите аванс..."

Никакого "Пантеона" и доселе нет... Есть только тот факт, что "интеллигенция работает с советской властью", что "умственная жизнь в стране процветает" и Горький на страже ее...

Май 1919 г., советские дела не плохи, в Москве "мировой" съезд 3 Интернационала — и Горький на весь мир трубит славу этому Интернационалу и русским коммунистам — "*честнейшим в мире коммунистам*, творящим дивное, *планетарное* дело!". Но к осени того же года положение "честнейших" так плохо, что Горький заявляет:

"Среди них 95 процентов бесчестных грабителей и взяточников!"

Летом 1920 года большевики под самой Варшавой — и Горький закатывает настолько бесстыдный акафист "святому" и даже превзошедшему всех святых в мире "Ильичу", что краснеют все еще не околевшие с голоду советские ломовые лошади. Горький буквально бьется головой о подножие ленинского трона и вопиет: "Я опять, опять пою славу безумству храбрых, из коих безумнейший и храбрейший — Владимир Ильич Ленин!" Он говорит (в петербургских "Известиях"): "было время, когда естественная жалость к народу России заставляла меня считать большевизм почти преступлением... Теперь, когда я вижу, что этот народ умеет гораздо лучше терпеть и страдать, чем сознательно и честно работать,— я снова пою славу священному безумству храбрых!" (Нужды нет, что в мае 1919 г. в первом номере "Интернационала" он писал другое:

"Еще вчера мир считал русских за полудикарей, а ныне он видит, что они пламенно идут в борьбу за третий Интернационал!")

Но Варшава остается цела, "красные львы" в лаптях и босиком дерут без оглядки куда попало — и Горький снова ныряет в люк: возвращается к мирным работам о судьбе русских ученых и огрызается на своего "святого" и даже на Дзержинского: "Нельзя, господа, избивать интеллигенцию — это мозг страны, самое ее драгоценное достояние!" А Ленин с Дзержинским только ухмыляются:

— Поздно, братец, хватился! Мы этот мозг уже вышибли из сотни тысяч черепов! Мы отравили мир ядом своего существования, гноем наглости, зверства, бесстыдства, воровства, лжи,

изуверства до такой степени, что теперь уже давно стали смешными эти басни о ценности мозгов! А за тем всем продолжай свои попечения об ученых — *это народ самый безвредный для нас.* И нам спокойно, и тебе прибыльно... на всякий случай...

И вот Горький опять в роли "овода" советской "республики" и в роли печальника о "мозге страны". И уже многие поговаривают о том, что за это ему надо "все простить"... Дело дошло до того, что в зарубежных русских газетах появился открытый призыв г. Ферсмана, петербургского академика, на этот предмет...

О, постыдные, проклятые, окаянные дни!

P.S. В посмертном дневнике Андреева есть такое место: "Вот еще Горький... Нужно составить целый обвинительный акт, чтобы доказать всю преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России... Но кто за это возьмется? Не знают, забывают, пропускают... Но неужели Горький так и уйдет ненаказанным, неузнанным, "уважаемым"? Если это случится (а возможно, что случится) и Горький сух вылезет из воды — можно будет плюнуть в харю жизни!"

"ДЫМ БЕЗ ОТЕЧЕСТВА"

Вышли две книжки: "Авантюристы гражданской войны" А.Ветлугина и "Дым без отечества" Дона-Аминадо.

Прочитал, и радуясь, и томясь. Радуясь потому, что оба истинно талантливые люди, не просто способные, т. е. умеющие приспособляться, а именно талантливые. А томясь в силу того, что обе книжки истинно эмигрантские, послереволюционные и вызывающие при чтении много побочных чувств, дум, воспоминаний.

Выражаясь высоким стилем, "волны революции" уже все слабеют, уже все больше оставляют на берегах горькие, сорные, едкие, жесткие следы. Обе книжки — разительные частицы этого уже совершающегося отложения.

От Ветлугина определенно тяжело.

Он немножко слишком смел и хлесток, но это неважно, это, так сказать, вневременные его недостатки, недостатки молодости, частной газетной работы, которые, вероятно, смягчатся, исчезнут, ибо, повторяю, он талантлив.

Гораздо важнее другое — то, что он "дитя своего времени".

Ужасную молодость дал Бог тем, что росли, мужали и остались живы за последние годы! И Ветлугин яркий пример среди них. В какой низости и жестокости жили подобные ему.

Какую почти противоестественную выдумку, какое неприятное спокойствие (пусть даже внешнее), какое разочарование во всем приобрели они! Сколь много (чересчур много) они видели, и сколько грязи, крови! И как ожесточились!

Какой-то евпаторийский раввин, к которому многие ходили судиться, всегда говорил (грустно и нежно) и спорщикам и свидетелям:

— И ты неправ, и он неправ, и они неправы. Идите с Богом.

А нынешний Ветлугин всем говорит с ледяными глазами:

— Все вы черт знает что и все идите к черту.

Недостаток ли это? Это большое несчастие, болезнь. Что будет с Ветлугиным? Надеюсь, что он изживет свою болезнь... Нет, далеко не все одинаково неправы. Нельзя стричь всех одинаковой машинкой под одну арестантскую "гребенку" (я не о "красных", конечно, говорю,— тех сам дьявол уже давно оболванил на каторжный лад)... Нужно, чтоб хоть иногда на ледяные глаза навертывались слезы...

Аминадо, человек иной формации. Но и его насквозь пропитала горечь, едкость — следы того, что пережили мы... "Пили мы Калинкинское пиво, говорит он, ездили на Воробьевы горы и, косясь на городовых, сладострастным шепотом декламировали:

"Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни..."

Дорогой ценой заплатили мы за диких уток, синих птиц, орлов, кречетов, соколов и воронов, чаек, а наипаче за буревестников! "Был, говорит он,—

Был мужик, а мы: "о, грации!"
Был навоз, а мы — в тимпан!
Так от мелодекламации
Погибают даже нации,
Как бурьян...

Прошлое? "Декламировали", говорит он,—

Пили красное вино
И искали Незнакомок,
Возносились в облака,
Пережевывали стили...

Потом:

Жили, как свиньи, дрожали, как мыши,
Грызлись, как злые, голодные псы,—

И все-таки не бросали прежних навыков,— те из нас, конечно, которым Аминадо адресует свою "Писаную торбу":

Я не могу желать от генералов,
Чтоб, каждый раз, в пороховом дыму,
Они республиканских идеалов
Являли прелести (кому и почему?).
Когда на смерть уходит полк казацкий,
Могу ль хотеть, чтоб каждый, на коне,
Припоминал, что думал Златовратский
О пользе просвещения в стране,
Чтоб даже лошадь ржала марсельезу,
В кавалерийскую атаку уносясь...

Настоящее? —

Псалмопевцы грядущей республики
И любимцы почтеннейшей публики,
Что ж, теперь вы довольны, не правда ли?
Только тише ходите по улицам,
Не болтайте в трамваях, в кондитерских,
Притворяйтесь бразильцами, чехами,
Но — ни слова о том, что вы русские:
Ибо третьего дня иль четвертого
Мы имели хоть призрак отечества
И за смутную тень полуострова
Нас терпели консьержки с консьержками,

А сегодня...

А сегодня: там, на родине —
Расстреливают щедро и жестоко,
Казнят за "ять" и воспевают труд,
Интеллигенция разучивает Блока
И пишет на машинке Ундервуд —

Здесь же, в Париже,—

Живем, скрипим да медленно седеем,
Плетемся переулками Пасси
И скоро совершенно обалдеем
От способов спасения Руси...

* * *

Тут мы можем жить и ждать,
Не бояться, не дрожать...

Тут жандарм с большим хвостом
И республика притом...
Здесь асфальт, а в нем газон
И на все есть свой резон...
Вишь, как в самое нутро
Ловко всажено метро,
Мчится, лязгает, грызет
И бастует — и везет...

Сегодня нам остается одно: "будем жить и будем ждать..." А чего же мы дождемся? Аминадо и насчет будущего улыбается очень едко и горько: опять, опять —

Вокруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик,
И вновь на линии Вапнярка — Кременчуг
Возникнет до семнадцати республик,
И чье-то право обрести в борьбе
Конгресс Труда попробует в Одессе...
— Тогда, о Господи, возьми меня к Себе,
Чтоб мне не быть на трудовом конгрессе!

Правда, наряду с чисто сатирическими стихами в книжке Аминадо есть и другие, почти чуждые злобы дня,— много легких, нежных и прелестных (и по форме и по чувству) строк: "Когда-то, говорит он,—

Пел рояль... Играли в фанты...
В зеркалах мелькали банты.

И убеждает самого себя:

Хорошо бы в море бросить
Всех, кто что-то проповедует...
Не ходить встречать Мессию
И его не рекламировать...
Не скулить о власти твердой
С жалким видом меланхолика,
Вообще, не шляться с мордой
Освежеванного кролика...

Но, повторяю, главное и в его книжке, поминутно озаряемой умом, тонким юмором, талантом,— едкий и холодный "дым без отечества", дым нашего пепелища. Только Ветлугин больше приобык (не слишком ли?) к этому дыму. Аминадо он ест глаза, иногда до слез.

ОБ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ

Бедная, беззащитная Эйфелева башня! Как осквернена, обесчещена она,— сколько всяческой мерзости уже приняла она из московского прекрасного далека! И вот опять: радио Горького о голоде...

— "Плодородные равнины России поражены неурожаем из-за засухи..."

Только ли "из-за засухи", советский псалмовец? А сотни тысяч десятин незапаханных, незасеянных? А ваш пресловутый "революционный порядок", ваши "комбеды", ваше "советское опытное хозяйство", ваши "отобрания излишков", ваши "реквизиции", из-за коих мужики сгноили в земле миллионы пудов зерна, ваше натравливание "бедняков на кулаков"?

А всяческое каиново кровопролитие, уже четыре года вами учиняемое во славу "третьего интернационала", а величайшее в мире ограбление, вами произведенное в России "на цели" этого самого "интернационала", с которым, как поете вы, "воскреснет род людской"?

А то, что сказочные богатства русского народа и несметные частные имущества, вами украденные, все в лоск ухлопаны вами на ваших наемных убийц, на чекистов, на провокаторов, на рекламу, на пропаганду и вообще на всяческий подкуп, подкуп и подкуп?

А то, что миллионы самых крепких, молодых сил употребили вы, как пушечное мясо, как "вооруженные силы" все того же интернационала?

А то, что у сотен тысяч мужиков не осталось, благодаря вам, ни самой паршивенькой лошаденки, ни самой завалящей сохи, ни обрывка веревки, ни обломка железа?

А то, что вы дотла разрушили все мосты и дороги, все паровозы и вагоны, сохранив из них только царские — для катанья господ Троцких на фронты, и всяких Иоффе — с дипломатическими поручениями в качестве представителей "рабоче-крестьянской власти", да на европейские курорты для поправления здоровья?

— "Это бедствие угрожает голодной смертью миллионам населения..."

Какой, подумаешь, жалостливый! ("Ужал, ел волк кобылу — оставил хвост да гриву!"). А миллионы смертей в голодных, холодных, вшивых, коростовых, тифозных городах и местечках, смертей, уже совершившихся на ваших глазах опять-таки во

славу "Третьего интернационала",— что же это-то "бедствие" не трогало вас?

Ведь это вы писали *прошлым летом* в своем акафисте Ленину буквально следующее:

"*Был момент, когда естественная жалость к народу России заставила меня считать большевизм почти преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ умеет гораздо лучше терпеливо страдать, чем сознательно и честно работать,— я снова пою славу священному безумству храбрых!*"

Что же собственно испытываете вы теперь? Снова "естественную жалость к народу России" — или же надежду, что кормежка Европой этого народа "*отдалит от коммунистической шеи давно заслуженную веревку*", как выразился на днях А.А.Яблоновский?

— "Русский народ уже и без того сильно истощен последствиями войны..."

Войны, какой, собственно? Той ли — конечно, "проклятой", "капиталистической",— которая для русского народа, по вашим стараниям, *кончилась уже три года тому назад* "похабным миром", или той, что, конечно, "да здравствует во веки веков!" — т.е. войны "гражданской, классовой", проще же сказать, подлейшей из войн.

— "Для народа Льва Толстого, Достоевского, Менделеева и других великих людей наступили тяжелые дни..."

"Наступили"! Ну, а те-то дни, что длились четыре года "во славу безумства храбрых", те были, значит, ничего себе, дай Бог всякому? Вероятно так, ибо ведь недаром острили ваши друзья Троцкие, Ленины и Дзержинские: "Это что за голод! Вот когда 20 человек будут драться из-за одной дохлой крысы — вот это будет голод!" Что же до Толстого и Достоевского, то вам, певцу этих остряков, лучше бы и совсем не заикаться: разве вы не помните, как честили вы и Толстого и Достоевского "пошляками" и "мещанами" (буквально так!) осенью 1905 г. в своих статьях "О мещанстве" в "Новой жизни" Ленина, под редакцией поэта Н.Минского.

Впрочем, довольно, и выписок из этой лживой, высокопарной иеремиады и комментарий к ним,— тем более довольно, что дальше этот певец самого грубейшего из всех человеческих учений и самого гнусного, самого бесчестного и самого подлого строя из всех существовавших на земле, осмеливается говорить о "гуманитарных идеях", о низости "безжалостного поведения победителей к побежденному", о "честности" и даже громить "культ золота и глупости" (очевидно только потому, что в

коммунистическом "культе" осталась теперь одна глупость, а золото уже все ушло на подкупы и растащено). Я, право, хотел сказать только одно: бедная, беззащитная Эйфелева башня, когда же кончится ее публичный позор, когда наконец перестанут растекаться по всему миру, при ее невольном посредстве, все эти ужасы России и тот моральный гной, которым весь мир отравляют ее "рабоче-крестьянские" правители?

"СТРАНА НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"

Ах, какой гнусной чепухой ознаменовались даже самые первые дни нашей погибели!

В Москве без конца вели по Тверской (куда, зачем, за что?) городовых без шапок... Державный народ стоял, глазел, жрал подсолнухи, изредка улюлюкал... Потом на место городовых кто-то назначил студентов, аптекарских учеников... Я даже, как сейчас вижу толстого гимназиста армянина лет тринадцати на посту на Малой Никитской...

В Петербурге "новая" Россия строилась тоже очень просто и мило. Известный "товарищ Богданов", один из главнейших соратников Горького по "Новой жизни", рассказывает ("Южный рабочий", Одесса 1919 г.) о том, как "сконструировался" знаменитый "совет рабочих и солдатских депутатов", т.е. главнейший погубитель всей России:

— "Пришли Суханов-Гиммер и Стеклов-Нахамкес, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще не существовавшего Совета"...

Россия участвовала в величайшей мировой войне, а "Совет" тотчас же декретировал восьмичасовой рабочий день, издал приказ № 1... Курсистки своей собственной властью поезд за поездом снаряжали из Москвы в Сибирь — за "революционными борцами"...

"Бабушку" возили, как икону: по Москве в зеркальном автомобиле, по России — в царских вагонах... И все новые министры, все новые правители главным своим долгом почитали представиться ей...

В городах, в деревнях сразу все спятили с ума: все поголовно орали друг на друга: "я тебя арестую, сукин сын!" — потом стали убивать кого попало, жечь на кострах, зарывать живьем в землю за украденную курицу... "Самосудов", самых кровавых и бессмысленных, было зарегистрировано (только зарегистрировано!) к августу 1917 г. уже более десяти тысяч (как заявил сам Керенский на знаменитом московском совещании)...

Власть над трехтысячным фронтом отдали "комиссарам": журналисту Соболю, журналисту Иорданскому (теперешнему редактору большевистского "Пути" в Гельсингфорсе)... Немцы по земле катались от радостного гогота...

Но можно ли все подобное переписать, исчислить? Я только хочу сказать вот что: большевики большевиками, а все-таки только в России можно дерзнуть на бесстыдство "планетарное", на глупость, повергающую в столбняк,— объявить, скажем, всероссийскую электрификацию, выписать в Россию Изидору Дункан, долженствующую танцевать для "пролетариата", умирающего с голоду, издать декрет, что отныне в Петербурге на всех лошадях, еще не совсем околевших без корму, должны быть дуги "художественно" расписанные...

У нас все сойдет с рук. У нас почва для всяческой чепухи и гнусности большевистской была давно готова.

Мы хохочем, например, над Марксом, поставленном в тех самых непролазных лесах, где чуть не вчера были обнаружены мултанские человеческие жертвоприношения, над Чухломой, переименованной в "Городок Клары Цеткин"... Мы издевались над петлюровским балаганом "Украинской самостийности", над "мовой", над яростным сдиранием в Киеве русских вывесок... А меж тем, чем мы лучше — ну хоть этого самого Петлюры? Разве петлюровщина не часть нашего общего?

Мы не меньше Петлюры содрали всяческих вывесок, гербов, орденов в первые же "мартовские" дни, т. е. в то самое время, когда поставлена была на карту вся судьба России и когда, казалось бы, было не до этих приятных занятий.

"Мова" не более противна и нелепа, чем наш революционный жаргон. "Комиссар Хоперского уезда Сидор Карпов" — эта смесь французского с нижегородским стоит "мовы"...

Впрочем, давно ли мы из наших квасов и на свет-то Божий вылезли! А ведь дети, обезьяны, дикари переимчивы. Негр, попав в Европу, тотчас же задушит себя самым модным воротничком. А как говорил, какую "пассию", какой "ришпект" ко всему французскому имел, примерно, недоросль!

И все-то мы, недоросли, напяливаем на себя, все пересаливаем, все карикатурим до последней возможности: Гегеля и анархизм, нигилизм и позитивизм, марксизм и народничество, романтизм и натурализм, Ницше и босячество, социализм и демократизм, декаданс и футуризм... Все-то у нас как на корове седло.

Что, скажем, могло быть глупее проповеди босячества и всяческого самодурства в стране и без того босой, лыком пре-

поясанной и искони веков самодурной? Однако же мы на руках носили Горького, в то время как другие ниц падали перед самым махровым эстетизмом, снобизмом, демонизмом...

Конечно, это было немножко чересчур — то, что первый русский "декадент" Емельянов-Коханский, привязывал себе собачьи когти к пальцам, надевал прямо на белье бурку, на голову папаху, а на глаза черные очки и гулял в таком виде по Тверскому бульвару. Однако же это было, и ведь это Емельянов родоначальник всех этих Брюсовых, Маяковских, Есениных, Шершеневичей, Луначарских... Вон недавно трамваи в Москве ходили с плакатами:

— "Я, Сын Человеческий, Анатолий Луначарский, создал новую мистерию: Иван в раю!"

Но ведь и до большевизма был Луначарский Луначарским, т.е. полным ничтожеством с противоестественными наклонностями, и однако же пользовался всероссийской известностью. Еще десять лет тому назад, околачиваясь по Италии, он, когда умер у него ребенок, читал над его гробиком "Литургию Красоты" Бальмонта. И что же, разве помешало это его известности? Напротив.

И надо всем-то мы, уставясь в землю лбом, мудрим, философствуем с архисеминарской серьезностью. Ни к чему-то у нас нет непосредственного отношения взрослого человека. Все-то у нас не веревка, а "вервия", как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою "элоквенцию". Все-то у нас повод к книжным разглагольствованиям, к речению схоластических пошлостей.

Пришел какой-то Горький с лубочной ахинеей о каком-то уже, который "вполз высоко в горы и лег там",— и буквально ошеломил всю Россию этим ужом. Пришел Скиталец, фигура уже совсем курьезная,— и опять триумф. Помню один литературный вечер в Московском Благородном собрании. На ту самую эстраду, на которой некогда, в Пушкинские дни, венчали лавровым венком Тургенева, вышел перед трехтысячной толпой Скиталец в черной блузе и огромном белом галстухе a la Кузьма Прутков, гаркнул на всю залу: "Вы — жабы в гнилом болоте!" — и вся зала буквально застонала, захлебнулась от такого восторга, которого не удостоился даже Достоевский после речи о Пушкине... Сам Скиталец, и то был удивлен и долго не знал потом, что с собой делать. Пошли мы после вечера в Большой Московский, спросил себе Скиталец тарелку щей и тарелку зернистой икры,— ей-Богу, я не шучу,— хлебнул по ложке того и другого, утерся — *и бросил салфетку в щи*:

— "Ну его к черту, не хочу! Уж очень велик аплодисмент сорвал!"

Теперь, когда при доброй помощи всех наших восторгов перед Скитальцами, случилось то, что случилось, пора бы, кажется, немножко одуматься. Но куда тебе! Погибли, захлебнулись в крови и грязи? Ничего подобного! —

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

И так во всем. Разврат, пьянство, безделие, нервическая гниль — это у нас все "проблемы", "надрывы", "пролеты в вечность", "оргиазм". Обыденнейшее, хотя и гнуснейшее хулиганство, уличное убийство уличной девки ватагой каторжников и ярыг — предмет мистической поэмы, и мы, в наши окаянные дни, занимаемся тем, что спорим и устно и печатно: впрямь эти убийцы и ярыги "апостолы" или все-таки не совсем? Михрютка, ни с того ни с сего дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно "гунн", "скиф", и мы утешаемся, успокаиваемся, налепив на него этот дурацкий, книжный ярлык... Неисправимые пошляки!

Революционный ритуал, революционное лицедейство известны: сборища, "пламенные" речи, баррикады, освобождение из тюрем — воров, сожжение сыскных архивов, арест властей, торжественные похороны "павших борцов", казнь "деспота", осквернение церквей, ливень воззваний, манифестов, "массовый террор"... Все это проделав, мы все довели до размеров гомерических, до низости еще небывалой, до глупости и остервенения бешеной гориллы.

"Всему виной попустительство Керенского"... А кто же Керенскому-то попустительствовал, кто Керенского поднял на щиты? Разве не мы? Разве он не наше кровное порождение?

И на Ленина нечего особенно дивиться.

— "Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шатость... И вот они опять возникли, в огромном размере... Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев"...

Это — выписка (где что ни слово, то золото) из Соловьева о смутном времени. Всему в ней изложенному наша революция со всеми ее "завоеваниями" есть полное подобие. И подготов-

ляли ее мы все, а не одни Керенские и Ленины, и мудрить, впадать в пафос тут совсем нечего: обе картины (и соловьевская и нынешняя) просты и стары, как мир.

— "Народ пошел за Стенькой обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком... Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан... Поднялись все азиатцы, все язычество, зыряне, мордва, чуваши, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что... Шли "прелестные письма" Стеньки — "иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство"... Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения... дышали местью и завистью... составились из беглых воров, лентяев... Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле всех забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним..."

А это, как видите, о Разине (из Костомарова), о том самом Разине, которого мы столько лет боготворили. И опять что ни слово, то наше, нынешнее... Не пора ли хоть теперь отнестись проще, трезвее и к прошлому (стенькиному), и к нынешнему (ленинскому)? Зачем тут "вервия"? Тут потребна самая простая веревка.

Получая вести из России, и до сих пор еще просто диву даешься, каким мерзавцем и скотом может быть человек... Распоясаться до такой степени все-таки можно только в России. И остаться безнаказанным за самое чудовищное преступление тоже легче всего в России. И большевики это знают.

Они, эти висельники, дотла разорившие богатейшую в мире страну (Стеньке это не удалось за отсутствием в то время интеллигенции и Ллойд-Джоржей), убившие и уморившие буквально десятки миллионов русских душ, теперь, на четвертый год своей деятельности, начинают нагло почесывать в затылке и ухмыляться:

— Вот черт! Даром, кажется, пропала работа! Ничегошеньки не вышло из нашего "опыта"! Впрочем, не беда — одурачим, вывернемся. Одной поэзией, и то одурачим. Замутим им голову каким-нибудь Блоком, Белым... скажем, что мы фанатики... что, благодаря нам, Россия все-таки переродилась для новой, прекрасной жизни... что зерно, ежели не умрет, то и не оживет... За милую душу вывернемся!

И вывернутся. И даже в историю в нимбах войдут. "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить!"

О ПИСАТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЯХ

Все чаще слышим за последнее время:

— Не ваше дело толковать об этом (о политике), ваше дело рассказы и стихи писать!

А давно ли твердили совсем другое:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!

Давно ли сквозь строй гоняли дерзавших "в годину горя красу долин, небес и моря и ласки милой воспевать"?

Толстой говорил, что многое совершенно необъяснимое объясняется иногда очень просто: глупостью.

— В моей молодости, рассказывал он, у нас был приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последний грош заводную механическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснения этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп.

Все так. Большую роль играет в человеческих делах просто глупость, слабость логики, наблюдательности, внимания, слабость и распущенность мысли, поминутно не доводящей своего дела до конца,— этим последним мы, народ сугубо эмоциональный, особенно страдаем.

Но надо помнить и другое: помимо мыслительных качеств (равно как и многих других, просто низких и корыстных) есть и другие тяжкие грехи на всех тех, что вольно и невольно содействовали (и содействуют еще и доныне) всему тому кровавому безобразию, в котором погибает Россия: например, наша нелюбовь к жизненной правде.

Герцен сказал:

— Не зная народ, можно его покорять, угнетать, но освобождать нельзя.

А чего требовали от нас, от "художников слова", когда вменяли нам в строжайшую обязанность "быть гражданином"?

Из литературы бралось только то, что было водой на освободительную мельницу, остальное пускалось мимо ушей, замалчивалось, подвергалось дружному разносу.

Вот Златовратский. Один современный писатель, сам родом владимирский мужик, говорит:

— Мы, мужики владимирцы, всегда были подрядчиками, кулаками, барышниками, были всем, чем угодно, только уж никак не социалистами. Но приезжал к нам Златовратский, глянул — и твердо заявил, что мы социалисты до мозга костей!

А вот Глеб Успенский, художник истинный, Божьей милостью. Сколько замечательных и поучительных характеристик народа!

— Нет, не о человеческом достоинстве говорят мои воспоминания...

— Все в деревне бешены, злы, подлы...

— Прежде туда, где жили "обычаем звериным", вносили свет угодник, инок... Теперь там остался только Каратаев и хищник...

— Почему, говорили мне не раз, почему вы берете только возмутительные явления? Но я обречен на подбор этих ужасов, ибо это есть господствующее, преобладающее в деревне...

— Вот деревенский кулак, публичный дом держит — и все им восхищаются: "умел нажить!" — все ему холопски услуживают и восклицают с радостью: "Уж он-то меня — и холоп-то я, и подлец-то я!"

— Вот молодой парень — какая природная кровожадность, какая глубокая ненависть к своему же брату мужику! Любит смотреть на смерть животных, сжег целый фартук щенят в печке — и весел!

— Весь деревенский ум, талант идет на кулачество... и злорадство во всей такой деятельности, во всей основе ее... Никто не ценит ни своей, ни чужой личности. Все говорят сами же про себя: "Палки хорошей на нашего брата нету!"

Так писал Успенский. Но, повторяю, из него брали только нужное для революционной мельницы. И Успенским же допекали, например, Чехова, меня; им же пользуясь, поминутно учил меня насчет народа последний репортер. Обо мне неизменно говорили:

— Ну, конечно, художественный талант, а все-таки *все это не так*, и все-таки он не мужик, а про мужика может сказать по-настоящему только мужик...

Да, обо мне говорили даже и такой вздор, совсем упустив из виду, что для того, чтобы писать, например, "Короля Лира", вовсе не обязательно быть самому королем.

В четырнадцатом году орловские бабы спрашивали меня:

— А что же это правда, будто пленных австрийцев держать на квартирах и кормить будут?

Я отвечал:

— Правда. А что же с ними делать?

И бабы спокойно отвечали:

— Что делать! Да порезать да покласть...

А ведь как уверяли нас, с легкой руки некоторых писателей, что эти самые бабы одержимы великой жалостью к "несчастненьким" вообще, к пленному врагу особенно. Да что ж! Критик Скабичевский, всю жизнь разбиравший произведения о народе, однажды признался мне с идиотической радостью, что он никогда за всю свою жизнь не видал ржаного поля!

Дыбенко, Саенко. Чехов как-то заметил:

— Вот отличная фамилия для матроса: Кошкодавленко...

А многие ли предчувствовали тогда Кошкодавленко? И не предчувствовали, да и не смели предчувствовать — и очень удивились, в силу этого, Дыбенке...

Деды и отцы наши, начавшие и прославившие русскую литературу, не все же, конечно, "по теплым водам ездили", "меняли людей на собак" да "гуляли с книжками Парни в своих парках", "среди искусственных гротов и статуй с отбитыми носами", как это многим кажется теперь. Они знали свой народ, они не могли не знать его, весь век живя с ним в кровной близости, и все это недурно доказали и Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, и многие прочие. А потом что было? А потом "порвалася цепь великая", пришел "разночинец", во-первых, гораздо менее талантливый, чем его предшественник, а во-вторых, угрюмый, обиженный, пьющий горькую (увы, посчитайте-ка всех этих Левитовых, Орфановых, Николаев Успенских) и вдобавок уже сугубо тенденциозный, пусть с благими целями, но тенденциозный, да еще находившийся в полной зависимости от направления своего журнала, от идеологии своего кружка, от обязанности во что бы то ни стало быть "гражданином", от милости Скабичевских. А потом количество пишущих, количество профессионалов, а не прирожденных художников, количество *подделывающихся* под художество все растет и растет, и читатель питается уже мастеровщиной, либеральной лживостью, обязательным народолюбием, пошлейшим трафаретом: если лошадь, то непременно "россинант" или "лукавая пристяжная", если мужик на козлах, то непременно "мужиченко", если уездный город, то непременно свинья в грязи среди площади да герань в окне, если комод, то обязательно "пузатый", если помещик, то уж, конечно, крепостник, если деревня, то только "лохматые избенки, жмущиеся друг к другу и как-то боязливо взирающие на проезжего", если "огоньки", то не иначе, как символические... и, Бог мой, сколько легенд

о жестокостях крепостного права или о Стеньке Разине, слышанных будто бы на охоте:

— Случилось мне однажды с ружьем и собакой забрести в глухие приволжские леса. Долго и тщетно ходил я в поисках живности, а день меж тем клонился к вечеру, а дождь меж тем все усиливался, так что приходилось уже серьезно подумывать о ночлеге...

На этом "ночлеге", конечно, и *должна была быть услышана* легенда. И писатель отлично знал, что это его святая обязанность, равно как и то, что полагалось этой легенде быть "бесхитростной" и выражающей "заветнейшие" мечты "сермяжного" рассказчика.

А теперь, говорю, времена изменились: теперь многим из нас, даже наиболее покладистым, просто невмоготу стало слушать "на ночлегах" только то, что угодно нашим "неизменно верящим" во всяческие "заветы" ценителям, и от нас уже требуется посторониться, заняться своими прямыми, поэтическими обязанностями... Из "граждан" мы теперь разжалованы.

В шестнадцатом году у нас с покойным Кокошкиным зашел как-то разговор о русском народе. Я не сказал ничего ужасного, но он все-таки вспылил и вдруг прервал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычной для него резкостью:

— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините, слишком исключительными, что ли...

И, помню, с каким удивлением и почти ужасом думал я после этого разговора:

Нет, это наше "благородство" (и в такое страшное время) нам даром не пройдет!

И точно — не прошло. От копеечной свечки Москва сгорела. А в домах деревянных, крытых соломой, играть огнем особенно опасно.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

От русских матерей

Посылаю редакции "Огней" призыв матерей, гибнущих в России, призыв, только что дошедший до нас.

Переписываю его, ничего не видя от слез ужаса и скорби,— за всю жизнь мою не читал я ничего более потрясающего.

Вместо подписей под этим призывом поставлены 44 креста: 34 — углем, карандашом, копотью и 10 — кровью.

Ив. Бунин

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа да поможет Мир детям России!

— Мы, матери, обреченные на смерть этой зимою от голода, холода, болезней, которые не сможем уже перенести в силу нашего истощения, которых не выдержат наши переполненные мукой сердца, мы просим людей всего Мира взять наших детей, дабы не разделили они, ни в чем не повинные, нашей страшной участи, дабы могли мы хотя бы этой ценой — добровольной и вечной разлукой с ними на земле — искупить вину нашу перед ними, которым мы дали жизнь горше смерти.

— Все, кто имел детей и потерял их! Все, кто их имеет и боится потерять! Памятью, именем ваших детей призываем вас, да не останетесь глухи к нам, умоляющим вас за своих детей! Избавьте нас от ужаса, от безумия видеть их погибающими и быть бессильными — уж не помочь, а хоть бы только облегчить их страдания!

— Мир! Возьми наших детей! Возьми за пределы нашего ада, пока еще есть в них силы расти и жить, быть как все дети, которые могут громко говорить об отцах, матерях и братьях, не боясь быть замученными за то, что они — не дети палачей!

— Сжальтесь над ними, не знающими ни единой радости, доступной ребенку последнего нищего в других, счастливых странах! Что будет с ними, если мы, матери, погибнем раньше их, оставим их здесь одних?

— О нас не думайте. Нам все равно спасения уже нет. Мы уже не надеемся вырваться отсюда. Но мы будем счастливы единственным счастьем матерей, знающих, что детям их хорошо. Мы будем сыты каждым куском хлеба, который мы мысленно увидим в руках наших детей, когда они будут далеко отсюда. Мы будем согреты, зная, что они в тепле. Мы уже ничего не будем бояться здесь, зная, что они в безопасности. И сама смерть будет нам радостна, ибо мы верим, что души наши будут видеть их.

— Возьмите наших детей отсюда скорей! Каждый час отнимает силы. Голодные, раздетые, слабые, мы не вынесем холода. Счастливые дети счастливых стран! Просите и вы за наших детей!

— Мы не смеем подписать наших имен. Мы не смеем даже сказать, в какой части несчастной России влачим мы наши дни, чтобы не навлечь гнева палачей. Но когда мы услышим, что мир послал за нашими детьми, мы приведем их вам, и никакая сила не удержит нас и не помешает нам.

— Услышьте нас!

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

...Лето семнадцатого года помню, как начало какой-то страшной болезни, когда уже чувствуешь, что болен смертельно, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил...

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками,— я жил лето в деревне и многое узнавал только из газет,— я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик: "всем, всем, всем!" — крик Керенского, крик "Сашки-Дезертира", как звали его тогда в деревне дезертиры же, который, не понимая творимого им, не ведая, что отныне его имя будет проклинаемо всей Россией до седьмого колена, крикнул urbi et orbi, городу и миру, что Корнилов — "мятежник, предатель революции и родины"...

А потом было третье ноября...

Третьего ноября Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников уже всю свою душу под ноги дьяволу, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали — победители свободно овладевали ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над ее Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня,— видит Бог, воистину так.

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикардированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, с ледяным, сырым ветром, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги "борцов за светлое будущее", совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех "великих революций".

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней московской осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

— Товарищи! любезные! Бейте их, казните их, режьте их, топите их!

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, я наконец заплакал и плакал буквально до самого рассвета, плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог...

— "Ах, мщения, мщения!" — как воскликнул однажды поэт Батюшков, заплакав при воспоминании о 1812 годе.

...А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими из тех, которые поздними темными вечерами, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, собирались, подобно первым христианам, по темным старенькким церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакали, слушая горькое страстное пение:

— Волною морскою... гонителя, мучителя под водою скрыша...

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в ней, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя, и какого-то болезненного восторга,— восторга освобождения,— оставив за собой и всю свою прежнюю жизнь, и развалины опозоренной Родины, перешагнув в изгнание из нее *новую* ее границу, границу в Орше, имя которой стало отныне для многих из нас символическим,— вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой "русской" Орши, где, во славу Третьего Интернационала, все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями, ибо, очевидно, далеко не всегда "демократия приходит опоясанная грозой и бурей"...

...А теперь и слез нет. Четыре года, четыре года... Париж... "Вечные женихи революционной Пенелопы"... вот те самые, отцам которых дал Герцен такую страшную характеристику, и доныне ничуть не утратившую своего страшного смысла:

— "Это — вечные женихи революционной Пенелопы, habitu#es революции... Неизбежные лица всех политических съездов, сборищ, демонстраций, грозные издали, как китайские

драконы из бумаги... Люди особые, с ранних лет вжившиеся в политическое раздражение, любящие драматическую сторону его, *обстановку*... для которых все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, речи, знамена — главное в революции... в большинстве очень недалекие и чрезвычайные педанты... неподвижные консерваторы во всем революционном, которые упираются на какой-нибудь программе — и ни с места дальше... всю жизнь толкующие о небольшом количестве политических мыслей и знающие лишь их риторическую сторону, лишь их священное облачение, общие места... Люди с малыми способностями, но с огромными претензиями, брошенные в агитацию легкостью, с которой всплывают в революционные времена знаменитости, приучившиеся к потрясениям и отучившиеся от работы, потому что жизнь в кофейнях увлекательна, полна движения и льстит самолюбию... Люди, постоянно недовольные всем... революционные лаццарони, для которых агитация — цель и награда... *которым процесс народных восстаний нравится, как процесс чтения Петрушке Чичикова*... у которых всегда "самодержавный народ"... Революция пала, как Агриппина под ударами своих же собственных детей. Но они все не хотят снять ни увядших венков, ни венчального наряда, хотя невеста уже обманула, и продолжают жить в печальном самообольщении, в раздорах, в спорах, разъедаемые необузданным самолюбием... Как Двенадцать Спящих Дев, они продолжают день, когда заснули..."

С НОВЫМ ГОДОМ

...Москва, весна восемнадцатого года, гнусный день с дождем, снегом, грязью, пустая Кудринская площадь, плетутся, пересекая ее, чьи-то нищие похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает из-за угла Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, машет огромным револьвером и обдает матерщиной и грязью несущих гроб:

— Долой с дороги!

Несущие в ужасе шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегом бегут прочь. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет, рыдает так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: — "ну, будет, будет, Бог с тобой!" — я спрашиваю с участием: "родня, верно, покойник-то, сын, муж?" — А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет... Чужой... *Завидую*!

...Блаженны мертвые, блаженны очи не зрящие, уши не слышащие. И все же мы живем и все же надо из последних сил тянуться, чтобы смотреть крепко и строго, чтобы жить сообразно своему человеческому,— все же человеческому! — званию,— ну, хотя бы в силу презрения, брезгливости к низости и зыбкости окружающего нас,— чтобы помнить, что все же будут,— как все-таки всегда бывали,— иные, более человечные дни, когда каждому воздастся по стойкости и дальновидности его.

ИТОГИ

Итак, еще год прошел — неужели опять вся наша надежда только на "будущее"? Но если так, то скажите пожалуйста, как спрашивал один простодушный ибсеновский герой,— "скажите пожалуйста, в котором же году наступит будущее?"

Итоги прошлого года на редкость печальны и страшны. И помимо всего прочего, уже во всю идет в России ужасающая реставрация реакции, теперь уже всенародная, а не только комиссарская. Ленин называет это своим "новым курсом".

Сколько раз слышал я за время революции едкую фразу:

— Революция не делается в белых перчатках!

И сколько раз думал я тогда:

— Прекрасно, реставрация делается в ежовых рукавицах!

Теперь время этих рукавиц наступает в полном блеске.

Большинство эмиграции очень пало духом. Одни — просто потому, что реставрационный процесс будет долог, что он не помешает Ленину продержаться еще год, два при всей призрачности его власти. Другие,— в силу того, что уже не остается никаких надежд на "завоевания революции"...

Что ж, это все расплата. Не хотели считаться со свойствами русской истории, с ее "повторяемостью", на которую указывал Ключевский... Не предугадали, что дело опять кончится Тушинским Вором с его, по выражению Герцена, "вовсе не демократической, а только кабацкой партией"... Подняли крик о "реакции" на смех курам, в первые же мартовские дни семнадцатого года... И накричали реакцию такую, какой еще на земле не бывало. Она длилась год, два, три, четыре,— казалось бы, чего хуже? Но нет, все еще не повергали в ужас "генеральские ботфорты, генеральские авантюры".— "Этому пора положить конец!" — И положили...

Были "директории", "учредительные собрания", надежды на восстания, на "народный гнев", на "зеленых",— Савинков договорился даже до того, будто эти дезертиры и грабители "мыслят новыми категориями" — были ставки на Кронштадт, на Антонова, наконец — на голод, на то, что в Москве уже расцвел "цветок свободы", оказавшийся "прокукишем"... Мысль об интервенциях приводила в ярость,— хотя их и в помине не было,— горой стояли против них, ибо "охраняли честь и достоинства России",— это при нашем-то всемирном позорище, при руке, протянутой ко всему миру за сухой коркой! — доказывали, что "генералы опирались лишь на голые штыки" и что "Россия не пошла за ними", точно голые руки лучше голых штыков, точно не штыками крепки большевики, точно пошла Россия за Черновым, за Савинковым, за Кронштадцами... На что теперь надеяться? Вести из России превосходят человеческое воображение... В столицах жизнь начинает "бить ключом", но ключ бьет для одного счастливого на миллион несчастных, и счастливец этот или комиссар или волк, щука, кулак в архиежовой рукавице... Пещерный голод, библейский мор пожирали Россию год за годом, людей расстреливали, как собак, десятками тысяч, сифилис моральный и физический отравлял русскую кровь на целые поколения,— с нас же все скатывалось, как с гуся вода: — "лишь бы не реакция! Пусть Россия сама изживет большевизм!" — Ну, вот и изживает...

И все-таки некоторые "бодро смотрят вперед", сами же сообщают вещи, от которых волосы на голове должны стоять дыбом, а кончают неизменно за здравие.

Про некоторую часть литераторов и говорить нечего, хотя то, что они изрекают, тоже весьма показательно и подхватывается толпой, русской толпой, давно уже привыкшей жить литературно, заражаясь словесной пошлостью и словесным блудом, уже давно и пышно цветущими в русской литературе. Послушайте-ка, что поют в Берлине разные "Скифы", Эренбурги, Белые! Вот отчет (в "Руле") о лекции Андрея Белого: "Культура современной России". Лектор говорит: "Внешняя культура гибнет, люди живут без элементарных благ цивилизации... Но пусть рушатся дома — выстроим новые!.. Все старые формы рухнули, но не беда,— будут новые... Пусть царит тьма — вспыхнет новый свет!" Какие формы, какой свет, этого лектор еще не знает и сам признается в своем незнании. Но что с того? Лектор не запинаясь, несет "мистически-светлые" пошлости...

Дело, однако, все-таки не в литераторах. Гораздо важней оптимизм некоторых людей жизни и политиков. Эти надеются, видите ли, как раз вот на эту самую "третью, крестьянскую Россию", хотя она уже вся пришла в кочевое состояние,— так сами же оптимисты и говорят: "Теперь Русь живет на колесах!" — хотя она уже поела последних сусликов, хотя мрет с голоду уже около 40 миллионов, не считая городов, голодающих уже четыре года, хотя русские матери топят своих детей в реках... Чем этот оптимизм лучше большевистских восклицаний, например, того, который я недавно прочел в большевистском "Пути"? —

"Граждане! *На заре новой прекрасной жизни* пять миллионов малюток погибает от голодной смерти!"

Каковы последние вести из России?

Вот кое-что *наиболее типичное и наиболее достоверное.*

Во-первых — из одного петербургского письма:

— *Переживаем трагедию замещения старых богов — новыми...* Всем старым партиям — конец... Общий лозунг — "обогащайтесь!" — Больше не будет Тургеневых, Толстых, *будут* Стиннесы и Ратенау, будут янки... Остатки прежней интеллигенции умирают в нищете, в самом черном труде... У новых людей — повадки, манеры резки, грубы, особенно неприятна молодежь — *многие совершенно дикие волки...* Неравенство растет...

Колоссальная безработица... Рабочие, прислуга, мастеровые бегут в деревню... Школы в неописуемом состоянии, университеты мертвы... Время ужасающего индивидуализма, хищничества, зависти, бессердечия к чужим страданиям...

Во-вторых — из доклада, читанного в Петербурге известным педагогом Золотаревым о русской молодежи:

— Среди молодежи, как и всюду,— высокая смертность, болезненные апатии, равнодушие, острая тоска... Но наряду с этим — русский янки, практик, скептик...

И наконец в-третьих,— из тех многочисленных докладов, которые сделал за последний месяц в Париже, и в буржуазных и в социалистических кругах, С.С.Маслов, известный кооператор, эсер, только что бежавший из России с огромным запасом всяческих наблюдений и цифровых данных, герой дня среди русских в Париже, "будущий — Стамболийский", как его у нас называют:

— Россия вымирает — и деревня, и город... За 23 года, предшествовавшие революции, население Р<оссии>, несмотря на войну, увеличилось почти на 30 миллионов, за последние

же четыре года в 2 центральных губерниях оно уменьшилось на целых 3 миллиона... Чистым хлебом питается только 9 процентов населения... Больше всего вымирают города, из городов бегут все, кто может... Но и деревня бежит в поисках хлеба. Русь теперь живет на ходу, на колесах, целые области стали пустыней... В городах буржуазия наполовину вымерла, интеллигенция — тоже, пролетариат разбит и разбежался,— из 9 миллионов осталось 4... В городах дома уничтожены и испорчены на одну треть, нижние этажи залиты водой и человеческими испражнениями... Продукция промышленности сократилась в 8 раз... Но и в деревне дворы значительно разрушены, инвентарь гибнет последний, земля испорчена, малоурожайна, часто пустует — посевы сохранились на 44 процента... Разрушены и всяческие промыслы...

— По всей России — великое обнищание, десятки миллионов умирающих с голоду, острый недостаток одежды, обуви, медицинской помощи, холод, холера, тьма, тиф, сифилис...

— Государственное хозяйство дает баснословный дефицит... Налоги и контрибуции приносят грош, хотя при взыскании их употребляются драконовские меры и даже пытки,— мучат мнимыми расстрелами, иногда даже живым замораживанием, жарят на горячих плитах,— докладчик ручается, что были даже и такие случаи...

— Образование? На народное образование государство тратило до революции около 7 процентов бюджета, теперь — всего 10, да и то что толку? Учебных пособий нет, качественный состав учителей страшно понизился, учительницы живут проституцией... Университеты? Но, например, во главе одного университета стоит некто Горовой, безграмотный человек с уголовным прошлым... Литература? Погибла совершенно,— правительство покровительствует одним хулиганам из стихотворцев...

— Нравы ужасны, настроения — тоже... Рабочие разбиты, пассивны, солдаты еще пассивнее, дезертируют... В городах все развращены пайками, платой за шпионство,— у одной московской чрезвычайки на службе 30.000 филеров... *Да и вообще всюду* в работе — разврат, лень, бессовестность... Всюду воровство, взяточничество, грабежи, убийства, особенно много убийц среди молодежи... Вот вам один из бесчисленных примеров холодного злодейства: молодому человеку хочется на "танцульку", а не в чем; пошел зарезал тетку, у которой хранился пиджачный костюм ее покойного мужа, надел этот костюм и превесело танцевал весь вечер... Ужасно *вообще* ожесточение сердец: во время метелей у порогов мужицких изб нахо-

дят десятки замерзших прохожих, которых не пустили погреться, переночевать ни в одну избу...

Такова одна сотая итогов за истекший год. Кого теперь этим удивишь? Но я и не хотел ни удивлять, ни удивляться. Я дивлюсь только тому, что мы все еще не повесились и что некоторые из нас, повторяю, даже весьма недурно чувствуют себя.

Казалось бы, что при подведении таких итогов, уместен только зубовный скрежет. Но нет, вот Золотарев кончил свой доклад заявлением, что новый тип русской молодежи, тип янки, внушает ему бодрость, оптимизм... Маслов среди каждого своего доклада приостанавливается, чтобы сказать: — "А все-таки Россия — сфинкс!" — а кончает еще решительнее, чем Золотарев:

— И все-таки Россия жива, бодра! Социализм стал ненавистен буквально всем классам... Будущая Россия будет только крестьянской, не социалистической, не большевистской, а именно крестьянской, а ведь крестьянству, по слову Герцена, все на пользу!

"На пользу..." Странное заявление после всего того, что рассказал сам же Маслов о благополучии этого крестьянства! — "Социализм стал ненавистен всем..." Странная для социалиста, пусть даже бывшего, откровенность! И зачем, спрашивается, городили столь грандиозный и страшный огород? — "Новые боги сменяют старых"... Но где же причина радоваться этой смене, раз сами же радующиеся отзываются об этих "новых богах", как о "диких волках?"

Герцен, правда, "мистически поклонялся тулупу", по выражению Тургенева. Но не знаю, радовался ли бы даже он этому тулупу *теперь*! "Россия будет крестьянская..." Подумаешь, какой высочайший предел человеческих мечтаний! Но пусть так. Да, ведь, Россия и всегда была крестьянская, только с надстройкой барской, а с вышкой монархической. Где же основания надеяться, что не будет бар *новых* из того же крестьянства,— ведь и прежние выходили из тех же квасов,— и что снова не захочет "крестьянская" Россия нового "Мишу"? А если это случится, то, повторяю, зачем же мы погубили дотла все наши прежние великие богатства? Чтобы мочало вить сначала? Тот же Герцен сказал однажды про своих соратников-эмигрантов, что им "процесс народных волнений нравится, как гоголевскому Петрушке процесс чтения". Может быть, это и к нам приложимо?

Париж.

ГОРЬКИЙ О БОЛЬШЕВИКАХ

Известный писатель Е.Н.Чириков выпустил в Софии замечательную брошюру под заглавием: "Смердяков русской революции — роль М.Горького в русской революции". Русским, которые следили за деятельностью Горького в большевистском стане, известна эта роль,— они знают, сколько раз менял Горький свои цвета в зависимости от условий, благоприятных или неблагоприятных для большевистского торжества. Но думаю, что в брошюре Чирикова даже русские с новым изумлением прочтут некоторые новые доказательства Горьковского бесстыдства. Особенно же полезно прочесть эту брошюру европейским друзьям Горького, которых он еще так недавно (в августе прошлого года) призывал "помочь продолжению русского социального опыта". Горький не раз "перед лицом всемирного пролетариата" называл этот опыт "дивным, великим" и не жалел никаких слов для восхваления советской власти. А вот как характеризовал тот же Горький и "опыт" и советскую власть летом 1918 года в своей газете "Новая жизнь", в своих фельетонах под заглавием "Несвоевременные мысли":

"Теперь жизнью России правят люди, находящиеся в непрерывной запальчивости и раздражении. Они затеяли и разжигают взаимоистребление демократии, возбуждают бессмысленное и пагубное для этой демократии и для всей страны злорадство, ненависть, злобу..."

"Они, эти фанатики и легкомысленные фантазеры, возбудив в рабочей массе неосуществимые надежды, влекут русский пролетариат к разгрому и гибели..."

"Они совершают *опыт социальной революции* — занятие, весьма утешающее маньяков и очень полезное для жуликов... Они крикнули: "Грабь награбленное!" И грабят изумительно, артистически... Грабят и продают музеи, церкви, пушки, винтовки, интендантские склады, дворцы, воруют и продают буквально все, что можно! И вот русский народ, этот слабый, темный, органически склонный к анархизму народ, ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы! Большевики, эти "вожди народа", говорят, что они зажгут из сырых русских поленьев костер для всего Западного Мира! Они уже зажгли его. Он горит плохо, воняет Русью, грязной, пьяной и жестокой. Несчастную Русь тащат на Голгофу, чтобы распять, видите ли, ради спасения Мира!"

"Среди служителей советской власти то и дело попадаются взяточники, спекулянты, жулики, а честные люди, чтобы не

умереть с голода, занимаются физическим трудом... Кошмар, нелепость, идиотизм!"

"Народные комиссары относятся к России, как к материалу для опыта. Русский народ для них лошадь, которой прививают тиф для выработки противотифозной сыворотки... Какой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт!"

"Я буду твердить русскому пролетариату: тебя ведут на гибель, тобой пользуются для бесчеловечного опыта!"

"Большевистская политика выражается в равнении на бедность и ничтожество. Большевизм есть национальное несчастие..."

"Советская власть не стесняется расстрелами, убийствами, арестами, никакой клеветой, никакой ложью... В среду лиц, якобы выражающих волю народа, введено множество разного рода мошенников, бывших холопов Охранного Отделения и авантюристов..."

"Рабочих развращают бесшабашной демагогией... Советская политика — предательская политика по отношению к рабочему классу..."

Таковы буквальные цитаты из прежних отзывов Горького о большевиках. Старо, но надо помнить.

ЕЩЕ ОБ ИТОГАХ

— Мы ребята ежики, в голенищах ножики...

Сколько раз слышал я эту песенку на деревне еще летом семнадцатого года!

Теперь нам пишут с родины:

— Новая Россия страшна... Особенно молодежь... Много холодных убийц... Много спекулянтов, дельцов, хулиганов, головорезов...

"Россия будет!" — Да, но какая? И новая ли? *Так ли уж ново наше новое?* Не был ли прав я, когда поставил над своими рассказами о русской душе эпиграфом слова Аксакова: — "Не прошла еще древняя Русь!" — в дни, теперь уже давние, когда тоже твердили о наставшей "новой" России, вкладывая в слова о новизне, конечно, совсем иные чаяния?

Вообще мало нового на свете.

"Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей".

Это одно из древнейших дикарских верований. И, право, оно звучит теперь не так уж архаично, по милости всемирной войны и коммунистической революции.

"Мечом своим будешь жить ты, Исав!"

И опять недурно подходит к современности, равно как и многое другое.

Например:

"Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, сами же не станут от этого тучнее".

Или:

"Вот темнота покроет землю и мрак народы... Честь унизится, а низость возвеличится... В дом разврата превратятся общественные сборища... И лицо поколения будет собачье..."

Мечтайте, мечтайте, что это собачье лицо будто бы весьма способствует близкому появлению на свет Божий "нового и прекрасного" человеческого лика!

"Вкусите от этого яблока — и станете как боги".

Не раз вкушали — и все тщетно. Как будто лишь затем, чтобы еще раз убедиться в прописи:

— "Лучшее враг хорошего".

Все спешили влить вино новое в мехи старые и — что ж?

"Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила только их бессилие... Развращенное поколение оказалось недостойно этих благ... Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи и с непреодолимою яростью торопятся к животному самоудовлетворению... Явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления..."

Это укоры и пророчества (столь дивно оправдавшиеся на Наполеоне) принадлежат певцу "Колокола" — Шиллеру...

Хороши замечания и герценовские:

"Мир не знал разочарования до Великой французской революции... Пессимизмом, пришедшим в мир, он обязан ей..."

А Великая английская революция?

"Кромвель, величайший лицемер и злодей, казнит Карла и губит миллионы людей, уничтожает ту самую свободу, за которую он будто боролся... Меняются формы, но не сущность... То же было и во Франции с ее Маратами и Робеспьерами, в Испании, в Америки, в России... Посредством убийства осуществлять человеческое благо! Достигать равенства насилием, тогда как насилие есть самое резкое проявление неравенства! —

"Не лгите, что вам дороги интересы народа,— вам дороги интересы *свои*..." (Толстой).

А 1848 год?

"Я утратил все верования... Я разуверился в *канонизированном* человечестве. О, если бы плакать, молиться, написать проклятие — мой эпилог к 1848 году!" (Герцен).

Герцен вообще немало жаловался:

"Первый, с кем я так доверчиво беседовал в Германии, вырвавшись из России с ее сыском и николаевщиной, был — шпион... Республика — и первым делом виза, паспорт! — Старик, французский аристократ, сказал мне:

— Вы, русские, или полные рабы или анархисты, и поэтому еще долго не будете свободны..."

Герцен признается, что это было сказано неплохо. Однако, разочаровавшись во всем, он ухватился за Россию. Он наговорил немало высоких слов о миссионерах "Скифов", откуда и вытекло столько интеллигентских пошлостей вплоть до Белых, Блоков, Софийских "евразийцев". Весьма использовали его и большевики... Счастье Герцена, что не дожил он до наших дней!

Канонизированная Россия — чем это лучше канонизированного человечества?

"Нам каждая шелудивая кучка пригодится!" — говорят "Бесы" Достоевского.

Социальные перевороты, насаждение *социализма* при посредстве *антисоциальных* людей! Разин, Пугачев, вообще "вольница", буйный элемент, босяк, прирожденный убийца, преступник, *разрушитель* — и мечты о *построении* высших форм общественной жизни! Странные затеи! Как же им не проваливаться? Неужели и четырехлетний российский коммунизм не заставит об этом задуматься?

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это то, что называется "обыкновенные люди", случайно оскорбленные жизнью и случайно совершившие преступление; и они никогда не бывают рецидивистами, они чужды *антисоциальных* инстинктов...

Совершенно другое преступники "инстинктивные", преступники душевнобольного склада. Эти всегда как дети, как животное, и главнейший их признак, коренная черта — жажда разрушения, *антисоциальность*...

Вот преступница, девушка. В младенчестве перенесла менингит. В детстве упорна, капризна. С отрочества резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья: — "Какое чудное пламя!" Много и жадно читает, любимое чтение — страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги, разбойные и ухарские. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, находчива. Лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнение тех, кому лжет...

Вот преступник, юноша. Прошлое лето гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости... Все кругом были в ужасе от него — и он раз сознался, что это-то и подстегивает его чуть ли не больше всего на подобные проделки. Типично антисоциален...

И таких примеров — тысячи.

В мирное время мы как-то забываем, что весь мир кишит этими выродками, атавистическими натурами, и огромное количество их сидит по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда "державный народ" восторжествовал... Двери тюрем и желтых домов распахиваются настежь, жгутся архивы сыскных отделений — начинается вакханалия... Русская вакханалия превзошла, как известно, все, до нее бывшие, и весьма изумила и огорчила даже тех, кто звал на Стенькин утес, послушать то, что "думал Степан". Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был "прирожденный преступник", по выражению уголовной антропологии,— прочтите его клиническую характеристику хотя бы у Костомарова. Что такое Русь? "Полудикие народы... их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданственности, легкомыслие и жестокость..." (Пушкин). Вот и вышло: — "Сперва меньшевики, потом грузовики, а там и большевики..." — "Товарищ, подержите мои семячки, вон ктой-то идет, я ему в морду дам..." — "Бей в грудь, у ево грудь слабая!"

Древние говорили: "А вултум витиум" — порок на лице. Сотни древних изречений говорят о всеобщей антипатии к рыжим и скуластым. Сократ ненавидел бледных. По уголовной антропологии, у огромного количества так называемых "прирожденных преступников" — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза... у прирожден-

ных преступниц — то же, хотя среди них часто встречаются ангельские, кукольные лица... Посмотрите же на рыжего, скуластого, с маленькими косыми глазами Ленина.

А сколько бледных, скуластых, с разительно асимметрическими и первобытными чертами среди русского простонародья, атавистических особ древней Руси! "Не прошла еще древняя Русь". Круто замешана Русь на монгольском атавизме. И киевская Русь была хороша. А ведь потом произошло кровное ее слияние с "муромой, весью, чудью белоглазой"... И вот из этой-то Руси, издревле славной своей антисоциальностью, антигосударственностью, давшей столько "удалых разбойничков", Васек Буслаевых, не веривших "ни в чох, ни в сон", столько юродивых, бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, вот из той Руси, из ее худших элементов и вербовали социальные реформаторы красу, гордость и надежду социальной революции,— что ж все на евреев-то валить!

Результаты этой затеи — налицо. "Нужен новый курс — мы поспешили, ошиблись — назад к капитализму, к поощрению собственника!" Иными словами — вей мочало с начала.

— Народ пошел не за нами, а за большевиками! — ахают революционеры и социалисты умеренные.— Горе, горе! Позор!

В самом деле, дивное дело сверхъестественная картина: за целых 4 года ни единого светлого момента, ни единой черты созидательной, а уж горя и позора — в тысячу лет не отмоешься! Но как же мы не предугадали этого горя?

Еще Герцен говорил о нашем роковом "распадении с существующим":

— Мы глубоко, непримиримо распались с существующим... Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической... Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами... Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны...

И сам Герцен "блажил",— недаром упрекал его Тургенев, что, преклоняясь "перед тулупом", видит он в нем великую *"благодать и новизну и оригинальность будущих форм..."* Но что Герцен! Он и каялся немало. А каялась ли в своем "распадении с существующим" интеллигенция последнего полувека? Один Толстой каялся:

— Если я прежде выделил русских мужиков как обладателей каких-то особых положительных качеств, то каюсь, каюсь и отрекаюсь,— сказал он в 1909 г. своему секретарю Булгакову.

Русь классическая страна буяна и "разбойничка". Был и святой человек высокой святости, был и строитель высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой борьбе были они с разрушителем, со всякой азиатчиной, крамолой, "сварой, кровавой нелепицей", когда, по слову историка, "развязываются руки у злых, а у добрых опускаются"! Вот и теперь опять началась уже на Руси эта борьба... Слишком много было и есть у нас субъектов чистой уголовной антропологии.

"Разбойнички" муромские, брынские, саратовские и прочая, прочая, бегуны, шатуны, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, на сто тысяч коих — один святой... Нов ли большевизм? Стар, как Россия. "Скифы"... Подумаешь, какая радость!

Дико: реки вспять пошли! Теперь вся наша надежда на "собственника", на строителя с ежовой дланью и мертвой хваткой,— разрушителем мы уже пресытились.

Что ж, попили, погуляли — будет. Пора протрезвляться. И не надейтесь: теперь даже и опохмелиться нечем будет.

Париж.

ВЕЛИКАЯ ПОТЕРЯ

Если бы фразы, если бы обычное надгробное красноречие! Но нет, именно так: великая потеря.

О покойном нет двух мнений — это ли не изумительно, в наше время особенно? Даже те, что отделены от нас совсем непроходимой пропастью, даже те из наших врагов, для которых он, поистине рыцарь без страха и упрека, был одним из самых опасных противников, не могли не склониться перед его могилой. Знаю, что они теперь, "накануне",— накануне уже полного российского растления, полного одичания, полного людоедства! — усвояют некоторые новые приемы, стараются блюсти известную благопристойность. Но нет, тут не то. Слишком высокого благородства и блеска был наш почивший соратник.

Лично я знал его мало, но твердо говорю: из несметного множества людей, навсегда и в числе очень, очень немногих выделился для меня его прекрасный образ. Та радость, которая охватывала меня при встрече с ним, была результатом всего нескольких свиданий. Но я не сомневаюсь ни на минуту: в этом человеке мне не пришлось бы разочароваться — сколько бы ни продлились наши дни.

Великая потеря, еще одна. Боже, да когда же конец несчастиям России? Это что-то такое, что начинает внушать почти

суеверный страх. Год за годом, день за днем совершенно непрерывная цепь несчастий, потерь. И каких! Если даже какая-нибудь нелепая, дикая случайность, то и то она падает только на Набоковых! Мы не святые, но дело наше все-таки святое, и потому без всякого кощунства можно вспомнить страшную легенду о том, как святой играл в кости с дьяволом за власть над Фиваидой: ни единой удачи за весь день! Иначе, конечно, и быть не могло: дьявол сел на обрыв над Нилом спиной к солнцу, оно его не слепило, он в удачной, мошеннической игре становился все увереннее, все наглее, а у святого слезились глаза, дрожали руки, трепетало сердце,— где же тут выиграть? Да, но все-таки — за что? Когда конец дьявольскому счастью?

Дай Бог всех благ будущей, "новой" России. Только когда-то еще наживет она своих Набоковых? У России прежней, старой они были. Ей есть чем гордиться. И, увы, есть о чем скорбеть.

"ГОЛУБЬ МИРА"

Гауптман вдруг затрепетал — он "протестует" против "готовящегося в Москве кровопролития" (казни эсеров). Он в страхе за "несчастные жертвы" — и за Россию: русский народ гибнет от голода, но, слава Богу, его кормят, и в этом добром деле участвует и западный пролетариат: "пусть же властители Москвы не уничтожают этого движения насилием, которое Западу останется непонятным" (все прочее понятно!) — иными словами, как буквально сказано в женевской газете "Ля Фамин": "Смерть социалистов в Москве вызовет смерть множества людей на Волге, ибо рабочие Европы помогают русским голодающим *потому, что видят в России страну революции и социальной эмансипации,* а казнь социалистов будет для них холодным душем",— это ведь только от нас, буржуев, требуется быть "вне политики", когда речь идет о голодающих! Кончает Гауптман со всем блеском "высокого" стиля: "Пусть заповедь "не убий" снова сделается священной! Я выпускаю этого *голубя мира* в Москву — и пусть он вернется с масличной ветвью в клюве!"

Да, все слова сказаны.

Да, *"я, человек, воистину стыжусь теперь поднять глаза мои на животных",* как сказал мне один сербский епископ...

Четыре года реками, морями текла кровь в России,— давно ли сама Чека опубликовала, что, по ее подсчету,— только по

ее подсчету! — казнено около двух миллионов душ: Гауптман, друг пролетариата, "несущего в мир новую, прекрасную жизнь", не проронил ни словечка. Четыре года пожирали Россию — и отравили до мозга костей на многие поколения! — пещерный голод, тьма, холод, вши, тиф, чума, холера, сифилис моральный и физический, жестокость, низость, воровство, гомерическое сквернословие — и все в таких размерах, что и у гориллы стала бы шерсть дыбом: Гауптманы молчали или только кивали головой на уверения "русской демократии", что все это пустяки по сравнению с величием "великой русской революции" и что надо "верить в великий русский народ и его светлое, демократической будущее"... Разрывались крестными ранами, неизгладимыми, несказанными, горше всякой казни, миллионы русских сердец, на глазах которых в прахе растоптаны были все уставы Божеские и человеческие, убиты сыновья, матери, братья, жены, обесчещено все самое святое и кровное, "там на потребу" выброшены мощи, пред которыми мириады людей находили сладчайшие в мире слезы и надежды, казнены "смертью лютой, надругательной" сотни священнослужителей и на днях еще — за один словесный протест против разбойного грабежа алтарей на штаны Красину — осуждены на смерть митрополит Вениамин, епископ Бенедикт и десятки священников: Гауптманы молчали и молчат. Но вот, наконец, настоящая страшная весть: социалисты в опасности! И уста разверзаются: "Лети, лети, голубь мира!"

— Ей, Господи! Стыжусь поднять глаза на скота, на животное!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

"В Каноссу, в Каноссу!" ("Смена вех").

"Нас привезли в Евпаторию, до чиста ограбили, раздели, сняли сапоги, одели в лохмотья, выдержали 20 дней в Чека и отправили на Румынский фронт... *Сохрани вас Бог ехать в Россию, тут во сто раз хуже!*" (Письмо Гундоровцев, уехавших в Россию из Болгарии).

"Умерла ли Россия? Тысячу раз — нет!" ("Смена вех").

"За 3 июня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5 июня — 187 и т.д. Граждане! Записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов!" ("Одесск<ие> известия").

"Все в Россию, на работу с большевиками, кующими новую великую Россию на страх и зависть всему европейскому, насквозь прогнившему миру!" ("Смена вех").

"Под Самарой пал жертвой людоедства бывший член Государственной думы Крылов: врач по профессии, он был вызван в деревню к больному — и по дороге убит и съеден..." (Из газеты).

"Деревня крепнет духовно и физически, выросла политически... В народной *психике* произошел огромный благодетельный сдвиг..." (Из той же газеты).

"На почве голода, людоедства и трупоедства — колоссальное количество острых *психических* недугов, совершенно еще неведомых науке..." (наркомздрав Семашко).

"Все на стражу и укрепление русской национальной культуры — вот один из прекраснейших лозунгов большевиков!" ("Смена вех").

"Комнаты, где жил и умер Пушкин, советский квартирант превратил в ванную и клозет..." (Петроградская "Правда").

"На величие российской государственности большевики работают не покладая рук... Не пугайтесь, что на древней Спасской башне куранты играют Интернационал — новый смысл звучит теперь в нем!" ("Смена вех").

"Приняты экстренные меры в некоторых местах — массовый расстрел голодающих..." ("Московск<ие> известия").

На столе стопка новых книг: Ремизова (Господи, до чего может искарежится человек!), "Марево" Бальмонта (много истинно чудесных вещей), "Огонь и дым" Алданова-Ландау (очень хорошо, порой прямо блестяще, хотя в общем уж очень много скепсису — и налево и направо и взад и вперед), стихи Д.Дитрихштейна (благородные, изящные, талантливые) — и так далее. Хотел кое-что отметить о них, но попалось под руку новое издание "Смены вех" (как ни противно, а нельзя отмахнуться — все-таки эти чертовы "вехи" сбивают с пути усталых людей), потом подали газеты — и вот что выходит из моих "литературных" заметок!

"Когда вдруг исчезла мука, сахар и водка, иным показалось, что и Россия исчезла. Но любите Россию красную,— другой ведь нет. Трудно это, немногие могут: Блок, Горький, Белый, Шаляпин..." ("Смена вех").

Действительно, очень "немногие", а стало еще меньше: Блока уморили, прочие перекочевали поближе к берлинскому сахару. А что до объяснений в любви, то уж позвольте быть скромнее вас и вкусы иметь собственные свои. "Во всех ты, душенька, нарядах

хороша!" Но если так, хочу любить не "красную", а "черную". Нет, оказывается, нельзя. "Бейте его, вяжите его!"

"Постигнуть смысл великой катастрофы не под силу нам, современникам — слишком еще оглушителен рев красной метелицы!"

Какая философская глубина и какой "русский" стиль! Но ведь и ты то ж "современник" и однако "смысл" все-таки постигаешь — эта "метелица", мол, наследие "проклятого прошлого", начало великого будущего. А вот я, современник, опять-таки куда скромнее: вижу пока только *бессмыслицу* и весьма гнусную.

"Слишком ясны еще стоны близких, дорогих, самых лучших, погибших от пуль, голода, тифа, холеры. Но самая их гибель обязывает не к ненависти и мщению, а к попытке понять, за что они погибли!"

Итак, философской скромности у "современника" хватило только на бесстыжее утверждение, что "гибель самых лучших" обязывает только помудрить, поблудословить, кощунственно побормотать:

"Попытаться без гнева и злобы разобраться в этом — *значит* понять, что потеря родных еще не есть потеря родины..."

Как великолепно это идиотское "значит"!

Что же он "понял", в чем дело? А вот в чем: оказывается, что стихотворец Блок "видел под знаменем Революции светлого Христа, что он верил в русский народ и во Христа, пребывающих с этим народом, а значит и в хулиганском кощунстве внешнего безбожия!"

Но позвольте: чем я хуже Блока и разве я меньше насмотрелся и на "знамя" и на "народ", однако же не видел я Христа, а видел только кровавое свиное рыло.

"Но ведь это *внешнее* безбожие!"

Увы, я не так мало придаю значения внешности, да и *почему это только на Святой Руси Христос должен принимать именно такую внешность?* Как смеете вы отождествлять прекраснейшие в небесах и на земле Уста, говорившие о величайшей нежности, любви, красоте и кротости, о птицах небесных, не завидующих Соломону во всей славе его,— с хайлом, с пастью, дико орущей: "Сарынь на кичку! Грабь, жги, убивай, насилуй!"

Вот вы попробуйте, например, еврею доказать, что этот мерзавец, изнасиловавший, а потом убивший и донага ограбивший его родную сестру, достоин только "попытки разобраться без гнева"— и *отождествления со Христом.*

"И все-таки" — это "все-таки" родня авось и небось,— "и все-таки Россия жива... *внутри* народных масс идет здоровый процесс" — говорит г-жа Кускова.

"Внутри!" Откуда такая осведомленность, как это можно разглядеть нутро всей России, да еще через пенсне, навеки с юности надетые? Кто набил нутро, тот барыне поддакивает: "Конечно, на что мне прежнее!" А что "внутри" у другого, околевающего с голоду и подумывающего: "А не съесть ли мне свою Аленку, либо бабку?" Потом: "Рабочих, говорит г-жа Кускова, со счета долой — развращен этот класс глубочайшим образом... В деревне — ужасающее невежество, темнота, немолчное, гнуснейшее сквернословие... Вообще вся революция была проделана *зоологически...*" Вот тебе и жива Россия! "Что ж, говорил когда-то народ презрительно,— живет кошка, живет собака!" Вон "товарищ Калинин" был в Херсонщине: "Одни умирают, другие хоронят, стремясь использовать остатки умерших *вплоть до мягких частей тела...*"

А газета утешает: "Все Россия изживет сама, ничего "извне" не хочет..." (Кроме Хувера?). И еще: "Господь не желает, вырос народ и не позволит уже обращаться с собой, как с послушным стадом!" Странно только, что рядом же с этой передовицей — сообщения о нагайках для рабочих, о том, что слово "барин" опять в полном ходу в Москве, что с Кузнецкого ломовых гонят по шапке, что возле кабаре, где один столик стоит 15 миллионов, вопли умирающих о корке хлеба...

Нет людей более жестоких к народу, чем народолюбцы!

P.S. — Письмо из России: "Да, жизнь "бьет ключом..." *Ключом зловонной, смертоносной жидкости!*"

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

Это не полемика, не политика, а уж чисто литературная заметка, имеющая, к сожалению, вовсе не злободневный, а постоянный интерес.

Приехала в Париж Е.Д.Кускова в очень добром настроении, а я, удрученный ее же собственными сообщениями о России, приуныл,— только и всего,— а газета П.Н.Милюкова оттрепала меня за вихор, за мое уныние: поглумилась над моей "почтенностью" ("почтенный беллетрист"), пожурила за "раздраженность",— точно нет ни малейших причин у нас раздражаться! — возмутилась, что я лезу в политику, когда у меня есть "определенное место в литературе" и припечатала: "обыватель", сам себя зачис-

ливший несогласием на бодрость Кусковой "в определенный лагерь",— очевидно, очень преступный и позорный,— обыватель, нашедший себе "единственный приют" в "Слове", которое, однако, "сконфузилось за него..." Как же не отметить в литературной летописи это любопытное зрелище,— г. Икс из "Последних новостей" дерет за вихор г. Бунина! — и как не впасть опять в уныние: уж очень старо и постыдно это зрелище!

"К старому возврата нет!" Да нет, в том-то и беда, что во многом мы ужасно застарели (и сами это чувствуем — иначе не трепетали бы так, например, насчет "реакции", "реставрации"). Очень, повторяю, стара и типична и вот эта маленькая история моя,— в этом вся и сила, а, конечно, не в Иксе.

"Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан" — это давно сказано, грубо и даже неумно сказано, а как пришлось ко двору. Знал человек, что угодит кому надо, и угодил надолго. Но и гражданином предписали быть только масти определенной,— те из исполнявших гражданскую обязанность, которые оказывались масти неподходящей, платились жестоко: их немедля понижали даже в поэтических чинах, а порой и совсем лишали всех чинов и званий, их начинали терроризировать, чернить в глазах публики, их ставили "к стенке", ссылали в бессрочную ссылку — и все без всяких разговоров, "на месте", "по законам революционного времени", то есть без всяких "судоговорений", а, главное, даже за малейшую провинность: чуть что не так, не на пользу "революционному народу", не в лад с "рабоче-крестьянскими вождями" — "в расход!" И сколько писательских душ было развращено и погублено этим террором! И какое множество писателей,— из тех, что не желали поддаваться этому развращению,— несло иногда целыми десятилетиями свою ссылку, моральную смерть! Сколько сопричислил этот скорый и немилостивый "ревтрибунал" к отверженному лику "реакционеров"!

Да, это история старая и страшная (вообще, г. Икс, а не для меня,— меня-то не запугаете!) И никому-то даже и в голову не пришло задаться вопросом, право, довольно серьезным и сложным: да почему же это были (или, по крайности, казались, именовались) "реакционерами" Гете, Шиллер, Андре Шенье, Вальтер Скотт, Диккенс, Тэн, Флобер, Мопассан, Державин, Батюшков, Жуковский, Карамзин, Пушкин, Гоголь, Аксаковы, Киреевские, Тютчев, Фет, Майков, Достоевский, Лесков, гр. А.К.Толстой, Л.Толстой, Гончаров, Писемский, Островский, Ключевский, даже и Тургенев, не раз не угождавший "молодежи" — и почему так высоко превознесены были Чернышев-

ский со своим романом, Омулевский, Златовратский, Засодимский, Надсон, Короленко, Скиталец, Горький?

Вот теперь стали "реакционерами", "обывателями", "врагами народа", "бурцевскими молодцами" и мы — Куприн, Мережковский, Гиппиус, Чириков... Ну, что же, не пропадем, только разве это не явное подражание большевикам, для которых мы, конечно, только "белогвардейская сволочь", только умно ли это — шельмовать всех поголовно? Кто ж тогда с вами, господа Иксы, останется? "Народ"? А кто этот народ? "Обыватель",— хотя ума не приложу, чем обыватель хуже газетного сотрудника,— обыватель не народ, "белогвардеец" не народ, "поп" не народ, купец, бюрократ, чиновник, полицейский, помещик, офицер, мещанин — тоже не народ; даже мужик позажиточней и то не народ, а "паук, мироед". Но кто же остается? "безлошадные"? Да ведь и "безлошадные", оказывается, одержимы теперь "чувством собственности" — и что было бы делать, если бы уцелели в России лошади, если бы уже не поели их?

Вы бодритесь и гневаетесь:

— "Не всех еще поели, не радуйся, реакционер!"

Да что ж, вон и Горький когда-то гневался на газету "Таймс":

— "Напечатана мрачная глупость, будто в России едят суп из человеческих пальцев!"

Впрочем, тут я ставлю точку. Это уже "политика", а ведь теперь новый приказ: будь поэтом и не суйся в граждане.

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ О ГАЛЛИПОЛИ>

Русская революция есть явление совершенно небывалое в мире. Можно быть какого угодно мнения о том, неизбежна ли была она, можно всячески гадать о ее последствиях. Но вот что вполне бесспорно: за целых шесть лет она не дала буквально ни единого светлого момента, была совершенно сплошным мраком и ужасом, беспрерывной низостью, беспримерной бессмыслицей. Что же можно было бы думать о России, о русском народе, не будь русской "контрреволюции", т.е. если бы не дал русский народ армии Корнилова, Колчака, Деникина, Врангеля!

Галлиполи — часть того истинно-великого и священного, что явила Россия за эти страшные и позорные годы, часть того, что было и есть единственной надеждой на ее воскресение и

единственным оправданием русского народа, его искуплением перед судом Бога и человечества.

МИССИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

(Речь, произнесенная в Париже 16 февраля)

Соотечественники.

Наш вечер посвящен беседе о миссии русской эмиграции.

Мы эмигранты,— слово "émigrer" к нам подходит как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному: к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.

Миссия — это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во французских толковых словарях сказано: "миссия есть власть (pouvoir), данная делегату идти делать что-нибудь". А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы представительствуем за кого-то? Цель нашего вечера — напомнить, что не только можно, но и должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы, под разными злостными влияниями, разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине никчемным и даже зазорным. Наша цель — твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. Исключите из этого громадного числа десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток уже совсем несознательно, совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками) нынешних владык России, суть, однако, их кровные братья; исключите их пособников, в нашей среде пребывающих лишь с целью позорить нас перед лицом

чужеземцев и разлагать нас: останется все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью говорит о страшной важности событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это *нечто* заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и то нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: "Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить домы и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всяческого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!"

Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России,— были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убийц. Однако это не все, русская эмиграция имеет право сказать о себе гораздо больше. Сотни тысяч из нашей среды восстали вполне *сознательно и действенно* против врага, ныне столицу свою имеющего в России, но притязающего на мировое владычество, сотни тысяч противоборствовали ему всячески, в полную меру своих сил, многими *смертями* запечатлели свое противоборство — и еще неизвестно, что было бы в Европе, если бы не было этого противоборства. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени надо нам

действовать и предстательствовать? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще — от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной. Мир отвернулся от этой страждущей России, он только порою уподоблялся тому римскому солдату, который поднес к устам Распятого губку с уксусом. Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские "*внутренние дела*", то есть на шестилетний погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что *узаконяет* этот погром. И вновь, и вновь исполнилось таким образом слово Писания: "Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных, сами же оттого не станут тучнее... Вот темнота покроет землю и мрак — народы... *И лицо поколения будет собачье...*" Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Революция, говорят, была неизбежна, ибо народ жаждал земли и таил ненависть к своему бывшему господину и вообще к господам. Но почему же эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всяческого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным обилием крепостных уз? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе, и знамя их было и есть интернациональное, то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру, взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских уставов, нечто новое и дьявольское. Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освя-

щенный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, во веки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.

Что произошло? Как ни безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая "планетарным" злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума,— сам министр-президент на московском совещании в августе 17 года заявил, что уже зарегистрировано,— только зарегистрировано! — *десять тысяч* зверских и бессмысленных народных "самосудов". А что было затем? Было величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшееся с убийства Духонина и "похабного мира" в Бресте и докатившееся до людоедства. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить "Семь заповедей Ленина". И дикарь все дробил, все топтал и даже дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторгся в самая Святая святых своей родины, в место того страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки Преподобного Сергия, гроба, перед коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения их земного существования. Боже, и это вот к этому самому дикарю должен я идти на поклон и служение? Это он будет державным хозяином всея новой Руси, осуществившим свои "заветные чаяния" за счет соседа, зарезанного им из-за полдесятины лишней "земельки"? В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского историка, Ключевского: "Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампа-

ды над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры". Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты и лампады погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле — и нельзя, *преступно служить ее тьме.*

Да, колеблются устои *всего* мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут самый Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самим римским наместником Христа. Мир одержим еще не бывалой жаждой корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморре. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгуют, Содом и Гоморра ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобресть власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гоморру, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей. И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников "новой" жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устроения человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу — тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но, чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же надо лишить толпу "опиума религии", дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот "планетарный" скот — другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он

поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: "Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!". Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

Иисуса на крест, а Варраву —
Под руки и по Тверскому...
Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиной...

И если все это соединить в одно — и эту матерщину, и шестилетнюю державу бешеного и хитрого маньяка и его высовывающийся язык, и его красный гроб, и то, что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демиурга и о том, что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу: ведь ноги-то раскорячиваются действительно очень далеко и очень смело. В свое время непременно падет на все это Божий гнев,— так всегда бывало. "Се Аз восстану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря..." И на Содом и Гоморру, на все эти Ленинграды падет огнь и сера, а Сион, Селим, Божий Град Мира, пребудет во веки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. "Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!" Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем его,— это наше право и даже наш долг,— и расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. "Они не хотят ради России претерпеть большевика!" Да, не хотим — можно было претерпеть ставку Батыя, но Ленинград нельзя претерпеть. "Они не прислушиваются к голосу России!" Опять не так: мы очень при-

слушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине, хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: "Ах, ах, тра-та-та, без креста!" — и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего возсияния. Пылала! Не пора ли оставить эту бессердечную и жульническую игру словами, эту политическую риторику, эти литературные пошлости? Не велика радость пылать в сыпном тифу или под пощечинами чекиста! Целые города рыдали и целовали землю, когда их освобождали от этого пылания. "Народ не принял белых..." Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не совсем так: *не* принимал хулиган, да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви к ней? Один из недавних русских беженцев рассказывает между прочим в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрениям, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебываясь от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника,— да святится вовеки его память! Под триумфальными вратами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для неправедного времени сего, и для будущих праведных путей самой же России.

А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой Бог и моя душа. "Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!" Верный еврей ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: "Подождем, православные, когда Бог переменит орду".

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый "похабный мир" с нынешней ордой.

P.S. 16 февраля в Париже был вечер, посвященный беседе "о миссии русской эмиграции",— публично выступали с речами на эту тему Карташев, Мережковский, Шмелев, проф. Кульман, студент Савич и пишущий эти строки. "Миссия русской эмиграции" есть вступительное слово, прочитанное мною в начале беседы. Я обратился к редакции "Руля" с просьбой напечатать его с той целью, чтобы хотя несколько опровергнуть кривотолки, которым подвергся в печати, а, благодаря ей, отчасти и в обществе весь этот вечер. Теперь по крайней мере хоть некоторые будут точно знать, что именно сказал я, наметивший, по выражению органа П.Н.Милюкова, зачинщика этих кривотолков, "все главные мысли и страшные слова, которые повторяли потом другие ораторы". И пусть теперь всякий здравомыслящий человек с изумлением вспомнит все то, что читал он и слышал о наших "страшных словах".

Началось с передовой статьи и отчета о вечере в "Последних новостях" от 20 февраля. Отчет (под заглавием "Вечер страшных слов") больше всего отвел места мне, вполне исказил меня, приписал мне нелепый призыв "к божественному существованию" и претензию на пророческий сан, сообщил, как мало я похож на пророка "со своим холодным блеском нападок на народ", и весьма глумился и над всеми прочими участниками вечера, тоже будто бы желавшими пророчествовать, но оказавшимися совершенно неспособными "подняться на метафизические высоты". А передовая статья была еще удивительнее и походила просто на бред. Она называлась "Голоса из гроба" и говорила следующее:

"Писатели, принадлежащие к самым большим в современной литературе, те, кем Россия по справедливости гордится... выступили с проповедью почти пророческой, в роли учителей жизни, в роли, отжившей свое время... Они самоопределились политически... соединились с Карташевым и не ему передали свою политическую невинность, а себя впервые окрасили определенным цветом... Они говорили против политики — за внутренний категорический императив и за Христа... очевидно твердо верили, что, подобно пророкам, высоко вознеслись над мелкими злобами дня, на деле же принесли с собой только лютую ненависть к своему народу, к *целому* народу, и даже хуже — презрение, то есть чувство аристократизма и замкнутости... Что значит их непримиримость? Непримиримость к чему? К кому?"

Мы, будто бы притязавшие быть пророками,— которым будто бы ненависть не подобает,— мы очень просто и твердо говорили, к чему именно проповедуем мы непримиримость. Но П.Н.Милюков все-таки почему-то счел нужным спрашивать — и ответил за нас сам, поставив во главу угла опять-таки меня, ни с того ни с сего смешав мою речь с моими последними стихами и рассказами. Прочтите, сказал он, стихи Бунина в "Русской мысли" и его рассказ "Несрочная весна" в "Современных записках": "это все непримиримость с новой жизнью, тоска о прошлом — и гордость: я, мол, генеральская дочь, а там только титулярные советники..." (Да, пусть не протирают глаза читатели "Руля": я цитирую буквально.) А затем так же смело было поступлено и со всеми прочими участниками вечера ("таков Бунин и таковы и все другие — все они дышат страхом и злобой ко всему, что продолжает жить вопреки им") — и дело было сделано: до неправдоподобности странная передовая статья положила прочное основание легенде о кровожадных и вместе с тем пророчески призывающих "к божественному существованию" мертвецов, которыми будто бы оказались мы. За ней, за этой статьей, последовало еще немалое количество подобных же строк (даже статей — "Пастыри и молодежь", "Апостольство или недоразумение", "Религия и аполитизм" и т.д.), нашедших отклик в Праге и даже в Москве. И легенда все растет, и вот какой-то г. Быстров доходит уже до того, что утешает "Последние новости" насчет общественного влияния того самого вздора, который ими же самими и выдуман: не бойтесь, говорит он в номере от 25 марта, молодежь не пойдет за этими писателями, "ставшими за границей публицистами и на сто лет от жизни отставшими!"

Думаю, что читатель "Руля" не посетует на то, что появляется наконец в печати один из подлинных документов страшной и зловредной отсталости от века, проявленной в Париже 16 февраля (а 5 апреля имеющей быть продолженной), и не сочтет за личную полемику мою приписку к этому документу: дело имеет все-таки некоторый общий интерес. И тем более имеет, что в московской "Правде" от 16 марта уже появилась статья, почти слово в слово совпадающая со всем тем, что писалось о нас в "Последних новостях". Московская "Правда" тоже страстно жаждет нашей смерти, моей особенно, для видимости беспристрастия тоже не скупясь в некрологах на похвалы. Она сперва сообщила, что я на смертном одре в Ницце, потом похоронила меня (а вместе со мною Мережковского и Шмелева) по способу "Последних новостей" — морально. В "Правде" статья озаглавлена "Маскарад мертвецов", и в статье этой есть такие строки:

"Просматривая печать белой эмиграции, кажется" — какой прекрасный русский язык! — "кажется, что попадаешь на маскарад мертвых..."

"Бунин, тот самый Бунин, новый рассказ которого был когда-то для читающей России подарком, позирует теперь под библейского Иоанна... выступает теперь в его черном плаще... как представитель и защитник своего разбитого революцией класса... Это особенно ярко сказывается в его последних произведениях — в рассказе "Несрочная весна" и в стихах в "Русской мысли"... Здесь он не только помещик, но помещик-мракобес, эпигон крепостничества... Он мечтает, как и другой старый белогвардеец, Мережковский, о крестовом походе на Москву... А Шмелев, приобщившийся к белому подвижничеству только в прошлом году, идет еще дальше: один из значительных предреволюционных писателей, он не крепостник, а народник... Для него "народ" кроток и безвинен, сахарная бонбоньерка, крылатый серафим... и он во всем обвиняет интеллигенцию и московский университет, недостаточно усмиренный в свое время романовскими жандармами..."

"Вообще выступление этих трех писателей, по сравнению с которым даже "Вехи" 1907 г. кажутся безвинной елочной хлопушкой, вызвало в эмиграции широкий отклик. Даже седенький профессор... назвал это выступление в своей парижской газете *голосами из гроба...*"

Париж, 29 марта 1924 г.

ТЕМ, КОТОРЫЕ "ДАЛИ БОГУ ДУШИ СВОИ"

"Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника,— да святится вовеки его память! Под триумфальными вратами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для неправедного времени сего, и для будущих праведных путей самой же России.

А кроме того есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой Бог и моя душа. "Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!" Верный еврей ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для Росси; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть".

Так говорил я прошлой зимой, в Париже, на собрании, посвященном публичной беседе о миссии русской эмиграции. Что иное могу сказать я и теперь, в день славной и поистине священной для всякого русского человека, не утратившего образа и подобия Божия, годовщины Галлиполийцев?

Дорогие, любимые, Вы, которые, по слову летописца, бестрепетно "дали Богу души свои", Вы, крестными путями и подвигами своими спасшие честь России и веру в нее,— земной поклон Вам!

ИНОНИЯ И КИТЕЖ

К 50-летию со дня смерти гр. А.К.Толстого

Полвека со дня смерти гр. Алексея Константиновича Толстого.

Каждое воспоминание о каждом большом человеке прежней России очень больно теперь и наводит на страшные сопоставления того, что было и что есть. Но поминки о Толстом наводят на них особенно.

Вот я развернул книгу и читаю:

Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед —
И ахнул от ужаса русский народ:
Ай рожа, ай страшная рожа!

Что это такое? Это из баллады Толстого о Змее-Тугарине, это рожа певца, нахально появившегося на пиру киевского князя Владимира, рожа той "обдорской" Руси, которую он пророчит, которая должна, по его слову, заменить Русь киевскую. Мысль о том, "чтоб мы повернулись к Обдорам", кажется князю и его богатырям так нелепа, что они только смеются:

Нет, шутишь! Живет наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!

Но "рожа" не унимается. Вам, говорит она, моя весть смешна и обидна? А все-таки будет так. Вот, например, для вас теперь честь, стыд, свобода суть самые бесценные сокровища:

Но дни, погодите, иные придут,
И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече — коганская воля!

И пророчество это, как известно, исполнилось: через долгую "обдорскую" кабалу, через долгое борение с нею пришлось пройти Руси. И кончилось ли это борение? Один великий приступ Русь "перемогла". Но вот надвинулся новый и, быть может, еще более страшный. Далеко той, прежней роже, что бахвалилась на пиру в Киеве, до рожи нынешней, что бахвалится на кровавом пиру в Москве, где "бесценными сокровищами" объявлены уже не честь, не стыд, не свобода, а как раз наоборот — бесчестие, бесстыдство, коганский кнут, где "рожа" именуется уже солью земли, воплощением, идеалом "новой" России, ее будто бы единственно-настоящим ликом,— в противовес России прежней, России Толстых,— и именуется не просто, а с величайшей и даже мессианской гордостью: "Да, скифы мы с раскосыми глазами!" или, например, так:

Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивных свет...
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюма вам,
Что имя Ленина шумит, как ветр, по краю...

Эти хвастливые вирши,— прибавьте к ним заборную орфографию,— случайно попавшие мне на глаза недавно и принад-

лежащие некоему "крестьянину" Есенину, далеко не случайны. Сколько пишется теперь подобных! И какая символическая фигура этот советский хулиган, и сколь многим теперешним "болванам", возвещающим России "новую эру", он именно чета, и сколь он прав, что тут действительно стоит роковой вопрос: под знаком старой или так называемой новой "эры" быть России и обязательно ли подлинный русский человек есть "обдор", азиат, дикарь или нет? Теперь все больше входит в моду отвечать на этот вопрос, что да, обязательно. И московские "рожи", не довольствуясь тем, что они и от рождения рожи, из кожи вон лезут, чтобы стать рожами сугубыми, архирожами. Посмотрите на всех этих Есениных, Бабелей, Сейфуллиных, Пильняков, Соболей, Ивановых, Эренбургов: ни одна из этих "рож" словечка в простоте не скажет, а все на самом что ни на есть руссейшем языке:

— Никла Ильинка монашенькой постной, прежняя дебелая, румяная, грудастая бабеха... (Соболь)

— По Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка... (Пильняк)

А некоторые умники в Берлине, в Париже, в Праге тают от умиления: "Ах, говорят они, ах, какой сочный, ядреный русский язык, какая истинно национальная Русь прет теперь из русского чернозема, и как жадно должны мы ловить свет именно оттуда, и какое обилие там,— только там! — таланта, жизни, молодости".

Да, "страшная рожа" опять среди нас. Тщетно возмущаемся мы:

Она продолжает осклабивши пасть:
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушаясь голоса крови родной,
Вы скажете: Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к Обдорам!

Толстой называл себя "певцом, державшим стяг во имя красоты". Он был, как один из его любимейших образов, как Иоанн Дамаскин, "борец за честь икон, художества ограда". На "рожу" он смотрел глазами древней христианской Руси: это воплощение всего басурманского, дьявольского, воплощение мерзости и безобразности (то есть того, что образа, устроения и гармонии не имеет), безобразности и мерзости не только

внешней, но и внутренней. А Красота, Лик были для него воплощением Божеского, того, что творит, устрояет, обладает Искусством (покоряющим бесформенность).

"Красота, прекрасное, как справедливо сказал о Толстом Вл.С.Соловьев, была для него дорога и священна, как отблеск вечной Истины и Любви", как нечто, идущее из самобытного мира вечных идей или первообразов. "Божество, говорит Соловьев, *обладает* полнотой совершенства. Человек, совершенствуясь, *достигает* его. Человек есть самостоятельная особь и кроме того часть всемирного целого. И он должен совершенствовать и самого себя,— личной любовью,— и содействовать совершенству целого,— патриотизмом, чувством солидарности с целым... В поэзии Толстого мотивы любви и патриотизма наиболее характерны... Патриотизм есть желание блага целому — народу, государству, отечеству... Но в чем именно благо отечества? Сам по себе патриотизм может быть источником и добра, и зла... Нужно еще патриотическое *сознание*, различающее истинное благо отечества от ложного. И та степень патриотического сознания, которая была у А.К.Толстого, до сих пор остается *высшей*... Со всей живостью поэтического представления и со всей энергией борца за идею Толстой славил свой идеал истинно русской, европейской и христианской монархии и громил ненавистный ему кошмар азиатского деспотизма... Начало истинного национального строя он находил в киевской эпохе нашей истории...

Он мерил благо отечества высшей мерой. И он не ошибался: нам нужно развитие тех христианских истинно-национальных начал, что было обещано светлыми явлениями киевской Руси..."

Гр. А.К.Толстой есть один из самых замечательных русских людей и писателей, еще и доселе недостаточно оцененный, недостаточно понятый и уже забываемый. А ведь меж тем ценить, понимать и помнить подобных ему надо в наши дни особенно. Ведь существование нации определяется все-таки не материальным (так что восхищаться, например, тем, что Россия "будет мужицкой", по меньшей мере странно). Россия и русское слово (как проявление ее души, ее нравственного строя) есть нечто нераздельное. И не знаменательно ли, что нынешнему падению России, социальному, политическому и всякому прочему, не только сопутствует, но задолго предшествовал упадок ее литературы, когда всякое непотребство стало называться дерзанием, а глупость и истеричность — священным безумием, когда всяческий распад, то есть нечто совершенно противопо-

ложное искусству,— сцеплению, устроению,— и всяческие "искания" (то есть как раз то, что не есть искусство и что художник должен скрывать в своей мастерской) были столь бесстыдно прославлены самими же представителями всего этого,— не менее бесстыдно, чем славит себя теперь большевизм, являя таким образом одну из самых характерных черт дикарства, необыкновенно хвастливого, как известно?

Теперь "новое" искусство сменилось новейшим. Вот "поэты-пролетарии":

Сорвали мы корону
Со старого Кремля...
Лучами мажем нервы
И мускулы машин...
За заборами *низкорослыми*
Гребем мы огненными веслами...

Вот "футуристы":

Белогвардейца — к стенке.
А Рафаэля забыли?
А почему не атакован Пушкин?

Вот какие-то "супрематисты":

Взяли мы в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрав...
Исуса — на Крест, а Варраву —
Под руки и по Тверскому!

Вот "имажинист", сам себя рекомендующий:

Я бумажка в клозете...

И вот, наконец, опять "крестьянин" Есенин, чадо будто бы самой подлинной Руси, вирши которого, по уверению некоторых критиков, совсем будто бы "хлыстовские" и вместе с тем "скифские" (вероятно потому, что в них опять действуют ноги, ничуть, впрочем, не свидетельствующие о новой эре, а только напоминающие очень старую пословицу о свинье, посаженной за стол):

Кометой вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиною...
Проклинаю дыхание *Китежа*,
Обещаю вам *Инонию*..

Иногда говорят: стоит ли обращать внимание на эту "рожу", на это "миссианство", столь небогатое в своей изобретательности, знакомое России и прежде по базарным отхожим местам? Увы, приходится. И тем более приходится, что ведь, повторяю, некоторые пресерьезно доказывают, что именно из этих мест и воссияет свет, Инония.

Инония эта уже не совсем нова. Обещали ее и старшие братья Есениных, их предшественники, которые, при всем своем видимом многообразии, тоже носили на себе печать в сущности единую. Ведь уж давно славили "безумство храбрых" (то есть золоторотцев) и над "каретой прошлого" издевались. Ведь Пушкины были атакованы еще в 1906 году в газете Ленина "Борьба", когда Горький называл "мещанами" всех величайших русских писателей. Ведь Белый с самого начала большевизма кричит: "Россия, Россия — Мессия!" Ведь блоковские стишки:

Эх, эх, без креста,
Тратата! —

есть тоже "инония", и ведь это именно с Есениными, с "рожами", во главе их, заставил Блок танцевать по пути в Инонию своего "Христосика в белом венчике из роз". Ведь это Блок писал: "*Народ, то есть большевик, стрелял из пушек по Успенским соборам. Вполне понятно: ведь там туполобый, ожиревший поп сто лет, икая, брал взятки и водкой торговал...*"

— Конь мой, конь, славянский конь! — восклицал Толстой когда-то:

Конь несет меня лихой,
А куда, не знаю!
Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак
С бритой головою
Молча свой натянет лук,
Лежа под травою,
И меня догонит вдруг
Меткою стрелою?
Иль влечу я в светлый град
Со Кремлем престольным?
В град, где улицы гудят
Звоном колокольным?

Теперь ответ на этот вопрос дан: киргизская рука делает свое дело, и перед нами уже не светлый град, не Китеж, а именно

он, голый солончак. Но неужели это конец? А если нет, то что дальше? В страшной современности, где возобладал "киргиз", не найти спасительных указаний, русское слово почти умолкло в этой печенежской степи, где высится Тмутараканский Болван, где "лисы лают на русские щиты" (как лают они, увы, и в эмигрантском стане). При всей своей ничтожности, современный советский стихотворец, говорю еще раз, очень показателен: он не одинок, и целые идеологии строятся теперь на пафосе, родственном его "пафосу", так что он, плут, отлично знает, что говорит, когда говорит, что в его налитых самогоном глазах "прозрений дивный свет". При всей своей нарочитости и зараженности литературщиной, он кровное дитя своего времени и духа его. При всей своей разновидности, он может быть взят за одну скобку, как кость от кости того "киргиза",— как знаменательно, что и Ленин был "рожа", монгол! — который ныне есть хозяин дня. Он и буянит, и хвастается, и молится истинно по-киргизски: "Господи, отелись!" И стоя среди российского солончака, имитируя Пушкина, играя заигранным словечком Герцена, некоторые бахвалятся: "Да, скифы мы с раскосыми глазами!"

Скифы! К чему такой высокий стиль? Чем тут бахвалиться? Разве этот скиф не "рожа", не тот же киргиз, кривоногий Иван, что еще в былинные дни гонялся за конем сраженного Святогора? Правильно тут только одно: есть два непримиримых мира: Толстые, сыны "святой Руси", Святогоры, богомольцы града Китежа — и "рожи", комсомольцы Есенины, те, коих былины называли когда-то Иванами. И неужели эти "рожи" возобладают? Неужели все более и более будет затемняться тот благой лик Руси, коего певцом был Толстой?

Толстой говорил: "Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия; это не тенденция, это я сам. Откуда вы взяли, что мы антиподы Европы? Туча монгольская прошла над нами, но это была лишь туча, и черт должен поскорее убрать ее без остатка. Нет, русские все-таки европейцы, а не монголы!" Так говорил он не раз, праведно чувствуя, что весь он и как поэт, и как человек, есть порождение Руси славянской, а не обдорской, не киргизской. И не раз возмущался:

От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины,
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины...

Теперь мы среди вящих, неустанных хлопот подобного рода. Будем же крепко помнить о Толстых среди "монгольского" засилья и наваждения!

"Откуда вы взяли, что мы монголы?" В самом деле: откуда это, будто наиболее подлинный образ русского народа есть кривоногий и раскосый Иван с его Инонией,— иначе говоря, с простым, старым, как мир, дикарством,— а не Святогор? "Я мужик, и посему я Русь!" — кричит Иван. Да, но есть мужик и мужик, как сказал толстовский Поток-Богатырь. И след ли Иванам бахвалиться рядом с такими мужиками, как Ломоносов, Кольцов, с такими русскими, как Толстые?

Рос и воспитывался Толстой у дяди по матери, у Перовского, в медвежьей Черниговщине, но уже восьми лет, через поэта Жуковского, был представлен своему ровеснику, будущему императору Александру II, с которым и остался в большой близости и дружбе на всю жизнь. Так же противоположно пошло и дальше: то черниговская глушь, то Петербург и Европа — отрочество Толстой почти сплошь провел в заграничных путешествиях с матерью и дядей, горячим поклонником Запада и западного искусства. И в отрочестве судьба осчастливила его еще тем, что он был с дядей у Гете, в его веймарском доме, и сидел у Гете на коленях. В молодости, пройдя прекрасное домашнее воспитание и выдержав экзамен при университете по словесности, он был причислен к русской миссии в Германии, затем служил в Петербурге и вел жизнь то деревенскую, дикую, охотничью, то столичную, очень светскую и шумную, выделяясь в толпе своими связями, родственными и придворными, и в то же время независимостью от них, блеском ума, остроумия, дружбой с художниками и писателями и вместе с тем дружбой с Наследником Престола, а кроме того, своей простонародной наружностью и силой, истинно богатырскою: он, например, легко ломал конские подковы. Покорил ли его себе свет? Нет:

Сердце, сильней разгораясь от года к году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду...
Буду кипеть, негодуя тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодною сталью!

Во время крымской кампании Толстой пережил высокий патриотический подъем, добровольно поступил в армию и едва не погиб в тифу, от которого его спас только его необыкновенный организм, царское внимание и уход его будущей супруги, той, к кому обращены строки, ныне столь известные, полные неувядающей прелести:

Средь шумного бала, случайно
В тревоге мирской суеты...

После крымской кампании Александр II назначил Толстого своим флигель-адъютантом, но Толстой, полагавший единственной целью всей своей жизни свободное служение искусству и уже давно страдавший от своей все же далеко не полной свободы, от своих обязанностей ко Двору, отклонил от себя эту новую царскую милость: поступок житейски совершенно необычайный. Тогда ему дали звание Императорского Егермейстера, почти ни к чему его не принуждающее, и он повел жизнь, уже всецело посвященную поэзии, семье, охоте, деревне. В деревне, в черниговском поместье, он и умер — 28 сентября (11 октября) 75 года. И незадолго до смерти "странное", по его выражению, событие произошло с ним, событие, о котором он сам рассказывал в письме к своему другу, княгине Витгенштейн:

"Со мной случилась недавно странная вещь: так как я не мог (от удушья) ни лечь, ни спать сидя, то как-то ночью я принялся за одно маленькое стихотворение. Я уже написал почти страницу, когда вдруг мои мысли спутались и я потерял сознание. Пришедши в себя, я хотел прочесть то, что написал: бумага лежала передо мной, карандаш тоже, а вместе с тем я не узнал ни одного слова в моем стихотворении. Я начал искать, переворачивать бумаги — и так и не нашел моего стихотворения. Пришлось сознаться, что писал я бессознательно, совершенно бессознательно, а вместе с тем мною овладела какая-то мучительная боль, которая состояла в том, что я напрасно *хотел вспомнить что-то.* Я уже три раза в жизни пережил это чувство — хотел уловить какое-то неуловимое воспоминание — и оно, это чувство, было всегда, как и на этот раз, очень тяжело и страшно. Стихотворение, которое я написал бессознательно, начинается так: "Прозрачных облаков спокойное движенье..."

Немногим, думаю, известен этот предсмертный случай с Толстым и немногими оценен как следует. А меж тем, он с особенной силой свидетельствует об одной из самых существенных черт натуры и таланта Толстого: о том, как вообще было много в этой натуре того, о чем говорят: Божьей милостью, а не человеческим хотением, измышлением или выучкой.

"С шестилетнего возраста, говорит Толстой в своей литературной исповеди, начал я марать бумагу стихами... Но и независимо от поэзии я всегда испытывал непреодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или другая

картина или статуя или прекрасная музыка на меня производили такое сильное впечатление, что у меня волосы буквально поднимались на голове. Мне было тринадцать лет, когда я с родными сделал первое путешествие по Италии. Изобразить всю силу моих впечатлений и весь переворот, совершившийся во мне, когда открылись душе моей сокровища искусства, невозможно..."

И далее:

"Мое первое отроческое путешествие началось с Венеции, где мой дядя сделал большие художественные приобретения. Между прочим им был куплен бюст молодого фавна, приписываемый Микель-Анджело, одна из великолепнейших вещей, какие я только знаю. Когда статую перенесли в наш отель, я не отходил от нее. Я вставал ночью посмотреть на нее, и мое воображение мучили нелепейшие страхи. Я задавал себе вопрос, что мне делать, если вспыхнет пожар, и делал опыты, могу ли я унести статую. Из Венеции мы отправились в Милан, Флоренцию, Рим и Неаполь, и мой восторг и любовь к искусству все возрастали; дело дошло до того, что по возвращении в Россию, я впал в тоску по Италии, в настоящую "тоску по родине",— доходил до отчаяния, которое заставляло меня днем и ночью рыдать, когда мои сны уносили меня в мой потерянный рай. После же этой страсти вскоре начало развиваться во мне нечто такое, что с первого взгляда может показаться противоречием: это была страсть к охоте. Я предавался ей с таким жаром, что посвящал ей все мое свободное время. В ту пору я состоял при Дворе Императора Николая Павловича и вел весьма светскую жизнь, которая была для меня не без обаяния, но я часто ускользал от нее, чтобы пропадать целыми неделями в лесах. Я отдался очертя голову этой стихии — и стихия эта и моя любовь к нашей дикой природе отразились на моей поэзии, быть может, почти столько же, как и чувство пластической красоты..."

И точно, Толстой поражает наличностью самых противоположных по форме и по темам созданий. Вот Иоанн Дамаскин, молящий своего повелителя:

— О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!

Вот Поток, богатырь из Киева, который пляшет на пиру у князя Владимира:

В Заднепровье послышался лешаго вой,
По конюшням дозором пошел домовой,
На трубе ведьма пологом машет,
А Поток себе пляшет и пляшет...

А за Потоком следует "Дракон", итальянские терции, от которых не отказался бы сам Данте, за "Драконом" — драматическая поэма "Дон Жуан", а далее — русская драматическая трилогия во главе со "Смертью Грозного"... Вот переводы из Гете, Шенье, Байрона — и русские были, то величавые, как голос веков, то полные того русского удальства, которое "по всем жилушкам переливается". Вот "летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод", а вот:

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле! —

и потрясающая баллада о волках:

Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян,
И седой забелеет
Над болотом туман...

И просто не верится после этой баллады, что та же рука писала: "Средь шумного бала", "То было раннею весной", "Вот уж снег последний в поле тает" или эту знойную роскошь Крыма:

Клонит к лени полдень жгучий,
Замер в листьях каждый звук...

Что есть у какого-нибудь Есенина, Ивана Непомнящего? Только дикарская страсть к хвастовству да умение плевать. И плевать ему легко: это истинный Иван Непомнящий. В степи, где нет культуры, нет сложного и прочного быта, а есть только бродячая кибитка, время и бытие точно проваливаются куда-то, и памяти, воспоминаний почти нет. Другое дело Толстые. Как замечательны слова Толстого о той боли, с которой он старался "вспомнить" что-то после обморока! О, Толстым есть что вспомнить! А воспоминание,— употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле,— живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемыми "консерваторами", то есть хранителями, приверженцами прошлого. Оттого-то и рождает их только

быт, вино старое. И оттого-то так и священны для них традиции, и оттого-то они и враги насильственных ломок священно растущего древа жизни.

Произведения Толстого есть лучшее доказательство богатства его натуры и ее разносторонности, столь отличной от искусственной и бездушной "многогранности" наших современников. В этих произведениях много и прямых самохарактеристик: "Коль любить, так без рассудку...", "Господь, меня готовя к бою, мне душу пылкую вложил, но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил...", "Двух станов не боец, а только гость случайный...", "Что ни день, как полымя со влагой, так унынье борется с отвагой..." И самохарактеристики эти лишний раз подчеркивают, что это была натура все-таки прежде всего русская, что поэзия Толстого есть действительно "русский глагол". А самохарактеристики в его письмах, дневниках? Вот его чудесные письма к жене:

— Я верю в Бога всецело и безгранично... Нам, быть может, еще много лет жить на этой земле — будем же стараться быть лучше и достойнее...

— Я не хозяин... Я уже давно утратил чувство собственности, если только я когда-нибудь имел его...

— У меня чувство роскоши очень развито. Я люблю, чтобы были великолепные дворцы, художественные шедевры, но сам я не люблю их иметь. Я их люблю, я ужасно страдаю, когда их портят, когда ими пренебрегают, но сам я ни за что не согласился бы жить в роскошном дворце. Луи Блан проповедует коммунизм и против роскоши, а сам ест дичь с ломтиками ананаса — ты видишь, что он свинья...

— Мой ум под влиянием страстей, но он направлен к добру, к прекрасному, к искусству...

— Я не знаю, как это делается, но почти все, что я чувствую, я чувствую художественно...

— Я не знаю, как другие пишут, но у меня при приближении звуков волосы подымаются и слезы брызгают из глаз...

— Одно время, в молодости, я всецело жил в веке Медичи, я принимал к сердцу произведения этого столетия с таким чутьем, пылом и энтузиазмом, как это мог сделать только современник Бенвенуто Челлини...

Прибавлю к этому и еще несколько цитат — из писем Толстого к друзьям.

Вот он клеймит гонения на национальности, составляющие население России, клянет принудительное, деспотическое обрусение их.

Вот он говорит о Европе, допускающей гибель кандиотов: "Европа выходит из своей роли и поступает по-татарски, и я отказываюсь от такой Европы".

Вот его горячие строки о монархии и деспотии: "Я слишком художник, чтобы нападать на монархию... Но я ненавижу деспотизм, ненавижу так, как ненавижу Сен-Жюста, Робеспьера..."

Итак, кто же перед нами? Иоанн из Дамаска, соправитель калифа, а потом песнопевец и святитель Божий, или же Илья из Мурома?

— Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит,
От царьградских от курений
Голова болит...
Снова веет воли дикой
На Илью простор —
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор...

Как видите, на Илью похоже. Но ведь похоже и на Иоанна. Рыцарь или витязь? И опять ответ выходит как будто двойной. "Я жил в веке Медичи". Или из другого письма к жене: "Как в Витбурге хорошо! Даже есть инструменты миннезингеров двенадцатого века. И у меня забилось и запрыгало сердце в этом рыцарском месте, и я знаю, что прежде я к нему принадлежал". Но ведь билось, прыгало сердце не меньше и в другом месте:

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле!

И ведь сам же Толстой сказал про себя: "Я не принадлежу ни к какой стране — и принадлежу всем. Моя плоть русская, славянская, но душа общечеловеческая".

Сущая правда, все великие души таковы. Но человеческое — одно, а интернационализм или русско-планетарное Неуважай-Корыто, Бога не знающее, родства не помнящее,— другое.

Илья из Мурома или Иоанн из Дамаска? Но ведь оба ходили по мраморным плитам — и оба жаждали поклониться "государыне-пустыне", оба несли подвиги Божии — и оба во святых Его: ведь и Илья почиет в Киевских пещерах.

В 69 году Толстой записал о себе: "Я западник с головы до ног, и настоящий славизм западный, а не восточный". Это в его устах значило: Русь киевская, с Святогором, с Феодосием Печерским. "*Собирание земли*,— писал он далее: — *Собирать хорошо, но что собирать?* Когда я вспоминаю о красоте нашего

языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния!" — Что бы он сказал теперь?

Теперь дело обстоит много, много хуже. Теперь в стихах пролетарских хвастунов даже заборы растут и за этими "заборами низкорослыми" молитвы совершаются на единственном языке, известном российским поэтам,— то есть на матерном ("Богу молюсь матерщиною"). Теперь революция в поэзии выродилась, как в жизни, в большевизм и, достигая своего апогея, притязает, как и большевизм, на монопольный руссизм и даже на мессианство.

"Я обещаю вам Инонию!" — Но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди-ка ты лучше проспись и не дыши на меня своей мессианской самогонкой! А главное, все-то ты врешь, холоп, в угоду своему новому барину!

"Луи Блан проповедует коммунизм, а сам есть дичь с ломтиками ананаса — ты видишь, что он свинья".

Если на русских свиней даже и на всех хватит ананасов, все-таки они останутся свиньями. Но это никак не есть идеал будущей России.

Нет, шутишь! Жива наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!

РОССИЙСКАЯ ЧЕЛОВЕЧИНА

"У Ивана Ивановича жизнь запомнилась городом с деревянными заборами, калиткой во двор, тяжелым запахом человечьего жилья..."

"И там, за десятилетиями, запомнился промозглый вечер, уж очень, до судороги в горле, пропахший человечиной: это был вечер, когда он прогнал свою жену, изменившую ему... И был тот промозглый вечер, тот вечер, когда человеку страшно на земле от удушья человечины. Это не был вечер, это была полночь. За окнами лил дождь и *там надо было колоть глаза...*"

"Жена повернулась круто, хлопнула дверью... Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья..."

Но жена ушла. "И жизнь ее в годы после этого была похожа на очень яркий, пестрый платок, на цыганскую шаль, которую навертели на руку, завихрили, вихрили около загородных домов, свечей, и от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развилась, упала в очень удушливый человеческий мусор..."

А Иван Иванович все жил и жил один, "в десятилетиях". "И тут надо в скобках сказать, что эти дни бытия Ивана Ивановича привели его в великую русскую революцию..." Однако Иван Иванович жил по-прежнему. "Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человечьим жильем... И было у Ивана Ивановича два сына: один от него, а другой — от любовника его умершей жены. Оба долго жили "далеко от Ивана Ивановича", в разных местах, причем, один, законный, был человек здоровый и "военком", а другой — просто больной, полукалека. Наконец они встретились, подружились и решили ехать к отцу. Но отец "всей кровью, всей ненавистью помнил ту промозглую ночь, пропахшую человечиной, когда он прогнал изменницу..." Братья съехались в том городе, где он жил. "И были осенние сумерки, когда от дождей особенно удушливо пахнет в сенцах,— это было время, когда уже отгромыхала революция..." И первым к Ивану Ивановичу явился его незаконный сын, с нежным криком: "Папа!" Но Иван Иванович выгнал его,— "не имею чести вас знать!" И сын ушел от него, к брату. И братья решили про отца, что он негодяй, и уехали. И остался Иван Иванович опять один и опять пережил страшную ночь, "как человек, жизнь которого пропахла человечиной..."

Что это такое, этот Иван Иванович и эти назойливо вонючие ночи, когда почему-то "надо колоть глаза"? Это — новый рассказ советской знаменитости, Бор. Пильняка, под заглавием "Человеческий ветер".

А вот еще одна очень занятная история: "Отец".

Еврей Фроим, ломовой извозчик, имел дочь Басю, которая росла до двадцати лет у бабушки, "не в Одессе, а в Тульчине", стала "женщиной исполинского роста, с громадными боками и щеками кирпичного цвета" и наконец явилась однажды к отцу.

— "Папаша, сказала она оглушительным басом, меня уже черти хватают от скуки. Знай, что бабушка умерла в Тульчине!"

Фроим отнесся к дочери совершенно равнодушно, даже не сказал ей "здравствуй". А она "повесила на веревку отцовские портянки, выбросила за окно прокисшие овчины и подала отцу ужинать. Старик выпил водки и съел зразу, пахнувшую, как счастливое детство. А она надела оранжевое платье и мужские штиблеты, надела шляпу, увешанную птицами, и села за воротами на лавочке. И вечер шатался возле лавочки, и небо было красно, как красное число в календаре... И мимо Баськи прошли Соломончик и Моня, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, и стали двигать руками, показывая, как бы они стали обнимать Баську. И вот Баська тотчас же захотела этого.

Поэтому она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу: "Папаша, сказала она громовым голосом про Соломончика, посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки!" И с этого дня стала шить себе приданое, а с ней "сидели рядом беременные женщины, которые наливались всякой всячиной, как коровье вымя, а вокруг нее текла жизнь Молдаванки, набитая сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости..." Баська послала своего отца свататься к отцу Соломончика, "живот которого лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать". Но отец Соломончика не согласился на брак, и Баська ругала своего отца "рыжим вором", и ему пришлось идти искать ей нового жениха, Беню. А Беня оказался в публичном доме,— "он лежал с женщиной по имени Катюша, которая накалякала для него свой расписной, свой русский и румяный рай". Когда старик заглянул к нему, "он закрыл простыней голые Катюшины ноги и сказал, что подумает насчет предложения жениться на Баське" — и в конце концов предложение это принял...

А это что такое? А это — рассказ другой советской знаменитости, Бабеля, о котором (так же, впрочем, как и о Пильняке и многих прочих) не только с жаром и с восхищением года два писалось почти во всех зарубежных газетах, но пишется теперь уже и *во французских ежемесячниках.* Правда, некоторые кое в чем и упрекают Бабеля. Вот, например, "Дни" недавно судили о собрании рассказов этого самого Бабеля, "которое является некоторым итогом его творчества", и нашли "творчество" это неравноценным. "Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы — например, в рассказе "Сашка-Христос"... Но рассказы его из одесской жизни производят менее благоприятное впечатление... Есть кроме того вещи, на которых нет отпечатка ни революции, ни революционного быта, как например, в рассказе "Иисусов грех"..."

Однако Бабель все же Бабель! О рассказе "Иисусов грех" газета высказалась даже довольно решительно: к сожалению, говорит она,— хотя я не совсем понимаю, о чем тут сожалеть?

— "К сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом он, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующие его лица — Бог, ангел и баба Арина,

служащая в номерах и задавившая в кровати ангела, данного ей Богом, заместо мужа, чтобы не так часто рожала...” Это приговор уже суровый хотя несколько и несправедливый, ибо “революционный отпечаток” в рассказе есть. Но за всем тем, повторяю, этот Бабель есть звезда, надежда русской литературы, одно из ярких доказательств того, что “жива Россия”, в то время, как эмиграция, а в частности и эмигрантская литература — тлен, “окостенение”... Так, по крайней мере, говорят в Париже и в Москве. Можно ли представить себе что-нибудь более растленное и вообще более низкое во всех смыслах, чем то (чрезвычайно типичное), что я только что цитировал? Но вот, говорят. Дико, неправдоподобно? Ничего, сойдет! Преступи все пределы — сим победишь. Оглушай человека так, чтобы у него язык прилип к гортани. И оглушают. Вот недавно Горький даже зарыдал от восторга и рукой махнул: “даже я, говорит, не могу так хорошо писать, как теперь в России пишут!”

Зачем все это говорится, пишется? И в Париже, и в Москве это говорится и пишется с одной, конечно, целью: для посрамления тех, кто осмеливается быть против революции.

Что такое эмиграция и что такое Россия?

Эмиграция такова, что ей осталось одно — пуля в рот.

Мне недавно прислали вырезку из московских “Известий”. Вырезка эта — статейка о моем романе “Митина любовь”. И начинается она с больших похвал. Этот прием теперь вообще в большом ходу даже и в нашей, эмигрантской, печати: для видимости беспристрастия и для пущего эффекта, унижение, например, дела Белой Армии начинают с поклонов: что ж, мол, и говорить, дело было в начале святое, прекрасное... Так и тут. Начинается с похвал. Произведение удивительное... и потому страшно показательное для эмиграции. “Бунин — художник и потому не может не чувствовать близкую ему среду и волей-неволей вынужден показать то, что он видит в ней и в себе,— то новое в смысле жизнеощущения, что нажито интеллигентской психикой в эмигрантщине... вынужден показать, до чего эта психика опустошена, выпотрошена, проституирована...” Почему она проституирована? А потому, что мой Митя есть человек с психикой чисто эмигрантской,— нужды нет, что он умер за двадцать лет до эмиграции! — что он “предан пороку Содома и идеалу Мадонны” и стреляется. Да туда ему и дорога, говорит московская газета и прибавляет: “Выстрел в рот для эмигрантской интеллигенции — единственный выход!”

И еще прислали мне московский иллюстрированный журнал “Прожектор”, издаваемый газетой “Правда”. И там опять обо

мне, о Шмелеве, о Куприне, о Мережковском,— большая статья какого-то Воронского под заглавием "Вне жизни и вне времени" и с нашими карикатурными изображениями: Мережковский, самого гнусного вида, в купальном костюме, провертев дыру в женскую купальню, приставил к этой дыре подзорную трубу; Куприн, раздутый, как утопленник, сидит с бутылью водки, а над ним, в облаках, его мечта — мордастый "белый" генерал; Шмелев подобострастно лежит у ног лубочного замоскворецкого Кит Китыча; я — тону в болоте, и подпись под этой картинкой из моей "Несрочной весны". В рассказе этом изображен вовсе не эмигрант, а москвич, тонущий вовсе не в парижском, а именно в московском болоте. Но Воронский этим ничуть не смущается, он лжет, не моргая: "Бунин, говорит он, показал нам образ человека в стане белых, дотлевающего в могильной яме". Я вообще опять являюсь тут главным козлом отпущения. Начинается опять с похвал. Но опять все только для того, чтобы сказать потом поубедительней, до чего я и все, кого я изображаю, в болоте, в могильной яме. Чем это доказывается? Помимо "Несрочной весны", еще и многими другими произведениями из книги "Роза Иерихона". Там под каждой вещью поставлены мною даты. Но, ничуть этим не смущаясь, Воронский берет как раз те, что написаны еще даже до революции, и говорит: вот видите, каковы настроения и темы у Бунина и что сделала с ним эмиграция, "эмигрантское мракобесие"... И так же лжет он и на Шмелева: "Шмелев показывает нам другой тип из того же белого стана, бессильного кликушу, юродивого, дошедшего до исступления в своей ненависти ко всему новому..." А это чем доказывается? Тем, что Шмелев написал "Солнце мертвых". Правда, произведение это написано от лица человека, погибшего вовсе не в эмиграции, а в Крыму, и то новое, что доводит его до исступления, есть пещерный голод, пережитый Крымом при большевиках. Но ничего, сойдет.

Зато, Боже, как все хорошо в Советской России!

На первой же странице "Прожектора" — настоящая идиллия: огромное дерево, за ним озеро, под ним гуляет товарищ, одетый как бы для тенниса, вдали девица в хорошеньком белом платьице собирает цветочки. Это Горки, "любимое место отдыха московских рабочих, где в свое время любил отдыхать Ильич". Затем — три бритых, чисто сахалинских башки командиров Красной Армии, затем — "братание русской работницы с негритянкой": две улыбающиеся морды жмут друг другу руку, и обе просто прекрасно одетых в летних соломенных шляпах.

Затем — собрание крестьян, сидящих кружком и что-то читающих; просто и прекрасно одеты и обуты в кожаные сандалии крестьянки, несущие корзины с ягодами; благообразная старушка, с трубкой возле уха, слушающая радиоконцерт; мужичек в шведской куртке, едущий на тракторе; очаровательная горничная, смеющаяся из-под кокетливого зонтика, среди крымских кипарисов; "отдыхающие транспортники" в Алупкинском парке и целый зверинец каких-то кошмарно отвратных рож в Ливадийском дворце, одна из которых разухабисто растянула гармонику и зверски и весело орет, поет,— рожа настолько паскудная и страшная, что от нее в ужасе шарахнулась бы горилла...

Затем литературный отдел.

Тут "могучий и ядреный", самый что ни на есть русский рассказ Всеволода Иванова, под заглавием "Орленое время" и начинается так: "В которых пустынях и по сейчас идет еще орленая жизнь. Жизнь эта как отвороченный пласт земли на неурочно раннее гнездо. Мечись потом птица, вой неслышным воем! Деревня есть Колудино на реке Печоре. Ломит та река дерево и камень нагордо. Молочистые туманы прячут ее в белосоватые полы своих одежд. А вот на четырнадцать волостей прославился Ефрем Шигона шубным своим клеем!.."

Тут "Черный хутор", принадлежащий перу Николая Никитина, который повествует о том, "как после отгремевшей веселой славы революции, после тех славных героических дней, о которых будущие поэты сложат поэмы, пришел скучный будень, как в декабрьских пожнях у этих трех верст, кинутом поле, скореженной кожей среди белого поля торчит темный двор, который можно принять за кирпичный заводик..."

Тут новая поэма Маяковского:

Мне жмет!
Париж не про нас —
В бульвары
Тоску рассыпай!
Направо от нас —
Бульвар Монпарнас,
Налево —
Бульвар Распай...

И далее, где поэт говорит очевидно уже про самого себя:

Бумаги
Гладь
Облевывая

Пером,
Концом губы,
Поэт
Как б... рублевая...

* * *

Кстати — о нашем "окостенении".

В "Последних новостях" от 30 октября я недавно прочел следующее:

"Чтобы спастись от эмигрантского окостенения, нужно постоянное общение с Россией. Но общение это невозможно при настроениях вроде Бунинских и Шмелевских, когда ров гражданской войны — не с советской властью, а с Россией — не засыпан и зияет во всей своей неприкосновенности эпохи белой борьбы..."

Что собственно это значит? О каком именно общении идет речь? И с кем нужно общаться и как нужно это делать? И почему "Посл<едние> нов<ости>" — убеждены, что, например, у меня общения нет?

Оно невозможно в силу моих настроений? Но настроений по отношению к кому? К России?

Да, так же, совершенно так же, как "в эпоху белой борьбы" — которая, однако, никогда не шла против России,— зияет перед моими глазами этот ров, вернее, бездонная могила, где лежат десятки тысяч тех, с кем я был и есмь и памяти которых я, конечно, никогда не изменю, через трупы которых я никогда не полезу брататься.

Но могила эта отделяет и вечно будет отделять меня вовсе не от России. Из-за России-то и вся мука, вся ненависть моя. Иначе чего бы мне сидеть в Приморских Альпах, в Париже? Я бы и в земляные работы не стал играть. А просто, без всяких разговоров, махнул бы через ров в российскую "человечину" — и дело с концом.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Мой отец говаривал с презрительной усмешкой:

— А черт с ними со всеми! Я не червонец, чтобы нравиться всем...

Правильно, очень хорошо.

Удивительно предсказал Боратынский в одном своем стихотворении: "И будет Фофанов писать..."

А еще удивительнее предсказал Гете:

— Будет поэзия без поэзии, где все будет заключаться в делании: будет мануфактур-поэзия.

Прочел новое произведение Н.Н.

Похоже на деревянное яйцо, состоящее из нескольких, друг в друга вкладывающихся. Очень как будто сложно и заманчиво: без конца вынимаешь одно из другого. А что толку? Последнее — крохотное да вдобавок еще и пустое.

И сколько теперь таких произведений!

Писатель, нищий, самого простого звания, хромой, страшно самолюбивый, обидчивый, прирожденный лодырь, бездарный и невежественный, но внутренно наглый, огромного самомнения.

Писателем, талантом и человеком самых передовых, левых убеждений вообразил себя потому, что рос в бедности, что озлоблен на богачей, что сидел в Бутырской тюрьме и, главное, в силу того, что уж очень легко стало в один день сделаться знаменитостью, объявивши себя человеком, поднявшимся со дна моря народного, сильной и гордой натурой, плюющей в глаза всему миру и даже небу.

И вот написал пьесу под заглавием "Палач": сапожник, пьяница, но демоническая натура, "бьется в тисках судьбы", богохульствует,— "Ты, творящий, чтобы палачествовать!" — и наконец, на зло Палачу, удавившийся.

А написав, пришел, обливаясь горячим потом от волнения и самолюбия, к знаменитому писателю. А знаменитый писатель прочитал пьесу и заплакал и уверил, обнадежил, что пьеса пойдет в Художественном театре. И автор пьесы сошел с ума от мечтаний и гордости, решил, что завтра он будет богатым и славен — и вследствие этого женился и снял квартиру возле Художественного театра...

Пьесу, конечно, не приняли. Легко вообразить себе все остальное!

Изумительная моя судьба. Нужно же было мне родиться в такое время! Взять хотя бы литературу: ведь на моих глазах началась и длится ее позорная гибель, превращение ее в самый бесстыдный и отвратный балаган...

Талант талантом, а все-таки "всякая сосна своему бору шумит". А где мой бор? С кем и кому мне шуметь?

— Важный, надменный швейцар...
— Что-то задумчиво шепчут кипарисы...
— Тетка Авдотья, кухарка Мавра...
— Старинный барский дом с колоннами, статуи с отбитыми носами, валяющиеся в траве...
— Иван Иваныч замыкал шествие...
— На столе весело бурлил ярко вычищенный самовар...
— Беляна на Волге как дебелая купчиха...
— Звезды шептали земле свои золотые сказки...
— Лукавая пристяжная...
— Избушки, как-то сиротливо жмущиеся друг к другу...
— Домашняя снедь, челядь, чады и домочадцы...

И еще: как любили подобные писатели изображать, как Иван Иваныч, засыпая, свистит, "выделывает рулады" носом! Как назойливо были они добродетельны, честны! И сорок лет эти писатели были излюбленными писателями "передовой" интеллигенции и не *смели* писать иначе, быть иными: ведь у них непременно должен был быть "читатель-друг" и "огоньки впереди"...

Впрочем, и все те новые, что пришли им на смену, все эти модернисты всех мастей, оказались еще пошлее и по жаргону, и по темам, которые стали обязательны по новой моде. И их новизна стала отвратительна столь же быстро, как солдатское сукно, которым украсили фойе Художественного театра.

Деды и отцы наши, начавшие и прославившие русскую литературу, не все же, конечно, "по теплым водам ездили, меняли людей на собак" да "гуляли с книжками Парни в своих парках, среди искусственных гротов и статуй с отбитыми носами", как это многим кажется теперь. Они знали свой народ, они не могли не знать его, весь век живя с ним в кровной близости, и не имели нужды быть корыстными и несвободными в своих изображениях его, как недурно доказали это, например, Пушкин, Лермонтов, Толстой и многие прочие.

А потом что было? А потом "порвалась цепь великая", пришел "разночинец", во-первых, гораздо менее талантливый, чем его предшественник, а во-вторых, угрюмый, обиженный, пьющий горькую (посчитайте-ка всех этих Левитовых, Орфановых, Николаев Успенских) и вдобавок сугубо тенденциозный

(пусть с благими целями, но тенденциозный) да еще находившийся в полной зависимости от направления своего журнала, от идеологии своего кружка, от обязанности во что бы то ни стало быть "гражданином", от милости Скабичевских. А потом количество пишущих, количество профессионалов, а не прирожденных художников, количество *подделывающихся под художество*, все растет и растет, и читатель питается уже мастеровщиной, либеральной лживостью, обязательным народолюбием, пошлейшим трафаретом: если лошадь, то непременно "россинант" или "лукавая пристяжная", если уездный город, то непременно свинья в грязи среди площади да герань в окне, если комод, то обязательно "пузатый", если помещик, то уж, конечно, крепостник, зверь, если деревня, то только "лохматые избенки, жмущиеся друг к другу и как-то боязливо взирающие на проезжего", если "огоньки", то не иначе, как символические... и Бог мой, сколько легенд о жестокостях крепостного права или о Стеньке Разине!

Златовратский... Интереснейшая фигура!

Сколько лет этот самый Златовратский был чуть не для всей интеллигенции истинно Иверской! Он искренне мнил себя великим знатоком народа (его самых основных "устоев", глубины его души и "золотых сердец", его "извечных чаяний", его "подоплеки", его языка, его быта). Он считал себя замечательным писателем, таким, что то и дело хмуро и презрительно трунил над Толстым, а если хвалил, то тоже как-то свысока, небрежно. Что Толстой! Он считал, что он и сам мудрец, в некоторых отношениях даже почище Толстого: "Да, талант, но и чепухи в голове немало", нередко говорил он про Толстого, по своему обыкновению ворчливо, глядя куда-то в угол, помедвежьи качаясь, бродя по комнате в опущенных штанах, в заношенной косоворотке, набивая машинкой папиросы. И все хмурил свои большие брови, чувствуя, вероятно, до чего даже и наружность его может потягаться с толстовской наружностью,— эти брови, маленькие глазки, огромный лысый лоб, остатки длинных жидких волос, вообще весь его мужицко-патриархальный вид, вид какого-нибудь Псоя Псоича, Псоя Сысоича (излюбленные имена его героев из стариков).

Ко мне снисходил, даже иногда похваливал. Раз пробормотал:

— Да, ничего, ничего... Последняя ваша вещичка сделала бы честь и более крупному таланту... Писать можно...

Почти всю жизнь прожил в Москве, в Гиршах. Бывали у него только его горячие почитатели и единомышленники. Возражений он не терпел. Из писателей более всего были ему милы самоучки.

Как интеллигенция почерпает свои знания о народе? Помимо литературы, еще и посредством общения с народом, а общение это, например, такое:

Поздней ночью, едучи из гостей или с какого-нибудь заседания на стареньком, гнутом извозчике по улицам Москвы или Петербурга, позевывая, спрашивает:

— Извозчик, ты смерти боишься?

И извозчик машинально отвечает дураку барину:

— Смерти? Да чего ж ее бояться? Ее бояться нечего.

— А японцев, как ты думаешь, мы одолеем?

— Как не одолеть? Надо одолеть.

— Да, брат, надо... Только вот в чем заминка-то: царица у нас немка! Да и царь — какой он, в сущности, русский?

И извозчик сдержанно поддакивает:

— Это верно. Вот у нас немец управляющий был — за всякую потраву полтинник да целковый! Прямо собака...

Вот вам и готова твердая уверенность, что "наш мужичок мудро относится к смерти", что он революционер и так далее.

Профессор С.О.Фортунатов не умел зажечь лампу, свечку.

Нанимая квартиру, делал с хозяйкой письменное условие, что она (или ее прислуга) должна сама зажигать ему огонь.

И сколько было таких! И все, уходя с заседаний, яростно продолжали спорить даже и в прихожей и надевали разные или чужие калоши.

Чехов однажды (по своему обыкновению, совершенно внезапно) сказал мне:

— Знаете, какая, несколько лет тому назад, была история со мной?

И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Н.Н.,— он назвал фамилию знаменитого актера,— держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: "Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый

писатель в России!" — И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: "И он..."

Отличная, по-моему, история.

Откуда у русских актеров такая ненасытная жажда льстить,— хвалить без всякой меры, восхищаться до непристойности, быть столь несдержанным в словах?

Чрезвычайно типичная черта вообще для русской натуры, а для актерской (сугубо эмоциональной, женственной) особенно.

Ни в чем у нас нет меры, все истерика, жажда довести себя из-за всякого пустяка до отчаяния, вечное недовольство на все, везде и во всем мука, все не так, все ни к черту...

Наш лавочник Алисов, например. На моих глазах, несколько лет подряд, богатеет не по дням, а по часам, сравнительно молод, здоров, как бык, счастливый семьянин и так далее, а поминутно страдальчески косит брови, машет рукой, восклицает с полнейшей безнадежностью:

— Нет-с, это не жизнь, а каторга! Зарезался! Верите ли? Зарезался! Ой, нехорошо, Иван Алексеевич! Не хорошо!

— Да что не хорошо-то?

— Все-с! Все-с!

С необыкновенной легкостью впадаем в актерство, в ту или иную роль — особенно на людях, в собраниях. Чувствительны, нервны, самолюбивы, честолюбивы ужасно.

Вот, например, юбилей. Поручили кому-нибудь прочитать телеграмму. И телеграмма-то самая ничтожная: "Пьем здоровье дорогого юбиляра, желаем многих лет столь же славной деятельности" — только и всего. И все-таки тот, кто встал читать, до того взволновался, что побледнел, как полотно, задохнулся, руки прыгают... А те пьяные провинциалы в сюртуках, что выступают уже в конце, после всех главных речей, когда уже никто никого не слушает? Боже, с каким надрывом кричат они, с какой гордостью и как витиевато бахвалятся они с дальнего угла стола, именуя себя "скромными тружениками на ниве народной"!

Недавно (в конце июня сего четырнадцатого года) сгорел почти дотла уездный город.

Жара, сушь и ураган. А воды нет, у пожарных всего две водовозки и четыре лошади. Буйно, с гулом, с ревом пылали

одновременно: земская управа, почта, казначейство, лучшие магазины... А народ, шальная Русь, как всегда бывает в таких случаях, сошел с ума от дикарского восторга и от возможности безнаказно бесчинствовать: разбили винный склад, разбивали винные бочки, пили ковшами, пригоршнями, перепились зверски, бесновались, орали, плясали среди этого огненного ада... Один пьяный, носясь с горящей головней в руках, неистово кричал:

— Жги, поджигай! Пускай все, все сгорит!

И все покрывали дикие вопли какого-то вполне обезумевшего, растерзанного купца, бросавшего в народ деньги:

— Братцы! Родные! Все бросайте! Мой дом отстаивайте! Мой!

Русь, Русь, блаженная, еще не прожившая своих сказочных времен Русь...

Вспомнился Елец, представилась Черная слобода, бесконечный летний день... Весь день сидит некто босоногий и распоясанный возле своей разваливающейся хибарки, на гнилой лавочке. Мог бы хоть немного починить эту хибарку. Но нет,— лень, блаженная, дремучая. И весь день сидит и занимается с каким-нибудь рыжим кобельком:

— Дай лапку!

Кобелек не понимает, не дает.

— Говорят тебе, дай лапку! Ну? Дай лапку?

Кобелек не дает. И он бьет его по морде. Кобелек моргает, слабо, неуверенно подымает лапку, но тотчас же опять опускает ее. И опять пощечина и опять:

— Дай, сукин сын, лапку!

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Рассказ Х., пережившего последние дни Ростова, конец декабря 1919 года. Спешу записать этот рассказ,— напечатать его в "Южном слове" уже не удалось. Впоследствии таким рассказам цены не будет.

Это страшное время, говорит Х., никогда не изгладится из памяти тех, кто пережил его.

Хотя серьезность положения не скрывалась ни от нас, ни от населения и все грозные признаки быстро надвигавшейся развязки были налицо, все же как-то не верилось, что гибель Ростова так близка.

А между тем она наступила даже гораздо раньше, чем можно было предполагать.

Пришла неожиданная весть, что большевики внезапно появились у Матвеева кургана. И в городе поднялась паника, а для власти стало ясно, что необходима сдача города.

Расформировали Особое совещание, сократили до последней возможности состав служащих во всех ведомствах и приступили к эвакуации. Но, к несчастью, выполнить ее в необходимой мере было совершенно невозможно — за недостатком вагонов, паровозов, топлива...

Полностью отменили пассажирское движение и распорядились подавать вагоны только для эвакуирующихся учреждений.

Право садиться в вагоны предоставляли только женщинам и детям, и патрули беспощадно вытаскивали из вагонов ловких мужчин, тайком забиравшихся туда.

Однако, и при этом подвижного состава не хватало. И пришлось распорядиться по многим ведомствам, чтобы они грузили дела и имущество на подводы и шли за Дон, на станцию Батайск, походным порядком. Служащие многих правительственных учреждений, усадив свои семьи в теплушки и конские вагоны, целыми партиями отправились на Батайск пешком. И все же большое количество этих учреждений не успело, не могло сделать даже этого и оставалось в Ростове до самой последней минуты его.

Двадцатого декабря пришла новая жуткая весть: большевики захватили Таганрог. И тогда, вообразив, что он взят регулярными войсками и что вот-вот нагрянет конница Буденного, Ростов заметался уже в полном ужасе.

На улицах и на путях к вокзалу не стало от многолюдства ни проходу, ни проезду.

Лихорадочно заколачивались зеркальные витрины магазинов, пустели выставки и прилавки. Головокружительно падали цены на все и на вся, аукционные залы торговали с утра до вечера,— те что были характером потверже и поспокойнее, за сто рублей брали бутылку шампанского, стоившую вчера пять тысяч, почти даром скупали золото, серебро, драгоценные камни, мануфактуру... И среди неудержимого людского потока, стремившегося к вокзалу или к мосту, за Дон, то и дело мелькали озабоченные, взволнованные и полные страха и жадности лица спекулянтов, которые на повозках, на тачках и просто на собственных руках сплавляли вон из города свои пожитки.

Власть однако не теряла присутствия духа, оставалась на своих постах и пыталась ободрить население и прекратить его

беспорядочное бегство, предоставление Ростова на произвол судьбы.

Запестрели на стенах домов призывы к спокойствию, приказы, распоряжения. Была объявлена всеобщая трудовая повинность и запрещен самовольный выезд из города всему мужскому населению от семнадцати до пятидесяти пяти лет. Через город проследовали по направлению к позициям свежие воинские части с музыкой, прогрохотали батареи.

И наступило временное успокоение. Началось возвращение беженцев обратно в город, стали открываться магазины и снова стали бешено расти цены: магазины снова наполнились разряженными дамами, на тысячи накупавшими всякой всячины к наступающему сочельнику... Больно и противно было глядеть на эту ужасающую русскую беспечность, так быстро сменившую безумную панику!

Впрочем, все это длилось очень недолго.

Двадцать второго декабря Главнокомандующий перенес свою ставку на станцию Батайск и покинул Нахичевань.

В городе распространились слухи о близком восстании местных большевиков.

По вечерам пошла в городе беспорядочная стрельба, начались столь многочисленные и дерзкие грабежи и убийства, что пришлось издать приказ беспощадно вешать грабителей и убийц на месте преступления. И вот страшной картиной ознаменовались последние ростовские дни: сразу в четырех местах города появились четыре повешенных. Помню,— было солнечное ледяное утро, в страшной грязи тянулись по улицам подводы продолжавших эвакуацию правительственных учреждений, взад и вперед шли по тротуарам горожане, а ветер покачивал висевшие на деревьях трупы... Возле них стояли целые толпы народа — и удивительно: все совершенно равнодушно смотрели на искаженные, с запекшейся на губах кровью, лица удавленников.

К вечеру Сочельника от временного успокоения и оживления Ростова снова не осталось и следа — город точно вымер. В жуткой тишине встречал он рождественскую ночь. Только нелепо гремел пустой трамвай по главной улице мимо опять закрывшихся, наглухо забитых магазинов, мимо поломанных и брошенных повозок и дохлых лошадей. Освещена была только эта улица,— прочие тонули в темноте. А удавленники еще висели, покачиваясь от ветра.

Двадцать пятого декабря большевики взяли Новочеркасск, двадцать шестого конница Думенко ворвалась в Нахичевань.

И опять — и уже в последний раз — улицы Ростова наполнились толпами бегущих к мосту, за Дон. А двадцать седьмого в Ростове уже шел бой на улицах,— тоже последний, отчаянный бой наших войск с напиравшими большевиками, которых мы задерживали, медленно отступая к Дону.

Я пешком вышел из Ростова поздним вечером двадцать шестого и шел до Батайска почти сутки. Поистине это был крестный путь для всех, кто двигался по этой страшной дороге вместе с нами, последними защитниками несчастного Ростова: оттепель превратила дорогу в сплошное болото, из которого шестерка лошадей с великим трудом вытягивала пустую повозку, мы по колено тонули в грязи, пробираясь среди поломанных и брошенных телег, конских трупов и целых гор брошенного добра: сахара, кожи, снарядов, всяких интендантских припасов...

На этом обрываются торопливые строки, полученные нами от Х. Я заношу их в свою книжку на французском пароходе "Патрас", который вот-вот должен покинуть Одессу, уже взятую большевиками.

Следовало бы, конечно, лучше записать то, что только что пережил я сам, что пережили все мы, последние беглецы из Одессы, только что погибшей на наших глазах не менее страшно, чем Ростов, только на месяц позднее.

Но *свое* я записывать сейчас не в силах.

Конец, прощай, Россия.

АНДРЕ ШЕНЬЕ

Прочел Ленотра об Андре Шенье.

Мало кто знает, что знаменитый французский поэт был француз только наполовину. Ленотр рассказывает, что Париж и двор Людовика XV настолько поразили и очаровали "одного из восьми бородатых вельмож", бывших в свите посла Оттоманской империи, вручавшего свои грамоты французскому королю в марте 1721 года, что этот вельможа, возвратясь на родину, в Стамбул, до конца жизни остался фанатическим поклонником Франции. Он даже свою новорожденную дочку назвал по-французски, Елизабет, и воспитал ее в таком восхищении перед французским двором, что она до двадцати пяти лет ждала себе жениха не иначе, как в образе прекрасного рыцаря из Парижа, а не дождавшись вышла все-таки за француза — за скромного советника французского посольства, Людовика Шенье.

Вот от этой-то мечтательной турчанки и родился Андре Шенье, говорит Ленотр. Когда ему сравнялось три года, родители его переселились в Париж. И он привез сюда с собой, в своем младенческом сердце, унаследованную от матери жажду прекрасного и ту страстность, что создают поэты, а мать — свои наконец-то готовые осуществиться мечты. Действительность, однако, оказалась и для него, и для нее очень жестокой.

Низкое небо, грязная мостовая, дома с обсыпавшейся штукатуркой, серая трудовая толпа, мелочность нравов, ничтожность черни, спесь знати — таким представился г-же Шенье Париж. Двор, который она могла видеть только издали, показался ей только скучным гнездом интриг и честолюбий. А к этим разочарованиям присоединились денежные и хозяйственные заботы. Средства семьи были скудны, г. Шенье долго и понапрасну искал места. Наконец, ему предложили отправиться в качестве консула в Марокко. Он уехал и пробыл в отсутствии целых семнадцать лет. Когда же вернулся, был уже канун революции. И вся семья оказалась настроена весьма революционно.

Г-жа Шенье, с трудом воспитавшая пятерых детей, была ожесточена против общества, находила его отвратительным, ибо не смогла при всех своих достоинствах и гордом сознании их, занять в нем положение. Не имея возможности выделиться при Дворе, она замкнулась в кружке из нескольких остроумцев, скептиков и фрондеров, партизанов новых идей. Таких было тогда много. Они в сущности вовсе не желали разрушения старого мира, говорит Ленотр; но им очень нравилось критиковать его и легкомысленно желать победы утопистам. Эти любители туманного будущего и новшеств назывались в то время философами; они заигрывали с утопистами, как буржуа наших дней заигрывают с социализмом, забывая об ужасном пожаре, который, играя огнем произвели наши предки сто лет тому назад. И вот к ним-то и тянулась г-жа Шенье.

Да тянулись и прочие члены семьи. А когда, наконец, революция разразилась, открыто стали на ее сторону.

Брат Андре Шенье, Мари Жозеф, писал напыщенные трагедии, подписывался "шевалье де Шенье", письма свои запечатывал печатью с гербом и графской короной и раболепствовал, чтобы сыграли при Дворе его "Аземира". Отец бегал и унижался перед сильными и знатными, стараясь получить пенсию. Когда же революция разразилась, сын и отец немедленно вспомнили каждый свое,— сын то, что его "Аземир" был освистан, а отец скудость пенсии,— и превратились в ярых демагогов. Мари Жозеф особенно отличился — написал новую

пьесу, настолько революционную, что она, по отзыву К.Демулена, "двинула дела гораздо быстрее октябрьских дней". И вышло таким образом, что судьба дала Андре Шенье видеть не только общую низость, которой поразила его революция, но и частную, в своей родной семье.

Андре долго жил в Лондоне, совсем не интересуясь политикой и предаваясь только развлечениям, которых требовала его сильная и горячая натура. Но в 1790 году он возвратился во Францию и попал в вихрь всеобщего энтузиазма. Тут не за страх, а за совесть, он на время страстно поверил "в обновление человечества, достойное благ Свободы и подчиненное всемогуществу Разума".

Однако время это длилось недолго: он был для революции слишком умен, зряч и благороден. Он быстро отличил в толпе, кинувшейся на добычу, наивных глупцов от убийц по найму и по инстинкту, и тотчас же принял участие в контрреволюционной борьбе с тем пылом, который называли даже "кровожадным" и который, конечно, состоял только в благородной ненависти к подлой кровожадности революционеров. Его душа, полная любви ко всему высокому, прекрасному и чистому, была потрясена зрелищем торжествующего мошенничества и зверства, попрания всех святынь и традиций, видом всей той циничной лжи, пошлости, грязи и тирании, которыми отличаются все "взрывы народного гнева", и он не мог не восстать на революцию. А восстав, не мог не погибнуть. И гибель эта была ужасна.

В начале 1794 г. он скрылся в Версаль. Скрылся не из страха, а просто потому, что слишком устал от революционной мерзости. Измученный, он отдыхал здесь среди мраморных богов, полуразрушенных портиков, огромных водоемов, где отражалось небо, лесных аллей и чащей. Сарду всего тридцать лет тому назад записал рассказ одного старика, который часто видал Шенье в ту пору: это был, по словам старика, маленький, коренастый, смуглый человек с горящими глазами, квадратным лицом и огромной головой.

В первых числах марта Шенье тайно сообщили о предстоящем аресте его друга Пасторета. Он немедленно кинулся в Пасси, где Пасторет скрывался в доме родителей своей жены. Пренебрегая опасностью, он прошел Сен-Клу, Булонский лес и вечером, в темноте, вошел в Пасси, надеясь через несколько минут увидеть Пасторета и увести его в Версаль. Но было уже поздно: Пасторет был уже арестован, Шенье застал только его

жену, в слезах и отчаянии. Он начал ее утешать, ободрять, торопить бежать. Но вдруг — стук в дверь:

— Именем нации!

И через мгновение в дом ввалилась ватага "членов революционного Комитета Пасси". И началось все то, что так страшно знакомо нам, свидетелям "великой российской революции".

Что это были за люди, спрашивает Ленотр, и какой историк достойно опишет, наконец, их громкие деяния? Все, что было мало-мальски честного в стране, уже давно прокляло "великую французскую революцию", старалось бежать от нее, терпеть ее молча, жить в самом незаметном и скромном труде. Все отказывались от чести заседать в этих революционных комитетах, обязанность которых заключалась в шпионстве, доносах, арестах. Каким же людям были по вкусу эти обязанности? И тем не менее во Франции насчитывалось в то время более двадцати тысяч таких комитетов! Это ли не позор, не растление страны?

Для ареста Шенье, говорит Ленотр, не было никакого предписания, никаких указаний свыше. Но эти скоты были одарены каким-то животным инстинктом. Они верно учуяли аристократа в незнакомце, случайно ими встреченном. Они угадали, что в руках у них благородное и гордое сердце, хорошая добыча для эшафота,— угадали, несмотря на то, что все были пьяны, пьяны настолько, что глупость их превзошла все границы. Протокол допроса, составленный ими, состоял из такого нелепого набора фраз и был так чудовищно безграмотен, что Шенье отказался подписать его...

Посадили Шенье в тюрьму Сен-Лазар, старое, грязного цвета здание за тремя железными решетками, похожее на гигантскую вонючую клетку для диких зверей, набитое сверху донизу узниками, которые вечно стонали и выли, чувствуя себя стадом, согнанным на двор бойни. И как только его посадили, он решил умереть:

— Приди, приди, о смерть, освободи меня,— пишет он, войдя в тюрьму.

Но могло ли его страстное сердце принять столь скорую и безмолвную смерть?

— Как? Умереть, не плюнув в лицо террору? Умереть, не унизив, не осмеяв, не повергнув в грязь палачей и словоблудов? Не оставить ничего, что бы могло умилостивить историю за всю тьму убиенных?

И Шенье остался жить, ждать казни, чтобы писать и проклинать. "И слава ему,— говорит Ленотр,— слава поэту, выразившему возмущенную душу изнасилованной Франции, кинув-

шему из темницы анафему тем, кто обесчестил ее!" Прекрасные слова. Только одну ли Францию обесчестила ее "великая революция"? Не всю ли Европу, не все ли культурное человечество?

Казни шли непрерывно, изо дня в день. И поэтому Шенье не скоро дождался своей очереди,— его казнили только в первых числах Термидора. Родные его оставались сторонниками революции,— брат был даже в среде наиболее могущественных вожаков,— и то ли поэтому, то ли по беспечности надеялись, что его просто "забудут" в тюрьме. В ужасе был один старик отец, который неустанно бегал по "комитетам", моля о снисхождении к сыну. В первых числах Термидора он дошел до самого Барера и долго заклинал его, плакал перед ним. "Прекрасно,— сказал наконец Барер, утомясь этой сценой,— твой сын будет через три дня свободен".

И точно, ровно через три дня, когда старик сидел в своей квартире, полный надежд на близкую встречу с сыном, в передней раздался звонок. Обезумев от радости,— уж не Андре ли это? — он кинулся к двери, распахнул ее — и увидел Мари Жозефа: тот был так бледен, лицо его было так страшно и многозначительно, что никаких сомнений больше не оставалось...

В самом деле, как раз в этот самый час Андре Шенье обрел полную свободу: в этот час телега с двадцатью пятью обезглавленными трупами, среди которых был и труп Андре, покинула площадь, где совершались казни, и направилась за Париж, к одной заброшенной каменоломне. В эту каменоломню уже шесть недель подряд, изо дня в день, валили казненных, и возле нее с утра до вечера предавались своему отвратному занятию некие люди, которые снимали с трупов окровавленную одежду и швыряли их затем в братскую могилу.

Так, конечно, поступили эти люди и с одним из самых великих поэтов Франции, посмевшим "не приять революцию", не преклониться перед ее идолом.

Одесса, лето 1919 г.

КАМИЛЛ ДЕМУЛЕН

Ленотр, которому при жизни следовало бы поставить памятник за его труды по истории французской революции и развенчание многих "великанов и славных вождей" ее, не пощадил и Камилла Демулена. При всей своей мягкости, жестокая вещь его очерк о нем!

Демулен родился и рос в благочестивой и патриархальной провинции "в одном из благопристойнейших городков, где жизнь протекала без всяких событий и потрясений, где жили дешево и просто, сытно и беззаботно". Демулен был сын скромного судьи, человека во всех отношениях невидного, хотя и почтенного, верного слуги своего короля. Что же толкнуло его на революционные пути? И как случилось, что имя этого заики славно и доныне?

Родился он в 1760 году, в Гизе. Учиться его отвезли в Париж: "чтобы хотя немного облегчить свой весьма ограниченный бюджет, судья выхлопотал для своего первенца стипендию в колледже Людовика Великого". И вот первое, что способствовало революционной судьбе Камилла: схоластика, царствовавшая в те времена в воспитании и часто на всю жизнь отравлявшая людей лживыми, выдуманными чувствами и мыслями. Демулен сам признавался:

— Нас воспитывали в богопочитании античных героев республики... Проникаясь восторгом перед Капитолием, мы не могли не почувствовать ужаса перед версальскими людоедами...

Последняя фраза замечательна по своей напыщенной пошлости. Но ведь есть и некоторое извинение ей. Справедливо восклицает Ленотр:

— Невозможно и определить, какая доля ответственности падает на тогдашнее легкомысленное преклонение перед античным миром в создании психики людей революции! Эти господа судили не Людовика XVI, а древнего "тирана". Они подражали диким добродетелям Брута и Катона. Человеческая жизнь не вправе была рассчитывать на милость этих классиков, привыкших к языческим гекатомбам. Член конвента Жавог, гулявший по улице голым, пренаивно считал себя за истинно античного человека...

Думаю, что Жавог был большой болван и далеко не наивный прохвост. И все-таки в общем Ленотр прав: всякое время имеет свою заразу. В 1789 году Демулен писал отцу:

— Вы угадали, что я буду римлянином, окрестив меня Люцием, Сульпицием, Камиллом,— вы напророчили...

Конечно, строки эти были необыкновенно глупы и смехотворны, и тем более, что было Демулену в ту пору уже двадцать девять лет и одержим он был тогда далеко не римскими мечтами. И все же есть даже и тут доля непроизвольного, заразы.

А заразился он, повторю, рано. Приехав в родное захолустье на первые каникулы, Камилл уже привез ее с собой: он горячо и без умолку говорил о Цицероне, о смерти Гракхов, осыпал проклятиями память сиракузского "тирана". В следующем году пыл его возрос еще больше: он поднимал такой гвалт в доме, восхваляя блага свободы и понося деспотизм, что однажды некий важный гость, приехавший к судье по делу, "сгреб мальчишку за уши и вышвырнул его за дверь". Так и пошло: "Все больше и больше влюбленным в Афины и в Спарту приезжал он домой на каникулы и с великим презрением осмеивал провинциальные нравы... А однажды на одном званом обеде дошел даже до того, что вскочил на стол, давя фарфор и хрусталь, и стал орать, призывать к оружию, к восстанию..." Что было в этой театральной выходке? Конечно, была и доля искренности, хотя и весьма низкого свойства: Камилл был заика, безобразен лицом, нищ, честолюбив, жаден до благ земных, "сладкоморд", как говорят русские мужики.

"Львенок томился тоской по арене..." А арена эта была Париж, который "он уже любил и желал завоевать". И вот кончив курс и заручившись адвокатским дипломом, Демулен "кинулся в водоворот парижской жизни". Но борьба за существование оказалась в этом водовороте столь трудна и жестока, что Демулен впоследствии никогда не проговаривался о том, что пришлось испытать ему, и его биографы поневоле очень скупы в своих сведениях насчет его парижской жизни с 1784 по 1789 год, когда политическая случайность сделала из него демагогического журналиста. Сохранилось, однако, несколько его писем к отцу, и они неопровержимо доказывают то, о чем так упорно молчал впоследствии этот до безумия самолюбивый, до сумасшествия стыдившийся нищеты революционер и римлянин.

Жил он эти пять лет то у отца на хлебах, то в Париже,— почти без всяких хлебов, конечно. Тут он порой выступал в судах. Но много ли было этих выступлений? "Без всяких связей, с отталкивающей внешностью, с трудом подбиравший слова и оттого еще более заикавшийся, начинавший всякую фразу с мычания, с нечленораздельных звуков, он должен был фатально пребывать в безымянной толпе адвокатов без дел. А отец, и сам бывший всегда в стесненном положении и совсем не одобрявший ни образа его мыслей, ни его праздной жизни,— чем мог помочь ему отец? И вот, чтобы не умереть с голоду, Камиллу приходилось переписывать кое-какие судейские бума-

ги, а когда не было переписки,— ехал подкармливаться на родину или же писал отчаянные письма к отцу...”

Жил он тогда по соседству с домом одного богатого буржуа и частенько заглядывал в него из своей мансарды, любуясь играми и смехом милой белокурой девочки, тринадцатилетней дочки хозяина. “Она являлась единственным светлым лучом в мрачной жизни этого бродяги, скептика, не видящего впереди никакой цели существования, чувствующего себя безобразным и старым, несмотря на свои двадцать пять лет... Он мечтал о недоступном ему семейном счастье, о заповедных для него тихих радостях... Он все, все готов был отдать за то, чтобы быть красивым, родовитым, богатым, его охватывала ненависть к существующему социальному строю, в нем просыпался бунтовщик, он сжимал кулаки с бешенством нищего, безработного...”

Созыв Генеральных штатов окрылил его. Он почувствовал, что час его настает. Он мчится в родной Гиз, мечтая попасть в избиратели, добивается, что его вносят в списки, молит отца собирать голоса в его пользу,— ведь он, Камилл, весь пылает беззаветной любовью к народу! Но отец отказывается от всякого вмешательства в политику и Камилл проваливается. С сокрушенным сердцем возвращается он в Париж, полный ненависти к согражданам, “этим антиподам философии и патриотизма”, которые, конечно, были бы совсем иными, если бы выбрали его, и с лютой завистью к своему школьному товарищу Робеспьеру, которого послал своим депутатом Аррас, и опять изливает свои горести в письмах к отцу.

Эти письма изумительны по своей наивности, говорит Ленотр. Он рассказывает в них о своем невероятном пролазничестве, о тех трудах, кои он превозмог, чтобы обратить на себя внимание. Он признается в своем тщеславии и чревоугодии,— он таки любил покушать, этот “философ”, патриот, римлянин! Он втерся к Мирабо, поселился у него в Версале и пишет: “Мы сделались большими друзьями... Мы обедаем в изысканном обществе... Иногда мы пьем у его любовницы старые вина... Собственный стол его обилен, тонок... Мне придется употребить большие усилия, чтобы снова стать суровым республиканцем и возбуждать ненависть к аристократам...”

А затем события пошли с головокружительной быстротой, и знаменитая сцена в Палэ-Рояле сразу выдвинула Демулена в первые и наиболее славные ряды заклятых врагов короля и друзей народа. “У него было многое, чтобы нравиться парижской толпе: талант к театральным, площадным эффектам, сме-

лое зубоскальство, язвительность... Вот он вскакивает в Палэ-Рояле на стол, возвещая этой толпе бездельников об отставке Неккера, выхватывает из кармана пистолет, мечет громы и молнии на головы воображаемых шпионов, кричит о набате Варфоломеевской ночи... И Париж засыпает под гул восстания, которое не утихает затем целых 7 лет, а Демулен возвращается в свою каморку знаменитым..."

Успех его особенно окреп после того, как он выпустил свои памфлеты: "Освобожденная Франция", "Речи к парижанам у фонаря", полные лести и гаерства перед чернью. "Он мечет стрелы, он бьет по дворянам, по священникам, по раненым, по мертвым... Ему все равно, сохраняет ли достоинство его перо,— лишь бы о нем говорили!" И о нем говорят. Но материальные делишки его все еще из рук вон плохи. И опять, опять пишет он отцу:

— Все газеты курят мне фимиам. Но известность только увеличивает мой природный стыд обнаруживать свою нищету, в которой я не могу признаться даже Мирабо... Издатели меня надувают... А шум, вызванный моими памфлетами, поставил на ноги всех моих кредиторов... Молю вас прислать мне шесть луидоров. Я хочу использовать момент моей известности,— устроиться на квартире, иметь право внести себя в списки по выборам. Неужели вы так жестоки, что откажете мне в кровати и паре простынь?

И далее:

— О, что за скверная политика присылать мне по два луидора! Только подумать, что судьба моя зависит от обстановки, от квартиры! Имей я квартиру, я уже давно был бы председателем, комендантом округа, выборщиком от парижской коммуны, а вместо всего этого я только известный писатель, для которого легче произвести революцию, чем добиться от отца сразу полсотни луидоров... Я всю жизнь вздыхал по собственной квартире, а по вашей милости у меня в Париже только меблированная каморка... Вы всегда говорите, что у меня есть еще братья. Да, но между нами есть большая разница,— природа одарила меня крыльями... Пришлите же мне кровать или дайте мне возможность купить ее здесь. Неужели у вас хватит духу отказать мне? В Париже я уже известен, со мной совещаются по поводу важных событий, меня приглашают на обеды... Мне только недостает квартиры. Умоляю вас, помогите мне, пришлите мне кровать или шесть луидоров!

Что мог думать старик о своем сынке, который еще так недавно писал ему, что он римлянин, спартанец? Как было соединить "крылья" сынка и его жажду кровати? И все-таки отцовское сердце наконец дрогнуло: деньги были посланы и Камилл поселился возле Одеона, основал газету "Восстания во Франции" и скоро пошел еще больше в гору. "Тут он задирчиво, стилем грамотного водевилиста, с веселостью литературного гамена, живым, полным неожиданностей и занимательности языком задевает самые важные вопросы, обрушивается на все и вся: его беспощадная ирония опрокидывает, разрушает, заражает жестокостью... После него Террор был естественен. Он заранее высмеивает его жертвы и высмеивает так, что они уже не вызовут жалости..."

А вскоре после этого исполнилась и другая мечта Демулена: добившись славы, он добился и денег,— он разбогател, женившись на той буржуазной девочке, на которую он когда-то смотрел из окна своей мансарды и которая превратилась в барышню, в невесту. "У него лицо было желчного цвета, черты неправильны и жестки, рот искривленный, на всей фигуре какой-то неизгладимый налет нищеты; а она была обворожительно красива и богата..." И все-таки Демулен и тут добился своего!

Добился он, как известно, и многого другого. Женившись, получил в приданое сто тысяч франков, насытив свою затаенную страсть к хорошей обстановке, к "обильному и тонкому" столу и прочим буржуазным радостям, с головой уйдя в них и в семью, он скоро совсем остыл к революции. Но увы, она-то не забыла его. Она несла его все выше, как растущая волна, на которую сам же он так хотел попасть когда-то, а вознеся, жестоко сошвырнула с себя прочь. Сам Робеспьер был шафером на его свадьбе. "Но счастье делает человека снисходительнее", говорит Ленотр. "Женившись, начав жить в довольстве, Демулен счел революцию конченной, хотел даже вернуться к адвокатуре... Однако, когда республика была провозглашена, когда Дантон, уже министр, призвал его на пост генерального секретаря, когда он под руку с своей Люсиль входил в блестящий дворец на Вандомской площади, в нем опять проснулся прежний Камилл, он с упоением подумал о том, что теперь добрые обыватели Гиза должны лопнуть от зависти..." А кроме того, и не так-то и легко было удалиться в те дни под сень струй. "Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй!" И Демулен участвовал в сентябрьских убийствах, голосовал за казнь короля... меж тем как в стае уже поднималась

грызня и уже не было никакой возможности уклониться от этой грызни... Кончилось, короче сказать, тем, что "этот ужасный человек, этот литературный бездельник, этот революционный фельетонист должен был стать жертвой той самой революции, которую он же и спустил с цепи... должен был взойти на эшафот под улюлюкание той же самой черни, которой он столько льстил, злобным и низким инстинктам которой он так горячо потакал..."

Жаль только бедную Люсиль. Ей-то за что отрубили голову?

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Одесса, январь 1920 года.

Очень глупый, очень бодрый, очень честный и очень левый старичок в сапожках и в блузе, плечи которой осыпаны серой перхотью.

Бодро говорит:

— А все-таки замечательно интересное время переживаем мы!

Да, это вроде того, как я встретил однажды в Васильевском одну деревенскую побирушку. Старушечьи прямые чулки на сухих ногах, старушечьи лохмотья, робкие, молящие глаза... Дал полтинник, попробовал разговориться:

— Ну, вот, ты, бабушка, везде ходишь, везде бываешь,— небось, много интересного видишь?

А она в слезы:

— *Да что ж поделаешь, батюшка*, конечно, видишь...

Ах, русская интеллигенция, русская интеллигенция! Уж столько "интересного" приходится нам видеть, что следовало бы в три ручья плакать, а мы только по-дурацки восхищаемся: "Очень интересно!".

* * *

Комиссаром иностранных дел, одним из представителей "рабоче-крестьянской" власти был в Одессе прошлым летом какой-то Юзя Ревзин, как нежно называли его даже у П. Лет двадцати пяти, большой франт, большой эстет, сладко хорошенький... Когда пришли добровольцы, он не бежал, а затаился в Одессе. Возвращаюсь однажды из отдела пропаганды домой, подъезжаю к крыльцу и вдруг вижу, что прямо навстречу мне этот самый Юзя. И я, идиот, так потерялся, что, вместо того,

чтобы схватить эту гадину за шиворот и тащить куда следует, со всех ног кинулся на крыльцо. Успел только заметить, как смертельно побледнел он.

Нет, ни к черту мы не годимся.

* * *

Чего хохотать нам над статуей Маркса, поставленной где-то в непролазном лесу, где чуть не вчера совершались мултанские человеческие жертвоприношения, над Чухломой, переименованной в Городок Клары Цеткин? Торжественные, витиеватые воззвания Временного правительства к "державному народу" стоили этих статуй. Чего было издеваться над петлюровским балаганом "украинской самостийности", над "мовой", над яростным сдиранием в Киеве русских вывесок? Мы не меньше Петлюры содрали всяческих гербов в первые же мартовские дни, когда поставлена была на карту вся судьба России и когда нам должно было быть совсем не до этих милых занятий. И чем не "мова" весь тот революционно-французский жаргон, та смесь французского с нижегородским, что царствовала в эти дни?

* * *

Прошлым летом, когда у чрезвычайки сменяли караул, музыка играла "Интернационал". И многие дивились и ужасались:

— Вы подумайте! Интернационал — и чревычайка!

А чего же тут было дивиться? Ведь чрезвычайка неразрывна, единоутробна с этим адовым гимном, с самой сутью тех окаянных душ, что образовали уже гигантскую шайку чревопотрошителей, взявших подряд на устроение блага человечества, монополию на "беззаветную любовь к народу".

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕР ОТ СТРАХА

Ленотр предпосылает своему рассказу об этом человеке картину того, что происходило в Тюильрийском дворце 10 августа 1792 года.

После полудня 10 августа, говорит он, когда пушки обратили в бегство его последних защитников, революционный Париж, охваченный безумным любопытством, устремился взглянуть на свою победу и достойно отпраздновать ее.

Зрелище получилось замечательное: в огромном вестибюле — лужи кровавой грязи, по которой шлепает толпа, устремляющаяся внутрь дворца; на парадной лестнице — трупы швейцарцев, через которые с хохотом и визгом, задирая юбки, перепрыгивают женщины; в галереях следующего этажа — крик, песни и пляс, тучи пыли от сдираемых ковров и треск зеркал, которые победоносный народ дробит для потехи дубинками; в одном месте обжираются вареньем, в другом льют на себя духи, в третьем раздевают догола убитых и придают им смехотворные и бесстыдные позы; какая-то дама играет, как на арфе, на струнах раскрытого фортепьяно, клавиши которого уже вдребезги разбиты, какой-то молодой человек, возбуждая восторг окружающих, наполнил драгоценным старым вином ночной горшок и взасос опорожняет его... И все ширится оргия: толпа все гуще валит по лабиринту сумрачных коридоров, жадно заглядывает во все закоулки, берет приступом баррикады из матрасов, хрустит, наступая на черепки посуды, на битое стекло, вламывается в жилые покои... А в окна видны гигантские языки пламени, которыми уже пылают соседние дворцовые корпуса, а из верхних этажей дворца густыми облаками несется пух из тысячи распоротых перин, подушек и валиков...

До вечера 12 августа Париж ходил во дворец, как на ярмарку, говорит Ленотр. Но вот все, что было можно, исковеркали и растащили; мертвых убрали, пожары потухли, пух перестал летать — и Париж потерял интерес ко дворцу. Поставили часовых у ворот и вздумали составить опись наиболее ценных вещей и заняться розыском важнейших документов, связанных с преступностью свергнутого режима. Во дворце появились новые жильцы.

Первый, кто поселился в нем после Людовика XVI, был Брусо, темная личность из бывших актеров, друг Колло Эрбуа, который откровенно заявил еще 10 августа:

— Ну, теперь каждый из нас вскоре сможет выбрать себе по особняку...

Актер пошел дальше — он выбрал себе просто-напросто дворец и тотчас же перебрался в него и перетащил с собой все свои пожитки, умещавшиеся, к счастью, в одной корзине. А его примеру последовал и еще один скромный гражданин — сапожник Куртуа: этот не только затесался во дворец, но и потребовал, дабы в распоряжение его дочки было предоставлено фортепьяно королевы, что и было немедля исполнено, ибо у сапожника тоже был видный друг: не более не менее, как сам Дантон. А затем Ролан, министр внутренних дел, решил, что совет министров должен реквизировать нижний этаж дворца для своих заседаний. И вот, господа министры стали каждый день являться туда завтракать, пить вино из королевских погребов и чинить производство по вышеупомянутой описи и по розыску.

Производство это установило только то, что во дворце не осталось ни одной цельной вещи, что народ разгромил все, что мог. Однако ограничиться этим было нельзя: город волновался, по городу были пущены обычные революционные слухи, и дворец, "этот старый вертеп тиранов", рисовался народному воображению как место поистине ужасное — с подземными ходами в Версаль, с подземными темницами, полными несчастных узников, стоны которых вопиют к небу. Принялись повсюду шарить — искать этих подземелий, поднимать полы, сверлить стены. Но ни узников, ни подземелий не было — нашли только королевского лакея, который от страха залез еще 1 августа в каминную трубу в гостиной королевы, не мог выбраться назад и умирал от голода. Его подкормили и стали расспрашивать о тайнах "вертепа", и он раскрыл их немало: например, то, что все корсеты Марии Антуанетты были набиты волосом, так как у Ее Величества одно плечо было выше другого...

Но этого было, конечно, недостаточно, особенно для Ролана.

Поиски бумаг королевской семьи должны были продолжаться, и Ролан с ума сошел на мысли во что бы то ни стало найти свои письма к королю. Он с утра до вечера рылся в разных неважных документах, найденных во дворце, лазил по всем столам, тщательно обыскал комнату дофина — и нашел в ящике комода самые обыкновенные ракушки, симметрично разложенные будущим "тираном", да черновик письма: "Мой дорогой папа, я очень рад, что могу пожелать вам счастливого Нового года и сказать, что я люблю вас всем сердцем..."

Что было делать бедному Ролану?

"С утра до вечера шаталась по дворцу эта длинная и унылая фигура, эта озабоченная душа в серых чулках и коричневом плаще, осторожно ступавшая грубыми башмаками". Но поиски ее были тщетны. Марат, "на которого иногда накатывала веселость", пустил слух что 10 августа королева побросала все компрометирующие ее и короля бумаги в какую-то выгребную яму, и Ролан тотчас ухватился за этот слух: два золотаря с завязанными носами и намазанными салом бровями,— такова была тогдашняя профилактика,— стали, по его приказу, рыться в нечистотах, а сам Ролан, тоже с заткнутым носом, жадно перечитывал каждую бумажку, которую доставляли ему они и которую он предварительно опускал в уксус. Однако, и это не помогло: ни писем Ролана, ни документов, на основании которых можно было бы обвинить короля, все не было... Как вдруг судьба смилостивилась над Роланом.

Однажды утром — утром 20 ноября 1792 года — Ролан почти бегом поднялся по главной лестнице дворца в сопровождении какого-то высокого, худого, желтолицего и вообще крайне жалкого человека с провалившимися глазами и скрылся вместе с ним в королевской спальне. Там они заперлись на ключ и долго о чем-то беседовали. Потом потребовали у смотрителя здания щетку и веревок, потом, около полудня, два портфеля... В четверть же третьего Ролан, сияя от плохо скрываемого торжества, явился в Конвент: два портфеля, которые он притащил с собой, были битком набиты бумагами, только что найденными при помощи желтолицего незнакомца в коридорчике, примыкавшем к королевской спальне. И судьба короля была решена. Можно утверждать с большой достоверностью, говорит Ленотр, что без этих бумаг процесс против короля не состоялся бы: решительно не к чему было придраться. А теперь придирки все-таки нашлись. Это он, этот желтолицый человек, отдал в руки палача голову Людовика XVI.

"Он был полное ничтожество во всех смыслах и невероятный трус". Звали его Франсуа Гамэн и занимался он слесарным ремеслом в Версале. И дед и отец его работали при дворце. До революции и сам он бывал там каждый день и был хорошо известен королю, который очень любил его. Когда короля заточили в Тюильри, он стал подумывать о побеге, решил спрятать в надежное место важнейшие документы и послал лакея за Гамэном. Гамэн тайком, черными ходами пробрался во дворец и, вместе с лакеем помог королю выбить нишу в стене коридора и выковать для нее железную дверку. Работа длилась целых три ночи, и наконец документы были спрятаны, ниша

была заложена этой дверкой, заперта на ключ и замурована, а Гамэн был отпущен восвояси. Он вернулся в Версаль поздно ночью, никем не замеченный, но у страха глаза велики: Гамэн раздумался и затрепетал от ужаса, что завтра же всем будет известна его помощь преступному королю... И чем дальше, тем хуже пошло дело.

Он и так уже не знал покоя ни днем, ни ночью. Каково же ему было 10 августа, когда он узнал о том, что дворец "стал достоянием народа"! Тут он совершенно сошел с ума, бросил пить, есть, работать и все только расспрашивал кого попало, жив ли лакей, водивший его во дворец, будут ли дворец обыскивать, ломать его стены. Он раз десять приходил в Париж с целью чистосердечно покаяться кому следует насчет того, в чем он должен был участвовать по приказу короля, и каждый раз возвращался домой, не исполнив своего намерения, не собравшись с духом. Наконец, пронеслась самая страшная для него весть: короля будут судить, дворец обыскивают! Гамэн заметался в предсмертной тревоге: бежать, бежать, вон из Версаля и даже из Франции! Но как и куда бежать бедному человеку? Чем он будет питаться в эмиграции? И Гамэн с мужеством отчаяния кинулся в Париж с доносом, к Ролану...

Да, он "проявил высокое патриотическое усердие" — и был тотчас же награжден: назначен одним из комиссаров по уничтожению в Версале всего того, что в надписях, в живописи и скульптуре говорило "о королевском достоинстве и о кровавом деспотизме". Процесс короля еще более возвысил его: в январе 1793 года он был произведен в муниципальные офицеры и стал разгуливать по Версалю, опоясанный широким трехцветным шарфом, с кокардой на шапке и с дубинкой в руке, производя на встречных самое тяжелое впечатление своей худобой и мрачным видом. Никто, конечно, и не подозревал истинной причины этой мрачности. А меж тем причина была все та же: бедняга умирал от страха при мысли, что вдруг кому-нибудь из парижских владык придет в голову, что Гамэн что-то уж слишком долго медлил с доносом. И мысль эта имела некоторые основания: революционная ярость разгоралась, доносы, обвинения всех и каждого в умеренности и в дореволюционных грешках ставились уже в великую заслугу,— простой каприз любого доносчика, шпиона мог отправить Гамэна на эшафот... И Гамэн опять не выдержал: истомившись на медленном огне своих тайных мук и страхов, он опять побежал в Париж — сделать "некоторые разъяснения и добавления" к своему делу, кои он выдумал самым подлым образом и кои заключались в следую-

щем: его, Гамэна, силой притащили во дворец, силой заставили участвовать в низком деле короля, а когда дело было сделано, король коварно осыпал его благодарностями и предложил ему выпить стаканчик вина... Легко догадаться, каково было это вино! Он, Гамэн, тотчас же по выходе из дворца почувствовал нестерпимые рези в животе, еле добрался до Версаля, чуть не умер, спасся только чудом и все-таки целых пять месяцев пролежал на смертном одре, в силу чего и не имел, конечно, никакой возможности донести на короля вовремя...

Нужно не иметь никакого представления о революциях, чтобы предположить, что брехня Гамэна не имела успеха, говорит Ленотр. Успех она имела огромный. Ее доложили Конвенту, она дала повод одному из революционных жуликов сказать "потрясающую" речь перед "ошеломленным" собранием относительно короля, "этого чудовища, одно имя которого заключает в себе все злодеяния, все ужасы вероломства и жестокости, одного из тех страшных существ, которые способны на самую последнюю низость по отношению к тем, кто служит им!" Гамэн был превознесен до небес, Гамэну, "отравленному коронованным злодеем", была назначена пожизненная пенсия в размере 1200 ливров в год...

Помогло ли это однако Гамэну? Помогло на очень короткий срок. А затем снова начались его сумасшедшие страхи, что ложь его будет открыта. И пенсией ему пришлось пользоваться недолго: через год он отдал душу Богу. Он видел наступление реакции, говорит Ленотр. Кошмар его возрастал с каждым днем — и наконец доконал его.

СОФИЙСКИЙ ЗВОН

Есть в нашей истории несказанно прекрасное предание о несчастном киевском князе Всеславе. Был князь Всеслав пленен своим родным братом, закован в оковы, "в железы" и брошен в яму, в темницу, был он, освобожденный киевлянами, возведен на Киевский престол, а потом, снова свергнутый с него, вынужден был бежать в Полоцк и доживать там свои дни в глухой обители, в схиме. Но никогда не мог князь-схимник забыть Киева, говорит предание: каждый раз, как слышал он на рассвете, сквозь тонкий предутренний сон, колокола полоцких церквей, просыпался он с радостными слезами на глазах, ибо мнилось ему, что он на родине, в Киеве и что это звон киевского Софийского собора.

Теперь часто вспоминается мне то, что когда-то написал я о князе Всеславе:

Князь Всеслав в железы был закован,
В яму брошен братскою рукой:
Князю был жестокий уготован
Жребий по жестокости людской.

Русь, его призвав к великой чести,
В Киев из темницы извела.
Да не в час он сел на княжем месте:
Лишь копьем дотронулся Стола.

Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что теперь, вдали от мира, в Схиме,
Вспоминает темный князь Всеслав?

Только звон твой утренний, София,
Только голос Киева! — Долга
Ночь зимою в Полоцке... Другие
Избы в нем и церкви и снега...

Далеко до света,— чуть сереют
Мерзлые окошечки... Но вот
Слышит князь: опять зовут и млеют,
Звоны как бы ангельских высот!

В Полоцке звонят, а он иное
Слышит в тонкой грезе... Что года
Горестей, изгнанья! Неземное
Сердцем он запомнил навсегда.

Теперь часто кажется мне, что многие из нас уподобляются порою князю Всеславу. Да будет, да будет так.

15/28 мая 1926 г.
Приморские Альпы.

ДУМАЯ О ПУШКИНЕ

"Просьба ответить: 1) каково ваше отношение к Пушкину, 2) прошли ли вы через подражание ему и 3) каково было вообще его воздействие на вас?"

Не от большевиков, не из России, но напечатано по "новому" правописанию. Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у "новой" русской литературы,— можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она — и Пушкин,

то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса? Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: "каково ваше отношение к Пушкину?" В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему...

Вопрос этот стал возможен только теперь, после Есениных и Маяковских:

Я обещаю вам Инонию...
Белогвардейца — к стенке!
А почему не атакован Пушкин?

И все-таки долго сидел, вспоминал, думал. И о Пушкине, и о былой, пушкинской России, и о себе, о своем прошлом...

Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я,— в самой ранней молодости подражал даже в почерке. Потом явно, сознательно согрешил, кажется, только раз. Помню, однажды ночью перечитывал (в который раз?) "Песни западных славян" и пришел в какой-то особенный восторг. Потушив огонь, вспомнил, как год тому назад был в Белграде, как плыл по Дунаю,— и стали складываться стихи "Молодой король":

То не красный голубь метнулся
Темной ночью над черной горою —
В черной туче метнулась зарница,
Осветила плетни и хаты,
Громом гремит далеким.

— Ваша королевская милость,—
Говорит королю Елена,
А король на коня садится,
Пробует, крепки ли подпруги,
И лица Елены не видит,—
Ваша королевская милость,
Пожалейте ваше королевство,
Не ездите ночью в горы:
Вражий стан, ваша милость, близко.

Король молчит, ни слова,
Пробует, крепко ли стремя.

— Ваша королевская милость,—
Говорит королю Елена,—
Пожалейте детей своих малых,
Молодую жену пожалейте:
Жениха моего пошлите!

Король в ответ ей ни слова,
Разбирает в темноте поводья,
Смотрит, как светит на горе зарница.

И заплакала Елена горько
И сказала королю тихо:
— Вы у нас ночевали в хате,
Ваша королевская милость,
На беду мою ночевали,
На мое великое счастье...
Побудьте еще хоть до света,
Отца моего пошлите!

Не пушки в горах грохочут,
Гром по горам ходит,
Проливной ливень в лужах плещет;
Синяя зарница освещает
Дождевые длинные иглы,
Вороненую черноту ночи,
Мокрые соломенные крыши;
Петухи поют по деревне,—
То ли спросонья, с испугу,
То ли к веселой ночи...
Король сидит на крыльце хаты...

Ах, хороша, высока Елена!
Смело шагает она по навозу,
Ловко засыпает коню корма...

Затем что еще? Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что Бог порою давал в жизни. Вот, например, прекрасный весенний день, а мы под Неаполем, на гробнице Вергилия, и почему-то я вспоминаю Пушкина, душа полна его веянием — и я пишу:

Дикий лавр, и плющ, и розы,
Дети, тряпки по дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм...
Без границы и без края
Моря вольные края...
Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.
Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому — не все ль равно!
Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Виргилий,
Не моя и не твоя!

А вот другая весна, и опять счастливые, прекрасные дни, а мы странствуем по Сицилии... При чем тут Пушкин? Однако, я живо помню, что в какой-то связи именно с *ним*, с Пушкиным, написал я:

Монастыри в предгориях глухих,
Наследие разбойников морских,
Обители забытые, пустые —
Моя душа жила когда-то в них:
Люблю, люблю вас, келии простые,
Дворы в стенах тяжелых и нагих,
Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!

А вот Помпея, и опять почему-то со мною он, и я пишу в воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нем:

Помпея! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! — Но Помпея
В апрельский день скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.
Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только римские следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады...
Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил!

А вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.
Достойны ль мы своих наследий?
Уже мне слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам...

А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю "Повести Белкина" и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней... Вышли стихи: "Дедушка в молодости":

Вот этот дом, сто лет тому назад,
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад,
Роса, цветы, а он глядел живыми,
Сплошь темными глазами в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, надушен,
Меж тем как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон,

Торжественный и празднично-счастливый,
Напоминал, что в должный срок
Пойдет он по аллеям, где струится
С полей нагретый солнцем ветерок
Где золотистый свет дробится
В тени раскидистых берез,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчелы теплый мед,
Где иволга то вскрикивает резко,
То окариною поет,
А вдалеке, за валом сада,
Идет народ, и краше всех — она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнем потупленного взгляда...

"Каково было вообще его воздействие на вас?" Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так *особенно* — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас,— отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: "У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...", "Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...". В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся ее молодость,— ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки "Руслана и Людмилу", и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал ее, молодую,— то есть воображаемую молодую,— с Людмилой из Пушкина. Ничего для моих детских, отроческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней ее молодости и того мира, где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина, и обожать не просто, как поэта, а как бы еще и своего, нашего?

— "Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел..." — с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:

— С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?

— "Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я..." — читала она, и опять это чаровало меня *вдвойне:* ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны...

А потом — первые блаженные дни юношества, первые любовные и поэтические мечты, первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из "публичной библиотеки", а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили — "Сочинения А.Пушкина". И вся моя молодость прошла с ним. И то он рождал во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: "Мороз и солнце, день чудесный..." Вот я собираюсь на охоту — "и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?". Вот зимний вечер, вьюга — и разве "буря мглою небо кроет" звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна темной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: "О, Делия драгая, спеши, моя краса, звезда любви златая взошла на небеса..." Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: "Слыхали ль вы за рощей в час ночной певца любви, певца своей печали?" Вот я в постели, и горит "близ ложа моего печальная свеча",— а не электрическая лампочка,— и опять *его* словами изливаю я свою выдуманную юношескую любовь: "Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви!" А наутро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчетной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пенье птиц,— и читаю строки, как будто для меня и именно об этой роще написанные:

В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеек!..

А там опять "роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы" — от той самой забавы, которой с такой страстью предаюсь и я. А вот осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего старого сада большая, красновато-мглистая луна: "Как привидение за рощею сосновой луна туманная взошла",— говорю я его словами, страстно мечтая о той, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот час "к брегам потопленным шумящими

волнами" — и как я могу определить теперь: Бог посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печальному женскому образу или он, Пушкин?

А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он — или я? — "среди зеленых волн, лобзающих Тавриду", видел Нереиду на утренней заре, видел "деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушуя в бурной мгле, играло море с берегами" — и незабвенные воспоминания о том, как когда-то и *мой* конь бежал "в горах, дорогою прибрежной", в тот "безмятежный" утренний час, когда "все чувство путника манит" —

И зеленеющая влага
Пред ним и плещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага...

К ВОСПОМИНАНИЯМ О ТОЛСТОМ

Прочел "Встречи с Толстым" Н.А.Цурикова, напечатанные в "Возрождении". Очень ценные и хорошие статьи.

Цуриков прав, что воспоминаниям о Толстом уже конца-краю нет. Но много ли и до сих пор среди этих воспоминаний таких, где бы Толстой чувствовался по-настоящему? В воспоминаниях же Цурикова он чувствуется необыкновенно живо.

Большинство писавших о Толстом принадлежали к среде совсем другой, чем Толстой, говорит Цуриков. И мне хочется прибавить: вот в этом-то и вся беда. Другое дело — Цуриковы. И так бы хотелось, чтобы "Встречи с Толстым" не затерялись среди прочих произведений этого рода.

Цуриковым же следует и поправлять некоторые чужие воспоминания и статьи о Толстом. Вот, например, недавно напечатанная в "Руде" статья г. Бродского о языке Толстого, основанная на воспоминаниях Гольденвейзера,— о языке Толстого не литературном, а житейском. Бродский верно замечает, что "в жизни великих художников мелочи их быта, незначительные на первый взгляд привычки, одежда, манера себя держать, внешний облик и язык,— не литературный, а житейский,— зачастую дают то, чего не заменят целые тома биографий" — и приводит затем из книг Гольденвейзера "некоторые особенности Толстовского языка". Были ли, однако, эти особенности лично Толстовскими? Спросите Н.А.Цурикова — он ответит, что, конечно, нет, нисколько.

Это же скажу и я, тоже земляк Толстого, принадлежащий к тому же быту, что и Толстой. Нет, это не Толстовские, это

наши общие особенности: особенности языка той сравнительно небольшой местности, самые дальние окружные точки которой суть Курск, Орел, Тула, Рязань и Воронеж. И разве не тем же языком пользовались чуть ли не все крупнейшие русские писатели? Потому что чуть не все они — наши. Мы недавно говорили об этом с Цуриковым, и он в своих "Встречах с Толстым" уже написал это: замечательная местность, много славных земляков у нас с ним! Жуковский и Толстой — тульские, Тютчев, Лесков, Тургенев, Фет, братья Киреевские, братья Жемчужниковы — орловские, Анна Бунина и Полонский — рязанские, Кольцов, Никитин, Гаршин, Писарев — воронежские. Даже и Пушкин с Лермонтовым отчасти наши, ибо их родичи, Воейковы и Арсеньевы, тоже из наших мест, из наших квасов, как говорят у нас.

Повторяю, из всего множества примеров, которые приводит Гольденвейзер в доказательство особенностей Толстовского языка, я не нашел ни одного, который убедил бы меня в этих особенностях.

— "Толстой слегка пришепетывал: например, слово *лучше* произносил как *лутче...*"

Пришепетывание тут совсем не причем. Я никогда не пришепетывал, а всегда говорил "лутче", ибо у нас *все* так говорили — и в семье, и на дворе, и в деревне, где пели:

Лутче жити без заботы,
Чем богатому ходить!

— "Толстой букву *г* в большинстве случаев произносил как легкое французское аш..."

Но я, в силу вышеуказанной причины, даже и после шестилетней жизни во Франции, говорю: Господи почти как Хосподи.

— "Толстой употреблял такие выражения, как *намедни, давеча, эдакой* вместо этакий, *свита* вместо армяк; Толстой говорил *скрыпка* вместо скрипка, *скородить* вместо боронить, делал ударение на втором слоге с конца в слове до смерти..."

И опять я только усмехаюсь: но *мы все и всегда* так говорили!

Кстати, вообще о языке этой нашей местности. Конечно, не мешает помнить столь затрепанное замечание Пушкина о языке московских просвирен. А не лучше ли все-таки был наш язык? Ведь к нам слали из Москвы (для защиты от набегов татар) служилых людей со всех концов России. Не естественно ли, что тут-то и должен был образоваться необыкновенно богатый, богатейший язык? Он, по-моему, и образовался.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

"Кооперативная заря". Кто поверит, что был и такой журнал? А ведь был, был.

* * *

В память совместного сиденья в Таганской тюрьме за подписание Выборгского воззвания один знаменитый кадет подарил другому, еще более знаменитому, серебряную пепельницу в виде тюремной параши: вспоминай, мол, и гордись.

* * *

А. А. Б. Рассказывал мне, как захватил он в славные и приснопамятные февральские дни министерство финансов:

— Очень великолепно захватил! Вижу, стоит и орет в грузовике какой-то длиннейший лохмач студент. Я его за шиворот — "чего попусту орать, надо дело делать, едем захватывать министерство финансов!" — И поехали, и захватили и даже без малейшего сопротивления со стороны противника. А вечером закатили на радостях знатный обед, собралось порядочно народу тоже из числа тех, что в этот день что-нибудь захватывали, а я и говорю им, смеясь: "Братцы, а теперь давайте новый переворот устраивать, контрреволюционный, захватывать все сначала и уже не под красным флагом, а опять под монархическим. Ей Богу, еще легче захватим!".

Веселые были вообще деньки. Недаром еще и теперь некоторые "февралисты" плачут от умиления:

— Боже, какой тогда был всеобщий народный подъем, порыв к новой прекрасной жизни!

* * *

Воспоминания г. Маргулиеса о князе Кропоткине.

Казалось бы, что после того, что случилось, волосы должны встать дыбом у каждого, читающего подобные строки. Казалось бы, автор должен был бы просто кричать:

— Послушайте, послушайте, какие страшные, неправдоподобные вещи рассказываю я вам!

А меж тем ничего подобного. И автор совершенно спокоен и читатель читает как ни в чем не бывало.

— "В конце семнадцатого года мы собирались на квартире Кропоткина для обсуждения вопроса о создании Лиги федералистов"...

Конец семнадцатого года — что уже было тогда в России? А вот люди собирались и "создавали" еще одну "Лигу",— уже тысячную из числа тех несметных, что все создавались и создавались в том кровавом сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россия!

Но что лига! — дальше рассказываются вещи гораздо более ужасные.

В марте восемнадцатого года большевики выгнали Кропоткина из его квартиры. Он покорно перебрался на другую, но большевики выгнали его и оттуда. И тем не менее он "стал добиваться свидания с Лениным" — в пренаивнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шел тогда в России — и таки добился этого свидания.

— Кропоткин, рассказывает г. Маргулиес, был в добрых отношениях с Бонч-Бруевичем и вот у него-то в Кремле и состоялось это свидание...

Читаешь и глазам не веришь: как, Кропоткин все еще продолжал быть "в добрых отношениях" с этим редким даже среди большевиков негодяем, затесавшимся в Кремль? Оказывается, продолжал... И мало того: пытался при его помощи повернуть большевистские деяния на путь гуманности, права! А потерпев неудачу, "разочаровался" в Ленине и говорил о своем свидании с истинно младенческим удивлением:

— Оказывалось, что убеждать этого человека в чем бы то ни было напрасно. Я упрекал его, что он, за покушение на него, казнил две с половиной тысячи человек. Но это не произвело на него никакого впечатления...

А затем пришлось удивляться еще более: большевики согнали князя и с другой квартиры, и "оказалось", что надо переселяться в уездный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условиях, какие и не снились самому заядлому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно миллион терзаний: муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба...

— Кропоткин, пишет г. Маргулиес, мечтал раздобыть себе валенки. Да так и не раздобыл,— только напрасно истратил *несколько месяцев* на получение ордера на эти валенки...

И далее:

— Вечера Кропоткин проводил при свете лучины, дописывая свое предсмертное произведение об этике...

Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Целая жизнь (жизнь человека, близкого в юности к Александру II), ухлопан-

ная на революционные мечты, на грезы об анархическом рае,— это среди нас-то, тварей, еще не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! — и, как венец всего, голодная смерть при лучине, среди наконец-то осуществившейся революции, возле рукописи о человеческой этике!

Я видел Кропоткина только раз,— был у него тоже на каком-то заседании в его первой квартире,— и вынес от него прекрасное, но необыкновенно грустное впечатление: очаровательный старичок самого высшего света — и совершенный младенец.

* * *

"Реакция превратила Россию в дортуар при участке"... Это "крылатое слово" пустил в 1904 г. другой князь, тоже один из знаменитых князей интеллигентов, и его долго с восторгом повторяли... Великая страна ломилась от преизбытка жизни, расцвета. А мы с своей колокольни видели только "участок"... С ума можно сойти, если вдуматься в это хорошенько!

* * *

Впрочем есть ли что-нибудь на свете, что может испугать нас?

Вот еще два знатных русских интеллигента: два старых, заядлых книжника, которые вздумали составить книгу из своих писем друг к другу, воспользоваться для нее тем словесным турниром, который затеяли они, сидя в Москве, из своих "двух углов", решая вопрос, есть ли веревка вервия простая или не простая, хороша ли культура или нет?

В России была тогда такая мерзость библейская, такая тьма египетская, которых не было на земле с самого сотворения мира, люди ели нечистоты, грязь, трупы, собственных детей и бабушек, многотысячными толпами шли куда-то на край света, куда глаз глядят, к какому-то индейскому царю... В Москве, глухой, мертвой, рваной, вшивой, тифозной, с утра до ночи избиваемой и всячески истязаемой, замордованной до полной потери образа и подобия Божия, люди испражнялись друг при друге, в тех же самых углах, где они ютились, и каждую минуту всякий ждал, что вот-вот ворвется осатанелый от крови и самогона скот и отнимет у него, голодного Иова, последнюю гнилую картошку, изнасилует его жену или мать, ни с того ни с сего потащит и его "к стенке"... А старики сидели и поражали друг друга витиеватым красноречием на тему: лучше быти без культуры или же нет? — Но и этого мало: нужно прибавить к этой картине еще и то, что русичи, сидевшие в это время в

Берлине, в Праге, в Париже, захлебывались от радостного крика: "К прошлому возврата нет!" — и писали восторженные статьи насчет этих самых московских стариков:

— В их изумительной книге, как в фокусе, отразилось *все, чем живет и болеет Россия*!

* * *

"Вызывали ночью мужчин, женщин, выгоняли на темный двор, снимали с них обувь, платье, белье, кольца, часы, кресты, делили между собой... Гнали разутых раздетых по ледяной земле, под северным ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарем... Минуту работал пулемет, потом валили,— часто недобитых,— в яму, кое-как засыпали землей..."

Каким чудовищем надо быть, чтобы бряцать об этом "рукой изысканной на лире", перегонять это в литературу, литературно-мистически, на манер Иванова, Блока, Белого, закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь бряцали:

— Носят ведрами спелые грозди,
Валят ягоды в глубокий ров...
Ах, не грозди носят,— юношей гонят
К черному точилу, давят вино:
Пулеметом дробят и кольем
Протыкают яму до самого дна...

Чего стоит одно это томное "ах"! Но и перед этим певцом в стане чекистов таяли от восхищения. И, ободренный, он заливался все слаще:

Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметайте древние гроба!

То есть: канун вам да ладан, милые юноши, гонимые "к черному точилу"! По человечеству жаль вас, конечно, да что ж поделаешь, ведь эти чекисты суть "снежные древние стихии":

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: "Ты прав, что так судил!"

И мало того, что "прав", молю Тебя, не останавливайся —

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильне мало —
Господи, вот плоть моя!

Страшнее же всего то, что это не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, ценитель всяческих искусств, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда "черное точило" (или, не столь кудряво говоря, чрезвычайка на Екатерининской площади) уже усердно "прокаляло толщу бытия", он часто читал мне то стихи вроде вышеприведенных, совсем не понимая всей пошлости этого словоблудия насчет то "снежной", то "обугленной" России, то переводы из Анри де Ренье, а порою пускался в оживленное антропософическое красноречие. И тогда я тотчас говорил ему:

— Максимилиан Александрович, оставьте всю эту музыку для кого-нибудь другого. Давайте-ка лучше закусим: у меня есть сало и спирт.

И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он сало, совсем забыв о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае недостатка дров "в плавильне"!

"СВОИМИ ПУТЯМИ"

Случайно просмотрел последний номер пражского журнала "Своими путями". Плохие пути, горестный уровень!

Правда, имена, за исключением Ремизова, все не громкие: Болесцис, Кротков, Рафальский, Спинадель, Туринцев, Гингер, Кнут, Луцкий, Терапиано, Газданов, Долинский, Еленев, Тидеман, Эфрон, и т.д. Правда, все это люди, идущие путями "новой" русской культуры,— недаром употребляют они большевистскую орфографию. Но для кого же необязателен хотя бы минимум вкуса, здравого смысла, знания русского языка? Вот стихи Болесциса, которыми открывается номер:

Капитан нам прикажет строго:
Обломайте стрелу на норд,
Чтоб назад не найти дорогу...
Мы, стаканы осушим до дна,
Бросим золото в грязь *таверэн*...

Вот Рафальский:

Кончить жизнь не стоило б труда,
Но слаще длить в пленительном обмане,
Что на ладони каждая звезда...

Вот Туринцев:

Дебаркадер. Экспресс. Вагон — и Вы...
Вы за щитом, мы не одни,
Сейчас не должен дрогнуть рот...

Вот Гингер:

Всей душой полюбила душа моя
Тех, кто любит чужие края...
Для кого поселянка румяная
Исходила парным молоком,
В ком разгуливала безымянная
Кровь, а *сердце большим молотком*...

Вот Давид Кнут, у которого некто Он, идущий "за пухлым ангелом неторопливо", обещает Ною награду —

За то, что ты спасал
Стада и стаи *мечт* и слов,
Что табуны мои от гибели и лени
Твое спасло — Твое — весло...

Вот Ладинский, подражающий, очевидно, Третьяковскому:

В Соленой и слепой стихии
Нам вверен благородный груз:
Надежды россиян, стихи — и
Рыдания беглянок муз...

Вот Луцкий:

Не так ли, хвост поймать желая,
Собака вертится волчком
И мух докучливая стая
Над *потным* вьется языком?

Очень хорошо! Но дальше еще лучше: оказывается, что эти господа еще и претендуют быть учителями русского языка. В журнале есть отдел под странным заглавием "Цапля", где между прочим высмеивается язык обращений Великого князя Николая Николаевича. Приводится несколько строк из этих обращений: "Нестерпимы угнетения народа русского, преследование веры православной..." Казалось бы, что тут смешного? Но авторы "потного языка", "таверэн" и "мечт" все-таки смеются, они говорят:

"Определение, поставленное после определяемого, приобретает свойство парафина, на этой *слабительной стороне* держится весь так называемый русский стиль, да Бог с ним, высокопоставленным адресам время прошло"...

Смею уверить пражских комсомольцев, что весьма многие и весьма неплохие русские писатели ставили и ставят определение после определяемого, когда это требуется, и что подобное остроумие всячески и на всех путях непристойно.

"ВЕРСТЫ"

Еще один русский журнал за рубежом,— первая (и громадная) книга "Верст". Просмотрел и опять впал в уныние. Да, плохо дело с нашими "новыми путями". Нелепая, скучная и очень дурного тона книга. Что должен думать о нас культурный европеец, интересующийся нами, знающий наш язык, понимающий всю страшную серьезность русских событий — и читающий подобную русскую книгу? Кто тот благодетель, тот друг "новой" России, который так щедро на нее тратится? И, что значит,— "Версты"? Верстовые столбы, что ли, то есть, опять "новые вехи"? И с какою целью расставляются они?

Редакторы — Святополк-Мирский, Сувчинский и Эфрон, ближайшее участие — Ремизова, Марины Цветаевой и... Льва Шестова. Что за нелепость, за бесшабашность в этой смеси: Цветаева — и Шестов! И какая дикая каша содержание журнала! Треть книги — перепечатки из советской печати. Остальное — несколько вещей Ремизова, поэма ("Поэма горы") Цветаевой, статья Лурье о музыке Стравинского, статья Шестова о Плотине, несколько статей Святополк-Мирского, затем, опять перепечатки из советской печати... и, наконец, ни с того ни с сего, "Житие Протопопа Аввакума, им самим написанное"... Что за чепуха, и, зачем все это нам преподносится?

"Мы, говорится в программной статейке журнала, ставим себе задачей объединение всего, что есть лучшего и самого живого в современной русской литературе... В настоящее время русское больше самой России; оно есть особое и наиболее острое выражение современности. Намереваясь подходить ко всему современному, "Версты" будут отзываться не только на явления русской культуры, но и на иностранную литературу и жизнь. Что же касается попытки найти естественное сочетание наиболее живых и нужных тяготений русской современности, то, объединяя в одном издании русскую поэзию, беллетристику, критику, библиографию и литературные материалы со статьями по вопросам философии, языкознания, русского краеведения и востоковедения, мы устанавливаем один из возможных обобщающих подходов к нынешней России и к русскому".

Вот, значит, каковы намерения журнала,— выписываю его программу почти целиком, выпустив всего пять строк из первого абзаца, ни в каком отношении не важных. Но, что можно понять из этого набора слов?

Только одно: хотим собирать все лучшее русское, все наиболее живое, нужное... Однако, почему первые же строчки этих руссофилов так скверно звучат по-русски?

"Объединение всего, что есть лучшего и самого живого..." А затем: весьма сомнительно, что все лучшее стремится собирать журнал.

Нет, у него есть, очевидно, другие, весьма предвзятые намерения. Как ни мало вкуса у его редакторов, все-таки видно, что действуют они не только по своему вкусу. И действуют прежде всего страшно по старинке: эта смесь сменовеховства и евразийства, это превознесение до небес "новой" русской литературы в лице Есениных и Бабелей, рядом с охаиванием всей "старой", просто уже осточертело. Книга Протопопа Аввакума, конечно, всячески интересна, но зачем все-таки понадобилось "Верстам" печатать ее? Для придания себе серьезной, культурной видимости? Как всегда, очень интересен, Шестов. Но чем его статья связана со всем прочим, что есть в "Верстах"?

Вот перепечатки из советской печати. Прежде всего — зачем они теперь? Русские зарубежные издания, неизвестно по какому праву, уже давным-давно так злоупотребляют ими, что смотреть тошно. А, кроме того, что в них замечательного и нового? Писарская, сердцещипательная или нарочито-разухабистая лирика Есенина известна, переизвестна:

Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою...
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза *голубень*...
Пусть она и не *выглядит* кроткой,
И, пожалуй, на вид холодна...

Что тут, повторяю, нового, если исключить дурацкое слово "голубень", что тут "самого лучшего, самого живого"? Очень неинтересен и очень надоел и Пастернак, о котором уже сто раз успел сказать Святополк-Мирский: "вся прошлая русская литература — гроб повапленный и вся надежда русской литературы теперь в Пастернаке и Цветаевой!" Бабель тоже ценность и новинка, не Бог весть какие. Вот, разве, Сельвинский и Артем Веселый? Но, и у них — непроходимая, зеленая скука.

А было Стецюре двадцать годов,
Он работал борца. У Труцци.
Звался Бовой, носил шесть пудов,
И не знал ни журбы, ни грусти.
Но тут революция наперерез.
Цирк подумал и рухнул.
Арбитр с кассой махнул в Бухарест,
Директора взяли на муху...

Так начинается необыкновенно нудная, со всякими нарочито-хамскими вывертами и словечками, якобы, народными, "новелла" Сельвинского о каком-то Стецюре, который "заделался" красноармейцем, и так тянется она без конца и без края. Да, не лучше и прочие выкрутасы этого Сельвинского, замечательные, разве только тем, что в них вопросительные знаки разделяют иногда одно слово:

Нночь-чи? Сонъы? Прох?ладыда...

Это, видите ли, цыганские песни, и таких песен "Версты" перепечатали несколько штук, меж тем, как не прочтешь, не задохнувшись, даже и десяти строк этой чепухи (да, еще напечатанной по большевистской орфографии, как все в "Верстах"). А потом идет "Вольница" Артема Веселого, страниц двадцать какого-то сплошного лая, напечатанного с таким типографским распутством, которое даже Ремизову никогда не снилось: на страницу хочется плюнуть — такими пирамидами, водопадами, уступами, змееподобными лентами напечатаны на ней штуки, вроде, например, следующих: "Гра, Бра, Вра, Дра, Зра с кровью, с мясом, с шерстью..." Что это значит, и кого теперь удивишь этим?

А уж про Ремизова и Цветаеву и говорить нечего: тут любой дурачок за пятачок угадает, что именно дал в сотый, в тысячный раз, Ремизов насчет Николая-Чудотворца и Розанова и чем опять блеснула Цветаева:

Красной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры,—

жалуется она в своей поэме и продолжает:

О, далеко не азбучный
Рай сквознякам сквозняк...
Гора, как сводня святости,
Указывала: здесь...
Та гора была, как горб
Атласа, титана стонущего,

Той горой будет горд
Город, где с утра до ночи мы
Жизнь свою, как карту, бьем
Страстные не быть упорствуем
Наравне с медвежьим рвом
И двенадцатью апостолами...

А рядом с Цветаевой старается Святополк-Мирский: в десятый раз долбит, повторяет почти слово в слово все то, что пишется о нас в Москве, наделяя нас самыми нелепыми, первыми попавшимися на распущенный язык уничижительными кличками и определениями...

Кстати сказать, узнал я из этих "Верст", что "гениальный" Белый написал новый роман и как именно написал он его. Вот несколько образчиков:

— Заводнили дожди. И спесивистый высвист деревьев не слышался: лист подвеялся; черные россыпи тлелости тлели мокреслями; и коротели деньги, протлевая...

— Пальцы дергунчики выбарабанивали дурандинники... Лизашка откликнулась, с грудашкою, вовсе не грудкою, и не большого росточка... Прическа — куртиночка; вся — толстотушка... Груди ее были — тряпочки; ножки ее были палочки; только животик казался бы дутым арбузиком...

И так далее, и так далее.

P.S. Мне пишут, что некоторые сотрудники журнала "Своими путями", обижены на меня за то, что я в своей заметке о нем употребил (хотя и иносказательно) слово "комсомольцы". Но ведь это слово, конечно, относилось только к острякам из отдела "Цапля" и к тем, которые их одобряют. Прочим я могу только посоветовать не быть их попутчиками.

P.P.S. Когда предыдущие строки были уже написаны, я прочел в воскресном номере "Возрождения" письмо г. Тидемана, который тоже счел себя оскорбленным мною. Очень сожалею, что невольно причинил неприятность и ему, равно как и всем, кто оказался рядом с "Цаплей" случайно, по неосмотрительности.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

13-го сентября 1916 года.

Утром разговор за гумном с Матюшкой.
Кавалерист, приехал с фронта на побывку.

Молодой малый, почти мальчишка, но удивительная русская черта: говорит всегда и обо всем совершенно безнадежно, не верит ни во что решительно!

Я стоял на гумне за садом, он шел мимо, вел откуда-то с поля свою мышастую кобылу.

Увидав меня, свернул с дороги, подошел, приостановился:

— Доброго здоровья. Все гуляете?

— Да нет, не все. А что?

— Да это все бабы на деревне. Все дивятся, что вот вас небось на войну не берут. Откупились. Господам, говорят, хорошо: посиживают, говорят, себе дома!

— Не все посиживают. И господ не меньше вашего перебили.

— Да я-то знаю. Я-то там нагляделся. А с них, с дур, что ж спрашивать... Ну, да это все пустое. А вот, как наши дела теперь? Как там? Вы каждый день газеты читаете.

Я сказал, что сейчас везде затишье. Но что англичане и французы понемногу бьют.

Он невесело усмехнулся.

— А мы, значит, опять ничего?

— Как ничего?

— Да так. Мы его видно никогда не выгоним.

— Бог даст, выгоним.

— Нет. Нет, теперь остался.

— Ну вот, и остался!

— Да как же не остался? Чем мы его выгонять будем? У нас и пушек нет, одни шестидюймовые мортиры.

— Откуда ты это взял?

— Агитаторы говорят. Да я и сам знаю.

— Нет, у нас теперь всего много. И пушек, и снарядов.

— Нет, одни шестидюймовки. А крепостную артиллерию возить не на чем.

— Опять неправда.

— Какой там неправда! По этакой дороге разве ее свезешь на лошадях? Только лошадей подушишь. Станешь ее вытаскивать, а она на два аршина в землю ушла, а хобот и совсем в грязи, не видать. Нет, это вам не немцы!

— А что ж немцы?

— А то, что немец рельсы проложил — везет и везет. А войска наши какие? Легулярные войска, какие были настоящие, царские, все там остались, а это ополченье — какие это войска? Привезут их на позицию, а они все разбегутся. Подтягивай портки потуже да драло. Все, как один!

— Ну, уж и все!

— Верное слово вам говорю. Да вы то подумайте: чего ему умирать, когда он дома облопался? Теперь у каждой бабы по сто, по двести целковых спрятано. Отроду так хорошо не жили. А вы говорите — умирать! Нет, уж куда нам теперь...

Махнул рукой, дернул лошадь за повод и пошел, даже не поклонившись.

Утро светлое, на почерневших, почти голых лозинках, на их сучьях и редкой пожухлой листве — блестки растаявшего мороза. На мужицких гумнах золотом горят свежие скирды, стаями перелетают сытые голуби, давая чувство счастливой осени, покоя, довольства,— это правда: "облопались". Вдали, у нас, в сизо-туманном утреннем саду, мягко, неизъяснимо-прекрасно краснеют клены.

* * *

После обеда прочли статью Мережковского о "Детстве" Горького. Ужасно!

"Горький знает, куда идет Россия... Его Бабушка — Россия, Восток. Дедушка — Европа, Запад..."

Боже мой, это Горький-то знает, Горький, с его литературщиной, с его малярным размахом, это суздальское кривое зеркало! "Бабушка — Россия, Дедушка — Запад..." Какое плетение словес и когда же! В такое страшное для России время!

А как дивно все кругом. Среди дня ездил в лес, в Скородное. День совсем разгулялся. Непередаваемо прелестны чащи совсем почти голых грифельных осин на ярком, густом синем небе. Среди осин кое-где клены в легчайшей красно-желтой листве, которая все трепещет на холодном ветре и солнце.

В оврагах от желтых кустарников просто горит все: канареечно желто, ослепительно.

* * *

Ночь очень прохладная.

После ужина вышел пройтись, пошел по деревне. Темно, вся деревня уже спит.

Пройдя деревню, увидал с косогора огоньки внизу, на водяной мельнице у Петра Архипова. Пошел туда.

Спустившись, подошел к открытым воротам мельничного сруба: там внутри все шумит и дрожит,— мельница работает. Возле жерновов стоит и тускло светит в мучнистом воздухе запыленный мукой фонарь, а вверху сруба,— он без потолка,—

и кругом в углах темь, мрачный сумрак. Пахнет тоже мукой, сыровато, хлебно.

А Петр Архипов сидит возле фонаря, похож на Толстого. Большая побелевшая от муки борода, побелевший полушубок; картуз,— совсем белый,— надвинут на брови. Глаза острые, серьезные.

Против него, на обрубке пня, сидит какой-то кудрявый мужик, незнакомый мне. Уперся локтями в колени, курит и смотрит в землю.

Поздоровавшись, присел и себе.

— А мы вот о войне говорили,— сказал сквозь шум мельницы Петр Архипов.— Вот он ничему не верит, никакой нашей победе не чает.

Мужик поднял голову и ядовито усмехнулся.

— А ты, сам-то как, Петр Архипыч? Тоже не чаешь?

Он холодно взглянул мне в лицо.

— Я? А я не знаю. Пускай их воюют. Воюйте на здоровье. Это, господа дворяне, ваше дело.

— Это как же так?

— А так. Нам, мужикам, одно надо: ничего никому не давать, никого к себе с этими поборами и реквизициями не пускать. Чтобы никто к нам не ходил, ничего нашего не брал. Ни немец, ни свой. Да.

Помолчал, потом опять заговорил, еще возвышая сквозь шум голос и еще неприязненнее:

— Да. А то вон приехал на той неделе какой-то с грибами на плечах — солдат, сыновей ему давай, хлеба давай... всего давай! А их гнать надо от нас. Раз наше дело не выходит — мировая и шабаш. Миколай Миколаевич младший — вот это воин. Ух, рассказывают солдаты, что только за человек! Отца родного за правду не пожалеет. Ночью встанет тихонько, чтоб ни один генерал за ним не увязался,— и пошел в обход по окопам. Солдат простых увидит: "Здорово, друзья! Надейтесь на меня, как на каменную гору. Я об вас ночи не сплю!" — А господам офицерам, если завидит, что в карты играют, бездельничают, без всякой церемонии шашкой голову долой! Да, это воин.

Сумрачно помолчал, потом встал и подошел к трясущемуся рукаву, по которому серой струей текла мука. Взяв в горсть муки, помял ее, понюхал и задумчиво спросил, почти крикнул:

— Ну, а этот самый человек, где он теперь?

— Какой?

— Сухомлин.

Кудрявый мужик, куривший на пне трубку, со свистом, не поднимая головы, захохотал и махнул рукой:

— Вона! — сказал он.— Хватился! Его теперь и след простыл! Его давно покрыли и спрятали!

Петр Архипов строго посмотрел на него, на его плечи и голову, потом еще строже на меня:

— Где, по вашему, такой человек может находиться? И что такому человеку должно быть? Что он для России может быть? Что он для ней сделал? Через кого там теперь миллионы лежат, пухнут? А ведь люди тоже, крещенные!

Обив и вытерев руку о полушубок, он опять сел и опять замолчал. Потом все тем же тоном, но уже спокойнее:

— Да. На нас, мужиков, как там глядят? Тычь его куда похуже, а нас, господ, не тронь,— мы высокого званья. А те пускай преют, этих дураков еще великие тысячи наделают. Сейчас вон опять берут, а зачем? Чтобы последних перебить? Вы, барин,— дерзко и громко спросил он,— вы нам уж откровенно скажите, какая ваша задача: чтобы нас всех перебить, а скотину порезать да в окопах стравить?

— Петр Архипыч, как тебе не стыдно? Ото всех слышу этот дурацкий вопрос, только от тебя не ожидал. Ведь ты человек умный!

— Умный! — сказал он, несколько смутившись, и вдруг опять сдвинул брови и поднял тон:

— Вам хорошо говорить. А у меня вон сын пошел, два месяца ни одного письма. Где он теперь, что он теперь? Мертвое тело? А потом, как перебьют всех, вы что ж будете делать? Приедете, конечно, к царю и скажете: "Погляди, государь,— где твоя держава теперь? Нету тебе ничего, все чисто, одно гладкое поле!"

Я с истинным изумлением поглядел на него.

Куда девался его ум, здравость?

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Кого тут ведьма за нос водит?
Как будто хором чушь городит
Сто сорок тысяч дураков!

Это говорит Фауст, которого Мефистофель привел в "Кухню Ведьмы", и это вспомнилось мне, когда я на днях прочел в "Последних новостях" статью о том, что в "Красной нови" какой-то Горбов опять шельмует писателей эмигрантов и опять

все за то же: за то, что мы будто бы "мертвецы", отстали от века, не видим и не понимаем всего того "живого, молодого, нового", что будто бы есть в большевистской России.

Какая вообще потрясающая энергия у этих любителей "новой жизни"! Уже лет семьдесят орудуют российские "Бесы", а энергия их не только не ослабевает, но как будто даже увеличивается и долбит все в одну и ту же, все в одну и ту же точку, одурманивая, одурачивая всяческих "малых сих" (народ, молодежь) и так или иначе "выводя в расход" своих политических, "классовых" врагов. Помещик непременно кровопийца, купец — паук, поп — тунеядец, отравляющий народ "опиумом религии", неугодный писатель — ретроград, слепец, озлобленный противник всего "молодого, нового", клеветник на народ, на молодежь,— сколько уже лет этой красной песне, этой чекистской работе?

Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товару базарного,
Все, чего им не взвесить, не смерити,
Все, кричат они, надо похерити,
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствительно...

Когда это писалось? Да еще в шестидесятых годах, когда писались и эти строки:

Други, вы слышите ль крик оглушительный:
"Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный,
Много ли вас остается, мечтатели?
Где ж устоять вам, *отжившему племени*,
Против течения?"

Вот как, значит, не нова эта кличка: "мертвецы, отжившее племя". Она изобретена еще тогда, когда Чернышевский "разрушал эстетику", Писарев громил Пушкина, как представителя "отжившего класса тунеядцев"... С тех пор и пошло. На Тургенева кричали за Базарова, на Гончарова — за Марка Волохова и писали буквально так: "Этот живой труп совершенно не понимает и не знает русского народа" — цитирую по воспоминаниям Кони. "Преступление и наказание" Достоевского расценивалось (и не где-нибудь, а в "Современнике") опять-таки буквально так:

— "Клевета на молодое поколение... Дребедень... Глупое и позорное измышление, произведение самое жалкое..."

А что писали даже про Глеба Успенского? Этому трудно поверить, но это сущая правда: его разносили за *"хмурый и желчный пессимизм"* и — за *"полное незнание народа"*!

Что ж после этого дивиться, что Скабичевский писал про Льва Толстого, что "этот граф, в то время, как вся Россия кипит новой жизнью, плетет роман какого-то Левина с его коровой Павой", что были объявлены злостными ретроградами и тем надолго "выведены в расход" из литературы Лесков, Майков, Тютчев, Писемский, Константин Леонтьев... А что было Чехову за его "Мужиков" и мне за мою "Деревню", "Ночной разговор", вообще за мои "наветы" на народ, который я будто бы писал только "черными, неправдоподобными" красками, приписывал ему ту жестокость, которой у него и в помине будто бы не было? И вот, опять, опять та же песня, слово в слово та же. Опять, опять —

Как будто хором чушь городит
Сто сорок тысяч дураков!

Но точно ли они дураки? Дураки-то дураки, да все-таки не такие, какими им быть велит их профессия "водить за нос". Часто они столь презренны, что язык не повертывается возражать им. Но как же не возражать — не ради них самих, конечно, а ради тех "малых", коих они соблазняют? Они пускают клеветы самые нелепые, но ведь от всякой клеветы всегда что-нибудь да остается, худая молва быстро бежит:

— Свинья — борову, а боров — всему городу!

Какой-нибудь площадной лохмач орет, тычет на тебя пальцем:

— Товарищи! Он хотел царь-пушку украсть и немцам продать!

Но, по-моему, даже и ему надо отвечать:

— Врешь, лохмач, врешь!

Они этого терпеть не могут. Они, совместно с чернью, поднятой ими на бунт, зарезали твоего отца, убили мать, изнасиловали сестру и жену, сожгли твой дом, напакостили в церковном алтаре, разорили и опозорили на весь мир твою родину, всячески растлевают твой народ, превращая его в пьяное от крови и грабежа стадо,— и называют все это "новой, прекрасной жизнью", "очистительной грозой, бурей", но ты молчи, не только молчи, а на коленки падай и кричи со слезами восторга:

— Благодарю, благодарю, понимаю и приемлю!

И попробуй-ка не сделать этого: быть тебе у "стенки" в прямом или переносном смысле этого слова! Тут даже и мол-

чанием не отделаешься. Вон Шиллер, славивший революцию, певший "Песню о колоколе", пытался молчать, когда увидал, понял, что это за штука:

Заключись в святом уединенье,
В мире сердца чуждом суеты,—
Красота живет лишь в песнопенье,
А свобода в области мечты!

Но разве это помогло ему, разве ему простили его "уход от жизни", за отсталость от ее "величаво и бурно несущегося потока"? Каков бы ни был этот поток, все равно беги за ним и славословь его! Вот, казалось бы, чем можно восхититься в Российском потоке, уже почти десять лет несущем только одну небывалую еще на земле мерзость? Величайшее зверство, величайший разор, всяческая моральная и физическая грязь, пещерный холод и голод, пожирание себе подобных...

Все равно, принимай и славословь! Невежда и хам ни с того ни с сего объявил заборную орфографию: опять покоряйся, пиши по ней! Я отвечаю: не могу, не хочу — уже хотя бы потому, что по ней написано за эти десять лет все самое низкое, подлое, злое, лживое, что только есть на земле. Нет, моги, пиши! Вот я вижу книгу стихов, напечатанную по этой самой орфографии в Париже и почему-то посвященную Гансу Андерсену, Чарльзу Диккенсу, книгу одного из этих "новых, молодых, живых", и читаю:

Ночью судной
Все ангелы сидят на суднах...

И далее:

Пишу стихи при свете писсуара,
Вдыхаю запах лета и мочи...

Что это такое? Это стихи какого-то Бориса Божнева. Но вы думаете, что я, Бунин, смею сказать — ну, просто, что мне Божнев, извините, не нравится. Никак нет, меня тогда за Можай загонят, как мертвеца, глупца, слепца, осмелившегося лезть в критики. Кто загонит? Да любой Марк Слоним из "Воли России". А ведь этими Слонимами хоть пруд пруди.

Автор статьи в "Последних новостях" возмущается: "Нелепо звучат слова Горбова о капитализме в применении к "Митиной любви"... Горбову многое нравится в произведениях Бунина, но канон велит ему находить в "Деле корнета Елагина" вымирание дворянской России, и он подводит всю повесть под ярлык "мертвой красоты"... Горбов цитирует Бунина, восхищается

им... Но тотчас же называет его художником навсегда ушедшей России и даже в "Цикадах" находит социальную базу... Мертвую красоту находит он и у Мережковского, Зайцева и Алданова... Алданова Горбов обвиняет даже в подавлении адмиралом Нельсоном неаполитанской революции..." — Но возмущайся, не возмущайся, а Горбовы свое дело делают!

"Кого тут ведьма за нос водит?" Ведь не идиот же этот Горбов. И главное, вовсе не случайность и не новинка та чушь, которую городит он, как сто сорок тысяч дураков.

Вот передо мной вырезка из московской "Правды" за 24 год: "Просматривая печать белой эмиграции, кажется..." — какой прекрасный русский язык! — "кажется, что попадаешь на маскарад мертвых... Бунин, тот самый Бунин, рассказ которого был когда-то подарком для всей читающей России, позирует теперь под библейского Иоанна... выступает в черном плаще, как представитель своего разбитого революцией класса, что особенно ярко сказывается в его "Несрочной весне"... Здесь он, мракобес, мечтает в своей злобе о крестовом походе на Москву..."

Вот вырезка из московских "Известий" за 25 год: опять начинается за здравие, с похвал — "Митина любовь" произведение такое, сякое,— а кончается опять за упокой: "Но тем-то это произведение и показательно для эмигрантской психики, психики опустошенной, проституированной... ибо Митя предан пороку Содома и идеалу Мадонны..."

Вот московский журнал "Прожектор" со статьей Воронского, который опять загоняет нас в гроб. "Бунин, говорит Воронский, показал нам себя и вообще образ человека в стане белых, дотлевающего в могильной яме,— смотри его великолепный, скульптурный рассказ о несрочной весне..." — Нужды нет, что мой Митя умер за двадцать лет до эмиграции и что в "Несрочной весне" изображен человек вовсе *не из эмигрантской* "могильной ямы", а как раз наоборот — из *московской*: этим Горбовы и Воронские не смущаются, ведьмовская кухня в Москве работает!

Да работает подобная же кухня и здесь, в Европе,— например, кухня пражская, называемая "Волей России", во главе с Виктором Черновым, Лебедевым, Слонимом, Пешехоновым, который уже давно славится своими проклятиями эмиграции, совершенно, по его мнению, сгнившей заживо. Из Москвы постоянно раздается по нашему адресу: "Мертвецы, гниль, канун вам да ладан!". Но не отстает от Москвы и Прага. И вот опять: только что просмотрел в последней книжке "Воли России" "Литературные отклики" некоего Слонима, который

счастливо сочетает в себе и заядлого эсера, и ценителя искусств, и переводчика: если не ошибаюсь, это тот самый Слоним, что сравнительно недавно выбрал из всех десяти томов любовных мемуаров Казановы эпизоды наиболее похабные, перевел их и издал двумя книжками. Удивительные "отклики"! Будучи якобы врагом большевиков, а на самом деле их единоутробным братом, который грызется с ними только из-за частностей, подхватывая московский лай на нас, Слоним даже и Москву перещеголял: ничего подобного по лживости и пошлости я, кажется, даже и в московских журналах не читал.

Отклики эти — обо мне, о Гиппиус и вообще об "эмигрантской литературной знати и ее придворной челяди", как с лакейской яростью выражается Слоним. А придрался он ко мне из-за журнала "Версты". Он и сам невысокого мнения об этих "Верстах", он отзывается о них на своем смехотворном жаргоне тоже не очень почтительно:

— "Версты", говорит он, "обращены лицом к России, и это хорошо. Но еще лучше было бы, если бы обращены они были *своим лицом*!"

(Странная картина: "Версты" обращены лицом "и это хорошо", но обращены чужим, а не своим. Ничего не вижу тут хорошего!).

— "*Ядро* Верст, *даже если его тщательно вышелушить*, оказывается *окрошкой*... Оригинального в них лишь поэма Цветаевой — трагическая поэма любви, вознесенной над жизнью, вне жизни, как гора над землей, и жизнью земно раздавленная"...

Слоним захлебывается от Цветаевой. Он посвящает ей в своей статье и еще немало столь же высокопарной ахинеи, как только что приведенная. Он говорит:

— "Смысл у Цветаевой сгущен, сжат... У нее патетический избыток, напряженность высокого строя души (а не духа только) в замкнутом словесном ряде...

Контраст творчества Цветаевой и состоит в этом сочетании: бессмертность, сжатая в лаконичность, вихрь, заключенный в отрывистость, страсть к бескрайности в подобранной формуле"...

Он с великолепным презрением к простым смертным и с восторгом перед своим собственным умом и вообще перед самим собою, фыркает:

— "Мне всегда странно, когда я слышу, что иные простодушные,— вернее, простодумные,— читатели не находят у Цветаевой ничего, кроме набора слов и никак не могут докопаться

до смысла ее стихов... На высоте люди со слабыми легкими задыхаются!"

Все так: легкие у Слонима удивительные, человек он не "простодумный", прекрасно "докапывается" до "сгущенного" смысла Цветаевой и в совершенно телячьем восторге от своих раскопок. Но к "Верстам" он, повторяю, почти столь же непочтителен, как и я, который нашел их прежде всего просто прескучными со всеми их перепечатками Пастернаков, Бабелей, каких-то Артемов Веселых, поэмой Цветаевой насчет какой-то горы и "красной дыры", россказнями Ремизова опять о своих снах, о Николае Угоднике и Розанове. Слоним, повторяю, в восторге только от Цветаевой. Но и тут — не водит ли он кого-то за нос? "Цветаева — новое, говорит он. Она перекликается с теми, кто в России!".

Так вот не за эту ли перекличку он и превозносит ее, а на меня ярится за то, что я будто бы ни с кем из России не перекликаюсь? Впрочем я полагаю, что он все-таки не настолько "простодумен", чтобы думать, что в России я пользуюсь меньшим вниманием, чем Цветаева, и что я уж так-таки ни с кем там не перекликаюсь. Нет, он, вероятно, это понимает, да все дело-то в том, что со всем не с теми перекликаюсь я, с кем перекликается Цветаева. И каких только грубостей и пошлостей не наговорил он мне за это в своих "откликах"!

— "Бунин скверный критик... Об этом можно было бы и умолчать, но Бунин типичен для всей нашей (эмигрантской) литературной знати и ее придворной челяди... Как-никак Бунин имя крупное... Он очень хороший писатель, хотя для меня *мертвый*... Единственно живым для него является мир мертвых, как для героя его "Несрочной весны"... *Я уважал бы его*, если бы он старался *принять* и *понять* новое. Есть ведь такие писатели, которые умели, в гроб сходя, благословлять... Но для этого надо обладать чуткостью, отзывчивостью и умственной широтой, чего нет у Бунина... Он безнадежно глух, ослеплен политической злобой, скован самомнением. А ведь точно по команде Бунин объявлен красой и гордостью русской эмиграции, литературы, искусства и прочая, прочая"...

Вот каков оказываюсь я, мертвый, глупый, косный, слепой, глухой, перед Слонимом, перед его жизненностью, перед его пониманием и приятием "нового", перед его чуткостью, отзывчивостью, умственной широтой, его зорким оком и великолепными ушами. (Да и не один я, а вся эмигрантская "литературная знать и ее придворная челядь"). Но вот неразрешимые вопросы: каким образом ухитряюсь я при всех моих вышепере-

численных качествах все-таки быть "очень хорошим" писателем? Почему я должен принимать и вкушать всю ту мерзость, которая подносится нам "новой" Россией, как тот сосуд, полный гадов, что спустился во искушение Петру апостолу, когда он "взалкал и поднялся наверх, чтобы помолиться"? Почему я обязан сходить в гроб ради каких-то Артемов Веселых, Пастернаков, Бабелей, Слонимов, да еще благословлять их? Я еще далеко не в Державинском возрасте, да и они далеко не Пушкины! Слоним тогда "уважал бы" меня? Очень верю, но откуда взял Слоним, что я жажду его уважения? — И еще: я в своей статейке о "Верстах", цитируя их программную статью, проглядел в одном месте частицу "не" и тем исказил одну совершенно незначительную для общей оценки "Верст" фразу, о чем и сожалею. Это дало повод Слониму сказать обо мне: "Подобный прием носит совершенно определенное и далеко неблагозвучное имя!" — Но зачем Слоним не договорил, постеснялся? Уж если распоясываться, так до конца.

О НОВОЙ ОРФОГРАФИИ

Письмо в редакцию

Глубокоуважаемый Петр Бернгардович,

В "Последних новостях" напечатано открытое письмо ко мне г. Гофмана по поводу так называемой новой орфографии. Я в одной из своих последних статей сказал, что не могу принять эту орфографию "уже хотя бы потому, что по ней написано все самое злое, низкое и лживое, что только было написано на земле", и в совершенно естественной горячности обозвал ее "заборной, объявленной невеждой и хамом", и тем дал повод г. Гофману к престранному умозаключению: он вообразил, что я оскорбил ученых, работавших во главе с покойным А.А.Шахматовым над русской орфографией при Академии наук!

— "Позвольте уверить вас, говорит он в своем письме ко мне, что не желание *поддеть* вас руководит мною, а глубокая обида за память людей, подобных Шахматову, которую вы нанесли, сами того, конечно, не желая".

Так вот позвольте и мне уверить читателей, которых г. Гофман вводит в заблуждение, может быть, и впрямь, не имея намерения "поддеть" меня, а единственно в силу своей излишней обидчивости: "люди, подобные Шахматову", приплетены г. Гофманом совсем ни к чему, я Шахматова и людей, подоб-

ных ему, почитаю не меньше его. Да не совсем разумны и прочие его обиды и соображения.

Он дивится, что я назвал орфографию, истинно "хамски" навязанную России большевиками, заборной. Но как же она не заборная, когда именно забор и в точном и в переносном смысле этого слова так долго служил ей?

Он говорит, что новая орфография явилась "результатом" ученых работ при Академии. Но как же она могла явиться "результатом", когда работы эти *не были закончены* к началу революции?

Он указывает мне на то, что она была объявлена не большевиками, а Мануйловым. Но это тоже не имеет отношения к делу. Всегда очень сожалел и продолжаю сожалеть, что Мануйлов так поспешил в своем революционном усердии насчет вопроса, который был еще далеко не решен и остается спорным и доныне (даже и для больших ученых в этой области), но дело-то, повторяю, совсем в другом: в том, что все-таки именно "невежда и хам", то есть большевик, приказал под страхом смертной казни употреблять только эту орфографию.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

О музыке.

Серые зимние сумерки в Москве,— февраль семнадцатого года... Ровно десять лет тому назад.

Еду на Лубянку,— за эти десять лет столь прославившуюся,— стою на площадке трамвая.

Возле меня стоит и покачивается военный писарь.

Вагон качает? Нет,— к общему и большому удивлению, писарь пьян и даже основательно пьян. В военное время, с какими-то казенными пакетами в руках — и пьян. И все щурится, ядовито, как-то весело и горестно ухмыляется, водит глазами, ищет, очевидно, собеседника.

Неожиданно обращается ко мне:

— А позвольте спросить... Вот вы, конечно, интеллигентный человек и прочая и прочая... А позвольте спросить, задать, как говорится, вопрос...

— Насчет чего?

— А вот насчет чего: где именно в Москве фонарь номер первый? Не сочтите это за придирку, а просто... ответьте.

— Ничего не понимаю. Какой фонарь?

— А вы не лукавьте, не виляйте, сделайте милость. Я вас очень просто спрашиваю, ставлю вопрос ребром: где именно в Москве номер первый?

Вижу, что придирается, и скромно развожу руками:

— К великому моему сожалению, понятия не имею.

Писарь с презрением смотрит мне в лицо, некоторое время молчит и затем медлительно выговаривает:

— Эх, вы, защитники народа, передовая интеллигенция. Так и знал, что не знаете. А у кого в Москве велосипед номер первый? Тоже, конечно, не знаете. А ведь послушай вас: мы, мол, такие, сякие, мы соль земли и тому подобное, прочая и прочая! — Ну, да ничего, скоро пойдет музыка другая, узнаете...

Вагон с визгом поднимается мимо статуи Первопечатника, мимо стен к площади. И писарь с презрением, брезгливо смотрит и на стены:

— Остатки древней старины называются! — говорит он, качаясь.— Между тем, что собственно это означает? Я вас спрашиваю,— говорит он, водя сонно-злыми глазами по лицам окружающих: — что собственно это означает?

И все молчат, все почему-то стараются не смотреть на него. Уже робеют? — думаю я.— Да, да, несомненно...

А на остановке, на Лубянской площади, в вагон, в толпу, пробивается женщина с крохотным розовым гробиком в руках, визгливо крича кондуктору:

— Господин кондуктор! Господин кондуктор! У вас в трамвае с маленькими покойничками пущают?

И писарь злорадно хохочет:

— Покойнички! Кутья, венчики, во блаженном успении! Ну, да ничего, скоро уж, скоро! Будет вам хо-рошая музыка!

Так услыхал я про эту музыку впервые,— от писаря. А второй раз через год после этого,— от Блока:

— "Слушайте, слушайте Музыку Революции!".

Кстати о Блоке.

В так называемом Ленинграде издавался недавно, "при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского", журнал "Русский современник", преследовавший "только культурные цели".

И вот, в третьей книге этого культурного органа были напечатаны некоторые "драгоценные литературные материалы", среди же них нечто "особенно драгоценное", а именно:

— "Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей".

Прочитал — и вполне согласился: действительно, нечто драгоценное, особенно один "замысел" — насчет Христа.

Оказывается, что Блок замышлял написать, при некотором сотрудничестве со своей супругой, не более, не менее как "Пьесу из жизни Иисуса".

Да, один "замысел" так и озаглавлен: "Пьеса из жизни Иисуса" — и помечен: январь 1918 года (то есть, тот самый январь, когда Блок напечатал свою известную статью об интеллигенции и революции,— "Слушайте, слушайте Музыку Революции!" — в пояснение к своей знаменитой поэме). А какие перлы находятся в этом замысле, пусть судит читатель по следующим выпискам:

— Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

— Входит Иисус: не мужчина и не женщина.

— Фома (неверный!) — контролирует.

— Пришлось уверовать: *заставили* и надули.

— Вложил персты и распространителем стал.

— А распространять *заставили* инквизицию, папство, икающих попов — и Учредилку...

Поверят ли почитатели "великого поэта" в эти чудовищные пошлости? Думаю, что нет. А меж тем я выписываю буквально. Дальше еще пошлей. Но уж выпишу до конца:

— Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на месте.

— Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.

— Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.

— Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

— Нагорная проповедь: митинг.

— Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули...

А вот и заключение конспекта этой "пьесы":

— Нужно, чтобы Люба прочитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил...

Кто этот "он", писанный с маленькой буквы? Тот, ради Которого знаменитый обожатель "музыки революции", писанной с большой буквы, не хотел потрудиться даже Ренана лично прочесть:

— Пускай Люба почитает и по карте отметит *это маленькое место*...

ПАМЯТИ ЮШКЕВИЧА

Нынче опускают в могилу Семена Соломоновича Юшкевича,— навсегда уходит из нашего мира человек большого таланта и сердца, которого я знал чуть не тридцать лет, с которым мы почти в одно время начали, а потом рука об руку — и так дружески за последние годы — делили наш писательский путь.

И долг, и сердечная потребность велят мне, перед нашей вечной разлукой, посвятить его памяти хотя несколько слов, достойных ее. Но что я могу сейчас?

"Возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его..."

Пусть же примет благостно персть почившего лоно нашей общей Матери и милосердный Бог даст его душе мир и радость под Своим благословенным кровом.

СУЕТА СУЕТ

Многие ли знают, как умер Вольтер, где похоронен он был первоначально и какова была судьба его сердца и мозга?

Об этом с обычным мастерством и с вечно присущей ему тонкой иронией рассказывает Ленотр.

Вольтер приехал в Париж за три месяца до своей смерти и поселился в особняке г. де Виллета на углу улицы Бон и набережной.

Три месяца в этом особняке царили мир и спокойствие. Но вот настает роковой вечер 30 мая 1778 года — и проходящие мимо ворот особняка и заглядывающие в его двор (который, кстати сказать, остался и доныне почти таким же, каким был в те годы) видят, что в доме происходит что-то не совсем обычное: несмотря на поздний час, три окна в первом этаже ярко освещены, за их занавесками мечутся людские тени... Что случилось?

А случилось то, что "великий безбожник" уже отдал Богу душу, и его семья, г-жа Дени, его брат, аббат Миньо, г. Дормуа, г. де Виллет и кухарка с привратницей энергично хлопочут над трупом, наряжают его: дело в том, что после похорон А.Лекуврер Вольтер был одержим кошмарным страхом, что после его смерти тело его будет брошено, как падаль, что враги его правы, предсказывая огромный скандал, который могут учинить при его погребении религиозные фанатики. Надо, значит, было этот скандал во что бы то ни стало предотвратить.

Вольтер испустил последний вздох в одиннадцать часов. Тотчас же после этого кинулись за хирургом г. Три и за соседом аптекарем г. Митуар, которые, быстро осмотрев тело и запротоколив смерть, стали наспех, кое-как, бальзамировать его, вынули сердце, мозг, внутренности... Внутренности бросили в помойную яму, мозг погрузили в банку со спиртом, а сердце — в свинцовую коробку, которая заключена была в серебряный вызолоченный ларчик. Однако, это было далеко не все, что нужно было сделать. Главная задача состояла в том, чтобы тайком вывезти тело из Парижа, тайком доставить его в аббатство Сельер, находящееся от Парижа в тридцати лье. Аббат Миньо, племянник покойника, к этому аббатству был причастен и надеялся получить от его настоятеля разрешение на отпевание и погребение Вольтера именно там. Но как доставить его туда? Доставить нужно было не без хитрости, не стесняясь средствами и как можно скорее.

И вот, после вскрытия, быстро стали наряжать труп: его спеленали свивальниками, которые были надраны на скорую руку из простынь, на него напялили халат, на голову надели ночной колпак, на ноги — ночные туфли. А покончив с этим, потащили ряженные останки великого человека вон из дому, во двор, посадили их в карету,— она была голубая, в звездах,— напротив велели сесть лакею, который должен был держать и не давать покойнику падать, а кучеру приказали гнать лошадей что есть мочи.

Как известно, все это предприятие удалось превосходно. Лакей, по прибытии в Сельер, был сам близок к смерти от страха, пережитого во время скачки до Сельера, в темной карете, лицом к лицу с качавшимся мертвецом. Однако, доставлен был мертвец в Сельер в целости, в сохранности, весьма быстро, и также быстро было и доделано дело: Париж даже еще и не знал о кончине Вольтера, как уж тело его лежало под плитами Сельерского собора.

Что до мозга и сердца, то они претерпели гораздо худшие и гораздо более многочисленные приключения.

Мозг, "который отличался необыкновенным объемом", взял себе аптекарь Митуар. Некоторое время он извлекал из него большие радости для своего тщеславия: показывал его публике — "всем желающим созерцать сии останки г. Вольтера". Будучи, однако, человеком культурным и боясь за судьбу "дивной реликвии", он решил принести ее в дар государству. Но тогда судьба еще более жестоко посмеялась над Вольтером: к несказанному удивлению и ужасу аптекаря, государство поче-

му-то смутилось, стало благодарить, кланяться, но взять мозг — отказалось. Через полвека после этого сын аптекаря, врач Митуар, повторил попытку отца сохранить для потомства замечательный мозг,— еще раз предложил его Франции. Но... Франция почему-то снова отклонила эту честь. Третий собственник мозга, г. Вердье, навязывал его Академии: авось хоть "бессмертные" согласятся взять мозг своего бывшего сочлена. Но и Академия отказалась: "не нашлось достойного вместилища для столь неожиданного вклада"... И мозг пустился странствовать: он перешел по наследству к внучке аптекаря, а внучка все путешествовала и всюду возила за собой драгоценный сосуд, "таивший в себе то чудесное, что в свое время вырабатывало столь гениальные мысли". А когда умерла и внучка, сосуд почему-то попал в руки какого-то г. Лаброса, аптекарского помощника, в 1870 году был куплен кем-то на аукционе, при распродаже какой-то обстановки, а затем погрузился во мрак полной неизвестности:

— Может быть, говорит Ленотр, он цел и доныне, валяется где-нибудь на чердаке, среди какой-нибудь рухляди? Но где именно? На этот вопрос до сих пор еще никто не отозвался.

Беспокойна, печальна была участь и вольтеровского сердца.

У Вольтера была приемная дочь, "олицетворение Красоты и Доброты", которая была замужем за маркизом де Виллет, домовладельцем на улице Бон, поэтом и страстным поклонником Великого Старца. Он и присвоил себе его сердце и приказал выгравировать на ларчике, вмещавшем это сердце, стих собственного сочинения:

— Дух его витает повсюду, сердце же покоится здесь.

Впоследствии ларчик с сердцем долго стоял в мавзолее, воздвигнутом для него Виллетом в салоне знаменитого вольтеровского убежища, в славном по всему миру замке, которым Виллет тоже завладел в свое время. Там, в честь своего идола, он устроил нечто среднее между музеем и капищем, самого же себя провозгласил верховным жрецом вольтеровского культа. Но шли года, страсть Виллета мало-помалу утихала — и знаменитый замок был сдан им, в конце концов, в наем какому-то богатому англичанину. Англичан же, конечно, тотчас же велел мавзолей в салоне разрушить, а "драгоценный" сосуд с сердцем — "куда-нибудь вынести"...

Впрочем, сердце оказалось все-таки счастливее мозга. Ларец с ним все же сохранился. Конечно, и он переходил из рук в руки, от наследников к наследникам, был предметом их споров

и даже судов, однако, уцелел и в свое время был тоже предложен в дар государству, которое на этот раз оказалось уступчивее, чем прежде, в деле с мозгом. Сердце Вольтера покоится теперь, как известно, в библиотеке на улице Ришелье, в цоколе, на котором стоит модель знаменитого мрамора Гудона...

Да, Вольтер недаром усмехается так ядовито и доныне. Между прочим, и над самим собою, конечно.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Боюсь, что пройдет незамеченной, неотмеченной новая выходка Горького. А отметить ее непременно надо — в назидание тем, которые все еще продолжают долбить:

— А все-таки это удивительный писатель!

Горький, как известно, довольно часто занимается теперь писанием воспоминаний о разных известных покойниках. Иные из них снабжены всяческими лирическими отступлениями, сентенциями, мудрствованиями. И к таким принадлежат, например, недавно им опубликованные в "Красной нови" воспоминания о Гарине-Михайловском. И читая их, истинно диву даешься: да как же это можно на старости лет говорить с такой развязностью, ухмыляясь, такие пошлости!

— Изредка,— вещает Горький,— в мире нашем являются люди, коих я назвал бы веселыми праведниками...

— Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству Евангелий, был все-таки немножко педант. Родоначальник веселых праведников есть, вероятно, Франциск Ассизский, великий художник любви к жизни...

У Чехова помещик Гаевский говорит своему лакею:

— Отойди, братец, от тебя курицей пахнет!

А чем пахнет от этих рассуждений о "педанте" Христе и о "художнике" Франциске Ассизском? Одно хочется сказать:

— Отойди, братец, поскорее и подальше отойди!

А в Париж приехал Луначарский, разжиревший на советских хлебах, сопутствуемый одной из своих супруг, тоже, вероятно, довольно упитанной... И вспомнилось, как некогда тощ и убог был этот теперешний вельможа, как околачивался он возле Горького на Капри, среди прочих лодырей и жуликов, из которых состояла тогда известная "коммунистическая школа", руководимая и питаемая Горьким... И как этот Луначарский, заядлый не только коммунист, но и эстет, читал над гробиком своего умершего первенца "Литургию Красоты" Бальмонта...

Кстати:

В прошлом году Горький в "Вечерней Красной газете" напечатал статейку по поводу того, что я, рассказывая в Париже о собаке старика нищего, убитого красноармейцами, которая после того яростно кидалась на всех красноармейцев, заключил свой рассказ пожеланием, чтобы и во мне не угасала подобная же ненависть "к русскому Каину".— Горький тогда писал:

"Моралистам Бунин дал хороший повод говорить о слепоте ненависти. Остроумные люди, вероятно, очень посмеются над мольбой культурного человека и прекрасного писателя, который дожил до того, что вот, предпочитает собачье бешенство человеческим чувствам..."

Пользуюсь случаем ответить Горькому: да, остроумный милостивый государь, дожил. Дожил при вашей доброй помощи,— при помощи ваших друзей, Дзержинских и Луначарских, вместе с вами утверждающих во всем мире такую "слепоту ненависти", которой мир еще никогда не видывал. Дожил до тех дней, когда, как сказал мне один сербский епископ, "стало человеку стыдно поднять глаза на животное и зверя". И не вам, чекистам, заноситься над собаками, и особенно над собакой этого нищего старика, убитого вашим доблестным воинством для потехи. И ничуть не бешеная она была, и не бешенство я предпочитаю "человеческим чувствам" — хотя уж какие там человеческие чувства могут быть у нас к вам! — и не слепоту проповедовал я, а именно ненависть, вполне здравую и, полагаю, довольно законную.

"Остроумные люди, вероятно, очень посмеются над мольбой культурного человека..." Интересно знать, почему, собственно, надо быть остроумным, чтобы над этой мольбой смеяться? По-моему, для этого надо быть скорее большой тупицей, которой и в голову не приходит самый простой вопрос: да как же в самом деле случилось, что "культурный человек и прекрасный писатель" "дожил до того, что вот, предпочитает собачье бешенство человеческим чувствам"?

Впрочем, что ж взять с Горького? Он всегда был склонен к остроумию, к снисходительной усмешке. Чекисты ходили по колено в крови в своих подвалах, а он усмехался, он трунил, он похлопывал нас по плечу, он писал,— буквально так:

— Спешу успокоить напуганных мещан: Ленин очень не чужд добродушного смеха, в его глазах часто вспыхивает огонек чисто женской нежности...

Да и что ж ему, в самом деле, горевать, сидя в Сорренто? Им теперь всем вольготно и весело. Горький посмеивается,

потягивая итальянское винцо, Луначарский сладко ухмыляется в монмартрских кабаках, Маяковский,— тот самый Маяковский, которого еще в гимназии звали Идиот Полифемович,— ржет то в Париже, то в Праге...

Кстати, о Праге. Нам пишут: "А в Праге Сейфуллина... И как-то на днях ее спросили, интересуются ли в России писателями-эмигрантами, и она ответила: "да, конечно,— вот недавно "Митину любовь" перевели..."

Обмолвка? Обмолвка во всяком случае замечательная!

"БОЛЬШИЕ ПУЗЫРИ"

Получил "Звено" и прочел следующее:

— Д.Четвериков закончил новый большой роман "Заиграй овражки". В ближайшие дни выходит его роман "Синяя говядина", а сейчас он работает над новым романом "Любань".

Я прочел это и тихо ахнул от зависти: ведь дает же Бог некоторым этакое счастье — сразу три новых романа человек написал и каких, вероятно, замечательных, судя по заглавиям, из которых одна "Синяя говядина" чего стоит! Но ахнул я и от стыда и горести: раз мне сообщают: "Четвериков закончил новый роман" — то ведь из этого несомненно следует, что я должен знать, что именно писал Четвериков раньше, а я меж тем об этом не имею даже малейшего понятия.

И еще я прочел:

— Н.Баршев печатает новую книгу рассказов "Большие пузыри".

— М.Борисоглебский выпустил большой роман "Топь" и книгу рассказов "Осколок".

— Л.Раковский выпустил новую книгу рассказов "Зеленая Америка".

И, прочтя, уже и совсем пал духом: Баршев, Борисоглебский, Раковский — и ни об одном-то из них я доселе даже и краем уха не слыхивал! Да мало того: ведь это уже далеко не новая история — вот уже несколько лет подряд попадаю я в такое положение по четвергам и субботам каждой недели, читая парижские газеты и журналы. И думаю, что каждый согласится со мной, что положение это истинно дурацкое: Баршев написал новую книгу о больших пузырях, Баршев, очевидно, очень известный человек, раз мне сообщают о нем, а я только хлопаю глазами:

— Что за Баршев? Что за пузыри? И что именно этим пузырям предшествовало?

Дорогой читатель, шутки в сторону. Не пора ли прекратить это издевательство над нами? Зачем нас с вами дурачат? Ибо уверяю вас, что это форменное издевательство — чуть не каждый день врываться к человеку в дом с известием, что в Самаре родила Марья Ивановна, а в Вологде женился Петр Иванович, когда человек отроду не слыхивал ни об этой Марье Ивановне, ни об этом Петре Ивановиче и не придает и не *может* придавать ровно никакого значения всяческим слухам и вестям о них. Издевательство это еще и потому, что каждый раз тотчас же после сообщения о "Синей говядине" Четверикова и о "Больших пузырях" Баршева читаю я сообщение, что выпустил новую книгу Поль Валери, что найдены новые письма или стихи Гете, Пушкина... Дорогой читатель, да стоит ли после этого стараться быть Пушкиным? Не проще ли, не спокойнее ли остаться автором "Синей говядины", раз все равно пишут о тебе совершенно так же, как и о Пушкине?

Да, круто изменились времена! Когда я был молод,— а это было вовсе не так уж давно,— кому бы пришло в голову напечатать в газетах: "Лев Толстой закончил новый роман, а Бунин написал новое стихотворение" или поместить в одном номере журнала портрет Достоевского, а в другом — Федота Кузькина и даже без всякого пояснения, кто такой Кузькин? Восемнадцати лет я уже печатался в "Неделе" и в "Вестнике Европы", а меж тем, придя в гости к харьковской писательнице Шабельской, чуть не умер от почтения к этой далеко не знаменитой старушке. А писательница Лидия Алексеевна Авилова рассказывала мне, что она, придя в первый раз в редакцию "Вестника Европы" к Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу, так оробела, что совсем лишилась языка:

— Хочу сказать: Михаил Матвеевич, а выходит — Матвей Михалыч... Под конец так зарапортовалась, что брякнула: Матвей Стасюлевич, а попытавшись поправиться, брякнула еще лучше *Стасюлей Михалыч*...

И заметьте при этом, что Авилова была тогда уже не совсем новичок в литературе, печаталась во многих толстых журналах, хороша собой была чрезвычайно, одевалась чудесно, в заработке не нуждалась, происходила же из настоящего барского общества, где совсем не редкость умение владеть собой и самоуважение...

Да, а вот теперь ничем не смущаются. Да и что же им смущаться при таком внимании к ним газет и журналов?

Однако им не достает: внимания публики. Недавно один молодой поэт сказал мне:

— Да ведь, в сущности, теперь стихов никто не читает, нами, в сущности, никто не интересуется, нас, в сущности, никто не уважает...

И я ему ответил:

— Молодой друг мой, а кто же виноват в этом? Поэты и вообще пишущие делали за последние тридцать лет буквально все, что только возможно, чтобы отбить у публики всякое уважение и всякий (кроме скандального) интерес к себе. Не пеняйте же на публику. И тем более не пеняйте, что вы *продолжаете* делать то, что делали, *при доброй помощи газет и журналов.*

"БЕЗГРАМОТНАЯ ЕРУНДА"

— Литература наша, писал два года тому назад покойный Арцыбашев, совершенно оторвалась от народа и живет сама по себе, своей собственной жизнью, варясь в собственном соку...

— Вся печать находится в руках средней интеллигенции,— правой или левой, это безразлично,— витающей в сферах своих вымыслов и партийных идеологий...

— Она ревниво и самоуверенно ограждает свое право говорить от лица народа и пренебрежительно отталкивает каждого, кто пытается подать свой голос снизу... Она кричит, ссорится, что-то провозглашает, делает какие-то выводы — и непременно просчитывается во всех своих расчетах...

Арцыбашев горячо и настойчиво утверждал, что интеллигенция никогда не слушала, не слушает да и не желает слушать подлинного голоса народа,— ни того, который передается "Достоевскими, обычно записываемыми в черносотенцы", ни того, который выражается самим народом непосредственно, в форме его песен, частушек, поговорок, изречений, слишком, а за последнее время стал выражаться иногда даже и в письмах, присылаемых в редакции газет и гибнущих в редакционных корзинах, ибо редакторы относятся к ним, к этим каракулям, являющимся зачастую драгоценными человеческими документами, как "к безграмотной ерунде".

Арцыбашев коснулся очень серьезного вопроса и все-таки не совсем прав. Его призыв как можно больше считаться с "Достоевскими" и с "безграмотной ерундой", исходящей из уст самого народа, даже опасен. Ибо как это понимать — "Достоевские"? Это, очевидно, литература. А с литературой интелли-

генция, увы, всегда очень и очень считалась, да и до сих пор считается, и в том-то и беда, что именно только через литературные очки больше всего смотрела она на русскую жизнь, на русский народ. С подлинными "Достоевскими" она, правда, мало считалась, настоящих, больших художников, которых, конечно, было и есть очень мало и которые не подделывались под ее вкусы, не угождали ее идеологиям, она мало принимала в расчет, "витая в своих вымыслах". Но что до Златовратских, Муйжелей, а теперь Бабелей, Сейфуллиных, то тут дело, конечно, обстояло и обстоит совсем иначе, так что, по-моему, надо призывать к другому: будьте осторожны с этими *несметными* подделками под художество, с этой литературщиной!

И то же самое надо сказать и про "безграмотную ерунду": берегитесь, разбирайтесь! Есть и тут *подлинная* "ерунда" — и *поддельная*. Вот советские частушки: будьте уверены, что среди них,— и особенно среди тех, что доходят до нас,— чуть не половина сочинена вовсе не народом. Вот письмо в редакцию, выражающее то или иное "народное чаяние" и написанное честь честью, то есть и каракулями, и довольно ерундисто, и достаточно безграмотно: но опять-таки будьте осторожны,— это письмо сочинил не мужик, а какой-то прожженный полуинтеллигент.

Арцыбашев написал свою статью, найдя среди "народных писем в редакцию" несколько действительно подлинных. И одно из них он привел полностью, справедливо назвав его драгоценным документом. Это стихи,— "статейка", как назвал их неизвестный автор,— изображающие сбор налога в деревне большевистскими комиссарами:

Выбирают комсомольцев в армию труда,
А собрать пять тысяч это не беда!
Разослали армию по всем деревням,
Давят налог с бедных крестьян.
Мужичок в окно внимательно глядит,
Наверно, маневры, говорит.
А жена у окошка заплаканная сидит
И ничего мужу про то не говорит.
Нет, это не маневры, старуха говорит,
Это комсомолы пришли нас громить.
Только супруги со скамьи поднялись,
Вот и комсомолы в хату ворвались.
Старушка побледнела, затряслась в ногах,
На пол повалилась, закричала ах!!
Сложил старик руки на груде,
А слезы катятся по его щеке.

Увидал комсомолец бедного старика,
Уцепил за бороду, ну, поди сюда!
Старик перекрестился, стал тихо подходить,
Задрал нос комсомолец, на него глядит:
Что ты крестишься, старый болван?
И позорно икону здесь же обругал.
Не терзайте душу, старик им сказал,
Что от меня хотите, все я вам отдам.
Ахнул комсомолец на старика-тоску,
Взмахнул рукою, вдарил по плечу.
Эй, слушай, кричит, старина,
По какому делу мы пришли сюда.
Пришли рассказать про рабочую коммуну,
А не будешь слушать, в зубы тебе суну.
Теперь свободная наша страна,
И этого не забудь, седая борода.
У нас на Руси надо чекистов содержать,
А вы, крестьяне, должны налог подать.
"Куда хотите, девайте меня,
Весь налог внести, это не в силах я!"
Загорелись зверски у комсомольца глаза
И схватил он со злостью за шиворот старика.
Не успел старик прокричать ой, ой,
Как очутился в камере сырой.
Через неделю приехал комиссар
И в ту же минуту сессию созвал.
Поднялся председатель суда
И кричит на старика: гляди сюда!
Приговор к оглашению не подлежит,
Распишись, бандит!
И затряслася дряхлая рука,
И в бесчувствии потащили старика.
Боже милостивый, Ты кроток, терпелив,
Зачем злых правителей в Россию нам пустил?

Да, вот это подлинное. А что сказать, например, о небезызвестной Софье Федорченко, которая недавно выпустила в Москве второй том своих записей "Народ на войне"?

Предостеречь насчет этой госпожи мне уже давно хотелось,— еще тогда, когда она напечатала свой первый том (сперва в "Речи", а потом отдельным изданием). Вот истинно зловредные книги, уже давно объявленные "большой и бесспорной ценностью"! Автор так и называет их: записи, то есть очень скромно. Она была во время великой войны сестрой милосердия и говорит, что делала эти записи, "толкаясь в народе, среди солдат". Но ручаюсь чем угодно, что три четверти их — собственного сочинения, безусловные *подделки*. Вы только послу-

шайте, до чего прежние "солдатики" и последующие красноармейцы склонны у Федорченко к замысловатым и весьма угодным ей намекам, к изречениям, к сусально красивой или нарочито грубой образности, к символике, к "истинно народной", певучей, то якобы простодушно медлительной, то разухабистой речи! Солдаты будто бы уже давно, еще в окопах, говорили:

— Не то мы темны, не то мы буйны, а не жду я мирного житья. Как бы нам, с войны-то вернувшись, промеж себя бою не устроить! *Молодни* в народе сколько угодно, эти и надымут суету...

— Пока что только язычком работают. А вот войну кончат, всякую пересадку сделают, все и сдвинется...

— Коню, чем узда короче, тем он красивее шею гнет. А человек в укороте горб растит...

— Из господ на воле всякий хлюст тополем рос. А мы все в наклон. Теперь очень покрасивеем...

— Эх, те книги, барышня, по богатым шлялися, ты покинь, книга, богатых, погости-ка с наши братом!

— Затрещат теперь семейства. Не слепить детей с отцом-матерью, мужика с женой прежнею!

Последнее, как видите, уже веет началом "великой и бескровной",— "могутные плечики" уже расправляются и, рисуясь своей "мужицкой дуростью", нутром, да силушкой, изрекают мудростей, якобы совсем наивных, все больше и больше:

— Силой свет обойму, умом ничего не пойму!

— Россия наша матушка все дома кашу варила, а Европу проглядела...

— Путаюсь я в новых словах, ровно в бабьем платье,— не привык, конечно...

— Наша речь особая, не на воде пузыри. Ученому же наша речь тяжка: как по месту придется — пудом по темени!

Это так плоско, так фальшиво, что читать тошно. Но Федорченко все "записывает" и "записывает",— себе на потребу:

— Надо новых слов не стыдиться, говорят ей красноармейцы.— Пока они тепленькие, свежие, в дугу согнуть можно — себе на потребу...

— Спеть бы песню, да слов новых не знаю, а старые не по времени!

— Очень я новые слова полюбил. Только по простым делам не умею я их к слову сказать... Эти слова по новой жизни прикроены, шиты. Поверх лаптей не натянешь. А ты старую-то одежду поскидывай, вот и будут те слова впору.

— Эх, свобода манит! Только и ответ за нее на нас же лежит...

И так далее, и так далее. И — как заключение:

— Ничему старому не вернуться! Мы вот только попробовали по-новому жить, а уж от одних мыслей душе вольно. А что еще будет!

Избавляю читателей от дальнейших "записей" госпожи Федорченко. Одно скажу — очень ошибался покойный Арцыбашев: вот подобной, вот этой "безграмотной ерундой" мы всегда весьма охотно пользовались, и госпоже Федорченко еще предстоит большая слава!

ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ

Развернул газету и прочел:

— "Лондон, 14 июня. Внезапно скончался знаменитый английский писатель, юморист Джером К. Джером..."

Кто из русских не читал Джерома? Но не думаю, чтобы многие могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве — и в числе их я.

Я в Англии был всего один раз. Я совершил на своем веку многие странствия, но все больше к югу, к востоку. Север всегда немного пугал меня. Пугала и Англия, ее туманы, дожди. Теперь я и от севера не отказался бы, но — как бы это сказать помягче? — стал "вреден север для меня". Теперь нужен счастливый случай, чтобы нашему брату попасть за границу. И такой счастливый случай неожиданно представился мне три года тому назад: лондонский PEN Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества и так далее. Хлопоты насчет визы и расходы клуб взял на себя — и вот я в Лондоне.

Поездку мою можно было бы описать весьма забавно, Джером Джером мог бы сделать из нее пресмешной рассказ. Представьте себе человека, который довольно основательно отвык от поездов-люкс, от пульмановских вагонов, от палас-отелей и вновь попадает в этот мир уже с некоторой неловкостью, робостью... Правда, я не из очень робких и неловких, ну, а если взять именно робкого и неловкого? Да и английские нравы недурной сюжет для юмористического рассказа. Возили меня в очень разнообразные дома — и в самые современные, и в старинно-английские — но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни

обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающий, истинно как геенна огненная, камин, а с другой — холод, заставляющий думать о северном полюсе, о северных сияниях, об оленях и самоедских чумах! Было, кроме того, у меня в Лондоне и еще одно забавное приключение. Нужно мне было повидать одного знакомого, нашего бывшего лондонского консула. Спускаюсь в вестибюль отеля и прошу портье, чтобы мне позвали такси и приказали ему отвезти меня в русское консульство. Через минуту машина у подъезда. Выхожу, сажусь и еду — весьма рассеянно, кстати сказать, ибо замучен своей славой, всеми этими обедами, визитами уже довольно серьезно. В рассеянности и приезжаю — и вижу огромные ворота, огромный двор за ними и столь же огромное здание во дворе. Вылезаю и спокойно направляюсь к нему, вхожу в какую-то канцелярию и обращаюсь к какому-то жирненькому молодому человеку, лысеющему брюнету в лаковых ботинках, с круглой и бритой физиономией:

— Скажите, пожалуйста, могу я видеть господина Ону?

Я обратился весьма, даже необыкновенно вежливо, но, Боже, что произошло тотчас же вслед за этим и как молниеносно разыгралось! Молодой человек вдруг вскакивает, точно ужаленный:

— Как Ону? Какого Ону? Но мы его сместили еще в декабре семнадцатого года!

И, как ужаленный, вдруг отскакиваю и я от него:

— Кто *"вы"*? Да куда я попал? Ах, вот оно что! Тьфу, ну, и занесло же меня в заведение!

— Вы не имеете права здесь плевать, это не заведение, милостивый государь!!

— Что? Не имею права? —

И, неожиданно даже для самого себя, я кончил такими трехэтажными словесами, что даже советский молодой человек остолбенел, опешил...

А с Джеромом я познакомился так:

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много людей из артистического мира. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко, и милые хозяева вдруг взяли да и распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал и кинулся по лестнице спасаться в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услыхал за собой какие-то радостные и восторженные восклицания: оказалось, что неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел в комнату среди почтительно расступившейся публики и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую, красную руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально посмотрел мне в лицо.

— Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку. Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку — посмотреть какой вы, пожать вашу руку...

Это был плотный, очень крепкий и приземистый старик с красным и широким бритым лицом, с белоснежной головой, в просторном и длиннополом черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстуха, — настоящий провинциальный и старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не писателя со всемирной славой... Дай Бог ему мира и покоя!

"К ПИСАТЕЛЯМ МИРА"

"Группа русских писателей" прислала в Париж из России — *"с великим риском, с риском для жизни"*, по ее собственному выражению,— свой крик о спасении, обращенный "к писателям мира".

Представители великой русской литературы, внесшей в сокровищницу мировой литературы бесценные дары, влиявшие на жизнь всех цивилизованных народов, вопиют из той преисподней, в которую обращена ныне вся великая страна наша:

— "Почему вы, прозорливцы, проникающие в глубины души человеческой, в душу эпох и народов, вы, ухо, глаз и совесть мира, почему вы проходите мимо нас, обреченных грызть цепи нашей тюрьмы? Почему вы, воспитанные на творениях также и наших гениев слова, молчите, когда идет удушение нашей литературы в ее зрелых плодах и ее зародышах? Послушайте нас, откликнетесь! Нам нужна только ваша моральная поддержка, ваше моральное осуждение жесточайшей из деспотий, которой является коммунистическая власть в России. Ваш голос

нужен не только нам и России. Подумайте и о самих себе: с дьявольской энергией, во всей своей величине видимой только нам, ваши народы толкаются на тот же путь ужасов и крови, на который десять лет тому назад был столкнут наш народ. Мы лично гибнем. Многие из нас уже не в состоянии передать пережитый нами страшный опыт потомкам. Познайте его, изучите, вы, свободные! Сделайте это — *нам легче будет умирать.* Из нашей могилы заклинаем вас: вслушайтесь, вчитайтесь, вдумайтесь в наше слово!".

К писателям всего мира обращаюсь и я (и горячо зову присоединиться ко мне всех русских писателей, сущих в изгнании): да, вслушайтесь, вдумайтесь, отзовитесь на этот потрясающий вопль!

Семь лет, прожитых мною в Европе, целых семь лет с несказанным изумлением и ужасом восклицаю я внутренно: да где же вы, "совесть мира, прозорливцы", что же молчите вы, глядя на то, что творится рядом с вами, в цивилизованной Европе, в христианском мире?

Мы, писатели изгнанники, не раз пытались своими воплями заставить очнуться европейский мир, обезумевший и окаменевший в своих материальных расчетах. Слышали ли вы нас, "писатели мира"? У меня горит лицо от стыда за себя, за свою новую, может быть, напрасную попытку,— и все-таки я снова и снова говорю:

— Отзовитесь!

НАШ ПОЭТ

"После долгой и тяжкой болезни скончался в Гельсингфорсе молодой поэт и белый воин Иван Савин..."

И вот, еще раз вспомнил я его потрясающие слова, и холод жуткого восторга прошел по моей голове и глаза замутились страшными и сладостными слезами:

Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое!

Этот священный, великий день будет, будет и лик Белого Воина, будет и Богом, и Россией сопричислен к лику святых, и среди тех образов, из коих этот лик складывается, образ Савина займет одно из самых высоких мест. В ратной борьбе за Россию и за Белое Дело он проявил высшую доблесть и отвагу. Проявить себя в той же мере в поэзии он, всецело отданный воинскому труду, всем его тяжестям и ужасам, на

путях его всячески телесно искалеченный и погибший столь рано, конечно, не мог. Но все же то, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу и в русской литературе: во-первых, по причине полной своеобразности его стихов и их пафоса и, во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон, некоторые же вещи и строки — особенно.

Вот его последнее письмо ко мне, рисующее его здоровье и настроение:

— "Уже недели две тому назад получил ваше ласковое письмо. Так хотелось ответить сразу же, но написал несколько слов, и карандаш выпал из рук, мысль спуталась. Виновато в том мое "завоевание революции", периодические нервные припадки. Последний припадок был настолько силен, что вот уже больше месяца прикован к кровати..."

И далее:

"Пользуюсь первым же днем некоторого улучшения, чтобы ответить вам. Безгранично был тронут теплыми вашими строками. Словами этого не скажешь, да и вряд ли надо говорить. Но все же хочется мне, со всей искренностью и любовью к вам, сказать: когда я думаю о бездомном русском слове, которое тоже, как и все мы, стало "Божьим подданным", и думаю о России, какой-то знак неожиданного равенства падает между вами — и Корниловым: общим путем идете вы, крестящий словом, и Он, крестивший мечом... Вот почему доброе слово ваше о моем маленьком даре — это Георгиевский крест из рук Корнилова..."

Да, для него это было высшее сравнение — сравнение кого-нибудь с первым Вождем Белого Дела. Дорогой друг и соратник,— если только я смею сказать так,— он и не подозревал, какую честь оказывает он мне не только этим сравнением, но и тем, что это говорит он, Иван Савин, "маленький дар" и славная жизнь которого уже, наверно, переживут многих из нас в истории России, которой он всецело и с такой редкой красотой и страстью отдал все свое земное существование! Ибо в чем прошло оно, это краткое существование?

"Савину не было еще и 20 лет, когда он пережил трагизм первых лет революции, гражданскую войну и кошмарный плен у красных после падения Крыма... Юношей пошел он в добровольческую кавалерию и проделал всю геройскую эпопею в рядах Белгородских улан... В боях конницы Врангеля в Таврии он потерял своего последнего брата..."

Да, да:

В седле поднимаясь, как знамя,
Он просто ответил: "Умру..."
Лилось пулеметное пламя,
Посвистывая на ветру...

"Он испытал гибель почти всей своей семьи, лишения походов, трагедию Новороссийска... После Крыма он остался больной тифом на запасных путях Джанкойского узла — на растерзание от красных палачей... Глумления, издевательства, побои, переходы по снежной степи в рваной одежде, корка хлеба Христа ради, кочевание из Чеки в Чеку... Там погибли его братья Михаил и Павел... Два года в руках палачей — и наконец, спасение, бегство в Финляндию, где он отдает все свои силы литературной борьбе против большевиков..."

Автор некролога хорошо сделал, что напомнил, как сам Савин понимал эту борьбу. Савин, говорит он, был, по его собственному выражению, и в эмиграции одним из немногих "Господом поставленных на дозоре". Ныне Господь дал ему чистую отставку. Земно кланяюсь его могиле.

* * *

А вот одно из его посмертных стихотворений, никому, полагаю, еще неизвестное. Оно находится в том же его письме ко мне, о котором я только что говорил: "Посылаю стихотворение, посвященное вам, писал он. Кажется, оно слабо. Но позвольте все же привести его. Родилось оно на русской земле: минувшим летом, живя на границе Финляндии, буквально в двух шагах от нашей земли, я неоднократно переходил пограничную реченку..." Затем следуют строки, озаглавленные:

"У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ"

По дюнам бродит день сутулый,
Ныряя в золото песка.
Едва шуршат морские гулы,
Едва звенит Сестра-река.

Граница. И чем ближе к устью,
К береговому янтарю,
Тем с большей нежностью и грустью
России "здравствуй" говорю.

Там, за рекой, все те же дюны,
Такой же бор к волнам сбежал,
Все те же древние Перуны
Выходят, мнится, из-за скал.

Но жизнь иная в травах бьется
И тишина еще слышней,
И на кронштадтский купол льется
Огромный дождь иных лучей.

Черкнув крылом по глади водной,
В Россию чайка уплыла —
И я крещу рукой безродной
Пропавший след ее крыла.

САМОРОДКИ

Прочел "Роман без вранья" Мариенгофа, то есть его воспоминания о Есенине, и потом, как нарочно, новый "маленький фельетон" Дона Аминадо о самородках. Какой удивительный талант! Опять что ни слово, то золото:

Осточертели эти самые самородки
От сохи, от земли, от земледелия,
Довольно этой косоворотки и водки
И стихов с похмелия!
В сущности, не так уж много
Требуется, чтобы стать поэтами:
— Запустить в Господа Бога
Тяжелыми предметами.
Расшвырять, сообразно со вкусами,
Письменные принадлежности,
Тряхнуть кудрями русыми,
И зарыдать от нежности.
Не оттого, говорит, я хулиганю,
Что я оболтус огромный,
А оттого, говорит, я хулиганю,
Что я такой черноземный.
У меня, говорит, в одном нерве
И сказуемые, и подлежащие,
А вы, говорит, все — черви
Самые настоящие!

В самом деле, не довольно ли с нас, наконец, этих русых кудрей, рыданий от нежности после самого полосатого свинства и вообще "ищущих, протестующих, мятущихся душ"?

Пел в одесском порту "мальчонка":

Я мать свою зарезал,
Отца сваво убил,
А старшую сестренку
Невинности лишил —

Пел и захлебывался от восхищения самим собою, от умиления к самому себе, главное, к тому, что "пропал я, мальчонка, пропал навсегда!" И пришел Горький и сделал из этого острожного лирика соль земли, и мы двадцать лет надрывались от восторга перед Горьким и перед его героем, равно как и перед прочими "скитальцами", оравшими на нас: "вы жабы в гнилом болоте!" и вообще "запускавшими тяжелые предметы" не только в Господа Бога, но и во вся и во всех. После того, как вся эта братия, во главе "великой и бескровной", камня на камне не оставила от всех наших "идеалов и чаяний", перебила нас сотнями тысяч, на весь мир опозорила Россию, довела ее до пожирания трупов и нечистот, мы как будто опомнились. Но точно ли опомнились? Думаю, что не очень, думаю, что Дон Аминадо не напрасно кричит: довольно, дорогие соотечественники, довольно!

Второе тысячелетие идет нашей культуре. Был у нас Киев, Новгород, Псков, Москва, Петербург, было изумительное зодчество и иконописное искусство, было "Слово о полку Игореве", был Петр Первый и Александр Второй, мы на весь свет прославились нашей музыкой, литературой, в которой был Ломоносов, Державин, Кольцов, Пушкин, Толстой... Но нет, нам все мало, все не то, не то! Нам все еще подавай "самородков", вшивых русых кудрей и дикарских рыданий от нежности. Это ли не сумасшествие, это ли не последнее непотребство по отношению к самому себе? Вот в Москве было нанесено тягчайшее оскорбление памяти Пушкина (— вокруг его памятника обнесли тело Есенина,— то есть оскорбление всей русской культуре). А как отнеслась к этому русская эмиграция? Отнеслась как к делу должному, оскорбления никакого не усмотрела. Большинство пошло даже гораздо дальше: стало лить горчайшие слезы по "безвременно погибшей белой березке", в каковую превратило оно Есенина, произведя этого маляра (правда, от природы весьма способного) чуть не в великого художника и убедив себя (в который уже раз?), что Есенины и есть подлинная соль русской земли, самый что ни на есть основной русский дух.

Дело, конечно, не в Есенине и не в Есениных, а в нашем отношении к ним, к тому, из чего состоят они. Дело в очень

серьезном вопросе, вытекающем из этого отношения: так что же,— значит, нам и наше десятилетнее пребывание в Европе не помогло и нас опять тянет на сиволдай, на самогон, и мы именно на него, на этот сиволдай, на самогон и должны равняться? А если так, если, например, этот самый Есенин со всеми его качествами есть и в самом деле "наш национальный поэт" (как уже сто раз писалось в эмигрантских газетах), чего же нам, позвольте спросить, воротить рыло и от большевизма?

В.Ф.Ходасевич недавно напечатал в "Возрождении" статью по поводу "Романа без вранья" Мариенгофа и по поводу Есенина, героя этого романа. Статья прекрасная, но все же я совсем не согласен с основной ее мыслью, будто в "трагедии" и во всех качествах Есенина виновата "цыганская власть", как называет Ходасевич власть большевистскую. Нет, "трагедия" Есениных и сами Есенины страшно стары, на тысячу лет старше большевистской власти, так стары и банальны со всей своей то острожной, то писарской лирикой, что просто уже тошнит от них. "Власть, Чека покровительствовала той банде, которой Есенин был окружен... которая была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу..." Все так. Еще в "Бесах" было это предусмотрено: "Нам каждая шелудивая кучка пригодится..." Но разве "шелудивую кучку" оправдывает то, что ею пользуются? Большевистской власти, конечно, было очень приятно, что Есенин был такой хам и хулиган, каких даже на Руси мало, что "наш национальный поэт" был друг-приятель и собутыльник чекистов, "молился Богу матерщиной", по его собственному выражению, Европу и Америку называл "мразью", и в то же время наряжался в шелковое белье на счет американской старухи, мордуя ее чем попадя и где попало, и вообще по всему свету позорил русское имя. Но что ж с того, что большевикам все это было приятно? Тем хуже для Есенина. Он талант, трагическая натура, и посему ему все прощается? Но талант у него был вовсе не такой, чтобы ему все прощать, а "трагедия" его стара, как кабаки и полицейские участки. Ведь и до Есенина был вышеупомянутый "мальчонка", ведь и до него пели: "Я мою хорошую в морду калошею", и во веки веков процветала на Руси белая горячка, в припадках которой и вешаются, и режутся. И думаю, что все это отлично знают все проливающие слезы над "погибшей белой березой". А если знают, то почему же все-таки проливают? А потому, очевидно, что и до сих пор сидит в нас некое истинно роковое влечение к дикарю и хаму.

Один писатель как-то жаловался Чехову:

— Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексия заела!

Чехов сумрачно ответил ему:

— А вы поменьше водки пейте.

"Рефлексия", тоска, "надрывы", гражданская скорбь... Помню, мы не раз беседовали об этом с Чеховым, и он упорно твердил:

— "Как врач вам говорю: это все от некультурности. Державин, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Тютчев, Майков и все прочие, подобные им, не пьянствовали и не надрывались. А вот как пошли разночинцы, все эти Левитовы, Нефедовы, Омулевские, так и пошла писать губерния..."

Кстати: в нынешнем году исполняется, кажется, сорок лет с тех пор, как погиб один из замечательных русских писателей, принадлежащий к числу тех, кого упоминал Чехов,— Николай Васильевич Успенский. В шестидесятых и семидесятых годах он занимал в литературе одно из самых видных мест, и совсем не в силу каких-нибудь посторонних обстоятельств, а исключительно в силу своего очень большого художественного таланта. Однако, он сделал, кажется, буквально все, что от него зависело, чтобы погубить и свою славу, и свой талант. Он быстро бросил работать, стал пьяницей и бродягой, писать стал как попало и что попало и кончил свое ужасное существование в Москве на улице: перерезал себе горло бритвой. Существование это было, действительно, ужасное и позорное. Мы были с ним земляки, и я о нем много наслышался в Ефремове (уездный город Тульской губернии) и в деревнях Ефремовского уезда, а потом от его тестя и тещи. Эти последние (поп и попадья) жили от нас в верстах тридцати. Узнав о смерти Успенского, я, с мальчишеской горячностью, тотчас же поскакал к ним. Батюшка принял меня ласково, но от разговоров о зяте уклонился, поспешил уйти на пасеку. Зато матушка,— с которой Успенский долго жил как муж с женой,— проявила редкую откровенность:

— Да, сказала она, это все правда, что говорят и говорили о Николае Васильевиче. Несколько лет тому назад он явился к нам вполне босяком, поселился у нас и вскоре увлек и обесчестил мою дочь,— назло мне, как он сам выразился. Назло за что? Но он и сам этого не знал: просто, говорит, захотелось сделать гадость и все тут. Затем он на ней женился, свел ее в гроб, а девочку, прижитую с ней, увел с собой, уходя от нас. Жил он тем, что потешал купцов, мещан и мужиков всяким шутовством, игрой на гармонике, тем, что заставлял своего несчастного ребенка плясать под гармонику и приго-

варивать всякую похабщину. Он иногда даже брал ее, как щенка, за шиворот и, на забаву мужикам, бросал в реку, в пруд. Вот, говорил он, вы сейчас увидите, православные, образец рационального воспитания,— и трах ребенка в воду! Бог ему судья, замечательный, но ужасный был человек. Тургенев, желая его спасти, целое имение ему подарил. Так нет — он и имение бросил. Оскорбил ни за что, ни про что Тургенева и опять ушел шататься...

И еще кстати о Левитове. Теперь и Левитова никто не знает, не помнит, а меж тем и он когда-то гремел и опять с полным основанием, так как тоже обладал замечательным талантом: из того, что он написал и напечатал, по крайней мере, треть принадлежит к истинным перлам русской литературы. Но и Левитов погиб в белой горячке в одной из московских больниц. И Левитов был горький пьяница и бродяга. И его сто раз пытались (совершенно тщетно, разумеется) спасти, устроить. Я знал одного из этих спасителей, и он мне рассказывал:

— Я однажды Левитова подобрал в такой грязи, в такой нищете, которой вы представить себе не можете. Он у меня отдышался, отъелся, я его одел, обул, предоставил ему прекрасную комнату, снабдил карманными деньгами,— мол, живи, сколько хочешь, поправляйся, работай... И чем же он мне отплатил за все это? Выхожу раз утром, а он ходит по гостиной, куда только что поставили новую шелковую мебель,— и мочится на кресла, диваны... Увидал меня и сделал этак ручкой: "Вот вам, говорит, полюбуйтесь на свою мебель!" А затем вышел в прихожую, взял свой картуз и палку — и исчез...

Впрочем я, конечно, не сравниваю Успенских с Есенинами,— разница между ними безмерная. Все, мною рассказанное о Левитове и Успенском, сущие, конечно, пустяки по сравнению с той чудовищной низостью, до которой дошли прозаики и поэты из острожников и полотеров. Мы о них уже много наслышались и начитались. Например, мы читали в "Современных записках" статью Ходасевича все о том же Есенине, где, между прочим, рассказывается, что у Есенина, в числе прочих способов обольщать девиц, был и такой: он предлагал девице посмотреть расстрелы в Чека,— я, мол, для вас легко могу устроить это. Но все-таки рекомендую непременно прочитать "роман" Мариенгофа. Как документ, это самая замечательная из всех книг, вышедших в России за советские годы. Мариенгоф сверхнегодяй — это ему принадлежит, например, одна такая строчка о Богоматери, гнуснее которой не было на земле никогда. Но чудовищный "роман" его очень талантлив,

действительно лишен всякого вранья и есть, повторяю, драгоценнейший исторический документ.

Я приведу из него всего несколько строк, сравнительно невинных, но все-таки удивительно постыдных для почитателей Есенина: о том, как жулики гримируются под самородков, и сколь уже не ново это искусство. Есенин, в зависимости от необходимости, то воспевавший сладким тенором Иисуса, то с балаганно-наигранной удалью "крывший матом" все и вся на земле и на небе, поучает Мариенгофа, как надо делать поэтическую карьеру:

— Так, с бухты-барахты, не след лезть в русскую литературу, Толя, искусно надо вести игру и тончайшую политику. Трудно тебе будет в лаковых ботиночках. Разве можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брюках из-под утюга? Вон, смотри — Белый. И волос уж седой, и лысина, а даже перед свой кухаркой, и то вдохновенно ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Да и вообще каждому надо поставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас всходил? Тут, брат, дело надо было вести хитро. Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Один говорит, что это его, Есенина, в литературу ввел Городецкий, другой — что это ввел Клюев, третий — что это Сологуб, четвертый — что это Мережковский, Гиппиусиха, Блок... А я со всеми соглашаюсь: ввел, ввел... Все на меня в лорнеты,— "ах, как замечательно, ах, как гениально" — а я-то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости! Потеха! Знаешь, я никогда в жизни не носил таких рыжих сапог и такой драной поддевки, в какой перед ними предстал. Говорю, еду в Ригу бочки катать, жрать, мол, нечего. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел,— не надо ли, мол, чего покрасить,— и давай кухарке стихи читать. А кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнаты, а поэт-то упирается: где уж, мол, нам в горницу, креслица барину перепачкаю, пол вощеный наслежу... Барин предлагает садиться,— Клюев опять ломается, мнется, да нет, мол, мы постоим... Так, стоя в кухне, и читал ему стихи...

— Тут, рассказывает Мариенгоф, Есенин помолчал, глаза его обернулись в серые, злые. "Меня, продолжал Есенин, недели три по салонам таскали, я им похабные частушки распевал под тальянку... Ух, как ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!"

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ "ЛИТЕРАТУРНОЙ НЕДЕЛИ" "ДНЕЙ">

1. Что вы думаете о художественной литературе в Советской России?

2. *Каких беллетристов, работающих в Советской России, вы считаете людьми талантливыми или подающими надежды?*

Думаю, что для людей, мало-мальски понимающих, что такое художество, и не раздувающих "советскую" литературу с посторонними целями, о ней не может быть двух мнений: в общем она очень горестна, да и не может быть иной.

Среди "советских" (разумея новых, "молодых") писателей есть люди от природы способные, но ведь почти все они люди некультурные, самомнительные, притязательные, всячески (и больше всего своим рабством) развращаемые, принужденные постоянно дышать невероятной вульгарностью, грубостью, лживостью и бессовестностью, которой отравляет воздух России ее до противоестественности подлая власть.

Желаю им как можно скорее избавиться от нее.

ПРОКЛЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Письмо <в редакцию>

Дорогой Петр Бернгардович!

Я слишком поздно получил Ваше письмо, Вашу просьбу отозваться на "проклятое", по Вашему выражению, десятилетие, которое будет на днях "праздновать" Россия. Кроме того, что я могу сказать? Все слова давно сказаны и мое отношение не только к большевикам, но и ко всей "великой и бескровной" хорошо известно. Я лишь могу еще раз всеми силами души присоединиться к великому хору проклятий этому десятилетию, ибо все-таки найдутся, слава Богу, миллионы не только русских, но и вообще человеческих душ, которые паки и паки проклянут этот юбилейный день, да, может быть, и день собственного рождения в том мире, где оказалось возможно такое десятилетие, подлее и преступнее которого не было еще в нем с самого его сотворения.

Да помянет Господь всех убиенных в эти годы, да благословит Он всех погибших и боровшихся за Россию и за подобие Божие данное человеку: не будь их, усумнилась бы душа в этом подобии и со страхом отреклась бы от принадлежности к России.

Обнимаю Вас с сугубой сердечностью, дорогой друг и соратник!

Ваш Ив. Бунин

17—30 октября 1927 года.
Приморские Альпы.

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ О 10-ЛЕТИИ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА>

1. Что стоило русскому народу 10-летие большевистского владычества?

2. *Почему большевики могли просуществовать в России 10 лет?*

3. *Куда идет Советская Россия? К социализму или капитализму? К республике, к монархии или к усовершенствованной советской системе?*

4. *Каким образом и когда кончится господство большевиков в России?*

1. Даже и счесть невозможно. О том, насколько и материально и морально поразил — и, может быть непоправимо — Россию большевизм, надо написать томы.

2. В силу множества причин, множества условий, сложившихся для большевиков сказочно благоприятно — даже и в мировом масштабе. Мир, кажется, никогда еще не был так бесстыден, бездушен, низок, недальновидно жаден, бессмысленно враждебен (корыстен) к России, легкомыслен насчет своего собственного будущего, слаб в смысле "управления массами". Поддерживает большевизм и сама Россия, где хозяин дня — чернь и полудикари. Да совершенно изумительно и то, чем обладают нынешние владыки России — их подлость, свирепость, сатанинская неутомимость...

3. А куда идет весь мир? Россия же идет уж, конечно, не к социализму и не "к усовершенствованию советской системы". Она бы и "усовершенствовалась" — и может быть прежде всего затем, чтобы надежнее существовать, свободнее пользоваться награбленным, быть признанной уже всем миром, примирить с собой всех "левых", всех Кусковых и Мартовых — да это значит ослабить вожжи, а ослабить их опасно, так что получается заколдованный круг.

4. Дело идет все-таки к взрыву, который может вспыхнуть из копеечной свечи. Республика, монархия? Вероятнее всего сначала будет какая-нибудь военная диктатура — дня и часа которой, конечно, не угадаешь — потом что-нибудь вроде "совета

десяти" (из железных дельцов, бывших "спецов")... Впоследствии не исключена и монархия... Говорить, что "к прошлому возврата нет" могут только люди или хитрящие, или глупые, или не знающие истории России.

ЗАМЕТКИ

Личная жизнь, благородные протесты против вторжения в нее...

Недавно, например, была пылкая статья Талина в "Посл<едних> нов<остях>" по поводу якобы "сыска", произведенного г. М. в "Возрождении", почему не едет в Россию Горький, затем большая брань в "Воле России" по моему адресу за то, что я коснулся Дункан и Есенина... Но вот в чем вопрос: где дозволенные границы этого вторжения и почему можно вторгаться в одну личную жизнь, а в другую нельзя?

Увы, есть много личного, во что некоторые без конца вторгались и вторгаются.

Много, например, уделяли внимания тому, что Толстой ел яйца и что овсянку ему подавал лакей.

Что Александр Третий пил водку и что вообще "деспоты" все пировали, "тревогу вином заливая".

Что Пушкин (тот самый, на которого так любят ссылаться протестанты) жил со свояченицей, а Байрон с родной сестрой.

Что Некрасов играл в карты и поэтому был вовсе не "печальник о горе народном".

Что Екатерина Великая была любвеобильна.

Что Распутин будто бы позволял себе во дворце то-то и то-то, а Вырубова была к Распутину неравнодушна.

Что Шаляпин стоял на коленках перед царем.

Что принцесса, выходящая замуж за Зубкова, омолаживалась...

После всего этого почему же нам не интересоваться "личной" жизнью Коллонтай, Каменевой, Луначарского, карманами Красина и Раковского, прогрессивным параличем Ленина, тем, как плясала и как вообще "жила и работала" Дункан в Москве в те самые дни, когда люди с голоду ели нечистоты и трупы, как дебоширил и франтил "рабоче-крестьянский поэт" Есенин и почему Горький, на весь мир вопиящий о рае в Совдепии и всех туда зазывающий, сидит в Сорренто?

Я вполне понимаю неприкосновенность некоторых сторон личной жизни и никогда бы не позволил вмешиваться без нужды в мою, например, личную жизнь. Ну, а если бы я,

эмигрант, враг большевиков, вдруг попил бы чайку на улице Гренель? Разве я отказал бы Талину вправе осрамить публично вот эту мою "личную" жизнь, мое "личное" чаепитие?

И особенно нелепа тут щепетильность по отношению к Горькому. Да ведь на его "личном" основана почти вся его слава! Он своим "личным" торговал с самого первого дня всей своей скандальной карьеры. Разве не от него самого слышим мы чуть не каждый день и до сих пор стоеросовые сказки о его будто бы злосчастном, усеянном тысячами приключений и профессий детстве, о его смехотворно-несметных скитаниях и встречах в юности, о его мнимом босячестве, о том, что он стрелялся в правое легкое и что мужики будто бы отбили ему левое, что он болен уже лет сорок пять чахоткой и что каждый месяц паки и паки ложится на смертный одр, хотя здоровьем он, по-моему, обладает поистине редким, таким, что я, близко знавший его чуть не четверть века подряд, всегда только дивился ему...

Кстати, — опять приходится отметить одну новую выходку его. В газетах напечатано, что были недавно у него в гостях два советских писателя. Слово за слово, а он все покашливает.

— Что это с вами, Алексей Максимович?

А он с этаким невинно-беззаботным видом:

— Да ведь у меня левое легкое отбито... Я в молодости попал раз в одну деревню, а там мужик свою жену догола раздел, запрег в телегу и кнутом дерет, а вся деревня стоит и восхищается. *Тут же и поп. Я к нему: что ж вы, мол, не вмешаетесь? — и это самое... в ухо дал ему... Ну, мужики и избили меня за него...*

Можно ли представить себе что-нибудь постыднее этого "личного"?

ДОН-АМИНАДО

"Наша маленькая жизнь". — Изд. Поволоцкий и К°. Париж, 1927 г.

Меня не раз спрашивали, что я думаю о таланте этого писателя, то есть, кто такой этот писатель: просто ли очень талантливый фельетонист или же больше, — известная художественная величина в современной русской литературе?

Мне кажется, что уже самая наличность этого вопроса предрешает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным

работником, а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение.

И вот я с удовольствием пользуюсь случаем сказать, что это чувство совершенно справедливо.

Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах) и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту, — художественному, а не только газетному, злободневному.

ЗАМЕТКИ

С месяц тому назад в газете "Возрождение" появилась статья З.Н.Гиппиус, в которой она заявила, что левые и правые пути изжиты и что нужен некий третий путь. Это вызвало несколько резких замечаний в левых газетах: знаем мы, мол, этот третий путь — Гиппиус просто свернула направо, иначе как бы она могла появиться в "Возрождении"?

В статье Гиппиус было твердое заявление: "Я только с теми, кто признает, приемлет февральскую революцию..." Она говорила, что "белая" борьба была борьба святая, но что она, все-таки, всегда плохо верила в ее добрые результаты и что теперь — канун ей и ладан.

Но все это ничуть не помогло — левым было важно только то, что статья появилась "в органе определенного политического направления", то есть правого. И казалось, что левые действительно не далеки от истины: ведь, все-таки, "Возрождение" — не "Дни", все-таки, плохо верилось, что пора переименовать "Возрождение" в "Третий путь", раз туда только что вошел такой определенный правый, убежденный монархист, враг революции, как Н.Н.Львов, уже напечатавший в "Возрождении" две горячих хвалебных статьи памяти П.А.Столыпина, а на днях — свою монархическую речь, сказанную в Российском центральном объединении, которое он возглавляет вместе с А.О.Гукасовым. Но, меж тем, что же, все-таки, вышло?

Вышло большое недоразумение. З.Н.Гиппиус напечатала в "Возрождении" (в пятницу 30 декабря) новую статью, в которой она неопровержимо доказала левым свою несостоятельность их подозрений. Она говорит, что если бы им серьезно предложить теперь вопрос, в чем они видят правизну "Возрождения" они, пожалуй, не сразу бы ответили. "Вот, если бы, говорит она, в газете была интервенция, Вождь, Ильин, Шульгин, Струве, тогда было бы другое. Но, ведь, теперь она ни Шульгина, ни Струве в себе не содержит..."

И далее: "Теперь "Возрождение" уже освободилось от своего вождя и верных его последователей... Я в нем провожу с точностью свою прежнюю политическую позицию, — ту же, которую проводила и в "Последних новостях" до моего отхода от них, вследствие моих разногласий с Милюковым из-за непримиримости к большевизму..."

И далее — еще тверже: "Редакция "Возрождения" сочла напечатание моей статьи "Третий путь", — статьи, если угодно, программной, — делом возможным... и это освободило меня от сомнений, действительно ли в газете произошли перемены с уходом Струве..."

В самом деле — шутка ли: оказывается, что статья З.Н.Гиппиус была даже программной! Случилось, повторяю, полное недоразумение, о коем я и считаю своим долгом предупредить читателей "Возрождения": все-таки, помните же, господа, что вы теперь читаете совсем другую газету, чем прежде, — не ставьте себя в глупое положение!

<ОБРАЩЕНИЕ К РОМЕНУ РОЛЛАНУ>

Я бесконечно обязан "L'Avenir", позволившему мне присоединить эти несколько строк к сильному и благородному письму Бальмонта, к горьким упрекам, с которыми он обращается к знаменитому французскому писателю Ромену Роллану, считающемуся одним из самых страстных поборников свободы и человеколюбия, а проявляющего себя другом банды разбойников и злодеев, которые вот уже десять лет как опустошают и истощают Россию и унижают человеческое достоинство как никогда со времен сотворения мира.

Может быть мои слова дойдут до Ромена Роллана; может быть, вместе со словами других русских писателей-эмигрантов, они заставят его серьезно задуматься над тем, что происходит на русской земле вот уже десять лет. Он ценит талант некоторых писателей из нашего круга, я это знаю. Он соблаговолил направить мне несколько писем, в которых оказал любезность назваться моим "искренним поклонником"; в частности, в июне 1922 года он мне написал:

"Вероятно, что многие идеи нас разделяют или, скорее, в соответствии с мировыми стандартами, должны бы нас разделять. Мне, со своей стороны, до этого нет дела. Я вижу лишь одну вещь: гениальную красоту ваших рассказов и обновление Вами этого жанра русского искусства, уже столь богатого, сущность и форму которого вы находите способ еще обогатить..."

Возможно ли мне после подобных слов не питать некоторую надежду увидеть определенным образом возрастающее доверие Ромена Роллана к моему мнению о власти, именуемой "советской", которую он только что поздравил не без некоторых расплывчатых оговорок с десятой годовщиной ее злодейских и жестоких деяний? Неужели он всерьез полагает, что мы все, русские писатели-эмигранты, являемся просто-напросто тупыми реакционерами, и это несмотря на нашу литературную ценность? Как он заблуждается!

Если некоторые из нас ненавидят русскую революцию, это единственно потому, что она чудовищно оскорбила надежды, которые мы на нее возлагали; мы ненавидели в ней то, что мы всегда ненавидели и будем ненавидеть и впредь: тиранию, произвол, насилие, ненависть человека к человеку, одного класса к другому, низость, бессмысленную жестокость, попрание всех божественных предписаний и всех благородных человеческих чувств, короче говоря, торжество хамства и злодейства.

"Вероятно, что много идей нас разделяет..." Увы! С глубокой болью, с содроганием я констатирую в данный момент, насколько Ромен Роллан был прав!.. Все же, я не теряю надежды увидеть его, отвергнувшего "идеи", которые сегодня так глубоко разделяют нас.

ЧЕХОВ

Однажды он (по своему обыкновению, совершенно внезапно) сказал мне:

— Знаете, какая, несколько лет тому назад, была история со мной?

И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: "Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России!" — И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: "И он..."

Многим это покажется очень странным, но это так: он очень не любил актеров, говорил о них:

— На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества! Пошлые и насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова.

— Позвольте, — возразил я, — а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

— Мало ли что приходится писать в письмах, в телеграммах. Мало ли что говоришь иногда в лицо человеку. Людей не надо обижать...

— И заметьте, — прибавлял он, хохоча, — как всегда говорят про умерших, прежних актеров: "Нет, батюшка, таких великанов, как были когда-то, теперь уж нет!" Так, может быть, и про Соловцова будут говорить...

И помолчав, с новым смехом:

— И про Художественный театр...

Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонаций, сказал:

— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов...

Теперь он выделен. Но, думается, и до сих пор не понять, не почувствовать как следует: слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная, застенчивая даже, и воедино слитая с редким по остроте умом. Всегда было много крикливых людей, теперь их особенно много. А он был из тех, о ком сказал Саади: "Тот, у кого в кармане склянка с мускусом, не кричит о том на всех перекрестках: за него говорит аромат мускуса"... Я писал, что никогда ни с кем не был он дружен, близок по-настоящему. Теперь это подтверждается. Замечательная есть строка в отрывках из его записной книжки:

— Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноко.

В ту же записную книжку он занес такие мысли:

— Когда порядочный человек относится критически к себе и к своему делу, то ему говорят: "нытик, бездельник, скучающий".

— Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!

— На одного умного полагается 1.000 глупых, на одно умное слово приходится 1.000 глупых, и эта тысяча заглушает.

Его заглушали долго, распознавать стали поздно. До "Мужиков", далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор

"Винта", "Жалобной книги". Люди "идейные" интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, — помню, как некоторые из них искренно хохотали надо мной, юнцом, когда я осмеливался сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут они человека, начавшего писать под именем Чехонте: "Нельзя представить себе, — говорили они, — чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой". В среде литературной отношение к нему было иное, там его *некоторые* высоко ставили, но тоже с оговорками. А сам он даже и это признание отрицал.

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после "Мужиков" заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запоминались: "22 несчастья", "глубокоуважаемый шкап", "человека забыли"... Да и о пьесах-то своих был он, думается, не очень высокого мнения. Часто говорил:

— Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург — Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри.

Долго иначе и не называли его, как "хмурым" писателем, "певцом сумеречных настроения", "больным талантом", человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно. Он часто возмущался этим:

— Какой я "хмурый" человек, какая "холодная кровь", какой такой пессимист?

Теперь без всякой меры гнут палку в другую сторону, треплют фразу о "небе в алмазах"... Твердят: "чеховская нежность и теплота", "чеховская любовь к человеку", "певец вишневых садов"... И читать все это нестерпимо. Если случалось, что бездарный человек пускался при нем характеризовать кого-нибудь, он не знал куда глаза девать от стыда за этого человека. Что же чувствовал бы он, читая про свою "нежность"! Очень редко и очень осторожно следует употреблять это слово, говоря о нем. Еще более были бы противны ему эти "теплота и грусть". А ведь идут еще дальше: его, воплощенную сдержанность, твердость и ясность, сравнивают иногда с Комиссаржевской!

Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон, говорят удивительные вещи. Елпатьевский дает такой

образ: "Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям... Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами..." Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как "простота и задушевность", приписывает ему "печаль о призраках".

Прост, точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, пошлое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно — всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

К "высоким" словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем. "Однажды, — рассказывает автор этих воспоминаний, — я пожаловался Антону Павловичу: "Антон Павлович! Что мне делать! Меня рефлексия заела!" И Антон Павлович ответил мне: "А вы поменьше водки пейте".

Может быть, в силу этой ненависти к "высоким" словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами.

— Это стоит всего Уреииуса со всеми его потрохами, — сказа он однажды, вспомнив "Парус" Лермонтова.

— Какого Уреииуса? — спросил я.

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса, — сказал он серьезно. — Вот ему бы в Одессе жить. Там же думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства, — каждую минуту сапоги можно почистить...

Вспоминаю с великим удовольствием еще и то, что он терпеть не мог таких слов, как "красиво", "сочно", "красочно".

— Хорошо у Полонского сказано, — говорил я: — "красиво уже не красота".

— Чудесно! — соглашался он. — А "красочно" — ведь они же не знают, что у художников это бранное слово.

Представители того "нового" искусства, которое так хорошо назвал "пересоленной карикатурой на глупость" Толстой, были

ему смешны и противны. Да и мог ли он, воплощенное чувство меры, благородства, человек высшей простоты, высшего художественного целомудрия, не возмущаться этими пересоленными карикатурами и на глупость, и на величайшую вычурность, и на величайшее бесстыдство, и на неизменную лживость! Часто говорил он в суровом и грустном раздумье:

— Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!

— Литература?

— И литература.

Про московских модернистов, "декадентов", как называли их, он однажды сказал:

— Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать...

— Нет, все это новое московское искусство — вздор, — говорил он. — Помню, в Таганроге я видел вывеску: "Заведение *искусственных* минеральных вод". Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним... Редкая и прекрасная черта!

Всегда со всеми он был любезен, с некоторыми очень ласков. Но и тех и других неизменно держал на известном расстоянии от себя, ничуть не подчеркивая этого и однако внушая всем (за исключением, конечно, самых тупых) почтение к себе, некоторым даже робость.

Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико, но ему не нужно было стараться проявлять его, — оно исходило от него, как некий радий.

Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:

— Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича Чехова, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений...

Побледнев, Чехов встал и вышел. И много раз с негодованием рассказывал об этой истории.

Я подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра пораньше.

Голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, суховато, как бы бормоча: трудно было иногда понять, искренно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:

— Ну, убедительнейше вас прошу! Если вам будет скучно со "старым, забытым писателем", посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц... Будем говорить о литературе...

Я очень любил его, эта настойчивость была приятна. Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал великое множество. Изредка в них попадалось кое-что и обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:

— Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали...

Случалось, что во мне находили "чеховское настроение". Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали "тургеневскими нотами". Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: "море пахнет арбузом"... Это чудесно, а я бы ни за что так не сказал. Вы же дворянин, последний из "ста русских литераторов", а я мещанин "и горжусь этим", — говорил он, смеясь, цитируя самого себя. — Вот про курсистку — другое дело...

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна...

Вот такие выдумывания художественных подробностей и сближали нас, может быть, больше всего. Он был жаден до них необыкновенно, мог два-три дня подряд повторять с восхищением удачную художественную чер<ту>.

Раз он купил книжечку, составленную из некоторых произведений Андреева и моих, с пышным заголовком ("Восходя-

щие звезды") и с нашими портретами на обложке, — ездил на набережную и возвратился усталый, с зелено-серым лицом, с пепельными губами, но с затаенным блеском в глазах, в том внутреннем возбуждении, которое вспыхивало в нем порою по самому ничтожному поводу, означая, что этот ничтожный повод был толчком для творческой игры его мысли, пробудил того Чехова, который когда-то сказал в молодом задоре Короленко: "Хотите напишу рассказ вот про эту пепельницу?" И как молодо хохотал он в этот день, фантазируя, с каким благоговением могут читать эту книжечку где-нибудь в Мариуполе, Бердянске, и глядя то на мой портрет, — я вышел щеголеватым брюнетом, — то на портрет Андреева в поддевке:

— Это французский депутат Букишон, а это казак Ашинов...

Помню еще, как смеялся он, когда я рассказал ему однажды о нашем сельском дьяконе, до крупинки съевшем на именинах моего отца фунта два икры. Этой историей он начал свой рассказ "В овраге".

Он любил повторять, что, если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе и говорил:

— Ровно сто сюжетов! Да-с, мил-сдарь! Не вам чета, молодым! Работник! Хотите, парочку продам?

Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он с радостными, блестящими глазами быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина.

Один писатель жаловался, что ему до слез стыдно, как слабо, плохо он начал писать.

— Ах, что вы, что вы! — воскликнул Чехов. — Это же чудесно — плохо начать! Поймите же, что если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, — ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди *способные*, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность чаще всего равняется умению приспособляться и живет она легко, а талант растет, как все живое, постепенно ищет проявить себя, сбивается с пути...

— Ах, с какой чепухи я начал, Боже мой, с какой чепухи! — говорил он.

Если бы он даже ничего не написал, кроме "Скоропостижной конской смерти" или "Романа с контрабасом", то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую глупость, нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум "по всем жилушкам переливается". И сам он чрезвычайно ценил этот талант, талант глупости, шутки, и тех, которые быстро улавливают шутку:

— Да-с, это уже вернейший признак: не понимает человек шутки, — пиши пропало!

— А чаще всего, — сказал я однажды, — страдают этим женщины. Кажись, и умна, а не понимает.

— Ах, да, да. И знаете: это уж не настоящий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.

По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый честный народ.

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порою, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большие, сухие, приятные.

Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.

В основе его натуры, повторяю, лежала жизнерадостность. Как только чувствовал он себя мало-мальски сносно, он преображался.

Но помню и его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не "грусть", не "теплоту", не "задушевность".

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные, густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад, вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то спокойно думая. Сидит так час, полтора...

Была ли в его жизни любовь страстная, "романтическая", слепая?

Думаю, нет. И это очень знаменательно. А жаждать такой любви он, несомненно, мог. Удивительно знал он женское сердце, тонко и сильно чувствовал женственность, много было любивших его, и редко кто умел так, как он, говорить с женщинами, трогать их, входить с ними в душевную близость...

Не в том ли разгадка, что уж очень зоркие глаза дал ему Бог?

"Любовь, — писал он в своей записной книжке, — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь".

Что думал он о смерти?

Много раз старательно твердо говорил он мне, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:

— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил прямо противоположное:

— Ни в каком случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это...

Последнее время он часто мечтал вслух:

— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...

До самой смерти росла его душа.

Его "Архиерей" прошел незамеченным — не то что "Вишневый сад" с большими бумажными цветами, невероятно густо белеющими за театральными окнами. И кто знает, что было бы, не будь "Винта", "Мужиков", Художественного театра!

"Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходить на выгон с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили".

Это из его "Архиерея".

Последнее письмо я получил от него в середине июня 1904 года, живя в деревне. Оно было коротко и, как всегда почти, шутливо; между прочим, в нем сообщалось, что чувствует он себя недурно, что для него заказан белый костюм... Четвертого июля я поехал верхом в село на почту, забрал там газеты, письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...

Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы заграницу, он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...

Этот тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому ("Как живет и работает Толстой") и которого Чехов, за его худобу и длинный рост, называл так:

— Погребальные дроги стоймя.

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ "РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ НА ОТДЫХЕ">

"...любопытнейший в мире человек, ничего не могу сказать вам занятного на ваши вопросы, как живу я летом. Живу по-прежнему, то есть все так же сижу на круче Приморских Альп, смотрю на Каннскую долину, на Эстерель, на далекое море... Утром отчаянно пишу. Потом читаю, потом еду на море купаться. Иногда езжу в горы, что для меня еще милее, чем море. По ночам не сплю — все думаю получить Нобелевскую премию, купить автомобиль и уже больше ничего не делать — только ездить по горам. Если же, против обыкновения, засну, тотчас же вижу во сне, что попал в Россию... Ничего не знаю отвратительнее этого сна!

Передайте поклон любопытнейшей в мире газете "Сегодня". А П.М.Пильскому, напечатавшему недавно в ней свою статью "Затуманившийся мир", передайте, кроме поклона, еще и то, что это не Андреев, а я назвал Скитальца тигром из мехового магазина. Андреев напротив, сперва страшно восхищался Скитальцем и не только за страх (то есть в угоду Горькому), но и за совесть. Восхищался, конечно и сам Горький, приписавший эти слова Андрееву.

Будьте здоровы и благополучны".

КОНЕЦ МОПАССАНА

Мопассан скончался в Париже, в лечебнице доктора Бланш, тридцать пять лет тому назад.

Литературное и светское общество того времени было чрезвычайно взволновано этой смертью и всем тем, что ей предшествовало.

Взволновано, главным образом, потому, что обстоятельства болезни знаменитого писателя содержались в глубокой тайне.

Рассказывали тысячи небылиц, объявляли Мопассана сумасшедшим задолго до того, как он стал им, даже присылали ему на Ривьеру, куда послали его врачи, вырезки из газет, где говорилось, будто он уже сидит в сумасшедшем доме, распускали слухи, что "этот кумир женщин, певец радости жизни", лижет стены своей камеры, находится в состоянии полного идиотизма. Потом всеми способами пытались проникнуть к нему в лечебницу...

Что же происходило на самом деле? Как провел последний год своей жизни этот "воплощенный идеал своей эпохи", как называли его многие? Что такое было его таинственное безумие? Откуда было оно у этого сильного, жизнерадостного человека, неутомимого спортсмена, неутомимого любовника?

Жорж Норманди впервые открывает нам тайну последних дней Мопассана в своей новой книге о нем.

Мать Мопассана, Лора де Мопассан, о которой Норманди говорит, что она достойна разделить славу своего сына, так как это она развила и воспитала в нем его замечательные качества и любовь к литературе, всю жизнь страдала таинственной болезнью, мало известной в то время и теперь именующейся базедовой. Признаки этой болезни выражаются в увеличении сердца, глаз, шеи и "делают взгляд блестящим и неподвижным, а выражение лица трагическим".

Болезнь эта делает нервную систему необычайно чувствительной, парализует мускулы лица и глаз, делает больного раздражительным, неспособным долго оставаться на одном месте, бывает причиной сильных головных болей, нарушает все главные отправления организма.

Об отце, Густаве де Мопассан, известно очень мало. Он скончался в параличе, глубоким стариком, в Сент-Максиме. Брат Мопассана, Эрвье, в цвете сил и здоровья внезапно заболевает (от солнечного удара, по уверению родителей) и через несколько месяцев умирает в доме для умалишенных. Смерть эта производит сильное впечатление на Мопассана — в лечебнице доктора Бланш, в бреду, он постоянно возвращается к покойнику брату, к его могиле.

Остается дядя по матери, Альфред Ле Пуаттевен, необычайное сходство с которым Мопассана обращает всеобщее внимание.

Сходство это так велико, что Флобер пишет его матери, подруге своего детства: "Несмотря на разницу в нашем возрасте, я вижу в твоем сыне "друга". К тому же он так напоминает

мне моего бедного Альфреда! Меня иногда потрясает это сходство, особенно когда он опускает голову, читая стихи".

Норманди говорит больше:

"Есть какой-то ужасный рок в том, что малоизвестная жизнь Альфдера Ле Пуаттевен есть как бы *точный эскиз* славной жизни Мопассана, который и физически поразительно походит на своего дядю". Жизнь Альфреда была в высшей степени мучительна своей нервностью, постоянным самоанализом, раздвоением, невероятной чувствительностью, раздираемая самолюбием и непомерной гордостью, "этим великолепным недостатком всего его рода", отличалась беспорядочностью, неумеренностью, "эксцессами всякого рода", дебошами и оргиями.

Такова наследственность Мопассана.

Был ли он болен базедовой болезнью?

Этот вопрос ставится неоднократно, но, однако, точного ответа на него врачи не дают.

А меж тем известно, что, несмотря на свою великолепно здоровую внешность, на необычайную выносливость в труде и спорте и неутомимость в любви, он уже в молодости страдает непонятными головными болями, бессонницами и что с 1880 года у него проявляется странная болезнь глаз, "невольно заставляющая вспоминать о тех временах, когда его мать была осуждена врачами жить в темноте, так как малейший свет заставлял ее кричать от боли". В 1885 году правый глаз Мопассана не может уже переносить *минутного* напряжения, пищеварение сопровождается сильнейшими болями в пояснице, нервными сердцебиениями, приливами крови к голове; во время приступа мигрени поверхность его рук, так же, как и спина, теряет чувствительность; и все это опять очень сходится с некоторыми проявлениями болезни Лоры Мопассан.

И вот эта блестящая, с виду такая счастливая, а на самом деле мучительная жизнь, в которой сроки здоровья все сокращаются, приходит к концу.

Мопассан на Ривьере, в Каннах, куда отослали его врачи. Силы его на исходе. Он напрасно пытается продолжать роман "Angelus", которому не суждено двинуться дальше пятидесятой страницы. Он уже чувствует, что "мысль понемногу уходит из его мозга, утекает, как вода из сита...". С ним происходят странные вещи: выйдя на прогулку, он встречает по дороге в Грасс, у кладбища, привидение, после завтрака ему кажется, что рыба, которую он только что съел, "вошла ему в легкие и что он может умереть от этого...". Он борется с туманом, все чаще и гуще заволакивающим его сознание, пытается успоко-

ить мать, живущую в Ницце, молча терпит выходки друзей и врагов, на все лады печатно и устно провозглашающих его сумасшедшим, пишет завещание...

31 декабря 1891 года солнце заходит за Эстерель среди особенного великолепия.

— Я никогда не видел подобной феерии в небе! — задумчиво говорит Мопассан своему слуге Франсуа, любуясь закатом. — Это настоящая кровь...

На другой день он встает в семь часов, собираясь ехать с утренним поездом к матери в Ниццу. Но во время бритья испытывает странное недомоганье — ему кажется, что глаза его что-то застилает. Он готов отказаться от поездки, говорит об этом Франсуа, но тот успокаивает его, приносит ему обычный завтрак — чай и два яйца.

После завтрака ему лучше, он просматривает множество полученных писем и бормочет:

— Пожеланья, все пожеланья!

Поздравление матросов с "Бель-Ами" трогает его гораздо больше. Он выходит к ним, долго и дружески разговаривает с ними. В десять часов он решает ехать.

— Иначе мать подумает, что я болен...

Он поехал с Франсуа. В пути не отрывает взгляда от зеленоголубого, блещущего моря, говорит: великолепная погода для прогулки на яхте!

За завтраком у матери он, по словам Франсуа, спокоен, ест с большим аппетитом. Г-жа Мопассан, напротив, находит, что сын ее очень возбужден. Он с чрезмерной порывистостью обнял ее при встрече, благодаря ему, настроение за столом несколько повышенное. А по утверждению постоянного домашнего врача г-жи Мопассан, он бредит во время завтрака, говорит о каком-то событии, о котором он будто бы предупрежден посредством "пилюли"... Заметив общее удивление, он, однако, спохватывается и сидит до конца завтрака грустный.

Франсуа рассказывает, что он и его господин мирно уехали в 4 часа домой, что, вернувшись к себе, Мопассан надел шелковую рубашку, чтобы чувствовать себя свободнее, и, видимо, довольный тем, что находится у себя, один, пообедал, как обычно. Г-жа Мопассан, напротив, говорит, что сын обедал у нее и что среди обеда она с ужасом заметила, что он бредит. Она пробовала уговорить его лечь в постель и остаться ночевать у нее, он отвечал, что ему непременно надо в Канны. В конце концов, забыв собственную болезнь, потрясенная его безумным видом, она охватила его ноги, стала молить пощадить ее ста-

рость, не уходить в таком состоянии, остаться... Не слушая, должно быть, не сознавая, кто с ним, занятый своими видениями, он оттолкнул ее и, что-то бормоча, шатаясь, едва держась на ногах, бросился вон и исчез в ночной темноте...

Как бы то ни было, он наконец дома. Франсуа приносит ему на ночь чашку ромашки. Он жалуется на сильные боли в спине, на нервность. Франсуа ставит ему банки и он успокаивается. В половине двенадцатого он в постели. Франсуа, заметив, что он закрыл глаза, на цыпочках удаляется. Но тут вскоре звонок на крыльце: какая-то таинственная телеграмма. Однако, Франсуа не решается беспокоить своего крепко спящего господина.

В два без четверти он вскакивает, разбуженный страшным шумом, доносящимся из комнаты Мопассана. Он бросается туда. Мопассан поворачивается к нему, бледный, с трясущимися руками, с окровавленным горлом:

— Взгляните, Франсуа, что я сделал! Я перерезал себе горло... Это уже чистое безумие...

Франсуа, с помощью матросов с "Бель-Ами", укладывает его, — на что приходится употребить большую силу, — вызывает доктора... И через несколько дней после того толпа, собравшаяся на платформе каннского вокзала, со сладострастным любопытством и ужасом смотрит на знаменитого писателя, едва стоящего на ногах, поддерживаемого с одной стороны Франсуа, с другой присланным из Парижа больничным служителем, и шепотом передает друг другу, что под пальто у него смирительная рубашка, что его везут в сумасшедший дом.

И вот Мопассан в лечебнице доктора Бланш, в Пасси, недалеко от улицы Ренуар, в доме, который некогда принадлежал знаменитой г-же Ламбаль, убитой во время революции парижской чернью.

Входя в этот дом для умалишенных, которого он всегда так боялся и к которому его так неодолимо тянуло всю жизнь, он уже не сознает, куда его привезли. Он с трудом говорит, узнает некоторых из присутствующих, но находится в состоянии глубокого безразличия и подавленности. Ему перевязывают рану на шее и укладывают в постель. Он покорно подчиняется, но отказывается от всякой пищи и, жалуясь на нестерпимые страдания, выпивает только немного воды...

Вся первая неделя проходит в глубоком безразличии. Он все молчит, только жалуется, что у него украли половину рукописи его последнего романа; после приема данных ему врачом пилюль говорит, что одна из них прошла ему в легкое. Но постепенно он несколько оживляется. Он обвиняет доктора Г. в

краже вина из его погреба. Просит держать дверь его комнаты открытой — "чтобы дьявол ушел из нее...". Ему кажется, что он живет в доме, населенном сифилитиками, от которых он заразился. Все время прислушивается к каким-то неведомым голосам...

Встав в первый раз с постели, он около часа проводит на ногах, слушая эти голоса.

Позднее он объявляет, что доктор Г., к которому он с первой минуты испытывает непонятную ненависть, хотел, из ревности к каким-то двум дамам, убить его, заставив его вымыться медом.

11 января, после дурно проведенной ночи, во время которой он часто вставал и, стоя у своей постели, читал молитвы, он опять говорит, что в его комнату забрался дьявол. Потом, днем, моет себе все тело минеральной водой и отказывается от всякой пищи, кроме бульона, жалуется, что "соль пропитала ему мозг и все тело"...

Затем наступает временное улучшение. Рана на шее зарубцевалась. Он приходит в себя настолько, что однажды утром спрашивает свои письма, газеты. Однако, вскоре опять объявляет о своей способности видеть на необыкновенно далеком расстоянии, описывает прекрасные пейзажи России и Африки. В продолжение ночи — почти напролет бессонной — то и дело встает и подходит к стене, подле которой подолгу говорит с кем-то вполголоса.

На другой день доктор Мерио выходит с ним прогуляться по коридору больницы. Он часто останавливается и беседует с кем-то воображаемым. Потом начинает пристально рассматривать паркет: оказывается, что по паркету "ползут насекомые, которые извергают морфий на большие расстояния...". Вечером он объявляет, что присудил к шести месяцам тюрьмы человека, изнасиловавшего какую-то молодую девушку, и что он сообщается с мертвыми:

— Потому что ведь мертвых нет...

Ночью ему кажется, что он слышит рев парижской черни под окнами — известно ли было ему кровавое прошлое этого дома? — пытается выброситься из окна, требует свои револьверы. Засыпает только под утро, на два часа. Весь следующий день говорит о мертвых, беседует с Флобером, с братом Эрвье:

— Их голоса очень слабы и доносятся словно издалека...

Потом говорит, что написал папе Льву XIII, советуя ему сооружение таких могил, где холодная и горячая вода постоян-

но обмывала бы мертвые тела, а маленькое окошечко вверху мавзолея позволяло бы сообщаться с покойниками.

В последующее время его ум постоянно возвращается к мысли о Боге, о смерти, о мертвых, о своем величии.

Он говорит, что Бог "вчера после завтрака объявил с Эйфелевой башни его Своим сыном, Своим и Иисуса Христа", опять отказывается от всякой пищи, считая себя находящимся в агонии, требует причащения, собирается на дуэль с Казаньяком и генералом Феврие и, в конце концов, повернувшись к стене, опять ведет длинную беседу со своим умершим братом.

И так продолжается всю ночь. Он громко уверяет кого-то, что не писал какой-то статьи в "Фигаро". В конце концов кричит:

— Если эта статья подписана моим именем — это ложь! Я не имею никакого отношения к "Фигаро"! Я не писал в "Фигаро"! Это было на улице, в полдень! Облако закрыло Эйфелеву башню...

Затем уверяет, что у него украли 600 тысяч франков.

После плотного обеда он в первый раз пытается сесть писать, сесть за работу, "оставленную им вчера", но писать не может, пишет только телеграмму матери:

— Ты получишь завтра. Мы нашли в доме 600.000 франков. Хотели сжечь дом. Парижане на меня в ярости, потому что я распространяю запах соли. Мне причинили ужасную боль. Мне вскрыли желудок. Скоро будет большое открытие...

И все бредит, бредит:

— Мой брат, похороненный два года назад, вернулся сегодня утром и утопился в Сене... Я сегодня утром принял лекарство, которое мне совсем помутило рассудок: у меня нет больше ни сердца, ни печени... В камне пробили дыру, и *Он* пришел утром в мою постель, чтобы убить меня...

— Мой дом в Париже сожгли...

— Генерал Негрие послал врача, чтобы осмотреть меня, и все это из-за моих демонических замыслов...

— Собралась вся чернь, чтобы убить меня, потому что я сжег свой дом...

— Вы меня слушаете, Император? В эту минуту совершены тысячи преступлений...

В газетах на все лады обсуждается его болезнь, вспоминаются различные обстоятельства его жизни, ведутся лицемерные рассуждения о том, можно ли заключать больного — хотя бы и потревоженного в уме — против его воли в сумасшедший дом...

Но он уже далеко от всего этого. Круг преследующих его представлений все сужается:

— У меня искусственный желудок, поэтому он не может переносить мяса...

Ему кажется, что "соль сделала три отверстия в его черепе, и мозг вытекает через них". Он говорит, что его держат в этой больнице по приказу Военного министерства, что Эрвье просит расширить его могилу, что Франсуа обокрал его — похитил у него 70 тысяч франков, что он умирает и хочет исповедаться, иначе его ждет ад, что Франсуа послал письмо Богу, в котором обвиняет его в содомском грехе с курицей, с козой...

И без конца идут в его мозгу все одни и те же представления. Все его былые страхи, все мысли, все тревоги, все прежние попытки узнать что-нибудь из медицинских книг о своей растущей болезни — все возвращается к нему, но в каком виде!

В его бреду постоянно одно и то же: убийства, преследования, Бог, смерть, деньги... Так выражаются теперь у него его прежние сложные, мучительные мысли, столько раз с такой точностью, с такой красотой и изяществом высказанные им!

И чем дальше, тем беспорядок в его мозгу все увеличивается. Он говорит целые дни, а иногда и целые ночи, кричит, жестикулирует...

Посещения знакомых неизменно приводят его в мрачное, подавленное состояние. Он почти не говорит с ними, отворачивается с недовольным видом, бормочет что-то. Может быть, подсознательно вспомнив, что больным базедовой болезнью не следует худеть, он вдруг начинает много есть. Потом удерживается от естественных отправлений и, когда ему вводят зонд, кричит, что в его моче драгоценные камни, что их хотят отнять у него...

К весне от него остается только тень прежнего человека.

Видевшие его незадолго до смерти говорят, что лицо его было землистого цвета, плечи сгорблены, рот раскрыт. Сидя в саду, под весенним голубым небом, он бессознательно поглаживал себе подбородок...

НА ПОУЧЕНИЕ МОЛОДЫМ ПИСАТЕЛЯМ

Опять и опять прочел недавно, — на этот раз в статье Адамовича, — о разнице между французской и русской душой, о французском умении писать, и о русской в этом смысле отсталости, о ненужности изобразительности (или, как любят теперь говорить, "описательства"), и о том, что многие молодые наши

писатели "тратят свои силы попусту, бьются в кругу, в котором после Толстого, собственно, делать нечего"...

"Французские писатели, — говорит Адамович, — уже не прельщаются ни натурализмом, ни "бытовизмом", которые многим из наших писателей представляются сейчас не только средством, но и целью..."

Правда ли, что так-таки уж все французские писатели не прельщаются "бытовизмом"? Думаю, что неправда, советую хорошенько вспомнить кое-что из появившегося даже за самое последнее время. Правда ли, что многим русским натурализм и "бытовизм" представляются не только средством, но и целью? Опять неправда: большинство зарубежных произведений даже о годах гражданской войны, о беженстве, об эмиграции не "бытовизмом", конечно, продиктованы. Произведения эти могут быть для Адамовича скучны, могут быть отчасти однообразны, — как всюду и всегда однообразны произведения известного времени, будь то время романтическое, символическое, "декадентское" или какое другое, — но ведь это уж другой вопрос; во всяком случае, "бытовизм" даже для *советских* писателей не представляется *целью*.

"Французы поняли, что нельзя без конца ставить ставку на внешнюю изобразительность..." Когда именно поняли? "В конце прошлого столетия, когда уже был достигнут в ней некоторый максимум..." Странно, как поздно поняли! Это можно было понять не только после Мопассана, Флобера, Бальзака, но и после Гомера, Данте, изобразительностью, как известно, весьма не брезговавших. Но все равно, — пусть поняли и пусть именно в конце прошлого столетия, когда будто бы вообще "мир преобразился" и пришла всяческая и уже последняя мудрость, без всякого, будто бы, "возврата к прошлому". Дело не в этом. Дело в том, что цитированную фразу надо понимать, очевидно, как самое главное поучение статьи: "Поймите же, наконец, и вы, русские!" Но ах, как старо это поучение! Лет тридцать, по крайней мере, на все и всяческие лады твердят его. Все начало нынешнего столетия твердили — и не без пользы: вспомните-ка тип поэта и прозаика, преобладавший за эти тридцать лет в России. Адамович может сказать: что ж делать, теперь, видно, опять надо начинать сначала! Но, повторяю, я все-таки особой надобности в этом не усматриваю.

Адамович прибавил к слову "изобразительность" слово — "внешняя". Но зачем? Хотел, думаю, только смягчить свою нелюбовь к изобразительности, к "описательству". Но люби, не люби, как все-таки обойтись без этой изобразительности? Не-

любовь эта в моде теперь (в некоторых, разумеется, кружках, особенно среди тех, которые знают свою собственную слабую изобразительность и стараются отделаться "мудростью"). Но как же все-таки обойтись в музыке без звуков, в живописи без красок и без изображения (хотя бы и самого новейшего, нелепейшего) предметов, а в словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной? Это очень старо, но, право, не так уж глупо: "писатель мыслит образами". Да, и всегда изображает. Разве не изображает даже Достоевский? "Князь весь трясся, он был весь как в лихорадке... Настасья Филипповна вся дрожала, она вся была как в горячке..." Не велика, конечно, изобразительность, а все-таки что же это? Блок писал, что в какой-то "голубой далекой спаленке" какой-то "карлик маленький часы остановил", Белый — что кто-то "хохотал хриплым басом, в небеса запустил ананасом". Уж чего, кажись, новей и независимей от Толстого! А все-таки опять изобразительность.

Адамович в горестном недоумении: "Ну, еще раз будет описана лунная ночь, а дальше что?" Я бы тоже мог недоумевать: ну, еще раз будет сказано про то, что Петербург "призрачный город", или про Медного всадника, или про усталость от бессонных ночей в "Бродячей собаке", а дальше что? Да что толку в нашем недоумении? Ах, ах, еще раз весна и еще один молодой человек на свете, а дальше что? А дальше то, что этому молодому человеку будут в высокой степени безразличны и наши вздохи, и то, что "еще раз" пришла в мир весна и его молодость. Если лунная ночь описана скверно или банально, не будет, конечно, ровно ничего "дальше". А если хорошо, то есть настоящим художником, который, конечно, не фотографией лунной ночи занимается и всегда говорит прежде всего о своей душе, эту ночь так и или иначе воспринимающей, то уж "дальше" непременно что-нибудь будет. Адамовичу, кажется, хочется, чтобы души наши вращались в какой-то чудесной пустоте, где нет ни дня, ни ночи, ни улиц, ни полей, а так только — одни изысканные души.

"Рядом с внешним миром, — говорит Адамович, — есть еще мир внутренний, вполне и безоговорочно бесконечный, вечно меняющийся и вечно новый". Это очень приятно слышать, но кто же это когда отрицал? А потом — что же делать и с этим внутренним миром без изобразительности, если хочешь его как-то показать, рассказать? Как его описать без описательства? Одними восклицаниями? Нечленораздельными звуками?

Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим же следам надо идти? Например, Достоевского? Но ведь тоже немало шли и идут. Кроме того: неужто уж так беден Толстой и насчет этого самого мира внутреннего? "На Толстом, — говорит Адамович, — не кончается литература — есть и другие выходы..." Это как нельзя более верно, но откуда взял Адамович, будто существует теперь уж такое ужасное засилье Толстого?

Дальше речь идет почему-то обо мне. "Крайне интересно в этом отношении творчество даровитейшего и убежденнейшего из "толстовцев", Бунина, особенно поздние его вещи, после "Господина из Сан-Франциско", все-таки куда-то дальше рвущиеся, как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства..."

Странная речь. Я весьма люблю Толстого, но при чем тут "убежденнейший толстовец"? Что это значит? Я употребляю только его "выходы"? Не больше, чем "выходы" прочих создателей не только русской, но и мировой литературы, имея, впрочем, и некоторые свои собственные, к счастью. Я подражаю ему? Нет, конечно. Похож на него? Ни в малейшей степени. Я "рвусь" куда-то после "Господина из Сан-Франциско"? Конечно, "рвусь", но "рвался" не только после, но и прежде него.

"Внутренний мир, — говорит в конце концов Адамович, — через видимое постигается, но лишь в том случае, когда это видимое не поглощает внимания..." Вот это наконец уже совсем бесспорно. И не лучше ли было бы лишь одно это и сказать, вместо всего прочего? Только даже и это давно всем ведомо. Не ведомо молодым писателям, которых все-таки не мешает поучить? Но их, по-моему, уж чересчур много учат. Просто задергали. Над ними денно и нощно стонут, подобно чеховской няньке: "Пропали ваши головушки!" И Адамович их за *одно* журит, а, например, Осоргин за *другое*, — один за "бытовизм", другой за отсутствие оного:

— Русский язык вы вот-вот забудете...
— Русского быта не знаете...
— "Сюжетная теснота" у вас ужасная...
— Прошли вы все по одной и той же дороге...
— Бедные жертвы безвременья!
— То ли дело было прежде!

А что, собственно, такое было прежде, если говорить о писателях новейшей формации?

По Волге иногда плавали? С извозчиками порой разговаривали? Но неужели все "ледяные походы", все Балканы и вся

Европа ровно ничего не значат перед Волгой и извозчиком? Неужели Шекспир неправ был, сказавши, что "домоседная мудрость недалеко ушла от глупости"?

Какой такой особый быт, какую такую особенную Русь познавали прежние молодые писатели, сидя в ресторанах "Вена" или "Большой Московский", в "Бродячей Собаке" или в редакции "Русского богатства"?

"Сюжетная теснота"! А вспомните-ка, какая теснота была в "Русских богатствах" — в одном роде, а в "Скорпионах" и "Аполлонах" — в другом!

ЛЕОНИД ЗУРОВ

Недавно я, совсем неожиданно, испытал большую радость: прочел книжку нового молодого русского писателя, Леонида Зурова, изданную в Риге и состоящую из повести "Кадет" и нескольких небольших рассказов: подлинный, настоящий художественный талант, — именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает, — много, по-моему, обещающий при всей своей молодости.

Поспешил что-нибудь узнать об авторе этой книжки. Узнал, что ему всего двадцать шестой год, что родился и рос он в Псковском краю, шестнадцати лет ушел добровольцем в Северо-Западную армию, был два раза ранен, потом попал в Ригу, где был рабочим, репетитором, маляром, секретарем журнала "Перезвоны", а теперь живет на свой скудный литературный заработок; что писать он начал всего три года тому назад, работая с большими перерывами, при очень тяжелых материальных обстоятельствах...

На днях я с еще большей радостью прочел его новую книжку "Отчина". Он мне пишет (в ответ на мое письмо о первой его книжке), что "Отчину" он писал "по обещанию". А в предисловии к ней говорит: "Это результат моей работы в Псково-Печерском монастыре, в его рукописной библиотеке, весной 1928 года..." Уже одно это прекрасно. Но прекрасна и сама книжка, — на нее надо обратить особенное внимание.

Дай Бог всяческого благополучия молодому дарованию.

ЭРТЕЛЬ

Он умер двадцать лет тому назад и вот уже забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его

жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников, — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь в общем он был не меньше их, в некоторых отношениях даже больше (если, конечно, не сравнивать его чисто художественного таланта с таковым же Чехова).

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный, морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке и, как всегда при встречах с ним, думал:

— Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухощавая, высокая фигура, в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные, с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек лет до 20-ти двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?

В этой же самой квартире он вскоре и умер — от разрыва сердца.

Через год после того вышло в свет семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем. К роману "Гарденины" было приложено предисловие Толстого. К письмам — его автобиография и статья Гершензона: "Мировоззрение Эртеля".

Толстой писал о "Гардениных", что, "начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз". Он писал:

"Главное достоинство, кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, — неподражаемое, невстречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно

народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком..."

Это знание народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля.

— Я родился, говорит он, 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма малообразованный, но любил читать, — преимущественно исторические книги, — и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философии; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности и даже мечтательного романтизма...

— Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатные буквы. Затем мой крестный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварного театра в Париже, почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне как к игрушке, рядила меня, закармливала лакомствами... Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место — и я был обращен в "первобытное состояние". Тогда мы почти годы бедствовали на квартире у одного знакомого мужика, пока отец не снял в аренду хутор...

— Я пользовался совершенной свободой делать, что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать когда и что захочу... Когда отец взялся меня "приучать к хозяйству", мне было 13 лет. Я в то время знал четыре правила арифметики, "Историю Наполеона", "Кощея Бессмертного", "Путешествие

Пифагора", "Стеньку Разина" Костомарова, второй том "Музея иностранной литературы", "Песни Кольцова", "Сочинения Пушкина", старинный конский лечебник, священную историю с картинками, комедию Чаадаева "Дон Педро Прокодуранте"... Затем я самоучкой выучился читать по церковному и несколько раз перечитал "Киевский Патерик" и несколько книг Четьи-Минеи... Лет шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина "О происхождении человека" и книжками "Русского слова", в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева...

— Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался запанибрата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это, и действительно раза три бил... Я был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне "на улице", на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ... Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом месте; и вскоре после того я занял должность конторщика в одном соседнем имении... Железную дорогу я увидал в первый раз когда мне стало шестнадцать лет; Москву и Петербург — двадцати трех лет...

Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, "рвущегося к свету, к прогрессу": новое знакомство с новым чудаком купцом, который "посреди грязи и пошлости торгового люда" был одержим истинной страстью к этому "прогрессу" и к чтению; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого "дикаря" и с которой вскоре завязался "книжный роман", кончившийся свадьбой; затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены именьице и крушение этой попытки, — "я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своем маленьком", — и наконец переезд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как-то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее "передовых" представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что у молодого писателя вскоре обнаружились задатки чахотки, и с таким увлечением "передовыми" идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако, типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого

"дикаря", быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычный духовный и художественный рост, и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златовратским. "Даже и в пору увлечения Засодимским, говорит Эртель, меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его — этому помогали мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованьями о его нужде, печалях, с увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства..."

Этот-то "здравый смысл" (если уж употреблять столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что "нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенции восьмидесятых годов". Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала (даже и внешне) чрезвычайно непохожей на таковую: после Твери Эртель только временами живал в столицах или за границей, — он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству, и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва скромно арендуя лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями (одно время даже сразу несколькими, разбросанными в целых девяти губерниях, то есть "целым царством", как писал он мне однажды).

Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явлением "замечательным", что мировоззрение его "представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей". Сила мышления Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит *практическому разуму*. Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем *делателей жизни*, обладал редким талантом жить, страстной жаждой быть в непрерывной смене явлений и действий. И вот этим-то и определился характер его мировоззрения.

Все это мировоззрение, говорит Гершензон, есть ответ на двойственный вопрос: что *позволяет* сделать жизнь и чего она *требует*? Вопрос об изначальной силе, движущей мир, и о конечной цели этого движения Эртель оставлял без рассмотрения.

Он, однако, не был рационалистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью.

Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящие исключительно от воли "Великого Неизвестного, которое мы называем Богом", то есть на такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящие от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима.

Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за *условное* осуществление ее, любил говорить: "В меру, друг, в меру!" — то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. "Безусловное *понимание* добра и зла и условное *действие* в осуществлении первого и в борьбе с последним — вот что нужно для всякой деятельности, и в том числе для всякой протестующей", говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедовал "умеренность и аккуратность"? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, "вечным горением в делах душевных, общественных и житейских", "страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии". Он сам нередко жаловался: "Все не удается восстановить в своей жизни равновесия... Тревожная практическая деятельность, обыденная и тем не менее хватающая за душу русская действительность... То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда..." И дальше (говоря о своем участии в помощи голодающим, которому он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете): "Еще раз узнал, что могу до самозабвения, до полнейшего упадка сил увлекаться так называемой общественной деятельностью..."

Он сурово осуждал русскую интеллигенцию и прежде всего с *практической* точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только "нервическим раздражением" или "ли-

рическим отношением к вещам", бессилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а только форма проявления, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем — понимание *исторической действительности*. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, "Который костью стал в горле господ Михайловских", без чего невозможна религиозная культура личности, а второе — глубокая и серьезная культура и *исторический такт*. Он говорил: "Всякие "Забытые слова" оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами... Несчастье нашего поколения заключалось в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, в философии, к искусству и до сих пор отсутствует *свободно* развитое чувство, *свободная* мысль... Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен "дух", вера, истина, Бог... Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, умереть легче, нежели осуществить... Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра... О, горек, тысяча раз горек деспотизм, но он отнюдь не менее горек, если проистекает от "Феденьки", а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы "Феденьки" на месте Победоносцевых! Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которою вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом..."

"Мне думается,— писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом,— я думаю, что раздать имение нищим — не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а и наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме имения, обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю..."

Вообще, говорит Гершензон, безусловное понимание истины и условное осуществление ее — один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины.

"Любить одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно, писал Эртель. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему..."

Умер этот "удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца" человек слишком рано — всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что "смысл всех земных страданий открывается... *там*". В отрочестве он пережил пору страстного религиозного чувства. Затем эти чувства сменились "сомнениями, попытками утвердить на месте все растущего неверия веру в добро, в революционные и народнические учения, в учение Толстого... Но неизменно "все перемещалось в моей натуре". Он во многом и навсегда остался "другом всяческих свобод" и вообще интеллигентом своего времени. И все-таки жизнь являлась ему "все в новом и новом освещении". Добро? Но оказалось, что слово это "звучало слишком пусто" и что нужно было "хорошенько подумать над ним". Народничество? Но оказалось, что "народнические грезы суть грезы и больше ничего... Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам — это другое дело... Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления "царства Божия", предстоит еще создать *почву* для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт..." Социализм? "Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсаживают вишнями и вишни бывают целы? Там, где посадили простую, жалкую ветелку и ее выдернут просто "так себе" и где для сокращения пути на пять саженей проедут на телеге по великолепной ржи, — не барской, а крестьянской, — там может быть Разиновщина, Пугачевщина, все, что хочешь, но не социализм..." А потом — что такое социализм? "Жизнь, друг мой, нельзя ввести в оглобли!" Революция? Но "к революции в смысле насилия я чувствую органическое отвращение... В каждом революционном разрушении есть грубое разрушение не материального только, а святынь жизни..." Да и что такое материальное? "Истребление "Вишневых садов" озверелой толпой возмутительно, как убийство... Ведь еще Герцен сказал, что иные вещи несравненно более жалко терять, нежели иных людей..." Толстой? "Но всех загнать в Фиваиду — значит оско-

пить и обесцветить жизнь... Нельзя всем предписать земледельческий труд, *жестокое* непротивление злу, самоотречение до уничтожения личности... Сводить всю свою жизнь до роли "самаритянской" я не хочу... Не было бы тени — не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы!" Народ? "Я долго писал о нем, обливаясь слезами..." Но идут годы — и что же говорит этот народолюбец? "Нет, никогда еще я так не понимал некрасовского выражения "любя ненавидеть", как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта... Народ русский глубоко несчастный народ, но и глубоко скверный, грубый и, главное, лживый, лживый дикарь... Считают, что при Александре Втором всячески погублено несколько тысяч революционеров, но ведь если бы дали волю "подлинному народу", он расправился бы с этими тысячами на манер Ивана Грозного..." Безверие? Но "человек без религии существо жалкое и несчастное... Золотые купола и благовест — форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе..." И вот — последние признания, незадолго до смерти:

"Страшные тайны Бога недоступны моему рассудочному пониманию..."

"Верую, что смысл жизненных страданий и смерти откроется *там*..."

"Горячо верую, что жизнь наша не кончается *здесь* и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования..."

О ЧЕХОВЕ

...Я уже писал об этом когда-то — я часто и подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил в его аутском доме. Чаще всего я уезжал от него поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра утром пораньше, к кофею, часов в семь, — я же ведь рано встаю, с курами и с мамашей. А то она у нас жадная, — говорил он, шутя, по своему обыкновению, над мамашей, с которой они совершенно обожали друг друга: — она мне без гостей вместо кофею чернильные орешки варит...

Голос у него был грудной, глуховатый, и чаще всего говорил он без оттенков, так чтобы нельзя было разобрать, шутит он или говорит серьезно. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу и с едва уловимой улыбкой на пепельно-бледных губах раздельно и тихо говорил, чуть-чуть, по своему обыкновению шепелявя, округляя немного букву "л":

— Убедительнейше прошу вас! Если вам будет скучно со старым, забытым писателем, посидите с мамашей, которая влюблена в вас, или с восторженной Машей, моей законной сестрой. Будем говорить о литературе. Ведь это же все-таки очень приятно...

Я очень любил его, эта настойчивость была мне тем более мила, что она была шутливая, — верный для него признак, что он говорит тоже любовно. И я приезжал рано и опять уезжал только поздно вечером.

По утрам он просил меня посидеть с ним в кабинете, — "давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей", — и случалось, что мы так и делали: сидели, просматривали газеты, которых он получал великое множество, и молчали.

Но иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

— Что такое вы прочли?

— Самарский купец Бабкин, — хохоча, отвечал он тонким голосом, — завещал все свое состояние на памятник Гегелю.

— Вы шутите?

— Ей Богу, нет. Гегелю. Во всяком случае нечто в этом роде.

А иногда, опуская газету, внезапно спрашивал:

— Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

— Да вы мне в дети годитесь.

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Уверяю вас, и уже без шуток, это гораздо лучше. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть "Три года". А потом, вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Павлович Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в воспоминаниях не пишите, что я был симпатичный талант и редкой кристальной чистоты человек.

— Это про меня писали,— говорил я: — писали, будто я симпатичное дарование. А я вот покажу им когда-нибудь, что я дарование как раз несимпатичное.

Он принимался хохотать с тем как бы мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось:

— Постойте, а как это про вас Короленко написал?

— Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ "сделал бы честь и более крупному таланту".

Он со смехом падал на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

— Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И поделом. Я начал писать, как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве в нашей таганрогской лавочке я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был снаружи, на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью,— а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно! — Только вот вам мой совет,— вдруг прибавлял он: — перестаньте быть барином, дилетантом, сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать — из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновенья. Вам же надо много писать, вы уже свой собственный род создали...

Потом, помолчав:

— А Короленке надо жене изменить, обязательно,— чтобы начать получше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, как Короленко до слез восхищался однажды стихами в "Русском богатстве" какого-то Вербова или Веткова, где описывались *волки реакции*, обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались? Это вы правду рассказывали?

— Честное слово, правду. Я не знал, куда глаза девать, когда он взял журнал и стал с восторгом перечитывать мне эти стихи.

— А я вот тоже хочу жениться,— говорил он,— только непременно на немке.

— Почему именно на немке?

— Она же мне Вербова читать не будет. А потом, умываться будет так, что и за ушами и шея, везде будет чисто. И не будет развешивать сушить на веревке свои бумазейные штаны у меня в кабинете, не будет пускать в него ползать и бить костью в таз ребенка... А кстати,— вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?

— Вы не любите Добролюбова?

— Нет, очень люблю. Это же порядочные были люди. Не то, что сукин сын Скабичевский, который писал, что я под забором умру от пьянства, так как у меня "искры Божьей нет".

— Вы знаете,— говорил я,— мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал никогда, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

— Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал... Да, страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь-то у меня холодная,— помните у меня рассказ "Холодная кровь"? — и изображать-то мне решительно все равно, что именно — собаку или утопленника, поезд или первую любовь... Меня еще спасали "Хмурые люди",— находили, что это рассказы все-таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция восьмидесятых годов, гнет Александра Третьего. Да еще рассказ "Припадок" — там "честный и чуткий студент" с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу — лодыри и либеральные щелкоперы, все бы только шататься да камских раков и пиво по портерным жрать...

Случалось, что в газетах было что-нибудь и обо мне. Критики тогда нередко находили во мне "чеховское настроение".

Оживляясь, волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали "тургеневскими нотами". Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Я не мог бы ни одного слова украсть у вас. Вы резче меня. Вы вон пишете: "море пахнет арбузом"... Это чудесно, а я бы ни за что так не сказал. Вы же дворянин, последний из "ста русских литераторов" — помните, в старину такая книга была,— а я дворян даже не знаю, я мещанин — "и горжусь этим",— говорил он смеясь, цитируя самого себя. — Вот про курсистку — другое дело.

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна...

Тут я часто втайне думал, что ему и впрямь не следовало бы писать про дворян, про помещичьи усадьбы,— он их и точно не знал, за всю жизнь пожил, кажется, только один раз в помещичьей усадьбе под Харьковом, у некоего Л., причем этот Л. был уже совсем не помещик в обычном смысле этого слова, а типичный

интеллигент, живший у себя в усадьбе, как дачник. Это незнание сказывалось и в "Дяде Ване", и тогда, когда он (позднее) написал "Вишневый сад". Помещики там из рук вон плохи. Героиня, будто бы рожденная в помещичьей среде, ни единой чертой не связана с этой средой, никак не могла выйти из нее — написана только для того, чтобы была роль Книппер. Фирс — верх банальности, а его слова: "человека забыли" — только под занавес. Да и где это были сады, сплошь состоящие из вишен?

Только при малорусских хатах — две-три вишни, "вишневый садок". И зачем понадобилось Лопахину, фигуре тоже, кстати сказать, очень театральной, рубить этот вишневый сад, если только он, действительно, существовал? Зачем он стал бы уничтожать прибыльное дело? Фабрику на месте вишневого сада строить? Все это, вообще, очень наивно, и нужна порядочная глупость и невежественность публики, чтобы и до сих пор восхищаться огромными бумажными цветами, которыми цветет этот вишневый сад в "Художественном театре", и чепухой Гаевского, говорящего: "Многоуважаемый Шкап!" — фразу, сочиненную опять-таки с чисто театральной хитростью, для невзыскательной публики, очень всегда любящей "ударные", запоминающиеся фразы: "двадцать два несчастья", "человека забыли", "многоуважаемый шкап"...

Раз, когда он опять как-то стал шутя приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я рассказал ему следующее (то, что и впрямь было):

— Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было, кажется, в девяносто пятом году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто в прихожей на вешалке искать. Швейцар ему нежно: "Позвольте, господин, я сам найду..." Поэт на него зверем: "Молчать, не мешай!" — "Но, позвольте, господин, это не ваше пальто..." — "Как, негодяй? Значит, я чужое пальто беру?" — "Так точно, чужое-с".— "Молчать, негодяй, это мое пальто!" — "Да нет же, господин, это не ваше пальто!" — "Тогда говори сию же минуту, чье?" — "Антона Павловича Чехова".— "Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!".— "Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова".— "Так, значит, он здесь?" — "Всегда у нас останавливается..." И вот мы чуть не кинулись к вам знако-

миться в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали — видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало "Бабьего царства".

Он помирал со смеху и спрашивал:

— Кто этот поэт, догадываюсь. Милейший человек! А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

— Простите, дорогой, не удержались.

— А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью внезапно. Я люблю рестораны. Помните, как мы с вами и с Машей в Гурзуф в коляске ездили и там пировали, и я вам счет представил?

И опять хохотал, кашлял и тонко хохотал, вспоминая не "пир", конечно, а именно этот счет, который он подал мне, когда мы вернулись из Гурзуфа:

Счет господину Букишону,
французскому депутату и маркизу.
Израсходовано на вас:

Закуска а ля миньон	3 руб.
Два графинчика о-де-ви со льдом	3 руб.
Два шашлыка карских	6 руб.
Две бутылки Карабах	10 руб.
Два филе фам а ля мод	10 руб.
2 бутылки Карданах	10 руб.
2 кафе натюр морт	5 руб.
Одно переднее место у извозчика	3 руб.
Прочее	13 руб.

С почтением Антон и Марья Чеховы, домовладельцы.

В декабре 1903 г. мы расстались навсегда. Он зимовал в Москве, мы с Найденовым уехали в Ниццу. В январе 1904 г. он грустно и нежно писал мне: "Здравствуйте, милый Иван Алексеевич! С Новым Годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового Года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла и когда пойдет — неизвестно... Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаще Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых северных

компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю".

В середине июня я получил от него письмо из Баденвейлера. Оно было коротко и, как почти всегда, шутливо; между прочим, он писал о том, что чувствует себя недурно, заказал себе новый белый костюм, а огорчается только одним — грустью за Японию, чудесную страну, которую, конечно, разобьет и всей своей тяжестью раздавит Россия.

Это было последнее его письмо ко мне. Четвертого июля я поехал верхом в село на почту,— я жил тогда в деревне,— забрал там газеты, письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с горячим южным ветром, с тусклым блеском неба. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы,— и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...

ЗАМЕТКИ

Рассказ моего домашнего воспитателя о Гоголе:

— Я его однажды видел. Это было в одном московском литературном доме. Когда мне его показали, я был так поражен, точно увидел что-то сверхъестественное. Подумать только: Гоголь! Я смотрел на него с неописуемой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необыкновенно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все его почтительно и внимательно слушали. Я же слышал только одну его фразу — очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно этой фразы не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе.

* * *

Бывало, кричит гимназический учитель, желая поразить твое воображение ужасом:

— Ты опять, Бунин, не знаешь урока? Ты что ж, пастухом хочешь быть?

Он и не подозревал, какой сладкой мечты касался.

— Быть пастухом! — думал я.— Да что же может быть чудесней!

Смущала только мысль:

— А может быть, все-таки, лучше стать писателем?

* * *

Первое литературное разочарование. Первое литературное знакомство: с писательницей Шабельской.

Мне было семнадцать лет, я впервые приехал в Харьков. До этой поры я, выросший в деревне, не видал, конечно, даже издали ни одного живого писателя, а меж тем трепетал при одной мысли увидать его воочию. Писатели представлялись мне существами столь необыкновенными, что я был бесконечно счастлив даже знакомством в Харькове с женой писателя Нефедова. Я уже читал тогда этого писателя и хорошо понимал, сколь он скучен и бездарен. Но все равно — он был все-таки "настоящий" и очень известный в то время писатель, и вот я даже на жену его смотрел чуть не с восторгом. Легко представить себе после этого, что я испытал, случайно узнав однажды, что в Харькове живет писательница Шабельская, та самая, которая когда-то сотрудничала в "Отечественных записках!" Я из всех ее произведений читал только одно: "Наброски углем и карандашом". Произведение это было скучнее даже Нефедова и, казалось бы, уж никак не могло воспламенить меня желанием познакомиться с его автором. Но я именно воспламенился: узнав, что эта самая Шабельская живет в Харькове, тотчас же решил бежать хоть на дом ее взглянуть, и так и сделал: в тот же день пробежал несколько раз взад и вперед мимо этого замечательного дома на Сумской улице. Дом был как дом,— каких сколько угодно в каждом русском губернском городе. И все-таки он показался мне необыкновенным.

Брат смеялся, узнав о моем намерении нанести визит в этот дом:

— Не советую,— она совершенно неинтересна. И притом необыкновенно бестолкова. Познакомившись со мной, стала хвалить твои стихи в "Неделе", приписывая их мне. Я говорю: "Покорно благодарю, но только это не мои стихи, а моего младшего брата". Не понимает: "Да, да, а все-таки вы не скромничайте,— стихи ваши мне очень понравились..." Я еще раз говорю, что это не мои, а твои стихи,— опять не понимает!

Я, конечно, все-таки пошел. Пришел, робко позвонил, попросил горничную доложить, стою и с трепетом жду в прихожей, примут ли? Прихожая большая, тихая, сумрачная. Вышел рыжий господин в золотых очках,— профессор, муж писательницы,— строго и недоуменно взглянул на меня, надел пальто,

шляпу, взял трость с серебряным набалдашником и молча вышел наружу. А затем появилась горничная и почему-то очень поспешно и даже как будто радостно пригласила меня войти в гостиную, а из гостиной раздался еще более поспешный и радостный, слегка шепелявый голос какой-то маленькой старушки:

— Милости прошу, милости прошу!

Точно ли она была старушка? Ничуть — ей было, я думаю, лет сорок пять, не более. Помню, однако, именно старушку, очень милую, с испуганным взором, видимо, чрезвычайно польщенную, что к ней явился поклонник. Уж на что я был смущен, а все-таки не мог не заметить, что она смущена еще более. Она даже не могла удержать счастливой и растерянной улыбки:

— Так, так,— бормотала она.— Так вы, значит, читали меня? Как это приятно, как мило с вашей стороны! А я вот читала стихи вашего брата...

Я мягко, но очень настойчиво повторил то самое, что уже говорил ей брат: это *не его* стихи... Но бестолковость ее, видимо, не имела предела. Она нежно улыбнулась и опять закивала головой:

— Да, да, ваш брат прекрасно пишет! И какая удача: уже попал в "Неделю"! Ведь это первые его стихи?

С тем я и ушел от нее.

* * *

Мы в молодости были скромны, с знаменитыми людьми робки.

Помню, например, как оробела однажды одна молодая писательница, моя сверстница, придя со своей рукописью в редакцию "Вестника Европы", к Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу: так оробела, так залилась краской и задохнулась, что стала бормотать:

— Вот я... Вот я принесла... Принесла вам, Матвей *Стасюлеич*... Стасюлей Матвеич...

Робок был и я,— страстно, например, хотел и так и не решился никогда пойти ни к Полонскому, ни к Майкову, ни к Фету, ни к Лескову... Видел только однажды Григоровича: был как-то в магазине Суворина, разглядывал новые книжки — и вдруг услыхал возле себя свежий и крепкий запах чудесного одеколона, поднял голову — и обомлел: Григорович!

Это было незадолго до его смерти, он был уже очень стар. Но свеж и бодр, как этот запах. Глаза веселые, живые и ласковые. Очень высок и довольно худощав. Маленькая, породистая, несколько гордо откинутая назад серебряная голова. Великолепнейшие белоснежные бакенбарды. Белоснежное кашне и превосходная енотовая шуба до пят... Не было предела моему страху, радости — и удивлению: автор "Антона Горемыки"!

Впрочем, я знал еще А.М.Жемчужникова. Он был не менее Григоровича изящен, душист, свеж и бодр, несмотря на всю слабость своего здоровья. Я бывал у него довольно часто, и меня поражала его неизменная ласковость ко мне, чисто отеческая заботливость к каждому стихотворению, которое я печатал при его содействии в "Вестнике Европы".

Между прочим, он подарил мне "Кузьму Пруткова" и рассказал происхождение этой книги:

— Мы — я и Алексей Константинович Толстой — были тогда молоды и непристойно веселы. Жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах. Потом решили собрать и издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову, и так и сделали, и что же вышло? Обидели старика так, что он не мог простить нам этой шутки до самой смерти! Хотели мило пошутить, а обидели так кровно, что потом не знали, что делать...

В молодости я знал многих московских поэтов из тех, что назывались "самоучками". Какой это был жалкий и трогательный народ! Какая нищета и какая одержимость в смысле любви к литературе! Воспевали они, конечно, больше всего эту нищету, горько оплакивали свою бедную долю да несправедливость, царящую в мире... Помню, один из них писал так:

Дурак катается в карете,
А ты летишь на ломовом!

Таких поэтов было несметное количество, и о других, кажется, и слуху не было. Как вдруг разразилась революция: точно с неба свалились вдруг Брюсов, Каневской, Добролюбов...

Вышел месяц обнаженный
При лазоревой луне,—

как писал Брюсов, твердо решивший "преображать действительность"...

Справедливость, впрочем, требует сказать, что раньше всех начал ее преображать некто Емельянов-Коханский, совершенно несправедливо забытый теперь. Это он первый поразил Москву: выпустил в один прекрасный день книгу своих стихов,

посвященных самому себе и Клеопатре,— так на ней и было напечатано: "Посвящается Мне и египетской царице Клеопатре" — а затем самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки. Конечно, его сейчас же убрали с Тверского бульвара — увели в полицию, но все равно: дело было сделано, действительность была преображена, слава первого русского символиста прогремела по всей Москве... Все прочие пришли уже позднее,— так сказать, на готовое.

* * *

О Тетерникове (Сологубе).

Неприятные воспоминания о его нелепых прозаических вещах,— особенно о "Мелком бесе", где нелепости (и все одного и того же рода) тянутся на целых шестистах страницах,— и еще более неприятные о некоторых встречах с ним.

Первая встреча — в декабре 1896 году (в Петербурге, конечно). Зашел однажды утром к одному молодому писателю и увидал за чайным столом хозяина и какого-то незнакомого господина в учительском фраке. Хозяин, человек от природы очень живой, что-то громко и весело говорил. Господин сидел молча, с какой-то мертвой важностью подняв ничего не выражающее лицо, тупо глядя сквозь пенсне и полуоткрыв рот. Хозяин познакомил нас — он молча подал мне большую и очень некрасивую бледную руку, довольно продолжительно и бесцеремонно поглядел на меня с тем же тупым вниманием и опять стал слушать. Лет он был тогда неопределенных, хотя уже почти лыс. Фрак, панталоны, сапоги — все было у него провинциальное, бедно-чиновничье. Общий вид тоже довольно захолустный, свидетельствующий о скудных достатках и простом происхождении: песочно-рыжеватые усы и бородка, нечистый цвет желто-серого, слегка одутловатого и удлиненного лица, удлиненная картофелина носа и большая бородавка возле него, выражение лишено даже осмысленности... Это и был Сологуб. И вот что произошло при этой первой моей встрече с ним: уходя и прощаясь с нами, он вдруг задержал немного мою руку в своей и неожиданно ухмыльнулся, на мой же вопрос о причине этого смеха, глухо и все так же тупо ответил:

— Я тому смеюсь, что все гадаю: любите ли вы мальчиков?

А последний раз я видел его в 1916 году, у него на дому, на большом званом вечере. Он уже давно был славен, жил в

достатке и, кажется, нередко устраивал такие вечера — собирал у себя литературных знаменитостей. В этот вечер знаменитостей собралось особенно много, были Горький, Андреев... Но хозяин почему-то долго не выходил, предоставив принимать гостей Чеботаревской. Когда же вышел, то я глазам своим не поверил сразу: на нем был смокинг, смятые и вытянутые в коленках панталоны, зеленые шерстяные носки и лакированные туфли со сбитыми каблуками.

* * *

У Полонского много лет собирались по пятницам. Пятницы эти были весьма известны в свое время, на них перебывало великое множество литературного люда. После смерти Полонского стали собираться по пятницам у поэта Случевского. Я там бывал иногда. И вот, помню один вечер. Читает свои стихи один знаменитый поэт,— очень, по своему обыкновению, четко, изысканно и гордо,— когда же кончает, воцаряется, как всегда это бывает, минутное молчание, а затем раздается медлительно-презрительный голос З.Н.Гиппиус:

— Ни-че-го не понимаю.

Поэт вспыхивает и отчеканивает:

— Очень жаль, но не могу же я приставить вам свою голову.

И Гиппиус отвечает еще медлительней:

— И очень рада, что не можете. Чувствовала бы себя с вашей головой весьма неудобно.

* * *

Было соединенное заседание в Академии наук по поводу смерти Толстого. К концу этого заседания прибыл какой-то старичок с белыми и легкими, как пух, волосами, очень бедно и просто одетый, но такой важный, что когда он появился в зале и медленно побрел к столу, за которым мы заседали, все встали, встал даже председатель, Вел<икий> кн<язь> Константин Константинович. Старичок этот сел как раз возле меня, долго молчал, только обводил всех добрыми и грустными глазами,— и вдруг громко сказал, наклоняясь ко мне:

— А вы помните, ваше превосходительство? На похоронах баснописца Крылова... Какой страшный дождь был...

И я так оторопел, что не дал даже ему кончить,— поспешил забормотать, что на похоронах Крылова я, к сожалению, не был...

* * *

Чехов говорил про Найденова (автора "Детей Ванюшина"):

— Какие вы драматурги! Единственный настоящий драматург — Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри! Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз с треском провалиться, а на десятый опять такой успех сорвать, что только ахнешь!

Предсказание Чехова не сбылось. После "Детей Ванюшина" Найденов написал еще несколько пьес, которые шли и в Малом театре, и в Художественном, но успеха не имел и через некоторое время как-то затерялся: новых пьес больше не ставил,— да, может быть, и не писал их,— из литературных кругов исчез, жить стал где-то под Москвой, потом переселился в Крым, безвыездно сидел там несколько лет, дождался революции, большевиков — и умер, пережив все, что полагается, сокрушенный пережитым, в нищете, в забвении и, насколько мне известно, в высоком религиозном подъеме... Странная судьба и странный был человек, истинно российское порождение!

Мы познакомились с ним вскоре после того, как на него свалилась слава,— именно свалилась,— быстро стали приятелями, часто виделись, часто вместе ездили — то в Петербург, то на юг, то за границу... В нем была смесь чрезвычайной скрытности и чисто детской откровенности, простоты и даже наивности, и вот что слышал я от него в такие откровенные минуты:

— Кто я? — мрачно, почти басом начинал он, зверски двигая челюстью, неловко запуская тонкие пальцы в черные волосы, закидывая их назад, поправляя криво висящее на тонком восточном носу пенсне, набирая в грудь воздуху, надуваясь, высоко и с усилием поднимая правое плечо, и, надувшись, приняв эту нелепую, напряженную позу, став похожим на какого-то злого ворона, медленно выпускал воздух и понемногу менял зверское выражение на удивленное, отклонял голову назад и долго глядел через пенсне пристально и бессмысленно своими карими рачьими глазами.— Кто я? — спрашивал он с удивлением — и вдруг лицо его начало все больше и больше озаряться радостью, милой и наивной улыбкой: — да сам черт не разберет, кто я! — говорил он уже тонким голосом, уже смеясь и детски-вопросительно глядя на меня.— Я ведь сам из "Детей Ванюшина"! Татарская кровь? Да, конечно, она во мне есть, мы ведь казанские, хотя и была наша семья ух какая русская, старозаветная! Учиться я, конечно, не доучился, торговал образами... Тут мне выделили некоторую часть из будущего наслед-

ства, дали семь тысяч, я поехал по делам на Кавказ — и вдруг встретил на пароходе одну особу... Встретил — и, конечно, все полетело к черту. Связались мы с ней, и через недолгое время не осталось у меня в кармане буквально ни гроша. А что было потом — долго рассказывать. Было, между прочим, то, что достукался я до приказчика в паршивой московской лавчонке готового платья... Жил в мерзком номеришке на Тверской, вставал в седьмом часу, пил чай, просматривал "Московский листок", шел на службу... По вечерам иногда писал и, написав этих самых "Детей Ванюшина", вдруг взял да и послал их в Петербург, на конкурс, объявленный Суворинским театром, послал, конечно, совершенно так, ни с того ни с сего, без всяких надежд, как какой-нибудь пьяный, вдруг вздумавший позвонить в богатый подъезд. Послал — и забыл. А в один прекрасный день развернул "Московский листок" и вдруг вижу: премия в тысячу рублей присуждена в Суворинском театре автору "Детей Ванюшина"! Что ж мне оставалось после этого делать? Покидал в чемодан свой убогий скарб — и в Петербург. Даже и не зашел в магазин, не сказал, что, мол, место я бросаю... А через некоторое время — слава и куча денег. Недурно? — спрашивал он, заливаясь радостным смехом и удивленно и вопросительно выпучивая свои рачьи глаза.

* * *

Анатолий Федорович Кони рассказывал про одного петербургского чиновника:

— Всю душу, все чувства задавил в себе ради карьеры. С подчиненными был жесток до зверства, с начальством угодлив до последней низости. Мечтая о высоком чине, несколько лет во всем себе отказывая, копил деньги на мундир с золотым шитьем. Наконец и высокого чина достиг, и мундир сшил, ухлопав на него целую тысячу рублей. Но, как нарочно, всю зиму некуда было надеть его: ни одного торжества, ни одного подходящего случая. Пришло лето, поехал на дачу — и спрятал мундир до осени в сундук, пересыпав его нафталином. А осенью умер. И вот только тогда и понадобился этот злосчастный мундир: вынули его из сундука и надели на покойника. Однако, и тут оказалась беда: золотое шитье на мундире от нафталина все почернело. И уж как же страшен был этот бритый, тонкогубый покойник, с острым носом, торчавшим из-за борта гроба, в своем черно-золотом шитье!

* * *

Один из очень памятных мне людей — Николай Васильевич Давыдов. Крупный судебный и общественный деятель, один из наиболее передовых и образованных людей шестидесятых годов и вместе с тем один из наиболее подлинных представителей старой дворянской Москвы. Ближайший друг Владимира Соловьева и Толстого (давший ему, между прочим, тему для "Воскресенья").

Из его рассказов о Москве пятидесятых и шестидесятых годов:

— Москва в те годы была совершенно азиатским городом. Везде была ужаснейшая грязь. Круглый год, то там, то здесь, балаганы, петрушки, народные забавы, гулянья, уличная продажа всяких сластей, сбитня, "кислых щей" и тому подобного. Чрезвычайное обилие повсюду лубочных картин. В торговых рядах торговля по цехам, насильное затаскивание покупателей в лавки, безбожное запрашивание и бешеный торг, обмеривание и обвешивание. В театрах — лубочный репертуар, вонючее и тусклое освещение. В трактирах,— даже в перворазрядных, в таких, как, например, Большой Московский,— столь затоптанные половики на лестницах, что идти противно. Необыкновенное увлечение цыганами, у которых излюбленными были романсы: "Скажи душою откровенной" или "Не мне внимать напев волшебный" — словом, нечто очень романтическое. В домах, даже богатых, вечно стоял спертый дух, то и дело жгли смолки, монашки; по вечерам горели калетовские свечи; покои разделялись на мужские и женские. Почитание власти, начальства, старших было необыкновенное, равно как и религиозность и покорность всяческим "отцовским" обычаям, установлениям, обрядностям...

О провинции, где Давыдов тоже служил много лет:

— Полная тьма, глушь и дичь. Страшное пьянство, лихоимство и невежественность чиновников. В волостных судах — пошехонская безграмотность, тупое равнодушие к делу, бесстыдная несправедливость решений, ни малейших основ обычного права. Сотни дел о тягчайших увечьях, о гомерических драках. Папки этих дел зачастую носили, например, такие заглавия: "Дело об откушении носа крестьянину такому-то крестьянином таким-то", "Дело о вырвании бороды такого-то таким-то..."

* * *

Как знаменит, как почитаем был Ленский из московского Малого театра! И какой, в самом деле, был артист! А что было в жизни? Я был у него однажды в уборной. Весь в поту, на глазах слезы, полулежит в кресле:

— Плохо, милый, ох, как плохо! Сейчас чуть не околел от сердечного припадка. Собачья наша жизнь! Всюду зависть, злоба, интриги, каверзы, в глаза льстят, как последнему идиоту, а за спиной... Да нет, вы и представить себе не можете, что я терплю и терпел весь век!

Не знаю, как выходил он на сцену,— я знал его вообще очень мало. Но весьма возможно, что весь дрожа и крестясь от страха. Это ведь с такими часто случается. Я видел однажды за кулисами самого Росси. Он был уже стар и пресыщен всемирной славой.

И все-таки стоял перед выходом, на пороге своей уборной,— в черном плаще Гамлета,— бледный даже сквозь грим. А потом, кончив сцену, выбежал за кулисы, спотыкаясь, и чуть не замертво упал в уборной в кресло. В зале рев и аплодисменты, а он,— совсем, как Ленский,— лежит весь разбитый, со слезами на бессмысленных глазах, с крупными каплями пота в складках белой и жирной, совсем женской шеи, тонконогий и с большим животом... Ему ли было трепетать за успех! И особенно, если принять во внимание, что и дело-то происходило всего-навсего в Орле!

Вспоминаю еще Ермолову. Много раз участвовал вместе с ней в литературных вечерах — и всякий раз видел одно и то же: сидит в артистической в ожидании своего выхода совершенно вне себя от страха, не понимает, что ей говорят, поминутно вынимает из сумочки плетенный из китового уса портсигарчик, прыгающими руками закуривает, а ее горничная то и дело капает ей гофманские капли...

— И мы все, все такие! — говорил мне однажды другой старый актер того же Малого театра, Осип Андреевич Правдин.— Жаждем этой самой славы и похвал весь свой век. И я, конечно, всю жизнь жаждал. А что такое слава? Вот и я славился и славлюсь, а как только протяну ноги, что от этой славы останется? Ровно ничего, и чуть не на другой же день все забудут, и не только в России, а даже в этом самом клубе, где я чуть не столетие бываю каждый свободный вечер, а если и не забудут, то знаете, почему? Только потому, что пообедал я здесь однажды особенно плотно и по дороге домой испортил себе

штаны, а на другой день имел глупость разболтал эту историю всему клубу. Этого-то уж не забудут! И только этим и будут вспоминать: "Бывало, покойный Осип Андреевич Правдин... ну, вот тот самый, что штаны себе испортил после одного нашего обеда..."

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ "ЧТО БУДЕТ С РОССИЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ">

Только не большевистской

— Что будет с Россией через десять лет?

Не знаю. Думаю, однако, что десять лет большевики все-таки не продержатся, несмотря на всю пассивность русского народа и все старания почти всех так называемых цивилизованных государств непременно поддержать их.

— Какой я хотел бы видеть Россию?

— Какой угодно, только бы не большевистской.

ЗАМЕТКИ

Печатать свои стихи я начал непристойно рано,— шестнадцати лет. Послал в один из петербургских иллюстрированных журналов одно из самых первых своих стихотворений и через несколько дней получил краткий, но весьма ободряющий ответ: "Трудитесь, будет прок, напечатаем вскоре", а приблизительно через месяц был и напечатан.

Но все-таки не это есть начало моей литературной "деятельности". Началась она в "Орловском вестнике" и еще раньше — когда мне шел всего пятнадцатый год: я напечатал тогда в этом "вестнике" (без подписи) довольно лирическую корреспонденцию о двух бродягах, замерзших под нашей деревней в сильную вьюгу.

Что до гонорара, то я получил его впервые только с журнала "Неделя". Я в те годы о гонорарах, конечно, и не думал. Я с детства привык слышать, что "Пушкин получал за строчку червонец", и довольно твердо был уверен, что впоследствии буду и сам получать нечто подобное. Но — впоследствии. А пока, посылая и эту корреспонденцию в Орел, и первые стихи в Петербург, и не заикался, конечно, ни о каком гонораре, да если бы и заикался, то все равно ничего не получил бы. Что же мог заплатить мне "Орловский вестник" за мою лирику в пятьдесят строк? А тот петербургский журнал, который столь ободрил меня, и совсем ничего не платил начинающим авторам — и

не просто, а "принципиально". Так и сказано было в его письме ко мне: "Начинающим авторам мы *принципиально* не платим". Зато "Неделя" просто поразила меня, невзирая на все мои тайные надежды на будущее, то есть на пушкинский червонец: напечатала сразу целых три стихотворения и заплатила по полтиннику за строчку. Гонорар и впрямь был редкий: обычно платили тогда за стихи не больше двадцати пяти копеек.

Кстати о гонорарах. Тот сильный рост их, который начался с девятисотых годов, обычно ставится в заслугу "Знанию", будто бы сразу чрезвычайно их поднявшему. Но ко времени возникновения сборников "Знания", то есть, к 1903 году, нам и в журналах уже платили за лист по двести, двести пятьдесят. А что же сделал Горький? Себе назначил тысячу, а нам — по три сотни. Это было совсем уже не так щедро. А кроме того нужно и то помнить, что журналы расходились в самом лучшем случае в десяти тысячах экземпляров, а сборники "Знания" — в двадцати пяти, пятидесяти...

Доходы "Знание" получало вообще огромные. Но львиная доля их шла в карман Горького. Деньги он всегда весьма любил, хотя и делал вид совершенного бессребреника, рубахи-парня, даже завел манеру никогда не иметь при себе кошелька, предоставляя расплачиваться за все своим оруженосцам (которыми окружен был постоянно). Да и расходы у него были всегда немалые. Чего стоила одна заграничная реклама его произведений и его "революционной" деятельности! Большие тысячи шли на эту рекламу — это я знаю совершенно точно.

* * *

Я уже отмечал, какую редкую заботливость проявил ко мне, начинающему, А.М.Жемчужников. Он довольно долго вел со мной переписку, я бывал у него, он, невзирая на свои преклонные годы, держался со мной почти дружески и однажды, жалуясь на то, как он никому не нужен как поэт, сказал:

— Я поэт не Бог весть какой, а все-таки, думаю, не хуже, например, Надсона или Минского. Кроме того, могу смело сказать, я достаточно своеобразен,— даже более: совершенно оригинален, что ведь что-нибудь да значит и само по себе,— затем довольно силен в стихе, интересен по содержанию... А вот подите же, почти никто и знать меня не хочет, а если и хочет, то чаще всего только как "Кузьму Пруткова". В чем тут причина, мой молодой друг? Думаю, что уж очень я разных кровей со многими теперешними. Ведь это совсем недаром

говорят мужики о том, что даже у людей существуют разные "кровя", и ведь что такое кровь, как не душа?

Я вспомнил это недавно, прочтя о том, то новейшие научные работы насчет переливания крови с точностью установили, что многочисленные неудачи и смертельные случаи, сплошь и рядом происходящие при этом переливании, чаще всего зависят от "индивидуальной несовместимости кровей кроводателя и кровополучателя": оказывается, что далеко не у всех людей одинакова кровь, что "человечество разделяется по крови на целых четыре группы и что каждой из этих групп можно безнаказанно переливать лишь кровь группы соответствующей".

Так что Жемчужников был вполне прав. В самом деле, как пенять на равнодушного читателя, на враждебного критика! Что с него взять, когда у него даже кровь, может быть, совсем другая, чем у тебя?

* * *

Первую книгу рассказов я издал в конце 1896 года, у Поповой (очень известной в то время петербургской издательницы).

Первый сборник стихов — в "Скорпионе", в 1899 году.

"Скорпион" существовал (под редакцией Брюсова) на деньги некоего Полякова, одного из очень богатых московских купчиков,— из тех, что уже кончали университеты и тянулись ко всяким искусствам, ко всякому модерну,— человека молодого, но уже истрепанного, лысеющего, с желтыми и почему-то всегда мокрыми усами. Кутил этот Поляков чуть не каждую ночь напропалую и весьма сытно кормил-поил по ресторанам и Брюсова, и всю прочую братию, всех этих московских декадентов, символистов, "магов" и "аргонавтов", искателей "золотого руна нового искусства", окружавших его. Однако, со мной он оказался скупее Плюшкина: пришел ко мне с Брюсовым для переговоров чуть не утром, а ушел только вечером — все торговался, все сбивал цену и таки добился того, что я махнул рукой и отдал ему книгу всего за триста рублей. А потом вынул из кармана и стал показывать жемчужное ожерелье, которое только что купил в подарок своей невесте:

— Правда хорошо? По случаю купил и совсем за грош — за двадцать пять тысяч...

"Скорпион" вообще не баловал своих сотрудников гонорарами. Помню, например, как однажды жаловался, томно пел Вячеслав Иванов:

— Знаете, сколько получил я от Полякова за свою последнюю книгу? Увы, всего пятьдесят рублей!

Это было, конечно, маловато. Известен, правда, еще более редкий случай: Николай Успенский продал однажды книгу своих рассказов за пятнадцать рублей. Но ведь то было еще в восьмидесятых годах, да и Успенский был в то время уже вполне босяк.

Зато издавал Поляков великолепно. И, конечно, поступал умно. Издания "Скорпиона" расходились весьма скромно,— "Весы", например, достигли (на *четвертый* год своего существования) тиража всего-навсего в *триста* экземпляров,— но внешностью своей весьма много способствовали славе "нового искусства". Она внушала публике уважение, равно как и названия поляковских изданий: "Скорпион", "Весы" или, например, название первого альманаха, выпущенного "Скорпионом": "Северные цветы. Альманах первый, ассирийский". Все недоумевали: почему "Скорпион"? И что за "Скорпион" — гад или созвездие? И отчего эти "Северные цветы" вдруг оказались ассирийскими? Однако это недоумение вскоре сменилось у многих почтением и даже восхищением. Так что, когда вскоре после того Брюсов даже и самого себя объявил "магом", все уже только восхищались и верили, что он и впрямь маг.

Вообще, это не шутка — название, ярлык. Прав Кузьма Прутков: "Ежели хочешь быть камергером, будь им!" Ежели хочешь успеха, непременно добейся, чтобы налепили на тебя хоть какой-нибудь ярлык, ибо он нужен публике и критике, как печка, от которой можно танцевать, как поноска пуделю, как вертел для шашлычника. Лучше всего сам придумай для себя этот ярлык. "Чем себя наречешь, тем и прослывешь". Кличка нужна порой даже и настоящим талантам. Сколько лет даже как бы не существовал, например, Тютчев. Этот великий поэт! И вот, наконец,— статья Владимира Соловлева: "Тютчев — поэт ночи, поэт хаоса..." И пошло, и пошло... Вертел был найден.

А насчет "Скорпиона" еще одно замечание: как обмеривали, как обвешивали его "Весы"! Истинно по-московски! Вес "своих" всегда оказывался огромный, вес чужих — смехотворный. Например, все участники "Знания" — поголовно — назывались в этих "Весах" неизменно "всероссийскими бездарностями". Про меня — я вскоре почел за благо удалиться из этого литературного лабаза,— было однажды сказано так: "Произведения Бунина подобны солдатским сапогам, поставляемым интендантствами,— сапогам с бумажными подошва-

ми". Это написал молодой поэт Сергей Соловьев, который, впрочем, очень скоро сознал всю глупость своего сравнения и вдруг прислал мне письмо: "Простите мне ради Бога мою низость — я написал о Вас по приказу, то, что буквально продиктовали мне..."

* * *

Брюсова я узнал еще в студенческой тужурке. Помню, поехал к нему в первый раз с Бальмонтом, в морозный солнечный день. Он жил на Цветном бульваре, в доме своего отца, торговца пробками. Дом был небольшой, двухэтажный, толстостенный,— настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с высокими и всегда запертыми на замок воротами, с калиткой, с собакой на цепи во дворе, словом, со всем духом и всей обстановкой, подобающей таким домам. Мы Брюсова в тот день не застали. Но на другой день Бальмонт получил от него записку, приглашение на новое свидание. "Очень буду рад видеть и Бунина, с мальчишеской важностью писал он: — он настоящий поэт, хотя и не символист". Поехали снова — и я увидел и впрямь еще очень молодого человека с довольно толстой и тугой гостинодворческой (и довольно азиатской) физиономией. Говорил этот молодой гостинодворец очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства),— да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, "вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!" — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового у него уже были жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная. Я попросил у него на несколько дней какую-то книгу. Он странно сверкнул на меня из своих твердых скул своими слегка раскосыми, бессмысленно блестящими, как у птицы, черными глазами и с чрезвычайной галантностью, но и весьма резко отчеканил:

— Никогда и никому не даю ни одной из своих книг даже на час!

* * *

Из числа писателей "народников" во времена моей ранней молодости еще были живы Николай Успенский, Глеб Успенский, Златовратский, Засодимский, Наумов, Нефедов. Все они еще пользовались большой известностью и очень читались,— особенно Глеб Успенский и Златовратский; читались и некоторые из более ранних, уже умерших — Омулевский, Левитов... Большого различия между ними их почитатели не делали. А меж тем различие было огромное: Левитов и оба Успенских были столь замечательные писатели, что можно даже и теперь читать и перечитывать многие из них произведений. Прочие "народники" были совершенно бездарны и забыты вполне справедливо.

Некоторые из рассказов Левитова поразили меня в ту пору,— особенно "Горбун",— поразили тем более, что связывались с моим представлением о нем самом, о его глубоко несчастном, в некоторых отношениях ужасном и почти трагическом образе. Теперь о Левитове никто не знает, не помнит, а ведь он, повторяю, был когда-то в первых рядах русской литературы и был не случайно, а с полным основанием, хотя художественный талант, которым он был наделен от природы, не развился даже и в десятой доле той меры, что полагалось ему, а душа, в основе своей глубокая и поэтическая, с детства была надломлена в темноте, нищете и всяческом прочем убожестве той среды, к которой он принадлежал, в которой родился и вырос,— он был сын сельского дьячка,— и потом бродяжничеством, пьянством и жизнью в столичных трущобах. Участь его была похожа на участь многих его современников из числа писателей "разночинцев": в ранней молодости пешком ушел из своей тамбовской губернии в Петербург, чтобы учиться и писать, "жить в центре умственных интересов", а в Петербурге, конечно, жил жизнью нищей и пьяной богемы, писал наспех, как попало, затем впал в пьянство уже беспробудное, в бродяжничество и босячество постоянное, полное жестокого душевного ожесточения, едкой сердечной горечи, и погиб, в конце концов, от белой горячки, в одной из московских больниц. Как и многих других, подобных ему, много раз пытались добрые люди спасти его, устроить, вернуть к образу и подобию Божию — и, конечно, напрасно. Я знал одного из этих добрых людей, и он мне рассказывал:

— Я однажды подобрал Левитова в такой грязи, в такой нищете, которой вы и представить себе не можете. Он у меня отдышался, отъелся, я его одел, обул, предоставил ему прекрасную комнату, снабдил карманными деньгами,— мол, живи, сколько хочешь, поправляйся, работай... И чем же он отплатил мне за все это? Выхожу раз утром, а он ходит по гостиной, куда только что поставили новую шелковую мебель,— и мочится на кресла, на диваны: "Вот вам, говорит, полюбуйтесь, благодетель, на свою мещанскую роскошь!" А затем вышел в прихожую, взял картуз и палку — и исчез... Настоящий русский человек был!

Весьма увлекся я в молодости и Николаем Успенским и опять не только в силу его художественного дарования, но в силу и личной судьбы его, во многом схожей с судьбой Левитова: страшные загадки русской души уже и тогда волновали, возбуждали мое внимание.

Он тоже когда-то занимал в литературе одно из самых видных мест. Однако он тоже сделал, кажется, буквально все возможное, чтобы погубить и свою известность, и талант. Он бросил работать, стал пьяницей и бродягой и кончил свое существование еще хуже, чем Левитов: умер в Москве, на улице, перерезав себе горло бритвой. Существование это было ужасное и позорное. Мы были с ним земляки, и я, еще будучи почти мальчиком, много о нем наслышался в Ефремове (уездном городе Тульской губернии), а потом кое-что узнал от его тестя и тещи. Эти последние (поп и попадья) жили от нас верстах в тридцати. Узнав о смерти Успенского, я, с мальчишеской горячностью, тотчас же поскакал к ним. Батюшка принял меня ласково, но от разговоров о зяте вскоре уклонился, поспешил уйти на пасеку. Зато матушка проявила полную откровенность, даже призналась, что была несколько лет в связи с Успенским.

— Да,— сказала она,— это все правда, что говорят и говорили о Николае Васильевиче. Несколько лет тому назад он явился к нам босяком, поселился у нас, жил как член семьи, а затем увлек и обесчестил мою дочь,— назло мне, как он сам выразился. Назло за что? Но он и сам этого не знал: просто, говорит, захотелось сделать гадость и все тут. Затем он на ней женился, быстро свел ее в гроб, а девочку, прижитую с ней, увел с собой, уходя от нас. Жил он тем, что потешал купцов, мещан и мужиков всяким шутовством, игрой на гармонике, тем, что заставлял своего несчастного ребенка плясать и приговаривать всякую похабщину. Он иногда даже брал ее, как щенка, за

шиворот и, на забаву мужикам, бросал в реку, в пруд. Вот, говорил он, вы сейчас увидите, православные, образец рационального воспитания,— и трах ребенка в воду! Бог ему судья, замечательный, но ужасный был человек... Тургенев, желая его спасти, целое имение ему подарил. Так нет — он и именье бросил. Оскорбил ни за что ни про что, изругал самыми последними словами Тургенева и опять ушел шататься. А чем кончилось все это — вы знаете: зарезался на Кузнецком мосту, среди бела дня. А какой ум, какой талант был! Знаете ли вы, что некоторые страницы Глеба Успенского написаны не самим Глебом, а им? Ведь Глеб (его двоюродный брат) очень высоко ценил его и не раз просил: "Помоги-ка мне вот такой-то и такой-то мужицкий или мещанский разговор написать — ты это гораздо лучше сделаешь, чем я..."

* * *

Первое выступление на литературных вечерах — осенью 1895 года, в Петербурге, в знаменитом зале Кредитного общества.

Незадолго перед этим, в первой книжке народнического журнала "Новое слово" под редакцией С.Н.Кривенко, одного из бывших столпов "Отечественных записок", я напечатал рассказ "На край света",— о переселенцах. Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское "Общество попечения о переселенцах" даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда. И вот я в Петербурге,— в первый раз в жизни,— и отправляюсь на этот вечер. Беру почему-то лихача и несусь среди огней и блеска великолепного, морозного Невского. Возле огромного дома "Кредитного общества" блеск еще пуще: ослепительный электрический свет подъезда, конные городовые с седыми от мороза усами, кареты и несметная толпа студентов и курсисток... Пробираюсь какими-то особыми лестницами куда-то наверх, где-то раздеваюсь,— и сразу попадаю в общество самых отборных знаменитостей, прочих участников вечера, уже собравшихся в артистической: "сам" Николай Константинович Михайловский, "сам" Потапенко,— он тогда гремел на всю Россию,— затем Засодимский, Мамин, Минский, Баранцевич,— он славился как отличный чтец,— и "сам" Петр Исаевич Вейнберг, душа всех литературных вечеров Петербурга, в великолепнейшем фраке и белом галстуке, с острым и

голым, сияющим черепом, совершенно юношескими глазами и душистой серебряной бородой, столь длинной и узкой, что его звали за нее Черномором. Когда я вошел, он держал к присутствующим какую-то торжественно-комическую речь, воздев руки над огромным столом, загроможденным цветами, фруктами и винами,— и вдруг быстро повернулся и с воздетыми руками с размаху упал на одно колено: в артистическую, как-то мерно и томно прихрамывая, шурша серым шелковым платьем, в сопровождении двух франтов студентов из числа распорядителей вечера, вплыла М.Г.Савина, а за нею, не в меру щурясь, приставив лорнет к глазу, медленно вошло как бы некое райское видение, удивительной худобы ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми распущенными волосами, вдоль обнаженных рук которого падало до самого полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев: З.Н.Гиппиус, сопровождаемая Мережковским.

— Божественная! — воскликнул все с тем же торжественно-комическим пафосом Вейнберг, возводя глаза к потолку и целуя руку Савиной.— А мы уж тут с ног до головы трепетали: а вдруг вы не пожалуете!

И тотчас же вслед затем начался вечер, и тут я впервые увидел всю бездну человеческого честолюбия и самолюбия. В тишине, сразу наступившей после третьего звонка и в артистической и в зале, почти все участники вечера, при всей своей славе и привычке к публичным выступлениям, вдруг даже побледнели от волнения, от близости своего выхода на эстраду,— даже Михайловский стал как-то не в меру строг и серьезен,— и многие тотчас же стали, шепотом и вполголоса, наизусть, и по книжкам, зубрить то, что надо было читать,— особенно большеголовый Минский: тот побледнел уж совсем как смерть и зазубрил со страстностью одержимого. Не проявил никакого видимого волнения, помнится, только Вейнберг да Баранцевич, бодро пошедший на эстраду первым...

Я, конечно, читал "На край света" и опять, благодаря этим несчастным переселенцам (да и новизне своего имени), имел большой успех. Баранцевич, как человек многоопытный, этот успех заранее предвидел и потому "по-товарищески" предупредил меня:

— Не читайте, дорогой Иван Васильевич, громко. Эта зала странная: громкий голос гудит в ней, как в бочке. Читайте ровно и ничуть не поднимая голоса...

Но я, к счастью, тотчас же понял, выйдя на эстраду, цену этой товарищеской заботливости: в зале было тысячи три человек, она была битком набита, сверху донизу, читать в ней "ровно и ничуть не поднимая голоса" значило осрамить себя до девятой пуговицы,— никто бы и звука не слыхал...

Про успех прочих и говорить нечего — они хорошо знали свое дело.

Вейнберг потрясал залу своим громовым, театрально-вдохновенным голосом, читая то, что читал, как я узнал впоследствии, неизменно, на каждом таком вечере,— свои стихи "К морю", которое, конечно, означало всякие конституционные "свободы" (об Учредительном собрании тогда еще не мечтали):

Бесконечной пеленою
Развернулось предо мною
Старый друг мой,— море!
Сколько мощи необъятной.
Сколько воли благодатной
В царственном просторе!

Засодимский, страшный заика, отрывисто выпаливал тоже свое неизменное — из Некрасова:

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай!
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай!

Что читал Потапенко, не помню. Да и неважно было, что именно он читает,— для публики было вполне достаточно того, что это Потапенко, автор знаменитой повести "На действительной службе", рассказа "Шестеро", и так далее. Кроме того был он тогда кумиром публики еще и потому, что был очень красив (красотой немного дурного тона, но весьма яркой и лихой какой-то).

А Гиппиус вызвала целую бурю — и негодующих криков, и рукоплесканий: она читала стихи о том, что она любит себя "как Бога".

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ А.СЕДЫХ "ПИСАТЕЛИ О СВОИХ КНИГАХ">

— Позвольте уклониться от ответа. Пушкин был, конечно, прав, говоря "взыскательному художнику", что этот художник "сам свой высший суд". Всякий настоящий писатель, конечно, может кое-что сказать о себе не хуже других, ибо непременно должен быть хорошим критиком: ведь его работа каждую минуту требует строжайшей самокритики, ума, вкуса, такта, меры, тончайшего чувствования каждого слова, каждого звука, который он употребляет, да и всего произведения в целом, его тона, строя, смысла, цели... И все-таки критиковать самого себя публично с надлежащей искренностью и подлинной простотой дело едва ли возможное.

От ответа на вопрос, что я думаю о "Жизни Арсеньева", уклонюсь еще и потому, что никак не мог бы высказаться о ней в нескольких словах — вещь эта во всяком случае довольно сложная. Кроме того, та часть ее, которая выходит теперь под заглавием "Истоки дней", хотя и имеет самостоятельную ценность, есть все-таки пока только часть.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

То, что я стал писателем, вышло, мне кажется, как-то само собой, без всяких моих решений на этот счет, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-нибудь "на роду написано". Хорошо сказано, что человек делается тем, о чем он думает. Но все-таки это не решает вопроса, почему один думает об одном, а другой о другом. От некоторых писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что это совсем так, но все-таки могу представить их и не писателями, а вот самого себя не представляю. Были во мне с детства большие склонности к музыке, к живописи, к ваянию. Мой домашний воспитатель играл на скрипке, рисовал акварелью — и я и до сих пор помню какое-то совсем особенное волнение, с которым я брал в руки его скрипку или пачкал бумагу красками. В уездном городе, где я учился в гимназии, я одно время жил у ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников,— и целую зиму, каждую свободную минуту мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и даже достиг вскоре таких успехов, что хозяин иногда пользовался моими черепами, и они попадали на чугунные кладбищенские кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще

пребывают. Почему же все-таки не стал я ни музыкантом, ни ваятелем, ни живописцем?

* * *

Помню те необыкновенные чувства, которые я испытал однажды, стоя в Страстном монастыре, в Москве, возле сына Пушкина, не сводя глаз с его небольшой и очень сухой, легкой старческой фигуры в нарядной гусарской генеральской форме, с его белой курчавой головы, резко белых, чрезвычайно худых рук с костлявыми, тонкими пальцами и длинными, острыми ногтями.

* * *

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Современниками моими были тогда люди очень разнообразные: Григорович, Толстой, Щедрин, Лесков, Глеб Успенский, Эртель, Гаршин, Чехов, Короленко, Вл.Соловьев, Фет, Майков, Полонский, Надсон, Минский, Фофанов, Мережковский... Декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в восьмидесятые годы русская литература "зашла в тупик", стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описывания действительности... Отчасти эти утверждения простительны: тут декаденты и символисты были верны давним нравам русской жизни, каждое десятилетие которой всегда имело своих собственных героев, в свой срок неизменно притязавших на исключительное право быть "солью земли", эру начинавших только с самих себя. Но правильны ли эти утверждения? Давно ли перед тем появились, например, "Братья Карамазовы", "Клара Милич", "Песнь торжествующей любви"? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда "Вечерние огни" Фета, стихи Вл.Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о "Смерти Ивана Ильича", "Крейцеровой сонате"? И так ли уж были не новы — и по духу и по форме,— как раз в те дни выступившие Гаршин, Чехов?

* * *

В ранней молодости я жил в деревне, вдали от столиц. Лет двадцати попал в первый раз на несколько дней в Москву и решил воспользоваться случаем хоть на минуту заглянуть в литературный мир. Заглянуть было трудно,— пойти к кому-ни-

будь из известных писателей я стеснялся. Спросят: что вам угодно, молодой человек? и что я тогда отвечу? Подумав, я решил ограничиться пока посещением редакции "Русской мысли". Неловко казалось явиться даже и туда. Но все-таки я отважился: ведь я уже был в ту пору сотрудником "Недели", "Северного вестника". Однако, оказалось, что я даже и представить себе не мог, какие бывают иногда нелепые визиты. Шел я, конечно, не очень спокойно, однако вошел в прихожую довольно смело и даже излишне громко предложил слуге передать мою визитную карточку "господину редактору", как вдруг из приемной почти выбежал прямо на меня какой-то бородатый, плотный господин: в поднятой руке у него торчало перо, поднятые ноздри зияли, очки блестели грозно и в то же время испуганно:

— Стихи? — крикнул он, не давши мне даже слова вымолвить,— и замотал на меня своими обеими короткими руками, точно ластами: нет, нет, у нас запас стихов на целых девять лет!

Почему запаслась тогда "Русская мысль" стихами на девять лет, а не на десять, например, до сих пор не понимаю. Но все равно,— вышло все-таки так, что дело мое совсем не удалось. Я сделал еще одну попытку — отправился еще в одну редакцию. Но вышло еще хуже,— очень похоже на встречу одного известного русского поэта с Метерлинком, о которой сам поэт рассказывал мне приблизительно в таких выражениях:

— Художественный театр готовился ставить "Синюю птицу" и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам представляет себе постановку этой вещи. Я с удовольствием согласился, но когда явился в дом Метерлинка, неожиданно нарвался на что-то совершенно дикое. Во-первых, звонил чуть не целый час. Во-вторых, когда, наконец, дозвонился, мне отворила какая-то древняя мегера, загородившая мне порог какой-то мерзкой сказочной преградой. И в-третьих, когда я наконец эту преграду все-таки преступил, то предо мной предстала такая картина: совершенно пустая комната, посредине стоит всего-навсего один стул, возле стула сам Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, Метерлинк молчит и молча глядит на меня, а собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить эту гадину со стула на пол и отчитать хозяина за его негостеприимство, но я сдерживаю себя и кратко излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже клокотать, захлебываться от рычания. "Будьте же добры,— говорю я тогда уже совсем резко,— соблаговолите мне

сказать, что вы думаете о постановке вашей пьесы?". И он наконец отверзает уста: "Ровно ничего не думаю. До свиданья". Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством кобры!

* * *

До 94-го года я не видел ни одного настоящего писателя и вообще совсем был чужд литературному миру. Зато начались мои литературные встречи не более, ни менее, как с Толстого. Я увидел его впервые в январе 94-го года. И с того времени знакомства мои с писателями стали быстро увеличиваться. Через год после того я поехал в Петербург и познакомился там с Михайловским, Кривенко, т.е. с редакцией "Русского богатства", уже печатавшего тогда мои первые рассказы, побывал у поэта Жемчужникова,— он перед тем переписывался со мной, печатая мои стихи в "Вестнике Европы",— и даже видел живого Григоровича, а приехав из Петербурга в Москву, сделал еще много знакомств: с Златовратским, Эртелем, Чеховым, Бальмонтом, Брюсовым, Емельяновым-Коханским, Коневским, Добролюбовым, Лохвицкой... Обилие знакомств оказалось богатейшее, смесь — удивительная. Я увидел сразу целых четыре литературных эпохи: с одной стороны Григорович, Жемчужников, Толстой; с другой — редакция "Русского богатства", Златовратский и ему подобные; с третьей — Эртель, Чехов, а с четвертой — те самые служители "новой красоты", которые, по слову Мережковского, уже "преступали все законы, нарушали все черты".

Все это произошло в течение какого-нибудь одного года. И все это повело к тому, что как-то сразу связалась с тех пор моя жизнь с жизнью литературной среды, а вскоре — во второй приезд в Петербург — эта связь еще более упрочилась, круг моих литературных знакомств и впечатлений еще более расширился. Тут я узнал еще много новых лиц: познакомился с некоторыми молодыми поэтами из плеяды Фофанова,— самого Фофанова, к сожалению, не видал,— с Сологубом, с редакцией "Современного мира", вернее, с домом А.А.Давыдовой, издательницы этого журнала, у которой когда-то совсем своими людьми были и многие знаменитые писатели,— в числе их сам Гончаров,— и некоторые либеральные великие князья, и Крамской, и Рубинштейны, потом с ее зятем Туган-Барановским, входившим тогда в большую славу вместе со Струве, встречался с Маминым-Сибиряковым, с Вас.Ив.Немировичем-Данченко,

со столпом народничества Воронцовым, ведшим тогда ожесточенную борьбу со Струве и с Туганом-Барановским, которого он, Воронцов, в своих полемических статьях неизменно называл с самой язвительной вежливостью "Господин Туган", потом с тощим и удивительно страстным Волынским, ярым врагом Михайловского, как раз в эту пору возвестившим нарождение в мире "новых мозговых линий", над которыми Михайловский всячески и жестоко издевался... Среди всего этого смешения лиц, кажется, один неутомимо-жизнерадостный Немирович-Данченко не принадлежал ни к какой партии, на всех и на все поглядывал любезно и благодушно. Уж на что был спокоен, не склонен к спорам вечно сосавший свою трубочку Мамин, а и тот не чужд был некоторых пристрастий и довольно ядовито пускал иногда про Волынского:

— Что с него взять,— это, мне кажется, именно про него говорит одна купчиха у Лейкина: Миазма мелкопитающая...

Или про всю редакцию "Северного вестника":

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

Но, повторяю, кажется, только один Немирович не беспокоился.

— Все вздор,— сказал он мне однажды.— Одно не вздор: надо писать и еще писать. Вот вы, молодые писатели,— на вас просто смотреть жалко: прикасаетесь к бумаге с такой робостью, точно кошка перебегает через дорогу после дождя. А надо так: купил 480 листов, то есть полную десть этой самой бумаги, сел — и ни с места, пока не исписал до единого...

Мои личные впечатления от всех этих петербургских встреч были, конечно, очень резки, а в общем образовывали даже нечто нелепое. Какие в самом деле крайности! От Григоровича и Жемчужникова до Сологуба, например! И то же было и в Москве, где я встречал то Гольцева и прочих членов редакции "Русской мысли", то поэтов самоучек,— их и тогда было в Москве большое количество,— то писателей-народников,— например, Златовратского,— то декадентов и символистов. Когда я заходил к Златовратскому, он, по-толстовски хмуря свои косматые брови,— он вообще играл немного под Толстого, благодаря своему некоторому внешнему сходству с ним,— с шутливой ворчливостью говорил порой: "Мир-то, друзья мои, все-таки спасется только лаптем, что бы там не говорили господа марксисты!". А когда я виделся, например, с Бальмонтом, с Коневским, с Добролюбовым, то слышал речи, конечно, весьма

далекие от лаптя. Златовратский из года в год жил в Гиршах, в своей маленькой квартирке с неизменными портретами Белинского, Чернышевского; он ходил, по-медвежьи покачиваясь, по своему прокуренному кабинетику в стоптанных войлочных туфлях, в ситцевой косоворотке, в низко спустившихся толстых штанах, на ходу делал машинкой папиросы, втыкая ее в грудь себе, и бормотал:

— Да, вот мечтаю нынешним летом опять поехать в Апрелевку,— знаете, это по Брянской дороге, всего час езды от Москвы, а благодать... Бог даст, опять рыбки половлю, по душам поговорю со старыми приятелями,— там у меня есть чудеснейшие мужики-соседи...

Златовратский раздраженно говорил:

— Да, вот пошли теперь эти марксисты, *декаденты* завелись какие-то... Все это, милый, эфемериды, накипь! Страшен сон, да милостив Бог!

А декаденты бредили альбатросами, Явой, Шотландией, гордо скандировали:

Мы — путники ночи беззвездной,
Искатели смутного рая!

В Москве эти "путники" появились как-то особенно внезапно и скандализировали публику гораздо резче, чем в Петербурге. Из песни слова не выкинешь,— опять напомню, кто именно поразил Москву первый: Емельянов-Коханский. Затем, как известно, поразил ее Брюсов. Емельянов-Коханский вскоре добровольно сошел со сцены: женился на купеческой дочери и сказал: "Довольно дурака валять!" Так точно и сказал одному нашему общему знакомому. Это был рослый, плотный малый, рыжий, в веснушках, с очень неглупым и наглым лицом. "Дурака валял" он совсем не так уж плохо, как это может показаться сначала. Мне думается, что он даже имел на начинающего Брюсова значительное влияние. А впоследствии ближайшими соратниками Брюсова были Коневской и Добролюбов. Коневской так и остался никому неизвестен, и, думаю, не без оснований. Брюсов, с неумеренностью, столь свойственной ему, иначе не называл его, как гением. А на деле это был просто больной и несчастный юноша. Вытертая студенческая тужурка, худые, широкие и совершенно деревянные плечи, лицо испитое, бледно-желтое, стоячие белесые глаза, рыжеватые слабые волосы... Говорил он мало и крайне невразумительно. Писал что-то очень напряженное, но еще более невразумительное. Не знаю,

что из него вышло бы,— он внезапно умер от разрыва сердца, купаясь.

Так же внезапно погиб для литературы и Добролюбов. Но о нем почему-то некоторые помнят и до сих пор. Блок писал о нем:

Из неживого тумана
Вышло больное дитя...

Но что за "туман неживой" был в Москве в ту пору? Да и на дитя Добролюбов был не похож. Это был сутулый и даже слегка дюжий молодой человек с большим лицом, имевшим совершенное сходство с белой маской, из которой жутко чернели какие-то сказочно-восточные глаза. Один из друзей его детства рассказывает: "Мы вместе с ним росли и учились в Варшаве. По матери он был полуполяк, полуфранцуз. В детстве был помешан на играх в индейцев, был необыкновенно жив, страстен. Юношей сразу страшно изменился: стал какой-то мертвый, худой. Злоупотреблял наркотиками — курил опиум, жевал гашиш, прыскался каким-то острым индийским бальзамом. Основал "кружок декадентов", издал книгу своих стихов: "Из книги Невидимой или Натура Натуранс" с совершенно нечеловеческими строками какого-то четвертого измерения..." На меня лично Добролюбов сразу произвел вполне определенное впечатление: помешанный. Достаточно было взглянуть на него, когда он шел по улице: опасливо пробирается возле самой стены, глядит куда-то вкось, вся фигура тоже перекошенная, руки в черных перчатках, выставлены немного вперед... Как известно, он куда-то скрылся,— ушел, говорят, странствовать по России, в армяке, в лаптях,— и навсегда где-то пропал. Брюсов и его называл гениальным. Блок впоследствии — тоже. Почему собственно? Брюсов, со свойственной ему жаждой архива, описей, сделал опись всех его изданных и неизданных сочинений. Опись вышла очень невелика. Но в числе этих сочинений есть, например, такое:

"Опровержение Шопенгауэра и *всех* философов..."

О Горьком

Таковы были первые деятели новых дней русской литературы. В общем, литература того времени еще и знать их не хотела, как бы разделяла мнение Златовратского: "Ефемериды, накипь!". А про общество и говорить нечего. Общество жило тогда больше всего знаменитыми "бессмысленными мечтаниями", интересом к явным и тайным борцам против правительст-

ва, к неустанным распрям марксистов с народниками и все растущей силе первых. Для общества событиями в литературе были новые произведения Короленко, порой Чехова,— "Мужики", например, вызвали толки чуть не на несколько лет. К тому же близилось пришествие и других "властителей дум": Горького, Скитальца, Андреева...

О Горьком, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже целых 35 лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств,— например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как "Песня о Соколе",— песня о том, как "высоко в горы вполз уж и лег там", а затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился на смерть ужалить за что-то сокола, тоже почему-то очутившегося в этих горах...

Чрезвычайно помогла Горькому и его биография. Но опять: потрудился ли кто-нибудь точно узнать эту биографию? Все знают: "босяк, поднялся со дна моря народного..." Но никто, кажется, не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: "Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторы, мать — дочь богатого купца красильщика..." Дальнейшее — никому в точности неведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: "Грамоте — учился я у деда по псалтирю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности..." Чего стоит один этот сусальный, вечный горьковский образ! Но далее: "Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом "Искра", Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехать в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю

и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России..."

В 92-ом году Горький напечатал в газете "Кавказ" свой первый рассказ "Макар Чудра", который, кстати сказать, начинается так: "Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой, свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: "Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!" А через три года после того появился знаменитый "Челкаш". Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и "Макаром Чудрой" и последующими созданиями горьковского пера: "Емельян Пиляй", "Дед Архип и Ленька"... Уже славился кроме того, Горький сатирами,— например, "О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал",— был известен, как фельетонист, ибо писал и фельетоны (в "Самарской газете"), подписываясь так: "Иегудиил Хламида". Но вот появился "Челкаш"...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем: в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух: "Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе, вот с этакими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке..." А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Было это так.— Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: "Познакомьтесь, Горький". Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками,

которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков,— скучный прежде всего по своему однообразию и по своей гиперболичности,— все эти богачи были совершенно былинные исполины,— а кроме того и по неумеренности, образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил...

<ОТВЕТ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ АНКЕТУ "ЧИСЕЛ">

Вопрос: — "Переживает ли русская литература в настоящее время упадок?" — подразумевает, очевидно, под "настоящим временем" последние пять-десять лет. Но можно ли, говоря о жизни литературы, принимать в расчет столь малые сроки?

Во всяком случае, упадка за последнее десятилетие, на мой взгляд, не произошло. Из видных писателей, как зарубежных, так и "советских", ни один, кажется, не утратил своего таланта,— напротив, почти все окрепли, выросли. А кроме того, здесь, за рубежом, появилось и несколько новых талантов, бесспорных по своим художественным качествам и весьма интересных в смысле влияния на них современности.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Пришла весть с фронта, что убили Володьку. Старуха, его мать, второй день лежит ничком на нарах, в полушубке, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все говорит:

— Ну, и чудна ты старуха! Ну, и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется!

Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, вопит и воет. Он и к ней:

— Ну вот, ну вот! И эта тоже! Стало быть, надо было Володьке в ножки кланяться?

У Якова тоже сына убили. Получив об этом письмо, он сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь:

— Ничего, ничего, Царство Небесное! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча, Богу ладан!

* * *

На деревенской мельнице. Много мужиков, несколько баб. Мельница шумит, поэтому разговор громкий. Возле притолоки, прислонясь к ней, и внимательно слушая барина, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик, болезненный, с опущенными плечами, с черной бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Барин рассказывает, что солдаты Керенского не слушаются, уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись на него черными блестящими глазами, стал кричать:

— Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

Верхом на серой кобыле подъехал солдат в хаки и казенных стеганых штанах, попевая и посвистывая. Мужик кинулся на него:

— Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали?

Солдат сделал вид, что не слушает, слез, привязал лошадь: и на раскоряченных ногах, с притворно-беззаботным видом, вошел в мельницу.

— Что ж мало навоевал? — закричал за ним мужик.— Ты что ж, шапку, портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся). Ты бы уж лучше совсем туда не ездил. Только, значить, нас разорять, стерва ты этакая! Вот возьму, сдеру с тебя портки и сапоги, да головой об стену! Рады, что начальства теперь у вас нету, подлец ты! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

* * *

Московский ресторан. Музыка, людно, носятся лакеи. Временное правительство насчет вина еще строже прежнего, но почти все пьяны. В одном углу, на диване, за круглым столом,

три известных адвоката: уполномоченный Городского союза, наряженный по-русски,— длинные сапоги, поддевка,— франт земгусар с блестящим прямым пробором, бритый, и еще один — в офицерских погонах, в хаки, толстый в груди и в плечах, стриженный ежом, красный. Этот кричит на всю залу, требует Марсельезу. Но оркестр играет свое, заунывно, томно, потом, как бы внезапно очнувшись, отчаянно:

Эх, распошел,
Ты, мой серый конь, пошел!

И толстый, подняв плечи и локти, прыгает в такт на диване.

СТРАНСТВИЯ

I

...Этого старичка я узнал прошлой зимой. Прошлая зима была особенно страшна. Тиф, холод, голод... Дикая, глухая Москва тонула в таких снегах, что подвигом казалось выйти на улицу. Да никто и не выходил без самой крайней необходимости.

Я искал его по одному делу. Узнал наконец, что он все там же, обитает в том же доме, где было прежде некоторое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мертв. Я вошел в раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но, по счастью, за мной вошел какой-то мальчишка, который что-то нес с собой. Оказалось, что мальчишка идет как раз к старичку, несет ему пшенной каши: старичок очень голодал, питался только тем, что присылал ему иногда, по старой дружбе, отец мальчишки. Пошли вместе, вошли в подвальный этаж дома, долго шли по какому-то подземелью, постучали наконец в маленькую дверку. Она отворилась в низок под каменным сводом. В низке было очень жарко: посредине стояла железная печка, докрасна раскаленная. Старичок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто совершенно непривычное теперь для слуха: "Имею честь кланяться"! Выцветшие, слезящиеся глаза, серые бакенбарды; давно небритый подбородок зарос густыми молочными волосами.

Весь низок, все стены сплошь увешаны яркими лубочными картинами — святые, истязуемые мученики, блаженные и юродивые, виды монастырей, пустынь, скитов; целая стена занята большим киотом с нестерпимо блестящими золотыми образа-

ми, перед которыми разноцветно теплятся лампадки — зеленые, малиновые, голубые. Углы завалены духовными книжками, житиями. Запах лампадного масла, кипариса, воска и жар от печки были тоже нестерпимы.

— Да-с, тепло! — сказал, грустно усмехаясь, старичок.— Не в пример всей Москве, на холод не пожалуюсь. Всеми, слава Богу, забыт в этом подземелье, даже почти никто и не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дровец, что остался здесь, в неком подвальчике. Вот и топлю и сижу, как в крипте или катакомбе. Здесь, даст Бог, вскорости и окончу свое земное существование. Очень стал хил и печалюсь. Времена опять зашли темные, жестокие и, думаю, надолго. Как волка ни корми, он все в лес смотрит. Так и Россия: вся наша история — шаг вперед, два назад, к своему исконному — к дикому мужичеству, к разбитому корыту, к лыковому лаптю. Помните? "Было столь загажено в кремлевских палатах колодниками, что темнели на иконах ризы...". Таковыми палатами и стала снова Россия, оправдывающая ныне слово преподобного Исаака Сирина: "Пес, лижущий пилу, пьет собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознает вреда себе...". Впрочем, все это вам и без меня хорошо известно. Перейдем к делу: я весь к вашим услугам, но чем именно могу служить?

...Весной он умер. В одно из наших последних свиданий он говорил мне:

— Знаете ли вы это чудное сказание? Забежала шакалка в пещеру Иоанна Многострадального и разбила его светильник, стоявший у входа. Святой, сидя ночью на полу темной пещеры, горько плакал, закрывшись руками: как, мол, совершать теперь чин ночной молитвы, чтения? Когда же поднял лицо, утираясь рукавом, то увидел, что озаряет пещеру некий тонкий, неведомо откуда струящийся свет. И так с тех пор и светил он ему по ночам — до самой его кончины. А при кончине, воспринимая его душу, нежно сказал ему Ангел Господень: "Это свет твоей скорби светил тебе, Иоанн!"

II

...Жизнь возобновляется, даже начинает переходить в будни. Белый хлеб и чай входят в обычай. Опять, удивляя и радуя, открываются лавки и магазины, кое-где пошли трамваи, появились извозчики... И опять весна и даже некоторые весенние чувства,— например, в какую-нибудь черную, сырую ночь с этим особенным мартовским треском колес и цоканьем копыт

по мостовой, с влажным ветром в фортку, или в солнечный полдень, когда все течет, блещет, тает, а на углу Арбата, на тротуаре возле бывшей "Праги", сидят и, напоминая о юге, дерут свои стихиры слепые лирники... Вместе с весной стало как-то необычно людно на главных улицах. Народ, впрочем, все больше новый. Людей прежнего времени, особенно старых, конечно, уже почти нет, их погибло за эти годы бесконечно много, а те, что как-то уцелели, странны: зачем они уцелели, зачем вылезли откуда-то на свет Божий, как заморенные звери из своих холодных нор,— бледные, опухшие, обросшие ватной сединой, в зимних лохмотьях? Вижу иногда знаменитого народовольца: ужасная черная шляпа (ужаснее тех, что валялись прежде только на пустырях, на свалках), рубище солдатской шинели, грязные, мокрые опорки, связанные веревкой... Однако, очень бодр, всегда не идет, а бежит, так и сверкает очками и младенческой, блаженно-изумленной улыбкой...

Я еще больше скитаюсь по Москве, даже начинаю мечтать о поездках кое-куда. Иногда не бываю дома с утра до вечера, отдыхаю, ем и пью где придется, в какой-нибудь чайной, пивной. Сижу, курю махорку, смотрю на соседей, слушаю разговоры и музыку. Чаще всего играют двое: какой-нибудь до ушей лысый еврей с бархатно-черными глазами, который, отставив вперед ногу, с бешеной страстью жжет и бьет смычком по скрипке, и солдат в обмотках, тупо ревущий на громадной гармонии, поставленной на приподнятое колено...

Есть вести из наших мест — из города и из деревни: и там будни. Недавно посетил нас "землячок", бывший красноармеец. Дружески сидел с нами, пил чай, вел беседу. Говорил, усмехаясь, что теперь и отдохнуть можно:

— Мы теперь Россию замирили, везде тихо. Я сам в Тамбове не меньше ста душ в расход вывел...

Он оброс густой и круглой красно-коричневой бородой. Круглые прозрачно-коричневые глаза стоят, как у филина. Стриженая голова имеет форму гроба.

III

...В начале апреля посетил в Хамовниках дом Толстого. Несмотря на блестящий день, весеннее сияние голых деревьев, запах почек и сырой земли, впечатление тяжелое. Дом давно не топится, в нем холод, сырость. Особенно тяжко в тех двух низких комнатах с топорными креслами, обитыми черной кожей, очень потертой и в складках, где жил он сам. На стене

висит его старая меховая шуба, на полу разбитый кувшин, и старое деревянное судно, у одной стены столик с сапожными инструментами... Все бедное, жалкое, следы жизни уже давней и забытой!

Вспоминаю Остафьево, где был перед этим. Там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: черный жилет, белая бальная перчатка, оранжевая палка с ременной кисточкой... Потом — восковая свеча с панихиды по нем... Смотрел — стеснялось дыханье. Как все хорошо, безжизненно и печально! Век еще более давний и потому кажущийся гораздо богаче, тоньше...

IV

...Недавно, в прекрасный сентябрьский вечер, шел в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук! Золотой, глухой, подземный... На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонек неугасимой лампады и лежали свежие цветы. Возле стояли, кланялись и крестились старичок и старушка, очень старомодные, милые и жалкие. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу? Старичок ответил: "Монахи. А вы думаете, что все погибло? Нет еще..." — затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку: "Пойдем, пойдем, ты совсем впал в детство",— и повела его, плачущего, по дорожкам к воротам.

V

...Вчера весь день несло страшной вьюгой. Ночью, возвращаясь домой, думал, что погибну в снежной пустыне своего переулка.

Нынче пришлось быть возле Красных ворот. Вечерело, было снежно, тихо, всюду тоска и грусть. Я вспомнил, что тут где-то близко, в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного. Отыскал тупик, спустился немного и вошел в ворота широкого, занесенного снегом двора. Неожиданно открылась какая-то странная глухая усадьба, и спереди и с боков состоящая из теремов с крылечками и маленькими окошечками. Снег был свеж и настолько глубок, что я тонул по колено. Единственный след чьих-то очень больших ног вел к главному крылечку. Я пошел по следу, надеясь, что в доме кто-нибудь есть,— там теперь музей. Поднялся на крылечко — дверь оказалась заперта, хотя на ней и висело под стеклом объявление, что

музей открыт каждый день от десяти утра до пяти вечера. Я стал стучать — ни звука в ответ. Откуда-то из дома вышел мужик в теплом картузе, в длинной стеганой куртке и, не обращая на меня внимания, пошел по двору. Я его окликнул:

— Музей открыт?

Он приостановился:

— Закрыт. По воскресеньям только открыт.

— А почему же висит объявление, что открыт каждый день?

— Да так висит, не снимают...

Я пошел к нему, и мы вышли из снега к крыльцу одного из флигелей.

— А что, интересно в музее?

— Есть люди интересуются, говорят, хорошо.

— А как по-вашему?

— Как-то не могу понять. Не могу вам разъяснить. Там, конечно, разное украшение, разные орудия, всякие топоры, молотки... Все собирали...

Он легонько вздохнул. По его тону можно было заключить, что он хочет высказать какую-то более глубокую мысль.

— А где же дом самого Ивана Грозного? Средний и есть?

— Средний. На его собственную ассигновку строен. Четыреста лет, говорят, стоит...

Он опять вздохнул:

— Да. Жили-наживали, хозяйство приобретали...

Темнело и опять стало белеть в воздухе, опять пошел снежок на этот глухой обширный двор, на старые, с грубыми деревянными лафетами пушки, которыми обставлен он...

VI

...В июне некоторое время жил в Тверском уделе.

Тихий и печальный край! Бедные песчаные поля, тощие перелески, редкие поселки, леса по горизонтам. А не то низины, болота... Дни тоже какие-то бедные, невзрачные. По вечерам тусклое сияние луны...

Чем тут живут теперь, когда нет Москвы, московских заработков, и все сидят дома, непонятно. Земля скудная и малая,— черноземному человеку смотреть жалко. Но вот как-то живут и даже на вид неплохо, во всяком случае лучше наших. Избы прочны, ладны, стоят вдоль улицы ровно. В избах чистые деревянные полы, занавесочки на окнах, под окном пяльцы с узорным холстом, на полке расчищенный самовар... Одеты все довольно опрятно, девки и ребята даже франтят и по вечерам

парами танцуют около изб, под гармонию, щеголяя изысканным обращением друг с другом. Пожилые весьма схожи с нашими по языку, по склонности изрекать общие места, мудрые пошлости. И, конечно, так же равнодушны и к тому, что когда-то было, и к тому, что случилось, и к тому, что есть. Над тем, например, что теперь на полтора миллиона можно купить всего пять фунтов муки, лишь усмехаются: покачивают головами и уютно прячут руки в рукава.

Москва тут кажется за тысячу верст. Я о ней слышал между прочим такое сужденье:

— Дивно, как еще эта Москва *в е щ е с т в у е т*!

VII

...Июль был мрачный — каждый день грозы, ливни: свинцовая чернота неба над жутко-белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающие удары грома, от которых звенят стекла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-папиросники на Кузнецком и Неглинном разделись и плавали. В тот день я как раз опять уезжал из Москвы — в гости к одним знакомым, на дачу: вода местами шла выше колесной ступки, от нее кружилась голова...

Знакомые — муж и жена (и, как это ни странно по нынешним временам в нашем кругу, молодожены); пара вообще не совсем обычная: она женщина молодая (и очень серьезная), ему лет шестьдесят, хотя человек он очень живой, бодрый (небольшой, сухощавый, юношески легкий в движеньях); оба занимаются русской историей,— он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача — недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном поселке; всего сто верст от Москвы, но в леса, в болота, к северо-востоку, и потому край опять глухой, старинный: "черное место, дикой лес, мокрая болотина"...

Жили мы скучно, неуютно. Изба не в поселке, а как-то сама по себе, на отлете, на месте недавно срубленного леса, среди пней, щепы и сучьев. Еще без фундамента — только на столбах по углам, так что все заходил под нее чей-то петух и очень рано будил меня по утрам, орал под самой кроватью. И, проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами... Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углем, дымил ужасно, выедал глаза, не грелся по часу, по два. А вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зеленый...

Муж ходил в довоенных серепьких штанишках и в мужицкой рубахе, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем по-крестьянски — тоже бахилки и суровая рубаха до пят, расшитая по рукавам и подолу красными елочками. И одевалась она так не только по необходимости: видела в этом опрощении свой долг и даже радость. Молчаливая, черноглазая, она все твердила о древней, мужицкой Руси, к которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, неисповедимые, что Бог послал нам великую милость — пострадать и в страданьях, как в огне, очиститься... Сны она видела только вещие, думы думала все загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни, собиралась идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по ее словам, предрек наши дни в точности: открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества...

Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько верст лесом. День был сумрачный, над соснами, над просекой, по которой мы шли, скоплялись сизо-белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно — как только мы подошли к станции, черный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождем с градом...

VIII

...Нынче с утра Москва стояла в ослепительном солнечном свете. Вышел на улицу — день совсем летний, как часто бывает в Москве в апреле. Легко и с удовольствием шел вниз по Воздвиженке, прямо на солнце, по сухому тротуару. День праздничный, на улице много свободного и довольного, по-весеннему одетого молодого народа с папиросами. На солнечном углу, на повороте на Моховую, бодро похаживал и поглядывал оборванный малый, щеголевато покрикивал низким, хрипучим от дурной болезни голосом, предлагая прохожим собрание сочинений Ленина, будто бы новое и "общедоступное". Прохожие усмехались, шли мимо. И вслед каждому он кривил глаза, кривил рот и, вбок прикрывая его рукой, хрипло и быстро добавлял: "Есть похабненькое...". Постовой грозил ему с улицы пальцем, но тоже с усмешкой. А впереди меня все время бежал мальчишка в женских разбитых башмаках, продавал свежий номер еженедельного журнальчика, во всю первую страницу которого изображен был Бог-Отец, сидящий на облаках и недовольно разглядывающий сквозь громадное пенсне афишку, пос-

ледний советский декрет... Я взял извозчика, велел везти себя на вокзал и на целый день уехал из Москвы — целый день провел в деревне, в одной старой, знаменитой усадьбе.

Пока я сидел в вагоне, стали находить облака, стало скучнее и прохладней. Потом, когда я шел к усадьбе со станции, стал еще очевидней этот обычный обман ранней весны. В эту пору всегда резкая разница между городом и деревней и всегда портится утренняя погода к полудню. Так было и тут. Солнце скрылось за облаками, подул ветерок... Но для меня и в этом была большая весенняя прелесть. Свежий запах земли, ветер сладко холодит щеки, руки, дует в рукава... Потом я с радостью увидал апрельскую наготу старых деревьев усадьбы, ее еще серого и сухого парка, сквозившего своими сучьями на холодном и по-весеннему облачном небе. В усадьбе не было, конечно, ни души — только сторож с семьей в своей сторожке. Я долго сидел на скамье в главной аллее, ведущей к дому. Солнце лишь порой проглядывало из-за облаков; все вокруг было мертво, пустынно,— только тикали какие-то птички по парку; палевые стены и белые колонны пустого, безмолвного дома дивно и безжизненно светили в конце аллеи из-за голых ветвей и стволов... Наконец подошел сторож с трубкой в зубах, повел меня к дому, отворил ключом главные двери и пошел за мной, стуча сапогами по навощенным полам, сперва по огромному вестибюлю, где стыдливо и грациозно стояли нагие мраморные богини, потом по бесконечным ледяным залам, среди целой галереи портретов, тускло блестевших со стен своими черными лаками и затвердевшими, помертвевшими красками, косо провожавших нас с двух сторон млечно-голубыми белками глаз, меловыми париками, яичной округлостью женских грудей... Зашли, между прочим, в чью-то женскую спальню с кожаной помятой мебелью, с овальным заржавленным зеркалом... Смотрел и думал: как поверить, что все это следы жизни, подлинно бывшей когда-то, что люди этого дома и впрямь жили здесь! Спросил сторожа: "Скучно вам, небось, тут?".— "Скучно,— ответил он.— Говорили, новый строй, новый строй, а на деле все в прежнем положеньи. Один подлог, обман...". Потом он опять запер дом и ушел к себе, а я бродил вокруг дома, по парку. Заглянул в одно окно в полуподвальный этаж,— увидал сквозь железную решетку сводчатую часовню, престол, покрытый ветхим зеленым шелком, перед престолом истертый бархатный коврик, за ним — золотой семисвечник и изразцовую печь... Заглянул в другое: какое-то подземелье, заваленное мраморны-

ми обломками,— львиными головами, урнами и плоскодонными чашами, капителями колонн...

Ушел я из усадьбы только вечером, когда месяц уже стал класть в парке легкие апрельские тени под деревьями и серебрить поляны. Уходя, думал: ночью парк побелеет под месяцем, мертвый дом засветится насквозь, всеми своими пустыми, блестящими покоями...

IX

...В жаркий день, в конце апреля, ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: "Это, должно быть, туда, где церьква с синим кумполом". Шел еще долго, очень устал. Но весна, тепло, радость,— было удивительно хорошо. Увидал наконец древний собор с зелеными главами, которые мужик назвал синими, как часто называют мужики зеленое синим, увидал весенний сквозной лес, а в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосафа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, узорами, зеленью глав,— в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нем синих и лазурных облаков...

Теперь тут казармы имени Баумана. Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы из них выдраны, пол завален и мусором, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет дырами — вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи ливнем взвились с полу, с мусора, и усыпали иконостас по дырам и по выступам риз над ликами святых...

А как знаменита была когда-то эта вотчина! Вот кое-что из одной очень старой, редкой книги о ней:

"Рощи заповедные. Роща цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады. Аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льняной двор для мятия льну. Скотный двор, в нем 903 быка, 128 коров, 190 телиц и 82 тельца, 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нем 701 иноходец, кони, кобылы и мерины. Воловий двор. Виноградная мельница. Пивоварня, меловарня, солодовня, маслобойня. Птичий двор, в нем лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих родов. На мукомольне 7 мельниц. Стеклянный завод... Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных пред-

ставлений. Мост, мощенный дубовыми брустьями... 27 прудов, в одном щуки, в другом стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики...".

X

...В августе ездил в Троицкое, поместье Румянцева.

За станцией — не то лес, не то парк, дикий, отрадный, дубравный. На выезде из деревушки — памятник, очень странный в соседстве с мужицкими избами: Екатерина в греческом шлеме и какая-то богиня со змеей вокруг ноги, а под ними надпись:

"От Екатерины дана сему месту знаменитость, навсегда оглашающая заслуги графа Румянцева-Задунайского".

За мостом через ручей, среди вековых берез,— прекрасная церковь с двумя колокольнями, напоминающая некоторые римские церкви. В часовне при ней стоит громадная яшмовая гробница последнего Румянцева. Возле часовни — огненный куст настурции.

Кругом, из-под темных деревьев, сквозь их стволы, видны далекие деревни, сине-лиловые леса, золотом горящие на солнце жнивья.

Дальше — бесконечно длинная, страшно высокая аллея. Еще дальше — развалины дворца, пролеты в развалинах стен...

XI

...Прошлое воскресенье провел в Троицкой Лавре. Облазил все стены, все башни, подземелья...

В соборе, там, где стоит открытая серебряная рака, горит только одна лампада. Мощи как-то мелко лежат на дне раки, в каких-то почерневших, до ужаса древних остатках ветоши... Кругом плотная толпа — бабы, мужики, старухи с крысиными глазами. Ни страха, ни благоговения, ни вздохов — ничего. Только любопытство, кое-какие замечания, иногда остроты и смех...

В ризнице — кафтан Ивана Грозного: потертая золотая парча на голубом шелку, с золотыми шнурами. Концы рукавов истерты особенно, а низ левой полы весь изорван, из него торчит слой ваты... Тупо смотрят и на кафтан.

Во дворе собора по-прежнему нищие, калеки, недужные, "пораженные язвами и червия воскипением...". Лежат, сидят,

переползают... Костыли, лохмотья, головы, повязанные платками и тряпками, безносые или безгубые, с кровавыми, как бы выдранными, глазами или с оловянными бельмами, тщетно ищущими зрения... "Подайте слепому, безрукому... Кормители, питатели... Обратите внимание...". Бодро и деловито прошли среди этой орды два рослых монаха: один — здоровый мужик — в гимнастерке и грубых сапогах, в черной шляпе, с двумя русыми косами, другой в рясе,— круглоликий красавец Алеша Попович с шелковой каштановой бородкой, с темно-синими, как бы налитыми маслом женскими глазами...

XII

...После дождей — опять светлая, тихая осень. Ехал странно: заливной звон колокольчиков под расписной дугой, тарантас, тройка... Только тройка — три задранных клячи, тарантас — допотопная рухлядь, ямщик — в сплошных заплатах. И ни души встречной за всю дорогу. Ямщик сказал:

— Теперь все пошло на старый жребий!

В монастыре Саввы собор 14 века, теперь всеми забытый. Поднялся на крутую гору, на Старое городище. Там тоже древняя церковь — одиноко белеет на самой верхушке; за ней древние земляные укрепления, вековые громадные сосны. Кругом ясная и четкая пустота полей и лесов, солнечная теплая колкость...

XIII

...Суздальские земли грустны даже летом. Лесистые холмы, река. Краски — зеленые, лиловые, синие — очень густы и неприятны.

Нынче к вечеру небо на закате обложилось непогожими тучками, по реке пошла кирпичная рябь. Какие-то мужичишки рыболовы, выплыв на реку, стоя и качаясь, наклоняясь в своих долбленых челнах, вытаскивали бредни. Я долго смотрел на одного из них, качавшего своим челном реку, на его кривые ноги, на изломанное личико с серой проседью под размятым теплым картузом, на линючую ситцевую рубашечку и впалый живот... Вот они, созидатели, зиждители суздальских обителей!

В одной из этих обителей мне попалась рукопись древнего монаха: "Замогильные летописи созерцаний". В ней есть такие строки:

О, жилище немятежное ближних моих друзей!
Мирное обиталище всех утрудших в ней!
Вертоград пустынный, краснейший Эдем!
Небурное пристанище, юдоль, сладкая всем!

Вечерами в городе великая уездная глушь. Долго не темнеет, бесконечно стоит тускло-синий сумрак в пустых и широких улицах без единого фонаря. Медленно бьют часы в монастыре... для кого? Город точно вымер. Ложатся спать с вечера — целая вечность до утра! Мой сосед по жесткому дивану на постоялом дворе, какой-то мещанин, который спит, не раздеваясь и не разуваясь, всю ночь страшно скрипит зубами — точно новыми сапогами...

Видел одного местного начетчика. Он в поддевке, нескладно шаткий и высокий, с бледно-синими глазами. Пользуется большой славой. За ним приезжают из деревень, возят его на религиозные диспуты. Священное Писание знает наизусть. Говорит очень громко, убежденно, сосредоточенно — и не позволяет сказать в ответ себе ни одного слова. Мужики им восхищаются:

— Какие ученые люди ни приезжали — не гожаются. Никуда! А какой мелкий приедет, с двух слов забьет — и шабаш!

XIV

...На Волге посетил Макарьевский монастырь. Нанял лодку. Рыжий мужик не спеша ворочал веслами, стоя в ней, и по зеркальной, тихой воде подвел ее к самому монастырю, к его древним стенам, из-за которых глядели главы шести соборов. Во соборах все как было чуть не тысячу лет тому назад — незапамятная и нерушимая Русь: черные средневековые лики икон, черная олифа... Но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Живут тем, что возят по приволжским городам (на пароме) древний чудотворный образ. Я, когда плыл к монастырю, как раз встретил этот паром. Он шел еще медленнее нашей лодки, в глубоком молчании. Золотые хоругви, белый престол с образом, белые балахоны возцов и черные рясы сопровождающих образ. Все фигуры — и белые и черные — сажень ростом, великаны...

XV

...Опять весна и опять живу в большой глуши — в тех самых краях, где несколько веков тому назад жил подвижник, про которого сказано:

Ты в пустыню суровую,
В места блатные, непроходимые
Поселился еси...

Городок маленький, деревянный. Основан чуть не в самом начале Руси, стоит на мутной речке, нижний берег которой болотист, серебрится кустами ольхи. Середина города, очень малая часть его, окружена высоким земляным валом с тремя проходами. На валу еще заметно место, где была когда-то сторожевая башня. Вал зарос густой травой, в траве высыпали по весне желтые лилии. За валом древний собор, несколько деревянных домишек, два государственных здания и три березовых аллеи, в которых поют птицы. Некоторое пространство в этом зеленом кремле не застроено и тоже зарастает какими-то цветами. Тут же пруд, отражающий берега и весну. Вода имеет цвет фиалки. Возле пасутся лошади. Полное затишье, ветер сюда не заходит...

Я живу не в городе, а за городом, на горе. Городок с церквами и собором внизу, на широком разлужьи. С горы открывается даль: перевалы, холмы, кое-где покрытые лесом, кое-где — полосами запашек и озимей, идущих вниз как бы холстами: запашки — розовыми, песчаными, озими — ярко-зелеными. Дальше, за холмами, леса все гуще и темнее...

Край этот церковный, монастырский: куда ни глянь, всюду монастырь. Слева от меня, совсем близко, белеет каменной стеной и башнями по углам женский монастырь двенадцатого века. Он наполовину скрыт столетними, уже засыхающими деревьями, весь осел, врос стенами в свои зеленые берега. Вечерами под его тяжелые ворота с золотым крестом над ними идут черные фигуры монахинь. Справа — скат, дальше плоскодонный лог, а за ним невысокий холм, на котором, под старыми деревьями, раскинут старый погост, где козодои, не смолкая ни на минуту, тянут всю ночь напролет все одну и ту же жужжащую ноту. Птица эта очень идет к скитам. Вылетает она беззвучно из-под самых ног, повьется, повьется над головой, бесшумно трепеща крыльями, и опять упадет на какую-нибудь могильную плиту. Глаза у нее — два красных карбункула. Могильные плиты на погосте мшисты и загажены птицами, мшистые кресты серы, мягки, точно на них фланель. Есть, конечно, развалившийся склеп богатого купца, нелепый и безобразный, из черных окон-дыр которого пахнет нечистотами. А рядом чей-то новый крест, под которым лежат свежие цветы и густо вьются пчелы...

В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошел во двор монастыря, прельщенный красным огоньком, горевшим под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки — полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. Золотой ангел с крыши притвора благословлял двор. В притворе чернели две рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил ее показать, где на монастырском кладбище самые древние могилы. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумраке сада, среди смешанных весенних запахов — и сладких, и терпких, и каких-то водянистых, травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся ее белый капюшон. Она разыскала могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, всю во мху, в порах и углублениях, суженную к одному концу. Буквы, насеченные на ней, покрытые мохом, совсем черным, гласили:

"Лета такого-то (шестьсот лет назад) ... схимонах Ферапонт... рода Долгоруких..."

Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь тоже очень старые, есть шестнадцатого века. Среди этой северной ночи их серебряная, певуче дрожащая игра над монастырским садом и городом очаровательна. Особенно поздней ночью, когда все спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная. Что-то бледно-лимонное, тонкое освещает небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим, просветленным блеском. Мохнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, леса — темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов, очень сильные ночью, тонут в одном, особенно сильном запахе ландышей...

XVI

...У стен монастыря встретил однажды монаха из уезда. Он отвязывал от дерева клячу с вытекшим глазом, запряженную в старомодную колымажку, на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подряснике и черной шляпе; лицо худое, длинное, редькой, в оловянных очках; на грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто-каштановых, с серебром. Разговорились, я присел к нему в колымажку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказывать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про свято-

го, основавшего этот монастырь, и про знаменитого юродивого, погребенного в монастыре. Юродивый был "как бы Голиаф", ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяжелой собачьей цепи (и до сих пор хранимой в монастырской ризнице). Пришел в монастырь неизвестно откуда, ископал себе поблизости от него, в дремучем ельнике, землянку. Каждый день, услыхав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти,— стоял на ней босиком и в одной рубахе даже зимой, не боясь ни морозов, ни метелей. После обедни являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: "В аду еще жарче будет!" Как-то раз не пришел. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться: не случилось ли чего? А как нарочно шла сильная метель. Стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бору, гудел колокольный звон — его все не было. Когда стихло, пошли искать по лесам окрест — не нашли и в лесах. А потом пошел как-то на медведя мужик и видит: лежит юродивый возле своей хижины, окруженный сугробами, но не на снегу, а на весенней зеленой траве, посреди благовонных цветов...

XVII

...Был еще в одном монастыре.

Пришел туда рано утром. Утро было солнечное, яркое. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба, из раскрытых церковных дверей слышалось пение. Церковь была пуста — только по обеим сторонам ее, против боковых алтарей, стояли в два ряда черные монахини с четками в руках. Царственно-суровая игуменья, положив левую руку на черный посох с желтой костяной рукояткой, стояла против средних царских врат в высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжизненностью, ровно и бесстрастно, высокими женскими альтами, пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорбных излияний вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках...

Когда служба отошла, и монахини, под звон колоколов, под жарким солнцем, стали расходиться из церкви в разные стороны, к своим кельям, я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошел туда, постучал в дверь. Вышла высокая, мужественная монахиня с черными внимательными глазами, вся в черном, с белой коленкоровой наколкой на голове. Выслушав меня, она помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, необыкновенно чистых, весело озаренных солнцем. В одной топилась печка и горела на столике розовая лампадка, было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкапами, там стояли два стола для чтения и фисгармония. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, все продолжая следить за мной серьезными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя ее, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым светило солнце и шел ровный лепет зеленой древесной листвы...

Между прочим, я узнал, что под этим монастырем находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц которого списаны святые на иконостасе в церкви. Есть гробницы еще времен Грозного. Историк монастыря, перечисляя гробницы, дает и краткие жизнеописания погребенных в них. "В гробнице такой-то погребен такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным... В гробнице такой-то — тот-то, убиенный в 1612 году...". В следующей — "отрок Сергий, убитый лошадью; родился в 1698 году, преставился в 1715; был иноком с четырнадцати лет; красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в оной, с детства стремился он к Богу и вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей...".

В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошел к склепу, откуда идет спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился: только заглянул между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмоленных колоды — и поскорее пошел прочь..

XVIII

...На прощанье попал еще в одно старинное место, еще в одну усадьбу. Опять широкий двор, стертые камни старинного крыльца, в доме сложные вековые запахи... Из полутьмы большой

гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошел в еще более просторный, но светлый зал, весь позлащенный солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты... Неужели не приукрашали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядящий со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несравненная прелесть форм, облитых тонким шелком, неземная красота радостно-восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы! В библиотеке — портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вольтеровское, как это часто бывало в те годы: белый густой парик, нежное румяно-желтое лицо с впалыми щеками, едкие, проницательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату? А комната такая, что, кажется, остался бы в ней навеки: низкие книжные шкапы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и сафьяновых корешках за их стеклами, посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик; кругом, по лаковому полу, блеск и игра лучей, а за широкими полукруглыми окнами — безбрежные серебристые леса... В "Расходной книге" этого имения прочел, между прочим: "Отпущено псарю Тимофею 60 аршин алого атласу на кафтан..." — и мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закушенный язык... Потом смотрел другие книги: откуда и в них, в самый расцвет такого благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления "к Богу и вечности", эти горестно-возвышенные упреки земле и человеку?

Почто, о человек! стремишься
Всегда за счастием земным?
Неужли ты надеждой льстишься
Вовеки наслаждаться им?

1930 г.
Приморск<ие> Альпы.

<ОТВЕТ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ АНКЕТУ "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" "ВАШЕ ПЕРВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ">

Где, когда и при каких условиях состоялось Ваше первое литературное выступление?

Как и где начал печататься, уже не раз говорил в автобиографических заметках. Прибавлю одно: и до сих пор жалею, что случилось это очень рано, так как думаю, что почти всякий

писатель начинает писать что-нибудь путное только лет с тридцати, с тридцати пяти. Жалею и о том, что был встречен слишком благосклонно. Конечно, "похвала нужна молодому артисту, как канифоль смычку". Но нужно держать его в строгости, иначе "пускается он в неглижабельность и самоуверенность излишнюю". Так отчасти было и со мной на первых порах. Только впоследствии стал я чувствовать даже некоторую печаль, слыша похвалы,— печаль, означающую и чувство ответственности, на тебя возлагаемой, и боязнь, что не вполне оправдаешь доверие, которое тебе оказывают, и тайное сознание общей бедности человеческих сил и способностей.

Во всяком случае, хорошо помню, что, когда я в молодости начал натыкаться на обильную критику, это очень было мне на пользу,— я в таких случаях тотчас же подтягивался, бодро и весело ожесточался...

ИЗ КНИГИ "СЕРП И МОЛОТ"

* * *

Тело Ленина целую неделю стояло в бывшем Дворянском собрании. Всю неделю шел и шел к нему народ. Толпами стояли у входа, на улице, ждали очереди с утра до вечера, при морозе в 30 градусов. Автомобили увозили потерявших сознание, обмороженных... Сколько мерзло, стояло тут и тех, кого эта смерть повергла в потрясающую радость, в некий мистический восторг, в лютую жажду увидеть гроб человека, ставшего страшным почти апокалипсически? А там, где он лежал, все было задрапировано красным и черным, люстры и канделябры покрыты черным газом, свет был мягкий, прозрачный,— все было точно заткано серо-золотистой паутиной. Невидимый оркестр (из Большого театра) чуть слышно играл все время похоронный марш. В тишине, среди шороха подошв и шепота, то и дело слышался судорожный крик рыдающих женщин, из которых, опять-таки, было великое множество видевших в умершем подлинного Антихриста...

* * *

Сын крестьянина, из Волоколамского уезда. Мальчиком был отдан в обучение к "богомазу", затем и сам стал "богомазом". В молодости, "ознакомясь с революционной и материалистической литературой", сделался "убежденным атеистом". Про-

должал, однако, заниматься иконописью — вплоть до самого октябрьского переворота. Тут вступил в московскую коммунистическую организацию, зачислен был на "первые московские пехотные курсы", "вел работу по реорганизации кадетских корпусов", после чего был назначен комиссаром тамбовских командных курсов, сражался в рядах курсантов "против мамонтовских и антоновских банд, заслужив среди товарищей глубокое уважение, как стойкий и честный коммунист", и, наконец, демобилизованный в 23 году, получил назначение на должность директора волоколамской фабрики... "Как же случилось то, что совершил он в апреле нынешнего года и что привело его на скамью подсудимых в московский губсуд?"

Перед судом — человек небольшого роста, коренастый, крепкий, опрятно одетый, с чисто выбритыми щеками и красиво седеющей острой бородкой, с большой блестящей плешью на черепе и с удивительным спокойствием на лице,— "истинное воплощение житейского благополучия, сознания недаром прожитой жизни, умной и холодной рассудительности, стойкой воли и непоколебимого резонерства", по справедливой характеристике газет.

— Подсудимый, расскажите все дело по порядку.

— Я сблизился с убитой мной Надеждой Чиж, будучи комиссаром тамбовских командных курсов. Она была уборщицей при курсах. Сначала была приходящей, затем поселилась у меня. Жениться я на ней не думал и никогда не обещал ей этого, ибо считал и считаю таковое оформление брака излишним. Однако, она вскоре стала требовать именно этого. Я стремился развить ее — напрасно: читать ничего не хочет, посещать образовательные лекции и чтения — тоже... Все мечты и желания сводятся к тому, чтобы получше одеться, завиться, напудриться... Вижу: сущая обывательница, как нельзя более далекая от склонности к коммунизму, цинично пользующаяся своим положением приближенной комиссара, своими возможностями получить из продовольственного склада курсов наибольшее количество продуктов, лишнюю пару ботинок, лишний отрез сукна на пальто... Легко понять, насколько дискредитировала она меня своей некультурностью в глазах курсантов, как коммуниста и борца.

— Так что, собственно, за это вы и убили ее?

— Именно за это. И, кроме того, за назойливость ее.

— Как же было дело?

— На охоте. Пошел 14 апреля текущего года на охоту. Она за мной. Взяла с собой закусок, вина. Пришли в лесок. "Давай,— говорит,— присядем, закусим". Прекрасно. Срубил для нее

можжевельника, она села, стала развязывать узелок. Повторяю то, что уже говорил дорогой: "Мы должны расстаться". Отвечает: "Не расстаться, а повенчаться". Возится, наклонившись к узелку, но говорит твердо. Тогда я тотчас же выстрелил ей в голову. Она упала, опрокинулась навзничь, не успев издать ни звука, ни вздоха. Меня даже поразила эта картина: череп настолько развалился, что из него выпало все содержимое. Затем я вынул кинжал и стал резать труп на части. Разрезал на 16 частей...

— А для чего нужно было резать его?

— Для того, чтобы скорее растаскали труп птицы и звери, чтобы ликвидировать и скрыть следы преступления. Скрыть не от партии, конечно, а от обывателей.

— Как долго длилось все это?

— Мы вышли в десять часов утра. Около одиннадцати сели закусывать. А домой я вернулся в два.

— Что же вы делали дома?

— Ничего особенного. Устал, был, конечно, взволнован. Выпил два стакана воды, сказал старушке мамаше поставить самовар, сам отправился в трактир за папиросами...

— А затем?

— Что, собственно? Не совсем понимаю ваш вопрос. Жил, как обыкновенно, делал свое дело, как всякий сознательный коммунист и строитель будущего...

* * *

На дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, жил бывший барский кучер, краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир. Он долго таскал его по снегу, по двору, ходил по квартирам,— хотел продать на выпивку, но, конечно, никто не покупал. Наконец, приехал в Москву под Рождество деревенский сосед дворника и купил:

— Ничего,— сказал,— этот мундир свои деньги оправдает! Будут ребята таскать, а то и сам изношу. В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках, в пуговицах. Ему сносу не будет!

* * *

Стали являться в Москву земляки.

На днях был чрезвычайно удивлен — явился наш бывший садовник: приехал, говорит, "повидаться с барином", то есть, со мной. Я его даже не узнал сразу: за эти семь лет, что мы не видались, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого, выжившего из ума старика с бледной от седины бородой, с желтым опухшим лицом. Все плакал, жаловался на тяжести жизни. Мне было с ним очень неловко — все время продолжал говорить со мной, как с барином, просил помочь, где-нибудь устроить на место, совершенно не понимая или не желая понимать, кто я таков теперь. Прожил у меня два дня. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу и на пропитанье несколько рублей. Он пихал это тряпье в свой нищенский мешок, трясясь от стариковского сладострастия к собственности, не слушая, что я ему говорю, бормоча: "Теперь я и доеду, и хлебушка куплю!" Под вечер ушел, наконец, с этим мешком на вокзал, на прощанье поймав и несколько раз поцеловав мне руку холодными, мокрыми губами и усами, оставив во мне мучительное родственное чувство...

* * *

Когда умер поэт Хлебников, о нем писали и говорили без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминания. Суть этих воспоминаний была такова:

П. давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников, "благодаря своей житейской беспечности", крайне нуждался. Однако, все попытки П. сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: — "Хлебников был неприступен".— Но вот однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону.— "Я стал звать его к себе. Хлебников ответил, что придет, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянкой и Никольской. Однако, минут через десять слышу звонок, отворяю и вижу: Хлебников!" — На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол. Он превратил стол в кровать, а кровать — в стол, и на этой кровати, совсем голой, стал писать свою книгу "Доски Судьбы", где фигурирует "мистическое число 317".— Грязен и неряшлив он был до такой степени,

что комната его вскоре превратилась в совершенную закуту, и хозяйка выгнала с квартиры и П. и Хлебникова. Последнего приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался "Досками Судьбы". Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги во что бы то ни стало необходимо побывать в Астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и вот он в восторге помчался на вокзал. Однако, уехать ему сразу не удалось: на вокзале его обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошеливаться, и Хлебников, наконец, уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе,— писала она,— Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехал туда ночью, нашел Хлебникова, и тот тотчас повел его за город, в степь, а в степи стал говорить, что ему "удалось снестись со всеми 317-ю Председателями", что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрел в город. Здесь он, после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: — "Негодяй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен был умереть! Я ведь уже снесся по советскому радио с 317 Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!" — "С этих пор отношения между нами испортились, и мы разошлись",— говорил П. Однако, возвратясь в Москву, Хлебников вскоре нашел себе нового мецената, в лице булочника Филиппова, который и стал его содержать, исполняя все его прихоти. В последний раз П. видел Хлебникова в роскошном номере отеля "Люкс", где на двери висел большой и цветистый самодельный плакат. На этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла надпись:

"Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати до половины двенадцатого!"

* * *

Нынешней весной в последний раз побывал в Никольском.

Пришло неожиданное и удивительное письмо от никольских мужиков. Писал от их имени новый учитель:

"Граждане сельца Никольское вспоминают вас, относясь с симпатией, в ознаменование чего и предлагают вам поселиться на родном пепелище, сняв у них в арендное содержанье быв-

шую вашу усадьбу и живя в добрососедских отношениях. Приезжайте для личных переговоров и хлопот, ничего не подозревая, ввиду того, что теперь вас никто пальцем не тронет, события миновали, и река вошла в свои берега..."

Я, едучи, думал: неужели и впрямь опять еду я туда, где встретил когда-то страшное начало этих "событий", откуда бежал в одну из самых зловещих октябрьских ночей семнадцатого года и где уже никогда не чаял быть снова! Не верилось, что опять увижу это "пепелище", пока не увидал собственными глазами давно знакомые места и лица.

А затем было очень странно видеть все прежнее, свое, собственное чьим-то чужим,— чьим именно, никто еще не знал толком во всей деревне,— странно взглянуть на все эти столь грубо одичавшие за пять лет "берега" и, в частности, на те изменения и разрушения, что произошли в усадьбе за время пятилетнего мужицкого владычества над ней... снова войти в тот дом, где родился, вырос, провел почти всю жизнь, и где теперь оказалось целых три новых семейства: бабы, мужики, дети, голые потемневшие стены, первобытная пустота комнат, на полу натоптанная грязь, корыта, кадушки, люльки, цыганские постели из соломы и рваных пегих попон, а стекла окон, их зимних рам, теперь никогда не вынимаемых, точно покрыты черными кружевами — так засидели их мухи...

На деревне встретили меня ласково, сами дивились на то, что произошло, с жалостью разглядывали мою бедную одежду и все говорили, что надо хлопотать, чтоб разрешили эту аренду "на вечность". Но ведь дом-то оказался занят, и в доме ко мне отнеслись, конечно, совсем по-другому, особенно бабы. Те тотчас же заявили без всякого стеснения: "Какая такая аренда? Ну, нет, никакого мира мы и знать не хотим, из дому не выйдем!" И я тотчас же понял, что и впрямь как-то нагло и глупо влез я в этот дом, в эту чужую, уже крепко внедрившуюся в него жизнь.

Короче сказать, провел я в Никольском всего два дня и уже только из приличия поддерживал на деревне переговоры об аренде.

Уехал, зная, что уезжаю уже, действительно, навеки, с великим душевным облегчением...

На днях встретил на Кузнецком никольского Степана: стоит перед пустой витриной магазина и пристально смотрит на нее; на голове шапка, на плечах тулуп, на ногах валенки, хотя на дворе июль, градусов тридцать. Обрадовался мне, как родному, стал упрекать: "Напрасно вы погордились — жили бы себе на

спокое, у нас теперь не хуже прежнего, все хорошо, тихо". И тут же рассказал, что вышло недавно поблизости от Никольского "нехорошее дельце": остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадь, а мужики в лоск положили за это весь табор: убили целых шестнадцать человек мужчин и женщин и одного маленького цыганенка: дрались весь день, с утра до вечера — цыгане защищались не на живот, а на смерть, особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев сыновей, которые так рядом и легли с ним...

* * *

Возле церкви у Никитских ворот встретил медленно идущую похоронную процессию: красная с золотом колесница, лошади в белых мантиях с красными бантами на ногах, и провожатые в белых треуголках с красными лентами; сзади — другая красная колесница, полная белых хризантем.

Несколько человек стояло на тротуаре и пристально смотрело на эту процессию. Спросил:

— Кого это хоронят?

— Говорят, какого-то Брюса.

— Это который календарь написал?

— Похоже, что так...

Возвратясь домой, перелистал последнюю книгу стихов покойного. Нашел в ней, между прочим, такие стихи:

В годы Кука, давно славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный — и
Неповторный опыт был...

И такие еще:

Березка родная в губернии
Горько сгорблена грузом веков,
Но не тем, что в Беарне ли, в Берне ли
Гнули спину иных мужиков...

* * *

Наш "рюрикович", наконец, отстрадался. Жизнь его была ужасна: голод, нищета и чахотка, точно огнем, сжигали его,— я ни у кого не видал таких пылающих глаз, такой худобы и темноты лица. А, между тем, никто из нас даже и сравниться не мог с ним в той легкости и даже веселости, с которой нес он все

свои страданья и лишенья. Это меня всегда поражало за эти годы: чем знатнее был человек в свое время, тем легче и проще вступал он во все испытания новой жизни. Но покойный — даже и среди таких людей выделялся. Точно ничего и не случилось! Все также радостно встречался с нами и родственно, поспешно целовался, все то же оживленье, шутки, все те же "друзья мои" к каждому слову и детские мечты, планы: вот-вот жизнь станет лучше, свободней, и все мы уедем куда-нибудь на Кавказ, оснуем там какой-нибудь поселок — под вечным солнцем, у теплого моря, в виду вечно сияющих снегами гор, в чинаровых лесах, в цветущих тропических дебрях...

— И уже тут с нами не сладишь! — смеясь, говорил он,— батраки, бедняки, коммунисты! И как еще жить-то будем! Вон сестра Маша пишет: "Я теперь хожу в лаптях, работаю у мужиков на поденьщине..." И что же? Я уверен, что она счастлива!

Умер он 12 декабря в полдень. За час до его смерти выглянуло солнце, и он, лежа в своей каморке на продранном диване, сказал грустно и ласково:

— Вот и солнце, а я его уже не вижу...

На этом же диване и положили его — в остатках чистого белья, в черном сюртуке и серых брюках. А на другой день, в морозное утро, тащилась по Дмитровке белая рессорная телега, старая лошадь под белой сеткой. Сопровождали ее два мужика в белых кафтанах и белых жестяных цилиндрах; один из них нес небольшой березовый крест. Сзади шла кучка бедно одетых людей — мы...

* * *

На престольный праздник возле уездного монастыря была ярмарка.

Нищих, калек, убогих, слепцов с поводырями стеклось без счета.

Во время обедни все это лежало и сидело на траве у стен монастыря, со всеми своими палками, мешками. Особенно выделялись коричневые до блеска, до перламутра сожженные солнцем и до костей иссохшие старцы с голыми черепами, да один страшный малый: вместо носа, губ и части подбородка у него было что-то сплошное, вроде огромного шрама лиловатого цвета, с дырой посредине в кулак величиной, куда он запихивал сразу половину французской булки и мял ее остатками мышц и связок. Ужасней всего было то, что это был человек очень

веселый, голубоглазый (хотя и в кровавых веках), и мял булку даже для потехи...

Когда из монастырских ворот, из-под расписных сводов, показалась парчевая рака, вся эта толпа бросилась к ней, давя друг друга, послышались крики, вопли. Пение, ладан, черные рясы монахинь, эта рака, медленно плывущая над головами, и эти крики, вопли... Позади всех, задрав голову, слепо и неотразимо пыряя вперед палкой, не поспевая за поводырем-мальчишкой, бежал мужик в бельмах...

А на ярмарке стоял балаган, гремел, бил в медные тарелки оркестрион, и все прочее являло картину, тоже давно известную: гам, говор, дикий и дурацкий крик клоуна, зазывавшего в балаган на представленье, густая толпа баб, мужиков, девок, белые баранчики в телегах, тонкое ржание жеребят с замшевыми мордочками, острый запах лошадиного навоза и растоптанного сена, малый, сидящий на земле с шарманкой между ног и под ее рев и свист поющий во весь звонкий голос:

— Все пташки, канарейки...

А на крылечке чайной, под красным флагом,— кумовья и сваты; раскрасневшиеся от чая и самогона лица с мутными, умиленными глазами, головы и бороды мудрецов Эллады...

Воротясь на постоялый двор, лег на деревянный диван, очень утомленный долгим шатанием по ярмарке, и закрыл глаза. На постоялом дворе не было ни души, хозяева отдыхали после обеда. Погода портилась,— в неприкрытое окно дул холодный ветер, слышался все усиливающийся шум деревьев... На минуту забылся, потом очнулся: дождь частой дробью осыпал стекла, поминутно сверкали ослепительные молнии, сквозь сердитый шум деревьев с ярмарки гремел "Интернационал"...

* * *

На трамвае, идущем по Арбату.

Надо мной стоит, высится громадный мужик, держится за ремень вверху и все что-то на меня поглядывает. Потом вдруг усмехается и весело и громко говорит:

— Погоди, погоди, тряхнем!

— Кого тряхнем?

— Знаем, кого! Только погоди еще маленько!

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВ

Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: "Петр Александров".

В пакете — пачка писем ко мне этого "Петра Александрова", затем рукопись его наброска "Одиночество", книжечка рассказов ("Петр Александров. Сон. Париж, 1921 год") и, наконец, вырезка из газеты "Дни" — статья М.А.Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер семь лет тому назад, на пятьдесят шестом году от рождения, в скоротечной чахотке.

Это был, кажется, самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал.

Алданов назвал его человеком "совершенно исключительной доброты и душевного благородства". Он несколько поскупился на эпитеты. Покойный был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя,— Петр Александров,— в жизни носил имя куда более громкое: принц Петр Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающегося одним из самых древних в Европе,— последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых,— был правнук императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III.

Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было десять лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в приемной, было множество народу и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: "Какой-нибудь бывший генерал и светский, родовитый человек..." Я, мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по-военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевой: легкое непромокаемое пальто неопределенного цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца... Меня удивил его рост, его худоба,— какая-то особен-

ная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное,— его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице, небольшие подстриженные усы тоже того особенного желтого цвета, что присущ только древней европейской аристократии, и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вернее, следами бровей). Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим: ко мне подошел кто-то из знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:

— Его высочество просит позволения представиться вам.

Я подумал, что он шутит: где же это слыхано, чтобы высочества и величества просили позволения представиться!

— Какое высочество?

— Принц Петр Александрович Ольденбургский. Разве не видали? Вон он, стоит у двери.

— Но как же это — "просит позволения представиться?"

— Вы думаете, что это поза, что-то напускное? Нет, это у него совершенно искренне. Он вообще человек какой-то совсем особенный.

А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта, в духе толстовских народных сказок. Он приехал ко мне и привез ту самую книжечку, насчет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографии Земгора: три маленьких рассказа под общим заглавием "Сон". Алданов, упоминая об этих рассказах, тоже дивится: "Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских... Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью... А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желание вступить в Народно-Социалистическую партию! Разные были в России великие князья... Были и такие, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице... Принц Ольденбургский не нацеплял на себя этой ленточки... Тесная дружба, закрепленная в детстве, в день 1-го марта 1881 года, связывала его с Николаем II — и едва ли кто другой так бескорыстно любил убитого императора. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже "переубедить" царя и, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с Толстым... Это одно уже дает представление об образе мысли и о душевном облике П.А.Ольденбургского. В

нем не было ничего от "красного принца", от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было так нетрудно приобрести в его положении...

Рассказы его были интересны, конечно, только этим — тем, что тоже давали "представление о его душевном облике". Он писал о "золотых" народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу, Его заветам братской любви между людьми,— "единственного спасения мира во всех его страданиях и распрях",— писал горячо, лирически, но так неумело, наивно, что даже было неловко за него. Он, впрочем, и сам хорошо понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:

— Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок... Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное...

Достаточно удивительно для принца царской крови и его "Одиночество". В нем есть такие строки:

— "Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтого жнивья, черных взметов; тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшие облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две борзые собаки, белый кобель и красная сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленям. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепенения..."

— "Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. "Ату его, ату его!" — что есть силы кричу я, скача за собаками. Белый кобель долго достает его, сшибает на зеленя..."

— "Еду проселком домой. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно... Зачем не слышу я ее звонкого смеха, не вижу ее больших

добрых глаз, ее ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?"

— "Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепы... Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы: — Семен, а Семен, несколько раз повторяю я, не слезая с лошади.— Из сарая выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается.— Здравствуй, Семен. Не зайдешь ли сегодня ко мне вечерком посидеть, побеседовать? — робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа.— Что ж, зайду, спасибо,— отвечает он просто, теребя второчeнного русака..."

— "Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево — флигелек, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочий. Я слезаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы... Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, поворачиваюсь, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю..."

Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав "Одиночество", он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь и говорил со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью:

— Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне этот набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда,— то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда-то... то есть, тогда, когда мы разошлись с Олей... с Ольгой Александровной...

Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинно святой простотой называвший при посторонних дочь Александра III Олей, Николая II — Колей? (Да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые эсеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: "Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним

знали друг друга!"). Ответить на этот вопрос,— что за человек был он,— я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто "ненормальным". Все так, но ведь и князь Мышкин был "ненормален", и святые, блаженные были "ненормальны"...

Письма его тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки и из них:

— ...Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде... По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-де-Люз... Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатого еще летом рассказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике... Очень соскучился по парижским знакомым... Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне... (1921 г.).

— ...Спасибо Тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно... Приезжайте в наши края, тут и теплей и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-де-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и приятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них, как дома... (1921 г.).

— ...Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует... Настроение у меня нерадостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины... (1922 г.).

— ...Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что Ты для меня сделал... Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, буря, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко... Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в "Сполохах" и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Париже... (1922 г.).

Так дружески писал он ко мне. Но несмотря на это, и на всю нашу близость, я, в сущности, знал его мало: встречал не часто,— мы все жили в разных местах,— расспрашивать, выпытывать, "наблюдать" его как-то не мог... До эмиграции я даже не видал его никогда, сведений о его прежней жизни, в России, имею немного,— только то, что сказано в статье Алданова: до войны он, в чине генерал-майора, командовал стрелками императорской фамилии... в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне в Воронежской губернии, где мужики — тоже довольно странная история — предлагали ему кандидатуру в Учредительное собрание... Потом, с наступлением террора, бежал во Францию и, большей частью жил по соседству со своим отцом, принцем Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)... Неизвестен мне полностью и его характер,— Бог ведает, может быть, были в нем, кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные: эту действительно "совершенно исключительную доброту", это "душевное благородство", равное которому надо было днем с огнем искать, необыкновенную, истинно очаровательную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность и верность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет, радость...

Сперва он жил под Парижем,— тут мы встречались чаще всего,— потом, как уже сказано выше, под Байоной... Потом он как-то неожиданно, по общему нашему изумлению, вторично женился: встречаю его как-то в нашем консульстве (это было тогда, когда улица Гренелль еще оставалась в некотором нашем распоряжении) и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: "Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невесте... Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет выполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы..." Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу:

— Боже, как я рад! Вот не чаял!

— А ты зачем и почему здесь?

Он махнул рукой и заплакал:

— Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку твоей супруге. У меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом...

Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории в Булони. Но не помогла и санатория: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался — в бедности, в полном одиночестве...

Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил позволения приехать: "Умоляю Тебя, как только это будет Тебе возможно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу..." И вскоре, как-то вечером, приехал — едва живой, задыхающийся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (все из-за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти...

— Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значение мое удостоверение?

— Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я конечно написал. Помогло ли это, не знаю: смерть освободила его от всех наших удостоверений.

Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая России, успокоения в родной земле.

ЗАМЕТКИ

Это словцо в свое время все повторяли.

Однажды в присутствии Ключевского шел спор о русских романистах: кто хорош, кто плох, кто выше, кто ниже...

Ключевский, в своем старом сюртучке, под которым так приятно обозначалась его худоба, похаживал по комнате, глядя в пол, подпирая левой рукой свою тонкую талию, и молчал. Наконец обратились к нему:

— Василий Осипович, а вы как думаете?

Он весело и тонко усмехнулся, не поднимая головы:

— Я думаю, сказал он, что у всех русских исторических романистов есть общий и довольно печальный недостаток: все они слишком плохо знают историю. Счастливое исключение составляет один граф Салиас: тот истории совсем не знает.

* * *

Помню один большой ужин, на котором был Ключевский. Это было после первого представления "На дне".

После этого представления публика, стоя, вызвала Горького ровно девятнадцать раз. Он всякий раз появлялся на сцене только после очень долгого крика, стука и всяких прочих восторгов зрительной залы, выходил, в своей блузе и сапожках с короткими голенищами, как-то внезапно, боком, со стиснутыми зубами, бледный до зелени, горбясь и не кланяясь, а только зло кидая назад свои длинные красно-желтые волосы. Когда же наконец зала почти опустела и занавес решительно опустился, он, поспешно и все с тем же ожесточенным видом надевая за кулисами пальто, стал отрывистым басом командовать тем из своих друзей и почитателей, которые набились туда и теснились перед входом:

— Айда к Тестову — жрать будем!

Ужин давал он сам, назвав кроме актеров Художественного театра еще человек полтораста. И как только явился к Тестову, быстро вошел под новый гром аплодисмента в уже полную народом и блиставшую огнями залу, снова освирепел, густо крякнул и кинул кланявшемуся ему метрдотелю:

— Поживей и всего побольше! Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой такой, черт ее дери совсем, чтобы была не рыба, а лошадь!

Среди гостей был и Ключевский. Гости, в ожидании Горького и ужина, толпились в зале с обычным в таких случаях и плохо скрываемым возбуждением. Один Ключевский был беспечно-спокоен, мирно-весел, стоял в сторонке, чистенький, аккуратный, слегка склонив голову набок и искоса поблескивая очками и своим зорким, лукавым оком. Когда Горький наконец появился и, нетерпеливо переждав аплодисменты, отдал это приказание насчет лошади-рыбы, он чуть-чуть развел руками с любезнейшей усмешкой:

— Лошадь! — сказал он.— Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?

* * *

Одно из самых приятных литературных воспоминаний — о Мирре Александровне Лохвицкой.

Она умерла еще молодой, по несчастной случайности, и вскоре после смерти (в девятьсот пятом году) была забыта. Но

при жизни пользовалась известностью, слыла "русской Сафо" (как, впрочем, многие русские поэтессы). Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем,— муж ее был один из московских французов, по фамилии Жибер,— что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью и высокопарностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью,— все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее родной сестры, Н.А.Тэффи. Такой по крайней мере знал ее я, а я знал ее довольно долго, посещал ее дом нередко, был с ней в приятельстве,— мы даже называли друг друга уменьшительными именами, хотя всегда как будто иронически, с шутками друг над другом.

— Миррочка, дорогая, опять лежите?

— Опять. Неизменно.

— А где же ваша лира, тирс, тимпан?

Она заливалась смехом:

— Лира где-то там, не знаю, а тирс и тимпан куда-то затащили дети...

С особенным удовольствием вспоминаю нашу первую встречу. Мы случайно сошлись в редакции "Русской мысли",— оба принесли туда стихи,— познакомились и вместе оттуда вышли. Помню, все было очень бело, валил крупный снег, впереди ничего не было видно,— только очаровательная белизна. Она тотчас же весело начала:

— Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете?

— Я не про одних мужиков пишу.

— Но все-таки — вы?

— Я.

— Зачем?

— А почему же не писать и про мужиков?

— Ну вот! Пусть себе живут и пашут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже, говорят, платят. Вам сколько платят?

— Рублей семьдесят пять, восемьдесят.

— Боже мой! А за стихи сколько?

— Полтинник.

Она даже приостановилась:

— Как? А почему же мне всего четвертак?

— Не знаю.
— Значит, я хуже вас?
— Помилуй Бог, что вы!
— Но в чем же тогда дело? Вам сколько лет?
— Двадцать четыре.
— Ну тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок...

И все в ней было прелестно — звук голоса, живость речи, блеск веселых глаз, эта милая, легкая шутливость... Она и правда была тогда совсем молоденькая и очень хорошенькая. Особенно прекрасен был цвет ее лица,— матовый, ровный, нежный, подобный цвету крымского яблока. На ней было что-то нарядное, из серого меха, шляпка тоже меховая. И все это было в снегу, в крупных белых хлопьях, которые валили, свежо тая на ее щеках, на губах, на ресницах...

* * *

Совершенно забыл, никогда за всю жизнь не вспоминал — и вот вдруг вспомнил: давным-давно, бесконечно давно была в Полтаве лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками толстовского "Посредника", а над входом висела небольшая вывеска с моим именем: книжный магазин такого то... Очень странно, но так: у меня был когда-то книжный магазин. Я считал себя тогда толстовцем, но жил все-таки "в миру", а не в "келье под елью", как острили мои "мирские" друзья, говоря о толстовцах. Я служил в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я в свободное время,— а свободен я был всегда,— читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав и тому подобном), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что, если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского благого просвещения. Покупателей однако не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки "Посредника" управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного,— напри-

мер, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн,— я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать "Посредником" по ярмаркам, по базарам, где и был однажды (под Кобеляками) задержан урядником "на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения", каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся "пострадать". Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось,— я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.

* * *

А.М.Жемчужников однажды сказал мне:

— Вот теперь все говорят о новой поэзии, все поэты стараются писать по-новому... Вас, по вашей молодости, это тоже, вероятно, тревожит, искушает. Что ж, тревога полезная. Я ничего не имею против нового, избавь Бог переписывать сто раз написанное. Но вот все-таки позвольте рассказать вам один старинный немецкий анекдот,— может быть, вы его не знаете. Студент приходит к своему профессору и говорит:

— Господин профессор, я хочу создать новое солнце.

— Что же может быть лучше, мой дорогой друг? — отвечает профессор.— От души радуюсь за вас и желаю вам успеха.

— Да, но мне, господин профессор, необходимо знать, что именно нужно знать для этого? — говорит студент.

— О, пустяки! — отвечает профессор.— Прежде всего необходимо изучить солнечные пятна...

— Пятна? Зачем?

— А затем, мой друг, чтобы обойтись без них.

* * *

С.Н.Толстой (родной брат Льва Николаевича) говорил, пожимая плечами:

— Не понимаю, что за писатели теперь пошли и как Левочке не совестно печатать вместе с ними свои сочинения!

И начинал перечислять (всюду делая ударение на букву "е"):

— Короленко, Потапенко, Кривенко... Даже есть какой-то Рубахин!

Так он называл Рубакина.

* * *

Толстой, как известно, имел привычку делать на полях читаемых книг отметки, иногда писать на них свои суждения, ставить баллы: единица, два, три с минусом и т.д.

Один рассказ, весьма в то время знаменитый, был посвящен ему и касался смертной казни, особенно тогда его волновавшей. Однако он отнесся к рассказу довольно сурово: отчеркнул строк пять в начале и поставил пять, а потом черкнул дальше, вдоль всей страницы, и написал:

"Отсюда пошла ерунда".

* * *

Заглавие пьесы "На дне" принадлежит Андрееву. У Горького заглавие было гораздо хуже: "На дне жизни". Однажды, выпивши, Андреев говорил мне, усмехаясь, как всегда в подобных случаях, гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами твердо и настойчиво:

— Заглавие — все. Понимаешь? Публику надо бить в лоб и без промаху. Вот Горький написал "На дне". Показывает мне. Вижу: "На дне жизни". Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто: "На дне". И все. Понимаешь? Спас человека. Заглавие штука тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо "Жизнь человека" брякнул: "Человеческая жизнь"? Ерунда была бы. Пошлость. А я написал: "Жизнь человека". Что, не правду я говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я хитрый на голову. Конечно, хитрый. А вот что ты похвалил мою самую элементарную вещь, "Дни нашей жизни", никогда тебе не прощу. Почему похвалил? Хотел унизить мои прочие вещи. Но и тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом.

* * *

Думаю, что никто не знает, что у Горького был брат. Я видел его в Ялте, весной 99 года, когда познакомился с Горьким. Горького тогда уже встречали в каждом доме с восторгом и благоговением, он был уже в славе и достатке, носил под своей крылаткой ярко-желтую рубаху, вышитую разноцветными шел-

ками по вороту и подолу, подпоясывался толстым и длинным шелковым жгутом кремового цвета. А брат работал при каком-то винном складе, мыл бутылки. У него была чахотка, ему нужен был южный климат. И вот он добрался откуда-то с Волги в Ялту. Он был очень худой, высокий, темноликий, иконописный, типичный пожилой мастеровой и по виду и по одежде, из тех, что страдают запоями, как это и было на самом деле, очень тихий, молчаливый, как бы всегда стыдящийся своих разбитых сапог и своей слабости насчет спиртного искушения. Горький обращался с ним сурово-покровительственно, как с чужим и простым человеком...

Никто не знает, вероятно, и того, что однажды Альфонс XIII был весьма обеспокоен судьбой Горького. Это было тогда, когда Горький был арестован и посажен в рижскую тюрьму. За что был он арестован и почему именно посажен в тюрьму в Риге, не помню. Но хорошо помню, что во многие европейские газеты были после того тотчас даны самые энергичные телеграммы, будто Горькому грозит смертная казнь. И вот тут-то и встревожился Альфонс XIII — дал телеграмму Николаю II. Все тогда уверяли друг друга, что только это и спасло Горького от повешения.

* * *

Среди имен советских поэтов мелькало одно время имя: Уткин...

Этот Уткин (думаю, что этот), когда-то — очень давно, конечно,— прислал мне из своего родного города Ефремова пук своих стихов, с просьбой прочесть их и сказать, есть ли у автора талант, стоит ли ему продолжать творить и так далее — все, одним словом, о чем в таких случаях просят. Подпись автора была однако не совсем обычна:

"Уважающий вас поэт самородок Уткин".

А потом я с этим Уткиным познакомился, так как был с ним земляком и в Ефремове бывал. Встретились мы в ефремовской купальне. Стояла жара, теснота в купальне была ужасная. И вот, из-за множества голых и раздевающихся мещан, мастеровых, ко мне пробился белобрысый и тощий молодой человек в коротких полосатых подштанниках, с медным крестиком на груди, и робко представился:

— Поэт самородок Уткин...

А затем стал жаловаться на судьбу:

— Я, знаете, служу у податного инспектора... Так он прямо со свету сживает меня: "Если, говорит, замечу еще раз, что ты пишешь стихи, я тебе, говорит, голову отмотаю, сукин сын!"

* * *

В Москве, у Лубянской Стены, где букинисты, их лавки, ларьки.

Толстомордый малый, торгующий книгами "с рук", покупает у серьезного старика букиниста сочинения Чехова.

Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает десять,— просит октавой, ежась и топчась от морозу, дыша белым паром:

— Дяденька, уступите!

Букинист молчит, малый опять, смиренно и угрюмо:

— Будьте так любезны, дяденька!

Букинист делает вид, что ничего не видит, не слышит,— нервно и озабоченно поправляет на ларьке книги и брошюры...

И вдруг с неожиданной и необыкновенной энергией:

— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя (крупное многоточие)! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты (крупнейшее многоточие) за трынку хочешь взять!

ЗАПИСИ

Недавно исполнилось столетие со дня рождения П.П.Семенова-Тянь-Шанского. Оно было отмечено собраниями его почитателей в Англии, в Чехии, в Югославии, но во Франции прошло совсем незамеченным, так что я узнал о нем только от В.П.Семенова-Тянь-Шанского, сына знаменитого ученого, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной (Семеновы давние родственники Буниных). От него же стало мне известно и о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем Зарубежьи существующий только в единственном экземпляре). В.П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией, и к октябрьскому перевороту доведено было до 11-го листа, на чем и остановилось: большевики, захватив власть, как известно, тотчас же ввели свое собственное правописание, приказали по типографиям уничтожить все знаки, изгнанные ими из алфавита, и поэтому В.П., лично наблю-

давший за печатанием мемуаров, должен был или бросить дальнейший набор второго тома, или же кончать его по новому правописанию, то есть, выпустить в свет книгу довольно странную по внешнему виду. Стараясь избегнуть этой странности, В.П. нашел одну типографию, тайно не исполнившую большевистского заказа, преступные знаки еще не уничтожившую. Однако, заведующий типографией, боясь попасть в Чеку, соглашался допечатать книгу по старой орфографии только при том условии, что В.П. доставит от большевиков письменное разрешение на это. В.П. попытался это сделать и, конечно, получил отказ. Ему ответили: "Нет, уж извольте печатать теперь ваши мемуары по нашему правописанию: пусть всякому будет видно с двенадцатого листа их, что как раз тут пришла наша победа. Кроме того, ведь вам теперь даже и наше разрешение не помогло бы: знаки прежнего режима во всех типографиях уничтожены. Если же, паче чаяния, вы нашли типографию, их еще сохранившую, прошу вас немедля назвать ее, чтобы мы могли упечь ее заведующего куда следует". Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листе, и что с ней сталось, не знает, кажется, и сам В.П. (вскоре после того покинувший Россию). Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: "В этом втором томе описывается экспедиция отца в Среднюю Азию. В нем много ценного научного материала, но есть страницы интересные и для широкой публики,— например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, которого он знал с ранней молодости,— как есть таковые же и в третьем и в четвертом томах, ярко рисующие настроения разных слоев русского общества в конце пятидесятых годов, затем эпоху великих реформ, Александра II и его сподвижников..."

О Достоевском говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрашевского и о самом Петрашевском. Мы собирались у Петрашевского регулярно, по пятницам, рассказывает П.П. Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать для нас приятные вечера — сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особливо библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенные иностранные

книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедовал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так: "На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения..." и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своем он отличался тоже крайней оригинальностью: носил все то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами... Один раз он пришел в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное внимание соседей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами: "Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина"; но он дерзко ответил: "Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина", и так смутил квартального, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора...

Вообще наш кружок, говорит мемуарист далее, не принимал Петрашевского всерьез; но вечера его все же процветали и на них появлялись все новые и новые лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокие цензурные притеснения, бывали литературные чтения, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н.Я.Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевский читал отрывки из своих повестей "Бедные люди" и "Неточка Незванова" и страстно обличал злоупотребления помещиков крепостным правом...

Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевский вошел в славу своим романом "Бедные люди", рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурова.

Вообще я знал его довольно долго и близко, говорит он. И вот, что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но необразованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ, деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще, был ближе к крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки. Немало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился с молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежные требования, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего-навсего десять рублей — и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведении; а для Достоевского все это составляло несчастие, он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей...

В этом первом томе мемуаров П.П.Семенова, много говорится между прочим о нашем роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и в частности об Анне Петровне Буниной. Совсем недавно была и ее годовщина — столетие

со времени ее смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров П.П.Семенова, сведения о ней можно найти еще в одной давней статье, принадлежащей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы да и то потому, может быть, что портрет ее еще доныне висит в стенах Академии наук. Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина "занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России", а Н.М.Карамзин прибавлял: "Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина". Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную бриллиантами, "для ношения в торжественных случаях", Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию, Российская Академия наук издала собрание ее сочинений. Слава ее кончилась с ее смертью и все-таки даже сам Белинский лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.

Отец А.П. был владельцем известного села Урусова, в Рязанской губернии. Там и родилась А.П.— в 1774 году. П.П.Семенов говорит, что отец дал трем ее братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе; младшие служили во флоте, причем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был определен шведским королем в Упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю А.П. выпала впоследствии большая честь — она стала членом Российской Академии наук. А меж тем первоначальное ее образование было более чем скудно, ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образования она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того, как ее старший брат стал возить ее в Москву и ввел ее в круг своих друзей из литературного и вообще просвещенного общества. Тут она встретилась и сблизилась между прочим с Мерзляковым, Капнистом, князем А.А.Шаховским, Воейковым, В.А.Жуковским, В.Л.Пушкиным. В последующее время на ее развитие

имели большое влияние Н.И.Новиков и Карамзин, "которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке". Она зачитывалась "Московским журналом", выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название "Беседы любителей русского слова". Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нем было 24 действительных и 33 почетных члена, в число которых была избрана и А.П. Основателем "Беседы" был Шишков и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель ее была — "противодействие тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизнь подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления,— и весьма курьезно было то, что и сам преследуемый Карамзин был ее членом".

Дальнейшую судьбу А.П. очень изменила смерть ее отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей 600 руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ее, Семенов, отправился в Петербург. А.П. упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ее был "весьма фраппирован" этим, уговаривал ее отказаться от своего намерения — она все же от него не отказалась. В Петербург она поехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом моряком. Когда она решилась поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам, совсем необычно. Но ее ничуть не смутило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, "взяв к себе для услуг некую степенную женщину".

Добившись своего, она "деятельно и с изумительной энергией" принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат ее был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив ее ум, вместе с тем и разорили ее материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение ее стано-

вилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотворение ее, "С приморского берега", появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд новых и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое и вышло в свет под заглавием "Неопытная Муза". Издание это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой "лирой, осыпанной бриллиантами", а затем ежегодной пенсией в 400 рублей в год. С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений, "Сельские вечера", который тоже разошелся очень быстро. Затем она напечатала свою "Неопытную Музу" вторым изданием, в двух томах. Это издание тоже имело большой успех. А двенадцатый год принес ей "высшие лавры": тут она выступила с патриотическими гимнами, "снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей". Но это были уже последние ее радости. Вскоре после того у нее "открылся рак в груди", который всю остальную жизнь ее превратил в непрерывную цепь страданий и наконец свел ее в могилу.

Было сделано все, чтобы спасти ее или хоть облегчить ее участь. И Двор и общество, почитавшее ее не только за ее поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены светила медицины, лично заботился о том, чтобы лечение ее было обставлено как можно лучше; для нее, за счет Двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались лекарства "из главной аптеки"; бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англию, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки ее принял на себя опять сам государь, "провожал ее Петербург с большим триумфом". Но и Англия не помогла. А.П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как и уехала. Прожила она после того еще двенадцать лет, но почти уже не писала,— только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трех книгах, снова награжденное от Двора, на этот раз пожизненной пенсией в две тысячи рублей. Жила она эти последние годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на кавказских водах, всюду ища облегчения от своих страданий. "Рак в груди

довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нее позе — на коленях". Так, на коленях, и писала она:

Любить меня иль нет, жалеть иль не жалеть
Теперь, о ближние! вы можете по воле:
Едва из тела дух успеет излететь,
Теперь, о ближние! вы можете по воле;

Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрестанным чтением книг Священного Писания. Скончалась 4 декабря 1829 года, в селе Денисовке, Рязанской губернии, у своего племянника Д.М.Бунина. Тело ее погребено в ее родном селе Урусове. На могиле ее, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный П.П.Семеновым-Тянь-Шаньским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А.П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете:

"Дорогому Петиньке Семенову в чаянии его достославной возмужалости".

ЗАПИСИ

Чьи-то замечательные слова:

— В литературе существует тот же обычай, что и у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков...

То же и в языке. Поглощается один другим. Многое уже исчезло на моей памяти.

Мой отец обычно говорил прекрасным русским языком, простым и правильным. Но иногда вдруг начинал говорить в таком роде:

— Я в тот вечер был монтирован, играл отчаянно...

— Мы с ним встретились на охоте. Он сам рекомендовал себя в мое знакомство...

В этом же роде пели наши бывшие дворовые:

— Вздыхаешь о другой: должна ли я-то зреть?
Досады таковой должна ли я стерпеть?
— Я часто наслаждаюсь
Любовных слов твоих...
— Уж сколько ден все *мышлю* о тебе...

— Любовь сердцам угодна,
Страсть нежная природна,
Нельзя спастись любви...

Старые, набожные дворовые употребляли много церковнославянских слов. Они говорили:

— Ливан (ладан), Краниево Место (Голгофа), дщица (малая дощечка), орлий (орлиный), седатый (седой), пядница (маленькая иконка, в пядь), кампан (колокол), село (в смысле: поле)... Они употребляли вообще много странных и старинных слов: не надобе (так писалось еще в Русской Правде: "не надобе делать того"), Египет-град, младшие (меньшие) колокола, стоячие образа (писанные во весь рост), оплечные образа, многоградный край, средидневный жар, водовод (вместо, водопровод), паучина (паутина), безлетно (вечно), дивий (дикий, лесной), лжа (ложь), присельник (пришлец, иноземец), вар (солнечный жар)...

То же было и в крестьянском языке. Например, мужика лентяя и нищего называли:

— Пустой малый! Изгой, неудельный!

Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь.

А не то кто-нибудь, бывало, говорит:

— Хочу в Кыев сходить, Богу помолиться...

И невольно вспоминаешь: "Бяше возле града Кыева лес и бор велик..."

Или:

— Ведь, что ж, она мне не чужая, а жена *водимая*...

Или (когда нанимались в работники):

— Ну, когда такое дело, давайте, барин рядиться...

Опять как в Удельной Руси:

"Зачали рядиться, кому пригоже на большом княжении быти..."

В связи с этим — рядиться в смысле наряжаться:

— Тебе теперь нечего рядиться, ты вдова Божья, носить тебе надо одни смирные (темные) цвета...

И еще вспоминаю — мужик рассказывает:

— К нам так-то однова (ударение на последнем слоге) странный старичек (то есть странник), приходил. Смотреть любо! В ручке костылик, за плечиком — дерюжное влагалище (церковнославянское слово, значит: сума, кошель)...

А какая была нелепая и чудесная образность в языке деревни!

Вот по выгону идет босая девка — подтянуто-стройно, виляя только кострецами: на правом плече тяжелое коромысло, по концам которого лежит мокрое белье.

— Кудай-то ты?

— На речку, белье полоскать.

— Да ведь нынче праздник, грех работать.

— Конечно, грех, кабы я дома была. А то какой же грех, когда я тут у родных гощу?

Когда эту девку просватали, я ее как-то спросил:

— Что ж, хорош твой жених?

Она ответила:

— Какой там черт, хорош! *Рот толстый, в нос гудит...*

* * *

В Москве, в лавке горбатого старика букиниста, сорок лет тому назад. Зима, лавка ледяная, пар от дыхания. Молодой человек, сидя на корточках в углу, перед грудой сваленных на полу книг, неловко роется в них, чувствуя на своей спине острый взгляд букиниста, сидящего в старом кресле и отрывисто отхлебывающего из стакана кипяток, жидкий чай.

— А вы, что ж, тоже, значит пишете, молодой человек?

— Пишу...

— И что ж, уж печатались?

— Да, немного...

— А где именно, позвольте спросить?

— В "Книжках Недели"... в "Вестник Европы"...

— Стихи, разумеется?

— Да, стихи...

— Что ж, и стихи неплохо. Но только и тут надо порядочно головой поработать. Надо, собственно говоря, в жертву себя принести. Читали ли вы "Гюлистан" Саади? Я вам эту книжечку подарю на память. В ней есть истинно золотые слова. Вы же должны особенно запомнить следующие: "У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоглавый змей". Это надо хорошенько понять. И пусть это и будет вам моим напутствием на литературном поприще. Писатель пошел теперь ничтожный. А почему? Он думает, что клады берутся голыми руками и с превеликой легкостью. Ан, нет. Тут борьба не на живот, а на смерть. Вечная и бесконечная, до гробовой доски. И знаете, кто высказал эту мысль и именно в связи с вышеприведенными словами Саади? Сам Александр Сергеевич Пушкин. Слышал же я это все от букиниста Богомолова, его современника и приятe-

ля. Торговал с ларька, вот тут, в двух шагах, у Лубянской стены...

* * *

Рассказ Поссе (одного из бывших друзей Горького) о том, как Горький был в первый раз у Толстого.

Горький сперва робел, хотя старался держаться развязно, потом осмелел и спросил:

— Читали вы, Лев Николаевич, моего "Фому Гордеева"?

Толстой ответил:

— Начал читать, но кончить не мог. Не хватило сил. Все это выдумано. Ничего такого не было и быть не могло.

Горький сказал:

— Вот детство Фомы у меня, кажись, не выдумано...

Толстой ответил еще резче:

— Нет, все выдумано. Простите меня, но не нравится. Вот есть у вас рассказ "Ярмарка в Голтве". Этот рассказ мне очень понравился...

На другой день Поссе был опять у Толстого, на этот раз уже один. Толстой сказал ему:

— Я, кажется, вчера обидел вашего приятеля. Но как же быть, он все выдумывает. Выдумывать, конечно, можно. Но выдумка выдумке рознь. Допустим, вы пишете роман и рассказываете в нем, что ваш герой отправился на северный полюс и встретил там свою возлюбленную. Выдумка вполне допустимая. Но если вы мне будете рассказывать, что он там повенчался с ней под пальмами, то это будет выдумка недопустимая. Такая же недопустимая выдумка будет и тогда, если вы, описывая душевное состояние приговоренного к смертной казни, заставите его думать и чувствовать так, как он при данных условиях никак не мог думать...

Поссе стал хвалить изобразительную способность Горького в описаниях природы.

Толстой опять не согласился:

— Нет, описывать природу Горький не умеет. "Море смеялось", "небо плакало",— все это ни к чему...

* * *

В Москве недавно опубликованы еще некоторые заметки Чехова (из его записных книжек). Нашел среди них несколько таких, которые слышал от него самого. Он, например, не раз

спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):

— Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?

Там много есть и других отличных заметок:

— В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей, наоборот: из прелестной бабочки — мерзкая гусеница...

— Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...

— Бездарная актриса ест куропатку,— мне жаль куропатку, которая была во сто раз умней и талантливей этой актрисы...

— Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов...

— Так называемая, детская чистая радость есть животная радость...

— Людей связывает только общая ненависть...

— Герой для рассказа. В любовном письме пишет: "Прилагаю на ответ почтовую марку"...

— Тридцать лет ходил по улице и читал на вывеске: "Большой выбор сигар". И только на тридцать первом году увидал, что на вывеске написано: "Большой выбор сигов"...

— Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения.

— Писать нужно только для будущего... надо изображать жизнь, какая она в мечтах, а не такая, какая она есть или должна быть...

* * *

Чехов иногда говорил:

— Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался на Александру Аркадьевну Давыдову (издательницу журнала "Мир Божий")! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: "Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу".— "Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру Вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю Вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпу-

щу только тогда, когда Вы постучите и скажете мне, что у Вас готов рассказ".

А иногда говорил совсем другое:

— Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к южному полюсу, в Тибет, в Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю...

Говоря о Толстом, он раз сказал:

— Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не презрением,— это слово сюда не подходит,— а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас, как на детей, которые, подражая взрослым, тоже делают то то, то другое вроде взрослых: воюют, путешествуют, строют дома, могут и писать, издавать журналы... Наши повести, рассказы, романы для него именно такие детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир — другое дело. Это уже взрослый, и он уже раздражает его, пишет все не так как надо, не по-толстовски...

* * *

Всей Москве был в свое время известен "король репортеров", поэт и беллетрист Гиляровский, "дядя Гиляй", как все его называли, человек необыкновенно милый и веселый, похожий на Тараса Бульбу, носивший на бритой голове сивую казацкую шапку, неутомимый и на работу и на сидение с друзьями по ресторанам. Молодой Чехов, его большой приятель, встретил его однажды летним вечером возле памятника Пушкину с огромным арбузом в руках, завернутым в бумагу и перевязанным бечевкой.

— Гиляй, милый, вот приятная встреча! Куда это ты?

— Домой. А ты?

— Да так, никуда.

— Так знаешь что? Едем к Тестову обедать.

— Едем.

— Ну и отлично. Только как же мне теперь быть с этим проклятым кавуном? Впрочем, пустяки — придумал!

И махает проезжающему мимо лихачу:

— Эй, ты, на дутых! К Тестову! Только смотри — духом! Целковый на водку!

Садятся и летят вниз по Тверскому. Как вдруг — что такое? — Гиляровский на всем скаку хватает лихача за шиворот, круто осаживает его как раз перед постовым городовым возле генерал-губернаторского дома, бросает городовому в руки арбуз, кричит ему: "Держи! Бомба!" — а лихачу: "Пошел!" — и пролетка мчится дальше, обалдевший же городовой, покорно схвативший с испугу "бомбу", каменеет на месте с вытаращенными глазами, не зная, что делать...

Кстати сказать, этот самый Гиляй и был автором стишков, ходивших по всей России после того, как какой-то сумасшедший японский полицейский в японском городе Отсу ударил саблей по голове государя Николая II, бывшего в то время еще наследником и совершавшего образовательное путешествие по Дальнему Востоку:

Происшествие в Отсу
Ввергло в грусть царя с царицею:
Сладко ль матери, отцу,
Когда сына бьет полиция!
Ты, царевич Николай,
Когда царствовать придется,
Тоже чаще вспоминай,
Как полиция дерется!

А другие, столь же знаменитые, стишки на Горемыкина сочинялись при мне во время одного полтавского земского собрания, неким Львом Аркадьевичем Хитрово:

Друг, не верь пустой надежде,
Говорю тебе, не верь:
Горе мыкали мы прежде,
Горе мыкаем теперь!

Соль этих стишков заключалась в том, что надо было читать не "горе мыкаем", а "горемыкаем", не "горе мыкали", а "горемыкали"... Аркадские были времена!

ПАМЯТИ ИВАНА САВИНА

Пять лет назад я прочел в газете "Сегодня":

— После долгой и тяжкой болезни скончался в Гельсингфорсе наш ценный сотрудник, молодой поэт и белый воин Иван Савин...

Писал П.М.Пильский, хорошо знавший покойного лично:

— В душе каждого, кто знал Савина, его талант, его милую, нежную душу, его горячую любовь к России, его страдания, эта смерть должна вызвать самые искренние чувства печали и горя...

После себя он оставил большую повесть "Плен", "Очерки" (напечатанные в "Архиве русской революции"), "Соловки" (напечатанные в "Сегодня" и затем изданные на русском, английском, финском и польском языках) и небольшой сборник стихотворений. Незадолго до смерти он начал работать над романом из Пушкинской эпохи, изучая ее, целыми днями сидел в Гельсингфорсской университетской библиотеке...

Пильский говорит:

— Он был человек глубоко веровавший в Бога и, невзирая на все свои жизненные испытания, никогда не терявший веры в людей. Его борьба со смертью продолжалась целых шесть недель. В эти мучительные ночи он молился сам, звал молиться вместе с собой свою молодую жену... В последнюю минуту он медленно перекрестился, последнее слово его было: "Господи!".

Это случилось 12 июля 1927 года.

Среди его предсмертных набросков нашлось начало стихотворения:

Смертью произведенный в подпоручики
Лейб-гвардии Господнего полка...

Эти строки, очень его определяющие. Высшей страстью его жизни была все же не литература, а воинский подвиг, борьба за Россию, смерть за нее. Говоря об этом подвиге и о России, он говорил иногда удивительно:

Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое!

Он и сам был в сонме "убиенных".

Ему не было еще двадцати лет, когда он переживал начало революции, затем гражданскую войну, бои с большевиками, плен у них после падения Крыма... Юношей пошел он в добровольческую кавалерию, проделал все дела и походы в рядах Белгородских улан. В боях конницы Врангеля в Таврии он потерял своего последнего брата:

В седле, поднимаясь, как знамя,
Он просто мне крикнул: "Умру..."
Лилось пулеметное пламя,
Посвистывая на ветру...

Он испытал гибель почти всей своей семьи, ужасы отступлений, трагедию Новороссийска... После падения Крыма он остался больной тифом на запасных путях Джанкойского узла, попал в плен... Узнал глумления, издевательства, побои, голод, переходы по снежной степи в рваной одежде, кочевания из Чеки в Чеку... Там погибли его братья Михаил и Павел. Два года пробыл он в плену — наконец, бежал в Финляндию... В эмиграции он называл себя одним из тех, кто "Господом поставлены на дозоре"...

Он не раз писал мне, присылал свои стихи. В последнем письме он писал:

— Посылаю стихотворение, посвященное Вам. Кажется, оно слабо. Но позвольте все же привести его. Родилось оно на русской земле: минувшим летом, живя на границе Финляндии, буквально в двух шагах от нашей земли, я неоднократно переходил пограничную речонку...

Напомню это стихотворение:

Граница. И чем ближе к устью,
К береговому янтарю,
Тем с большей нежностью и грустью
России "здравствуй" говорю.

Там, за рекой, все те же дюны,
Такой же бор к волнам сбежал,
Все те же древние Перуны
Выходят, мнится, из-за скал.

Но жизнь иная в травах бьется
И тишина еще слышней,
И на кронштадтский купол льется
Огромный дождь иных лучей.

Черкнув крылом по глади водной,
В Россию чайка уплыла —
И я крещу рукой безродной
Пропавший след ее крыла...

Напомню еще, что до сих пор у жены и у родителей покойного не только нет средств издать его посмертные произведения, но и поставить памятник на его могиле. Неужели так и не найдется добрых людей, которые почтили бы его светлую память хотя бы самой скромной лептой?

О ВОЛОШИНЕ

Уже появилось несколько статей о покойном Волошине, но сказали они в общем мало нового о нем, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему, да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в провидцы "грядущего русского катаклизма", хотя для многих и многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников истории. Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье А.Н.Бенуа, в "Последних новостях": — "Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я "не совсем верил" ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно *слова* его влекли... Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе... Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его "зевсоподобие", сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее... Он с удивительной простотой душевной не то "медузировал", не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических ламентаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это ему, вероятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез...".

Я лично знал Волошина не близко,— особенно до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года,— но со времен довольно давних.

Помню его первые стихи,— судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его талант, так разовьется внешне и внутренне, хотя и тогда были они довольно характерны для него, для его "влечения к словам":

— Мысли с рыданьями ветра сплетаются,
Поезд гремит, перегнать их старается,
Так вот в ушах и долбит и стучит это:
Титата, тотата, татата, титата...

— Из страны, где солнца свет
Льется с неба жгуч и ярок,
Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет...

— Склоняясь ниц, овеян ночи синью,
Доверчиво ищу губами я
Сосцы твои, натертые полынью,
О, мать-земля!

Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником "Весов", "Золотого руна". Уже и тогда очень тщательно "сделана" была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темнорус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми самую крайнюю французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то несколько смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и "очаровательное", хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду, где угодно, и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику — и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином...

Помню встречу с ним в конце 905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами,— при большом, кстати сказать, содействии Горького и его "Борьбы", в которой участвовал сам Ленин. Горький крепко сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не выходя из нее ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с ног до головы студентов-грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны черносотенцев, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей,— приятелей, поклонников, "товарищей" и сотрудников этой "Борьбы",

которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила Брюсова, еще летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии и произносившего монархические речи, затем Минского с его гимном: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" — и немало прочих. Волошин в "Борьбе" не печатался, но именно где-то тут,— не то у Горького, не то у Скирмунта,— услышал я от него тогда тоже совсем новые песни:

Народу русскому: я скорбный ангел мщенья!
Я в раны черные, в распахнутую новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья,
И голос мой — набат! Хоругвь моя, как кровь!

Помню еще встречу с его матерью,— это было у Б.К.Зайцева, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стриженными волосами, в косоворотке, бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о нем: что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя в Крыму, он ходит в одной "тунике", проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, очень, конечно, смешной при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах... К этой поре относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведен в "Книге о русских поэтах" и которая случайно сохранилась у меня до сих пор,— строки местами довольно манерные и наивные:

"Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.

Я родился в Киеве 16 мая 1877 года в день Святого Духа.

События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатление — Таганрог и Севастополь; сознательное бытие: окраины Москвы, Ваганьково, машины и мастерские железной дороги; отрочество — леса под Звенигородом; пятнадцати лет — Коктебель — самое ценное и важное на всю жизнь; двадцати трех — Среднеазиатская пустыня — пробуждение самопознания; затем Греция и все побережья и острова Средиземного моря — в них обретенная родина духа; последняя ступень — Париж — сознание ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан — Индия и Франция.

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову.

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырех..."

В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотворение, где тоже немало ударно-эстрадных слов:

Это гибкое, страстное тело
Растоптала ногами толпа мне...

Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какого-то антропософского храма...

Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезде тотчас же проявил свою обычную жизнедеятельность,— выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними "недорезанных буржуев"... Читал он тут много новых стихов, о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевистской. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед и в писании стихов и в чтении их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием: какое, что называется, "великолепное", самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуто, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, бородка чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый бурмистр крепостных времен? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был "милейший и добрейший Максимилиан Александрович". Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легки, живы, когда

перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием ото всех и от всего — не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в темной, жуткой Одессе в частности. Одет при этом очень бедно — так уже истерта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Вообще, нужду он терпел в ту пору очень большую...

Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

— Французы бегут из Одессы. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок. Вечером встретил его на улице: "Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!"

— Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. "Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!" Читает, между прочим, свои "Портреты". В портрете Савинкова отличная черта — сравнение его профиля с профилем лося.

Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется и собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым, "Вячеславом Ивановичем" — и тут же Анри де Ренье, которого переводит.

Уверяет, будто "люди суть ангелы десятого круга", которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом, даже самом худшем человеке, сокрыт ангел...

— Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет "Художественная неореалистическая школа". Бегаем за разрешением на открытие этой школы, в пять минут написал для нее замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: "В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает. Слово *изящное* происходит от слова *изъять*".

— Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: "Надо возвратиться к средневековым цехам!"

— Заседание в Художественном кружке журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже "по организации профессионального союза". Очень людно, много публики и всяких пишущих, "старых" и молодых. Волошин бегает, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой,— ее шнур прицеплен к крючку накидки,— быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: "Товарищи!" Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: "Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за советскую власть!" Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава "в знак протеста покидает зал". Волошин бежит за ними — "они нас не понимают, надо объясниться!"

— Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять вперед, после девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением,— он уже по настоящему голодает,— и все говорит, говорит, и все на самые высокие и трагические темы. Между прочим, из его речей о масонах ясно, что он масон,— да и как бы он мог, при его любопытстве и прочих свойствах характера, упустить случай попасть в такое сообщество?

— Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того "в жизни самое главное искусство и оно вне политики". Волошин тоже загорается рвением украшать город, фантазирует, как это надо сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут беспрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине, сокрыт страждущий серафим, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокаленные и просветленные лики...

— Я его не раз предупреждал: не бегайте к ним, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера. Нес в ответ то же, что и художники: "Искусство вне времени, вне политики, я буду

участвовать в украшении только как поэт и как художник".— "В украшении чего? Собственной виселицы?" — Все-таки побежал. А на другой день в "Известиях": "К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам..." Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования.

— Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать: "Не могут не напечатать, обещали, я был уже в редакции!". Но напечатали только одно,— "Волошин устранен из первомайской художественной комиссии". Пришел к нам и горько жаловался: "Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!"

— Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается и, как это часто бывает, через хорошенькую женщину: "У нее реквизировал себе помещение председатель чрезвычайки Северный, Геккер познакомила меня с ней, а она — с Северным". Восхищался им: "У него кристальная душа, он многих спасает!" — "Приблизительно одного из ста убиваемых?" — "Все же это очень чистый человек..." И, не удовольствовавшись этим, имел жестокую наивность рассказать мне еще и то, что Северный простить себе не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко...

— Помогают Волошину пробраться в Крым еще и через "морского комиссара и командующего черноморским флотом" Немитца, который, по словам Волошина, тоже поэт, "особенно хорошо пишет рондо и триолеты", а кроме того "верит, что идет объединение и строительство России". Выдумывают какую-то тайную большевистскую миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немитца состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике,— электричества не позволяли зажигать,— угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевист-

ского обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами,— до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах и в добровольческих. Все же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше — и притом с самыми серьезными, почти зверскими лицами,— надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивленная, не понимающая, в чем дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая, в Евпатории:

"Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период".

В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

"Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до "командарма", который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнем: первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле и делал его "Кагул", со всею командой которого я был

дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненного в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика и на мои стихи смотрят, как на большевистские.

Кстати: первое издание "Демонов глухонемых" распространялось в Харькове большевистским "Центрагом", а теперь ростовский "Осваг" взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространений на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу. Но знаю крепко, потому что с той поры не отлучался даже в Феодосию.

Работаю исключительно над стихами. Все, написанные летом, я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для "Южного слова" два прошлогодних, лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольших статьи: "Пути России" и "Самогон крови". Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с "Аввакумом".

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строчку, а статьи по три за строку. Это минимум, потому что если "Южное слово" за стихи заплатит больше, я, конечно, не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И.А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле "Личины", стих.: Матрос, Красногвардеец, Спекулянт и т.д.) и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке..."

Это письмо было для меня последней вестью о нем.

ВЕРНОСТЬ ЗА ВЕРНОСТЬ

Письмо

Господину Председателю Союза русских писателей и журналистов в Королевстве Югославии.

Многоуважаемый Алексей Иванович,

Всем сердцем разделяю скорбь Союза о безвременной и ужасной кончине великого государя Александра I. Чувства, испытанные мной,— одни из самых горестных во всей моей жизни. Я не имел счастья личного общения с ныне в Бозе почиющим государем. Но всегда и неизменно был предан Ему. В день прибытия Его во Францию, я послал в Париж свое почтительнейшее приветствие Ему и покорнейшую просьбу соблаговолить принять выражение моего преклонения перед Ним.

Буду без конца вспоминать этот страшный день, это несчастное письмо мое...

С истинным почтением к Вам и братским приветом Союзу.

Иван Бунин.

17-X-34. Грасс, А.М.

<ОТВЕТ НА АНКЕТУ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА В ПОЛЬШЕ>

Дорогие соотечественники!

Только что получил Вашу открытку, спешу ответить на Вашу анкету — только на первый вопрос: "Почему мы непримиримы с большевизмом?" — после того, как большевизм так чудовищно ответил сам на этот вопрос всей деятельностью своего пятнадцатилетнего существования? Я лично совершенно убежден, что низменней, лживее, злей и деспотичней этой деятельности еще не было в человеческой истории даже в самые подлые и кровавые времена.

С сердечным приветом Ив. Бунин

26.X.1934

ЗАПИСИ

9 ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени...

Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление — пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит "Бельведер", в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

— Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба...

В синема я однако опять забываю о Стокгольме.

Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием "Бэби", смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

— Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь.

Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью...

Весь вечер "Бельведер" полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира,— отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов... Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами...

— Как давно вы из России?

— Эмигрант с начала двадцатого года.

— Думаете ли вы теперь туда возвратиться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?

— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской Академии?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

— Думаю, что за совокупность всех моих произведения.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Böök, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской Академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже, может быть, раньше; хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, то есть за пределы Франции. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.

— Вы уже бывали в скандинавских странах?

— Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же все оставлял на будущее время, которого, увы, не оказалось...

Так нежданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого Нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть, моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма

стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным...

В ночь с третьего на четвертое декабря я, со своими близкими, уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купе первого класса — сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим! Далеко за полночь, мы уже в Германии. Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним. И, вырываясь из-под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоские равнины, траурно-пестрые от снега, какие-то оснеженные деревья, уже совсем не французского и даже не бельгийского вида...

Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору — окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховые шапки, шубы — как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердце!

Вечером наш поезд ставят на пароход "Густав V" и медленно направляют к берегам Швеции. Снова интервью, снова вспышки магния... В Швеции мой вагон буквально осаждается — целой толпой фотографов и журналистов... И только поздней ночью остаюсь я наконец один. За окнами чернота и белизна — сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это, вместе с жарким теплом купе, совсем как ночи когда-то, на Николаевской дороге... Вспоминаются давние годы:

Колеса острый снег взрывали и скрипели,
Два вороных надменно пролетели,
Каретный кузов быстро промелькнул,
Блеснув уютом стекол незамерзлых,
Слуга, сидевший с кучером на козлах,
От вихрей голову нагнул,
Поджал губу, синевшую щетиной,
И ветер веял красной пелериной
В орлах на позументе золотом...
Все пронеслось и скрылось за дворцом,
В темнеющем буране... Зажигали
Огни в несметных окнах вкруг меня,
Чернели грубо баржи на канале,
И на мосту, с дыбящего коня
И с бронзового юноши нагого,
Повисшего у диких конских ног,
Дымились клочья праха снегового...
Я молод был, безвестен, одинок
В чужом мне мире, сложном и огромном.
Всю жизнь я позабыть не мог
Об этом вечере бездомном.

Нобелевское торжество десятого декабря начинается всегда ровно в пять часов вечера.

В этот день стук в дверь моей спальни раздается рано,— с вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче: день самый главный. На часах всего восемь, северное утро едва брезжит, еще горят фонари на набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всеми своими башнями, церквами и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закате и на рассвете. Но я должен начать день нынче рано: десятое декабря — дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить венки и на его могилу и на могилу недавно умершего племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемонии, которая ждет меня ныне вечером, возбуждает...

Официальные приглашения на торжество раздачи премий лауреаты всегда получают за несколько дней до него. Оно составлено в полном соответствии с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы:

— Mrs. les Lauréats sont priés d'arriver à la Salle des Concerts, pour recevoir le Prix Nobel, le 10 décembre 1933, à 4 h. 50 au plus tard. Sa Majesté, suivi de la famille royale et de toute la cour, fera son entrée dans la salle à 5 h. précises pour assister à la cérémonie et remettre personnellement et respectivement à chacun les prix en question. Cette heure passée, les portes sont fermées et la cérémonie commencera.*

Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня — из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фрачной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в мире?

* Гг. лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для получения Нобелевских премий 10 декабря 1933 г., не позднее 4 ч. 50 м. дня. Его Величество, в сопровождении королевского Дома и всего Двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премию, ровно в 5 ч., после чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество.

В половине пятого мы едем.

Город в этот вечер особенно блещет огнями,— и в честь лауреатов, и в ознаменование близости Рождества и Нового года. К громадному "Музыкальному Дому", где всегда происходит торжество раздачи премий, течет столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шофер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем: нас спасает только то, что полиция, при виде кортежа лауреатов, которые всегда едут в таких случаях вместе, друг за другом, задерживает все прочие автомобили.

Мы, лауреаты, входим в "Музыкальный Дом", со всей прочей толпою, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадном зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов.

Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и сплошь залит народом: сотни вечерних дамских нарядов, жемчугов и бриллиантов, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, Шведская Академия, члены Нобелевского Комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды с эстрады возвещают фанфарами появление Монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющимся откуда-то сверху, и Он входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и Двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду.

Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду последним. Меня выводит Пер Гальстрем, непременный секретарь Академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством зала, всей этой светоносной и великолепной бездной, открывающейся передо мною. И тут, при появлении с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и Монарх со всем своим Двором и Домом.

Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами. Правую сторону ее занимают кресла

академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно-неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага: обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имею я лично? Невозможность вывесить для меня флаг советский заставила устроителей торжества ограничиться одним,— шведским. Благородная мысль!

Открывает торжество председатель Нобелевского Фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля,— в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с Нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига.

Григ один из наиболее любимых мною композиторов, я с особым наслаждением услыхал его звуки перед докладом обо мне Пера Гальстрема.

Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милым смущением обратился ко мне по-французски:

— Ivan Alexeïwitch Bounine, voulez-vous descendre dans la salle pour recevoir des mains de Sa Majesté le prix Nobel de la littérature 1933 que l'Académie suédoise vous a décerné.*

В наступившем вслед за тем глубоком молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к Королю, вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что Он мне скажет и что я Ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склонясь перед Ним, я ответил:

— Sire, je prie Votre Majesté de daigner d'accepter l'hommage de ma profonde et respectueuse gratitude.**

Слова мои потонули в рукоплесканиях.

---

* — Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в Зал и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской Академией.

** — Государь, я прошу Ваше Величество соблаговолить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности.

Король чествует лауреатов в своем дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же десятого декабря, почти тотчас по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевский Комитет.

На банкете председательствует кронпринц.

Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены Академии, весь королевский Дом и Двор, дипломатический корпус, художественный мир Стокгольма и прочие приглашенные.

К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.

Мое место рядом с принцессой Ингрид, напротив брата короля, принца Евгения (кстати сказать, известного шведского художника).

Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.

Затем наступает черед говорить лауреатам.

Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.

Радиоприемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе.

Вот точный текст той речи, которую произнес я:

— Monseigneur, Mesdames, Messieurs.

— Le 9 novembre, très loin d'ici, dans une ancienne ville de Provence, dans une pauvre maison de campagne, j'ai reçu le coup de téléphone qui m'annonçait le choix de l'Académie suédoise. Je ne serais pas tout à fait sincère, si je vous disais, comme on le repéte dans les cas analogues, que e'était la plus forte émotion de ma vie. Un grand philosophe a déclaré que les émotions procurées par les joies, mkme les plus violentes, ne comptent presque pas en comparaison de celles que provoque la douleur. Sans vouloir apporter une note de tristesse à ce banquet dont je garderai toujours l'ineffaçable souvenir, je me permettrai de dire tout de même que les souffrances ont largement dépassé mes joies au cours de ces 15 dernières années. Et ces souffrances ne m'ont pas été toutes personnelles — loin de là!

— Mais, très certainement, je puis affirmer que, de toutes les joies qui me sont échues dans ma vie littéraire, ce petit miracle technique, ce coup de téléphone de Stockholm à Grasse, m'a donné la satisfaction la plus justifiée. Le prix littéraire institué par votre grand compatriote Alfred Nobel reste la plus haute récompense qui puisse couronner l'œuvre d'un écrivain. Ambitieux comme presque tous les hommes et comme tous les auteurs, j'étais extrèmement fier de recevoir cette couronne de la part du

plus compétent et du plus impartial des jurys — et aussi, soyez en sûrs, Messieurs de l'Académie, extrèmement reconnaissant. Mais j'aurais fait preuve d'un triste égoisme si, ce jour-là, le 9 novembre, je n'avais pensé qu'à moi-mкme. Brisé d'émotion par les félicitations et les télégrammes qui commençaient à pleuvoir, j'ai songé, dans la solitude et le silence de la nuit, à la signification profonde qui s'attachait à la décision de l'Académie suèdoise. Pour la première fois, depuis la fondation du prix Nobel, vous l'avez attribué à un exilé. Qui suis-je en verité? Un exilé qui jouit de l'hospitalité de la France envers laquelle, également, j'ai coutracté une dette de reconnaissance éternelle. Messieurs de l'Académie, permettez qu'en faisant abstraction de ma personne et de mon œuvre, je déclare ici qu'en lui-même votre geste est d'une très haute beauté. Il faut qu'il existe, en effet dans le monde des foyers d'indépendance absolue. Sans doute, autour de cette table, il est des représentants de toutes les opinions, de toutes les croyances philosophiques et réligieuses. Mais il est une vérité qui nous unit tous: la liberté de la pensée et la conscience; c'est à cette liberté que nous devons la civilisation. Et pour nous surtout, les écrivains, il y a là un dogme, un axiome. Votre déecision, Messieurs de l'Académie, prouve une fois de plus que l'amour de la liberté, pour la Suède, est un véritable culte national.

Enfin quelques mots pour terminer ce petit descours. Je n'ai pas attendu ce jour pour éprouver toute l'admiration que je porte à votre Famille Royale, à votre peuple, à votre littérature. L'amour des arts et des lettres est une tradition pour la Maison Royale de Suède, comme pour votre noble nation toute entière. Fondée par un guerrier illustre, la dynastie suèdoise est l'une des plus glorieuses du monde. Sa Majesté le Roi, le Roi chevalier d'un peuple chevaleresque, daignera permettre à un étranger, à un écrivain libre, honoré par l'Académie suèdoise, de Lui soumettre l'expression de ses sentiments les plus respectueux et les plus émus.*

---

* — Ваше Высочество, Милостивые Государыни, Милостивые Государи.

9 ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской Академии. Я был бы неискренен, ежели б сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби,— совсем нет! Однако, твердо могу сказать я и

БОСОНОЖКА

Недавно я шел по Ницце с одним из моих ниццких знакомых, и он вдруг сказал мне:

— Вот как раз тут остановили автомобиль, в колесо которого попал конец шарфа Айседоры Дункан, удавившего ее.

И я вспомнил образ этой женщины, автобиографию ее... Страшная тема для романиста!

Родилась в Сан-Франциско. Больная душевно и телесно мать, брошенная мужем, два мальчика и две девочки,— Елизавета и Айседора,— все росшие без всякого призора, жившие на гроши, которые мать добывала уроками музыки. "Но я не завидовала богатым детям", говорит Айседора, рассказывая об этом. Напротив, она будто бы "жалела" их:

то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс, дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я 9 ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережил волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской Академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно,— она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.

И еще несколько слов — для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш Королевский Дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского Королевского Дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его Величество Король, Король-Рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской Академии, выразить Ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства.

"столько было в их жизни узкого и глупого!" И дальше: "Любимым занятием моим было бродить по берегу моря", ибо "ритмическое движение волн" будто бы внушило ей "первое понятие о танце". Вообще, страдала она "только в школе": там однажды на Рождестве раздавали детям игрушки, говоря, что это подарок "рождественского деда", и этого было достаточно, чтобы "гениальная" девочка поняла, какими "пошлостями и предрассудками" полон школьный быт. А дома она слушала мамашу: "все религиозные учения — ложь, брак — дикарское рабство женщины..." Бедность дома была такая, что часто совершенно нечего было есть, лавки не давали больше в долг. "Но уже и тогда", откровенничает Айседора: "я была так храбра, что добывала порой котлеты в мясной лавке бесплатно и возвращалась с добычей домой, танцуя от радости".

Подростком она попала к известному в городе балетмейстеру. Но из этого ничего не вышло,— ученица и учитель расстались на третьем уроке: "Он стал учить меня пуантам, а я спрашивала: зачем это нужно?"

Когда семья переселилась в столицу, она решила поступить в театр. Там ей предложили небольшую роль в пантомиме. Она взяла ее, но опять возмутилась: "Мне сказали, что я должна приложить руку к сердцу, что должно было означать "люблю", и мне это показалось верхом смехотворности... Я мечтала о раскрепощении души и тела, а меня заставляли выступать в длинном платье, закрывавшем все тело..." В "Сне в летнюю ночь" она танцевала фею, настолько "опьянев от счастья", что "зал разразился аплодисментами", а режиссер, когда она, "вся разгоряченная", выскочила за кулисы, резким криком: "Тут тебе не шантан!"

Первых подлинных успехов,— довольно относительных,— она добилась, бросив театр, войдя в сотрудничество с одним молодым композитором, сочинявшим специальную музыку для ее танцев, и выступая на частных эстрадах и в богатых салонах. Но заработки ее были еще столь плохи, что она решила ехать за счастьем в Европу (со всей своей семьей). Ехать было не на что, но ведь она была "храбра": обошла с рукой десятка два богатых домов, набрала около трехсот долларов — и пустилась в путь (на маленьком суденышке, на котором перевозили овец и рогатый скот).

Дальнейшее — первые годы ее славы. Мировая толпа и великое множество видных и виднейших из числа этой толпы, не

многим, конечно, от нее отличающихся, стали сходить от "босоножки" с ума.

Сначала было неважно. Лондон "поразил и восхитил". Семья "с восторгом" обозревала его достопримечательности, и это привело к тому, что вскоре восторженное семейство очутилось без гроша в кармане на улице и даже без багажа, взятого хозяином пансиона за неуплаченный счет. Так, буквально на улице, и провела она целых трое суток, после чего Айседора решила "действовать". Убедив своих спутников во всем повиноваться ей, она на рассвете четвертого дня вошла с ними в один из лучших лондонских отелей, сказала сонному портье, что они прибыли с ночным поездом из Ливерпуля, что багаж их должен прибыть вслед за ними, и потребовала комнаты и завтрак. Весь день семья провела в постелях, время от времени звоня и спрашивая, не прибыл ли багаж? Обед, "в виду неприбывших туалетов", был тоже подан в комнаты, а на рассвете следующего дня все благополучно покинули отель, постаравшись не разбудить спавшего портье. Днем же, в случайно найденном на улице обрывке газеты, Айседора прочла имя и адрес одной богатой дамы-американки, знакомой по Америке. Тотчас же отправилась она к ней — и вернулась не только с известием о том, что в ее дом приглашена танцевать, но и с денежным авансом. Отсюда все и пошло. Сперва ряд выступлений в лондонских салонах, чем далее, тем все более богатых и знатных, затем — перед членами королевского дома... Принц Уэльский нашел, что у нее "тип красоты во вкусе Генсборо", число ее поклонников стало расти...

Год спустя — Париж. Опять то же самое: сперва нищета, голое ателье, дрожащее по ночам от грохота ротационных машин,— под ним была типография,— спанье на полу вчетвером, всей семьей, днем — восторженное паломничество в музеи, храмы, сады и особенно в Лувр. Там, в зале греческих ваз, Айседора и Раймонд оставались часами, он — срисовывая, она — изучая позы греческих танцовщиц, изображенных на вазах. "Дома Раймонд фотографировал меня, танцующую нагой..." Это 1900 г., в Париже всемирная выставка. Айседора "застывает от восторга" в павильоне Родена, "безумствует от счастья", глядя на танцовщицу-японку Сада Якко, завтракает на Эйфелевой башне с лондонскими друзьями... Есть у нее уже и парижские друзья, один из них, молодой литератор Бонье, очень некрасив, "маленький, бледный, в очках", но в нем есть "что-то волнующее". Беда только в том, что Бонье довольно быстро отстраняется от нее. Почему? "Я была замечательно

хороша собой, мне было 18 лет...” Оскорбленная, она дружит еще с одним из своих поклонников. Дружба доходит до того, что однажды, после ужина с шампанским, “под потоком поцелуев, с каждым нервом, трепещущим сладострастием”, она готовится “пробудиться к новой жизни”, но друг почему-то внезапно вскакивает и, бросаясь на колени, восклицает:

— О! Какое преступление чуть не совершил я! Нет, нет! Вы должны остаться чистой! Оденьтесь сию минуту...

“Глухой к моим молениям, он накинул на меня манто, втолкнул меня в фиакр и всю дорогу проклинал себя в таких сильных выражениях, что я была в ужасе!”.

Понемногу и Париж покоряется ею, как “возродительницей древней Греции”. Она танцует в самых знаменитых домах, знакомится с Сарду, Роденом, Карьером: “Увидав его, я испытала такое волнение, как если бы я встретила Христа”.

За Парижем — Берлин, Лейпциг, Вена, Будапешт. Тут она танцует “Голубой Дунай” Штрауса и “Революционный гимн” (в красной тунике, в честь “героев Венгрии”) и встречается с пылким венгерским актером “Ромео”. Он “превратил целомудренную нимфу в разнузданную вакханку”. Апрель, Будапешт в весенних цветах, ежедневные триумфы, дорогое вино... “Трепещущая от ужаса и экстаза, стонущая от боли, я была посвящена наконец в таинство любви... На другой день, в деревушке под городом, в простой деревенской хижине, где мы остановились, и где хозяйка дала нам комнату с крестьянской старинной постелью, вновь началось это мучительное блаженство, сопровождаемое моими жалобными стонами и криками... Мы оставались там весь день, и Ромео без конца осушал мои слезы и заглушал мои крики... Танцуя в тот вечер в городе, я чувствовала себя изувеченной. Однако, ночью, когда я снова увидела Ромео, я горела желанием: начать снова, особенно когда он нежно сказал мне, что моя боль пройдет, что я узнаю рай на земле, каковое пророчество вскоре и исполнилось...”

Рассказ Айседоры о ее путешествии в Грецию не менее замечателен.

Отправилась она туда опять почему-то со всей своей семьей, и вся семья оказалась вполне достойна Греции. Городок Каравассара онемел от изумления при виде каких-то паломников, вышедших из рыбачьей лодки, в экстазе павших на колени и целовавших землю, в то время как один из них, Раймонд, декламировал приветствие Греции на ее древнем языке. А на заре следующего дня городок был свидетелем того, как эти паломники,— в которых он подозревал сумасшедших,— поки-

нули его с лавровыми ветвями в руках, окружив повозку, в которой лежали их вещи. В прочих деревнях и городках они вели себя тоже вполне по-гречески: путь совершали, обнимаясь от восторга и все время танцуя. Прибыв в Афины, они тотчас направились к Парфенону, где экстаз их простерся до того, что они "не могли вымолвить ни слова". Этот экстаз заставил их принять решение даже навсегда остаться в Греции, образовать роль "клана", одним из главных условий которого было безбрачие и поклонение греческим богам. А так как поклонение невозможно было без храма и у Айседоры скопилось после ее триумфов в Европе некоторая сумма денег, решено было построить и храм, "в котором был бы запечатлен след нашего гения". И начались поиски места для этого — хождение "по священной греческой земле" в пеплумах и в сандалиях, а затем совершилась и закладка храма — "на месте, называемом Копамос": в присутствии множества народа, "по древнему греческому обычаю", греческий священник в черном клобуке и черной вуали зарезал черного петуха и окропил его кровью первый камень, меж тем как четверо храмосоздателей танцевали на четырех линиях, обозначавших границы храма. "Клан" выработал себе затем очень строгие правила жизни: "приветствие восхода солнца криками радости и пляской", "размышление", питание только козьим молоком и овощами, старания возвратить окрестных жителей к древнему культу... На эту жизнь приезжал смотреть сам греческий король, хотя "клан" считал, что живет он "под владычеством иных царей — Агамемнона, Менелая и Приама". Плохо было только то, что постройка храма, да еще "из драгоценного парасского мрамора", дело было дорогое, хор греческих мальчишек, который набрал Раймонд, чтобы учить его древним антистрофам, надо было кормить... Кроме того, в Афинах была очередная "революция", Айседора опять танцевала что-то революционное... Обстоятельства вообще сложились так, что семья "прозрела, поняла, что не может все-таки быть древними греками",— и бежала в Вену.

В Россию Айседора попала впервые тоже не просто. Приехала на рассвете январского дня в Петербург, взяла извозчика, поехала — навстречу бесконечная погребальная процессия. Что такое? "Трупы рабочих, расстрелянных вчера перед Зимним дворцом за то, что они, безоружные, пришли просить у царя помощи в их нужде и хлеба для их жен и детей". Слезы полились из глаз Айседоры: "Если бы я не видела этого зрелища, вся моя последующая жизнь была бы иной!" Она дала себе торжественное обещание "посвятить все свои силы на служение

народу и угнетенным". Обещание это не помешало ей впрочем придти в полный восторг на парадном спектакле в петербургской опере перед роскошью и богатством всего окружающего, красотой и туалетами женщин, обилием мехов и драгоценностей. В восторг привела ее и Москва:

— Свежий снежный воздух, русская пища и особенно икра бесследно вылечили меня от расслабленности, происходившей от моей предыдущей чересчур духовной любви. Теперь все мое существо жаждало соединения с сильным мужчиной. Такого мужчину я видела в Станиславском".

С ним у нее однажды вечером произошло вот что: "Я обвила руки вокруг его мощной шеи и поцеловала его в губы. Когда же сделала попытку притянуть его поближе, он выпрямился и воскликнул: — А что же мы будем делать с ребенком? — С каким ребенком? — спросила я.— С нашим, конечно,— сказал он и бросился бежать прочь".

Известна вторая половина ее жизни. Двое ее детей (конечно, незаконных и некрещенных) утонули, свалились в Сену вместе с автомобилем, и она долго была близка к помешательству: скиталась с братом по Албании, потом вернулась в Париж, но жить там не могла,— "слишком близко Сена!" — уехала во Флоренцию, потом поселилась в Виареджио, в мрачной красной вилле в шестьдесят комнат, в кипарисовом лесу... Тут, по ее словам, те, кто встречали ее на прогулках, говорили про нее: "Трагическая Муза трагического Танца". Тут однажды на пустынном пляже явилась к ней ее утонувшая девочка, манившая ее к себе. Ей сделалось дурно. Придя же в себя, она увидела над собой какого-то молодого итальянца, спрашивающего, что с ней, не может ли он чем-нибудь помочь ей. Она быстро ответила: — "Да, да, спасите меня, спасите мою жизнь, мой рассудок, дайте мне ребенка!" — и итальянец исполнил ее желание.

Во время великой войны ее "всюду преследовало видение окровавленной Франции", и она танцевала "Марсельезу" в красной шали и в Америке, и в Италии, и в Аргентине, и в Греции — в том восторге, который она "испытывала всегда, когда ей приходилось изображать восстание, мятеж". Из всех человеческих чувств ее, по ее признанию, больше всего опьяняли именно эти чувства. Недаром она с таким упоением танцевала и "Славянский марш" в тот день, когда разнеслась по миру весть о русской революции. Недаром вышла замуж за русского "поэта-крестьянина" Есенина. Брак этот еще достаточно памятен всякому: сплошное пьянство, сплошная драка,—

поэт бил "возродительницу древней Греции" и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Москве.

Конец поэта был не лучше ее конца.

ГОРЬКИЙ

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким,— странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были,— начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось нечто еще более странное: человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне приступы ужаса, негодования. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. Но вот громкий, безразличный голос из радио:

— L'écrivain Maxime Gorki est décédé... Alexis Pechkoff, connu en litterature sous le nom Maxime Gorki, était né en 1868 à Nijni-Novgorod d'une famille de Cosaques...*

"Décédé..." Очень сложные чувства.

.....

В первый раз в жизни слышу о его казацком происхождении. Может быть, он и правда был казак? Я уже это писал: о нем, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Кто знает его биографию достоверную? Молва все еще твердит: "Босяк, поднялся со дна моря народного..." В словаре Брокгауза читаешь другое: "Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в 1868 году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторой, мать — дочь богатого купца красильщика..." Дальнейшее основано только на автобиографии Горького... Был в мальчишеские годы поваренком на волжском пароходе, потом где-то садовником... торговал яблоками... Был письмоводителем у нижегородского адвоката Ланина; уйдя от него, "бродил по югу России"...

В 92-ом году он напечатал в газете "Кавказ" свой первый очерк — "Макар Чудра". Через три года после того появился знаменитый "Челкаш". К этой поре и относятся мои первые сведения о нем. Я жил тогда в Малороссии, в Полтаве, и вот

* Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Максим Горький, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казацкой семье... (*франц.*)

прошел по Полтаве слух: "Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с суковатой дубинкой в руке..." А познакомились мы весной 99 года. Приезжаю в Крым, в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет Чехов, а рядом с ним кто-то громко говорящий басом и все время высоко взмахивающий руками из крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: "Познакомьтесь — Бунин — Горький". Знакомлюсь и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, в руках толстая палка. Под крылаткой ярко-желтая, шелковая рубаха, подпоясанная толстым и длинным шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и сутулый красно-рыжий мастеровой с зеленоватыми небольшими глазами, быстрыми и уклончивыми, с широкими ноздрями седловатого носа, веснушчатый, с желтыми моржевыми усами, которые он, покашливая, все поглаживает пальцами: немножко поплюет на них и погладит...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу... Ничего? Сносно?

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове,— милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае — с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно,— впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи,— одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая

даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились и некоторые другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних,— на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно,— когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговоры о которых были настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души,— только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, умиление "культурностью" своей роли, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и большая искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то,— пусть простят мне это слово,— воровской щеголеватостью и мягкостью, легкостью,— я не мало видал таких походок в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем потатарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое,— то, что потом так сказалось у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил своей скачкой по комнате.

Ко времени первой встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между "народниками" и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал "Челкашей", на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом "Новая жизнь", начинал издательство "Знание"... Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливца все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино,— выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна,— громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь,— хотя и без умолку,— они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем,— с ним это случилось очень быстро,— цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше,— его уже называли унтером,— на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова,— сама Ермолова и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из "Книги Иова":

— "Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня даже на столько, чтобы слюну мог проглотить я?"

А что, если бы его "отпустили"?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в "народности" одежды, Андреев, Скиталец и прочие "Подмаксимки" тоже стали носить длинные сапоги, блузы и поддевки. Это было нестерпимо. Раз вечером, среди толпы, тесно двигавшейся во время антракта в фойе Художественного театра, эти "Подмаксимки" шли целой гурьбой, и я громко сказал, подходя к ним, тоном и словами Коко из "Плодов просвещения", увидавшего в своей прихожей мужиков:

— Э, э, э... Вы — охотники?

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму,— были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале "Новая жизнь", потом стал издавать свои первые книги в его издательстве "Знание", участвовал в "Сборниках Знания". Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие,— больше всего из-за марки "Знания",— тоже

неплохо. "Знание" сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в "Сборниках Знания" кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей. Большие деньги он всегда любил,— любил все большое. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился,— как это его на все хватает: изо дня в день на людях,— то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище,— говорит, не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в те немногие годы, когда, уйдя от Ланина, "бродил по югу России". Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри,— до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне, в эти годы я видел его таким, каким еще никогда не видал.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним дружески. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с каким-то культурным призывом, потащил и меня туда. Выйдя на сцену, он сказал: "Господа, среди нас такой-то..." Собрание очень бурно меня приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, с Шаляпиным, с А.Н.Бенуа отправились в

ресторан "Медведь". Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал, на вечную разлуку, как оказалось.

20.VI.1936.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Господин редактор.

Во избежание неверных слухов, уже распространяющихся в Париже о том, что случилось со мной в немецком пограничном со Швейцарией городе Линдау, и о моей болезни, явившейся последствием этого случая, позвольте изложить на столбцах Вашей газеты, что именно со мной было.

Три недели тому назад я выехал из Парижа с туристическими целями и для свиданий с моими немецкими, чешскими и итальянскими издателями и переводчиками по маршруту Париж — Лейпциг — Берлин — Прага — Мюнхен — Женева — Рим — Париж, купив в парижском агентстве Кука круговой билет первого класса и два аккредитива — на Германию и на Италию. Я пробыл неделю в Германии, затем пять дней в Праге, где 23 октября публично читал свои художественные произведения, и снова поехал по Германии, направляясь в Швейцарию, ночевал по пути в Мюнхене и Нюрнберге, и вечером 26 октября прибыл в Линдау, где снова должен был ночевать, так как пароход, перевозящий путешественников по Боденскому озеру из Линдау в Романсгорн, в Швейцарию, отходил только на другой день в полдень. Переночевав в отделе Seegarten, я явился в одиннадцать часов утра в немецкую таможню, находящуюся у самой пароходной пристани. Там я предъявил надлежащим властям все, что полагается: свой эмигрантский паспорт, аккредитивы (из которых в немецком остался только один чек на 50 марок), те бумажные доллары, которые были со мной и любое количество которых я имел законное право ввозить и вывозить в Германии, и оставшиеся в моем кошельке 20 бумажных немецких марок с медной мелочью. Посмотрев все это, власти дали мне вместо бумажки в 20 марок соответствующую сумму серебром, а паспорт куда-то унесли и не возвращали с полчаса, когда же, наконец, возвратили, то скомандовали:

— Следуйте за этим господином!

Этот "господин" был довольно молодой человек преступного типа, в потертой штатской одежде, он быстро схватил меня

за рукав и повел куда-то по каменному сараю таможни, где всюду дул в раскрытые двери ледяной ветер дождливого дня, привел в какую-то каменную камеру и молча стал срывать с меня пальто, пиджак, жилет... От потрясающего изумления,— что такое? за что? почему? — от чувства такого оскорбления, которого я не переживал еще никогда в жизни, от негодования и гнева я был близок не только к обмороку, но и к смерти от разрыва сердца, протестовал, не зная немецкого языка, только вопросительными восклицаниями — "что это значит? на основании чего?" — а "господин" молча, злобно, с крайней грубостью продолжал раздевать, разувать и обшаривать меня. Я стоял перед ним раздетый, разутый,— он сорвал с меня даже носки,— весь дрожал и стучал зубами от холода и дувшего в дверь сырого сквозняка, а он залезал пальцами в подкладку моей шляпы, местами отрывая ее, пытался отрывать даже подошвы моих ботинок... Через четверть часа, не найдя на мне, разумеется, ровно ничего преступного, он вывел меня назад. Пароход в эту минуту уже отходил, но мне очень насмешливо сказали: "Ничего, есть еще вечерний пароход!" — и отправили меня с конвоем и с тележкой, на которой вез мои вещи таможенный служащий, в какое-то огромное здание,— вероятно, арестный дом, ибо я видел в его коридорах множество дверей с номерами на них.

Как рассказать дальнейшее? Мне казалось, что я в сумасшедшем доме, что это какой-то кошмар. Меня вели долго, через весь город, под проливным дождем. Когда же привели, *ровно три часа* осматривали каждую малейшую вещицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки. Каждый мой носовой платок, каждый носок был исследован и на ощупь и даже на свет; каждая бумажка, каждое письмо, каждая визитная карточка, каждая страница моих рукописей и книг, находившихся в моем портфеле,— все вызывало крик:

— Что это такое? Что здесь написано? Кем? И кто тот, кто это писал? Большевик? Большевик?

Некоторые письма и моя записная книжка с адресами были отложены в сторону, куда-то унесены и возвращены мне только в последнюю минуту. Пачка чешских газет, в которых были статьи обо мне и отчеты о моем вечере, вызвала особенную жадность: "а, чешские газеты! Почему они у вас?", хотя в них были мои портреты с подписями: "I.A.Bunin v Praze", "Vortrag

Ivan Bunins in Prag", и т.д. Я пишу книгу о Толстом, в моем портфеле было несколько книг о нем: при виде его портретов в этих книгах плевали и топали ногами: "А, Толстой, Толстой!"

К четырем часам явилась какая-то довольно красивая дама с прозрачными, сверлящими и переливающимися глазами, сказала, что она говорит по-французски и потому "случайно" приглашена немцами помочь им в допросе меня, быстро потребовала, чтобы я, не думая ни секунды, написал "вот на этой бумажке" названия моих произведений в доказательство того, что я действительно писатель, быстро сказала, что кому-то известно, что я провел ночь в Линдау с одной женщиной и что я должен назвать имя этой женщины, задала мне еще два-три бесстыдных и нелепых вопроса и вдруг, после моего негодующего восклицания в ответ на все это, заявила, что я свободен.

Приехав ночью в Цюрих, я не спал до утра — меня так простудил раздевавший меня "господин", что у меня уже был кашель и жар: 38,5. Приехав в Женеву, я почувствовал себя совсем больным и, махнув рукой на продолжение своего путешествия, решил возвратиться в Париж.

То, что таможенные и полицейские власти в Линдау не придали никакого значения ни моему возрасту, ни моему званию писателя, Почетного Академика и Нобелевского лауреата, я в какой-то мере понимаю: они не обязаны ни с чем считаться, поймав преступника. Но какие были у них хоть малейшие основания заподозрить, что я преступник, и чуть не целый день так жестоко, грубо и бессмысленно издеваться надо мной?

Примите, господин редактор, уверение в моем совершенном почтении.

Ив.Бунин

Париж, 31-X-36.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Господин редактор!

Позвольте при посредстве Вашей газеты закончить мою историю в Линдау моей глубокой благодарностью всем тем общественным организациям, редакциям газет и частным лицам, которые выразили мне свои чувства в связи с этой историей. Я был в отъезде, и потому только теперь ознакомился полностью со всем тем, что явилось откликом на нее. Отклик этот оказался столь горяч и единодушен в своем сочувствии мне и в возмущении той глупой грубостью, которой я, без малейшего осно-

вания, был подвергнут в Линдау, и, смею сказать, столь всемирно широк, что вдвойне обязывает меня обратиться к Вам с этим письмом, ибо касается не только лично меня, как частного человека. Он служит, кроме того, и достойным ответом на германское официальное опровержение по этому случаю: ведь опровержение это, адресованное "некоторым иностранным газетам", будто бы оклеветавшим в своих "заметках" полицейские и таможенные власти в Линдау, имело в себе тот внутренний смысл, что в этой "клевете" повинен я. Как иначе понять его, раз все эти "заметки" явились только следствием того совершенно протокольного и точного рассказа моего насчет Линдау, который я дал в Вашей газете 1 ноября, и который не мог не быть известен берлинским авторам опровержения?

Примите, господин редактор, уверение в моем совершенном почтении.

Ив.Бунин

"ПУШКИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА"

Страшные дни, страшная годовщина — одно из самых скорбных событий во всей истории России, той России, что дала Его. И сама она,— где она теперь, эта Россия?

"Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия".
— О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!

А.И.КУПРИН

Это было очень давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидал в "Русском богатстве" его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной офицерской скороговоркой, ударяя на последний слог:

— Я — Куприн, и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в совершенно необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что

касалось его личной жизни, он был очень скрытен, никогда не говорил и никому не позволял сказать ни единого слова, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я, например, до сих пор не имею ясного понятия, кто именно был его отец,— кажется, был он военным врачом, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус; знаю только, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском "Вдовьем доме". Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко, важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: "геть сию же минуту к чертовой матери!", что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой как бы наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному — и к Пушкину, к Толстому,— тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о "прелестной, божественной" Фру-Фру,— и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали и его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно,— Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого можно с ним сравнивать? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас же после его первого появления в "Русском богатстве" и потому с радостью услыхал

однажды, гостя у поэта Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали,— "он, верно, купается", сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды, невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами.— "Куприн?" — "Да, а вы?".— Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой и сильной рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: "Даже в его руке — талант!"). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро,— в нем тогда веселости и добродушия было особенно много, откровенным он казался необыкновенно, на всякий вопрос о нем,— кроме того, что касалось его семьи, его детства,— отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей армейской отрывистой скороговоркой: "Откуда я сейчас? Из Киева. Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким... Жил и охотился в Полесье,— никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом жил в Киеве... Там за гроши писал всякие гнусности для бульварной газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего,— ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились ботинки, что в Одессу не в чем поехать... Слава Богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть...". И, пробормотав все это, без передышки начинал петь приятным, верным баритоном, с героической торжественностью, эпиталаму Рубинштейна: "Эрос, Бог любви, пусть вас соединяет!".

В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка.— "Да меня же никуда не примут", жалостливо скулил он в ответ.— "Но ведь вы уже печатались!".— "Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут".— "Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей "Мира Божьего",— ручаюсь, что там примут".— "Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!".— "Вы знаете, например, солдат,— напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит на часах и томится, скучает, вспоминает деревню...".— "Но я же не знаю деревни!".— "Пустяки, я знаю, давайте

придумывать вместе...".— Так и написал он свою "Ночную смену", которую мы послали в "Мир Божий", потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в "Одесские новости",— сам он почему-то "ужасно боялся",— и за который мне удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе ботинки, потом на лихаче помчал меня в "Аркадию" угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он во хмелю впоследствии:

— Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то был он со мной весел, нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: "Ненавижу, как ты пишешь, у меня от тебя в глазах рябит, одно ценю: ты пишешь отличным языком, а кроме того — чудесно верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?". Про хмельного я уже и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил, где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому всякое море по колено...

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе или в Ялте, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов... В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастностью предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений, и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности, охоту, например, к издевательству над людьми:

"Взять какого-нибудь болвана, часто говорил он с упоением, взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми бесстыдными похвалами и вообще всячески "развертеть" ее,— да что же может быть слаще этого?".

Потом в жизни его вдруг наступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином "Мира Божьего", потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и с каждой своей новой вещью завоевывать себе все больший успех, делаться знаменитостью... Остальное всем известно.

Семнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже,— самыми близкими соседями, в одном и том же доме,— и он пил особенно много, доктор, осмотревший его однажды, твердо сказал нам: "Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев". Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет четырнадцать, "молодцом во всех отношениях", как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года два тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся, такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Уже давно слышал я, что говорят про него парижские эмигранты: "Нет человека добрее, ласковее, даже в каком-то смысле блаженнее, чем Куприн!". Теперь я убедился в этом самолично... Как-то я получил от него открытку в две-три строки,— такие крупные, дрожащие каракули с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок... Все это и было причиной того, что за последние два года я не видал его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.

В прошлый вторник, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из Италии и, развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием:

"Александр Иванович Куприн возвратился в СССР...".

Никаких "политических" чувств по отношению к его, личному, "возвращению" я, конечно, не испытываю: только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ "ХУДОЖЕСТВЕННИКОВ"

Беседа с И.А.Буниным Лоллия Львова

Приезд в Париж Московского Художественного театра встречает, конечно, живой отклик в русской колонии в Париже. Можно не сомневаться: русские, как ни бедны они,— в громадном большинстве побывают на спектаклях "художественников".

Русские писатели также, вероятно, будут на их премьерах — Бунин, Тэффи, Зайцев, Алданов, Ремизов, другие молодые, неизвестные еще в России писатели и те из них, кто в настоящее время в Париже... Москвичи-артисты на этот раз будут играть и перед той, живой и свободной, русской литературой, о которой в России строжайше приказано молчать и которую приказопослушным и служилым Эренбургам и Алексеям Толстым, повелено поносить и всячески изничтожать в своих фельетонных впечатлениях о поездках за границу. Так впервые, здесь в Париже, после долгих лет произойдет встреча артистов театра Чехова с свободной и независимой русской литературой.

А между тем тема связи Московского Художественного театра с русским писателем большая и значительная тема. Писатель в истории, в создании Московского Художественного театра сыграл совсем особую роль. Встреча артистов с писателем в стенах Московского Художественного театра была такой, какой нигде и никогда в другом русском театре не бывала. Мы имеем в виду, конечно, встречу театра с Чеховым... Вот почему перед поднятием занавеса Московского Художественного театра в Париже нам показалось и интересным и обязательным встретиться с И.А.Буниным, живым свидетелем ни одной из этих встреч, и услышать от него несколько слов об этом.

* * *

Бунин только что возвратился в Париж из поездки по Швейцарии. Посвежел и как-то повеселел в лице, словно вдоволь надышавшись чистого воздуха и отдохнув на свободе. Мы застали его за рабочим столом. Он разрезал страницы только что вышедшей из печати своей новой книги о Толстом "Освобож-

дение Толстого" — таково название, четко обозначенное на обложке просто, но с большим вкусом, изящно изданной книжки. Бунин в хорошем, добром настроении. Он оживлен и разговорчив. Как-то сразу чувствуется, что он доволен появлением своей книги — всякий, встречавшийся с ним в минувшую зиму, знает, как он был увлечен и поглощен своей работой над книгой о великом русском писателе, как в буквальном смысле этого слова, любовно он работал над ней, тщательно подготовлял ее и как бывал охотно разговорчив именно на тему о Толстом. Но на этот раз наш разговор должен быть о ином. Поздравив его с появлением новой книги, прежде чем объяснить, о чем "Иллюстрированная Россия" просит его поделиться своими воспоминаниями, задаю несколько вопросов о совершенной им поездке.

Бунин доволен поездкой, хотя вовсе не сердит на шумный и утомительный Париж.

Спрашиваю:

— Видели ли вы в Швейцарии С.В.Рахманинова?

И слышу в ответ, что вместе с Верой Николаевной он побывал и у знаменитого русского композитора, как раз только что вернувшегося на свою виллу под Люцерну с Адриатического побережья.

— Видел, видел,— отвечает на заданный вопрос Бунин,— мы были у него, в чудесной усадьбе, на берегу Люцернского озера, и провели там прекрасный вечер. К сожалению, на другой же день мы должны были уехать...

* * *

Но и добродушие и улыбка как-то сразу исчезают с лица Ивана Алексеевича, как только он слышит о намерении побеседовать с ним о Московском Художественном театре. Делается сразу серьезным. И я слышу в ответ, что о "художниках" все уже давно сказано и пересказано — все всем известно, что ничего нового сказать ему нечего и что сам, в сущности, он даже до сих пор не знает, будет ли на теперешних спектаклях.

Нет, разговор наш положительно не хочет завязаться!

Ставлю банальный, обязательный вопрос:

— Когда и на чем вы были в первый раз в Художественном театре?

Бунин отвечает кратко и отрывочно:

— Точно не помню.

Но с улыбкой прибавляет:

— Вообще у меня память очень хорошая, но я всегда многого не запоминал, помню только важное, все бесполезное и ненужное память не удерживает...

— Но все же...

— Насколько помню, первое, что я видел у них был "Царь Федор Иоаннович", или, может быть, это была "Чайка".

Ставлю второй обязательный — и тоже уже банальный — теперь вопрос:

— Что вы скажете о переименовании Художественного театра в театр Горького?

Бунин говорит решительно и веско, серьезно, как бы обдумывая каждое слово:

— Теперь этот театр, который и Станиславский, и Немирович-Данченко, да и вся публика, всегда называли "театром Чехова", стал почему-то называться "театром Горького". Горький в жизни Художественного театра играл немалую роль. Но почему все-таки театр переименован из Чеховского в Горьковский — непонятно. Так же, впрочем, непонятно, как всегда непонятно для меня переименование городов. Например, Петербург был основан Петром Великим. Можно как угодно относиться к Петру Великому, но ведь город все же основал он, а не Ленин. Почему мне "Ленинград" и кажется всегда нелепостью. Так и с Художественным театром, которому присвоили имя Максима Горького.

Воспоминания о Горьком и Чехове, видимо, невольно волнуют нашего писателя. Задаю ему вопрос о Чехове, о его "Чайке": видел ли Бунин "Чайку" до знакомства с Чеховым или после?

— Нет, с Чеховым я тогда не был еще знаком. Я познакомился с ним позднее, в Ялте, на набережной. Это было в книжном магазине Синани, у ялтинского Смирдина...

Улыбка озаряет и преображает лицо Бунина. Он рассказывает о первых встречах с любимым писателем:

— Меня удивили его первые слова, с которыми он обратился ко мне: "Что же вы не приехали прямо ко мне?". В это время мною было напечатано очень мало. Главным образом, стихи...— "Приезжайте завтра..." — Когда? — "Да часов в семь утра". Признаться, я был удивлен: Как? так рано? — "Мы встаем рано. Будем вместе пить кофе. По утрам надо обязательно пить кофе. Это дает силы, и можно после целый день, не евши работать...".

Таков был первый разговор Бунина с автором "Чайки", изображение распластанных крыльев которой еще до сего времени украшает и занавес, и афиши театра. О своем первом посещении Чехова Бунин рассказывает:

— Встретил он меня очень радостно и весело.— "А я тоже писал стихи", услышал я от него с первых же слов.— "Я не подозревал этого".— "Нет, писал". И он прочел два свои стихотворения, весело хохоча.

Бунин сам весело улыбается и, не торопясь, читает наизусть:

Шли однажды через мостики
Жирные китайцы,
Впереди их, задрав хвостики,
Поспешали зайцы...
Вдруг китайцы закричали:
"Стой! Лови! Ах! Ах!".
Зайцы выше хвост задрали
И попрятались в кустах...

Вот одно Чеховское стихотворение, а вот и другое:

Аграфена Пантелевна!
Когда взята была Плевна,
Так солдаты отличались,
Даже турки удивлялись...

— Тут,— прибавляет Бунин,— Чехов подарил мне книгу своих рассказов. Она так просто и называлась: "Рассказы", и написал мне на ней эти два стихотворения...

В той же Ялте Бунин познакомился и со всей труппой Художественного театра. Это было, когда "художественники" приехали туда в гости к Чехову показать ему свои постановки.

— Случилось это у Фанни Карловны Татариновой, гостеприимно принимавшей театр у себя на роскошной даче. На плоской крыше ее дома.

— Здесь я впервые, говорит Бунин, заметил роман между Чеховым и Книппер. Она тогда была и казалась довольно высокой, стройной, крепкой девушкой, во всем энергичной, с очень хорошим темным румянцем на девичьих щеках,— так что Чехова я понимал...

Бунин охотно и добродушно рассказывает о Чехове. К сожалению, услышать от него что-нибудь новое о Горьком не удается. О Горьком, о встречах с ним он писал не так давно после его смерти — что же сказать нового! Все, что он сказал, уже известно.

— Стал давать пьесы в Художественном театре и Горький. Это были "Мещане", "На дне"... Пьесы Горького мне никогда не нравились. Они были всегда сугубо, нарочито претенциозны и поучительны. После "На дне" его вызывали 19 раз. Но это уже известно, как и то, что выходя на вызовы, бледный до зелени, он откидывал назад красно-рыжие волосы, очень зло вглядывался в публику, повертывался и уходил... Публике это очень нравилось. Странная была тогда публика! Помню, как на одном вечере, публика пришла в полный восторг, когда Скиталец крикнул в нее свой стих: "Вы жабы в гнилом болоте..."

Бунин смеется, и уже, не ожидая вопросов, вспоминает о других писателях, пьесы которых ставил Художественный театр — о Леониде Андрееве, Юшкевиче, рано умершем Найденове... О последнем Бунин вспоминает с большой симпатией.

— Театр поставил его пьесу "Стены"... Пьеса успеха не имела, но насколько помню, в ней было что-то хорошее. Чехов сказал о Найденове: "Какие к черту, мы все драматурги! Единственный настоящий драматург, это — Найденов. С самой настоящей драматической пружиной внутри. Он должен еще десять пьес написать, девять раз провалиться, а на десятой иметь такой успех, что ахнешь...". Мы были с Найденовым в большой дружбе...

— А вы, Иван Алексеевич, так и не написали ничего для театра?

Бунин смотрит на меня, и, как бы вспомнив, отвечает:

— В Художественном театре ставили в моем переводе байроновского "Каина". Но это было уже, когда меня не было в России. Разговоры о постановке начались очень давно, задолго до моего выезда в эмиграцию. "Мы его поставим в сукнах",— говорил Станиславский. Но это все, что я знаю об этой постановке. Не один раз Станиславский и Немирович убеждали меня написать для них. Предлагали даже стать артистом у них, что меня страшно удивило. "Помилуйте,— сказал я,— я и по сцене ходить не умею. Ведь она покатая".— "Ну, этому мы вас научим, а на остальное вас хватит...".

— Так что вы видите во мне погибшего артиста Художественного театра! — кончает эту часть разговора Иван Алексеевич. И тут же, оживившись, возвращается к заданному с самого начала вопросу о его первых впечатлениях о Художественном театре. Он вспоминает о том, как в ноябре 1898 года он видел "Царя Феодора".

— И мне многое тут понравилось,— говорит он.— Особенно раннее утро, когда царь Феодор выходит, зябко ежась, и обра-

щается к Аринушке... Феодора играл Москвин, Ирину — Книпер... В те же времена видел и "Чайку". Помню Мейерхольда — он играл Треплева. Играл истерически, мелко... Но зато в "Чайке" мне очень понравилась Лилина, артистка вообще прекрасная. Они ставили еще "Власть тьмы". И в общем неплохо ставили. Только помню, очень курьезное впечатление производила деревенская изба, которая до невероятности была загромождена крестьянским скарбом, вывезенным из Тульской губернии... Чего тут только не было: корыто, лопаты, дуга, колеса, даже телега...

И опять беседа с И.А.Буниным как-то неизбежно обращается к теме, которая, видимо, занимает его в настоящее время куда больше Художественного театра — о Толстом. Уходя от Бунина, я невольно раздумывал о том, что из русских писателей, наверное, никто еще, никогда, не был так полон мыслями о великом Толстом, как он, Бунин, который только что написал о нем изумительную книгу, вышедшую на русском языке и уже переведенную по-французски.

Лоллий Львов.

ОКТЯБРЬ

"Ксения", 18 октября 1905 года.

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, сонные, жизнь наша с М<арьей> П<авловной> и "мамашей" (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех позавчера перед вечером: вдруг зазвонил из кабинета А<нтона> П<авловича> телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, С<офья> П<авловна> стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец... Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что С<офья> П<авловна>. Вчера стало известно уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят... Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф были закрыты. Меня охватил просто ужас при мысли застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на

пристань, слава Богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет "Ксения". На душе тяжесть, тревога, погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет горы изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее.

В Севастополе тотчас сбежали с парохода, побежали в город. Купил "Крымский вестник", с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову и вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест о даровании свободы слова, союзов и вообще "всех свобод". Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в "Крымский вестник". Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел, наконец, манифест. Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.

Сейчас (ночью на пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малорусским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит, не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.

Одесса 19 октября.

Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускает все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно приятно — как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая вода, и из-за этих гор — рубин маяка Большого Фонтана. Качает так, что порой совсем кладет.

Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев,— будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может, и ложному. Приехав в Петербургскую гостиницу, увидал во дворе солдат. Спросил швейцара: "Почему солдаты?" Он только смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел.

Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца — и все везде пусто: лавки заперты, извозчиков нет. Прошел, ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только "Ведомости Одесского градоначальства". Воззвание градоначальника,— призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию "Южного обозрения". Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен Большой венок с красными лентами, на которых надпись: "Павшим за свободу!". Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: "Последние дни наши пришли!".— "Почему?" — "Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?" — "Да ведь могут голову проломить?" — "Могут. Понесут по Преображенской".

Пока пошел к Н<илусу>. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Н<илусом> пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить "павших за свободу" на Соборной площади, на что дума опять согласилась.

Когда вышел с Куровским и Н<илусом>, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет, и босяки, приставшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.

В три часа после завтрака у Б<уковецкого> узнали, что грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба... Как в осаде, просидели до вечера у Б<уковецкого>. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них "милиционеры". Некоторые вели арестованных. На извозчиках везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент — оборванный совсем почти догола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на замотанную окровавленными тряпками голову.

20 октября.

Ушел от Б<уковецкого> рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь все везде спокойно. Но к полудню мы с Куровским хотели выйти за город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман.

Возле дома Городского музея, где живет Куровский,— он хранитель этого музея,— в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилились так, что казалось, что в городе идет настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея — большой трехэтажный — стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.

21 октября.

Отвратительный номер "Ведомостей Одесского градоначальства".

В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги. В сумерки глядели из окон на зарево — в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.

22 октября.

От Б<уковецкого> поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев "аж на куски режут". Качал головой, жалел, что многих режут безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на "зверей казаков" и злоба на евреев.

Солнце, влажно, пахнет морем и каменным углем, прохладно.

В полдень пошел к Куровскому,— город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики...

Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, задыхаясь сообщила, что видела собственными глазами: идут на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром,— ходили по деревням и по Молдаванке — "политики" и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, все с той же целью — громить город, но не евреев только, а всех.

Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями,— возле гостиницы "Империаль" они увидали кого-то в окне, остановили фургон и дали залп по всему фасаду.

— Я спросил: "По ком это вы?" — "На всякий случай".

Говорят, будто нынче будет какая-то особенная служба в церквах — "о смягчении сердец".

Был художник Заузе и скульптор Эдварс. Говорили:

— Да, с хуторов идут...

— На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски...

— На Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, "ура", затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь.

— "Южное обозрение" разнесено вдребезги,— оттуда стреляли...

Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричит: "Пропустите конку!" Конка идет среди толпы. Громилы кричат: "Встать, ура государю императору!" И все в конке подымаются и отвечают: "Ура!" Сзади спокойно едет взвод солдат.

Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.

Куровский говорит, что восемнадцатого полиция была снята во всем городе "по требованию населения", то есть думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.

В городе говорят, что на слободке Романовке "почти не осталось жидов".

Эдварс говорил, будто убито тысяч девять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.

Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредко стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил телеграфу принимать депешу думы в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).

Уточкин,— знаменитый спортсмен,— при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика-

еврея, кинулся вырывать его у них из рук — "и вдруг мне точно ветерком пахнуло в живот". Это его собственное выражение. Подкололи его под самое сердце.

Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: "Теперь уже все их жалеют. Я сама видела — провезли их целых две платформы, половили в степу,— от несчастные, Господи! Трусятся, позамерзли. Их сами казаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели..."

Русь, Русь!

ЕГО ПАМЯТИ

В последний раз я видел его месяца полтора тому назад, навестил его, больного, вместе с М.А.Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного блеска и царственности было в нем еще столько, что мы ушли пораженные. Он сидел в кресле в углу столовой, возле зажженной под абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев... Такого величия и благородства я в нем прежде никогда не видал. В молодости, в годы мужества он был все-таки не тот.

Какая была в нем кровь? Та особая, северно-русская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых... И, несомненно, еще и какая-то другая, не русская, а варяжская, как мне кажется.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

— Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор великое множество умников, искренно убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал ни в жизни ни в искусстве, "бранил Шекспира, Бетховена". Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв его о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем изумительным достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах,— высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы,— ему было тогда лет двадцать пять,— особенно: на избыток, даже на некоторую неумеренность его всяческих сил. Это уже давно избито, но совершенно справедливо: в Шаляпине было очень много ис-

тинно былинного, богатырского, данного ему от природы, а отчасти и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть простым, спокойным! Чехов шутил:

— Слава подобна морской воде,— чем больше пьешь, тем больше жаждешь.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить (и особенно при его страстной, буйной, ненасытной натуре), что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, "из какой грязи попал он в князи"? Как-то он показал мне карточку своего отца:

— Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? "Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного"... Точно ли "со дна"? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не Бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено и вообще все детство, все отрочество Шаляпина, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни,— например, какой-то кузнец, что-то уж очень красиво говоривший ему о пении:

— Пой, Федя,— на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит.

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна,— от приятельства с кузнецом, каков бы он ни был, до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция все-таки огромного размера. Была его жизнь и счастлива беспримерно, во всех отношениях: дал ему Бог "в пределе земном все земное"! Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

Я однажды жил рядом с Баттистини в Лондонской гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была

тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал целые десятилетия, и вот вспоминаю: половина наших встреч с ним — сидения по ресторанам. Водка, красное вино, рейнское вино, шампанское, несметное количество папирос... Когда и где познакомились мы с ним, не помню. Но помню, что перешли на ты однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском великолепных хрустальных люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла фигура желтоволосого Шаляпина. Он орлиным взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил и неаполитанцев и всех пирующих при этой нежданной "королевской" милости! Пили мы в ту ночь до утра, а утром, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь и целуясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:

— Думаю, Ваня, что ты очень выпивши, и поэтому решил поднять тебя в твой номер на своих собственных плечах.

— Не забывай,— сказал я,— что живу я на пятом этаже и не так уж мал.

— Ничего, милый,— ответил он,— как-нибудь донесу!

И, действительно, донес, как я ни отбивался. А, донеся, угостил — потребовал через дежурного коридорного бутылку "столетнего" бургонского за целых сто рублей (которое, увы, оказалось похожим на малиновую воду).

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки до безрассудства. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками,— и чаще всего самыми крепкими,— было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из "Праги" в "Стрельну": мороз — градусов тридцать, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой богатырский рост, распахнувши на груди шубу, говорит и хохочет во все горло, жжет папиросу за папиросой — аж искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

— Как тебе не стыдно, что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

— Ты умный, Ваня,— ответил он сладким говорком,— только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

— Надоел ты мне со своей Русью! — крикнул я.

— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня "ой ты гой еси, добрый молодец": за что, Ваня?

— За то, что не щеголяй в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, да в поддевочках, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым и Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах,— помни, кто ты и кто они.

— А кто ж я такой? Чем от них отличаюсь?

— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а радости, очарования, которое дает только талант, гений, от них ни на грош.

— А от меня?

— Ты Лазаря-то не пой, отлично знаешь, что я хочу сказать. Им до тебя как до звезды небесной далеко.

— Пьяные, Ваня, склонны иногда под видом брани льстить.

— И то правда,— сказал я, смеясь.— А ты все-таки замолчи и запахнись.

— Ну, ин, будь по-твоему...

И вдруг так рявкнул, что лошадь рванула и понесла еще пуще:

— У Карла есть враги!

В Москве существовал тогда литературный кружок "Среда", собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои

писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал наши чтения,— хотя терпеть не мог слушать,— иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел — то народные русские песни, то французские шансонетки, то "Блоху", то "Марсельезу", то "Дубинушку" — и все так, что дух захватывало и от несравненной прелести и от силы его голоса.

Раз, приехав на "Среду", он тотчас же сказал:

— Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Петь до смерти хочется. Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь.

И, когда Рахманинов приехал, не дал ему даже напиться чаю. Это было в самый разгар его славы, его блеска, и легко себе представить, что это за вечер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин пел в тот вечер так, что даже сам сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у нас в гостях, на Капри, в гостинице "Квисисана", где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вдруг вызвался петь (хотя делал это редко, любил говорить: "Бесплатно только птички поют!"). И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда, с год тому назад, я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

— Помнишь, Ванюша, как я пел у тебя на Капри?

Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

— Неплохо пел! Дай Бог так-то всякому!

Я нездоров, не выхожу из дому. Мысленно кланяюсь ему на его смертном ложе, целую его последним целованием.

Париж, 15-IV-38.

О ШАЛЯПИНЕ

Шаляпин, Чехов и "верблюды".

В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним голосом: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и "передовым человеком", идейным, общественным,— пусть, мол, сходит с ума от Собинова та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Думаю, что Шаляпина тянуло к нам вполне бескорыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

— Да за чем же дело стало?

— Да за тем,— отвечал он,— что Чехов нигде не показывается, что все нет случая представиться ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком.

— Ну, полно, это ты сейчас дурака валяешь.

— Бог свидетель, нисколько не валяю. Вот если б ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все было правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторге:

— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

— Спасибо,— сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка,— знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров,— та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московском немецком ресторане "Альпийская роза", завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

— Опять сниматься! Все снимаемся! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся:

— Почему же это свадьба, да еще собачья? — ответил он своим грубо-наигранным басом.— Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие.

— А как же это назвать иначе? — сказа я ему.— Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, "народ пухнет с голоду", Россия гибнет, в ней "всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти", над ней, "гордо реет буревестник, черной молнии подобный", а что в Москве, Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник "Знания", новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова и всех ваших милостей, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...

Некто прозвал себя в мире скитальцем
И по трактирам скитался действительно...

Дело грозило перейти в крупную ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:

— Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.

— Да,— подхватил Горький,— писал, писал — и околел.

— Как например я,— сумрачно сказал Андреев.— Околею в первую голову.

Он это постоянно говорил, все жаловался на сердце, на ужасные головные боли. И пророчество его, увы, оправдалось.

Все считали Шаляпина очень левым, даже революционером, ревели от восторга, когда он пел "Марсельезу" в конце "Двух гренадеров" или "Блоху", в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательское над королями:

Жил был король когда-то,
При нем блоха жила...

И вот, что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем,— по всей России прокатился умопомрачительный слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным не было конца-краю; Амфитеатров был так возмущен, что возвратил Шаляпину его фотографическую карточку с дружеской надписью. И сколько раз потом

оправдывался бедный Шаляпин в этом своем прегрешении! А какое же было прегрешение?

— Как же мне было не стать на колени? — говорил он.— Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, которое было просто нищенским, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сцене,— весь он оказался на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!

В России я видел его в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин, встреченный оркестром музыки на Финляндском вокзале, когда он тотчас же внедрился в особняк Кшесинской. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то "Академии свободных наук". Не понимаю почему, мы с Шаляпиным явились на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго и высокопарно и затем объявил:

— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами и вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было "становиться на колени". Но он очень решительно сказал прибежавшему:

— Я не трубочист и не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя,— ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал, несмотря на рев из зала.

А в прошлом году, в июне, я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался он, по крайней мере, необыкновенно. Он всегда волновался, при всех своих выступлениях,— это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси,— войдя в свою уборную, они падали просто замертво, были бледны как смерть. То же самое бывало, думаю, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом, последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его великий талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял как в тумане, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил меня:

— Ну, что, как я пел?

— Конечно, превосходно, дорогой мой,— ответил я.

И пошутил:

— Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

— Спасибо, пожалуйста, подпой,— ответил он со смутной улыбкой.— Мне, брат, нездоровится, уезжаю в Австрию, в горы. А ты?

Я опять пошутил:

— Да мне что ж уезжать, я почти всю зиму провел в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он рассеянно и ласково улыбнулся.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КУПРИНА

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие — Горький, Андреев, Шаляпин — жили в непрестанном упоении своими славами, в непрерывном чувствовании их не только на людях, во всяких публичных собраниях, но и в гостях друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов,— сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемыми "ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор..." Куприн же, даже в те годы, когда едва ли уступал в российской славе не только Горькому, Андрееву, но и Шаляпину, нес ее так, как будто ровно ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего

значения, ни в грош не ставит ее, дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде Маныча... Слава и деньги дали ему одно — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся.

— Я не честолюбив, я самолюбив,— как-то сказал я ему по какому-то поводу.

— А я? — быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурив, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками,— вот и вся моя писательская история...

Он это часто повторял — "я стал писателем случайно". Это, конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в "Юнкерах". Но вот что правда и очень важная — это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно самыми разнообразными трудами, он кормился между прочим при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и "рассказишками". Он мне говорил, что эти "рассказишки" он сбывал "за сущие гроши, разумеется, но очень легко", а писал и того легче, "на бегу, на лету, посвистывая" — и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с такой же ловкостью он и продолжал писать — уже не для киевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: "по своей талантливости". Нужно сказать сильней: по своей чрезвычайной талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался главным образом всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит:

— Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинулся он на книги? На жизнь действительно надолго, что же до книг, то тут слова "и до сей поры" весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже "на бегу, на лету", давалось ему и усваивалось им истинно по Божьей милости, по его способностям, следствием

чего и вышло нечто удивительное — то, что в смысле — как бы это сказать? — интеллигентности, что ли,— уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что просто непостижимо, как он мог при этом писать, да еще так ясно, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.

Как он жил, каким был в жизни, известно слишком многим. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной "стихийности", "непосредственности" его произведений, о той "первичности переживаний, которыми они пленяют". Читаешь о нем и сейчас то же самое: "Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарования и истинно русская небережливость, слишком большое доверие к "нутру", в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах... то, что он "не кончил консерватории", как говорили символисты о бытовиках... "В своем творчестве Куприн, по самой природе своей не-книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами..." "Ни в нем, ни в его героях не было двойственности..." Все это требует больших оговорок. Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно "стихийно", "непосредственно", "по нутру" — тут ему и впрямь всякое море было по колено, все трын-трава, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и еще долго будет притчей во языцех. А каким был как писатель?

Нет, "консерваторию" он проходил (это уж другое дело, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, далеко не все шло ему на пользу тут.

Это еще мелочи — то, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких выражений, как "шикарная женщина", "шикарный ресторан", "железный закон борьбы за существование", "его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее будничными, но суровыми нуждами", "стройная, грациозная фигурка Нины, личико которой обрамляли мягкие пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором..." Это еще полбеды,— беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило как будто так: требуется

что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста,— в пять минут сделаю и, если нужно, не побрезгую писать чуть не вроде того, что "заходящее солнце косыми лучами освещало вершины дерев..."; надо написать рассказ для "Русского богатства"? и за этим дело не постоит,— вот вам "Молох".

— Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности...

Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью — вплоть до ритма двух этих предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все как надо и дальше — есть все, что требуется по образцам данного времени и все, что полагается для рассказа о Молохе: "нежная, почти женственная натура" болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходил на своей страдальческой службе капитализму до морфинизма, архиакула капитализма Квашин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту "стройную, грациозную" Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода...

Я всегда помнил те многие замечательные достоинства, с которыми написаны его "Конокрады", "Болото", "На покое", "Лесная глушь", "Река жизни", "Трус", "Штаб-капитан Рыбников", "Гамбринус", чудесные рассказы о балаклавских рыбаках и даже "Поединок" или начало "Ямы", но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в "Реке жизни", предсмертное письмо застрелившегося в номерах "Сербия" студента: "Не я один погиб от моральной заразы... Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции!" Это ли "литература"? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечитать, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:

— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческий труд кипел здесь, как огромный, сложный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону

борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса... ("Молох")

— Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами... В углу, перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало так скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии...

— Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку...

— В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу...

— К чему эта жизнь? — говорил он (студент) со страстными слезами на глазах.— Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, не в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар? ("Болото").

— Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание... Он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих... ("Лесная глушь").

— Он открывал глаза и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчика на дышле; и по-прежнему расстилались и налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

— Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец — Ирисов, Павел Афиногенович... ("Жидовка").

Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые, обязательно "свешивающиеся с печки" детские головки, этот вечный огрызок сахару, муху, которая "точно повторяла докучную жалобу", чеховского студента из "Болота", тургеневский "странный звук, внезапно пронесшийся по лесу", толстовскую дремоту в санях ("по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы..."), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардаллионович, и опять это самое

что ни на есть чеховское в "Мелюзге",— разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:

— Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши... что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, тепло, свет, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки...

— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу,— говорил учитель фельдшеру.— Я гляжу например на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные — я радуюсь его славе и я совсем не завидую ему. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

В рассказе "Нарцисс" я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бэтси,— да, это уж неизбежно: Бэтси! — и грозовой вечер,— "в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза",— и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с "надвигающейся грозой"... В "Яме" отметил то место, где "огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки", пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: "Такова власть гения!"

Потом я стал читать, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта начинается рассказом "На разъезде". Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была "тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы", и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображенный крайне ядовито: "Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев и на жену смотрел как на благоприобретенную собственность..." Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную "собственность", ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются

друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным, поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: "Навсегда? На всю жизнь?" И молодая женщина "вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди".

Потом я перечитал то, что больше всего забыл: "Одиночество", "Святую любовь", "Ночлег" и военные рассказы: "Ночная смена", "Поход", "Дознание", "Свадьба"... Первые три рассказа опять оказались слабы: и по неубедительности фабул и по исполнению,— написаны под Мопассана и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так "умело"... "У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой... То и дело легкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием... Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека,— на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми..." Но с военных рассказов дело пошло уже иначе, я все чаще стал внутренно воскликать: отлично! Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно "Свадьба", рассказ, не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: "ох, сколько тут Толстого и Чехова!" — рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше,— "Конокрады", "Болото" и так далее,— я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные; тут дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, там заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом... Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествования, его метким и без излишества щедрым языком, очень хорошим, в конечном счете...

Вот еще статья о нем — строки человека, долго и близко его знавшего, известного критика Пильского:

— Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и бесхитростность, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта... Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости, его восхищали времена "железных времен, орлов и великанов"... Он был наивный, прилежный и жестокий...

В этом роде и еще будут немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне "первобытного, звериного", сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам... Во всем этом много правды, и я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным писателем и Куприным человеком,— таким, каким его характеризуют почти все,— будто никак не проявлялся человек в писателе: конечно, все-таки проявлялся, и чем дальше, тем все больше.

"Теплая доброта Куприна ко всему живущему" или, как говорит другой критик: "купринское благословение всему миру"... И в этом есть правда. Однако, надо помнить, что эти слова больше всего приложимы только к последней поре жизни и творчества Куприна.

10.IX.1938.
Приморские Альпы.

ПАМЯТИ П.А.НИЛУСА

Нынче, 23 мая, третья годовщина со дня кончины моего многолетнего друга художника Петра Александровича Нилуса, и мне хочется напомнить об этом богато одаренном и прекрасном человеке.

Он родился 29 июня 1869 года в Подольской губернии, рос в Одессе, учился, кончив реальное училище, в Одесской рисовальной школе, где был учеником известного художника Костанди, в Петербурге, поступив в Академию художеств, работал в мастерской Репина, в конце восьмидесятых годов вернулся в Одессу и начал работать самостоятельно. В 1890 году он уже был участником первой выставки Южнорусских художников, а затем и выставки передвижников, членом которых оставался после того многие годы. С тех пор он стал совершать с художественными целями частые поездки в Париж, посещал Германию, Австрию, Италию, выставлял свои картины в Мюнхене, в Вене, в Риме... Покинув в 1919 году Россию, он жил в

Болгарии и в Австрии, устраивая свои выставки в Софии, Белграде, Загребе и Вене, в 1923 году окончательно переселился в Париж, много выставлял и здесь, неизменно встречаемый большими похвалами наиболее видных французских художественных критиков, ценивших его как первоклассного колориста и художника-поэта: начав в молодости с реалистического жанра, П.А. все более и более тяготел впоследствии к романтике пейзажа и персонажей начала и средины прошлого века: в Париже он работал особенно много, достиг полного расцвета и разнообразия своего дарования.

Наследие оставил он большое: помимо того, что еще можно видеть в его парижской мастерской, картины его находятся во многих и многих русских и европейских музеях и частных собраниях: в Одессе, в московской Третьяковской галерее, в бывшем музее Александра III и в музее Академии художеств, в Париже, Страсбурге, Гренобле, Лондоне, Нью-Йорке, Загребе, Белграде, Софии...

Был он и талантливым беллетристом,— повесть его "На берегу моря", напечатанная в 1906 году в альманахе "Шиповник", затем книга рассказов, изданная "Книгоиздательством писателей в Москве", имели крупный успех; был тонким знатоком музыки, обладал чуть ли не абсолютным слухом; пленял всех знавших его добротой, благородством, вечной молодостью сердца...

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый господин редактор,

Позвольте выразить в ближайшем номере вашей газеты мое недоумение по поводу интервью со мной, напечатанного в "Советском патриоте" от 28 июня. Я твердо и при свидетелях заявил г. В.Курилову, что даю ему право опубликовать только одну мою фразу, выражающую только одно — мою скромную мысль о значительности для русской эмиграции Указа 14 июня. Несмотря на это, в "Сов<етском> патр<иоте>" напечатано было нечто совершенно другое: описание моего то, якобы, "скорбного", то якобы "взволнованного" лица и ряд восторженных и ответственных фраз, которых я и не думал произносить,— вплоть до заключительной фразы всего этого интервью, резко исказившего выдуманными за меня словами даже тот частный и краткий разговор, на который я был вызван моим собеседником.

С почтением Ив. Бунин

30 июня 1946 г.

"ПАНОРАМА"

Слава Модеста Гофмана, уже давно пекущего, как блины, всякие русские истории для французов, соблазнила Ивана Тхоржевского, доныне нам известного только в качестве многолетнего сотрудника газеты "Возрождение" по части плохих переводов разных иностранных поэтов: теперь перед нами целых два тома его прозаического труда: "Иван Тхоржевский. Русская литература. Издательство "Возрождение". Париж. 1946".

Это "общая панорама" русской литературы, по заявлению самого Тхоржевского: "Русская литература,— категорически говорит он, будучи вообще весьма категоричен,— лучшее, что было создано до сих пор русским народом. А между тем ее жизнь все еще не развернута одной общей панорамой. Не сделан — а нужен! — критический пересмотр: что же из старого еще живо в русской литературе? и чему из нового суждено жить?" Речь, как видит читатель, идет о деле весьма серьезном и печальном. И вот Тхоржевский решил спасти положение, длившееся до него спокон веку без "одной общей панорамы", без "критического пересмотра". Труд и ответственность предстояли ему громадные, прав развернуть "одну общую панораму" того "лучшего, что было создано русским народом" за все века его существования, дать "критический пересмотр" этого "лучшего" и решить наконец: "Что же из старого еще живо и чему из нового суждено жить?" — прав на все это у Тхоржевского, мне кажется, не было и нет. Но вот он все-таки "развернул", "пересмотрел" — и "решил". Он размахнулся необыкновенно широко, пересмотрел русскую литературу от самых древних истоков ее вплоть до самых последних наших дней, а руководствовался в своем труде следующей мыслью своей, высказанной в предисловии к "Русской литературе".

"Долго живет и оставляет глубокую зарубку в читательской памяти только то, что было раньше отточено,— как топор,— жизнью".

Что можно подумать о способностях и притязаниях Тхоржевского даже после одной этой смехотворной фразы? Все же считаю долгом предостеречь читателей от его "Русской литературы". Худо то, что некоторые и даже немалые способности у него все же есть и что не всякий сразу разберется в их качестве и вообще в ценности его панорамы. Читатели могут быть удивлены, во-первых, его трудоспособностью и начитанностью, ибо, повторяю, чего и кого только нет в его двух увесистых

томах (от царя Гороха до советского драматурга Афиногенова), чуть не целая тысяча поэтов и прозаиков русских то проходит, то мелькает в его панораме! Могут быть, во-вторых, поражены читатели той бойкостью, смелостью, дерзостью, самоуверенностью, с которыми Тхоржевский, не хуже завзятого раешника, все проходящее в этой панораме с редкой решительностью судит, рядит, определяет, "отточено ли оно,— как топор,— жизнью" или нет. Есть, кроме того, в его "Русской литературе" весьма немало верного, правильного: почти все верно, правильно там, где дело идет об общеизвестном, о том, что можно найти в любом учебнике и что может внушить малоопытным читателям даже почтение к Тхоржевскому, не даст им заметить, что и тут он зачастую несет совершенную околесицу, говорит вздор и вульгарности: "Протопоп Аввакум пролетел *как беззаконная комета в кругу расчисленных светил";* "Кантемир играл на глухом и дрянном инструменте"; "Котошихин был как человек дрянцо"; "у Жуковского и у его подражателя Тургенева было непременное желание нравиться и отсутствие своего слога"; "Каролина Павлова и ее муж были тогдашние Мережковские"; "Пушкин только краешком копыт "Медного всадника" коснулся символизма"; "Герцен — русский Вольтер, читать этого русского Вольтера хорошо в вольтеровском кресле"; "Петербург вбил новые клинья в душу Некрасова"; "Аполлон Григорьев — русский Ипполит Тэн",— да, не более, не менее, как Тэн, который, вероятно, тоже мог бы сочинить, как Аполлон Григорьев это сделал, песенку "Две гитары за стеной жалобно заныли"; "Тургенев на три четверти фарфоровый, непрочное изящество, хрупкость и старомодность... тургеневское творчество временами похоже на толкучий рынок призраков... за тургеневской культурностью крылась зияющая пустота..." и т.д. и т.д.

Таков Тхоржевский, когда он судит и рядит даже о классической русской литературе. А насколько он смел и развязен, как "критически пересматривает", категорически характеризует, венчает и развенчивает, казнит и милует писателей прочих, вчерашних и нынешних, как вообще он их разделывает под тот или и иной орех, некоторых не удостаивает даже упоминания (Г.Иванова, Газданова, Зурова, Ладинского) и на многих просто сочиняет чепуху,— во всем этом он и меры не знает. Вот, например, я: чего только не наплел он на трех страничках о литературном труде всей моей жизни, сколько наболтал о нем пошлостей и совершенно глупых, грубо противоречивых и почему-то злобных выдумок:

"Бунин часто признавался в неистребимом желании своем как писателя остановить солнце. Движение ему несносно: ветер жизни его раздражает. Покой и солнце! Он классик, академик...!"

Что за чушь? Где, когда я "часто признавался" в столь идиотском желании "как писателя"? Я "классик, академик", но почему же этот господин включил меня в отдел своей "Русской литературы", озаглавленный: "Художники-импрессионисты"? Он откуда-то взял, будто меня "сближали с почвенником Гончаровым, творчество которого напоминает остановившиеся часы". Но как же связать с этой галиматьей о творчестве, подобном остановившимся часам, следующую тираду Тхоржевского: "Стиль чеховского "В овраге" воспринят Буниным *со всей страстностью* бунинского темперамента"? Куда же девались мои "покой и солнце"? И далее: "Стиль Бунина — золотая сухость..." А где же стиль чеховского "В овраге"? И еще далее: "Людьми Бунин мало интересуется, чувствует себя среди них золотым фазаном на бедном птичьем дворе... Он скуп, недоверчив, мрачен к людям... Родился и умрет пейзажистом, *самого себя вложил в пейзаж*... Оторвите его повествование от пейзажа — *ничего не останется*..." Старый "Господин из Сан-Франциско", лет сорок тому назад, когда весьма многие носили цилиндры, надел, *сходя* с парохода, цилиндр — Тхоржевский и тут зачем-то передергивает: "В "Господине из Сан-Франциско" есть промахи: на палубе парохода люди в цилиндре"...

Затем — вот Алданов, Тэффи:

"Время работало против эмигрантов... Всякий свежий номер из газеты их ранил... И писатели укрывались от жизни, каждый по-своему... Так возникли исторические романы Алданова... "Боги жаждут" А.Франса — вот его образец... *А закончил он свой исторический цикл прыжком прямо на Св. Елену*... Другие пытались лечиться юмором: так возникли юмористические рассказы Тэффи..." И Тхоржевский, сделав вид для красного словца (он вообще очень "покраснел" теперь), будто он не знает, что Тэффи много лет писала юмористические рассказы и до эмиграции, так кончает свой "критический пересмотр" ее творчества: "Не роман — область Тэффи. Ее сила и ее доля ("бабья доля — доля злая") — мир художественных мелочей и газетного фельетона..."

При чем тут "бабья доля — злая доля", непостижимо. Хлестаков опять и опять зарапортовался.

ПИСЬМО <В РЕДАКЦИЮ>

Многоуважаемый господин редактор,

В Вашей газете от 21 сентября напечатана статья В.Крымова "Литературные курьезы". Это довольно большой список кое-каких "курьезов", замеченных Крымовым в произведениях Толстого, Гоголя, Чехова, Куприна и некоторых других писателей,— "курьезов", напр<имер>, таких: Толстой написал в одном месте, что на войне кн<язь> Андрей носил на груди серебряный образок, а в другом — что золотой; в рассказе Куприна "Жаннетта" профессор Симонов покупает для своего кота печенку, дает ее дома коту и кот "ест грудинку"; у Чехова в "Степи" и в "Вишневом саду" издалека слышен звук оборвавшейся в шахте бадьи, меж тем как, по мнению Крымова, "такого отдаленного звука вообще быть не может"...

Нашел Крымов "курьезы" и в моем "Господине из Сан-Франциско". И вот тут потрудился он уж совсем напрасно — приписал мне "курьезы" опрометчиво: говорит, что на том пароходе, в трюме которого везли гроб господина из Сан-Франциско, не могло быть мраморных ванн, как сказано у меня,— что на всех пароходах ванны бывают будто бы только чугунные эмалированные; не могло быть и стен, отделанных м р а м о р о м, и хрустальных люстр в двухсветной зале этого парохода, ибо мрамор от качки осыпался бы, а люстры звенели бы хрусталем; но ужели он не знает, что бывают и такие хрустальные люстры, которые не звенят ни в каком случае, ужели не мог понять, что я писал о стенах, отделанных не мрамором, а *под* мрамор? "От сильного куренья лица бледнеют", говорит он далее, опровергая мою фразу о пассажирах, которые в курительной комнате на пароходе пили ликеры и "до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами"; могу уверить его, что здоровые люди бледнеют от хмеля и куренья только тогда, когда они близки к дурноте или удару. А еще далее он пишет так:

"Когда подъезжают к Неаполю, дует трамонтана, а господин из С<ан>-Франциско стоит на палубе в цилиндре: несколько раз объехавши вокруг света, я ни разу не видал кого-либо на палубе да еще при сильном ветре в цилиндре".

Советую писателю и кругосветному путешественнику Крымову не писать, как пишут некоторые дамы: "Корабль наш въехал в гавань..."

В морском языке нет слова "ехать". Корабли не *едут*,— на чем, на ком они могут ехать? — и не "подъезжают", а *подходят*

к гавани, *входят* в гавани. Это во-первых. А во-вторых, господин из С<ан>-Франциско, очень пожилой и старомодный человек, надел цилиндр, *уже сходя с парохода, в гавани Неаполя, где никакая трамонтана уже не дула и не могла дуть*: ужели Крымов, такой знаток всего на свете, не знает, какая она, эта гавань?

Под конец он делает такую выписку из моего рассказа:

"В *шикарном* отеле к одиннадцати часам вечера по всем номерам горничные разносили каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков..."

Спрашивается: во-первых, какое имел право Крымов вставить в моей текст пошлое слово,— "шикарный",— которое я не раз встречал в его собственных произведениях и которого нет и не может быть ни в одном из моих? — и, во-вторых, что тут "курьезного", невероятного? Но вот подите же! Он довольно развязно сравнивает меня с каким-то своим "приятелем": "Это напоминает сцену из романа английского писателя Паншона, моего приятеля, где он, описывая жизнь богатой русской усадьбы, рассказывает, что утром в богатом помещичьем доме многочисленным гостям каждому в комнату несли большой кипящий самовар, а что в тюрьме Чеки на Лубянке арестованным разрешили обвенчаться и для этого пригласили священника с хором... Паншон обиделся на меня, когда я указал ему на эти курьезы, но обещал не писать больше романов из русской жизни".

Убийственно остроумный человек "приятель" Паншона; но не писать больше рассказов о пароходах и отелях я ему все-таки не обещаю.

Иван Бунин

Париж. 17.X.47.

ПИСЬМО <В РЕДАКЦИЮ>

Многоуважаемый господин редактор!

Сделайте одолжение напечатать в "Новом русском слове" нижеследующие строки.

Осенью прошлого года парижский Союз писателей, который когда-то избрал меня своим почетным членом, исключил из своей среды лиц, взявших советские паспорта. В знак протеста против этого исключения, большинство других членов Союза, оставшихся эмигрантами, опубликовало в печати заявление о своем выходе из него, предварительно прислав ко мне своего

представителя с предложением присоединиться к его заявлению, но я от этого отказался, считая неестественным присутствие советских подданных в эмигрантском Союзе. Недели через две после того я тоже покинул Союз, но единолично и, как явствует из предыдущего, не потому, что тоже решил протестовать, а в силу того, что мне не хотелось оставаться почетным членом Союза, превратившегося в союз кучки сотрудников парижской газеты "Русская мысль", некоторые из коих были к тому же в свое время большими поклонниками Гитлера. Естественно было поэтому сугубое раздражение против меня, как человека с именем, со стороны этой кучки, тотчас пустившей слух, будто я своим выходом из Союза хотел *"поддержать советских подданных"*, поневоле покинувших Союз, а иные, во главе с Б.К.Зайцевым, председательствующим в Союзе и принимающим ближайшее участие в "Русской мысли" послали сообщение такого рода даже в Нью-Йорк, в "Новый журнал". Но этим дело еще не кончилось. Вскоре после моего вечера 23 октября этого года, когда я прочел свои "Автобиографические заметки", свои воспоминания о том ужасном "новом", что я встретил в литературной среде при своем вступлении в нее и кончил свое чтение эпохой Маяковского, величайшего хулигана русской литературы, "Русская мысль" напечатала анонимный "Маленький фельетон", посвященный моему вечеру,— нечто беспримерное по всяческой низости и пошлости, где уже прямо было сказано, что я *"недавно совершил сальто-мортале, перескочил в большевистский лагерь"*. Статейка эта была встречена большим негодованием со стороны многих, прочитавших ее, и тогда уж сам редактор "Русской мысли" В.Лазаревский напечатал статейку под заглавием "Буря негодования" (взяв эти слова в иронические кавычки), в которой подтвердил ложь насчет моего "сальто-мортале". Но и этого оказалось мало "Русской мысли": — 8 декабря, она опять солгала, будто я "перекочевал" к большевикам,— на этот раз за подписью Сергея Яблоновского: он наконец признался, что автор "Маленького фельетона" — он, и пытается защитить его, утверждает, что он написал на меня не пасквиль, а "памфлет". Помимо лжи о моем большевизме он повторяет и другую ложь,— ту, что была и в его "памфлете" и в статейке Лазаревского: будто я только тем и занимаюсь всю жизнь, что горжусь собой, а всех прочих писателей, всех поголовно, порочу самыми последними словами. Но, проговаривается он, это еще туда сюда: "Еще важнее — самое важное — выход Бунина из Союза русских писателей", опрометчиво признается он.

Ив.Бунин

<РЕЧЬ О ПУШКИНЕ>

Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоценная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства. А что сталось с ней самой, Россией Пушкина,— и опять-таки при ее попустительстве,— ведомо всему миру. И потому были бы мы лжецами, лицемерами — и более того: были бы недостойны произносить в эти дни Его бессмертное имя, если бы не было в наших сердцах и великой скорби о нашей общей с Ним родине.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!

Как же умалчивать, памятуя Его, что уже не только нет града Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поколеблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы Адовы.

21 июня 1949 г.

"МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ"

В моих "Воспоминаниях" рассказано, как мы с женой навсегда покинули Россию в феврале 1920 года из Одессы, занятой большевиками, как из Константинополя попали в Софию и как до нитки обкрадены были в той софийской гостинице, куда французы, тогдашние оккупанты Болгарии, помещали русских беженцев. Рассказано и то, что болгарское правительство помогло нам доехать до Белграда, предоставив в наше полное и единоличное распоряжение отдельный вагон третьего класса, очень, конечно, потрепанный, с некоторыми разбитыми стеклами окон, забитых дранками, но с голыми дощатыми скамьями и потому наиболее безопасный от тифозных вшей: иначе мы ехали бы до Белграда, при тогдашних железнодорожных послевоенных безобразиях, еще и в несметной толпе прочих русских беженцев, в условиях поистине ужасных, для нас просто непосильных. Все это рассказано мною. Но не рассказано то, что случилось с нами однажды ночью, когда наш поезд тащился уже по Сербии. Случилось же то, что этой ночью в наш вагон, где мы занимали только одно отдельное купе, а все

прочие места позволили в пути занять нескольким сербам, явилась дама при весьма молодцеватом кавалере в форме русского "земгусара", во френче, в галифе и крагах, с подстриженными ежиком усами, с ременным хлыстом в руке. Время было уже довольно позднее, я уже разделся и лег, постелив на дощатую скамью пальто, как вдруг раздался крепкий стук в дверь, а затем властный мужской голос:

— Отворите!

— Кто там? — спрашиваю я. Но в ответ еще более властное:

— Вам говорят,— отворите!

Бессознательно накидываю на себя пальто, отворяю и вижу эту даму и кавалера:

— В чем дело?

Дама быстро и строго отвечает вопросом:

— Вы академик Бунин?

— Да. А что?

— Ваши бумаги!

— Какие бумаги?

— Ваши паспорта и все, все другие, какие у вас есть!

— Но позвольте узнать, зачем они вам и кто вы такая?

Кавалер хлопает себя по голенищу хлыстом и внушительно, с мутными глазами, устремленными на меня, цедит сквозь зубы:

— Так с дамами не разговаривают.

— А вы кто такой? Насколько понимаю, вы оба русские, но, очевидно, служите в сербской железнодорожной полиции? Покажите в таком случае ордер на ваши допросы и требования.

И тут дама наливается кровью и поспешно, запальчиво кричит:

— Мы нигде не служим, но, именно как русские, требуем немедленно объяснить нам, по какому праву вы едете в отдельном вагоне? Я председательница русского женского клуба в городе Нише, к которому мы сейчас подъезжаем, и я не позволю вам ехать по-царски, в то время, как прочие русские беженцы...

Сдерживая себя, я перебиваю ее:

— Но вспомните, сударыня, что ваше звание еще не дает вам права позволять или не позволять мне ехать по-царски: вагон болгарский, территория сербская, и я не ваш подданный. Кроме того, вагон этот предоставлен болгарским правительством в мое распоряжение с тем условием, что я возвращу его из Белграда в целости и сохранности. Я пустил вот этих сербов уже в пути, в Сербии, только потому, что они не завладеют

вагоном, не приведут его в совершенно безобразный вид, меж тем как русские беженцы...

— Так с дамами не разговаривают! — уже совсем грозно возвышает голос "земгусар".

Я опять не обращаю внимания на этого щеголя и уже довольно бешено хочу крикнуть даме, чтобы она убиралась к черту, как она опережает меня своим криком:

— Я завтра же телеграфирую сербскому королю! Я не позволю... Мы не позволим...

И тогда я сразу обрываю эту нелепую сцену: со всего размаха хлопаю перед самым носом дамы дверью и запираю ее на ключ. Кавалер начинает колотить в нее, но тут поднимают крик сербы — и через минуту и он, и дама исчезают...

Целых 30 лет прошло с тех пор. Однако я очень живо вспомнил эту сцену, прочитав статейку доселе неизвестного мне Георгия Александрова, напечатавшего ее 27 октября в "Новом русском слове" в восхваление Есенина как поэта и человека и в защиту его от моих суждений о нем в моих "Воспоминаниях". Статейка эта написана Александровым с употреблением слова "мы" и, значит, не только от его имени, но и от имени каких-то его единомышленников, и кончается так:

"Мы ни там, на родине, ни здесь, за рубежом, не позволим никому порочить память Есенина".

Как видите, опять: "Мы не позволим!" И это по запальчивости и необдуманности хуже даже криков председательницы русского женского клуба в Нише. И весьма любопытно было бы узнать, каким способом г. Александров и его друзья не позволят порочить есенинскую "светлую память", как он выражается в другом месте, не только "там, на родине", но и "здесь, за рубежом"?

Дама из Ниша могла, по крайней мере, утешать себя тем, что она где-то председательствует и может напугать меня телеграммой сербскому королю. Но где председательствует г. Александров и чем может напугать он кого-то "там, на родине", а *меня* "здесь, за рубежом"?

Статейку свою ("Памяти Есенина") г. Александров написал, во-первых, потому, что в нынешнему году, в декабре, исполнилось 25 лет "со дня трагической гибели замечательного русского поэта, задохнувшегося в безвоздушном пространстве, именуемом СССР", а во-вторых, по той ужасной причине, что "маститый писатель И.А.Бунин в своей книге "Воспоминаний" посвятил Есенину строки, которые оскорбительно и больно

отозвались в сердце каждого из новых эмигрантов, унесших с собой с родины среди самых дорогих воспоминаний память о безвременно погибшем поэте, которого читала и пела вся подъяремная и закабаленная советская Русь...”

Насколько замечателен Есенин как поэт, мне спорить с Александровым не стоит: у нас с ним вкусы, конечно, очень разные — уже хотя бы по одному тому, что я занимаюсь литературой лет 60, и довольно серьезно, а Александров, насколько понимаю, еще новичок в ней. И то, что вся “советская Русь” читала и пела Есенина, для меня еще не доказательство его поэтической ценности. Вот, например, одно из стихотворений Есенина, доказывающих его будто бы пламенную и трагическую любовь к деревне:

Мир таинственный, мир древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменистые руки шоссе.
Как испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть!

Ну, как тут поладить мне с Александровым? “Мир, как ветер, затих и присел... Как испуганно в снежную выбель заметалась звенящая жуть...” Я всего этого просто не понимаю, и то, что “вся советская Русь” распевает такие стихи,— а таких у Есенина великое множество,— еще не доказательство моей преступности перед Есениным. Да и мало ли что пели когда-то в России и задолго до большевиков и при них: вся мещанская Россия чуть не со слезами пела многие годы “Чудный месяц плывет над рекою”, вся “передовая”, левая — “Есть на Волге утес”,— стихотворение одно из самых глупых во всей мировой поэзии:

Есть на Волге утес, диким мохом оброс
От вершины до самого края
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная...

Бесспорно, утес этот совершенно замечателен: стоит себе сотни лет, только мохом одет, ни нужды, ни заботы не зная, хотя, кажется, вообще не полагается утесам знать нужду и заботу. На нем, кроме того, думал свои гениальные думы сам Стенька Разин, и он, утес, мог передать эти думы тому “смельчаку”, который отважился бы влезть на него ночью. Однако, поэтические достоинства стихов про этот утес столь же не велики, как и стихов “Из-за острова на стрежень” и “Солнце

всходит и заходит", тоже петых "всей" Россией. Сходила с ума когда-то "вся" Россия и от Надсона, Бальмонта... А что сталось с ними теперь? Есенин был от природы талантлив. А Бальмонт разве нет? Даже несравнимо с Есениным.

Память, которую оставил по себе Есенин как человек, далеко не светла. И то, что есть теперь люди, которые называют ее светлой, великий позор нашего времени. Даже нигилисты, даже самые отпетые разночинцы шестидесятых — семидесятых годов просто поражены были слухом, будто Некрасов нечисто играет в карты. А теперь нет даже самых подлых, самых бесчисленных низостей, самой бесстыдной лжи, которая не прощалась бы писателю. И вот взять хоть ложь: когда-то Есенин, отбывая повинность в первую мировую войну, пустил слух, что он попал в дисциплинарный батальон — и за что же? — за то, что будто бы "отказался написать стихи в честь царя"! Кто-то требовал написать, а он, видите ли, отказался и пострадал! Он вообще не стеснялся во лжи, в актерстве на каждом шагу, всячески — то воспевая Ленина, слава которого "шумит, как ветр, по краю", и новую (ленинскую) эру, которая, по словам Есенина, была "не фунт изюма вам", то рыдая через некоторое время после того, что его деревенский мир "затих и присел, и в снежную выбель испуганно заметалась звенящая жуть". И все эти штучки неизменно служили к пущей его славе. В роли же скандалиста, хулигана, пьяницы,— допившегося до белой горячки, в которой он и повесился,— в роли пролазы всюду, куда только возможно, в роли циника, путешествовавшего по Европе и Америке с весьма уже не юной Дункан и бившего ее смертным боем в каждом отеле Европы и Америки,— в этой роли ему поистине не было равного. А вот Александров в своей статейке утверждает, что поведение Лермонтова в петербургском свете и на Кавказе было ничуть не лучше поведения Есенина. И что на это скажешь? Тут надо уже просто кричать "караул!"

Под конец вынужден я отметить уже совершенно непростительную дерзость Александрова относительно русской миллионной эмиграции, относительно этого великого и страшного исторического события:

"Мы не знаем,— говорит он,— чем жило и дышало старшее поколение наших соотечественников за рубежом, вдали от родины, среди чужих людей. Может быть, для них, законсервированных в скорлупе приятных дореволюционных воспоминаний, продолжавших тридцать лет воспевать уютную жизнь дворянских усадеб, Есенин был только пьяница..."

Он, видите ли, не знает, что после того, как десятки тысяч русских людей сложили свои головы в "Ледяных" и прочих походах, сотни тысяч уцелевших тридцать лет добывали себе кусок хлеба самым тяжким черным трудом в Болгарии, Сербии, Чехии, во Франции! Он даже сотням тысяч крестьян-эмигрантов приписывает мечты о дворянских усадьбах!

И вот еще что: он пугает нас, "законсервированных в скорлупе", еще тем, что русский язык за эти годы очень изменился и может случиться так, что "произведения многих наших старых, когда-то пользовавшихся заслуженной известностью писателей, не заинтересуют современного нового читателя ни своей тематикой, ни классическим устаревшим слогом, ни кругом идей, совершенно чуждых новому поколению..."

Ну можно ли так, без конца договариваться до чертиков! Александров в восторге от того, как великолепно изменился русский язык "там, на родине" за последние тридцать лет, как блистает теперь "советская" литература новым слогом, новой тематикой, новыми идеями. Но как же после этого верить Александрову, что Есенин повесился в "безвоздушном пространстве, именуемом СССР"? Ведь там, оказывается, бесконечно многое стало так ново и чудесно! Вплоть до "круга" каких-то "идей", перед которыми, на взгляд тамошнего "нового поколения", наши идеи — старье, убожество!

МИЛЫЕ ВЫДУМКИ

Года три или четыре тому назад, в какой-то русской газете,— не помню точно ее название,— издававшейся, кажется, в Сан-Франциско, какой-то Окулич сообщил, что я, вскоре после мировой войны с Гитлером, летал в Москву и принимал какое-то участие в расстреле генерала Краснова. А узнал я о существовании этого Окулича, ныне, кажется, уже умершего, и о его удивительном сообщении благодаря ныне благополучно здравствующему американскому профессору Глебу Струве: кто-то прислал мне вырезку из той же газеты,— "Письмо в редакцию" ее,— в каковом письме этот самый почтенный профессор сделал некоторое возражение Окуличу: написал, что, насколько ему, Глебу Струве, известно, "уважаемый Окулич" (так буквально выразился Глеб Струве) ошибается: Бунин в Москву не летал, но что от Бунина, судя вообще по его поведению в отношении к большевикам, всего можно ожидать. В чем именно это мое поведение выражалось, Глеб Струве не сказал и

глаза Глеба Струве ничуть не лопнули от стыда после его "Письма в редакцию" по адресу "уважаемого Окулича".

Не менее милую выдумку прочел я на днях и в одном парижском журнале: в четырнадцатой "Тетради" издательства "Возрождение". "Тетради" эти редактирует С.П.Мельгунов и вот появилась в последней из них статейка о книге моих "Воспоминаний", подписанная девичьей фамилией его жены,— П.Степанова,— и начинающаяся так:

"Они (эти "Воспоминания") написаны, конечно, с большим мастерством и читаются с огромным интересом".

Начало хоть куда. И даже скреплено словом "конечно". Но, увы, продолжение сделало бы честь Окуличу и Глебу Струве: в нем есть сообщение, что я "вхож" в советское посольство в Париже. Что значит "вхож"? Значит, что я "свой человек" там. Но ведь это чудо из чудес! В книге моих "Воспоминаний" напечатано такое количество и такое качество строк и целых страниц, посвященных большевикам, что они посадили бы меня на кол, будь я в их руках. В большой просак попала госпожа П.Степанова, благодаря той на редкость злобной запальчивости, с которой (совершенно непостижимо, почему и зачем?) ей взбрело в голову кинуться на меня: не только в пух и прах разнести мои литературные воспоминания, оклеветать их,— я будто бы ни единого доброго слова не сказал ни об одном из писателей, современных мне,— я, который с такой сердечностью и даже с восторгом помянул Гаршина, Короленко, Чехова, Эртеля, Куприна (времени расцвета его таланта),— но и унизиться до позорной выдумки политической.

ПИСЬМО ГЕОРГА БРАНДЕСА

Вскоре после выхода в свет моей книги "Митина любовь" в середине двадцатых годов я имел высокую честь получить от знаменитого датского критика Георга Брандеса следующее письмо:

"Дорогой собрат, Вы любезно прислали мне Вашу "Митину любовь". Я уже ознакомился с этой книгой в немецком издании, теперь перечел ее по-французски и очень ею взволнован. Меня поражает в ней тонкость анализа любви, и я считаю себя обязанным выразить Вам свое восхищение. Вы в нем не нуждаетесь, но я не могу этого не сделать.

Русская Академия пригласила меня на празднества, связанные с ее двухсотлетним юбилеем. Быть может, я имел бы удовольствие Вас там встретить. Но я не мог принять это

приглашение. Различные действия Вашего правительства, не соответствующие моим политическим убеждениям, побудили меня уклониться от поездки на эти празднества".

Не помню точно, как именно ответил я на это письмо с его трогательным недоразумением. Но, конечно, известил Брандеса, что и моим политическим убеждениям весьма мало соответствуют "различные действия" правительства Ленина, что я нахожусь во Франции и пробуду в ней до тех пор, "пока Бог переменит орду", как говорили в старину.

Париж,
14 марта 1953 г.

К МОИМ "ВОСПОМИНАНИЯМ"

В 1905 году, в конце сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и "мамашей", Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня: все вокруг,— и в саду, и в доме, и в его кабинете,— было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставить в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности: часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: "Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!". Да и мне самому трудно было покинуть этот уже ставший чуть ни родным для меня дом,— а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него,— этот кабинет, где уж особенно *все* оставалось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня,— я бы строки не мог написать среди них,— его узкая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда читал что-нибудь, лежало "Воскресенье" Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной, и, возвращаясь от него, каждый раз говорил мне, тоже жившему тогда в Ялте, с величайшим изумлением:

— Знаете, это какое-то чудо, нечто невероятное! Лежит в постели старик, телесно едва живой, краше в гроб кладут, а умственно не только гениальный, а сверхгениальный!

Эта печальная и однообразная жизнь моя в доме Чехова в 1905 году была однажды внезапно нарушена криком в телефон одной ялтинской дамы, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились все железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец... Я тотчас побежал в город: какие-то жуткие сумерки, везде кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что кричала нам в телефон ялтинская дама... На другой день стало известно уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят, в Ялте не получаются ни письма, ни газеты, почта и телеграф закрыты... Меня охватил просто ужас при мысли застрять в Ялте. Побежал на пристань — слава Богу, завтра идет пароход в Одессу! Решил этим путем доехать до Москвы.

Утром 18 октября проснулся от волнения в пять часов, до отчаяния грустно простился с Марьей Павловной и с Евгенией Яковлевной, в 8 уехал на пристань. Шла "Ксения". На душе была тяжесть, тревога, погода хмурилась. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот, и на душе стало немного легче, спокойнее. В Севастополе тотчас сбежал с парохода в город. Купил "Крымский вестник", с жадностью стал читать возле памятника Нахимову — и вдруг слышу голос стоявшего рядом со мной бородатого жандарма: говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест о даровании свободы слова, союзов и вообще "всех свобод". Взволновался до дрожи рук, поехал в редакцию "Крымского вестника". Там прочел наконец манифест. Чувство великого и, может быть, страшного события! Ночью на пароходе, на пути в Одессу, долго стоял с вахтенным матросом на носу: настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая, говорит ровно, не повышая голоса, глядя на темную равнину бегущего навстречу моря...

Почти полвека прошло с тех пор! Но вот недавно опять вспомнил я слова Чехова об умственных способностях Толстого, лежавшего почти при смерти на даче Паниной в Крыму, а вслед за этим то, как решительно и кратко определил ум Толстого Максим Горький:

— *"Ум небольшой, но беспокойный".*

Столь же кратко и решительно определил он и разницу между Толстым и самим собой:

— Толстой сказал моему другу Владимиру Поссе, что из всех моих произведений он одобрил только "Ярмарку в Голтве". И, разумеется, сие как нельзя более понятно: он же, этот Толстой, прозаик, а я — романтик!

Можно ли однако судить строго Горького за такие слова? Ведь как сказочно и балаганно знаменит он был с самого начала своего литературного поприща и до своих последних дней! Вот он однажды читал Сталину, Ворошилову и Молотову свою сказку в стихах "Девушка и Смерть". И Сталин собственноручно надписал на печатном тексте его сказки:

— "Эта штука сильнее, чем "Фауст" Гете".

Как ни гениален был Сталин, нельзя было бы поверить этой надписи, но вот передо мною лежит большая брошюра под заглавием "Жизнь и творчество Горького", издание какого-то "Детгиза", и в ней эта надпись сфотографирована.

Не очень высокого мнения о Толстом был и Леонид Андреев. Я однажды, в Москве, в ту пору, когда звезда Андреева стояла особенно высоко, зашел к доктору Доброву, свояку Андреева, и увидел и услышал следующее: доктор сидит и курит на диване, а коротконогий Андреев, в поддевочке и в сапожках, ходит по кабинету тоже с папироской в руке и, глядя в пол, энергично протестует:

— Нет, Филипп, ты все-таки не прав. Ты ставишь меня выше Толстого. Очень приятно слышать. Но ты уж слишком унижаешь его. Вспомни хотя бы то, с какой силой бичевал он пошлость!

Эта речь сделала бы честь сумасшедшему или идиоту. Но Андреев не был ни сумасшедшим, ни идиотом. Он только слишком ошеломлен был своей славой после дикого успеха его смехотворно трагической "Бездны", патологически отвратительного "Василия Фивейского", "Красного смеха", "Царя Голода", где смерть, притоптывая, ест бутерброд, но порою, когда ему не нужно было играть роль великого и мрачнейшего в мире писателя или во хмелю, среди приятелей, бывал прост, мил, шутлив: до сих пор вспоминаю с улыбкой, как зимой 1913 года он приехал на Капри, остановился в том же отеле, где жили мы, вошел в мою комнату солнечным ранним утром, держа в руке стакан с умывальника (с надписью Odol), полный белым вином, и вдруг весь отшатнулся, безумно глядя на меня:

— Что такое? Что с тобой? Ты сбрил свою бородку? Ну, знаешь, это замечательно! С бородой ты козел обыкновенный, а без бороды ты козел необыкновенный!

P.S.

Еще несколько строк в добавление к моим "Воспоминаниям".

В Париже уже довольно давно выходит два раза в неделю газетка "Русская мысль", которую, помимо ее редактора, В.Лазаревского, возглавлял и возглавляет В.Зеелер, бывший известен в свое время в качестве недоброй памяти учредителя "Казачьего банка", а морально — писатель Шмелев, такой горячий поклонник Гитлера, что даже отслужил однажды благодарственный молебен в Париже по случаю захвата Гитлером Севастополя, и писатель Зайцев, великий любитель Италии и автор бесконечного "Путешествия Глеба", пишущий в свободное от этого "Путешествия" время еще и биографии,— то Тургенева, то Жуковского, который, по весьма развязным словам Зайцева, был "*с юности начинен возвышенностями*", а в поездке по России со своим воспитанником, будущим императором Александром Вторым, "*подзакусывал*" с ним на станциях, больше всего "*действуя по пирожкам*", меж тем как будущий император "*налегал на чай*". А все это я клоню к тому, что В.Зеелер выдумал и напечатал в "Русской мысли" с год тому назад нечто довольно удивительное обо мне и о Чехове: я будто бы в самом гнусном виде изобразил когда-то Чехова (будто бы идущего под зонтом и со свечкой в руке в отхожее место) и напечатал эту гнусность в "Современных записках". Я, конечно, ничего подобного никогда не изображал и не печатал, но нелепая ложь Зеелера была и есть вполне законна в том потоке лжи, которой целых три года, при безмолвном соучастии Зайцева, старалась опозорить меня "Русская мысль", начав со лжи о том, будто я совершил "сальто-мортале" к большевикам. А потом клеветать на меня в том же роде усердно принялась госпожа Степанова в "тетрадях" "Возрождения", каковые "тетради" редактирует ее муж, С.П.Мельгунов: она утверждает, что я вел с парижскими большевиками "переговоры" относительно моего возвращения в Москву, не сообщая впрочем, почему я все-таки остался в Париже. "Вероятно, не сошелся в цене с большевиками за это возвращение",— подумает какой-нибудь умный читатель "тетрадей".

В конце концов я уж готов был "*покаяться*" перед Зеелером и Степановой и просить их о "*высшей мере наказания*" для меня, но тут меня спас шестой выпуск новой "советской" энциклопедии, где сказано, что я одержим "совершенно бешеной ненавистью к советскому союзу".

6.5.1953. Париж.

КОММЕНТАРИИ

Данная книга задумывалась как единый свод публицистических выступлений И.Бунина послереволюционного периода. В настоящее издание включены все выявленные на сегодняшний день публицистические тексты, созданные в 1918–1953 гг., в том числе и открытые письма, ответы на анкеты, интервью.

В ходе работы над книгой были просмотрены коллекции периодических изданий Юга России и Русского Зарубежья, хранящиеся в Российской государственной библиотеке, Государственной исторической библиотеке, Научной библиотеке Государственного архива РФ, Библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН. Исследование публицистики предполагает ориентацию не на время создания произведения, а на момент его появления в печати; поэтому тексты воспроизводятся в порядке их публикации. Например, очерк "Андре Шенье" Бунин датировал летом 1919 г., но опубликовал лишь 20 февраля 1926 г. Тексты даются по первой публикации; исключения оговариваются в комментариях. Так, "Речь о Пушкине", произнесенная И.Буниным по случаю 150-летия со дня рождения А.С.Пушкина, помещена в книге по авторской дате 21 июня 1949 г., а не по первой публикации в книге А.Седых "Далекие, близкие" (Нью-Йорк, 1962). Появление повторов определяется тем, что составители стремились сохранить авторскую редакцию каждого текста, показать, как строились публицистические произведения Бунина.

В книгу не вошли статьи И.Бунина "Заметки" (Южное слово. — 1919. — 12(25) сент.); "Третий Толстой" (Новое русское слово. — 1950. — 1, 2, 3 янв. (№ 13764, 13765, 13766)), поскольку соответствующие номера газет отсутствуют в московских книгохранилищах. В том случае, если статья печаталась несколько раз под разными названиями, приводится только первая публикация, а варианты заглавий оговариваются в комментариях. В настоящее издание не включена книга художественной публицистики "Окаянные дни", которая впервые печаталась в парижской газете "Возрождение" в 1925 году: 3, 4, 6, 8, 11 июня (№ 1, 2, 4, 6, 9); 8, 18, 25, 31 июля (№ 36, 46, 53, 59); 3, 12, 15, 29 августа (№ 62, 71, 74, 88); 12, 19 сентября (№ 102, 109); 14, 21 ноября (№ 165, 172); 5, 12 декабря (№ 186, 193) и в 1927 году: 25 марта (№ 661); 2, 16 апреля (№ 669, 683); 14, 21 мая (№ 711, 718); 4, 18 июня (№ 732, 746).

Все даты источников текстов в комментариях даются по новому стилю.

Составители выражают глубокую благодарность тем, кто помогал в работе над данной книгой — А.А.Козловскому (ИМЛИ РАН), А.А.Федюхину (Научная библиотека Государственного архива РФ), сотрудникам Отдела литературы Русского Зарубежья РГБ, Т.Л.Гладковой (Тургеневская библиотека в Париже), Г.Н.Манчуку ("Клуб Бунина" в Санкт-Петербурге).

Комментарии написаны С.Н.Морозовым (с. 470–534), Д.Д.Николаевым (с. 535–581), Е.М.Трубиловой (с. 581–619). Комментарии по истории написания статьи "Несколько слов английскому писателю" (с. 500–503) и к статье "Джером Джером" (с. 567–568) написаны О.А.Казниной. Перевод с французского языка <Обращения к Ромену Роллану> (с. 264–265) выполнен М.А.Брянцевым.

Указатели периодических изданий и имен составлены С.Н.Морозовым.

Список условных сокращений

Бунин–1990 — Бунин И. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи / Сост., подгот. текста, предисл. и коммент. А.К.Бабореко. — М.: Сов. писатель, 1990.

Кузнецова–1967 — Кузнецова Г. Грасский дневник. — Вашингтон, 1967.

Седых–1962 — Седых А. Далекие, близкие. — Нью-Йорк, 1962.

"Устами Буниных" — Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под ред. М.Грин — Франкфурт на Майне: Посев, 1977–1982.

<Интервью сотруднику "Одесского листка"> // Одесский листок. — 1918. — 21 июня (№ 123). — Печатается по: Из творчества И.А.Бунина эпохи гражданской войны / Вступ. ст. и публ. Г.Д.Зленко // Филологические записки. — Воронеж, 1995. — Вып. 4. — С. 22–33. Это интервью Бунин дал вскоре после приезда в Одессу. Газета "Одесский листок" 18 июня 1918 г. (№ 120) сообщала: "вчера <т.е. 17 июня> прибыл в Одессу популярный писатель, академик И.А.Бунин".

С. 21. *Впечатления от нынешней Москвы...* — Бунин с В.Н.Муромцевой жил в Москве в последний раз с 26 октября (8 ноября) 1917 по 23 мая (6 июня) 1918 г. в квартире родителей Веры Николаевны, Муромцевых (Поварская ул., д. 26, кв. 2). См. также коммент. на с. 476. Об этом периоде жизни Бунина см. "Окаянные дни", записи от 1 января–24 марта 1918 г. (*Бунин–1990.* — С. 65–89).

...если не считать И.Ясинского да Ал.Блока — нет ни одного крупного литературного имени в стане большевиков... — *Ясинский* Иероним Иеронимович (1850–1931) — прозаик, поэт, критик, публицист. С 1918 г. сотрудничал в Пролеткульте: редактировал журналы "Красный огонек" (1918), "Пламя" (1919). *Блок А.А.* (1880–1921) после октябрьского переворота в 1918 г. создал поэму "Двенадцать" и стихотворение "Скифы", а также примыкающую к ним публицистику: статьи "Интеллигенция и Революция", "Искусство и Революция" и другие, составившие впоследствии книгу "Россия и интеллигенция"; с 17 января 1918 г. работал в Государственной комиссии по изданию классиков русской литературы, с конца марта служил в Репертуарной секции Театрального отдела Наркомпроса, сотрудничал в возглавляемом М.Горьким издательстве "Всемирная литература". См. также коммент. на с. 536–537.

...работает в органе левых с<оциалистов>-р<еволюционеров> Андрей Белый... — поэт, прозаик, критик, литературовед, мемуарист *А.Белый* (наст. имя и фам.: Бугаев Борис Николаевич, 1880–1934) с конца декабря 1917 г. сотрудничал в петроградской левоэсеровской газете "Знамя труда".

...будто Валерий Брюсов пошел к большевикам... — *Брюсов* Валерий Яковлевич (1873–1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик. С июля 1920 г. член Коммунистической партии. В 1917–1919 гг. возглавлял Комитет по регистрации печати (с января 1918 — Московский отдел Российской книжной палаты). В 1918–1919 гг. — заведующий Московским библиотечным отделом при Наркомпросе. С января 1919 по февраль 1921 г. председатель Президиума Всероссийского союза поэтов; с 1919 г. работал в Госиздате. В 1921 г. организовал Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ) и до конца жизни был его ректором и профессором.

Подбельский Вадим Николаевич (1887–1920) — советский государственный, партийный деятель. В апреле 1918–феврале 1920 г. нарком почт и телеграфов РСФСР.

С. 22. *Сологуб* Федор (наст. имя и фам. Тетерников Федор Кузьмич; 1863–1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, теоретик символизма. Отношение Бунина к Сологубу выразилось в дневниковой записи от 2 апреля 1916 г.: "Фельетон Сологуба: "Преображение жизни". Надо преображать жизнь и делать это должны поэты. А так как Сологуб тоже причисляет себя к поэтам, то и он преображает, пиша. А писал он всегда о гнусностях, о гадких мальчиках, о

вожделении к ним. Ах, сукины дети, преобразители" (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 154)

Леонид Андреев замолк... — *Андреев* Леонид Николаевич (1871—1919) 25 октября 1917 г. уехал из Петрограда в Финляндию на свою дачу в деревне Ваммельсу. Позднее Андреев сказал в интервью финским журналистам 29 августа 1919 г., что его деятельность писателя "прервалась сразу же после большевистской революции. Три года... я почти ничего не писал".(Писатели русского зарубежья (1918—1940): Справочник. — М., 1993. — Ч. 1. — С. 43).

"Новая жизнь" — ежедневная общественно-литературная социал-демократическая газета, организатором, редактором и пайщиком которой был А.М.Горький. Учреждена группой литераторов, объединившихся вокруг журнала "Летопись", издававшегося Горьким в 1915—1917 гг. Ближайшее участие принимали А.Н.Тихонов, Б.Авилов, Н.Н.Суханов, В.А.Десницкий, В.А.Базаров. Выходила с 18 апреля (1 мая) 1917 по 16 июля 1918 г. Закрывалась Временным правительством: 2 (15)—8 (21) сентября 1917 г. выходила под заглавием "Свободная жизнь". Параллельно издавалась в Москве 1—22 июня 1918 г. В первое время газета выражала взгляды группы социал-демократов-интернационалистов, занимавших промежуточные позиции между меньшевиками и большевиками. Выступала за объединение всех социал-демократических группировок в единую партию. Не являясь узкопартийной газетой, выражала взгляды одного из левых течений социалистически настроенной интеллигенции. О взаимоотношениях Бунина и Горького см. с. 327—329, 410—416 наст. изд.

Куприн живет, кажется, в Гатчине... — до осени 1919 г. с перерывами А.И.Куприн жил в Гатчине. См. также коммент. на с. 612.

...литературная жизнь Москвы перешла в кафе... — Бунин писал в "Окаянных днях" (запись от 2 марта 1918 г.): "...а вы-то, не вылезавшие из "Медведей" и "Бродячих Собак"? Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то "Музыкальная табакерка" — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал "Гаврилиаду", произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне,— большой гонорар, говорит, дадим" (*Бунин—1990.* — С. 83).

Страшные контрасты // Одесские новости. — 1918. — 10 ноября (№ 10839). — Печатается по: *Бунин—1990.*

С. 22. *...годовщина тургеневского рождения...* — 28 октября (10 ноября) 1918 г. исполнилось 100 лет со дня рождения И.С.Тургенева.

...считаются событием ... вирши Блока... — имеется в виду поэма А.А.Блока "Двенадцать"; в печати появляются крайне резкие статьи по поводу этой поэмы (см.: Чеб<отарев>ская А. Стрельба по своим // Новый вечерний час. — 1918. — 29 янв.; Крайний А. <Гиппиус З.> Люди и нелюди // Новые ведомости. — 1918. — 10 апреля; ее же. Неприличия // Современное слово. — 1918. — 16 июня; Чулков Г. Красный призрак // Народоправство. — 1918. — № 23/24). Бунин тоже отнесся к этой поэме Блока отрицательно. В.Н.Муромцева-Бунина записала в дневнике 17 февраля (2 марта) 1919 г., что Бунин "нападал на пошлый язык.

— Поэту я этого простить не могу и ненавижу его за это..." (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 210).

..."великий, правдивый язык", завещанный Тургеневым... — слова из стихотворения в прозе И.С.Тургенева "Русский язык". У Тургенева: "...о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!"

...жег и громил из пушек свою собственную Москву, свой собственный Кремль... — речь идет об Октябрьском вооруженном восстании в Москве 25 октября (7 ноября) — 3 (16) ноября 1917 г. Вечером 27 октября на Красной площади произошло столкновение между отрядом "двинцев" (солдат Северного фронта) и юнкерами. С этого времени началась вооруженная борьба. По Кремлю велся артиллерийский огонь со Вшивой горки, с Воробьевых гор, из Китай-города и от Крымского моста. Орудия, установленные на Никольской ул., прямой наводкой били по Никольским воротам Кремля. В 5 часов вечера 2 ноября договор о капитуляции был подписан, а в 9 часов вечера ВРК отдал приказ о прекращении огня. Однако фактически боевые действия продолжались всю ночь. На рассвете 3 ноября революционные отряды вступили в Кремль. Днем началось разоружение юнкеров в Александровском училище и других пунктах.

...я плакал в Орше...— покинув Москву, Бунины ехали через город Орша, который в то время был уже немецкой территорией. В дневнике В.Н.Муромцева-Бунина 26 мая (8 июня) 1918 г. записала: "Двинулись в 11 ч. 20 м. утра. В 12 ч. без 10 м. Мы на "немецкой" Орше — за границей. Ян со слезами сказал: "Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!" Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что-то сделать еще по-большевистски" (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 173).

...праздновать совместно с Троцким, Лениным, Петерсом... — *Троцкий* Лев Давидович (наст. имя и фам. Лейба Бронштейн, 1879—1940) — государственный и партийный деятель. В 1917—1918 гг. нарком по иностранным делам. С 4 марта 1918 г. председатель Высшего военного совета, с 13 марта — нарком по военным делам, со 2 сентября — председатель Революционного военного совета Республики. Один из главных организаторов Красной Армии. Свое отношение к *В.И.Ленину* Бунин выразил в "Окаянных днях": 27 февраля 1918 г. "Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая — то интернационал, то "русский национальный подъем". 2 марта 1918 г. "Съезд Советов". Речь Ленина. О, какое это животное!"(*Бунин—1990.* — С. 81, 83) А В.Н.Муромцева-Бунина записала в дневнике 17 февраля (2 марта) 1919 г.: "Говорили о большевиках. Ян считает их всех негодяями, не верит в фанатизм Ленина. — Если бы я верил, что они хоть фанатики, то мне не так было бы тяжело, не так разрывалось бы сердце..." (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 210). *Петерс* Яков Христофорович (1886—1938) — член Петроградского ВРК, с 1917 г. член коллегии ВЧК, в 1918 г. зам. председателя ВЧК, председатель Ревтрибунала. В 1920—1922 г. председатель ВЧК в Туркестане. С 1923 г. член коллегии ОГПУ.

С. 23. *...сжег дом Пушкина...* — в феврале 1918 г. были сожжены Михайловское, Петровское и Тригорское (см.: Будылин И.Т. Золотая точка России: Пушкинский край. Основные события и даты. — М., 1996. — С. 16, 18, 22, 53—54, 88).

...в прах разнес родовое тургеневское гнездо... — в январе 1906 г., в ночь с 19 на 20 число, дом И.С.Тургенева в Спасском-Лутовинове "сгорел дотла. Достоверных сведений о причинах пожара не сохранилось. Ходили слухи, что дом умышленно сжег арендатор усадьбы Дубец ради страховых денег" (см.: Богданов Б.В., Понятовский А.И. Спасское-Лутовиново. Государственный заповедник-усадьба И.С.Тургенева: Путеводитель. — 2-е изд., доп. — Тула, 1968. — С. 37).

Не могу говорить // Наше слово. — 1919. — 2 апреля (№ 1). — Печатается по: Из творчества И.А.Бунина эпохи гражданской войны // Филологические записки. — 1995. — Вып. 4.

С. 23. *...из великого старческого сердца ... вырвался когда-то страстный крик ... — Не могу молчать!...* — имеется в виду публицистическая статья Л.Н.Толстого "Не могу молчать!" (1908), направленная против казней после революции 1905–1907 гг. (Полн. собр. соч.: В 90 т. — М., 1956. — Т. 37. — С. 83–96).

...окаменели бы уста самого Исайи... — *Исаия* — один из четырех великих пророков. Исаия обличал несправедливость и человеческие пороки: идолопоклонство (Ис. 2:8), отсутствие истинной веры (Ис. 1:10–17), стяжательство властителей и бесправие сирот и вдов (Ис. 1:23), издание законов, направленных против слабых и бедных (Ис. 10:1–3).

"Возьмет Господь у вас..." — Бунин приводит свое стихотворение, озаглавленное позднее "Из книги пророка Исаии" и написанное на основе 3-й главы "Книги пророка Исаии".

С. 24. *...страшная повесть Иова...* — в Ветхом завете ("Книга Иова") рассказывается о богатом, справедливом и благочестивом Иове, которого постигли несчастья, болезни и нищета; несмотря на это он оставался благочестивым и верил в справедливость Бога, что и вознаградилось потом возвратом его прежнего счастливого состояния.

"...Был некогда человек, сильный, богатый..." — слова из 1—3, 7 глав "Книги Иова".

С. 25. *"И зарастали дворцы их колючими растениями..."* — из "Книги пророка Исаии" (34: 13, 14).

"И пастухи со стадами приступят к нему..." — из "Книги пророка Иеремии" (6:3).

...бражничают Емельки и Гришки... — собирательный образ самозванных правителей России; имеются в виду Е.И.Пугачев (1740 или 1742–1775), Г.Б.Отрепьев (?–1606).

С. 26. *..."не властен ударяющий в барабан удержать грохот барабана"...* — древнеиндийская мудрость (см. с. 34 наст. изд.).

<Ответ на анкету "Южного слова" о Добровольческой армии> // Южное слово. — 1919. — 5 октября (№ 26). — С. 4.

Газета *"Южное слово"* выходила ежедневно в Одессе в 1919 г. при ближайшем участии И.Бунина и Н.П.Кондакова. В.Н.Муромцева-Бунина записала в дневнике 8 (21) октября 1919 г.: "Ян согласился взять на себя редакторство <"Южного слова"> только потому, что если бы он отказался, газета стала бы влачить жалкое существование, попала бы она в руки правых или же была бы под ферулой Клименко. За Яном вошел Кондаков, согласились участвовать Кипен, Шмелев, Тренев, Ценский, остался Федоров..." (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 318).

С. 26. *Добровольческая армия* начала создаваться генералом М.В.Алексеевым 2 (15) ноября 1917 г. в Новочеркасске и первоначально называлась "Алексеевской организацией". Формировалась из добровольцев — офицеров, юнкеров, студентов, кадетов, гимназистов старших классов и др. С 25 декабря 1917 (7 января 1918) г. формирование получило наименование Добровольческой армии, верховным руководителем ее стал генерал М.В.Алексеев, командующим — генерал Л.Г.Корнилов. После гибели Корнилова 13 апреля 1918 г. Алексеев назначил командующим армией генерала А.И.Деникина. Весной 1920 г. армию возглавил генерал П.Н.Врангель, она стала регулярной и получила название Русская армия.

...свое слово о наших днях... — 8 (21) сентября 1919 г. в Одесском университете И.Бунин прочел лекцию "Великий дурман" (см. с. 45–63 наст. изд.).

"Затуманится Русь, заплачет по старым богам" — неточно цитируются слова Петра Степановича Верховенского (а не Шигалева) из романа Ф.М.Досто-

евского (1821–1881) "Бесы" (1871–1872). У Достоевского: "Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам..." (часть 2, глава 8).

...свою страшную речь о том "цинизме", о том "разврате неслыханном"... — имеется в виду речь П.С.Верховенского, обращенная к Ставрогину. (Там же). Верховенский говорит: "...мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство. <...> Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь,— вот чего надо! А тут еще "свеженькой кровушки", чтоб попривык. <...> В русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами".

С. 27. *Мы помним Принцевы острова...* — 21 января 1919 г. на Парижской мирной конференции президентом США В.Вильсоном от имени Антанты было оглашено обращение ко всем воюющим группам в России с приглашением направить представителей на конференцию по вопросу о восстановлении мира в России. Местом проведения конференции предлагалось избрать Принцевы острова в Мраморном море, находившиеся под военным контролем Антанты. Лидеры Белого движения отказались от участия в переговорах с Советской Россией. В результате конференция на Принцевых островах не состоялась.

"Вот темнота покроет землю. А над тобою..." — неточная цитата из Библии (Исаия, 60:2): "Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою".

"Распни Его и дай нам Варраву!" — ответ иудеев на вопрос Пилата — кого отпустить в честь праздника: Христа или преступника Варраву (Марк, 15:6–15).

...темнотой и скорбью Ледяного похода... — "Ледяным походом" называли 1-й Кубанский поход Добровольческой армии — фактическое начало организованной борьбы Белого движения с революцией. Продолжался с февраля до начала мая 1918 г. Из книги Р.Гуля "Ледяной поход": "Марковский полк уткнулся в реку. Замялись. Но медлить нельзя— проиграется дело. А на реке ледяная кора... "Полк вперед!" — и ген. Марков первым шагает вброд. Идут в бой через ледяную реку, высоко в темноте держат винтовки... Этот эпизод, как и некоторые другие, дали повод г. Маркову в публичной лекции в Новочеркасске назвать поход Корнилова "ледяным", после чего на Дону и Кубани это название утвердилось за походом". (Цит. по изд.: Белое движение: начало и конец. Гуль Р. Ледяной поход. Ген. Деникин А. Поход на Москву. Гуль Р. Жизнь на фукса. — М., 1990. — С. 78).

В этот день // Южное слово. — 1919. — 8 октября (№ 29). — Статья напечатана в номере, почти целиком посвященном приезду в Одессу А.И.Деникина. Ср.: "Записная книжка" (см. с. 126–127 наст. изд.), а также "Окаянные дни", запись от 11 июня 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 165–166). Печатается по: Бунин в "Южном слове" / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Б.Липина // Звезда. — 1993. — № 9. — С. 125–141.

Деникин Антон Иванович (1872–1947) — генерал-лейтенант (с сентября 1915 г.). В марте 1917 г. при Временном правительстве, назначен помощником начальника штаба Верховного Главнокомандующего, а в мае того же года — главнокомандующим армиями Западного фронта. В июле 1917 г. назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта. В ноябре 1917 г. в Новочеркасске участвовал в организации и формировании Добровольческой армии. 30 января 1918 г. назначен начальником 1-й Добровольческой дивизии. Участник 1-го и 2-го Кубанских походов в 1918 г. После гибели Корнилова вступил в командование Добровольческой армией; 25 сентября (8 октября) 1918 г. после смерти генерала Алексеева стал Главнокомандующим Добровольческой армией.

С 26 декабря 1918 г. — Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. Потрясенный катастрофой во время эвакуации Новороссийска, передал командование генералу Врангелю, и отбыл за границу: сначала в Англию, затем в Бельгию, где приступил к работе над своим 5-томным трудом "Очерки русской смуты". В конце мая 1922 г., когда Деникин был проездом в Париже, Бунин подарил ему свою новую книгу "Чаша жизни" (Париж, 1921) с дарственной надписью: "Антону Ивановичу Деникину в память прекраснейшего дня моей жизни — 25 сент<ября> 1919 г. в Одессе — когда я не задумываясь и с радостью умер бы за Него. Ив.Бунин Париж, 1922 г." (см.: Лехович Д. Белые против красных: Судьба генерала Антона Деникина. — М., 1992. — С. 293, а также факсимиле между с. 272 и 273). В 1926 г. Деникин переехал во Францию и занялся литературным трудом, с 1936 г. начал издавать газету "Доброволец", часто выступал с докладами на политические темы, автор нескольких книг и многочисленных статей. В конце ноября 1945 г. уехал в США.

С. 27. *Лето семнадцатого года я помню...*— лето и начало осени 1917 г. Бунин провел в имении родственников Глотово Орловской губернии. В письме к П.А.Нилусу от 27 мая 1917 г. Бунин писал: "Жить в деревне и теперь уже противно. Мужики вполне дети, и премерзкие. "Анархия" у нас в уезде полная, своеволие, бестолочь и чисто идиотское непонимание не то что "лозунгов", но и простых человеческих слов — изумительные" (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 160). 25 июля 1917 г. Бунин писал Нилусу: "До ярости, до боли кровной обиды отравляемся каждый день газетами. Порою прямо невыносима жизнь и здесь" (Там же. — С. 167).

С. 28. *...огромными буквами ударил в глаза истерический крик "всем, всем, всем!" — крик Керенского...* — Бунин записал в дневнике 30 августа 1917 г.: "...в Измалково. На почте видел только "Орловский вестник" 29-го. Дерзкое объявление Керенского и еще более — социалистов-революционеров и социал-демократов — "Корнилов изменник". Волновался ужасно". 31 августа Бунин записывает, что ездил в Предтечево, где читал "Новое время" и "Утро России": "Ошалел от волнения. Воззвание Корнилова удивительно! Вечером газеты — "Русское слово" от 29 и "Р<усский> г<олос>" от 30-го. Последняя поразила: истерически-торжественное воззвание Керенского: "Всем! Всем! Всем!" Таких волнений мало переживал в жизни. Просто пришибло" (*Бунин—1990*. — С. 35). В газетах была опубликована радиограмма А.Керенского ко всему фронту: "Всем! В тяжкое время борьбы нашей родины с упорным и сильным врагом 26 августа я получил от бывшего главнокомандующего Корнилова требование немедленно передать ему диктаторскую власть над всем государством. Временное правительство сменило генерала Корнилова и приняло все меры к ограждению и защите до конца прав отныне и навсегда свободного народа. Офицеры и солдаты! Жалкие пропытки Верховного Главнокомандующего, ослепленного предательской клеветой, в моих глазах и в глазах свободного народа, не могут ложиться и не ложатся бременем тяжкой ответственности на доблестные армии и флот в лице героев — офицеров, солдат и матросов. Родина верит в разум своих лучших свободных сынов. Родина знает, что пред лицом смертельной опасности верные и беззаветно преданные ей офицеры, солдаты и матросы не поддадутся предательской попытке кучки ослепленных или обманутых людей. Родина требует от всех своих сынов найти в себе достаточно мужества и патриотизма, чтобы отбросить сомнения, вражду и взаимное недоверие, теснее сплотиться и оберечь ее от гибельных ударов полков германского императора. Будьте на страже! Не дайте врагу воспользоваться безумием немногих для нового удара на фронте". (Утро России. — М., 1917. — 29 авг. (№ 209). — С. 2).

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — один из лидеров партии эсеров. С 2 марта 1917 г. министр юстиции во Временном правительстве, с 5

мая — военный и морской министр в 1-ом коалиционном правительстве, с 8 июля — председатель Временного правительства с сохранением поста военного и морского министра. С 30 августа 1917 г. — Верховный Главнокомандующий.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — генерал от инфантерии, принимал активное участие в февральском перевороте, руководил арестом императорской фамилии в Царском Селе. С 18 июля 1917 г. — Верховный Главнокомандующий. В ближайшем окружении Корнилова и с его участием разрабатывались планы установления в России новой формы правления. Во главе страны предполагалось поставить Совет народной обороны, при котором должно было существовать правительство с широким представительством политических сил. Через посредников Корнилов вел переговоры с Керенским, стремясь добиться мирной передачи ему всей полноты власти. 26 августа 1917 г. через В.Н.Львова Корнилов потребовал от Керенского передать ему всю власть, военную и гражданскую. В этот же день на заседании Временного правительства Керенский квалифицировал действия Корнилова как мятеж. Утром 27 августа Керенский направил в Ставку телеграмму об отстранении Корнилова от должности главковерха. Тот не подчинился и был объявлен Керенским изменником родины. К 30 августа движение корниловских войск на Петроград было остановлено, Корнилов арестован, главковерхом назначен Керенский.

...потом было третье ноября... — 3 ноября (ст. ст.) 1917 г. завершилось Октябрьское вооруженное восстание в Москве (см. коммент. на с. 472).

...после недельного плена в четырех стенах... — во время вооруженного восстания в Москве Бунин находился в забаррикадированном доме, где он жил с В.Н.Муромцевой (Поварская ул., д. 26, кв. 2). В вестибюле дома было организовано дежурство, в котором принимал участие и Бунин. 4 ноября 1917 г. Бунин записал в дневнике: "Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни. Да, позавчера был подписан "Мирный договор". Вчера часов в одиннадцать узнал, что большевики отбирают оружие у юнкеров. <...> Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости — страшное чувство свободы (идти) и рабства. Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. День темный, грязный. Москва мерзка как никогда" (*Бунин–1990.* — С. 57).

...потом я плакал на Страстной, уже не один... — в мае 1918 г. В.Н.Муромцева-Бунина записала в дневнике: "Мы с Яном были у заутрени в церкви "Никола на Курьих Ножках". Родители не рискнули пробираться в темноте... Маленькая уютная старинная церковка была полна народом. Когда мы вошли, пели "Волною морскою" и слова "гонители" и "мучители" отзывались в сердце совершенно по-новому. Настроение было не пасхальное,— многие плакали. И первый раз за всю жизнь "Христос Воскресе" не вызвало праздничной радости. И тут, может быть, мы впервые по-настоящему поняли, что дышать с большевиками одним воздухом невозможно" (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 170).

<Речь на банкете в честь А.И.Деникина> // Южное слово. — 1919. — 11 октября (№ 32). — С. 2.

Приветственная речь, с которой Бунин выступил на банкете в честь Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России генерала А.И.Деникина, была опубликована в "Южном слове" под заголовком "К пребыванию вождя Добрармии в Одессе". В.Н.Муромцева-Бунина записала в дневнике 29 сентября (12 октября) 1919 г.: "Деникина я не видела. Зато видел его Ян, которому он очень понравился. Он совершенно не похож на портреты. По словам Яна, он очень изящный человек с голым черепом, легко и свободно ходит. Глаза бархатные под густыми ресницами, усы черные, бородка седая. Улыбка удивительно хорошая. Прост в обращении". (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 316).

Заметки // Южное слово. — 1919. — 2 ноября (№ 51). — С. 2.

С. 30. ***Опять еврейские погромы...*** — о еврейских погромах в годы гражданской войны см.: Гусев-Оренбургский С.И. "Багровая книга": Погромы 1919—1920 гг. на Украине. — Харбин, 1922; Еврейские погромы 1918—1921 гг. — М., 1926; Шехтман И.Б. Погромы добровольческой армии на Украине (к истории антисемитизма на Украине в 1919—1920 гг.). — Берлин, 1932 и др. Бунин писал в "Окаянных днях" (запись от 2 мая 1919 г.): "Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами. Были Овсянико-Куликовский и писатель Кипен. Рассказывали подробности. На Б.Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли,— шла настоящая охота" (*Бунин—1990.* — С. 128).

...приглашает "в борьбе обрести право свое"... — имеется в виду лозунг партии социалистов-революционеров (эсеров): "В борьбе обретешь ты право свое".

...Ленин не еврей,— "отец его ... волжский крестьянин..." — из позднейших исследований известно, что отец В.И.Ленина — И.Н.Ульянов — из астраханских мещан, а происхождение его уходит корнями в калмыцкий народ. Дед Ленина по линии матери Александр (Израиль) Дмитриевич Бланк — крещеный еврей родом из местечка Староконстантиново Волынской губернии. А.Д.Бланк крестился в 1820 г. в Петербурге, куда приехал поступать в Медико-хирургическую академию; по законам Российской Империи было запрещено принимать евреев в государственные учебные заведения. Происхождение бабушки Ленина по линии матери — А.И.Гросшопф имеет шведские корни (подробнее об этом см.: Штейн М. Род вождя // Слово. — М., 1991. — № 2. — С. 78—82).

...соборы нельзя переделывать и переименовывать в кинематографы "имени товарища Свердлова"... — Свердлов Яков Михайлович (1885—1919) — политический деятель. В 1912 г. кооптирован в ЦК РСДРП, член Русского бюро ЦК. В 1917 г. член Партийного центра по руководству вооруженным восстанием в Петрограде, член ВРК. С ноября 1917 г. председатель ВЦИК. С 1918 г. происходило массовое закрытие церквей, монастырей, некоторые церкви переделывались под клубы. В.Н.Муромцева-Бунина записала в дневнике 9 (22) мая 1919 г.: "Театры переименованы: "Театр Красного Флота" <...> "Театр имени Свердлова", "Театр имени Троцкого" и все в таком духе. Перед некоторыми театрами и иллюзионами горят кровавые звезды" (*"Устами Буниных".* — Т. 1. — С. 255).

...убийство за одного Урицкого целой тысячи ни в чем не повинных людей... — в ответ на убийство председателя Петроградской ЧК Моисея Соломоновича *Урицкого* (1873—1918) 30 августа 1918 г. "было расстреляно до 900 заложников и отдельно, в Кронштадте — 512. "После убийства Урицкого начался страшный террор,— вспоминал бывший сотрудник петроградского военного комиссариата М.Смильг-Бенарио. — Вооруженные красноармейцы и матросы врывались в дома и арестовывали лиц по собственному усмотрению... Ежедневно происходили аресты и расстрелы, а власть не только не стремилась приостановить массовое убийство, а наоборот, она лишь разжигала дикие инстинкты солдатских масс. Председатель петроградской коммуны Зиновьев не испугался бросить в массы лозунг: "Вы, буржуазия, убиваете отдельных личностей, а мы убиваем целые классы". <...> Губернские и уездные ЧК спешили наперебой (кто раньше!) сообщить о числе расстрелянных заложников в ответ на убийство Урицкого и покушение на Ленина. <...> Во многих журналах и газетах вводилась рубрика возмездия — "красный террор", где публиковались списки расстрелянных" (Лит-

вин А.Л. Красный и белый террор в России 1918–1922 гг. — Казань, 1995. — С. 63). См. также коммент. на с. 493.

С. 32. *В декабре прошлого года ... когда Одесса встречала французов...* — в ночь с 15 на 16 ноября 1918 г. союзный флот (англ., фр., итал., греч.) под командованием французского вице-адмирала Амета (командующего военно-морскими силами Антанты на Бл. Востоке) вошел в Черное море. В течение ноября-декабря 1918 г. были захвачены Новороссийск (23 нояб.), Севастополь (24 нояб.), Одесса (26–28 нояб.), Николаев (9 дек.), Феодосия (14 дек.). К середине февраля 1919 г. командование Антанты располагало на Юге России 2 французскими и 1,5 греческими дивизиями, а также английскими, румынскими, сербскими и польскими частями.

"И боль, и стыд — и радость..." — цитаты из стихотворения "22 декабря 1918 г." (Бунин И.А. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1993. — Т. 1. — С. 418).

"Южный рабочий" — Орган Одесского комитета РСДРП: Ежедневная газета.— Одесса, 1919.

Юшкевич Павел Соломонович (1873–1945) — философ, публицист, переводчик философской литературы. Брат писателя С.С.Юшкевича. Участник с.-д. движения (меньшевик). В 1917 г. сотрудничал на Украине в меньшевистском журнале "Объединение". После 1919 г. отошел от политической деятельности. До 1930 г. работал в Институте Маркса и Энгельса, занимался в основном переводами.

...по поводу моей лекции о русском народе и русской революции... — имеется в виду "Великий дурман" (см. наст. изд. с. 45–63).

С. 33. *...осенью семнадцатого года мужики... ощипали для потехи перья с живых павлинов...* — ср.: "Окаянные дни", запись от 10 июня 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 161).

Заметки // Южное слово. — 1919. — 7 ноября (№ 55). — Печатается по: Бунин в "Южном слове" // Звезда. — 1993. — № 9.

С. 33. *Временное правительство, состоящее из адвокатов, докторов и журналистов...* — Временное правительство в России — центральный орган государственной власти, образовавшийся после Февральской революции 1917 г., существовало с 2 (15) марта по 25 октября (7 ноября) 1917 г. В его состав входили, в частности, адвокаты А.Ф.Керенский и А.С.Зарудный, врачи А.И.Шингарев, И.В.Годнев, С.С.Салазкин, Н.М.Кишкин, журналисты В.М.Чернов, А.В.Пешехонов, Н.Д.Авксентьев, М.В.Бернацкий, С.А.Смирнов, С.Л.Маслов и др.

...под высоким водительством второсортного адвоката... — имеется в виду председатель Временного правительства А.Ф.Керенский.

Кишкин Николай Михайлович (1864–1930) — один из лидеров кадетов, в 1917 г. министр Временного правительства, врач.

С. 34. *..."свободы, братства, равенства"...* — лозунг Великой французской революции (см. коммент. на с. 481).

...повторение по указке немцев немецкими наемниками... — в своей книге "Сибирь, союзники и Колчак: Поворотный момент русской истории 1918–1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского правительства): В 2 т. (Пекин, 1921) Гинс Г.К. писал: "Печать государственной измены отталкивала всех, кто честно мыслил, от вождей большевизма и их последователей, и никто не выражал сомнения в истинности тех обвинений, которые повсюду открыто раздавались по адресу большевиков — обвинений в получении ими денег от германского Имперского банка, о существовании в Смольном комиссии офицеров немецкого генерального штаба, о выполнении большевиками всех требований Берлина. В 1918 г. Американское правительственное бюро печати опубликовало сенсационные разоблачения. Все, что раньше передавалось как слух, стало обосновано

документально. В Смольном действительно были немецкие офицеры. "Соглашение" о совместных работах начинается следующими словами: "Согласно договору, заключенному в Кронштадте 6 июля месяца сего года (1917) между представителями нашего генерального штаба и руководителями русской революционной армии и демократии: Лениным, Троцким, Раскольниковым и Дыбенко, отделение нашего Генерального Штаба, оперирующее в Финляндии, назначает в Петроград офицеров, которые будут состоять в распоряжении осведомительного отдела штаба". Из "соглашения" проистекало все остальное: перевод денег большевикам, выдача немецким офицерам в России подложных паспортов для поездки в Англию и Францию, убийство русских патриотов, уничтожение польских легионов и т.д." (Т. 1. — С. 18, 21).

...в десяти тысячах кровавейших и бессмысленных самосудов... — А.Ган (А.Гутман) в книге "Россия и большевизм: Материалы по истории революции и борьбы с большевизмом. Часть 1: 1914—1920" (Шанхай, 1921) писал: "Из многих городов России получались ежедневно скорбные вести, что матросы и солдаты громят, буйствуют и производят самосуды над своими начальниками. В Выборге матросы совместно с солдатами безжалостно убивали офицеров в казармах, сбрасывали их полуживыми в воду. Некоторых офицеров сбросили с большой высоты моста живыми в воду и наблюдали пока несчастные не опускались на дно. Произошли потрясающие события в Севастополе, Симферополе и на всем побережье Черного моря. "Краса и гордость революции" оказалась просто разбойничьей шайкой, убивавшей безжалостно сотни людей, уничтожавшей и грабившей все, что попадалось на ее пути. <...> Все это проводилось под флагом "борьбы с контрреволюцией" и спасения революции" (с. 169—170).

С. 35. *...при победном вступлении в город "народно-революционной армии"...* — советские войска вошли в Одессу 6 апреля 1919 г.

...часы показывали что-то нелепое... — с установлением советской власти стрелки часов были переведены на 2,5 часа вперед.

...объявившие "мир хижинам и войну дворцам"... — цитата из "Воззвания к солдатам всех воюющих стран" В.И.Ленина (Правда. — 1917. — 21 апр. (4 мая)).

"пролеткульты" — *Пролеткульт* — культурно-просветительская и литературно-художественная добровольная организация (существовала с 1917 по 1932 г.) пролетарской самодеятельности в различных областях искусства, особенно в литературе и театре. Бунин писал в "Окаянных днях" (запись от 24 апреля 1919 г.): "Подумать только: надо еще *объяснять* то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще *доказывать*, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет "последних достижений в инструментовке стиха" какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и "антересуется" стихами!" (*Бунин—1990.* — С. 117).

...хлопотали художники, озабоченные тем, как бы получше украсить ... город ... к радостному первомайскому дню... — в "Окаянных днях" Бунин писал (запись от 13 апреля 1919 г.): "Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг ("по украшению города к первому мая") ужасно. Я его предупреждал: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: "Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник". В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал. — А на другой день в "Известиях": "К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам..." Теперь Волошин хочет писать "письмо в редакцию", полное благородного негодования. Еще глупей" (*Бунин—1990.* — С. 92).

С. 36. ...*крин* — цветок лилии.

Заметки // Южное слово. — 1919. — 20 ноября (№ 66). — С. 1–2. — К девятой годовщине со дня смерти Л.Н.Толстого.

С. 36. *"Ваше Императорское Величество. Я ничтожный..."* — изложение письма Л.Толстого императору Александру III от 8—15 марта 1881 года: "Ваше Императорское Величество. Я, ничтожный, не призванный и слабый, плохой человек, пишу письмо Русскому Императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. <...>

Отца Вашего, Царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей; убили во имя какого-то высшего блага всего человечества. — Вы стали на его место и перед вами те враги, которые отравляли жизнь вашего отца и погубили его. Они враги ваши потому, что вы занимаете место вашего отца и для того мнимого общего блага, которого они ищут, они должны желать убить и вас.

<...> Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного потому, что нельзя себе представить более сильного искушения зла. <...>

Знаю я, как далек тот мир, в котором мы живем, от тех божеских истин, которые выражены в учении Христа и которые живут в нашем сердце, но истина — истина, и она живет в нашем сердце и отзывается восторгом и желанием приблизиться к ней. Знаю я, что я ничтожный, дрянной человек, в искушениях, в 1000 раз слабейших, чем те, которые обрушились на вас, отдавался не истине и добру, а искушению и что дерзко, и безумно мне, исполненному зла человеку, требовать от вас той силы духа, которая не имеет примеров, требовать, чтобы вы, Русский Царь, под давлением всех окружающих, и любящий сын после убийства, простили бы убийц и отдали бы им добро за зло. <...> Истина и благо всегда истина и благо на земле, и на небе. <...>

Теперь, в эти 2 недели суда над преступниками и приговора, будет сделан шаг, который выберет одну из 3-х дорог, предстоящего распутья: путь подавления зла злом, путь либерального послабления — оба испытанные и ни к чему не приводящие пути. И еще новый путь — путь христианского исполнения Царем воли Божьей, как человеком. <...>

Простите, воздайте добром за зло <...> Государь, если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест с словами вверху: а я вам говорю, люби врагов своих,— не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал ваше имя". (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. — М.; Л., 1934. — Т. 63. — С. 44–52).

С. 37. *"Горы книг написаны Марксами, Жоресами, Каутскими..."* — конспект фрагмента из "Письма революционеру": "...Горы книг написаны и пишутся Марксами, Жоресами, Каутскими и другими теоретиками о том, каким, по открываемым ими историческим законам, должно быть человеческое общество и как оно должно быть устроено, о том же, как устранить главную, ближайшую, основную причину зла,— насилие, совершаемое рабочими самими над собой, не только никто не говорит, но напротив все допускают необходимость того самого насилия, от которого и происходит порабощение рабочего народа". (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. — М., 1936. — Т. 38. — С. 265).

Жорес Жан (1859—1914) — руководитель Французской социалистической партии.

Каутский Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала.

"Вступать русскому народу на путь, по которому шли..." и *"Заблуждение это стоит во всей основе всей неурядицы..."* — конспект фрагментов из двух статей Л.Толстого: первая — "О значении русской революции": "Вступить русскому народу теперь на тот путь, по которому шли западные народы,— значит сознательно совершать те же насилия, какие требует от него его правительство, только не за правительство, а против него, то есть грабить, жечь, взрывать, убивать людей, вести междоусобную войну..." (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. — М.; Л., 1936. — Т. 36. — С. 333); вторая — "Единое на потребу: О государственной власти": "...устройство жизни, основанное на насилии, до такой степени стало привычно людям, что люди не могут себе представить общей жизни без правительственной власти <...> Заблуждение это стоит в основе всей неурядицы, как прошедшей, так и современной и даже будущей жизни Христианских народов. Поразительный пример этого заблуждения представляет большая французская революция. <...> Люди того времени так привыкли к единственному средству воздействия на людей, принуждению, что не видели того противоречия, которое заключается в мысли осуществления равенства, свободы, братства посредством насилия; не видели того, что равенство по существу своему отрицает власть и подчинение, что свобода несовместима с принуждением, и что не может быть братства между повелевающими и подчиняющимися. От этого все ужасы террора. <...> То противоречие, которое так ярко и грубо выразилось в большой французской революции и вместо блага привело к величайшему бедствию, таким же осталось и теперь. <...> Мало того, противоречие это проявляется не только в настоящем, оно проявляется даже в представлении самых передовых социалистов, революционеров, анархистов о будущем устройстве жизни". (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 194–195).

"Посредством убийства осуществлять..." — цитата из статьи "Единое на потребу". (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 195).

"Французская большая революция была тем enfant terrible..." — неточная цитата из статьи "Единое на потребу": "Французская большая революция была тем enfant terrible, который в своем охватившем весь народ восторге, при сознании великих истин, открытых им, и при инерции насилия, в самой наивной форме выказал всю нелепость того противоречия, в котором билось тогда, бьется и теперь человечество: liberté, egalité, fraternité, ou la mort <свобода, равенство, братство или смерть>". (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 195–196).

С. 38. *"Во Франции, Испании, в Южной Америке, теперь в России..."* — цитата из статьи "Единое на потребу". (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 197–198).

"Людям большой французской революции, желавшим достигнуть..." — цитата из статьи Л.Толстого "Конец века". Конец цитаты неточен. У Толстого: "...учредительным собранием и т.п., они, свергнув существующее правительство и учредив новую конституционную монархию или даже социалистическую республику, они достигнут той цели, совершающейся революцией". (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 239–240, 379).

"Кромвель, величайший лицемер и злодей..." — перефразированная цитата из статьи Л.Толстого "Единое на потребу": "Завладевает машиной величайший лицемер и злодей Кромвель и казнит другого, такого же, как он, лицемера Карла I и безжалостно губит миллионы жизней и уничтожает ту самую свободу, за которую он будто бы боролся". (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 170).

"Казнят Людовика, и тотчас же Мараты и Робеспьеры..." — перефразированная цитата из статьи "Единое на потребу": "Владеют во Франции машиной разные Людовики и Карлы <...> Казнят, наконец, одного из них, и тотчас же Мараты и Робеспьеры захватывают машину и творят еще ужаснейшие преступления, губя не только людей, но великие истины, провозглашенные людьми того времени". (Толстой Л.Н. — Т. 36.— С. 170).

"И потому говорите о своих интересах, а не о народе..." — цитата из статьи Л.Толстого "Обращение к русским людям: К правительству, революционерам и народу" (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 308).

"Чтобы положение людей стало лучше..." — цитата из статьи "Обращение к русским людям" (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 308).

"При революциях нравственность общественная все более..." — слова из статьи "Обращение к русским людям": "Внешняя же общественная деятельность, в особенности общественная борьба <...> всегда неизбежно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности <...> И нравственность все больше и больше понижается, и героями времени становятся самые безнравственные люди...". (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 308–309).

"Постарайтесь как можно меньше пользоваться трудами народа..." — цитата из статьи "Обращение к русским людям" (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 309).

С. 39. *"Люди же, борющиеся теперь в России против правительства..."* — цитата из статьи Л.Толстого "Об общественном движении в России". Последнее предложение цитаты приведено не полностью. У Толстого: "Либеральные и революционные деятели, составляющие программы требований народа, не имеют никакого права считать себя представителями народа: они представляют только себя, и народ для них недобросовестное знамя". (Толстой Л.Н. — Т. 36. — С. 158–159).

Заметки // Южное слово. — 1919. — 21 ноября (№ 67). — С. 1–2. — Статья написана по поводу рецензии И.М.Василевского "Лысая душа" (Современное слово. — 1919. — № 21) на книгу писателя и публициста Ивана Федоровича *Наживина* (1874–1940) "Что же нам делать?" (Одесса: Русская культура, 1919. — 40 с.). В предисловии к своей книге И.Наживин писал: "Эта брошюра представляет из себя извлечение из моих подробных записок о второй русской революции...". Автор пишет в книге, в частности, о революции: "Мы ждали от нее свободы, равенства, братства,— свободное слово задушено как никогда, мы не имеем ни одной порядочной газеты, мы не смеем собраться вместе, чтобы поговорить без опаски, тюрьмы переполнены, как никогда, бессмысленные расстрелы рукой наемного китайского бандита явление настолько заурядное, что мы перестали даже реагировать на него" (с. 33). Бунин был знаком с Наживиным, встречался с ним в Одессе. В.Н.Муромцева-Бунина записала в дневнике 30 декабря (12 января) 1919 г.: "На днях был Наживин. <...> — Вот,— сказал Наживин,— Иван Алексеевич, как я раньше вас ненавидел, имени вашего слышать не мог, и все за народ наш, а теперь низко кланяюсь вам. <...> И как я, крестьянин, не видел этого, а вы, барин, увидали. Только вы один были правы". (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 203, 205).

С. 41. *Василевский* Илья Маркович (псевд. Не-Буква, 1882–1938) — фельетонист, журналист, литературный критик. Об отношении Бунина к Василевскому см. также "Из записной книжки" (с. 101–103 наст. изд.).

Мирский Борис (наст. фам. Миркин-Гецевич Борис Сергеевич, 1892– ?) — публицист, профессор права.

"Современное слово" — ежедневная общественно-политическая газета / Ред. Д.Н.Овсянико-Куликовский. — Одесса, 1919–1920.

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920) — литературовед и языковед, почетный член Петербургской Академии наук.

...перед ним "развертывалась вся наша история", где ему "перед лампадкой на гробнице Грозного царя мнилось..." — слова из книги И.Наживина "Что же нам делать?". Автор писал: "...пошел побродить по тихому, всегда прекрасному Кремлю. Разрушения были не так уж велики, как сперва думалось: судьба пощадила национальные святыни. И я ходил по старым соборам, и вся наша

история развертывалась передо мной. И над гробницей Иоанна Грозного, как и в былые дни, горела "неугасимая" и лежали на тарелочке трудовые гроши: в Москве до сих пор существует предание, что если постигнет тебя тяжелое горе, хорошо помолиться тогда в тишине у могилы грозного царя. И, глядя на тихую лампаду, казалось мне, что это русская душа, душа России теплится тут, под старыми сводами, среди разбитого Кремля..." (с. 24–25).

С. 42. *Шор* С.М. — отец известного музыканта Д.С.Шора. Бунины встречались с С.М.Шором во время своего путешествия в Палестину в 1907 г.

Заметки // Южное слово. — 1919. — 25 ноября (№ 71). — С. 1. — Ответ на критические выступления одесской печати против "Заметок" об И.Ф.Наживине.

С. 42. *Саади* (между 1203 и 1210–1292) — персидский писатель и мыслитель. Автор поэмы-философского трактата "Бустан" (1257), сборника притчей "Гюлистан" (1258), любовной лирики.

Саади спросили: "Куда ты так быстро бежишь?"... — вольный перевод из первой главы сб. притчей Саади "Гюлистан": "Но твое положение,— возразил я,— походит на положение той лисицы, которую видели как она бежала, то падая, то вставая. Кто-то ей заметил: что с тобой, что ты так напугана? Я слышала, проговорила лисица, что ловят верблюда. Эх ты, глупая, сказали ей, какое твое отношение, какое подобие верблюду? Молчи, отвечала лиса, если завистники преднамеренно выскажут, будто я верблюд и я буду поймана, кто же позаботится выручить меня, разузнав обстоятельно о моем положении. Пока противоядие будет доставлено из Ирак-араби, укушенный змеей успеет умереть". (Саади. Гюлистан: Цветник роз / Пер с персид. И.Холмогорова. — М., 1882. — С. 52).

...лекции о русской революции... — имеется в виду "Великий дурман" (см. с. 45–63 наст. изд.).

С. 43. *...в "Современном слове" ... статейку обо мне озаглавили "Траур"...* — Современное слово. — 1919. — 9 (22) ноября (данный номер газеты в библиотеках Москвы отсутствует).

...анекдот ли от Робина — в это время в Одессе существовало кафе Робина.

...этому слуху поддакнули "Одесские новости"... — имеется в виду статья "Правогазетный шаблон" без подписи (Одесские новости. — 1919. — 10 (23) ноября (№ 11055). — С. 2), в которой говорится: "В "Южном слове" Ив.Бунин выступает в защиту "талантливого и умного русского писателя" — Ив.Ф.Наживина. Не нравится автору "левогазетный шаблон", по которому "глумятся над выдающимся русским человеком". <...> Бунина возмущает главным образом нетерпимость, проявленная в отношении Наживина. <...> Но ведь вот тоже писатель и тоже "не последний человек в литературе" и тоже не "другой национальности" — Максим Горький кадит "коммунистической лампадкой пред лжецарями московскими. Как отнесется к нему Ив.Бунин? С той же правогазетной объективностью? Или соберет весь свой обличительный пафос и воскликнет: "уж мы вас!" Ну думает Горький, что его дому пристала советская власть. Что же это такое в самом деле. Нельзя же "мордовать" и т.д. Нет, очевидно дело не так просто. Одно из двух: или писатель Бунин выступает в защиту современной русской литературы, тогда почему один Наживин в роли подзащитного; или гражданин Бунин защищает гражданина Наживина по причинам единомыслия и единодушия, тогда на левогазетный шаблон приходится ответить шаблоном правогазетным. И разве нельзя его найти в скрытом намеке на превосходство "прямых потомков строителей России" пред людьми "другой национальности" (читай еврейской)? Вот и готов шаблон..."

Булгаков Валентин Федорович (1886–1966) — мемуарист, в 1910 г. секретарь Л.Н.Толстого. В 1916–1923 гг. сначала помощник хранителя, затем директор

Музея Л.Н.Толстого в Москве. С 1923 по 1948 г. жил в Чехословакии. После возвращения на родину — хранитель Дома-музея Л.Толстого в Ясной Поляне.

"Если я прежде выделил русских мужиков..." — цитата из дневника В.Ф.Булгакова, запись 1 марта 1910 г. У Булгакова высказывание Л.Толстого записано так: "Если я сам видел особенные черты в русском народе, выделял русских мужиков как обладателей особенно привлекательных сторон, то каюсь. Каюсь и готов отречься от этого". (Булгаков В. Л.Н.Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н.Толстого. — М., 1989. — С. 100).

С. 44. *Пила и Сысойка* — герои повести Федора Михайловича Решетникова (1841–1871) "Подлиповцы" (1863).

..."я ничего не предлагаю, ничего не предполагаю, я — излагаю"... — Бунин перефразировал слова Монтеня, взятые И.Наживиным в качестве эпиграфа к своей книге: "Ничего я не предполагаю, ничего не предлагаю, я — излагаю".

Из "Великого дурмана" // Южное слово. — 1919. — 30 ноября (№ 76); 7 декабря (№ 82); 13 декабря (№ 88); Родное слово. — 1920. — 30 января (№ 4). — Эти публикации — отрывки из лекции, прочитанной Буниным в Одессе дважды 21 сентября и 3 октября 1919 г. В.Н.Муромцева-Бунина в своем дневнике записала: "7/20 сентября. <...> Ян целый день писал свою лекцию "Великий дурман". 8/21 сентября. <...> Ян совсем охрип после лекции. Он не сообразил, что читать ее дважды ему будет трудно. Кроме того, он так увлекся, что забыл сделать перерыв, и так овладел внимание публики, что 3 часа его слушали, и ни один слушатель не покинул зала. <...> Когда он кончил, то все встали и долго, стоя, хлопали ему. Все были очень взволнованы. Много народу подходило ко мне и поздравляло. <...> Очень восхищалась Л., но больше всех Ник<одим> Пав<лович> Кондаков: "Ив<ан> Ал<ексеевич> — выше всех писателей, сударыня, это такая смелость, это такая правда! Это замечательно! Это исторический день!" А у самого слезы на глазах. Он меня очень растрогал. Настрадался, значит, при товарищах! <...> Ян хочет кое-что выпустить. <...> 24 сент./7 окт. <...> 20 сен<тября — ст. ст.> Ян вторично читал "Великий дурман". Публики было еще больше. Не все желающие попали. Слушали опять очень хорошо. Ян читал лучше, чем в прошлый раз, с большим подъемом. Хорошо написан конец". (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 315–316).

Второй из этих отрывков был позднее опубликован в книге: Скорбь земли русской: Сб. статей 1919 г. — Нью-Йорк: Изд. инициативной группы "Народной газеты", 1920. — С. 44–50. — (На обл. загл.: Скорбь земли родной), печатается по: *Бунин–1990.* Первый и третий отрывки печатаются по: Бунин в "Южном слове" // Звезда. — 1993. — № 9. Четвертый отрывок печатается по: Из творчества И.А.Бунина эпохи гражданской войны // Филологические записки. — 1995. — Вып. 4. В парижском архиве Бунина, хранящемся в Русском архиве Лидского университета (Великобритания), нет полного текста лекции, но несомненно он существовал, так как в одесских газетах помещено объявление, что в скором времени в издательстве на паях "Русская культура" выйдет книга академика И.А.Бунина "Великий дурман" (Южное слово. — 1919. — 19 окт. (№ 39); Единая Русь. — 1919. — № 35). Вероятно, издание не осуществилось, так как вскоре Одесса была занята красными. Позднее Бунин перепечатал первый отрывок в берлинской газете "Руль" 23 января 1921 г. (№ 56) под заглавием "Записная книжка", предварив его следующими словами: "Ходит ветер и возвращается на круги свои..." ...Итак, снова торжественные заседания, высокие речи, декларации, резолюции — и все именем России, "именем народа"... "А там, во глубине России..." Снова пробегаю отрывки воспоминаний о лете и осени 1917 года, проведенных мною в деревне, среди подлинной, а не выдуманной нами народной жизни..."

С. 45. *Сумерки,— лето 1917 года, на деревенской улице...* — ср.: "Окаянные дни", запись от 15 мая 1919 г. (*Бунин—1990.* — С. 141—142).

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934) — один из организаторов и лидер партии эсеров. В 1874—1896 гг. в тюрьме, на каторге и в ссылке. Участница революции 1905—1907 гг. В 1917 г. поддержала Временное правительство. В газетах того времени ее называли "бабушкой русской революции". Октябрьскую революцию не приняла. В 1919 г. уехала в США, где вела кампанию против большевиков. Затем переехала во Францию, с 1924 г. жила в Чехословакии.

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — лидер октябристов. Депутат и с 1910 г. председатель 3-й Государственной думы. В марте—апреле 1917 г. военный и морской министр Временного правительства. Весной 1919 г. по просьбе Деникина выехал в Западную Европу для переговоров с лидерами стран Антанты о поддержке белых армий. В эмиграции не примкнул ни к одной из политических организаций.

С. 46. *Мрачный вечер,— сентябрь того же года...* — ср.: "Окаянные дни", запись от 10 июня 1919 г. (*Бунин—1990.* — С. 158—159).

...пяло — специальный термин, обозначающий шест, доску для растяжки чего-либо; распорку.

С. 48. *"Сатирикон"* — еженедельный журнал сатиры и юмора / Ред. А.А.Радаков, с № 9 — А.Т.Аверченко, с № 20 (1913 г.) — М.Г.Корнфельд. — СПб., 1908—1913. С 1913 по 1918 г. выходил "Новый сатирикон" под редакцией А.Аверченко.

Гвоздев Кузьма Антонович (1882— ?) — из рабочих, с 1914 г. меньшевик-"оборонец", председатель рабочей секции Военно-промышленного комитета, министр труда во Временном правительстве. С 1918 г. отошел от политической деятельности.

С. 50. *"Коммунистический интернационал"* — орган Исполкома Коминтерна. — М.; Пг., 1919—1943. — Выходил на русском, англ., франц., нем., исп. и кит. языках. 1-й номер журнала вышел 1 мая 1919 г.

...заявление Горького... — имеется в виду статья А.М.Горького "Советская Россия и народы мира" (Коммунистический интернационал. — 1919. — № 1. — Стб. 139—142). См. также коммент. на с. 498—499.

"Цари и попы, старые владыки Кремля..." — неточная цитата из статьи Л.Д.Троцкого "Великое время". В оригинале: "Цари и попы — старые владыки московского Кремля — никогда, надо полагать, не предчувствовали, что в его седых стенах соберутся представители самой революционной части современного человечества. Однако, это случилось. В одной из зал дома судебных установлений, где еще бродят унылые тени уголовных статей царского уложения, ныне заседают делегаты Третьего Интернационала. Поистине, крот истории недурно рыл свои ходы под кремлевскими стенами". (Коммунистический интернационал. — 1919. — № 1. — Стб. 69—70).

С. 51. *Из опрокинутой лоханки...* — неточная цитата из стихотворения А.Мариенгофа "Днесь" (1918). У автора: "Кровь, кровь, кровь в миру хлещет, // Как вода в бане // Из перевернутой разом лоханки, // Как из опрокинутой виночерпием // На пиру вина // Бочки" (Явь: Сб. — М., 1919. — С. 12).

...когда "земля сеялась и росла усобицами", когда "редко звучал голос земледельца..." — переложение фрагмента текста из "Слова о полку Игореве": "Тогда, при Олеге Гориславиче, и сеялись и росли усобицы; погибала жизнь Дажьбожа внука; в княжих крамолах век людей коротался. Тогда по Русской земле редко взывали пахари; за то часто кричали вороны, деля между собою трупы, и поднимали свой говор галки, сбираясь лететь на покормку. <...> Но усобица князей — гибель им от поганых. Сказали они брат брату: это мое, и то мое же!.

Начали князья про малое говорить: это великое, и сами на себя стали крамолу ковать. А поганые со всех сторон набегали с победами на землю Русскую.<...> Застонал, братья, Киев с печали, а Чернигов с напасти; разлилась тоска по Русской земле; печаль глубокая течет среди земли Русской" (Слово о полку Игореве / Пер. проф. М.А.Максимовича. — 9-е изд. — СПб., 1911. — С. 20—21).

...тот Пушкинский бунт, "жестокий и бессмысленный"... — имеются в виду слова из "Пропущенной главы" романа А.С.Пушкина "Капитанская дочка": "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!".

С. 52. *"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет..."* — цитата из "Повести временных лет", где говорится: "И пошли за море к варягам, к руси. <...> Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами" (см.: Памятники литературы Древней Руси. XI—XII век. — М., 1978. — С. 37).

Васька Буслаев, горько на старости кающийся, что уж слишком было много смолоду "бито и граблено"... — Василий Буслаев — герой былин новгородского цикла (XIV—XV вв.): "Василий Буслаев и мужики новгородские" и "Василий Буслаев молиться ездил". Если в первой былине Василий Буслаев со своей "дружинушкой хороброей" бьется со всем Новгородом, то во второй он вступает в поединок с самим Роком. Буслаев говорит: "— А не верую я, Васюнка, ни в сон ни в чох, // А и верую в свои червленои вяз". В Иерусалиме Василий Буслаев "служил обедни с молебнами // Про удалых добрых молодцев, // Что смолоду бито, много граблено" (см.: Былины. — М., 1986. — С. 469—484).

..."как проснется народ"... — слова из "Дубинушки" — популярной песенной переработки стихотворения А.А.Ольхина (1829—1897).

С. 53. *...невольно вспоминаешь Хмельницкого и его сподвижников... — Хмельницкий* Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595—1657) — гетман Украины, руководитель войны против Польши в 1648—1654 гг. 8 января 1654 г. на Переяславской раде провозгласил воссоединение Украины с Россией.

"Холопы собирались в шайки, дотла разрушали гнезда..." — пересказ фрагмента из "Русской истории" Н.И.Костомарова: "Хлопы собирались в шайки, называемые тогда загонами, нападали на панские усадьбы, разоряли их, убивали владельцев и их дозорцев, истребляли католических духовных; доставалось и унитам и всякому, кто только был подозреваем в расположении к полякам. <...> Убийства сопровождались варварскими истязаниями: сдирали с живых кожи, распиливали пополам, забивали до смерти палками, жарили на угольях, обливали кипятком, обматывали голову по переносице тетивою лука, повертывали голову и потом спускали лук, так что у жертвы выскакивали глаза; не было пощады грудным младенцам. Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление и всякая жалось к ним считалась изменою. Свитки закона были извлекаемы из синагог: казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землею. <...> казаки резали иудейских младенцев и перед глазами их родителей рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на кошер (что можно есть) и треф (чего нельзя есть) и об одних говорили: это кошер — ешьте! а о других: это треф — бросайте собакам!" (Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. — М., 1991. — Кн. 2, вып. 4 и 5. — С. 243—244).

...сам Хмельницкий? "Он то постился и молился..." — пересказ текста из "Русской истории" Н.И.Костомарова. Историк писал о Хмельницком: "В его характере начало проявляться что-то странное: он то постился и молился, то

предавался пьяному разгулу и пел думы своего сочинения; то был ласков и равен в обращении со всеми, то вдруг делался суров и надменен; то молился Богу, то советовался с чаровницами" (Костомаров Н.И. — Кн. 2. — С. 248).

"Стенькин мятеж охватил всю Россию..." — слова из "Русской истории" Н.И.Костомарова: "Уже все пространство между Окою и Волгою на юге до саратовских степей и на западе до Рязани и Воронежа было в огне. <...> Имя батюшки Степана Тимофеевича неслось все далее и далее: уже в самой Москве начали поговаривать, что Стенька вовсе не вор. На севере от Симбирска, по всему протяжению нагорной стороны, поднялись язычники, инородцы, мордва, чуваши, черемисы, сами не зная, кажется, за что бунтуют. <...> Между тем посланцы Стеньки разошлись по всему московскому государству до отдаленных берегов Белого моря, пробирались и в самую столицу, распространяли в народе "прелестные" письма Стеньки, в которых он извещал, что идет истреблять бояр, дворян и приказных людей, искоренять всякое чиноначалие и власть, установить казачество и учинить так, чтобы всяк всякому был равен" (Костомаров Н.И. — Кн. 2. — С. 337, 339).

...города обращались в "казачество", все имущество этих городов "дуванилось" между казаками Стеньки, а сам Стенька каждый день был пьян и обрекал на смерть всякого ... "тех резали, тех топили..." — слова из "Русской истории" Н.И.Костомарова: "Имущество убитых было подуванено между казаками и приставшими к ним стрельцами и астраханскими жителями. Ограблены были церкви и торговые дворы: товар также делили. Астрахань была обращена в казачество. Стенька пробыл в этом городе три недели и почти каждый день бывал пьян. Он обрекал на мучения и смерть всякого, кто имел несчастие не угодить народу. Тех резали, тех топили, иным рубили руки и ноги, пускали ползать и истекать кровью. Жены казачьи и посадские неистовствовали над вдовами дворян, детей боярских и приказных. Тех, кто выказывал сострадание к жертвам, заколачивали до смерти. Астраханцы в подражание Стеньке стали в постные дни есть мясо и молоко; кто не хотел, того принуждали силою" (Костомаров Н.И. — Кн. 2. — С. 337).

С. 54. *...сам Стенька был человек своенравный...* — пересказ характеристики С.Разина из "Русской истории" Н.И.Костомарова: "Стенька Разин был человек крепкого сложения, необыкновенно предприимчивый и деятельный, человек непреодолимой воли, которая уже одна могла заставить преклониться перед ним толпу; своенравный и непостоянный, и вместе с тем неуклонный в принятом намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения,— то некогда ходивший на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, то, впоследствии, пренебрегавший посты и не хотевший знать ни таинств, ни священников. В его руках было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять, и называла его колдуном. Жестокий и кровожадный, он забавлялся как чужими, так и своими собственными страданиями. Закон, общество, церковь,— все, что стесняет личные побуждения человека, стали ему ненавистны. Сострадание, честь, великодушие — были ему незнакомы. Это был выродок неудачного склада общества; местью и ненавистью к этому обществу было проникнуто все его существо" (Костомаров Н.И. — Кн. 2. — С. 327).

...той голытьбы, которая называла себя казачеством... — Н.Костомаров в "Русской истории" писал: "Толпы беглецов укрывались на Дону и там усваивали себе понятия о казацком устройстве <...> По давнему казацкому обычаю всем давался приют на тихом, вольном Дону. Беглецы стали там называть себя казаками. Природные казаки не мешали им в этом, хотя гордились перед ними и считали себя выше их; "старых" природных казаков признавало в этом звании

и правительство, беглецов же именовало не иначе как "воровскими казаками". Сами природные казаки <...> чуждались бездомных беглецов, которых презрительно называли "голытьбою" (Костомаров Н.И. — Кн. 2. — С. 325–326).

..."рабоче-крестьянского правительства", засевшего ... в отель "Метрополь"*... — с марта 1918 г. московская гостиница "Метрополь" стала 2-м Домом Советов. Здесь разместились правительственные учреждения, проходили съезды и конференции, жили советские государственные и партийные деятели.

...Толстой говорил, что многое совершенно необъяснимое... — ср.: "Окаянные дни", запись от 22 апреля 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 109).

С. 55. *"Нет, не о человеческом достоинстве... Все в деревне несчастны..."* — слова из очерка Г.Успенского "Волей-неволей". В оригинале: "Нет! не о человеческом достоинстве говорят такие воспоминания! <...> Все несчастны, бешены, злы, подлы, измучены, все виноваты, все придавлены". (Успенский Г.И. Полн. собр. соч.: В 14 т. — М., 1949. — Т. 8. — С. 385, 388).

"Молодость души, ум, могучий и кроткий тип..." — слова из произведения Г.Успенского "Власть земли: Из записной книжки". В оригинале: "...огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива, и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук,— до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли*, покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* ослушания ее *повелений*, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование". (Успенский Г.И. — Т. 8. — С. 25).

"Прежде туда, где жили звериным обычаем... теперь остался только Каратаев и хищник..." —неточная цитата из "Власти земли". В оригинале: "Итак, в русской народной массе всегда был интеллигентный человек. Он, вооруженный христианской идеей, шел безбоязненно в массу народа, которая жила звериным обычаем. <...> Этот интеллигентный человек был настоящий работник народный и работник практический; чудеса наших угодников весьма не блещут разнообразием; да настоящие интеллигентные работники в народной среде, зная эту среду за практическую, и действовали также практически. <...> И такой человек всегда был, присутствовал в самой среде *народной массы*, работал в ней не во имя звериной, лесной правды, а во имя высшей Божеской справедливости. Наши интеллигентные прародители были так умны, знали, должно быть, так хорошо народную массу, что для общего блага ввели в нее "христианство", то есть взяли *последнее слово* и при том *самое лучшее* до чего дожило человечество веками страданий. <...> Теперь мы видим только две фигуры — Платона и хищника. Третьей фигуры — человека, который бы мог заикнуться о той правде, которую Бог видит и которую говорит устами людей,— нет и в помине. Напротив, все на стороне хищника". (Успенский Г.И. — Т. 8. — С. 84–85, 120–121).

"Почему, говорили мне не раз, вы берете..." — неточная цитата из "Власти земли" Г.Успенского: "Почему, говорили мне не раз, вы берете *только* такие возмутительные явления? Неужели в народной жизни нет явлений светлых и теплых? Двадцать раз я отвечал, что есть такие явления во множестве, но я не могу касаться их в очерках, посвященных явлениям *расстройства* народных порядков. Я волей-неволей обречен на подбор этих ужасов, которые впрочем сами лезут в глаза, потому что в господствующем течении народной жизни в "настоящую минуту" я вижу расстройство, приток дурных явлений, непропорционально великих сравнительно с явлениями устройства и расцвета душевного добра...". (Успенский Г.И. —Т. 8. — С. 114–115).

"Вот деревенский кулак, публичный дом держит — и все им восхищаются..." — Бунин своими словами передает содержание X и XI глав очерка "Малые ребя-

та", в которых идет речь о деревенских кулаках. Г.Успенский в этих главах, в частности, пишет: "Беда именно в том и состоит, что кулачество — явление не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органический недуг.

Но самая горькая и обидная черта этого явления заключается не собственно в хищничестве, а в том, что ничего другого, хотя мало-мальски равнозначащего по разработке и технике, деревенская жизнь за последнее время не представляет. <...> Что всего ужаснее, так это то, что в кулачестве вы видите несомненное присутствие ума, дарования, таланта. <...> До кулачества, до холодного, обесчеловеченного взгляда на людские отношения, деревенский человек дошел именно и, к несчастью, собственным умом, и притом умом сильным, наблюдательным, бесстрашным. <...> Говоря вообще, всякий энергический деревенский ум, за все последние двадцать лет, мог в великом изобилии питаться наблюдениями, производящими только дурное и ожесточающее впечатление. Некоторое как бы злорадство непременно должно было лечь в основание его наблюдательности.

<...> будет понятна та жестокость в невнимании к чужой беде, которая начинает руководить деревенским человеком, горьким опытом доведенным до сознания, что надо выбираться из этой хляби собственными средствами... <...> выделение таких ожесточенных непорядками людей происходило большею частию после неурожайных годов. Здесь лишний рубль дает немедленно власть не над одним каким-нибудь человеком, а над массой людей. <...> Таким образом, при кличках порицательных: "шельма", "плут", "пройдоха", "каналья", сопутствующих кулаку повсюду и имеющих основание в материальных, всеми чувствуемых ущербах, тому же самому человеку сопутствуют — и ничуть не в меньшем количестве — и похвалы: "ловко!", "отлично!", "гениально оплел!", "молодчина",— похвалы, основанные, как видите, уж на уважении к уму, таланту, дарованию. Это-то последнее уважение и есть кулацкая сила, в ней-то и заключается гибельность кулацкого влияния: он держится настолько же хищничеством, насколько и нравственным влиянием на общественное сознание, которое по множеству причин, *не может* не считать его правым, умным, а пожалуй и почтенным. <...>

...Подрастающее деревенское поколение <...> воспитывается главным образом только кулацкою моралью." (Успенский Г.И. — М., 1953. — Т. 6. — С. 342–351).

С. 56. *...в четырнадцатом году орловские бабы спрашивали меня...* — ср.: "Окаянные дни", запись от 10 июня 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 161).

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911) — критик, публицист, историк литературы, стоявший на позициях общедемократических и либерально-народнических; в 1868–1884 гг. ведущий сотрудник "Отечественных записок", затем — "Русского богатства", "Северного вестника", "Мира Божьего". Неоднократно выступал с рецензиями на произведения Бунина. См. также "Окаянные дни", запись от 20 апреля 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 101).

С. 57. *Парни* Эварист (1753–1814) — французский поэт. Один из основателей легкой поэзии.

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856) — фольклорист, археограф. Собирал русские народные песни с 1831 г. в Подмосковье, Новгородской и Тверской губерниях. Возглавил собирательскую деятельность, сумев привлечь к ней более тридцати литераторов и членов их семей. Наибольший вклад в собрание внесли фольклорист, этнограф и очеркист *Якушкин* Павел Иванович (1822–1872) и семья Языковых. Уникальное собрание Киреевского составило целую эпоху в истории русской фольклористики, создало научную базу для ее развития.

Рыбников Павел Николаевич (1831–1885) — фольклорист. "Песни, собранные П.Н.Рыбниковым" в четырех томах включают свыше 200 былин, исторических песен и других произведений, записанных в Прионежье.

Левитов Александр Иванович (1835–1877), *Орфанов* Михаил Иванович (1847–1884), *Успенский* Николай Васильевич (1837–1889) — писатели-народники. См. также с. 123, 179 наст. изд.

С. 58. *Скиталец* (наст. фам. Петров) Степан Гаврилович (1869–1941) — поэт, прозаик, публицист. Принимал участие в революционном движении. В 1900-х годах активный участник литературного кружка "Среда". Печатал свои произведения в издательстве "Знание". Принял февральскую и октябрьскую революции. С 1921 г. жил в Харбине,много печатался в местных газетах. В 1934 г. возвратился в Москву.

...Горький, тот самый Горький, который на моих глазах, в течение целых двадцати лет... — Бунин познакомился с А.М.Горьким весной 1899 г. в Ялте. Об отношении Бунина к Горькому см. очерк "Горький" в книге Бунина "Воспоминания" (*Бунин–1990.* — С. 236–243), а также статьи в наст. изд. (с. 63–64, 77–79, 134–135, 239–241, 327–329, 410–416) и коммент. к ним.

...литература, которую Толстой очень часто называл "пересоленной карикатурой на глупость"... — цитата из дневника Н.Н.Гусева "Два года с Л.Н.Толстым", в котором 29 января 1908 г. записано: "Приехал М.А.Стахович. За обедом он рассказывал о новых направлениях в искусстве.

— Для меня это новое искусство,— сказал Лев Николаевич,— новая поэзия, как стихи Бальмонта,— какая-то пересоленная карикатура на глупость. Я в них ничего не понимаю". (См.: Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. — М.: Гослитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 215).

Толстой очень часто называл ... "сплошной подделкой под художество"... — слова из предисловия Л.Н.Толстого к роману В. фон-Поленца "Крестьянин". У Толстого: "Роман этот не есть одна из тех подделок под художественные произведения, которые в таком огромном количестве производятся в наше время <...> не принадлежит и к произведениям, называемым декадентскими, особенно нравящимся современной публике именно тем, что будучи похожими на бред безумного, они представляют из себя нечто вроде ребусов, отгадывание которых составляет приятное занятие и вместе с тем считается признаком утонченности" (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. — М., 1952. — Т. 34. — С. 270).

Чехов однажды сказал мне...— ср.: "Окаянные дни", запись от 24 апреля 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 116).

Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) — в 1917 г. член Петроградского военно-революционного комитета. С 9(22) ноября 1917 г. — Верховный Главнокомандующий (до марта 1918 г.); погиб во время сталинских репрессий.

Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938) — военачальник. В 1917 г. председатель Центробалта, член Петроградского ВРК, член Комитета по военным и морским делам. В гражданскую войну командовал Крымской армией. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

С. 59. *Иванов* Вячеслав Иванович (1866–1949) — поэт, филолог, переводчик. Теоретик и один из лидеров символизма. С осени 1905 г. квартира поэта, известная как "башня" Вяч. Иванова, становится одним из центров литературной жизни Петербурга. По отношению к советской власти занял лояльную позицию. В 1918–1920 гг. один из руководителей театрального и литературного отделов Наркомпроса. В 1924 г. по линии Наркомпроса уехал за границу и поселился в Риме; стоял в стороне от всех общественно-политических начинаний русской эмиграции.

С. 60. *...по указу № 1...* — имеется в виду Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, изданный 1 марта 1917 г. Приказ во

многом уравнивал в правах солдат и офицеров. Выработку Приказа № 1 осуществила избранная Советом комиссия (председатель — член Совета офицер Н.Д.Соколов).

Стеклов (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873—1941) — в 1917 г. член исполкома Петроградского совета.

...в Англии выходили книги о русской душе,— так они и назывались: "Душа России"... — имеется в виду опубликованная в Англии в 1916 г. книга "The Soul of Russia" / Ed. Winifred Stephens. — London: Macmillan, 1916. Редактор книги В.Стивенс включила в нее статьи русских и британских авторов о русском фольклоре, музыке, живописи, театре, языке, поэзии. В книгу вошли также стихи Бальмонта и Брюсова, рассказы Куприна и Сологуба. Среди авторов статей Г.К.Честертон, Дж.Э.Гэррисон и другие англичане. Самым плодовитым исследователем "русской души" был Стивен Грэм, посвятивший этому предмету немало страниц. (По сообщению О.А.Казниной).

Кокошкин Федор Федорович (1871—1918) — юрист, публицист, один из лидеров кадетской партии. Депутат 1-й Государственной думы. В 1917 г. государственный контролер Временного правительства. Зверски убит матросами-анархистами в больнице в ночь на 7 (20) января 1918 г.

С. 61. *Еще в семнадцатом году сказал генерал Деникин...* — выступая на офицерском съезде в Могилеве (7—22 мая 1917 г.), А.И.Деникин говорил: "В силу неизбежных исторических законов пало самодержавие, и страна перешла к народовластию. Мы стоим на грани новой жизни..." Однако, подчеркивал Деникин, "глядим в будущее с тревогой и недоумением", "ибо нет свободы в революционном застенке", "нет правды в подделке народного голоса", "нет равенства в травле классов" и "нет силы в той безумной вакханалии где кругом стремятся урвать всё что возможно, за счет истерзанной Родины, где тысячи жадных рук тянутся к власти, расшатывая ее устои" (Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль—сентябрь 1917 г. — М., 1991. — С. 363). 16 июля 1917 г. на совещании в Ставке в присутствии членов Временного правительства Деникин выступил с речью, в которой обвинил правительство в развале армии и выдвинул программу ее укрепления. Деникин говорил: "Невзирая на развал армии, необходима дальнейшая борьба, как бы тяжела она не была. <...> На этом новом крестном пути русский народ и русскую армию ожидает, быть может, много крови, лишений и бедствий. Но в конце его — светлое будущее. Есть другой путь — предательства. Он дал бы временное облегчение истерзанной стране нашей... Но проклятие предательства не даст счастья. В конце этого пути политическое, моральное и экономическое рабство. Судьба страны зависит от ее армии. И я, в лице присутствующих здесь министров, обращаюсь к Временному правительству: ведите русскую жизнь к правде и свету — под знаменем свободы! Но дайте и нам реальную возможность за эту свободу вести в бой войска под старыми нашими боевыми знаменами <...> Но вы — вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними. <...> Если в вас есть совесть!" (Деникин А.И. — С. 439—440).

"Власть народа" — газета демократии и социализма. (М., 1917—1918).

"Дело народа" — ежедневная газета партии социалистов-революционеров, с июня 1917 г. — орган ЦК партии с.-р. Основана по решению 1-й Петроградской конференции эсеров. Выходит с 15 марта 1917 г. В состав редакции входили: А.И.Гуковский, В.М.Зензинов, Р.В.Иванов-Разумник, С.Д.Мстиславский, Н.С.Русанов, П.А.Сорокин, Н.Д.Авксентьев, А.Р.Гоц, В.М.Чернов. В июне 1918 г. закрыта. В октябре того же года издание возобновилось в Самаре. В марте 1919 г., в период краткосрочного легального существования партии эсеров, 10 номеров газеты было издано в Москве.

"Воля народа" — ежедневная литературно-политическая газета, орган правого крыла партии эсеров. Основана в Петрограде А.И.Гуковским и П.А.Сорокиным 22 марта 1917 г. В состав редакции вошли: А.А.Аргунов, Е.К.Брешко-Брешковская, В.С.Миролюбов, Е.А.Сталинский, Б.В.Савинков. Газета поддерживала правительство А.Керенского. За резкую критику большевистского режима издание газеты было приостановлено 26 ноября 1917 г. Далее газета выходила под другими названиями: "Воля вольная", "Воля народная , "Воля свободная" и др.

"Новое слово" — ежедневная газета / Ред.—изд. Н.А.Астапов. — М., 1918.

С. 62. *Коутс* Альберт (1882—1953) — английский дирижер. В 1911—1919 гг. дирижер Мариинского театра в Петербурге. Работал в Германии, Великобритании, Южной Африке.

...в Москве на днях в одну ночь убито семьдесят семь общественных деятелей... — 23 сентября 1919 г. московская "Правда" (№ 211) сообщала: "Недавно в Москве раскрыта ВЧК белогвардейская организация так называемого "Национального центра". Захваченные при обысках документы, вместе с показанием самих арестованных, раскрывают гнусную картину шпионства в пользу Деникина, Юденича и Колчака, с одной стороны, и дают целый ряд указаний на предполагавшееся восстание против Советской власти, с другой. <...> Во главе организации стоял хорошо известный в Москве кадет, бывший землевладелец Н.Н.Щепкин. Кроме него, входил ряд профессоров, педагогов и студентов, целый ряд генералов и полковников царской службы и вообще бывших офицеров, два князя и т.д. <...> По постановлению ВЧК расстреляно 67 членов "Национального центра" (Преображенский Е. Кто заговорщики?). В.Н.Муромцева-Бунина записала в дневник 11 (24) сентября 1919 г.: "Свершилось то, чего я так боялась: в Москве восстание, которое подавлено в самом начале. 77 человек расстреляно, среди них Щепкин, Астров, инж. Кузнецов, Алферов и многие другие" (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С. 315).

...социалистический конгресс... — речь идет о конференции Бернского Интернационала (Люцерн, август 1919).

Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959) — один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. министр Временного правительства, с 1918 г. — меньшевистского правительства в Грузии.

...сидит возле избы солдат-дезертир, курит и напевает... — ср.: "Окаянные дни", запись от 15 мая 1919 г. (*Бунин—1990*. — С. 142).

Верховный Главнокомандующий из адвокатов... — имеется в виду А.Ф.Керенский (см. коммент. на с. 475—476).

С. 63. *Минор* Осип (Иосиф) Соломонович (1861—1934) — политический деятель. С 1902 г. — эсер. 7 июля 1917 г. на 1-м заседании новой московской Городской думы избран ее председателем. Октябрьскую революцию не принял. С 1918 г. в эмиграции, где продолжал активно работать в партии эсеров. Член редакции "Воли России".

Спиридонова Мария Александровна (1884—1941) — политический деятель, эсер. В 1917—1918 гг. один из лидеров партии левых эсеров. С ноября 1917 г. член ВЦИК. С середины 1918 г. решительно выступила против большевиков. В октябре 1920 г. была задержана, некоторое время провела в лазарете ВЧК и в тюремной психиатрической лечебнице. С сентября 1921 г. жила в изоляции и под контролем ВЧК в подмосковной Малаховке, с 1925 г. в ссылке, с 1938 г. в тюрьме. 11 сентября 1941 г. по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстреляна.

Духонин Николай Николаевич (1876—1917) — с мая 1916 г. генерал-квартирмейстер штаба Юго-Западного фронта; с августа 1917 г. генерал-лейтенант, начальник штаба Западного фронта. С 3 (16) ноября 1917 г. исполнял обязан-

ности Верховного Главнокомандующего; решением Совета народных комиссаров 9 (22) ноября 1917 г. отстранен от должности. Убит солдатами у вагона Крыленко 20 ноября (3 декабря) 1917 г. после занятия им Ставки в Могилеве. По одной из версий убийство было совершено переодетым немецким офицером.

Караханян (Караханян) Лев Михайлович (1889—1937) — советский государственный деятель. Секретарь советской делегации на переговорах о Брестском мире. В 1918—1920, 1927—1934 гг. зам. наркома иностранных дел.

...убил ... за одного Урицкого тысячу ни в чем не повинных людей ... как с торжеством писала "Красная газета"... — "Красная газета"— издание Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов — выходила двумя выпусками (утренним и вечерним). Имеются в виду воззвания "Красной газеты" в вечернем выпуске 30 августа 1918 г. (№ 158): "Убит Урицкий. На единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором. <...> За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов". Утренний выпуск 31 августа 1918 г. (№ 181): "Кровь за кровь. Без пощады, без сострадания мы будем избивать врагов десятками, сотнями. Пусть их наберутся тысячи. Пусть они захлебнутся в собственной крови! <...> За кровь товарища Урицкого, за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. Зиновьева, за неотмщенную кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов — пусть прольется кровь буржуазии и ее слуг — больше крови!" В утреннем выпуске "Красной газеты" за 4 сентября 1918 г. (№ 163) передовая статья "Начало сделано" сообщала: "Вместо обещанных нескольких тысяч белогвардейцев и их вдохновителей — буржуев расстреляно едва несколько сот". См. также коммент. на с. 477—478.

О Горьком // Общее дело. — 1920. — 24 сент. (№ 89). — С. 1. — Ср.: "Окаянные дни", запись от 24 апреля и 5 мая 1919 г. (*Бунин—1990.* — С. 119, 131).

С. 63. *Еще вчера мир считал русских мужиков...* — конспект фрагмента из статьи М.Горького "Вчера и сегодня" (Коммунистический интернационал. — 1919. — № 1 (1 мая). — Стб. 29—30). У Горького: "Впереди народов идут на решительный бой за торжество справедливости бойцы наиболее неопытные и слабые — русские люди, люди страны отсталой экономически и культурно, люди измученные своим прошлым более других. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они, почти умирая с голода, идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы. <...> Каждый честный человек должен признать всемирное значение тех деяний, которые совершаются честнейшими революционерами России. <...> Честное сердце — не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать, пока бьется сердце,— русский рабочий верит, что его братья по духу не дадут задушить революцию в России, не позволят воскреснуть всему, что смертельно ранено и издыхает, исчезает, исчезнет,— если великие задачи сегодня будут поняты революционной мыслью Европы".

В том же номере журнала опубликована еще одна статья М.Горького "Советская Россия и народы мира" (Стб. 139—142), в которой автор, в частности, писал: "Вполне понятно напряженное внимание к России со стороны всего трудового человечества,— мы делаем мировое, планетарное дело".

С. 64. *Недавно Горький разразился новой хвалой Ленину...* — имеется в виду статья М.Горького "Владимир Ильич Ленин" (Коммунистический интернационал. — 1920. — № 12 (20 июля). — Стб. 1927—1936). См. также коммент. на с. 513.

...осенью 1914 г., говорил он в Москве, в Юридическом о<бщест>ве... — 20 ноября 1914 г. вечером, в день 50-летия судебных уставов, в юридическом собрании состоялся товарищеский чай, на который были приглашены некоторые особо почетные гости. Среди них присутствовали М.Горький и академик

И.Бунин. М.Горький выступил с краткой речью. (Утро России. — М., 1914. — 21 нояб. (№ 288). — С. 6).

"Перед нами — компания авантюристов..." — цитата из передовой статьи без подписи "Позорный финал", посвященной заключению Брестского мира. (Новая жизнь. — 1918. — 20 февр. (№ 29). — С. 1). В оригинале: "Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради продления хоть на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на все, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов социализма, интересов несчастного российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых, подготовляя своему обманутому доверителю ужаснейшую Голгофу".

Суп из человеческих пальцев // Свободные мысли. — 1920. — 27 сентября (№ 2). — С. 2. — См. также "Из записной книжки" (с. 101–103 наст. изд.).

С. 64. *...Горький обратился к ... Уэллсу...* — имеется в виду письмо А.М.Горького к английскому писателю Герберту Уэллсу (1866–1946) от 22 мая 1920 г. (Коммунистический интернационал. — 1920. — № 12 (20 июля). — Стб. 2207–2208. Письмо было перепечатано: Петроградская правда. — 1920. — 25 июля (№ 163). — С. 3). Бунин приводит это письмо не дословно и не полностью. У Горького: "Дорогой Уэллс! "Times" от 26 апреля поместил на страницах своих рассказ англичанина, вернувшегося из России; англичанин сообщает, что в одной из коммунальных столовых Петербурга он ел суп, в котором плавали человеческие пальцы.

Если б эта мрачная глупость была напечатана в уличном листке, цель которого — дать пищу дурным инстинктам толпы,— я, конечно, не обратил бы внимания на дикую выходку человека, видимо, раздраженного и, должно быть, неумного, но, так как его рассказ нашел себе место в "Times", я нахожу необходимым известить Вас, что рассказчик солгал.

Поверьте, дорогой Уэллс: мы русские, все-таки еще не дошли до каннибализма и — я уверен,— не дойдем до этого, несмотря на то, что высококультурные государства Запада весьма озабочены созданием для России таких условий, которые помогли бы скорейшему и окончательному одичанию и вырождению русского народа.

Мы живем в такие дни, когда самое разнузданное и злое воображение не может создать ложь и клевету, которые были бы страшнее и постыднее правды.

Одной из таких отвратительных правд является травля России,— страны, напрягающей всю свою волю на творчество социального опыта, имеющего, несомненно, общечеловеческое, общемировое значение.

Следовало бы предоставить нас, русских, нашему разуму или нашему безумию, то и другое может быть одинаково поучительно для Европы.

Но Европа — в лице Англии и Франции — стремится задушить нас. Не думаю, чтоб это удалось ей, но возможно, что ее политика по отношению к России толкнет русских в сторону Азии. Не предвидите ли Вы в этом возможном союзе с народностями Азии страшную угрозу культуре Европы?

Для меня лично этот вопрос становится кошмаром.

Позвольте в заключение письма сказать Вам несколько слов о Ленине.

В "Times" говорится о роскоши и азиатском раболепии, которые, якобы, окружают этого человека. Это — ложь.

Ленин совершенно чужд увлечению своей властью. По натуре он — пуританин, он живет в Кремле так же просто и скромно, как жил в Париже, будучи эмигрантом. Это очень крупный человек и честный человек. Он играет в России роль грандиозного плуга, который неустанно пашет землю засоренную, неплодородную.

Поверьте, что я не закрываю глаза на отрицательные явления, созданные войной и революцией, но я вижу также, как в русской массе пробуждается воля к творчеству, как народ постепенно становится силою активной. А для меня актуализм — начало всех начал, ибо "в начале было деяние".

Желаю Вам всего доброго, Уэллс!".

С. 65. *...язык, упрощенный заборным правописанием...* — имеется в виду новая орфография, против которой Бунин всегда выступал (см. с. 232–233 наст. изд.).

С. 66. *...будто китайцы торгуют в Петрограде человеческим мясом...* — слухи о людоедстве в России во время голода 1919–1922 гг., которые отрицал Горький, могут быть документально подтверждены. Так Информационный отдел ГПУ регулярно посылал государственно-партийному руководству совершенно секретные сводки о политическом и экономическом положении во всех губерниях. Вот некоторые сообщения: из сводки от 3 января 1922 г. по Самарской губернии: "Наблюдается голодание, таскают с кладбища трупы для еды. Наблюдается, детей не носят на кладбище, оставляя для питания...". Из госинфсводки от 28 февраля 1922 г. по Актюбинской губернии и Сибири: "Голод усиливается. Учащаются случаи голодной смерти. За отчетный период умерло 122 человека. На рынке замечена продажа жареного человеческого мяса, издан приказ о прекращении торговли жареным мясом. В Киргизском районе развивается голодный тиф. <...> В Тарском районе в некоторых волостях население сотнями умирает от голода. Большинство питается суррогатами и падалью...". Из госинфсводки от 14 марта 1922 г. еще раз из Самарской губернии: "В Богоруслановском уезде зарегистрировано несколько случаев людоедства" (см.: Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. — М., 1994. — С. 154).

Людендорф Эрих (1865–1937) — немецкий генерал (1916), один из идеологов германского милитаризма. В 1914–1916 гг., являясь помощником генерала П.Гинденбурга, фактически руководил военными действиями на Восточном фронте; в 1916–1918 гг. командовал всеми вооруженными силами Германии. В 1924–1928 гг. депутат германского рейхстага от Национал-социалистической партии. Активный поборник развязывания новой мировой войны, автор концепции "тотальной войны".

С. 67. *..."спасите наши души!"...* — имеется в виду статья Л.Н.Андреева "Спасите! (SOS)" (Общее дело.— 1919.— 24 марта (№ 40)— С. 2).

С. 68. *"Ах, зачем ты не сделала аборт!"* — неточная цитата из стихотворения А.Мариенгофа "Твердь, твердь за вихры зыбим..." (1918 г.). В оригинале: "Мария, Мария, кого вынашивала! // Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!..". (Явь: Сб. — М., 1919. — С. 21).

...какие бы бриллианты не посылали они с Каменевым в Англию... — *Каменев* (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936) — в 1917–1927 гг. член ЦК ВКП(б), в 1918–1926 гг. — председатель Моссовета. В январе 1918 г. по поручению Ленина поехал в Англию с целью информирования о совершившемся в России перевороте и о задачах Советского правительства. Через неделю был арестован и выслан из Англии. В 1936 г. по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" приговорен к расстрелу.

Красный гимн // Общее дело. — 1920. — 24 октября (№ 101). — С. 2. — Позднее Бунин вновь опубликовал эту статью под заглавием "Гимн" (Утро. — 1922. — 18 февраля (№ 42)), а затем как часть "Записной книжки" (Возрождение. — 1926. — 1 апреля (№ 303)). См. коммент. на с. 549.

С. 68. *Петлюра* Симон Васильевич (1879–1926) — один из руководителей украинского националистического движения и лидер Украинской социал-демократической рабочей партии; был в числе организаторов Центральной рады

(1917 г.) и Директории (1918 г.), глава ее с февраля 1919 г. После разгрома Директории бежал в Варшаву.

С. 70. *Аспазия* — Аспасия (ок. 470 г. до н.э.– ?) — гетера в древних Афинах. Отличалась умом, образованностью и красотой; в ее доме собирались художники, поэты, философы. С 445 г. жена Перикла.

"Пресловутая свинья" // Общее дело. — 1920. — 30 октября (№ 107). — С. 2.

С. 71. *Раковский* Христиан Георгиевич (1873–1941) — советский государственный и партийный деятель, с 1889 г.— участник социал-демократического движения в Европе (Болгария, Швейцария, Германия, Франция, Румыния, Россия). Член ЦК партии в 1919–1927 гг. С марта 1918 г.— председатель Совнаркома Украины. В сентябре 1918 г.переехал в Москву и возглавлял политуправление Реввоенсовета Республики. С освобождением Харькова от белых — снова председатель Совнаркома Украины; член советской делегации на Генуэзской конференции. С 1923 г.— полпред в Великобритании, в 1925–1927 гг.— во Франции, в 1927 г. по требованию французского правительства отозван в Москву.

"Ультиматум" Раковского Румынии...— ср.: "Окаянные дни", запись от 21 апреля 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 103).

Нансен Фритьоф (1861–1930) — норвежский исследователь Арктики. В 1914–1918 гг. верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных, один из организаторов помощи голодающим Поволжья.

...рядом стишки Абрашки-Гармониста... — ср.: "Окаянные дни", запись от 23 апреля 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 109).

"Абрашка-Гармонист" — Регинин Василий Александрович (1883–1952) — журналист, сотрудничал в газетах "Новая жизнь", "Биржевые ведомости", редактировал журнал "Аргус". В годы гражданской войны писал одноактные пьесы, стихи и фельетоны для красноармейской печати.

Колчак А.В. — см. коммент. на с. 511.

Клемансо Жорж (1841–1929) — премьер-министр Франции в 1906–1909, 1917–1920 гг.

С. 72. *Григорьев* Николай Александрович (1894–1919) — штабс-капитан царской армии, украинский националист, петлюровский атаман: присоединился со своим отрядом к Красной Армии и участвовал в боях за Одессу в 1919 г., поднял антисоветский мятеж, после подавления которого бежал к махновцам и был ими убит.

Подвойский Николай Ильич (1880–1948) — советский партийный, военный деятель. В 1917 г. председатель Всероссийского бюро военных организаций при ЦК РСДРП(б), один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания, председатель Петроградского ВРК. С 1918 г. участвовал в создании Красной Армии, член РВС Республики, нарком по военным и морским делам УССР.

С. 73. *...некрологи: "ушел еще один из нас!..."* — ср.: "Окаянные дни", запись от 26 мая 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 147).

"Завтра в зале Пролеткульта грандиозный Абитур-Бал..." — ср.: "Окаянные дни", записи от 9 и 24 мая 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 137, 146).

...обезьяна, остервенело, с пеной у рта катающая чурбан... — имеется в виду сюжет басни И.А.Крылова "Обезьяна".

С. 75. *...горьковская "Беседа о труде"...* — Горький А.М. Беседы о труде // Петроградская правда. — 1920. — 10 июля (№ 151), 13 июля (№ 153). *"Что такое рабочий? Это человек..."* — конспект первой "Беседы о труде". У Горького: "Что такое рабочий? Это человек, который взял почти бесформенный кусок той или иной материи — железную руду, глину, дерево — создает из этого куска вещи и орудия прекрасной формы и огромной полезности: точнейшие измери-

тельные аппараты, сложные, почти живые машины, стекло, красивую мебель и все, что облегчает труд людей, украшает их жизнь.

Все на поверхности земли создано работой человека и каждая вещь нашего обихода являет собою кристаллизованную плоть и кровь рабочего,— каждая вещь,— какова бы они ни была — воплощение человеческой энергии.

Это — неоспоримая истина. А если так, то казалось бы, что рабочие должны глубоко понимать культурное значение своего труда и высоко ценить все то, в чем они воплотили свои силы. Особенно ясно следовало бы понять, что именно теперь, когда все сокровища страны, созданные энергией трудового народа, стали собственностью всех, кто произвел эти сокровища, собственностью всей нации, а не достоянием немногих тысяч "хозяев", буржуазии, как это было до революции. Но и до сего дня у нас все еще не понимают этого. <...>

— Нам все равно, это не наше,— говорит самарский дикарь, ломая в Петрограде превосходную мебель на топливо. А дикарь пензенский уничтожает вещи в Самаре, и так по всей России идет процесс бессмысленного уничтожения плодов труда — вещей, необходимых для жизни.

Есть еще и другое отношение, это отношение глупых хвастунов, которые, ломая и разрушая, самонадеянно говорят:

— Мы сделаем лучше. <...>

Поэтому и морально и политически нам необходимо воспитать в себе иное, более бережное отношение к национальному имуществу, которое разрушается и исчезает из обихода нашего со страшной быстротой".

Князев Василий Васильевич (1887—1937) — поэт-сатирик, критик, собиратель фольклора. Выступал в печати с 1905 г.; после революции — сотрудник многих советских изданий. Репрессирован, погиб в лагере.

Гастев Алексей Капитонович (1882—1939 или 1941) — поэт, революционный и профсоюзный деятель, ученый. В 1901—1908 гг. член РСДРП, с 1931 г. член ВКП(б). В 1920 г. организовал в Москве Центральный институт труда при ВЦСПС (ЦИТ), которым руководил до 1938 г. Погиб во время сталинских репрессий.

Филипченко Иван Гурьевич (1887—1939) — поэт. В 1918—1928 гг. сотрудник редакции "Правда". Незаконно репрессирован.

...и "Правда", разбирая с величайшей серьезностью его "новые достижения"... — имеется в виду рецензия К.Федина "Поэзия подражаний" (Петроградская правда. — 1920. — 1 сент. (№ 193). — С. 3) на книгу Сергея Ивановича *Малашкина* (1888—1988) "Мятежи: Стихи" (Н.-Новгород, 1920). Приведя несколько отрывков из книги, Федин пишет: "Внешне и на первый взгляд такие стихи могут напомнить удивительные гимны Уитмана...". Далее, сравнивая стихотворения-портреты Малашкина, Федин заключает: "...гораздо сумбурнее "портрет" Ленина. Автор задает о Ленине такой вопрос: "Кто же он? Сумасшедший? // Или просто нахал, // Что на веке пришедшем // Сердце России в крови растоптал?" Прямого ответа на этот вопрос поэт не дает, а только намекает, что такой вопрос мог родиться в низких душах рабов, которые изничтоженные величием фигуры Ленина, "шипя уползут в мглу", подобно кобрам. А Ленин <...> это образ. Но образ не величайшего революционера, а безумца-еретика. Намерение оперировать одними образами мешает логическому течению мысли. В таких стихах много изображено, но или ничего не сказано, или сказано не то, что автор думал. Так, от влияния к влиянию, от подражания к подражанию бросается С.Малашкин, мечется, ищет. Целая плеяда новых, молодых, будущих ищут и мечутся вместе с тем. Жаль, что вся эта новь не распознает сразу подоплеку афиширующих себя пустозвонов-имажинистов. Жаль, что и этот этап подражания скверным образцам должен быть пройден".

"Многогранность" // Общее дело. — 1920. — 5 ноября (№ 113). — С. 2.

С. 77. *"Думали многие и, может, и сейчас думают, что большевики..."* — неточные цитаты из статьи писателя, публициста, автора очерков о жизни в советской России 20-х годов Бориса Федоровича *Соколова* (1893— ?) "Интеллигенция: Среди ученых" (Последние новости. — 1920. — 30 октября (№ 160). — С. 2), в которой автор пишет о положении ученых в советской России и, в частности, о физиологе, академике Петербургской Академии наук с 1907 г. Иване Петровиче *Павлове* (1849—1936) : "Большевики охраняют, берегут науку", так думали многие и думают, может быть, сейчас в Европе.

— Но разве может существовать русская наука во время революций? — иронизируют те, кто умеет смеяться сквозь слезы.

— Но во всяком случае, когда будете в Европе, разрушьте легенду о наукофильстве большевиков.

— Два года — мы ученые — были париями советского правительства. Мы не получали пайков, кроме карточки В, карточки буржуазных прихвостней. Наш оклад был ниже голодной нормы. Наши лаборатории были без дров и газа. Нас арестовывали. Но мы терпели и молчали. И молча умирали.

За $2^1/_2$ года существования советского строя умерло 40% профессуры и врачей. В моем распоряжении списки умерших, полученные мною из Дома Ученых и Дома Литераторов. <...>

Для иллюстрации отношения советского правительства к русской науке я приведу в заключение переписку между Лениным и известным физиологом Павловым, о котором в сентябре говорил весь Петроград. "Я прошу Вас разрешить мне выезд за границу. Я не могу принять советского строя. Но в то же время я — аполитичен, как аполитична наука. И хочу только одного — закончить свои работы, которые нельзя реализовать теперь в России и которые могут быть нужны человечеству". Ленин на это ответил через значительный промежуток времени Комиссариату народного просвещения. "Сообщите гражданину И.Павлову, что выезд его за границу советской республики разрешен быть не может. России нужны ученые... Я не уверен, что проф. Павлов не будет агитировать против нас. Но дабы гражданин Павлов мог бы работать, предоставить ему индивидуальный паек и топливо". На это Павлов ответил через Комиссариат нар<одного> просвещения: "Я благодарю за попечение обо мне гр. Ленина, но я не могу принять этой помощи, не могу быть сытым, в то время, когда мои коллеги и друзья по науке умирают от истощения десятками. Русская наука была независима и будет таковой..."

"Богатство и величие страны измеряются мощью и величием..." — конспект письма А.М.Горького к В.И.Ленину от 6 сентября 1919 г. Это письмо было опубликовано в эмигрантской прессе: Воля России. — Прага, 1920. — 2 октября (№ 18); Народное дело. — Таллинн, 1920. — 2 октября; Последние новости. — 1920. — 29 октября (№ 159). Горький писал Ленину по поводу массовых арестов среди интеллигенции в Петрограде: "Считаю нужным откровенно сообщить Вам мое мнение по этому поводу: для меня богатство страны, сила народа выражается в количестве и качестве ее интеллектуальных сил. Революция имеет смысл только тогда, когда она способствует росту и развитию этих сил. К людям науки необходимо относиться возможно бережливее и уважительней,— особенно необходимо у нас, где семнадцатилетние мальчики идут в казармы и на бойню гражданской войны и где — поэтому — рост интеллектуальных сил будет надолго задержан. Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг. Очевидно — у нас нет надежды победить и нет мужества с честью погибнуть, если мы прибегаем к такому варварскому и позорному приему, каким я считаю истребление научных сил страны. Что значит этот прием самозащиты,

кроме выражения отчаяния, сознания слабости или — наконец — желания мести за нашу собственную бездарность? Я решительно протестую против этой тактики, которая поражает мозг народа, и без того достаточно нищего духовно. <...> Огромное большинство представителей положительной науки нейтрально и объективно, как сама наука: это люди аполитичные. Среди них большинство — старики, больные: тюрьма убьет их: они уже достаточно истощены голодом. Владимир Ильич! Я становлюсь на их сторону и предпочитаю арест и тюремное заключение участию — хотя бы и молчаливому — в истреблении лучших, ценнейших сил русского народа. Для меня стало ясно, что "красные" такие же враги народа, как и "белые". Лично я, разумеется, предпочитаю быть уничтоженным "белыми", но "красные" тоже не товарищи мне" (цит. по кн.: Неизвестный Горький: Материалы и исследования. — М., 1994. — Вып. 3. — С. 29–30).

...повесили большевики плакаты по всему Петербургу: "Примирение русской интеллигенции с советской властью!" — и ассигновали Горькому миллионы на издание "Пантеона всемирной литературы"... — в вечернем выпуске "Красной газеты" за 10 сентября 1918 г. (№ 167) опубликована статья "Максим Горький — в наших рядах", в которой сообщалось: "На днях Максим Горький приступит, с согласия Комиссариата Просвещения, к изданию Всемирной литературы. Предполагается издать свыше 260 томов сочинений писателей всех народов. <...> Максим Горький будет ответственным редактором этого издания. <...> В беседе с тов. Луначарским он заявил, что после покушения на пролетарских вождей он окончательно решил встать в ряды советских работников". 6 октября 1918 г. в "Красной газете" (№ 211) в статье "Под наше знамя" говорилось: "К рабочему классу вернулся его любимый сын. Максим Горький снова наш. Он пришел и тихо, незаметно стал помогать по хозяйству отцу — пролетарию русскому. Сегодня он выступит всенародно живым звеном между пролетариатом и прозревшей интеллигенцией".

С. 78. *"Я далек от политики... сам у большевиков на подозрении..."* — цитаты из статьи Б.Соколова "Беседа с М.Горьким" (Свободные мысли. — 1920. — 1 нояб. (№ 7). — С. 3), в которой автор сообщал: "Известный русский писатель — самая загадочная, неразгаданная фигура на фоне советской России. Как будто большевик. И в то же время их противник. Защитник их и друг. И в то же время один из тех, кто не приемлет большевизма, кто чужд ему и далек. В Петрограде я имел беседу с Горьким. Неофициальная, или полуофициальная, она заслуживает внимания по некоторым штрихам, характеризующим личность этого человека. "Я далек от политики. Сейчас более, чем когда-либо я ушел от всех вопросов, как внутренней, так и внешней политики советского правительства. Сейчас я посвящаю себя всецело "Дому Ученых" и улучшению быта ученых. Работаю в издательстве "Всемирная литература". Никогда ни в одной стране, ни при одной революции не было такого тяжелого положения, как то, в котором сейчас пребывает российская наука и русские ученые. <...> Я защищаю всеми силами русскую науку и русских ученых от большевиков. Но... это не всегда удается. Я сам у них в подозрении и недавно еще у меня делали обыск, искали оружия и бомб. Советская власть упорно хочет добиться "зависимости от нее русской науки". Ну, а последняя защищается и защищается энергично. Сейчас судят в революционном трибунале известного хирурга Федорова и ему грозит пожизненное заключение. Судят за контрреволюцию — и я бессилен что-либо сделать. Меня не слушают. В Москве в тюрьме просидел целый год по одному только подозрению прекрасный хирург Николай Воскресенский. К сожалению, я бессилен добиться его освобождения. Чрезвычайная Комиссия сильнее меня. Несчастие российской советской власти это то, что 95 процентов коммунистов — нечестные люди, далекие от коммунизма, склонные к мошен-

ничеству и взяткам. В большинстве спекулянты. Я — противник смертной казни. Но в отношении большей части "коммунистов" я оставил бы смертную казнь, как необходимое средство для "очистки революции". И тем не менее работать с советским правительством необходимо... Таково мое мнение. Может быть удастся очистить советские "конюшни". Сказанное Максимом Горьким — неполно и немного. Он не отвечает, он не ответил на основной вопрос. Как можно идти рука об руку с людьми, чья нечистоплотность ему ясна. Ибо впервые, вероятно, Горькому пришлось так откровенно и так определенно высказаться и притом перед полузнакомым ему человеком — о советской власти. Российская интеллигенция не может простить Горькому двойственности его поведения, не может и не считает его своим. Он "советский". А Горький не хочет быть "советским". <...> Максим Горький считает, что он не большевик, что он не с ними. Но русская интеллигенция считает его большевиком и двойственности его позиции не понимает и не принимает".

<Ответ на анкету "Общего дела" по поводу трехлетия большевизма> // Общее дело. — 1920. — 7 ноября (№ 115). — С. 3.

С. 80. ***...мы, "либерально, невинно, мило болтавшие, по выражению Достоевского, пленявшиеся лишь чувствительной стороной социализма, надевавшие лавровые венки на вшивые головы"...*** — неточная цитата из романа Ф.М.Достоевского "Бесы" (ч. 1, гл. 1, IX). У Достоевского: "...у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтавня. "Высший либерализм" и "высший либерал", то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. <...> — Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками,— заключил <С.Т.Верховенский ...>,— мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы."

Несколько слов английскому писателю // Общее дело. — 1920. — 24 ноября (№ 132). — С.2; 25 ноября (№ 133). — С.2.

В рукописи статья называлась "Мой ответ Уэллсу". Год спустя, просматривая газетную публикацию, Бунин внес в нее редакторскую правку, датировав ее 24–25 ноября 1921 г. (Русский архив в Лидсе. Фонд И.А.Бунина). Статья Бунина является откликом на публикацию очерков Г.Уэллса о России в английской газете "Sunday Express" в октябре–ноябре 1920 г. К полемике с Уэллсом Бунина привлекла А.В.Тыркова-Вильямс, с которой Буниных связывала давняя дружба. По делам англо-русского Комитета Освобождения России А.Тыркова нередко приезжала во Францию и навещала друзей. В дневниковой записи от 14 ноября 1920 г. В.Н.Муромцева-Бунина отметила один из визитов А.Тырковой и ее мужа Г.Вильямса и записала о Тырковой: "Она горит желанием борьбы" (*"Устами Буниных"*. — Т. 2. — С. 18). А в записи от 21 ноября, то есть две недели спустя, ею отмечено: "Весь день перестукивала статью Яна против Уэллса" (Там же).

А.Тыркова и Г.Вильямс познакомились с Г.Уэллсом во время его первого двухнедельного визита в Россию в январе 1914 г. Помимо посещения Петербурга и Москвы писатель в тот приезд провел несколько дней в Вергеже, имении Тырковых, знакомясь с крестьянским хозяйством. Вскоре по возвращении в Лондон Г.Уэллс опубликовал статью "Россия и Англия: Эссе о контрастах" (Russia and England: A Study in Contrasts // Daily News. — 1914. — 1 Feb.). Позднее российские впечатления нашли отражение в воспитательном романе "Джоанна и Питер" (1918). В годы войны и русской революции Россия была постоянной темой публицистики и эссеистики Уэллса. Писатель приветствовал большевистскую революцию и выступал против интервенции, считая, что Россия должна сама решать свои проблемы. Его отношение к русскому вопросу, его

план разрешения "русской проблемы" были близки к тому, к чему склонялось английское правительство во главе с Ллойд Джорджем. Авторитет Уэллса в английском общественном мнении был чрезвычайно высок, каждое его выступление в печати, в том числе и по русскому вопросу, имело огромный вес.

Опыт знакомства Уэллса с Россией, его размышления о русской революции заняли заметное место в его "Очерке всемирной истории" ("Outline of History", 1920). Книга получила широкий отклик в западной печати. 11 февраля 1920 г. Уэллс послал часть рукописи М.Горькому, спрашивая, нельзя ли перевести книгу на русский язык. В конце апреля М.Горький ответил ему, что книга ему нравится и что он считает необходимым перевести ее. Таким образом возник повод для второй поездки в Россию. В сентябре 1920 г. на одном из приемов у Б.Уэбб, известной английской социалистки, Уэллс познакомился с Л.Каменевым и Л.Красиным, и получил от них приглашение приехать в Россию. От этой поездки многого ждали и англичане, надеявшиеся узнать правду о России из авторитетных уст, и русские эмигранты, верившие в то, что картина голода и разрухи лишит Уэллса иллюзий о построении в России нового благополучного общества, а правдивый рассказ писателя повлияет на позицию политических деятелей и на общественное мнение в Англии в отношении России.

Перед отъездом Уэллс заключил договор с английской газетой "Sunday Express" о публикации серии статей о России и получил крупный аванс, с условием не публиковать никаких интервью в других периодических изданиях. Пять публикаций Уэллса увидело свет в номерах "Sunday Epress" за 31 октября, 7, 14, 21 и 28 ноября 1920 г., а в начале 1921 г. вышла в свет книга "Россия во мгле" ("Russia in the Shadows"), в которой газетный материал был отредактирован автором. В газетных очерках, так же как в книжном варианте текста и других источниках (например, в автобиографии Уэллса "Experiment in Autobiography". — London, 1934. — Vols 1–2), указаны лишь приблизительные даты визита писателя в Россию. В российских газетах тех времен визит английского писателя не получил широкого освещения, так как его затмевали события более крупного масштаба. Вслед за Уэллсом его биографы из публикации в публикацию повторяют, что он приехал в Россию в конце сентября и пробыл там пятнадцать дней. В действительности визит продолжался значительно дольше. На основе сопоставления различных документов исследователям удалось прояснить даты некоторых основных событий пребывания английского писателя в России.

Уэллс приехал в Россию со своим сыном Джипом не позднее 28 сентября 1920 г. (Летопись жизни и творчества М.Горького. — М., 1959. — Вып. 3: 1917–1929. — С. 187). К.И.Чуковский отметил его приезд в дневниковой записи от 3 октября 1920 г.: "...приехал Wells и началась неделя о Уэллсе" (Чуковский К.И. Дневник. 1901–1929. — М., 1991. — С. 148). Сопоставление дат убеждает в том, что начало визита Уэллса следует отнести к 25 сентября. Первые десять дней Уэллс провел в Петрограде, где остановился в квартире М.Горького на Кронверкском проспекте. Переводчиком Уэллса была секретарша М.Горького М.И.Будберг, а гидом К.Чуковский. Уэллс посетил издательство "Всемирная литература", советскую школу, бывшее Тенишевское училище, Академию наук, Дом Ученых, Эрмитаж, оперу, где слушал Ф.И.Шаляпина.

Затем писатель отправился в Москву, где находился с 4 по 6 октября и беседовал с Лениным. Как ни удивительно, никаких документов о приеме Лениным Уэллса не сохранилось, однако историкам все же удалось выяснить, что беседа состоялась 6 октября 1920 г. (см.: Савицкая Р.М. Как была установлена дата беседы В.И.Ленина с Г.Уэллсом // Вопросы истории КПСС. — 1965. — № 4. — С. 91–92). На следующий день, если судить по книге Уэллса, он через Петроград отправился в Ревель. Однако существует убедительное под-

тверждение тому, что в Ревель он отправился не сразу: 7 октября Уэллс выступал в Петроградском Совете (см.: Кагарлицкий Ю.И. Послесловие // Уэллс Г. Россия во мгле: Сб. / Пер. с англ.; Предисл. акад. И.М.Майского. — М., 1970). Это выступление стало одним из важнейших моментов визита Уэллса, оно вызвало бурную ответную реакцию как в западных кругах, так и в среде русской эмиграции. Речь писателя, изложенная в московской "Правде" от 12 октября 1920 г., обсуждалась в британской газете "Daily Herald" от 13 октября и в американской "New York Times" от 14 и 16 октября. (Текст речи Уэллса цит. в ст.: Ковалев Ю. Г.Уэллс в Петербурге и Петрограде // Вторжение в Персей: Сб. — Л., 1968. — С. 425).

20 октября 1920 г. Уэллс приехал в Ревель, а 24 октября вернулся в Лондон — эта дата значится на его письме к М.Горькому о снабжении России научными книгами (М.Горький и наука. — М., 1964. — С. 203–204). Дату возвращения в Англию подтверждает и письмо Уэллса к А.В.Тырковой от 26 октября 1920 г., которое начинается словами: "Я только что из Советской России" (Бахметевский архив. Фонд А.В.Тырковой). Таким образом поездка Уэллса по России заняла месяц, но писателю по какой-то причине показалось нужным представить читателям этот визит как более краткий.

До публикации отчетов Уэллса в английской прессе его поездка освещалась в русской эмигрантской печати, корреспонденты которой внимательно просматривали советские газеты. Кроме того, в печати появились свидетельства очевидцев: в очерке А.Ф.Даманской в сатирических тонах детально описан прием, продуманно организованный М.Горьким и его окружением (Даманская А. Г.Уэллс в Петрограде // Народное дело: Орган Комитета группы социалистов-революционеров Северо-Западной области России. — 1920. — 8 окт. (№ 55). — С. 2).

Одни из первых откликов в периодике Русского Зарубежья на сообщения в печати о визите Уэллса в Россию появились в журнале "The New Russia", который издавался в Лондоне Комитетом Освобождения России под редакцией П.Н.Милюкова при активном участии А.В.Тырковой. Первая публикация появилась в октябрьском номере 3-его тома журнала за 1920 г. под заголовком "Россия глазами англичанина: наивности г-на Уэллса" (№ 38 (October 21). — P. 250). В ноябрьских номерах опубликованы ответы на газетные публикации Уэллса. Весь номер за 4 ноября озаглавлен "Узость взглядов г-на Уэллса" и содержит две публикации: "Обозрение недели. Г-н Уэллс: крах большевизма" (№ 40 (November 4). — P. 289), и "Россия глазами англичанина: Первая статья г-на Уэллса" (Ibid. — P. 308–311). В следующих номерах под рубрикой "Обозрение недели" опубликованы отклики на последовавшие статьи Уэллса: "Г-н Уэллс, Горький и Шаляпин: Вторая статья" (№ 41 (November 11). — P. 326); "Дилетантизм г-на Уэллса: Третья статья" (№ 42 (November 18). — P. 357); "Гнев г-на Уэллса: Четвертая статья" (№ 43 (November 25). — P. 394).

Ответ Бунина Уэллсу первоначально был написан для журнала "The New Russia". 22 ноября он выслал А.В.Тырковой свою статью, сопроводив ее письмом, в котором заметил: "Возразить ему было очень трудно, я сделал, что возможно". (См.: "Вы — друг старый и верный...": Письма И.А.Бунина к А.В.Тырковой-Вильямс / Публ. Р.Янгирова // Минувшее. — М., 1994. — Вып. 15. — С. 165–192. Ссылка в этой публикации на номер и страницы журнала, где появились ответы Бунина, неточна: том 3, № 40, на который ссылается автор, вышел 4 ноября 1920 г., то есть до того, как Бунин выслал свою статью). Если Бунин выслал свою статью 22 ноября, то она могла быть опубликована не ранее 25 числа этого месяца, то есть в № 43. Однако дать исчерпывающе точные библиографические сведения о публикации ответа Бунина сложно: статья печаталась в переводе на английский среди выступлений

других авторов, без подписи, лишь со ссылкой на авторство в предисловии. Кроме того, частные беседы Бунина с Тырковой могли найти отражение и в предшествующих номерах журнала, так как в публикациях, развенчивающих Уэллса, Тыркова несомненно приняла участие. В первом обозрении, за октябрь, можно узнать мысли и некоторые определения Бунина. Например, выражение "наивности г-на Уэллса", использованное в названии, возможно, было заимствовано у Бунина, который писал: "...мне было стыдно за наивности этого туриста, совершившего прогулку к "хижинам кафров", в гости к Горькому...". С другой стороны, это определение могло быть общим местом в ответах Уэллсу.

Резонанс, вызванный очерками Уэллса о России, долго не затухал. В начале декабря У.Черчилль с иронией писал в той же газете, где публиковались очерки Уэллса: "Он сумел за две недели во всем разобраться и стать специалистом по русским делам" (Churchill Winston. Mr. Wells and Bolshevism // Sunday Express. — 1920. — 5 Dec.). Вскоре открытое письмо английскому писателю опубликовал Д.С.Мережковский (Письмо Уэллсу // Свобода. — Варшава, 1920. — 12 дек. (№ 125)). С саркастическим предисловием Н.С.Трубецкого вышел в Софии русский перевод книги Уэллса (Уэльс Г.Д. Россия во мгле / Пер. с англ.; Предисл. кн. Н.С.Трубецкого (с. III–XVI). — София: Российско-болгарское кн-во, 1921). С разоблачительными воспоминаниями о приеме Уэллса в России выступил еще один свидетель — А.В.Амфитеатров (Горестные заметы // Новая русская жизнь. — Гельсингфорс, 1921. — 27 сент. (№ 221); 28 сент. (№ 222). См. также: Амфитеатров А.В. Горестные заметы: Очерки красного Петрограда. — Берлин: Грани, 1922. — С. 59–74). Вспоминая выступление Бунина два года спустя, Амфитеатров писал: "Каждое Ваше выступление против Горького, Нансена, Уэллса — давало мне огромное удовлетворение, словно внезапный бодрый голос живого бодрого человека на безнадежном поле, мертвыми костьми усеянном" (Амфитеатров А.В. Письмо к И.А.Бунину от 22 ноября 1922 г. — Русский архив в Лидсе. Фонд И.А.Бунина).

С. 82. *Врангель* Петр Николаевич (1878–1928) — барон, один из главных руководителей контрреволюции в гражданскую войну, генерал-лейтенант (1918). В 1918–1919 гг. в Добровольческой армии и Вооруженных силах Юга России. С 22 марта 1920 г. главком Вооруженными силами Юга России (с 28 апреля 1920 г. переформированные в Русскую армию). В ноябре 1920 г. был вынужден эвакуироваться из Крыма вместе с Русской армией. В эмиграции сначала в Константинополе, затем в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, где в сентябре 1922 г. создает Русский Обще-Воинский Союз (РОВС). В сентябре 1927 г. переехал в Бельгию.

С. 83. *...бывшего председателя петербургской чрезвычайки...* — имеется в виду Бакаев И.П. — председатель Петроградской ЧК в 1919–1920 гг.

"Дом Науки" — имеется в виду "Дом Ученых", который открылся 31 января 1920 г.

Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) — востоковед, член Петербургской Академии наук с 1900 г. Один из основателей русской индологической школы.

Карпинский Александр Петрович (1846/47–1936) — геолог, общественный деятель, основатель русской геологической научной школы, академик Петербургской Академии наук с 1896 г., первый выборный президент Российской Академии наук (1917–1925), президент Академии наук СССР с 1925 г. Один из организаторов и директор Геологического комитета (1885–1903).

Глазунов Александр Константинович (1865–1936) — композитор, дирижер, профессор (с 1899 г.), директор (1905–1928) Петербургской консерватории. В 1929 г. выехал за границу.

С. 86. *...Ленин орал в Петербурге в апреле 1917 г.: "Да здравствует мир с немцами..."* — имеется в виду "Воззвание к солдатам всех воюющих стран", опубликованное 21 апреля (4 мая) 1917 г. в "Правде".

С. 87. *..."наша победа уже не даст подлой буржуазии сорвать Учредительное собрание..."* — см., например, статью В.И.Ленина "Большевики должны взять власть" (12 (25)–14 (27) сент. 1917 г.), в которой автор писал: "И Учредительного собрания "ждать" нельзя, ибо той же отдачей Питера Керенский и К° всегда *могут сорвать* его. Только наша партия, взяв власть, может обеспечить созыв Учредительного собрания и, взяв власть, она обвинит другие партии в оттяжке и докажет обвинение" (Ленин В.И. Полн. собр. соч. — 5-е изд. — М., 1981. — Т. 34. — С. 240).

...этой подлой комедии с "энциклопедией"... — имеется в виду готовившееся под руководством М.Горького многотомное издание переводов произведений зарубежных писателей, которое предполагалось выпускать в издательстве "Всемирная литература", основанном Горьким 4 сентября 1918 г. в Петрограде при Наркомпросе РСФСР. Основная задача издательства — перевод и издание на русском языке наиболее значительных произведений западноевропейской и восточной художественной литературы для широких кругов читателей. За 1918–1924 гг. "Всемирная литература" выпустила около 200 книг. См. также коммент. на с. 499.

...я когда-то грозил "господам из С.-Франциско" — Бунин имеет в виду свой рассказ "Господин из Сан-Франциско" (1915).

С. 88. *"Дом Литературы"* — имеется в виду "Дом литераторов" — литературная организация в Петрограде при Наркомпросе. Открыт 1 декабря 1918 г. по инициативе группы писателей при непосредственном участии М.Горького. Первоначально руководство Дома литераторов занималось вопросами материального обеспечения членов Дома. С 1920 г. значительное внимание уделялось проведению лекций, литературно-издательской работе.

...он, который 7-го февраля 1917 г. назвал Ленина и Ко... — ошибка в годе: не 1917, а 1918 г. (см. с. 64 наст. изд.).

Записная книжка // Общее дело. — 1920. — 27 ноября (№ 135). — С. 2.

С. 90. *...в прошлом году при Деникине работала комиссия по расследованию большевистских злодеяний...* — в декабре 1918 г. была создана при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России А.Деникине "Особая Комиссия по расследованию злодеяний большевиков", которая издавала сборники собранных документов.

Записная книжка // Общее дело. — 1920. — 5 декабря (№ 143). — С. 2.

С. 91. *Вишняк* Марк Вениаминович (1883–1977) — общественный деятель, секретарь Учредительного собрания, один из редакторов журнала "Современные записки" (Париж, 1920–1940).

"Обозревать внутреннюю российскую жизнь теперь нельзя..." — неточные цитаты из статьи М.В.Вишняка "На Родине", в которой автор писал: "Русские литературно-общественные журналы имеют свою традицию — "внутреннее обозрение". Обозрение внутренней жизни России фиксировало внимание общества на злободневных проблемах. <...> Те условия, в которых появляется в свет наш журнал, необычайно осложняют составление "внутреннего обозрения". <...> Положение обозревателя внутренней жизни России особенно трудно и необычно тем, что в самой России нет того, что характерно для органической жизни. Нет разнообразия. Нет свежих красок. Нет жизненной пестроты. Ни разных оценок, ни разных отображений. Всюду, насколько хватает глаз, единый, мертвенно-тусклый тон и общий казарменный ранжир <...> *нет живой России.*

Вымирают целые возрасты. Отмирают не только целые разряды людей, но и вещи, учреждения, наука, культура. Замирает всякое движение — литературное и идейное — свойственное жизни. Увы, не столько жизнь приходится обозревать теперь в России, сколько смерть, процессы быстрого и медленного умирания..."

По официальным данным Комиссариата Общественного Здравия в Советской России "в 1917 г. рождаемость превышала смертность больше, чем на 50%. На третий год большевистской власти смертность в шесть раз превысила рождаемость. Надо вдуматься в эти цифры. <...> Население России убывает сейчас в большем количестве и быстрее, чем в какой-либо иной стране. Оно явно и стремительно идет к своему уничтожению. <...> Харьковский профессор статистики А.Анцыферов <...> принимая, с явным преувеличением действительности, численность населения России в 150 миллионов <...> приходит к заключению, что "если бы советский режим продержался еще 5 лет, то вымерла бы половина всего населения, и остался бы всего 71 миллион; через 10 лет во всей России осталось бы меньше 20 миллионов жителей, через 15 — меньше 2-х, а через 17 лет (в 1937 г.) — всего несколько сот тысяч". Большевистская власть держит все население в подвешенном состоянии вечного ожидания насильственной смерти <...> опубликованные цифры дают лишь ничтожную долю общего числа казней: только тех случаев, которые зарегистрированы ВЧК. Громадное, может быть, преобладающее число жертв расстреляно вне всякого учета и счета. Опубликованные цифры не покрывают и расстрелянных местными, областными, губернскими, уездными, городскими и волостными чрезвычайками, особенно отдаленными от Москвы, осуществляющими "всю власть" на местах вне согласования своего усмотрения и отчетности с предписаниями из центра. Вне учета ВЧК остаются, конечно, и расстрелы по приговорам всяких "ревкомов" и трибуналов. Наконец, далеко не всегда лишение жизни в Советской России производится путем расстрела.

Недавно вышла из печати книжка: "Два года борьбы на внутреннем фронте". — Государственное издательство. — Москва. 1920. — Автор ее известный своей жестокостью руководитель чрезвычайки Лацис. <...> По признанию самого Лациса, его цифры далеко не полны. По 20 губерниям центральной России за 1918 и семь месяцев 1919 г. они дают общее число расстрелянных — 8389. Среди рубрик, по которым Лацис классифицирует расстрелы, имеется графа: "прочее" — 1704. Графа "восстание" дает 3082 расстрелов. Но в это число не входят убитые при восстании, учтенные Лацисом особо: "с нашей стороны", т.е. большевиков — 1150 и "при подавлении", т.е. антибольшевистских жертв — 3057. <...>

Казнь была отменена. Но "в ночь отмены смертной казни 15–16 февраля все тюрьмы Советской России были залиты кровью", удостоверяет Борис Соколов, побывавший в многочисленных чрезвычайках, от архангельской и до московской, и недавно только вырвавшийся из самарской тюрьмы. Среди стенных надписей в особом отделе ВЧК он прочел: "Ночь отмены — стала ночью крови" <...> "У нас, в Бутырской тюрьме, уже после подписания декрета об отмене смертной казни расстреляно ночью 72 человека. Это было кошмарно по своей подлости" (Из заявления бутырских заключенных 5 мая 1920 г.). Так было не только в Москве. В провинции и после "ночи крови" еще долго, не спеша, достреливали тех, кого решили, но не успели расстрелять. Один Петроград насчитывает до 400 жертв, погибших в последующие за отменой казни ночи крови. "Это была тяжелая ночь. С полуночи тюрьма огласилась плачем женщин, которых вели на расстрел. Тяжелее всего было то, что мы знали о декрете. Расстреляно было 52 человека" (Письмо члена п. с.-р. Л-а из саратовской тюрьмы 5 июня 1920 г.)" Вишняк приводит следующий документ: "Секретно.

Циркулярно. Председателям ЧК, ВЧК — по особым отделам. В виду отмены смертной казни предлагаем всех лиц, кои по числящимся разным преступлениям подлежат высшим мерам наказания — отправлять в полосу военных действий, как место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется. 15 апреля 1920 г. № 325/16.756. Управляющий особ. отд. ВЧК". (Современные записки. — 1920. — № 1. — С. 205–206, 218–219, 221–223).

Анцыферов Алексей Николаевич (1867–1943) — экономист, педагог, публицист, кооператор. В 1920 г. — эмигрировал во Францию. Все годы эмиграции жил в Париже, преподавая время от времени в Праге, где состоял профессором Русского юридического факультета и читал курс лекций по статистике.

С. 92. *Лацис* Мартын Иванович (Судрабс Ян Фридрихович, 1888–1938) — советский государственный, партийный деятель, член РСДРП с 1905 г. Участник революции 1905–1907 гг. в Латвии, октябрьской 1917 г. в Петрограде, член ВРК. С 1918 г. член коллегии ВЧК. В 1919 г. председатель Всеукраинской ЧК. В 1938 г. комиссией НКВД и Прокурора СССР приговорен к расстрелу.

"Мы желаем научить весь мир..." — цитата из 2-й "Беседы о труде" А.М.Горького (Красная газета. — 1920. — 13 июля (№ 153). — С. 1).

С. 93. *Авксентьев* Николай Дмитриевич (1878–1943) — один из лидеров эсеров. В 1917 г. председатель Всероссийского Совета крестьянских депутатов и Предпарламента, в июле–августе 1917 г. — министр внутренних дел Временного правительства. В 1919 г. приехал в Париж. Выступал против решения 9-го Совета партии эсеров (июнь 1919 г.) отказаться от вооруженной борьбы с большевиками. В 1920–1940 гг. вел активную деятельность в различных эмигрантских организациях, член редколлегии журнала "Современные записки", сотрудничал в других изданиях. В 1940 г. уехал в Нью-Йорк, выпускал журнал "За свободу".

..."большой русский писатель И.А.Бунин недавно заявил, что он испытывает..." — неточная цитата из статьи Н.Авксентьева "Patriotica", в которой автор пишет: "Большой русский писатель И.А.Бунин недавно написал, что испытывает горькую радость, что хоть в одном была милостива к нему судьба: "избавила меня, — говорит он, — от позора и муки дышать одним воздухом с хозяевами "красной" России". Увы, — этот воздух, которым дышат хозяева "красной" России, — воздух нашей родины. Им дышит, содрогаясь и испытывая крестные муки, Россия. Его в последний раз вдыхают те бесчисленные жертвы, которыми сопровождает свое шествие большевизм. Мука — *не* дышать им, этим священным воздухом. Страшен не физический воздух, которым дышат большевики, а воздух моральный. И невольно берет страх, не заразили ли большевики моральный воздух, которым дышит некоторая часть русской общественности; не скатывается ли она, сама того не замечая и думая спасать родину, к большевистским аргументам, эту родину, как "вечное во временном", убивающим?" Свою статью Н.Авксентьев заканчивает следующими словами: "Нечеловеческими испытаниями приходит Россия к самосознанию. Не ее вина. Слишком долго внизу царил мрак, а наверху великая вражда к той государственности, которая претендовала представлять нацию. Слишком долго воспитывалось отвращение к тому жалкому и гадкому, что брало официальный патент на название патриотизма. Слишком долго слово патриот выговаривалось, как "потреот". Теперь наступила пора его реабилитации. И она нужна особенно теперь, ибо в этом спасение, истинное новое рождение России в духе. От этого зависит, быть ей или не быть. И прямым нашим желанием, верой, является то, что и слово и понятие это вынесут, выстрадают до конца те, кто принял великую мартовскую революцию, кто, несмотря на все испытания, и теперь не отрекся от нее и во имя ее лозунгов живет и действует. Пора вспомнить традиции Великой Французской Революции. Тогда революционер назывался патриот. Тяжел путь русской демократии.

Ее гонят, заушают слева, ее преследуют справа. Между молотом и наковальней она живет и продолжает бороться за новое право. Но если даже подавлять ее на время, если стихийные силы сомкнутся на исторический миг над ее головой — будущее принадлежит ей. И пусть в это будущее из мрачных годов испытаний незапятнанными, абсолютными и вечными принесет она свою веру и свое утверждение родины!" (Современные записки. — 1920. — № 1. — С. 132–135).

...из того парижского дома... — с 1920 г. Бунин жил в Париже на улице Жака Оффенбаха, д. 1.

Чехи и эсеры // Общее дело. — 1920. — 24 декабря (№ 162). — С. 2.

С. 93. *"Дело России"*: Газета политическая, экономическая и финансовая / Ред.-издатель А.Я.Гутман (А.Ган). — Токио, 1920. — Выходила два раза в неделю с русским и английским текстом с 20 марта (№ 1) по 10 июля (№ 16). В газете публиковались под общим заглавием "Исторические материалы" следующие статьи: "Некоторые подробности гибели адмирала Колчака и Пепеляева" (20 марта (№ 2). — С. 2); Ясинский-Стахурск. "Открытое письмо ген. Сыровому, командиру чехословацких войск в Сибири" (31 марта (№ 3). — С.2); Сыробоярский. "Иркутская трагедия: Выдержки из телеграммы генералу Жанен" (6 апреля (№ 4). — С.2); Славянофил. "Чехословаки: Материалы к истории Сибирской интервенции" (18 мая (№ 9). — С. 2; 26 мая (№ 10). — С. 2–3; 2 июня (№ 11). — С. 2–3; 18 июня (№ 13). — С. 2–3; 24 июня (№ 14). — С. 2–4; 1 июля (№ 15). — С. 2–3); Нот. "Чехи и эсеры" (18 мая (№ 9). — С. 3); "Предательство чехов: Один из эпизодов (Там же. — С. 2); А.Бн. "Дневник журналиста: Самаро-Уфимская эпопея" (2 июня (№ 11). — С. 2–3).

...чешская дружина ... вступила в ряды русской армии в 1914 году... — чехословацкие части были сформированы в России во время 1-й мировой войны 1914–1918 гг. из военнопленных австро-венгерской армии и русских подданных чешской национальности; в июне 1917 г. две стрелковые дивизии были сведены в Чехословацкий корпус, который дислоцировался на Украине.

...Чешскому национальному комитету... — Чехословацкий национальный совет (Филиал в России) — организация, созданная в апреле 1917 г. в Киеве на съезде представителей действовавших в России чехословацких организаций (Союз чехословацких обществ и др.) и воинских частей (из эмигрантов и военнопленных чешской и словацкой национальностей). Признавала буржуазный Чехословацкий национальный совет (основан в Париже) наивысшим органом чехословацкой национальной политической борьбы. В состав Филиала вошло 30 человек (председатель Т.Г.Масарик, зам. председателя П.Макса). Его деятельность была направлена на поддержку Временного правительства, осуществлял политическое руководство мятежом Чехословацкого корпуса весной 1918 г. Летом 1918 г. состав Филиала был переизбран (1-й зам. председателя Б.Павлу). В декабре 1918 г. приказом М.Р.Штефаника Филиал ликвидирован и заменен назначенной им Специальной коллегией для России (возглавлял Б.Павлу, затем В.Гирса; действовала до конца эвакуации в сентябре 1920 г. чехословацких войск из России).

...после Брестского мира, в Париже было решено... — после брест-литовских переговоров в январе 1918 г. под влиянием представителей Антанты командование чехословацкого корпуса объявило его частью французской армии и потребовало от Советского правительства отправки в Западную Европу. Сподвижник А.В.Колчака Г.Гинс пишет: "Секрет возвращения чехов на запад заключался в решении, принятом в Париже. Война с Германией еще не была окончена. Предоставить тоннаж для перевозки 40 тысяч чехов во Францию представлялось затруднительным. Казалось более целесообразным вернуть всех чехов к Волге и создать для Германии угрозу восстановления восточного фронта. Президент

Масарик, тогда еще председатель Чехословацкого национального комитета в Париже, прислал приветствие чехословацкому войску и благословлял его на дальнейшую борьбу. Вывести все войско не представлялось возможным; значительная часть его, согласно ранее уже полученным инструкциям, находилась в районе Волги и Урала, рассчитывая пробиться к Архангельску. Поэтому *политический расчет* диктовал возвращение всех чехов к Волге для использования их военной силы против германских прислужников — большевиков и восстановления преданной союзникам России" (Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак: Поворотный момент русской истории 1918—1920 гг. Впечатления и мысли члена Омского правительства: В 2 т. — Пекин, 1921. — Т. 1. — С. 215).

Мирбах Вильгельм (1871—1918) — немецкий дипломат, граф. С апреля 1918 г. посол в Москве при правительстве РСФСР. Убит левым эсером Я.Г.Блюмкиным, что послужило сигналом к левоэсеровскому мятежу в Москве.

...это было единственной причиной чешского антибольшевистского восстания... — 26 марта 1918 г. Советское правительство приняло решение об эвакуации чехословацких войск через Владивосток при условии сдачи основной части вооружения местным Советам. Однако в Челябинске на совещании 14 мая командования корпуса, представителей Антанты и правых эсеров было решено поднять мятеж. Командование корпуса призвало солдат пробиваться во Владивосток силой оружия. К концу мая эшелоны с чехословацкими войсками (численностью до 45 тыс. человек) растянулись по всей Сибирской железнодорожной магистрали от станции Ртищево (район Пензы) до Владивостока, т.е. на протяжении около 7000 км. 25 мая мятеж начался в Мариинске, 26 — в Челябинске, после чего чехословацкие войска и эсеро-белогвардейские отряды захватили Новониколаевск (26 мая), Пензу (29 мая), Сызрань (30 мая),Томск (31 мая), Омск (7 июня), Самару (8 июня), Красноярск (18 июня), а затем, перейдя в наступление совместно с белогвардейскими отрядами, заняли Уфу (5 июля), Симбирск (22 июля), Екатеринбург (25 июля) и Казань (7 августа), где был захвачен золотой запас Республики.

С. 94. *Сыровы* Ян (1888—1971) — чехословацкий военный и государственный деятель. В сентябре 1914 г. вступил в добровольческую Чешскую дружину в составе русской армии (на Юго-Западном фронте). С весны 1918 г. — командир 2-го полка Чехословацкого корпуса. Во время военных действий против большевиков командовал чехословацкими и эсеровскими группами войск на направлении Кургана, Челябинска, Омска, Екатеринбурга. С конца августа 1918 г. генерал-майор, командующий Чехословацким корпусом, одновременно командующий союзническими вооруженными силами в Сибири (до ноября 1918 г.). В сентябре 1920 г. вместе с Чехословацким корпусом эвакуировался на родину.

Гайда Радола (наст. фам. Гейдль Рудольф, 1892—1948) — чехословацкий военный деятель. В 1-ю мировую войну — унтер-офицер (затем младший офицер) австро-венгерской армии. В 1915 г. перешел на сторону черногорских войск, затем бежал в Россию. С весны 1918 г. — командир 7-го полка Чехословацкого корпуса, один из организаторов и руководителей мятежа корпуса в 1918 г. С сентября 1918 г. — генерал-майор, командующий 2-й чехословацкой дивизией, с октября — Екатеринбургской группой, с января 1919 г. — генерал-лейтенант, командир Сибирской армии. В июле смещен с поста А.В.Колчаком; в ноябре возглавил выступление право-эсеровских группировок, оппозиционных Колчаку, с целью захвата власти (в тот же день выступление было подавлено). После провала путча Гайда выехал на родину.

...перебрались к тому времени на Волгу г. Чернов и присные его ... результатом ... явилось создание "Самарского Правительства"... — *Чернов* Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей партии эсеров, ее теоретик. В 1917 г. министр земледелия Временного правительства, 5 (18) января 1918 г. избран

председателем Учредительного собрания. После разгона Учредительного собрания 8-й Совет партии эсеров в мае 1918 г. принял решение начать вооруженную борьбу с советской властью. Опираясь на поддержку восставших чехословацких военнопленных, 8 июня 1918 г. эсеры установили свою власть в Самаре, где был сформирован Комитет членов Учредительного собрания (*Комуч или "Самарское Правительство"*), объединивший со временем около сотни депутатов. Председателем Комуча стал В.К.Вольский, его товарищем — Гендельман. Взяв на себя законодательные функции, Комуч создал при себе исполнительный орган — Совет управляющих ведомствами во главе с эсером Е.Ф.Роговским. Из 14 управляющих ведомствами, составляющими Совет, лишь трое не были эсерами. При Комуче была создана своя "Народная армия" во главе с беспартийным артиллерийским полковником Н.А.Галкиным. Главными задачами армии были восстановление Восточного фронта для отражения немецкой агрессии, освобождение России от унизительных для национального достоинства условий Брестского мира, свержение советского режима, обеспечение условий для возобновления работы Учредительного собрания. Эсеры преобладали и в функционировавшей в Томске в 1918 г. Сибирской областной думе, объявившей Сибирь автономной областью, а себя высшей властью в ней, и в созданном этой Думой Временном сибирском правительстве во главе с эсером П.Я.Дербером, обосновавшемся во Владивостоке и учредившем свой филиал — Западно-Сибирский комиссариат в Омске под руководством эсеров М.Я.Линдберга и П.Я.Михайлова.

С. 95. *...последовавшей за ним Директории...* — в сентябре 1918 г. на Уфимском государственном совещании (см. ниже) была провозглашена власть Уфимской Директории (Всероссийского Временного правительства), куда вошли два эсера Н.Д.Авксентьев и В.М.Зензинов, кадет проф. В.А.Виноградов, беспартийный член "Союза возрождения России" генерал В.Г.Болдырев и глава Сибирского правительства П.В.Вологодский. Основные задачи Директории сводились к борьбе с большевиками, к воссоединению России, расторжению Брестского мира и возобновлению войны с Германией в союзе с Антантой. Директория избрала своей резиденцией Омск и превратила Административный совет (совет министров) Сибирского правительства в свой "деловой кабинет". Одним из первых решений Директории было лишение всех областных правительств прежней полноты власти. 18 ноября 1918 г. А.Колчак сверг Директорию.

...восстали Ижевский и Воткинский заводы... — в Ижевске 7 августа 1918 г. началось Ижевско-Воткинское антисоветское восстание бывших офицеров, гимназистов, учащихся училища оружейных техников и рабочих оружейного завода. Восставшие взяли власть в городе, мятеж распространился на Воткинск, Сарапул и ряд окрестных деревень и сел. На базе Ижевского и Воткинского оружейных заводов были созданы довольно крупные вооруженные силы (около 25 тыс. штыков и сабель, 25 орудий, свыше 100 пулеметов), которые сдерживали наступление Красной Армии на Урал. Единственной и законной властью восставшие признали Комуч, был создан местный "Комуч Прикамского края". Только 16 ноября 1918 г. восстание было подавлено советскими войсками.

Лебедев Владимир Иванович (1883–1956) — общественно-политический деятель, публицист, журналист, литературный критик, прозаик; эсер. С 1908 г. находился в эмиграции во Франции. Участник 1-й мировой войны. В начале апреля 1917 г. вернулся в Россию, в апреле–августе 1917 г. — управляющий морским министерством во Временном правительстве. В мае 1918 г. уехал в Поволжье. В 1919 г. эмигрировал в Париж. В 1920–1932 гг. соредактор газеты, затем журнала "Воля России".

...чехи потеряли Казань... — Красная Армия вступила в Казань 10 сентября 1918 г., 12 сентября был взят Симбирск, в октябре — Самара и Сызрань, в ноябре — Уфа и Челябинск.

С. 96. *"Уфимское Государственное совещание"* — государственное совещание антибольшевистских областных правительств и политических групп состоялось в Уфе 8–23 сентября 1918 г. Эсеры составляли большинство: из 170 участников этого совещания более 100 были эсерами. Обсуждалось три вопроса: 1) об источнике власти будущего правительства и его ответственности; 2) о структуре власти (диктатура или директория); 3) о личном составе правительства. Правое крыло совещания высказывалось за диктатуру, левое — за создание правительства, ответственного перед Учредительным собранием, отдельные группы предлагали компромиссные решения. Командование Чехословацкого корпуса и главы Чехословацкого национального совета настаивали на создании единой власти. Из-за отсутствия единства эсеров, неустойчивости и склонности к компромиссам, итогом этого совещания стало образование коалиционного "Всероссийского Временного правительства" (Директории).

Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) — один из лидеров эсеров; прозаик, публицист. С 1906 г. член "Боевой организации эсеров". В 1917 г. член исполкома Петроградского совета, редактор газеты "Дело народа". В 1918 г. входил в Самарский комитет членов Учредительного собрания, с сентября член Всероссийского временного правительства (Уфимской директории), в ноябре арестован колчаковцами и выслан в Китай. С января 1919 г. эмигрант, жил в Париже. С 1920 г. член редколлегии журнала "Современные записки". В 1920–1922 гг. соредактор газеты, затем журнала "Воля России"; в 1920–1922 гг. член Административного центра Внепартийно-демократического объединения (ВДО). Член Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции. В 1939 г. уехал в США. Соучредитель и член редколлегии журнала "За свободу" (1941–1947 гг.). В 1949 г. один из организаторов "Лиги борьбы за народную свободу".

Вольский Владимир Казимирович (1877–1937) — с 1903 г. — эсер. Возглавлял Уфимскую делегацию партии эсеров, достигшую в феврале 1919 г. соглашения с большевиками. Один из основателей группы "Народ" (август 1919 г.). За обращение к ЦК партии эсеров с требованием поддержать большевиков в борьбе с генералом А.И.Деникиным был исключен в ноябре 1919 г. из партии эсеров, после чего с частью группы "Народ" составил меньшинство партии эсеров (МПСР) и вошел в Центральное оргбюро МПСР. В 1922 г. решением комиссии НКВД приговорен к 3 годам лишения свободы. В 1925 г. постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ выслан на 3 года в Кировский край. Расстрелян по приговору Верховного суда СССР.

Климушкин П.Н. — зам. председателя Комуча, руководитель Ведомства государственной охраны (контрразведки) в Управлении внутренних дел Комуча.

С. 97. *...знаменитый меморандум ... после омской катастрофы...* — с установлением власти А.В.Колчака 18 ноября 1918 г. Омск стал столицей Верховного правителя России. С наступлением Красной Армии Колчак был вынужден оставить город, 14 ноября 1919 г. Омск был взят советскими войсками. Г.К.Гинс писал, что когда Омское правительство прибыло в Иркутск, его ожидал "чешский меморандум, главное содержание которого состояло в обвинительном акте по адресу реакционного Омского правительства, допускавшего и чуть ли не покровительствующего зверским расправам с населением и расстрелам политических противников. Когда негодующие члены правительства указывали чешским дипломатам, что чехи сами принимали участие в этих возмутительных поступках, ответ был таков: "Это верно, но именно потому, что наше войско деморализуется при соприкосновении с вашим, мы и стремимся поскорее его увезти". Выходило так, что чешские дипломаты, считая правительство все равно погибшим, решили все

удары восставшего населения отвести всецело на него, присоединив свои голоса к хору нападавших. <...> Документ был глубоко несправедлив в отношении центральной власти, которую компрометировали не только ее местные агенты, но и союзники родственного происхождения, и которая все время стремилась искоренить беззакония. Но мало того: даже формальная сторона представляла нечто неслыханное. <...> Бунт иностранцев против власти, в обстановке, и без того насыщенной грозою — это нечто такое, что могли сочинить только чешские политики, получившие крещение в обстановке интервенции и находившиеся под влиянием столь же неопытных и неглубокомысленных эсеров. Совет министров, при всем своем миролюбии, был возмущен "братским" поведением чехов. Адмирал Колчак был взбешен, и не без оснований" (Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. — Т. 2. — С. 529–530).

Его вечной памяти // Общее дело. — 1921. — 7 февраля (№ 207). — С. 2. — Напечатана под общим заглавием "Памяти адмирала А.В.Колчака", под которым также опубликованы статьи В.Бурцева, А.Куприна, Д.Пасманика, Ф.Родичева. Статьи посвящены годовщине трагической гибели А.В.Колчака.

С. 97. *Колчак* Александр Васильевич (1873–1920) — адмирал (1916), один из главных руководителей Белого движения. В 1916–1917 гг. командовал Черноморским флотом. В 1918–1920 гг. верховный правитель Российского государства. Земский съезд, состоявшийся в Иркутске в октябре 1919 г., на котором эсеры преобладали, принял решение о свержении правительства Колчака. В середине ноября 1919 г. на Всесибирском совещании земств и городов в Иркутске был организован на коалиционной основе Политцентр во главе с эсером Ф.Ф.Федоровичем для подготовки вооруженного восстания против Колчака. 24 декабря 1919 г. Политцентр поднял восстание в Иркутске и после 11-дневных боев одержал победу. 15 января 1920 г. чехи и союзники арестовали Колчака и передали его Политцентру, который назначил по его делу следственную комиссию, однако 21 января власть в Иркутске захватили большевики, по постановлению Иркутского ревкома Колчак без суда был расстрелян 7 февраля 1920 г.

Записная книжка // Новая русская жизнь. — 1921. — 2 апреля (№ 74). — С. 2–3. — Эта статья — первый вариант рассказа "Третий класс", для которого первоначальный текст Бунин значительно сократил.

С. 98. ***...отель, в котором я проводил зимы на Капри...*** — Бунин жил зимой на Капри в 1909–1914 гг. в отелях "Пагано" и "Квисисана".

...в Ерусалиме, в Назарете, в Иерихоне ... в Египте... — весной 1907 г. Бунин с В.Н.Муромцевой-Буниной отправился в свое "первое дальнее странствие" — в Египет, Сирию, Палестину.

С. 99. ***...в Константинополе...*** — по словам Бунина, он был в Константинополе 13 раз и знал его не хуже Москвы и Петербурге. Первый раз он поехал в Константинополь в 1903 г., в последний раз Бунин с В.Н.Муромцевой-Буниной проезжали через Константинополь в начале 1920 г., отправляясь в эмиграцию.

...в Коломбо ... на Цейлоне... — с декабря 1910 до весны 1911 г. Бунин путешествовал по Египту и Цейлону.

Из записной книжки // Общее дело. — 1921. — 4 апреля (№ 263). — С. 2.

С. 101. *Милюков* Павел Николаевич (1859–1943) — общественно-политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК, редактор газеты "Речь". В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства. В ноябре 1918 г. уехал в Лондон, сотрудничал в английской периодике. В 1921 г. поселился в Париже. В 1921–1940 гг. редактор газеты "Последние новости". С 1922 г. председатель парижского Союза русских писа-

телей и журналистов. Соредактор газеты "Звено" (1923–1926 гг.). В 1924 г. возглавлял Республиканско-демократическое объединение (РДО). С 1925 г. председатель совета профессоров Франко-русского института. Возглавлял Объединение иностранных журналистов в Париже. Председатель Центрального Пушкинского комитета. В 1938–1939 гг. редактор журнала "Русские записки".

...он пишет, да еще как!... — имеется в виду статья Василевского И. (Не-Буквы) Бесплодие: Литературные настроения // Последние новости. — 1921. — 1 апреля (№ 291).

...Мережковский выдумал... — имеется в виду статья Д.С.Мережковского. "Открытое письмо Уэллсу" // Последние новости. — 1920. — 3 дек. (№ 189). — С.2; Свобода. — Варшава. — 1920. — 12 дек. (№ 125). См. также коммент. на с. 503.

С. 102. *...в "Открытом письме к редактору газеты Times"...* — см. с. 64–68 наст. изд.

Шполянский Аминад Петрович (псевд. Дон-Аминадо; 1888–1957) — поэт-сатирик, мемуарист. См. также коммент. на с. 569.

С. 103. *...я писал в "Южном слове" в защиту не Наживина...* — см. с. 40–42 наст. изд.

Самогонка и шампанское // Руль. — 1921. — 29 мая (№ 159). — С. 2–3. — Ср.: 3-й отрывок из "Великого дурмана" (наст. изд. с. 54–61).

С. 105. *..."похабный мир"...* — имеется в виду Брестский мир.

С. 107. *"Крымский вестник"* — газета политики и общественной жизни. — Севастополь, 1887–1920. В ходе гражданской войны при захвате власти большевиками два раза закрывалась по обвинению в контрреволюционности. С установлением в июле 1919 г. власти белых издание газеты возобновилось. В 1920 г., в период власти Врангеля в Крыму, газета придерживалась "прогрессивного" социалистического направления.

Записная книжка // Общее дело. — 1921. — 20 июня (№ 339). — С. 2.

С. 108. *Шингарев* Андрей Иванович (1869–1918) — земский деятель, врач, публицист, один из лидеров кадетов. Депутат 2-й — 4-й Государственных дум. В 1917 г. министр Временного правительства. Убит анархистами в ночь на 7 (20) января 1918 г.

...Горький пугается и пишет о Ленине и его присных... — см. коммент. на с. 494.

...Горький закатывает Ленину поздравительную телеграмму по случаю "чудесного спасения"... — имеется в виду телеграмма А.М.Горького и М.Ф.Андреевой В.И.Ленину: "Ужасно огорчены, беспокоимся, сердечно желаем скорейшего выздоровления, будьте бодры духом" (Известия. — 1918. — 3 сент. (№ 189)).

...осенью 1918 г. ... Горький выступает на торжественном заседании петербургского "Цика" с "пламенной" речью в честь "рабоче-крестьянской власти"... — имеется в виду, вероятно, сообщение "Петроградской правды" 30 ноября 1918 г. (№ 262) о том, что 29 ноября 1918 г. в Петроградском народном доме под председательством Горького состоялся многолюдный митинг на тему "Англия и Россия". Горький выступил с "Обращением к народу и трудовой интеллигенции", в котором сказал: "Я, больше, чем кто-либо другой, имею право и все основания решительно заявить, что культурное творчество русского рабочего правительства, совершаясь в условиях самых тяжких и требуя героического напряжения энергии, постепенно принимает размеры и формы, небывалые в истории человечества". 12 ноября 1918 г. К.И.Чуковский записал в дневнике: "Вчера заседание — с Горьким. Горький рассказывал мне, какое он напишет предисловие к нашему конспекту "Всемирной литературы", — и вдруг потупился, заулыбался вкось, заиграл пальцами. — Я скажу, что вот, мол, только при Рабоче-крестьянском правительстве возможны такие великолепные издания.

Надо же задобрить. Да, задобрить. Чтобы, понимаете, не придирались. А то ведь они черти — интриганы. Нужно, понимаете ли, задобрить...» (Чуковский К.И. Дневник 1901–1929. — М., 1997. — С. 95). 29 декабря 1918 г. «Петроградская правда» (№ 287) сообщала, что 28 декабря 1918 г. Горький избран в Исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов и в президиум Исполнительного комитета.

...подлая комедия издания «мировых классиков»... — см. коммент. на с. 504.

Тихонов Александр Николаевич (псевд. А.Серебров; 1880–1956) — горный инженер, литератор, принимал участие во многих литературных начинаниях А.М.Горького; редактор журнала «Летопись» и издательства «Парус» в 1915–1917 гг., газеты «Новая жизнь» в 1917–1918 гг. В 1918–1924 гг. заведовал издательством «Всемирная литература».

Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929) — издатель. В 1918 г. участвовал в организации издательства «Всемирная литература». Частное издательство З.И.Гржебина было организовано в 1919 г. в Петрограде с филиалами в Москве, позднее — в Берлине. При содействии Горького в январе 1920 г. руководитель Госиздата В.В.Воровский подписал договор с Гржебиным об издании книг для Советской России в берлинском отделении издательства. С 1921 г. Гржебин уехал за границу. В Берлине он продолжал издательскую деятельность. После финансового краха издательства он переехал в конце 1923 г. в Париж.

С. 109. *...Горький на весь мир трубит...* — речь идет о двух статьях А.М.Горького «Вчера и сегодня» и «Советская Россия и народы мира» (Коммунистический интернационал. — 1919. — № 1. — Стб. 29–30, 139–142). — См. коммент. на с. 493.

...Горький закатывает настолько бесстыдный акафист «святому» и даже превзошедшему всех святых в мире «Ильичу»... — имеется в виду и далее неточно цитируется статья А.М.Горького «Владимир Ильич Ленин» (Коммунистический интернационал. — 1920. — № 12 (20 июля). — Стб. 1927–1936. То же // Петроградская правда. — 1920. — 27 июля (№ 164). — С. 2). У Горького: «Ошибки <...> не преступления. Ошибки Ленина — ошибки честного человека. <...> Он обладает даром предвидения, гениальной интуицией мыслителя-экспериментатора. <...>

Ленин больше человек, чем кто-либо иной из моих современников <...> Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служит вся его воля. Он — идеалист, если вложить в это понятие соединение всех сил натуры в одной идее — в идее всеобщего блага. Его личная жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений Ленина сочли бы святым. <...>

Суровый реалист, хитроумный политик — Ленин постепенно становится легендарной личностью. Это — хорошо. <..>.

Иногда в этом резком политике сверкает огонек почти женской нежности к человеку, и я уверен, что террор стоит ему невыносимых, хотя и весьма искусно скрытых страданий. Невероятно и недопустимо, чтоб люди, осужденные историей на непримиримое противоречие — убивать одних для свободы других, — не чувствовали мук, изнуряющих душу. <...> Всякое убийство органически противно мне, но эти люди — мученики, и совесть моя никогда не позволит мне осудить их. <...>

Я начал свою работу возбудителя революционного настроения славой безумству храбрых. Был момент, когда естественная жалость к народу России заставила меня считать безумие почти преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ гораздо лучше умеет терпеливо страдать, чем сознательно и честно работать, — я снова пою славу священному безумству храбрых. Из них же Владимир Ленин — первый и самый безумный».

С. 110. *...в зарубежных русских газетах появился открытый призыв г. Ферсмана...* — *Ферсман* Александр Евгеньевич (1883–1945) — геохимик и минералог, академик Российской Академии наук с 1919 г. Имеется в виду опубликованное 17 июня 1921 г. в "Последних новостях" (№ 357) под заглавием "Ученые в сов. России" открытое письмо делегатов Академической комиссии для помощи русским ученым при Гельсингфорсском университете А.В.Игельстрома и В.Мансикка с просьбой "огласить нижеследующую выписку из протокола заседания Комиссии по улучшению быта ученых 24 мая 1921 г. в Петрограде, в Доме Ученых". Далее следовала эта выписка, в которой сообщалось: "В заключение академик А.Е.Ферсман заявил: Оставаясь здесь и борясь за преемственность и сохранение культурного достояния русского народа, часто изнемогая под влиянием тяжелых условий русской жизни, мы считаем долгом сказать нашим друзьям за границей, что в этой борьбе и поддержке ученых огромную роль играет М.Горький, мужественно отстаивающий интересы русской науки и русских ученых. Мы, непосредственно связанные с ним в этой работе, не можем не видеть горячих порывов этого человека отстоять свободу научного издательства, научного творчества и право на элементарные блага, на скудное пайковое существование. Мы знаем, что не везде правильно оценивают деятельность Алексея Максимовича. Наш долг отдать должное его огромной роли за последние два года, исключительно роковые для русской науки. Нам хотелось бы верить, что при тяжелом испытании, перенесенном русским народом, его высшие культурные круги и их друзья за границей найдут то спокойное взаимное понимание, которое сольет их снова в общую, дружную семью, болеющую и борющуюся так и там, где каждый может, за идеалы русского народа. Пусть эти слова будут переданы за границу; я уверен — под ними подпишется большинство русских ученых".

"Вот еще Горький... Нужно составить..." — неточная цитата из дневника Л.Н.Андреева, запись от 31 мая 1918 г. В оригинале: "Вот еще Горький. Мучает меня мысль о нем и несправедливости. На днях попал в руки номер "Новой Жизни" — все та же гнусность, и тут же сообщается, что общество "Культура" устраивает митинг для сбора книг, и участвуют Зелинский и другие истинно почтенные, а председатель Горький и товарищ председателя В.Фигнер. Мучает меня то, что моя ненависть и презрение к Горькому (в теперешней его фазе) останутся бездоказательными. Если Фигнер, Зелинский и другие могут совместно с Горьким выступать и работать, следовательно, они не видят и не понимают, что так ясно; и нужно составить целый обвинительный акт, чтобы *доказать* им преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России.

Такой обвинительный акт, убийственный, неопровержимый, можно составить, проследив с первого номера "Новую Жизнь", — но разве я могу взяться за такой труд? И кто возьмется? А так забывают, не помнят, не знают, пропустили — а там новые времена и новые песни, когда тут раскапывать старье.

Но неужели Горький так и уйдет ненаказанным, неузнанным, неразоблаченным, "уважаемым"? Конечно, я говорю не о физическом возмездии, это вздор, а просто о том, чтобы действительно уважаемые люди осудили его сурово и решительно. Если этого не случится (а возможно, что и не случится, и Горький сух вылезет из воды) — можно будет плюнуть в харю жизни".

Далее Л.Андреев так завершает свою мысль о Горьком: "Горький и его "Новая Жизнь" невыносимы и отвратительны именно тем, что полны несправедливости, дышат ею, как пьяный спиртом. Лицемеры, обвиняющие всех в лицемерии, лжецы, обвиняющие во лжи, убийцы и погубители, всех обвиняющие в том, в чем сами они повинны. Убийцы". (Андреев Л. S.O.S.: Дневник (1914–1919). Письма (1917–1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1918–1919). — М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. — С. 101–102).

"Дым без отечества" // Общее дело. — 1921. — 27 июня (№ 346). — С. 2. — Статья посвящена выходу в свет следующих книг: *Ветлугин А.* (наст. фам. Рындзюн Владимир Ильич). Авантюристы гражданской войны: Фельетоны (Париж: Север, 1921); *Дон Аминадо.* Дым без отечества (Париж: Север, 1921). — О Дон-Аминадо см. коммент. на с. 569.

Об Эйфелевой башне // Общее дело. — 1921. — 21 июля (№ 369). — С. 2. — Статья написана по поводу принятой радиостанцией Эйфелевой башни телеграммы из Москвы, подписанной М.Горьким, следующего содержания:

"Плодородные равнины юго-востока России поражены неурожаем из-за засухи. Это бедствие угрожает голодной смертью миллионам населения. Я напоминаю, что русский народ уже и до того был сильно истощен последствиями войны и революции, и что степень его сопротивляемости бедствию и его физическая закаленность весьма чувствительно ослаблены.

Для народа Льва Толстого, Достоевского, Менделеева и других великих людей, которых оценил весь мир, наступили тяжелые дни и я позволяю себе думать, что культурные классы Европы и Америки, уяснившие себе трагедию того положения, в котором очутился русский народ, отправят ему без замедления помощь хлебом и медикаментами. Если гуманитарные идеи и чувства, вера в которые была так глубоко подорвана проклятой войной и безжалостным поведением победителей по отношению к побежденным, если — говорю я — вера в творческую мощь этих идей и этих чувств должна и может быть восстановлена, — то несчастие, которое поразило Россию, представляет превосходный случай защитникам гуманности доказать жизненность их идей.

Я полагаю, что особенно ревностное участие в этом деле помощи русскому народу должны принять те, которые во время постыдной войны возбуждали народы друг против друга, уничтожая этой пропагандой воспитательное влияние прекрасных идей, выработанных человечеством с такими усилиями и так легко убитых культом золота и глупости.

Люди, которые чувствуют болезненные конвульсии страданий мира, простят мне невольную горечь моих слов. Я прошу всех честных людей прийти немедленно на помощь населению голодающих губерний и организовать посылку помощи в Россию" (Последние новости. — 1921. — 19 июля (№ 384). — С. 1).

С. 114. *Иоффе* Адольф Абрамович (1883—1927) — государственный, партийный деятель. В 1918 г. председатель, затем консультант советской делегации на переговорах в Брест-Литовске, отказался подписать Брестский мир, с апреля 1918 г. — полпред в Германии, 6 ноября выслан из Германии, в 1920—1921 гг. председатель советских делегаций на мирных переговорах с Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей.

С. 115. ***"Был момент, когда естественная жалость..."*** — цитата из статьи А.М.Горького "Владимир Ильич Ленин" (Коммунистический интернационал. — 1920. — № 12 (20 июля). — Стб. 1927—1936). Вместо слова "большевизм" у Горького — "безумие".

Яблоновский Александр Александрович (наст. фам. Снадзский, 1870—1934) — журналист, литературный критик, фельетонист, мемуарист. С 1918 г. жил в Ростове, сотрудничал в периодических изданиях Юга России. В 1919 г. из Новороссийска эмигрировал в Египет, затем жил в Берлине. В декабре 1920 г. переехал в Париж. С 1928 г. председатель совета объединенного Зарубежного союза русских писателей и журналистов. Имеется в виду статья А.Яблоновского "На колесах" (Общее дело. — 1921. — 20 июля (№ 368). — С. 2), в которой автор, в частности, писал: "Целые уезды и даже губернии живут нынче "на колесах" <...> все бежит от бесплодной засохшей земли, обещающей только смерть... Так, под державной рукой коммунистов кончился на Руси быт земледельческий и начался снова быт кочевой... За время мировой войны погибло во

всех воевавших странах около 15 миллионов человек. Теперь в одной только России на краю могилы стоит 25 миллионов". Далее он пишет, что помощь в Россию должна поступать под жестким контролем Европы и Америки, и что он не допускает мысли об отказе нынешних властителей от этого контроля. "Они его примут потому, что в их положении люди все примут, ибо каждый кусок хлеба, привезенный сейчас в Россию, отдаляет от коммунистической шеи давно заслуженную веревку".

...в своих статьях "О мещанстве"... — Горький А.М. Заметки о мещанстве // Новая жизнь. — 1905. — 27 октября (№ 1); 30 октября (№ 4); 13 ноября (№ 12); 20 ноября (№ 18). В одной из этих заметок Горький писал: "Толстой и Достоевский — два величайших гения, силою своих талантов они потрясли весь мир <...> ". Но в их "проповеди терпения и непротивления злу есть что-то подавляюще-уродливое и постыдное, есть что-то близкое злой насмешке. <...> Этот тяжелый пример наиболее ярко освещает истинный характер отношения русской литературы к народу. Вся наша литература — настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности. И это естественно.

Иной не может быть литература мещан, даже и тогда, когда мещанин-художник гениален.

Одно из свойств мещанской души — раболепие, рабье преклонение перед авторитетами. <...> Писатель-мещанин всегда более или менее лакей своего читателя, — человеку приятно быть идолом. <...>

Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они". (Новая жизнь. — 1905. — 13 нояб. (№ 12). — С. 4—9).

Минский Н. (наст. фам. Виленкин Николай Максимович; 1855—1937) — поэт, драматург, переводчик, литературный критик, публицист, мемуарист. Благодаря наличию у Минского разрешения на издание газеты, большевики пригласили его в октябре 1905 г. в качестве формального редактора газеты "Новая жизнь". Газета издавалась в Петербурге под непосредственным руководством Ленина и фактически являлась органом РСДРП. Однако Минский начал выступать против большевистского ядра редакции, что привело к разрыву. Газета неоднократно подвергалась гонениям правительства и в декабре 1905 г. была закрыта. С 1906 г. Минский в эмиграции в Париже, затем в сентябре 1913 г. возвращается в Россию, осенью 1914 г. вновь уезжает в Париж. С конца 1921 г. — в Берлине, член берлинского Союза русских писателей и журналистов. В 1922—1923 гг. председатель берлинского Дома искусств. С февраля 1923 г. председатель Профессионального союза русских переводчиков в Германии.

"Страна неограниченных возможностей" // Огни. — 1921. — 8 августа (№ 1). — С. 2—3.

С. 116. *Богданов* Александр Александрович (наст. фам. Малиновский, 1873—1928) — большевик, врач, философ-утопист. Входил в редакции газет "Новая жизнь" и "Пролетарий". В 1918 г. активно сотрудничал в органах Пролеткульта и журнале "Пролетарская культура". Идеи Богданова легли в основу идеологии Пролеткульта. В 1918—1926 гг. преподавал в Коммунистической академии.

Суханов Н. (наст. фам. Гиммер Николай Николаевич; 1882—1940) — участник революционного движения, экономист, публицист. С 1903 г. эсер, с 1917 г. меньшевик, член ВЦИК. В 1931 г. осужден как участник контрреволюционной меньшевистской организации.

"Бабушка" — имеется в виду Е.К.Брешко-Брешковская.

...на знаменитом московском совещании... — 12(25)—15 (28) августа 1917 г. в Москве в Большом театре состоялось Государственное совещание, созванное Временным правительством по инициативе А.Керенского с целью выяснения

позиции всех политических групп, а также укрепления позиции Временного правительства. В итоге совещания между министрами-социалистами и министрами-кадетами установилось большее единение. При всем различии тактики отдельных групп, было возможно примирение, если не полное единение двух частей коалиции. В речи Керенского нет сведений о самосудах и их количестве (см.: Государственное совещание: Стенографический отчет. — М.; Л. 1930).

С. 117. *Соболь* Андрей (наст. имя Юлий Михайлович; 1888–1926) — журналист, писатель. Был комиссаром Временного правительства на Северном фронте. Покончил жизнь самоубийством.

Иорданский Николай Иванович (псевд. Негорев; 1876–1928) — журналист, публицист, общественный деятель. После февральской революции выезжал на фронт в качестве комиссара Временного правительства при армиях Юго-Западного фронта. После октябрьской революции жил в Финляндии, редактировал в Гельсингфорсе советскую газету "Путь". В 1922 г. выслан по распоряжению финских властей.

Дункан Айседора (1877–1927) — американская танцовщица. 24 июля 1921 г. приехала в Россию, организовала собственную студию в Москве. См. о ней статью "Босоножка" (с. 404–410 наст. изд.).

...мултанские человеческие жертвоприношения... — в 1892–1896 гг. шел процесс "Мултанское дело" над группой крестьян-удмуртов села Старый Мултан Вятской губернии по обвинению в убийстве с ритуальной целью.

С. 118. *Емельянов-Коханский* Александр Николаевич (наст. фам. Емельянов, 1871–1936) — поэт, беллетрист, переводчик. Приобрел скандальную известность после выхода сборника стихов "Обнаженные нервы" (М., 1895), изданного на розовой бумаге с портретом автора в костюме оперного Демона и посвящением самому себе "и египетской царице Клеопатре". На обложку были вынесены строки одного из стихотворений: "Я декадент! Во мне струится сила...". В 1906–1916 гг. был редактором бульварного юмористического журнала "Шутенок". После 1917 г. отошел от литературной деятельности. В последние годы жизни страдал очевидными нарушениями психики.

Шершеневич Вадим Габриэлович (1883–1942) — поэт, переводчик. До 1918 г. примыкал к футуризму; в 1919–1925 гг. — один из вдохновителей и организаторов группы имажинистов.

...Анатолий Луначарский, создал новую мистерию: Иван в раю!... — см.: Луначарский А.В. Иван в раю: Миф в 5-ти картинах. — М.: Госиздат, 1920. — 40 с.: ил.

...как у того крыловского мудреца, что полетел в яму... — имеется в виду басня И.И.Хемницера "Метафизик", которую Бунин ошибочно приписывает И.А.Крылову.

...с лубочной ахинеей о каком-то уже... — имеется в виду "Песня о Соколе" А.М.Горького.

С. 119. *"Блажен, кто посетил сей мир..."* — цитата из стихотворения Ф.И.Тютчева "Цицерон".

...предмет мистической поэмы... — имеется в виду поэма А.А.Блока "Двенадцать".

"Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа..." — переложение фрагментов текста из книг С.М.Соловьева. В "Истории России с древнейших времен" автор писал: "Холоп Болотников <...> обратился к своим, обещая волю, богатства и почести под знаменами Димитрия, и под эти знамена начали стекаться разбойники, воры, нашедшие пристанище в Украйне, беглые холопы и крестьяне, козаки, к ним пристали посадские люди и стрельцы, начали в городах хватать воевод и сажать их в тюрьмы; крестьяне и холопи стали нападать на домы господ своих, разоряли их, грабили, мужчин убивали, жен и дочерей заставляли выходить за себя замуж. <...> При состоянии умов, какое

господствовало тогда в Московском государстве, при всеобщей шаткости, неуверенности, недостатке точки опоры, при таком состоянии первый успех, на чьей бы стороне ни был, имел важные следствия, ибо увлекал толпу нерешительную, жаждущую увлечься, пристать к чему бы то ни было, опереться на что бы то ни было, лишь бы только выйти из нерешительного состояния, которое для каждого человека и для общества есть состояние тяжкое, нестерпимое. <...> и в самой Москве, тем более в областях, после недавних страшных и странных событий господствовала смута, шатость, сомнение; этим состоянием, отнимавшим руки у земских людей, воспользовались тушинцы и овладели многими северными городами. <...> Смутное время, надежда на безнаказанность развязали руки людям, которые любят извлекать выгоды из общей беды..." (Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. — Кн. 4. — М.: Мысль, 1989. — С. 454–455, 501, 511). В книге "Общедоступные чтения о русской истории" (М., 1908) Соловьев писал: "Опять сомнение, смута, как при появлении первого самозванца; у добрых людей опустились руки, не знают за кого стоять, на чьей стороне правда, а злым людям только того и надобно, чтобы мутить землю для своих выгод. <...> Второго самозванца отыскали в северской Украйне, и к нему со всех сторон начали собираться шайки людей, хотевших воспользоваться смутою и пожить на чужой счет: составилось большое войско из всякого сброда, поляков и русских, особенно было много казаков, привлеченных надеждою добычи. <...> Грабеж был единственной целью тушинцев, а служба царю Димитрию служила только прикрытием" (с. 105–107).

С. 120. *Ллойд Джордж* Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., один из крупнейших лидеров Либеральной партии, выступил за установление контактов с Советской Россией.

С. 121. *"Умом Россию не понять..."* — первая строка стихотворения Ф.И.Тютчева.

О писательских обязанностях // Огни. — 1921. — 12 сентября (№ 6). — С. 2–3. — Ср.: 3-й отрывок Из "Великого дурмана" (с. 55–61 наст. изд.), а также "Окаянные дни", записи от 22 и 24 апреля, от 9 и 10 июня 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 109, 116, 155, 161). Готовя текст для "Огней" Бунин внес незначительную правку в текст предыдущей публикации этой статьи (Сегодня. — 1921. — 23 июня (№ 140). — С. 6). В первой публикации после слов "...ласки милой воспевать" следовало: "с чисто раскольнической яростью душили писательскую свободу, с настойчивостью и страстностью скопцов заманивали к себе молоденьких, чтобы кастрировать их души!". После слов "А потом количество пишущих..." следовало: "количество профессионалов, а не прирожденных художников...". После слов "...думал я после этого разговора" следовало: " — Бог мой, какое младенческое неведение и даже нежелание ведения относительно своего собственного народа и когда же,— в такое страшное время. Нет, это нам даром не пройдет".

С. 121. *"Поэтом можешь ты не быть..."* — цитата из стихотворения Н.А.Некрасова "Поэт и гражданин".

Златовратский Николай Николаевич (1845–1911) — прозаик, автор многочисленных повестей, рассказов, романов о жизни деревни. Почетный академик по разряду изящной словесности (1909).

С. 122. *"Мы, мужики владимирцы, всегда были подрядчиками, кулаками..."* — пересказ фрагмента текста из книги И.Наживина "Что же нам делать?": "...мужичек-владимирец осторожен сугубо, и потому, что мы, владимирцы, народ старообрядцев, народ мелких подрядчиков, "богомазов", городских завсегдатаев ни в какой степени революционностью не грешили. Лет сорок тому назад, как раз в наших местах жил и писал свои "Деревенские будни" и "Красный куст"

известный писатель-народник Н.Н.Златовратский, который сумел найти в нашем народе этакую некоторую органическую склонность к социализму, но на это утверждение знаменитого в свое время кумира русской интеллигенции можно смотреть лишь как на некоторую игру ума, как на исключительную способность взлетать из нашего, в общем, грустного мира — в утешающий мир фантазии. Нет, мы были "богомазами", были мы подрядчиками, были мы кулачками, были мы барышниками, всем чем угодно — только не были мы ни социалистами, ни революционерами" (с. 7).

Письмо в редакцию. От русских матерей // Огни. — 1921. — 19 сентября (№ 7). — С. 2. — "Это письмо получил Мережковский от какой-то сестры милосердия Дьяковой для распространения. На всех оно произвело потрясающее впечатление", — записала 16(29) августа 1921 г. в дневник В.Н.Муромцева-Бунина. (*"Устами Буниных"*. — Т. 2. — С. 57). Редакция "Огней" получила ряд откликов от людей, желающих принять на воспитание русских детей (см.: Огни. — 1921. — 3 октября (№ 9). — С. 3).

Записная книжка // Огни. — 1921. — 17 октября (№ 11). — С. 2. — Ср.: "В этот день" (с. 27—29 наст. изд.), а также "Окаянные дни", запись от 11 июня 1919 г. (*Бунин—1990.* — С. 165—166).

С. 127. *"Ах, мщения, мщения!"...* — слова из письма К.Н.Батюшкова к Н.И.Гнедичу <октябрь 1812 г. Нижний Новгород>. Батюшков писал: "При имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, белокаменной Москвы, сердце мое трепещет, и тысяча воспоминаний, одно другого горестнее, волнуются в моей голове. Мщения! мщения! Варвары! Вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии; и мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны! Хорошо и они нам заплатили! Можно умереть с досады при одном рассказе о их неистовых поступках" (Батюшков К. Сочинения: В 2 т. — М., 1989. — Т. 2. — С. 235).

"Это — вечные женихи революционной Пенелопы..." — пересказ фрагмента текста из "Былого и дум" А.И.Герцена (часть 5, гл. 36, 38). У Герцена: "В кафе, за десятком маленьких столиков, важно заседали разные habitues <завсегдатаи — франц.> революции, значительно и мрачно посматривающие из-под поярковых шляп с большими полями, из-под фуражек с крошечными козырьками. Это были те вечные женихи революционной Пенелопы, те неизбежные лица всех политических демонстраций, составляющие их *табло* <картину — от франц. tableau>, их *фон*, грозные издали, как драконы из бумаги, которыми китайцы хотели застращать англичан.

В смутные времена общественных пересозданий, бурь, в которые государства надолго выходят из обыкновенных пазов своих, нарождается новое поколение людей, которых можно назвать хористами революции; выращенное на подвижной и вулканической почве, воспитанное в тревоге и перерыве всяких дел, оно с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Как для Николая *шагистика* была главным в военном деле, — так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции.

В их числе есть люди добрые, храбрые, искренно преданные и готовые стать под пулю, но большей частию очень недальние и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всем революционном, они останавливаются на какой-нибудь программе и не идут вперед.

Толкуя всю жизнь о небольшом числе политических мыслей, они об них знают, так сказать, их риторическую сторону, их священническое облачение, то

есть те общие места, которые последовательно проявляются одни и те же, a tour de role <по очереди — франц.>, — как уточки в известной детской игрушке, в газетных статьях, в банкетных речах и в парламентских выходках.

Сверх людей наивных, революционных доктринеров, в эту среду естественно втекают непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса, но окончившие ученье, адвокаты без процессов, артисты без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд. <...> Легкость, с которой, и то только по-видимому, всплывают знаменитости в революционные времена — поражает молодое поколение, и оно бросается в пустую агитацию; она приучает их к сильным потрясениям и отучает от работы. Жизнь в кофейных и клубах увлекательна, полна движения, льстит самолюбию и вовсе не стесняет. <...>

Это бессменные трибуны кофейных и клубов; они постоянно недовольны всем и хлопочут обо всем, все сообщают, даже то, чего не было, а то, что было, — является у них, как горы в рельефных картах, возведенное в квадрат и куб. <...>

Само собой разумеется, что, говоря о кофейных агитаторах и о революционных лаццарони <...> У нас речь шла о той накипевшей закраине, покрытой праздным пустоцветом, для которого сама агитация — цель и награда, которым процесс народных восстаний нравится, как процесс чтения нравился Петрушке Чичикова или как шагистика — Николаю. <...>

— Пуще всего, — опять повторяли все старейшины демократии, — будьте без оружия, а то вы испортите характер дела. Самодержавный народ должен мирно и торжественно заявить Собранию свою волю, чтоб не дать врагам никакого повода к клевете. <...>

Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей и, что всего хуже, без их сознания <...> Они в раздоре между собой, в личных спорах, в печальном самообольщении, разъедаемые необузданным самолюбием, останавливались на своих неожиданных днях торжества и не хотели ни снять увядших венков, ни венчального наряда, несмотря на то, что *невеста* обманула. <...>

При всем этом сознание не двигалось ни на шаг, мысль дремала... Если б эти люди были призваны звуком новой трубы и нового набата, они, как девять спящих дев, продолжали бы тот день, в который заснули". (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. — М., 1956. — Т. 10. — С. 45–48, 51, 116–117).

С новым годом // Общее дело. — 1922. — 1 января (№ 531). — С. 2. — Ср.: "Окаянные дни", запись от 22 апреля 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 106).

Итоги // Утро. — 1922. — 6 января (№ 5). — С. 2–3.

С. 130. *...на "зеленых"...* — "Зеленые" — первоначально лица, которые во время гражданской войны в России, не желая служить в армии, укрывались в лесах (отсюда название). Красные пытались создать "красно-зеленые" партизанские отряды, белогвардейцы в тылу Красной Армии создавали отряды "бело-зеленых" (в 1920 г. на Северном Кавказе действовала Армия возрождения России под командованием генерала М.А.Фостикова).

Савинков Борис Викторович (лит. псевдоним В.Ропшин, 1879–1925) — один из лидеров партии эсеров, писатель. До 1906 г. — в числе "Боевой организации эсеров". Во Временном правительстве — товарищ военного министра. С 1918 г. — эмигрант. В 1921–1923 гг. руководил диверсионной деятельностью против советского государства. Арестован в 1924 г. при переходе советской границы, погиб в заключении.

...ставки на Кронштадт... — имеется в виду антисоветский мятеж гарнизона Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтфлота в марте 1921 г., органи-

зованный эсерами, меньшевиками, анархистами. 2 марта был создан "Временный революционный комитет" во главе с С.М.Петриченко. Восставшие требовали свободы деятельности левых социалистических партий, упразднение комиссаров, свободы торговли и перевыборов Советов ("Советы без коммунистов"). К утру 18 марта мятежники были разгромлены, потеряв убитыми 1 тыс. человек, ранеными свыше 2 тыс. и захвачены в плен с оружием в руках 2,5 тыс. человек. Около 8 тыс. бежало в Финляндию.

Антонов Александр Степанович (1888–1922) — эсер с 1906 г., руководитель крупнейшего антисоветского мятежа в Тамбовской и частично Воронежской губерниях в 1920–1921 гг. Целью мятежа было осуществление программы эсеров — созыв Учредительного собрания, создание правительства из представителей различных партий и союзов. Начался мятеж 15 августа 1920 г. в селе Хитрово Тамбовского уезда. В октябре 1920 г. в мятеже участвовало 15–20 тыс. человек, в январе 1921 г. — 50 тыс., в их числе была и значительная часть крестьянства. К августу 1921 г. основные силы армии Антонова были ликвидированы. Антонов был убит при аресте 24 июня 1922 г.

..."прокукишем"*...* — летом 1921 г. был создан Всероссийский комитет помощи голодающим, который возглавили общественные деятели С.Н.Прокопович, Е.Д.Кускова и Н.М.Кишкин. Комитет стали называть по первым слогам фамилий руководителей "Прокукишем". Собранные Комитетом деньги были реквизированы большевиками, а вместо общественного комитета был создан государственный — Помгол. В 1922 г. С.Н.Прокопович и Е.Д.Кускова были высланы из России по обвинению в подпольной антисоветской деятельности, Н.М.Кишкин получил тюремный срок. *Прокопович* Сергей Николаевич (1871–1955) — общественно-политический деятель, экономист, публицист; член ЦК партии кадетов. Доктор философии (1913). В 1914–1917 гг. сотрудник Московского военно-промышленного комитета. В 1917 г. министр торговли и промышленности (июль–август), министр продовольствия (сентябрь–октябрь) Временного правительства. С весны 1918 г. участник "Союза возрождения России". После высылки из России поселился в Берлине. С конца 1922 г. организатор, затем руководитель Русского экономического кабинета (Берлин, с 1924 Прага). *Кускова* Екатерина Дмитриевна (1869–1958) — общественно-политический деятель, социолог, публицист, издатель, мемуарист. С 1895 г. жена С.Н.Прокоповича. С 1897 г. член Союза русских социал-демократов за границей". С апреля 1917 г. издавала в Москве ежедневную "демократическую и социалистическую" газету "Власть народа", в которой призывала, в частности, к борьбе с Лениным и "ленинством". Во время октябрьских событий активно поддержала Временное правительство, затем выступала против большевиков на страницах газет "Власть народа" и "Право народа". В период гражданской войны "нинистка" — ни с белыми, ни с красными. С 1918 г. член Московского (затем Всероссийского) союза писателей. С 1919 г. член Московского комитета Общества политического Красного креста, одна из руководителей "Лиги спасения детей". После высылки из России в 1922 г. поселилась в Берлине. Член берлинского Союза русских писателей и журналистов. Соучредитель берлинского Клуба писателей (1922–1923). Председатель русского Политического Красного креста. С 1924 г. в Праге, член комитета пражского Земгора.

"Лишь бы не реакция! Пусть..." — речь идет о "новой тактике по отношению к большевизму", выдвинутой П.Н.Милюковым.

...вот отчет (в "Руле") о лекции Андрея Белого... — см.: В.Т. Лекция Андрея Белого // Руль. — 1921. — 18 дек. (№ 331). — С. 6. В статье сообщалось: "Цикл лекций, устраиваемый "Домом искусств", открылся докладом Андрея Белого о "Культуре современной России". Лектор сам признал трудность своей задачи говорить о культуре современной России. Внешняя культура гибнет и разрушается и люди живут без элементарнейших благ цивилизации. Но докладчик считает это несущественным. Пусть рушатся дома. Выстроим новые. Важно то,

что рождается новое сознание. <...> Все старые формы в России рухнули. Новые еще не народились. В России — все в движении. Динамика вытеснила статику. <...> Культуры современной России нет, но сама эта современная Россия рождает новую культуру — в сердцах сильных и светлых русских людей. И может быть уже через двадцать лет в России вспыхнет такой свет, что улицы Парижа покажутся темными. Лектор сам признает, что его впечатления почти невозможно подтвердить конкретными данными, так как еще не отложились даже зачатки форм этой новой культуры. И идеологическим оформлениям своих впечатлений сам докладчик еще не верит. Но ясно только одно, что никому, пришедшему извне, никакой власти сверху и не эмиграции в особенности не удастся навязать своей идеологии и своих взглядов этим людям, оставшимся в России, которые в самом аду справлялись с адом".

С. 131. *"Теперь Русь живет на колесах!"* — имеется в виду статья А.Яблоновского "На колесах" (Общее дело. — 1921. — 20 июля (№ 368). — См. коммент. на с. 515–516).

"Переживаем трагедию замещения старых богов — новыми..." — неточные цитаты из опубликованного "Письма из Петербурга" (Руль. — 1921. — 7 дек. (№ 321). — С. 4). Перед публикацией этого письма сообщалось: "Times" печатает интересное письмо из Петербурга, автор которого, по словам редакции, очень образованный человек, одно время принимавший активное участие в политике и неоднократно сидевший в большевистских тюрьмах. "Мы здесь переживаем, пишет он, большую трагедию, — трагедию смерти старых богов и замещение их новыми. <...> Старые партии — остатки исчезнувшего старого режима. Теперь воздух насыщен делами. Всеобщий лозунг — "обогащайтесь". Теперь наступает будничная проза буржуазной жизни. Теперь не будет больше Толстых, Тургеневых и Достоевских, но мы будем иметь наших Стиннесов и Ратенау. <...> Из города ушли в деревню разные слои населения: бывшие ремесленники, домашняя прислуга, рабочие и т.д. <...> Манеры стали грубыми и резкими. Для интеллигенции время тяжелое. Особенно неприятна молодежь, многие из них совершенно дикие волки. <...> Многие государственные предприятия закрываются, следствием чего является сильная безработица. <...> Неравенство растет, многие автоматически богатеют, другие так же автоматически беднеют. Школы в ужасном состоянии. <...> Из университетов ушли лучшие люди, а посредственности торжествуют. Недавно были беспорядки среди студентов. <...> Мы переживаем теперь время ужасного индивидуализма, хищничества, зависти, открытых злоупотреблений и безразличия к страданиям. Но низшие классы поднялись. <...> Массы поднялись в то время как интеллигенция опустилась вниз, так как интеллигенты колят дрова, грузят пароходы и вагоны, или стали извозчиками, что теперь является весьма выгодным делом".

Стиннес Гуго (1870–1924) — немецкий промышленник, основатель крупного концерна тяжелой промышленности "Стиннес". После первой мировой войны создал путем финансовых махинаций сверхмонополию из 1664 фирм, охватывавших различные отрасли промышленности и торговли и располагавших многочисленными филиалами за границей. После смерти Г.Стиннеса концерн обанкротился.

Ратенау Вальтер (1867–1922) — немецкий промышленник и финансист, политический деятель и публицист. В 1922 г. министр иностранных дел. Во время Генуэзской конференции в апреле 1922 г. подписал вместе с К.Й.Виртом Рапальский договор, урегулировавший спорные вопросы с Советской Россией. В июне 1922 г. убит членами тайной националистической террористической организации "Консул".

...из доклада, читанного в Петербурге известным педагогом Золотаревым... — в рубрике "Печать" (Руль. — 1921. — 15 дек. (№ 328). — С. 2) говорилось: "По

сообщению "Нового мира" известный педагог С.А.Золотарев читал в Доме Литераторов доклад о подрастающем поколении на основании произведенной в средних и низших учебных заведениях анкеты. Отметив высокую смертность, болезненную апатию, равнодушие к жизни и острую тоску, докладчик затем указал, что те, которым удалось выжить, представляют новый тип: "В нем уже нет следов старой обломщины. Что-то есть в нем от Шульца, что-то унаследовано им от энергичных янки. Часто в мелочах, в детских играх, в школьных шалостях появляется эта новая черта, это бурное стремление что-то творить непременно самому, что-то создавать из ничего. Эта жажда творчества, смешанная с долей практицизма, вынесенного из суровой русской жизни, где каждый должен ежедневно вести острую борьбу за существование, нередко принимает смешные, чисто детские формы. <...> Его проявления часто причудливы, как причудлива сама русская жизнь. Но оно настраивает нас не на охлаждающий пессимизм, а на бодрящий оптимизм. На наших глазах творится новая жизнь, которая будет делаться новыми людьми..."

Маслов Сергей Семенович — эсер, член Учредительного собрания.

Стамболийский Александр Стоименов (1879—1923) — болгарский политический деятель. С 1902 г. один из лидеров Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС). С января 1919 г. входил в коалиционный кабинет Тодорова. В октябре 1919—мае 1920 г. — глава коалиционного правительства, в мае 1920—июне 1923 г. — однопартийного правительства БЗНС. Правительство Стамболийского провело в 1920—1922 гг. некоторые реформы (в том числе аграрную), носившие демократический характер, а также предприняло попытки наладить отношения с Советской Россией. 9 июня 1923 г. в результате правого переворота правительство было свергнуто, а Стамболийский схвачен и убит.

"Россия вымирает — и деревня и город..." — неточные цитаты из цикла очерков С.С.Маслова "За четыре года: Очерки Советской России" (Последние новости. — 1921. — 3, 7, 10, 13, 16 дек. (№ 501, 504, 507, 509, 512). В первом очерке С.Маслов писал: "...несмотря на потери в мировой и гражданской войнах, несмотря не вымирание населения от голода и болезней, несмотря, наконец, на потерю значительных территорий, государство приумножило население за 23 минувших года на 28—29%. <...> За последние четыре года <...> население быстро убывает. <...> Процесс вымирания, хотя с различным темпом, идет одинаково в деревне и в городе. В городах смертность выше.<...> Для четырех последних лет в 12 прежних губерниях <...> население уменьшилось почти на 3 миллиона человек или на 11,8%. Голод, все усиливаясь, тянется уже три года и в этом году принял грандиозные размеры: не менее 30-ти миллионов человек подпали под его страшную, пощады не знающую, власть. Спасаясь от голода, население бросает насиженные места, жилища, хозяйство и бежит в края, где, по его сведениям, есть хлеб и можно спастись от голодной смерти. <...> "Русь на колесах", выходившая прежде почти исключительно из губерний потребляющих, в этом году пошла и из губерний производящих. Передвинулись миллионы. Целые края России, давно колонизованные, превращаются в пустыню и подлежат новой колонизации. <...> За 4 последних года городское население уменьшилось на 2927925 человек или на 43,2%. Оно меньше, чем было даже в 1897 году! Городское население вымирает и бежит в деревню. <...> Убыль городского населения — надолго. Для его быстрого восстановления до численно прежних размеров непреодолимым препятствием является уничтожение и порча домов, идущие в огромных размерах. <...> Насколько велико разрушение домов <...> показывают результаты обследования в Петрограде: из 600 обследованных домов 132, т.е. 22% были признаны угрожающими жизни жильцов. То же и в Москве, Харькове, Одессе и т.д. В Петрограде подвальные этажи залиты водой и человеческими испражнениями. Исчез и больше не вернется класс поместно-

го землевладения. Ослабел класс буржуазии: значительная часть его материальных ценностей разрушена, потеряна. <...> Интеллигенция поредела, задавлена материальными тяготами жизни, террором. Она оглушена своими потерями, разбитыми надеждами, кризисом. Конечно, она не умерла в своей общественной роли, у нее не только день будущий, но и день настоящий. <...> Изменился и пролетариат. Вместо 9,2 миллионов человек, которые пролетариат насчитывал в 1897 г., в его рядах теперь только 4775 тыс. человек. Понизился и его качественный уровень. Прежний квалифицированный рабочий <...> исчезает как полая вода. Он беспрерывно выбивался на бесчисленных гражданских фронтах, вымирал с голода и эпидемий, уходил в деревню и там садился на землю, "окрестьянивался". Бесконечно более, чем все названные, сохранился крестьянский пласт <...> сохранилось его хозяйство — правда, разрушенным, но в меньшей степени, чем остальные виды хозяйства".

Во втором очерке автор писал: "По весьма оптимистическим подсчетам Центр<ального> Статис<тического> Упр<авления>, продукция русской промышленности сократилась в 8 раз против довоенного времени, а продукция сельского хозяйства в 2 раза. <...> Страна стала беднее вчетверо. Если к этому прибавить разрушенные здания (фабрично-заводские, торговые, складочные, станционные, жилые), изношенный и поломанный инвентарь, огромную убыль скота, испорченную почву, ухудшившиеся семена, тяжелое состояние ж.-д. пути и водных артерий, полное обезлесенье безлесных губерний, вырубленные на топливо фруктовые сады, резко понизившуюся интенсивность человеческого труда, огромную убыль квалифицированных рабочих и т.д., то перед нами встанет потрясающая картина разрушения народного хозяйства, не только в его функциях, но и в его *возможности* нормально функционировать в ближайшие годы. <...> Жизненные силы крестьянского хозяйства подорваны в корне. <.. > Посевная площадь по официальным подсчетам сократилась против 1917 г. на 25%, а по неофициальным подсчетам экономистов на 35%. Урожайность пала на 15% по официальным подсчетам и на 20—25% по неофициальным. <...> Современное сельское хозяйство является *крестьянским* хозяйством. <...> Крестьянство — восходящая сила в России, а потому, по слову Герцена, "ему все на пользу".

В третьем очерке Маслов говорит: "Особенностями государственного хозяйства современной России являются: 1) упорное стремление власти слить хозяйство государственное с хозяйством народным, 2) растущая из года в год дефицитность, 3) покрытие дефицита исключительно выпусками бумажных денег, 4) отсутствие плана. <...> Налоги в 1920 г. дали ничтожную сумму в 471 миллион руб. (0,3% прихода и 0,038% расхода). Контрибуции, широко практиковавшиеся местными властями в течение 1918 и отчасти 1919 г., потом упали в своем значении. Контрибуция в 10 миллиардов руб., которую в 1918 г. решили провести во "всероссийском масштабе", несмотря на экстраординарные усилия по ее сбору, к декабрю 1920 г. дала только 1627,7 миллионов руб. <...> На крестьянские плечи ложится, по крайней мере, девять десятых государственного бюджета... На образование в 1916 г. тратилось 8,24% государственного бюджета, в 1920 г. — 10,95%. <...> Ассигновки прежнего времени выполнялись полностью, — и в смысле отпуска средств, и в смысле их расходования; теперь деньги отпускаются в меньшем против ассигновок количестве и еще меньше они расходуются. <...> Особенно тяжкие удары нанесены первоначальному образованию. Неремонтируемые и неотапливаемые школы; нет учебников, нет досок, мела, чернил, бумаги, карандашей и перьев; занятие идут в крестьянских избах, в которые набиваются по 30—40 человек школьников. Учителя разуты, раздеты, нищенствуют и, порой, (женская часть) проституируют. Месяцами, часто по полугоду, не получают жалованья. Как правило — без пайка. Все наиболее энергичное бежит с голодной и тернистой "нивы просвещения", учителей не

хватает. Состав учительской армии резко изменился и понизился. "Теперешних учителей самих учить надо", говорят крестьяне. <...> Особенно довольны коммунисты своими успехами в области высшего образования. Вместо прежних 10 университетов их теперь 23. Но что за преподавательские и административные силы работают в них! Вот Велико-Устюжский университет. Во главе его стоит некто Горовой — человек с уголовным прошлым. Прошлое его всем известно, но Горовой (теперь коммунист) — ректор, ибо он обладает, по официальной оценке местных властей, "организационными способностями".

В четвертом очерке Маслов пишет о книгоиздательской деятельности и литературе Советской России: "Дальше идут официально покровительствуемая стихотворная нелепица имажинистов, книжки государственного издательства, прославляющие прелести коммунизма и заушающие буржуазный строй".

В пятом очерке автор пишет об общих социально-психических процессах в Советской России: "Современную Россию из-за границы знать нельзя. Ее прошлый облик лишь в малой степени определяет ее настоящее. С лицом сфинкса, полным загадки и тайны, она рисуется даже наблюдающим ее изнутри. И это понятно. <...> Страшное обнищание России и в особенности нищета ее городов привела — и не могла не привести — к широко распространенному воровству и взяточничеству. <...> Взаимные услуги и займы достигли небывалых прежде размеров. Но только среди знакомых. К "чужим" сердце огрубело. В больших сибирских селах по утрам после страшных буранов у самых дверей натопленных изб находили трупы замерзших солдат: их ночью хозяева не хотели пустить на ночлег... По рассказу старого московского следователя по уголовным делам, многочисленные грабежи текущего года в Москве отмечены были двумя характерными чертами: почти все они были совершены подростками в возрасте от 16 до 20-ти лет (поколение, выросшее во время войны и революции), затем многие из них были "на мокрую", т.е. сопровождались убийствами. <...> Вот пример: 20-ти летний юноша убил родную тетку, чтобы взять новый пиджачный костюм ее мужа. В этом костюме убийца в день преступления был шафером при венчании своего приятеля, а потом танцевал и пьянствовал на свадебном пиру. Происходят и более жуткие вещи. Обмозоленное и ослабевшее сердце сказывается в бесчисленных доносах и шпионстве, которые пышно расцвели в России. Они не зазорны теперь — официальная мораль коммунистов возвела их на степень гражданской добродетели. Московская "чрезвычайка" имеет до 30000 осведомителей. Знаю доподлинно, что в сыск вовлечены элементы, которыми не пользовалась даже царская охранка. Это прежде всего дети. Существует корпус детей филеров и шпионов, которым платят, между прочим, "конфетным пайком". Существует корпус проституток, ремесло которых, помимо денег, поощряется еще и продовольственным пайком. Царит почти всеобщий разврат в работе. Ничтожно малый процент людей делает порученное дело хоть с каким-нибудь чувством ответственности. <...> Люди утрачивают честность в отношении к имуществу, к работе, грубеют, компрометируются близостью к коммунистам. <...> Процессы нравственно-общественного вырождения в России несомненны. Эта грязь после социальных бурь будет серьезным препятствием для дела будущего возрождения страны. <...> Россия жива, бодра. Силы выздоровления и роста в ней бродят широко. <...> Последняя из общих новых черт на "лице" современной России — это уменьшение обаяния социалистического идеала и социалистической идеологии. <...> Новое отношение к социализму особенно ярко сказалось среди "мозга нации" — в рядах интеллигенции". Также Бунин пользовался текстами отчетов о лекциях С.Маслова, в которых сообщались сведения, не вошедшие в очерки лектора, опубликованные позднее. Так, в отчете за подписью М.М. "Четыре года: Доклад С.С.Маслова" (Последние новости. — 1921. — 25 ноября (№ 494)) говорилось: "В ноябре 1920 г.

только 9% населения питалось чистым ржаным хлебом, 91% питался суррогатом. <...> Для покрытия дефицита <...> налоги дают ничтожную сумму. Взимание контрибуций широко практиковалось в 1918 и в начале 1919 г. Результаты их также сравнительно ничтожны, несмотря на ужасные средства. Применялись различные пытки от замораживания живьем людей (в Орле) до мнимых расстрелов (в Ливнах) и до поджаривания на горячей плите".

С. 133. *Герцен, правда, "мистически поклонялся тулупу", по выражению Тургенева...* — имеется в виду письмо И.С.Тургенева к А.И.Герцену от 27 октября (8 ноября) 1862 г. из Парижа: "Враг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем-то видишь — великую благодать и новизну и оригинальность будущих общественных форм — das Absolute, одним словом — то самое Absolute — над которым ты так смеешься в философии."

Горький о большевиках // Общее дело. — 1922. — 12 января (№ 538). — С. 2.

С. 134. *Чириков* Евгений Николаевич (1864—1932) — прозаик, драматург, публицист. Член литературного кружка "Среда", был тесно связан с горьковским издательством "Знание". К октябрьской революции отнесся отрицательно. В ноябре 1920 г. эмигрировал сначала в Константинополь, затем Софию, а оттуда в Прагу. Печатался в пражских эмигрантских изданиях "Ковчег", "Младорусь", "Студенческие годы" и др. Речь идет о его книге "Смердяков русской революции: Роль Горького в русской революции" (София, 1921. — 56 с.), в которой автор пишет о своем мнении по поводу общественной позиции А.М.Горького: "Это просто запутавшийся в умствованиях Смердяков, находящийся в услужении у большевиков, одна из гнуснейших и вреднейших фигур русской революции..." (с. 18—19). Заканчивает свою книгу Е.Чириков следующими словами: "Горький, не убивая и не пытая собственноручно, как и Ленин со своими комиссарами, служит и славословит то самое правительство, которое этим делом неустанно занимается. Ведь палачи только творят волю своих повелителей, с которыми Горький связал себя и свое имя и формально, и морально. Кровь, слезы и страдания народа не на палачах, а на большевистских владыках, между которыми отныне пребывает и до века пребудет писатель Максим Горький.

Итак, кто же такой М.Горький? Большевик? Меньшевик, прикинувшийся большевиком? Защитник, временно прикинувшийся прокурором или прокурор, временно прикинувшийся защитником насильников, предавших Россию и русский народ на проклятие?

Не все ли равно, какую партийную кличку пришпилит на себя этот хамелеон, меняющий свои цвета в зависимости от политической погоды и ветра? <...>

Все тайное делается явным. Явною сделалась и роль Горького, подлая, унизительная и преступная роль, одновременно роль Каина, Иуды и Пилата родного народа... Если ты — с убийцами, — ты сам — убийца, если ты с предателями, — ты сам — предатель! Помогал предавать, помогал убивать, а потом превращался в судию своей матери родины, умывающего, подобно Пилату, руки свои...

Быть может, ты был убийцей "подосланным", а Иудой — "по высшим соображениям", быть может, ты был Пилатом по Смердяковской склонности к "умствованиям", — в этом для тебя нет оправдания, а для несчастной России и русского народа нет утешения...

Для нас ты все равно — Каин, Иуда и Пилат русского народа, продавший свою совесть Смердяков русской революции!" (с. 55—56).

"Несвоевременные мысли" — под этим названием в газете "Новая жизнь" было опубликовано 57 статей А.М.Горького (с апреля 1917 г. по июнь 1918 г.).

"Теперь жизнью России правят люди..." — неточные цитаты из статей Горького, опубликованных 23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.) (№ 209); 20 апреля (3 мая) 1918 г. (№ 297). В оригинале: "Жизнью правят люди, находящиеся в непрерывном состоянии "запальчивости и раздражения". <...> "Гражданская война", т.е. взаимоистребление демократии к злорадному удовольствию ее врагов, затеяно и разжигается этими людьми" (№ 209). "...Советская власть расходует свою энергию на бессмысленное и пагубное и для нее самой, и для всей страны возбуждение злобы, ненависти и злорадства, с которым органические враги социализма отмечают каждый ложный шаг, каждую ошибку, все вольные и невольные грехи ее" (№ 297).

"Они, эти фанатики и легкомысленные фантазеры..." — конспект фрагмента статьи Горького, опубликованной 19 ноября (2 декабря) 1917 г. (№ 185). В оригинале: "Фанатики и легкомысленные фантазеры, возбудив в рабочей массе надежды, неосуществимые при данных исторических условиях, увлекают русский пролетариат к разгрому и гибели, а разгром пролетариата вызовет в России длительную и мрачную реакцию".

"Они совершают опыт социальной революции..." — неточная цитата из статьи Горького, опубликованной 3 (16) марта 1918 г. (№ 258). В оригинале: "Конечно, мы совершаем опыт социальной революции, — занятие, весьма утешающее маньяков этой прекрасной идеи и очень полезное для жуликов. Как известно, одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции явился лозунг: "Грабь награбленное!"

Грабят — изумительно, артистически; нет сомнения, что об этом процессе самограбления Руси история будет рассказывать с величайшим пафосом.

Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, — грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать <...>

И вот этот маломощный, темный, органически склонный к анархизму народ ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы.

Казалось бы, что эта курьезная и сентиментальная идея не должна путать трагическую игру народных комиссаров. Но "вожди народа" не скрывают своего намерения зажечь из сырых русских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир, тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас, на Руси.

Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой. И вот эту несчастную Русь тащат и толкают на Голгофу, чтобы распять ее ради спасения мира".

"Среди служителей советской власти..." — неточная цитата из той же статьи. В оригинале: "Мы видим, что среди служителей советской власти то и дело ловят взяточников, спекулянтов, жуликов, а честные, умеющие работать люди, чтоб не умереть от голода, торгуют на улицах газетами, занимаются физическим трудом, увеличивая массы безработных.

Это — кошмар, это чисто русская нелепость, и не грех сказать — это идиотизм!"

С. 135. *"Народные комиссары относятся к России..."* — конспект фрагмента статьи Горького, опубликованной 10 (23) декабря 1917 г. (№ 198). В оригинале: "Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтоб лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадка может издохнуть".

"Я буду твердить русскому пролетариату..." — слова из той же статьи. В оригинале: "И пока я могу, я буду твердить русскому пролетарию: — Тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек!"

"Большевистская политика выражается в равнении..." — неточная цитата из статьи Горького, опубликованной 9 (22) марта 1918 г. (№ 263). В оригинале: "Если я вижу, что политика советской власти "глубоко национальна" — как это иронически признают и враги большевиков, — а национализм большевистской политики выражается именно "в равнении на бедность и ничтожество", — я обязан с горечью признать: враги — правы, большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов".

"Советская власть не стесняется..." — неточные цитаты из статей Горького, опубликованных 19 января (1 февраля) 1918 г. (№ 227); 6 (19) декабря 1917 г. (№ 194). В оригинале: "...Правительство всегда и неизбежно стремится овладеть волею масс, убедить народ в том, что оно ведет его по самому правильному пути к счастью. Эта политика является неизбежной обязанностью всякого правительства. <...> Народные комиссары стремятся именно к этой цели, не стесняясь — как не стесняется никакое правительство — расстрелами, убийствами и арестами несогласных с ним, не стесняясь никакой клеветой и ложью на врага" (№ 227). "В среду лиц, якобы "выражающих волю революционного пролетариата", введено множество разного рода мошенников, бывших холопов охранного отделения и авантюристов" (№ 194).

"Рабочих развращают бесшабашной демагогией..." — неточная цитата из статьи Горького, опубликованной 27 марта (9 апреля) 1918 г. (№ 277). В оригинале: "...я постоянно говорю — что: рабочих развращают демагоги, подобные Зиновьеву; что бесшабашная демагогия большевизма, возбуждая темные инстинкты масс, ставит рабочую интеллигенцию в трагическое положение чужих людей в родной среде; и что советская политика — предательская политика по отношению к рабочему классу".

Еще об итогах // Утро. — 1922. — 13 января (№ 11). — С. 2–3. — Является продолжением статьи "Итоги". По поводу данной публикации в своем дневнике 15 (28) января 1922 г. Бунин записал: "Послал Гутману (ред. газеты) отказ от сотрудничества в качестве поставщика статей для "Утра", предложил 2 рассказа в месяц за 1600 фр. Гутман мое "Еще об итогах" сократил и местами извратил. Пишу "революция" — он прибавляет "коммунистическая". О Горьком все выкинул" (*"Устами Буниных"*. — Т. 2. — С. 76). Подлинник статьи Бунина не известен, в связи с чем удалить искажения Гутмана невозможно.

С. 135. *...вообще мало нового на свете. "Блеск звезды..."* — ср.: "Окаянные дни", запись от 9 июня 1919 г. (*Бунин–1990*. — С. 152).

С. 136. *"Мечом своим будешь жить ты, Исав!"* — имеется в виду ответ Исаака старшему сыну Исаву: "И ты будешь жить мечем твоим, и будешь служить брату твоему; будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей" (Бытие, 27: 40).

"Вкусите от этого яблока — и станете как боги"... — имеются в виду обольстительные слова змея, обращенные к Еве: "Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло" (Бытие, 3: 5).

Все спешили влить вино новое в мехи старые... — имеются в виду слова Христа: "Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое" (Матфей, 9: 17).

"Попытка французов восстановить священные права людей..." — ср.: "Окаянные дни", запись от 9 июня 1919 г. (*Бунин—1990.* — С. 52), где Бунин эти слова приписывает А.И.Герцену, а не И.Ф.Шиллеру.

"Мир не знал разочарования до Великой французской революции..." — неточная цитата из "Былого и дум" А.И.Герцена (ч. 5, гл. 38). У Герцена: "Разочарованья, в нашем смысле слова, до революции не знали: XVIII столетие было одно из самых религиозных времен истории. <...> Скептицизм провозглашен вместе с республикой 22 сентября 1792 года" (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. — М., 1956. — Т. 10. — С.118).

"Кромвель, величайший лицемер и злодей..." — см. коммент. на с. 481.

С. 137. *"Я утратил все верования... Я разуверился... О, если бы плакать, молиться..."* — неточные цитаты из "Былого и дум" (часть 5). У А.И.Герцена: "Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя" (Герцен А.И. — Т. 10. — С. — 233); "...если б я мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но я не мог и, вместо молитвы, написал *проклятие — мой "Эпилог к 1849"* (Там же. — С. 117).

"Первый, с кем я так доверчиво беседовал в Германии, вырвавшись из России с ее сыском..." — пересказ текста из произведений А.Герцена: "Письма из Франции и Италии" — у Герцена: "В них первая встреча с Европой, веселая сначала — да и как же было не веселиться, вырвавшись из николаевской России, после двух ссылок и *одного* полицейского надзора" (Герцен А.И. — М., 1955. — Т. 5. — С. 9); "Былое и думы" (часть 5) — у Герцена: "Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато он не был последний. <...> я и не подумал, что именно потому Франция и не республика, что надо визу! <...>

— Это презамечательная вещь, — сказал мне седой старик. — Вы не первый русский, которого я встречаю с таким образом мыслей. Вы, русские, или совершеннейшие рабы царские, или — passez moi le mot <простите мне это слово (франц.)> — анархисты. А из этого следствие то, что вы еще долго не будете свободными. <Суждение это я слышал потом раз десять. (Прим. А.И.Герцена)>" (Герцен А.И. — Т. 10. — С. 16, 18, 21).

"Нам каждая шелудивая кучка пригодится!" — цитата из речи Петра Верховенского, обращающегося к Ставрогину из романа Ф.М.Достоевского "Бесы" (часть 2, глава 8). Верховенский говорит: "Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Тут каждая шелудивая "кучка" пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал..."

...уголовная антропология выделяет преступников... — ср.: "Окаянные дни", запись от 11 июня 1919 г. (*Бунин—1990.* — С. 164).

С. 138. *...прочтите его клиническую характеристику хотя бы у Костомарова...* — см. коммент. на с.487.

"Полудикие народы... их поминутные возмущения..." — неточная цитата из романа А.С.Пушкина "Капитанская дочка" (глава 6). У Пушкина: "Сия обширная и богатая <Оренбургская> губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении".

С. 139. *"Мы глубоко, непримиримо распались с существующим..."* — неточная цитата из дневника А.Герцена, запись от 17 сентября 1844 г. У Герцена: "Оттого,

что мы глубоко, непримиримо распались с существующим, оттого ни у кого нет собственно практического дела, которое было бы принимаемо за дело истинное, вовлекающее в себя все силы души. Отсюда небрежность, nonchalance <беспечность (франц.)>, долею эгоизм, лень и бездействие. Вот среда, благоприятная для развития! Чем больше, чем внимательнее всматриваешься в лучших, благороднейших людей, тем яснее видишь, что это неестественное распадение с жизнью ведет к идиосинкразиям, к всяким субъективным блазням. <...> Беда нашего века вообще в расторжении теоретической жизни и практической — исключая, впрочем, Англию. <...> Между прочим, мы себя раздражаем беспрерывно мечтами, этим суррогатом действительных страстей." (Герцен А.И. — М., 1954. — Т. 2. — С. 383–384).

"Если я прежде выделил русских мужиков..." — см. коммент. на с. 484.

Великая потеря // Общее дело. — 1922. — 7 апреля (№ 563). — С. 1. — Статья написана по поводу трагической гибели *Набокова* Владимира Дмитриевича (1869—1922) — отца писателя В.В.Набокова, одного из лидеров кадетов, юриста, публициста, депутата 1-й Государственной думы. В 1917 г. был управляющим делами Временного правительства. С 1919 г. в эмиграции, один из учредителей и редакторов берлинской газеты "Руль". Погиб 28 марта 1922 г., когда монархисты П.Н.Шабельский-Борк и С.В.Таборицкий пытались во время публичной лекции убить П.Н.Милюкова.

С. 140. *Лично я знал его мало...* — одна из встреч Бунина с В.Д.Набоковым состоялась 21 апреля 1920 г. на обеде у А.Н.Толстого (см.: *"Устами Буниных"*. — Т. 2. — С. 10).

"Голубь мира" // Слово. — 1922. — 31 июля (№ 6). — С. 1. — Эта статья была перепечатана рижской газетой "Сегодня" (1922. — 5 августа (№ 172)) под заголовком "Бунин против Гауптмана".

С. 141. *...против "готовящегося в Москве кровопролития"...* — имеется в виду процесс над 34 членами ЦК партии эсеров в июне—июле 1922 г. Телеграмма немецкого писателя Герхарта Гауптмана (1862—1946) была отправлена в Москву в Совет Народных Комиссаров 21 июля и опубликована в газете "Последние новости" (1922. — 25 июля (№ 695)). С протестами против казни эсеров обращались к советскому правительству также М.Горький, Д.Б.Шоу, Г.Уэллс и другие общественные деятели и организации. Несмотря на многочисленные протесты, 7 августа 12 подсудимым был вынесен смертный приговор, который был заменен ВЦИКом 10-летним тюремным заключением.

С. 142. *..."на потребу" выброшены мощи...* — советское государство искало пути к подрыву авторитета церкви и религии в целом в сознании верующих. Этой задаче была подчинена развернутая с начала 1919 г. кампания по вскрытию, экспертизе, публичной демонстрации и изъятию мощей канонизированных святых Русской Православной Церкви. Первые, нерегулярные, случаи вскрытия мощей относятся к лету 1918 г., активно началась задуманная кампания в феврале 1919 г. В апреле 1919 г. была вскрыта рака святого Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. К лету 1919 г. в целом по стране было произведено не менее 39 вскрытий мощей, к лету 1920 г. — 58. 17 декабря 1920 г. были вскрыты мощи преподобного Серафима Саровского. 12 мая 1922 г. был вскрыт саркофаг с мощами Александра Невского (см.: Два эпизода борьбы с церковью в Петрограде / Публ. М.В.Шкаровского // Звенья: Исторический альманах. — М.; СПб., 1992. — Вып. 2. — С. 555–556).

...казнены "смертью лютой, надругательной" сотни священнослужителей... — декретом Совнаркома 20 января (2 февраля) 1918 г. церковь была отделена от государства, лишалась собственности и права ее приобретать. До 1922 г. в

Советской России было закрыто более 600 монастырей. Общее число жертв среди духовенства и мирян, не участвующих в гражданской войне, с октября 1917 до конца 1921 г. превысило 10 тыс. человек. Сюда не входят те священники, которые погибли, находясь в рядах Белого движения. В 1921 г. началась кампания по изъятию церковных ценностей под предлогом помощи голодающим Поволжья. Добровольные пожертвования священнослужителей не устроили советскую власть, которая рассчитывала на все церковные богатства и их бесконтрольное использование. Протесты верующих приводили к кровавым расправам. В 1922–1923 гг. было 1414 столкновений властей с верующими по поводу ограбления храмов, в результате чего погибли 2691 священник, 1692 монаха и 3447 монахинь. В ряде городов состоялись показательные судебные процессы над священнослужителями: в Петрограде более 80 обвиняемых — 4 смертных приговора, в Москве — 54 обвиняемых, — 11 казнено (см.: Литвин А.Л. Красный и белый террор в России 1918–1922 гг. — Казань, 1995. — С. 210). Официально начало кампании по изъятию церковных ценностей в помощь голодающим открыто декретом ВЦИК от 23 февраля 1922 г.

Красин Леонид Борисович (1870–1926) — советский государственный и партийный деятель. Член РСДРП с 1890 г. В 1902–1907 гг.— член ЦК РСДРП. В 1918 г. член Президиума ВСНХ, нарком торговли и промышленности. В 1919 г. нарком путей сообщения. С 1920 г. — нарком внешней торговли и одновременно полпред и торгпред в Великобритании (в 1924 г. — во Франции). С 1924 г. — член ЦК партии.

...за один словесный протест ... осуждены на смерть митрополит Вениамин... — Вениамин (в миру Казанский Василий Павлович, 1873–1922) — митрополит Петроградский и Гдовский. После декрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей митрополит соглашался выдать церковные ценности как добровольное пожертвование на помощь голодающим. Но советскую власть не устраивала благотворительная роль церкви и тем более контроль церкви над приемом и расходованием ценностей, о чем и было заявлено представителям Вениамина. Митрополит Вениамин ответил на это посланием, в котором выражал сомнение в том, что пожертвованные святыни будут употреблены исключительно на помощь голодающим, говорил о необходимости относительной самостоятельности церкви в вопросе о пожертвованиях ценностей и обязательном благословении патриарха Тихона (см.: Петроградская правда. — 1922. — 30 марта). Очевидно, что арест авторитетного иерарха, вероятно, спланированный заранее, был связан не только с кампанией по изъятию ценностей, но в не меньшей степени и с позицией Вениамина по отношению к покровительствуемым властями "обновленцам" — 28 мая 1922 г. митрополит, отказавшись от компромиссов с ними, отлучил их петроградских руководителей от церкви. 29 мая Вениамин был арестован. В ночь с 12 на 13 августа 1922 г. митрополит Вениамин был расстрелян.

Литературные заметки // Слово. — 1922. — 14 авг. (№ 8). — С. 2. — Публикация статьи сопровождалась редакционным примечанием: "Мы считаем, что каждая строка, исходящая от такого крупного писателя, как И.А.Бунин, представляет собою громадный интерес и должна быть доведена до сведения читающей публики, даже в тех случаях, когда редакция органа, на долю которого выпадает честь опубликования мыслей И.А.Бунина, не во всем разделяет его взгляды. В данном случае, нас отделяет от автора "Литературных заметок", как подход к некотолрым вопросам, поднятым в кругах русских изгнанников лекциями Е.Д.Кусковой, так и отдельные штрихи аргументации И.А.Бунина".

С. 142. *"В Каноссу, в Каноссу!"* — имеется в виду статья С.С.Чахотина "В Каноссу!" (Смена вех. — 1921. — С. 150–166).

"Смена вех" — сборник статей Ю.В.Ключникова, Н.В.Устрялова, С.С.Лукьянова, А.В.Бобрищева-Пушкина, С.С.Чахотина и Ю.Н.Потехина. Июль 1921 (Прага, 1921). 2-е изд. (Прага, 1922).

С. 143. *"На величие российской государственности большевики работают не покладая рук... Не пугайтесь, что на древней..."* — цитаты из статьи Н.В.Устрялова "Patriotica". (Смена вех. — Прага, 1921. — С. 56, 57).

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — прозаик, драматург, литературный критик, публицист, переводчик, мемуарист. В августе 1921 г. из Петрограда эмигрировал через Таллинн в Берлин. Один из организаторов и вице-председатель берлинского Дома искусств (1921—1923), член Клуба писателей (1922—1923), член берлинского Союза русских писателей и журналистов. В ноябре 1923 г. переехал в Париж. Член парижского Союза русских писателей и журналистов. Вероятно, имеются в виду книги Ремизова "Ахру: Повесть петербургская" (Берлин,1922), "Лалазар: Кавказский сказ" (Берлин, 1922), "Чакхчыгыс-таасу: Сибирский сказ" (Берлин, 1922).

Бальмонт К. "Марево" (Париж, 1922).

Алданов М. "Огонь и дым: Книга составлена из этюдов, написанных в течение двух последних лет" (Париж, 1922).

Дитрихштейн Д.— Дитерихс фон-Дитрихштейн Владимир Давыдович (1890—?) — поэт; происходил из старинного дворянского рода. Осенью 1920 г. эмигрировал сначала в Константинополь, затем с декабря 1921 г. поселился на севере Франции, где жил более двадцати лет, конец жизни провел в Бельгии. Очевидно, имеется в виду поэтический сборник фон-Дитрихштейна "На зыбких гранях" (Париж, 1922).

С. 143—144. *"Когда вдруг исчезла мука, сахар..."*; *"Постигнуть смысл великой катастрофы..."*; *"Слишком ясны еще стоны близких, дорогих..."*; *"Попытаться без гнева и злобы разобраться..."*; *...Блок "видел под знаменем Революции светлого Христа..."* — цитаты из статьи Ю.Н.Потехина "Физика и метафизика русской революции". (Смена вех. — Прага, 1921. — С. 167—169).

"Сарынь на кичку!" — сарынь — толпа, ватага черного народа; сволочь, чернь. Сарынь на кичку! бурлаки, на нос! по преданию, приказ волжских разбойников, завладевших судном (В.И.Даль).

С. 145. *...говорит г-жа Кускова...* — имеется в виду доклад Е.Д.Кусковой "Умерла ли Россия?", с которым она выступила в Париже 28 и 31 июля 1922 г. Об этих докладах были опубликованы отчеты за подписью М.М. (Последние новости. — 1922. — 30 июля (№ 700). — С. 2; 2 авг. (№ 702). — С. 2).

Вон "товарищ Калинин" был в Херсонщине... — имеется в виду сообщение без подписи "По голодному краю: Впечатления Калинина" (Последние новости. — 1922. — 29 июля (№ 699). — С. 3).

А газета утешает... — имеется в виду передовая статья "Умерла ли Россия?" (Последние новости. — 1922. — 29 июля (№ 699). — С. 1), где говорилось: "Уже более года на этих столбцах мы указываем на эту середину. Мы вызвали крайнее раздражение в рядах эмиграции, — раздражение, до сих пор еще не улегшееся,— указанием на то, что старые методы спасения России извне должны быть раз и навсегда сданы в архив. Профессиональные спасители не могли примириться с тем, что Россия признается достаточно зрелой, чтобы самой искать и находить пути своего спасения. <...> Речь идет о признании, что Россия жива, что это есть *новая* Россия, что под густым пеплом разрушения и развалин бьется здоровое сердце нации, что, пройдя неизбежные для всякого народа испытания и уроки, эта нация выросла и не допустит, чтобы с ней обращались, как с послушным стадом".

...кроме Хувера — имеется в виду Гувер Г.К. (1874–1964) — 31-й президент США. В 1919–1923 гг. — руководитель "АРА" ("Американской администрации помощи").

...рядом же с этой передовицей — сообщения... — имеется в виду статья М.Л. "Дым отечества" (Последние новости. — 1922. — 29 июля (№ 699). — С. 2).

Литературные заметки // Слово. — 1922. — 28 августа (№ 10). — С. 2.

С. 145. *...газета П.Н.Милюкова оттрепала меня на вихор...* — имеется в виду обзор под заглавием "Печать" без подписи (Последние новости. — 1922. — 15 августа (№ 713). — С. 2), где критиковалась предыдущая статья И.Бунина "Литературные заметки". В обзоре "Печать" говорилось: "Ив.Бунин печатает в понедельничной газете "Слово" "Литературные заметки", которые правильнее было бы назвать "политическими заметками" почтенного беллетриста. Со времени закрытия "Общего дела" Бурцева г. Бунину негде было высказать свои политические идеи. Но вот уже вторично он находит приют в "Слове". К сожалению, настроение г. Бунина не изменилось со времени его сотрудничества в "Общем деле". В первый раз он резко обрушился на Герхарда Гауптмана, выбрав для этого едва ли подходящий предлог: присоединение Гауптмана к общеевропейскому протесту против смертных приговоров с.-рам. На этот раз г. Бунин размахнулся зараз против "Смены вех", Е.Д.Кусковой и, косвенно, нашей газеты. Он начинает статью ядовитыми сопоставлениями цитат <...> Путем этих сопоставлений г. Бунин, очевидно, думает уязвить Е.Д.Кускову и ее единомышленников в самое сердце. А сопоставление "Смены вех", Кусковой и "одной газеты" приводит раздраженного автора к выводу, который формулируется первой же цитатой статьи "В Каноссу, в Каноссу!"("Смена вех"). Подготовив таким образом почву, г. Бунин открывает свои батареи уже прямо против Е.Д.Кусковой <...> P.S. необыкновенно характерно. Г. Бунин отрицает, что Е.Д.Кускова (которая, конечно, не одинока в своих наблюдениях) могла подсмотреть "здоровый процесс внутри народных масс". Во-первых, она "барыня", а барыням "поддакивают"; во-вторых, она "навеки с юности надела пенсне", а через пенсне нельзя "разглядеть нутро России" (каков "персональный" аргумент! Не знаем, носит ли пенсне сам г. Бунин). А вот "письмо из России" от единомышленника г. Бунина: "жизнь бьет ключом зловонной жидкости". Это уже, наверное, не "народолюбец": он *может* "разглядеть нутро", его не обманешь. <...> Бунин-беллетрист имеет определенное место в литературе. Но Бунин-политик надлежит суждению соответственно критерию этой профессии, а не той, которая ему более свойственна. И если Бунин-политик оказывается обывателем или если, еще хуже, он усваивает и развивает в политике взгляды, которые зачисляют его в определенный политический лагерь, он не должен пенять, если не все органы печати будут считать за "честь" печатать его политические рассуждения. Орган г. Штерна печатает,— но отгораживается от "политики" г. Бунина. Политическая позиция получается странная уже для самого редактора "Слова".

С. 146. *"Поэтом можешь ты не быть..."* — см. коммент. на с. 518.

С. 147. *...Чернышевский со своим романом...* — имеется в виду роман "Что делать?"

Омулевский (Федоров) Иннокентий Васильевич (1836 (1837?)–1883/1884) — прозаик, поэт, публицист, переводчик.

...Горький когда-то гневался на газету "Таймс"... — см. статью И.Бунина "Суп из человеческих пальцев" (с. 64–68 наст. изд.) и коммент. к ней.

<Ответ на анкету о Галлиполи> // Галлиполи. — 1923. — 15 февраля (№ 1). — С. 3; а также: Живым и гордым: Изд. Общества галлиполийцев. — Белград, 1923. — С. 18–19. В анкете было два вопроса: "Что думаете вы о Галлиполи? Какое значение имеет Галлиполи для русской армии и эмиграции?"

С. 147. *Галлиполи* — русский военный лагерь, кроме которого имелись еще два русских военных лагеря — в Чаталадже, близ Константинополя, и на острове Лемносе. После эвакуации из Крыма первый корпус Русской армии под командованием генерала А.П.Кутепова высадился на пустынный Галлиполийский полуостров и частично разместился в греко-турецком городе Галлиполи, который представлял собой развалины после бомбардировки при форсировании Дарданелл и землетрясения. Князь П.Д.Долгоруков писал о трагическом положении русских военных в этом лагере: "В городе-развалине ютится 11000 русских, в лагере, в семи верстах, 15500. Единственные наши союзники, помогающие нам, французы, делают все, что могут при неожиданности и размере нашей катастрофы. <...> Греческие власти, частные греки и турки удивительно сердечно относятся к нам, всячески содействуют, отводят помещения, дают доски и т.п. Но нужда огромна. Люди лишены всего, сидят без смены белья, без денег, т.к. русские деньги обесценены. <...> Французские палатки в лагере очень хороши. Но печей еще почти нет. <...> Подстилки деревянной нет. Спят на земле, набрасывая на нее сухие листья, осоку. Вследствие сырости и холода большая заболеваемость ревматизмом и лихорадкой. <...> В палатке на 48 человек спит 80–90 человек, прижавшись друг к другу. <...> На толчке в Галлиполи офицеры и солдаты продают грекам и туркам последний свой скарб, а также револьверы. Винтовки отобраны. Шашки зазубриваются вследствие рубки ими дров. <...> В лагере четыре пехотных и четыре кавалерийских полка. В общих палатках пребывают 208 женщин и 26 детей. Лазареты-околодки совершенно не оборудованы. Заболеваемость сильно увеличивается. <...> Не лучше положение и в городе. Здесь стоит технический полк. <...> Помещения в приспособленных домах-развалинах ужасны. Дровяной кризис. Непрерывной чередой тянутся юнкера, солдаты и офицеры, несущие за 9 верст из-за лагеря хворост. Кое-где отсутствуют крыши. Более тысячи офицерских жен и 220 детей размещены в общежитиях. Дыры в стенах, нехватка стекол. Кое-как все это заклеивается и замазывается. Живут даже в прибрежных пещерах. <...> Как войско, так и обитатели общежитий получают паек от французов. Госпиталей в городе 4 Белого Креста, 2 Красного Креста сравнительно в лучших условиях (ванн нет), дивизионный в ужасных условиях. Лежат вповалку на полу без одеял и подстилки. <...> Присутствовал на смотру войск в лагере генералом Врангелем. Трогательно было смотреть на стройные, дисциплинированные остатки русского войска, выстроившиеся без оружия, в лохмотьях перед своим вождем. Сколько перенесено и еще предстоит материальных и моральных страданий доблестным защитникам Крыма, России! Но теперь это — лишенные всего, обезоруженные русские люди, выброшенные на чужбину и имеющие право на помощь международного Красного Креста. Обратите внимание американцев на положение и количество женщин и детей. Пишите, говорите, кричите о Галлиполи на всю Европу, на весь мир" (Положение в Галлиполи // Руль. — 1921. — 14 января (№ 48). — С. 5). Благодаря организаторским способностям генерала Кутепова и преобладающему интеллигентному составу военных уже через два месяца после высадки на полуостров жизнь изгнанников стала улучшаться. Были открыты детский сад, школы, русская гимназия имени генерала Врангеля, юнкерское училище, курсы по подготовке в высшие учебные заведения; созданы кружки инженеров, врачей, агрономов, певческие хоры, выпускались рукописные журналы, была организована "устная газета", открыто несколько театров. Была устроена церковь. "Общество галлиполийцев" издавало газету "Галлиполи", весь доход от которой шел на поддержку существования русских воинов. В газете принимали участие И.Бунин, В.Даватц, А.Карташев, А.Куприн, И.Лукаш, Д.Мережковский, В.Набоков, П.Струве, А.Тыркова, М.Цветаева и другие.

***Миссия русской эмиграции**: Речь, произнесенная в Париже 16 февраля //* Руль. — 1924. — 3 апреля (№ 1013). — С. 5–6. Своей речью Бунин открыл вечер на тему "Миссия русской эмиграции", состоявшийся 16 февраля 1924 г. в Париже в Salle de Géographie. После Бунина выступили А.В.Карташев — "Смысл непримиримости", И.С.Шмелев — "Душа родины", священник о. Г.Спасский — "Вокруг Креста", Д.С.Мережковский — "Слова немых", И.И.Манухин — "Русский Дом", И.Я.Савич — "Вестники возрождения", Н.К.Кульман — "Культурная роль эмиграции".

С. 149. *...были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями...* — имеются в виду "Ивиковы журавли" (1814) В.А.Жуковского.

С. 150. *Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию* — имеется в виду активное участие Антанты в ликвидации 1 августа 1919 г. Венгерской советской республики, образованной в марте 1919 г.; расчленении Австро-Венгрии, устранении от власти правящей династии Габсбургов и провозглашении вновь образованных государств (Австрии, Венгрии и Чехословакии) республиками; свержении императорской власти Вильгельма II в Германии ноябрьской революцией 1918 г.

Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных... — первый сон Фараона. Бытие (41: 1–4).

С. 151. *...сам министр-президент на московском совещании в августе 1917 года заявил, что уже зарегистрировано...* — см. коммент. на с. 516–517.

...коснулся раки Преподобного Сергия... — согласно утвержденной 16 февраля 1919 г. единой атеистической программе, предполагающей вскрытие святых мощей, 11 апреля 1919 г. был вскрыт гроб с мощами Преподобного Сергия Радонежского. См. также коммент. на с. 530.

...слова великого русского историка Ключевского... — следует цитата из речи В.О.Ключевского, произнесенной в Московской Духовной академии в 500-ю годовщину со дня кончины Преподобного Сергия Радонежского. См.: "Богословский вестник" (1892. — № 11); под названием "Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства" в книге В.О.Ключевского "Очерки и речи: Второй сборник статей" (М., 1913. — С. 215)

С. 153. *Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга... — Семашко* Николай Александрович (1874–1949) — советский государственный и партийный деятель, с 1918 г. — нарком здравоохранения. В заключении медицинской комиссии, производившей вскрытие тела Ленина, подписанном, в частности, Н.А.Семашко, утверждалось, что непосредственной причиной смерти послужило кровоизлияние в области четыреххолмия, ставшее следствием серьезных изменений в мозговых артериях. В сообщении об истории болезни говорилось также о проявившихся в мае 1922 г. симптомах органического повреждения мозга и о том, что "болезнь вызвана была склерозом кровеносных мозговых сосудов,— следствие умственного переутомления". (См.: Последние новости. — 1924. — 23 янв. (№ 1150). — С. 1; 24 янв. (№ 1151). — С. 1; 25 янв. (№ 1152). — С. 3). В статье "Что дало вскрытие тела Владимира Ильича" Семашко писал: "Основой болезни Владимира Ильича считали затвердение стенок сосудов (артериосклероз). Вскрытие подтвердило, что это была основная причина болезни и смерти <...> На всем левом полушарии мозга оказались "кисты", т.е. размягченные участки мозга, закупоренные сосуды не доставляли к этим участкам крови, питание их нарушалось, происходило размягчение и распадение мозговой ткани" (Известия. — М., 1924. — 25 янв. (№ 20). — С. 1). *Навуходоносор II* — царь Вавилонии в 605–562 гг. до н.э. Разрушил Иерусалим, ликвидировал Иудейское царство, при нем сооружались висячие сады и Вавилонская башня.

Иисуса на крест, а Варраву - // Под руки и по Тверскому... — строки из стихотворения А.Мариенгофа "Октябрь": "Опять Иисус на кресте, а Варраву // Под руки и по Тверскому..."

"Кометой по миру вытяну язык, // До Египта раскорячу ноги..."; "Богу выщиплю бороду..." — отдельные строки из стихотворения С.А.Есенина "Инония" (1918). Вероятно, Бунин заимствует цитаты из статьи А.Ященко "Русская поэзия за последние три года" (Русская книга. — 1921. — № 3. — С. 1–17). У Есенина: "Говорю вам — весь воздух выпью // И кометой вытяну язык"; "До Египта раскорячу ноги, // Раскую с вас подковы мук..."; "Даже богу я выщиплю бороду // Оскалом моих зубов". О Есенине — см. у А.Седых: "...поэзию Есенина называл "писарской сердцещипательной лирикой", а самого поэта — непревзойденным по пошлости и способностям кощунства"; см. также приводимый фрагмент письма Бунина: "...себе Вы позволяете не любить, а на меня шипите очковой змеей за мою нелюбовь даже к такому мерзавцу и пошлейшему стихоплету "под гармонь", как Есенин!" (*Седых–1962.* — С. 228, 234). О Есенине см. также статью 1951 г. "Мы не позволим" (с. 457–462 наст. изд.).

Молюсь ему матерщиной... — неточная цитата из стихотворения А.Мариенгофа "Кровью плюем зазорно..." (1918). У автора: "Молимся Тебе матершиной...".

"Се Аз восстану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря..." — Книга Иезекииля 26: 2; 28: 22.

С. 154. *...одобренной самим Макдональдом* — Макдональд Джеймс Рамсей (1866–1937) — один из основателей и лидеров Лейбористской партии Великобритании. В 1924 г., во время его премьерства, Великобритания установила дипломатические отношения с СССР. В дальнейшем — премьер-министр в 1929–1931 гг., глава коалиционного "национального" правительства в 1931–1935 гг.

...а не той, что распевала: "Ах, ах, тра-та-та, без креста!" — объединенные Буниным строки из второй части поэмы А.Блока "Двенадцать" (январь 1918 г.). У Блока:

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

О Блоке см. запись в дневнике от 17(30) апреля 1918 г.: " А Айхенвальд — да и не один он — всерьез толкует о таком ничтожнейшем событии, как то, что Андрей Белый и Блок, "нежный рыцарь Прекрасной Дамы", стали большевиками! Подумаешь, важность какая, чем стали или не стали два сукина сына, два набитых дурака!" (*Бунин–1990.* — С. 60). В "Окаянных днях" (6 февраля 1918 г.): "Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган (П.С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу — и, оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый" (*Бунин–1990.* — С. 67). См. также в "Окаянных днях" запись от 16 апреля 1919 г.: "Блок слышит Россию и революцию, как ветер..." О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем" (*Бунин–*

1990. — С. 93), и комментарий Бунина к выпискам из газет с информацией о погромах в Николаеве, Елизаветграде, Ананьеве, Жмеринке, Знаменке: "Это называется, по Блокам, "народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции!" (запись от 14 мая 1919 г.) (*Бунин—1990.* — С. 141). См. также у А.Седых: "... и по линии кощунства пальму первенства готов был передать Блоку. Когда Бунин начинал говорить о "Двенадцати", он мгновенно терял всякое самообладание" (*Седых—1962.* — С. 228). Об отношении Бунина к Блоку упоминает в "Грасском дневнике" и Галина Кузнецова (запись от 8 июля 1927 г.): "Вечером читала И.А. у него в кабинете стихи Блока и слушала, как И.А. громил символистов. Конечно, многое надо отнести на счет обычной страстности И.А. Он кричал, например, вчера о Блоке: "Лакей с лютней, выйди вон!", чем заставил меня искренне расхохотаться, после чего стал смеяться и сам" (*Кузнецова—1967.* — С. 17). Несколько иная оценка Блока содержится в записи от 4 июня 1929 г.: "И.А. читает дневники Блока, как обычно, внимательно, с карандашом. говорит, что мнение его о Блоке-человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. "Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... И начало в нем было здоровое..." (Там же. — С. 139). Созвучные своим взглядам выдержки из дневников Блока и его статьи мая 1917 года Бунин приводит в "Автобиографических заметках", сопровождая их следующим комментарием: "Через некоторое время он, как известно, впал в некий род помешательства на большевизме, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революции раньше" (*Бунин—1990.* — С. 190—191). Там же Бунин развивает идею о психической ненормальности декадентов, в том числе и Блока, которому уделено больше всего внимания: "...дед по отцу умер в психиатрической больнице, отец "со странностями на грани душевной болезни", мать "неоднократно лечилась в больнице для душевнобольных"; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страдания от вина и женщин" и т.д. (*Бунин—1990.* — С. 195—196)

С. 155. *"Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!"* — отделяя "Россию страждущую" от "той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы", Бунин постоянно говорит и пишет о "великом падении России", о том, что Россия "сошла с ума", отказывается "ради России претерпеть большевика". Взгляды Бунина здесь смыкаются с взглядами К.Леонтьева: "А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой Бог и моя душа. "Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!" (Леонтьев К.Н. Цветущая сложность: Избранные статьи. — М., 1992. — С. 332). См. об этом подробнее: Николаев Д.Д. Проза И.Бунина первой половины 1920-х годов // И.А.Бунин и русская литература XX века. — М., 1995. —С. 151—167.

Святой князь Михаил Черниговский шел в Орду для России... — князь черниговский, великий князь киевский Михаил Всеволодович (1179—1246) был убит в Орде, после того, как отказался поклониться "идолам".

Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — общественный деятель, публицист, историк церкви. Занимал должности товарища обер-прокурора Святейшего синода, обер-прокурора, министра исповеданий Временного правительства. Был заключен в Петропавловскую крепость, по освобождении жил в Москве на нелегальном положении. В эмиграции с 1919 г. Был председателем Русского национального комитета в Финляндии. Председательствовал на прошедшем в июне 1921 г. в Париже съезде "Национального объединения", на котором правые кадеты во главе с Набоковым, центристы во главе с Карташевым и

группа Бурцева выступили с инициативой создания Русского национального комитета в Париже, призванного объединить монархистов и республиканцев под знаменем борьбы с большевизмом. Председателем комитета был избран Карташев, в него вошли также П.Б.Струве, И.В.Гессен, А.И.Куприн и И.А.Бунин. Впоследствии — профессор Богословского института в Париже. В книге Б.Николаевского "Русские масоны и революция" приводится свидетельство Гальперина о членстве Карташева в масонском "Верховном Совете" в годы Первой мировой войны. Сам Карташев в письме в редакцию "Возрождения" 1 апреля 1927 г. отрицал свою принадлежность к масонам.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — русский писатель. В эмиграции с ноября 1922 г. Некоторое время провел в Берлине, затем жил в Париже, печатался в газете "Возрождение", журналах "Встречи", "Окно" ("Солнце мертвых"), "Современные записки" и др. См. о Шмелеве записи в дневнике от 13 августа 1917 г.": "А Шмелевы лгут, лгут про русский народ!" (*Бунин—1990.* — С. 30), от 18 января 1918 г.: "Шмелев, издавший за осень штук шесть своих книг, нагло гремел против издания сборников "Слово" и против авансов (значит, главное — против меня, так как я попросил, и мне постановили выдать в прошлом заседании тысячу рублей), когда "авторам за их книги не платят полностью". Уникум сверхъестественный, такого <...>, как Шмелев, я не видывал" (*Бунин—1990.* — С. 58) См. также у Галины Кузнецовой запись от 26 ноября 1929 г.: "Вечером И.А. читал вслух Шмелева ("Въезд в Париж"), показывая все неточности, ошибки, нагромождения" (*Кузнецова—1967.* — С. 121).

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писатель. С января 1920 г. в эмиграции — сначала в Варшаве, с 1921 г. — в Париже. Сотрудничал в газете "Возрождение", в журналах "Современные записки", "Встречи", "Окно", "Числа", "Новый дом", "Новый корабль" и др. См. о Мережковском в дневниковой записи от 13 октября 1917 г.: "Понемногу читаю "Леонардо да Винчи" Мережковского. Ужасный "народился" разговор. Длинно, мертво, натащено из книг. Местами недурно, но почем знать, может быть, ворованное! Несносно долбленье одного и того же про характер Леонардо, противно-слащаво, несносно, как он натягивает все на свою идейку — Христос — Антихрист!" (*Бунин—1990.* — С. 48). О взаимоотношениях Бунина с семейством Мережковских см. также в воспоминаниях А.Седых, передающего слова Бунина: "Ведь я знаю, как Мережковский и Зина всю жизнь меня ненавидели. А ведь они люди страшные: еще могут на меня какую-нибудь хворь наслать со всей их чертовщиной..." (*Седых—1962.* — С. 191).

Я обратился к редакции "Руля"... — публикация доклада Бунина в газете "Руль" во многом была вызвана появившимися вокруг его выступления кривотолками, инициированными леводемократическим лагерем, и искажениями сути его выступления, содержащимися в отчетах о прошедшем вечере. Именно поэтому публикация сопровождалась комментарием Бунина, отвечающим на реплики его идейных оппонентов.

...наметивший, по выражению органа П.Н.Милюкова, зачинщика этих кривотолков, "все главные мысли и страшные слова, которые повторяли потом другие ораторы" — имеется в виду реакция на публичный вечер газеты "Последние новости". См.: Последние новости. — 1924. — 20 февр. (№ 1174).

Началось с передовой статьи и отчета о вечере в "Последних новостях" от 20 февраля... — имеется в виду отчет: Р.С. Вечер страшных слов (Последние новости. — 1924. — 20 февр. (№ 1174). — С. 2). В отчете, в частности, говорилось: "И.А.Бунин, открывший вечер, повторил уже не раз высказанные им мысли. Ничего неизбежного в русской революции не было. "Произошло нечто дьявольское. Под интернациональным знаменем разрушен был дом, освященный бого-

почитанием, культом и культурой". "Планетарный злодей высоко сел на шее русского дикаря, и русский дикарь дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол — коснулся раки Сергия Преподобного. Боже! — спокойным академическим голосом скандирует И.А.Бунин — и вот к этому дикарю я должен пойти на поклон и служение!".

Мир — "который должен был давно идти крестовым походом на Москву" "уподобляется Тиру и Сидону ради торгашества, Содому и Гоморре ради похоти". Вместо Бога поклоняются тельцу, т.е. скоту, и "негодяй и идиот от рождения", "новый Навуходоносор" (Ленин) стал воплощением этого "канонизированного скота". Но Божий гнев падет на Содом и Гоморру, и в ожидании его, наша миссия "не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам". "Есть нечто, что выше России. Это мой Бог и моя душа". "Подождем, православные,— говорили на Руси — пока Бог переменит орду. Подождем и мы соглашаться на новый похабный мир с нынешней ордой".

И.А.Бунин наметил все главные мысли и страшные слова, которые повторяли потом другие ораторы".

А передовая статья была еще удивительнее и походила просто на бред... — имеется в виду передовая статья "Голоса из гроба" (Последние новости. — 1924. — 20 февр. (№ 1174). — С. 1), в которой говорилось: "Читатель прочтет в сегодняшнем номере отчет о публичном выступлении группы лиц, до сих пор не выступавших, если не ошибаемся, в этом составе. Три имени русских писателей, выступавших здесь, принадлежат к самым громким в нашей теперешней литературе: Бунин, Мережковский и Шмелев. Это — те, кем Россия по справедливости гордится. Если такие трое решились предстать перед аудиторией с устным словом проповеди, то, надо думать, что им было что сказать, свое и поучительное. Они и говорили тоном поучения, почти пророческим тоном. "Учителя жизни" — это явление не новое в русской литературе и общественности. Можно было бы сказать, что это — явление отживающее, даже отжившее. В наше время сложных общественных настроений старая монополия вождей интеллигенции давно уже стала анахронизмом. Пророки нашего времени принуждены обращаться к кружкам, а не к народу. Но даже и в этом оригинальном значении явление пророков есть событие, заслуживающее быть отмеченным. <...>".

Главным поводом для обвинений стало соседство с Карташевым, свидетельствующее, по мнению Милюкова, о политическом самоопределении Бунина, Шмелева и Мережковского, об открытом выступлении их из стана враждебного "Последним новостям" лагеря: "Соединившись с Карташевым, три писателя не ему передали свою политическую невинность, а себя впервые окрасили определенным политическим цветом.

Говорим: впервые не потому, конечно, что только здесь, в этом выступлении, наши три писателя политически самоопределились. Нет, это дело долгой внутренней истории каждого из них. Но здесь они почли нужным поведать о своей внутренней истории миру. И оказалось при этом, что результат их внутренних переживаний совпал и составил какой-то общий итог, неслучайно отмеченный соседством с Карташевым. <...>

Едва ли мы ошибемся, если скажем, что такую уверенность дали им не столько их мысли, сколько их настроения. Это, впрочем, так и полагается для пророка. Мысль разъединяет, а объединяет чувство. Мысль, рассуждение, споры, политика — все это от лукавого.

Когда эти люди говорили против политики — за мораль и веру, против тактики — за внутренний категорический императив и Христа,— они, очевидно, твердо верили, что поставили себя этим где-то бесконечно высоко над мелкими злобами дня, на той горе, с которой можно проповедовать миру. <...>

Есть истины, которые, действительно, выносят людей на такую высоту и делают их светочами. Увы, к числу этих истин не относятся те, которые связали причастников священного обета, данного нашими пророками. Связывает людей, действительно, чувство, но это чувство называется любовью. Пророки нашего митинга принесли с собою лютую ненависть. К кому? Одни из них к целому народу, к *своему* народу. Другие — к мозгу и сердцу этого народа, к интеллигенции. Некоторые из них захотели к ненависти прибавить нечто худшее: презрение. Ненависть потому лучше, что она может иной раз явиться, в минуты сильных переживаний, патологическим извращением любви. Презрение идет от холодного, жестокого, надменного сердца. Ненависть может быть к равному, оказавшемуся победителем. Презрение есть проявление аристократизма и замкнутости, украшающих себя идеей духовной избранности и создающих страховые союзы самолюбования. <...>

Словом, в своем понимании своей миссии пророки забронированы. Но на этот раз они снизошли до толпы и поверили ей тайное слово своего обета. Это слово — "непримиримость". Что значит непримиримость? К кому? К чему? <...>

"Все в прошлом" — вы помните эту картину? И образы взяты из этого безвозвратного прошлого, и страстная жажда вернуть его, вместе с горьким сознанием, что возвращение невозможно,— создают это чувство злобной непримиримости, мстительного сознания: "я выше", я — "генеральская дочь", а там только "титулярные советники",— и соответственную гордость изолированности. <...>

В какие дебри заводит их злоба и ненависть ко всему, что продолжает жить вопреки им, когда они продолжают утверждать, что все великое и достойное умерло! С какой непонятной враждой они хватаются за колесницу жизни, которая не хочет "обратиться вспять"! И как должна быть уязвлена их надменная гордость, когда "нечистый мир", "презренный и бесстыдный", когда преступный и нераскаянный народ, когда вскормленная дьяволом интеллигенция, проходят мимо них, не замечая их поз непризнанного величия и их мистического маскарада".

С. 156. *Прочтите, сказал он, стихи Бунина в "Русской мысли" и его рассказ "Несрочная весна" в "Современных записках"...* — имеются в виду семь стихотворений: 1. Сон епископа Игнатия Ростовского ("Сон лютый снился мне: в полночь, в соборном храме..."); 2. "Хозяин умер, дом забит..."; 3. "Едем бором, черными лесами..."; 4. "Наполовину вырубленный лес..."; 5. "Душа навеки лишена... ; 6. "Зарос крапивой и бурьяном..."; 7. "Все снится мне заросшая травой..." (Русская мысль. — 1923. — № 6/8. — С. 3–7); рассказ Бунина "Несрочная весна" был опубликован в 18-й книге журнала "Современные записки" (1924).

"Пастыри и молодежь" — статья С.Познера (Последние новости. — 1924. — 14 марта (№ 1194)).

"Апостольство или недоразумение" — статья С.Полякова (Литовцева) (Последние новости. — 1924. — 21 февр. (№ 1175)). В статье, в частности, говорилось: "На днях мне пришлось слушать речь очень даровитого русского писателя, И.С.Шмелева, о народе, об интеллигенции, о Европе и мессианском призвании России. <...> Мне, человеку нехристианской веры, но ощущающему заветы Христа как родные заветы, мысль, что старая Россия была Россией Христовой, представляется грубо кощунственной. Претензии на это официальной церкви в старой России и религиозно-настроенных сторонников русского мессианства в изгнании, к сожалению, ни на чем не основаны. В учреждениях, в социальном строе, в быте и нравах России отнюдь не было больше христианского, чем в учреждениях, строе, быте, и нравах "безбожной" Европы. И если — что очень

хорошо — иные интеллигенты почувствовали в себе апостольские вдохновения, то во имя правды, им следовало бы не только поносить интеллигенцию, с великим презрением говорить о "равенстве, братстве и свободе", но и мужественно отречься от лжи старой России, как они отрекаются от лжи современной Европы и от непристойной мерзости России советской".

"Религия и аполитизм" — статья З.Гиппиус (Последние новости. — 1924. — 19 марта (№ 1198)).

...какой-то г. Быстров ... "Последние новости"... в номере от 25 марта... — имеется в виду статья Н.Быстрова "Большое легкомыслие" (Последние новости. — 1924. — 25 марта (№ 1203). — С. 2), посвященная анализу доклада М.А.Осоргина "Трагедия молодежи", в которой автор, в частности, писал: "Подавляющее большинство русской эмигрантской молодежи в день читает максимум одну эмигрантскую газету, к тому же относясь к ней весьма скептически. Поэтому не приходится бояться влияния старых писателей, ставших за границей публицистами. При этом публицистами, на сто лет от жизни отставшими".

С. 157. *...а 5 апреля имеющей быть продолженной...* — 5 апреля 1924 г. в Париже состоялось новое выступление на тему "Миссия русской эмиграции", в котором Бунин и его единомышленники продолжили разговор о судьбах русской эмиграции, а также ответили на появившиеся в печати нападки. "Последние новости" отреагировали на бунинский комментарий к своему докладу в "Руле" и на новое выступление еще рядом публикаций: "Новый Апокалипсис" (Последние новости. — 1924. — 6 апр. (№ 1214). — С. 1), С.П. [С.Познер] "Вечер самооправданий и демагогии" (Последние новости. — 1924. — 8 апр. (№ 1215). — С. 2), Осоргин М.А. "Миссия Ив.Бунина" (Последние новости. — 1924. — 10 апр. (№ 1217). — С. 2).

В "Правде" статья озаглавлена "Маскарад мертвецов"... — имеется в виду статья Н.С. [Н.Смирнов] "Маскарад мертвецов", опубликованная в "Правде" 16 марта 1924 г. Автор, приводя стихотворение 1916 г. "Сон епископа Игнатия Ростовского", утверждал, что Бунин в нем выступает как помещик-эмигрант, "помещик-мракобес, дворянин-крепостник, эпигон крепостничества".

Тем, которые "дали Богу души свои" // Вестник Главного правления общества галлиполийцев. — Белград: Русская типография, 1924. — С. 6.

С. 158. *"Пусть не всегда были подобны..."* — Бунин цитирует свою речь от 16 февраля 1924 г. "Миссия русской эмиграции".

...годовщины Галлиполийцев — см. коммент. на с. 534.

Инония и Китеж: К 50-летию со дня смерти гр. А.К.Толстого // Возрождение. — 1925. — 12 окт. (№ 132). — С. 2–4. — В заглавие статьи заложена антитеза из стихотворения С.А.Есенина "Инония" (1918).

С. 159. *Глаза словно щели, растянутый рот, // Лицо на лицо не похоже...* — здесь и далее Бунин с незначительными изменениями цитирует начало третьей строфы из "Змея Тугарина" А.К.Толстого (1867).

Один великий приступ Русь "перемогла"... — см. у А.К.Толстого в "Змее Тугарине": "А если б над нею беда и стряслась, // Потомки беду перемогут!"

"Да, скифы мы с раскосыми глазами!" — имеются в виду строки из первой строфы стихотворения А.Блока "Скифы": "Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, // С раскосыми и жадными очами!", которому предпослан эпиграф из стихотворения Владимира Соловьева: "Панмонголизм! Хоть имя дико, // Но мне ласкает слух оно".

Я не чета каким-то там болванам... — цитата из стихотворения С.А.Есенина "Стансы" (1924). В доступных Бунину изданиях оригинальная строка — "И не

чета каким-то там Демьянам" — была искажена. Также незначительно изменена строфика.

С. 160. *"По Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка..."* — фрагмент из вступления к роману Б.Пильняка "Голый год" ("Китай-город"), вновь повторяется в шестой главе.

Она продолжает, осклабивши пасть... — переделанная первая строчка из четырнадцатой строфы "былины" А.К.Толстого "Змей Тугарин" (1867): "Но тот продолжает, осклабивши пасть"...

Толстой назвал себя "певцом, державшим стяг во имя красоты". Он был, как один из его любимейших образов, как Иоанн Дамаскин, "борец за честь икон, художества ограда" — в поэме "Иоанн Дамаскин" (1858?) А.К.Толстой пишет: "...И от Дамаска до Царьграда // Был, как боец за честь икон // И как художества ограда, // Давно известен и почтен".

С. 161. *"Красота, прекрасное, как справедливо сказал о Толстом Вл.С.Соловьев, была для него дорога и священна, как отблеск вечной Истины и Любви"...* — Бунин приводит слова Вл.С.Соловьева из статьи "Поэзия гр. А.К.Толстого" (1894): "Красота была для него дорога и священна как сияние вечной истины и любви". (Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. — М. 1991. — С. 490).

"Божество, говорит Соловьев, обладает полнотой совершенства..." — Бунин пересказывает седьмой раздел статьи Вл.С.Соловьева "Поэзия гр. А.К.Толстого": "Божество вечно обладает полнотою совершенства, природа в своих формах отражает это совершенство и в своей жизни тяготеет к нему; человек свободным делом достигает его для себя. В этом процессе совершенствования, составляющем смысл человеческой жизни, естественно различаются два полюса. Человек есть, во-первых, самостоятельная особь, или индивидуальность, и, во-вторых, нераздельная часть всемирного целого. Соответственно этому единственный человек может не только совершенствовать самого себя (а чрез это косвенно и окружающую среду), но и прямо содействовать общему прогрессу того целого, к которому он принадлежит, сознательно ставя его предметом своей деятельности. Естественное условие для самосовершенствования есть половая любовь, восполняющая человеческую индивидуальность; реальное побуждение к участию в деле общего прогресса есть патриотизм (в широком смысле), т.е. чувство солидарности с известным собирательным целым — гражданскою общиной, народом, государством, религиозным союзом,— в благе которого исторически воплощается для отдельного человека благо всемирное. <...> В поэзии Алексея Толстого мотивы любви и патриотизма принадлежат к самым характерным и симпатичным". (Соловьев В.С. Указ. соч. — С. 496–497).

"Патриотизм есть желание..." — пересказ восьмого раздела статьи Вл.С.Соловьева "Поэзия гр. А.К.Толстого" (Соловьев В.С. Указ. соч. — С. 497–499).

"Со всей живостью..." — дословная цитата из статьи Вл.С.Соловьева "Поэзия гр. А.К.Толстого" (Соловьев В.С. Указ. соч. — С. 499).

"Он мерил благо отечества..." — Бунин пересказывает следующие слова из статьи Вл.С.Соловьева "Поэзия гр. А.К.Толстого": "Как патриот-поэт Толстой был вправе избрать не историческую, а пророческую точку зрения. Он не останавливался на материальных необходимостях и условиях прошедшего, а мерял его сверху — нравственными потребностями настоящего и упованиями будущего. И тут он не ошибался. Для нашего настоящего духовного исцеления и для наших будущих задач нужны нам, конечно, не монгольско-византийские предания московской эпохи, а развитие тех христианских и истинно национальных начал, что как бы было обещано и предсказано светлыми явлениями Киевской Руси". (Соловьев В.С. Указ. соч. — С. 503–504).

С. 162. *Сорвали мы корону // Со старого Кремля...* — неточная цитата из поэмы М.Герасимова "Октябрь" (в оригинале — "с великого Кремля"). Поэма "Октябрь" вошла в книгу М.Герасимова "4 поэмы" (Пг., 1921). Здесь и далее Бунин, по-видимому, заимствует цитаты из статьи А.Ященко "Русская поэзия за последние три года" (Русская книга. — 1921. — № 3. — С. 1–17).

Лучами мажем нервы // И мускулы машин... — неточная цитата из поэмы М.Герасимова "Октябрь" (в оригинале — "смажем нервы").

За заборами низкорослыми // Гребем мы огненными веслами... — строки из поэмы М.Герасимова "Октябрь" (в оригинале — "За заборами низкорослыми // Заводских корпусов, // Гребем мы огненными веслами // Под брызгами знаменных слов").

Белогвардейца к стенке. // А Рафаэля забыли? // А почему не атакован Пушкин? — Отдельные строки из приведенного в статье А.Ященко фрагмента стихотворения В.В.Маяковского "Радоваться рано" (1918).

Взяли мы в шапке // Нахально сели, // Ногу на ногу задрав... — строки из стихотворения А.Мариенгофа "Октябрь" ("Покорность топчем сыновью, // Взяли вот и в шапке // Нахально сели, // Ногу на ногу задрав.

Я бумажка в клозете... — имеется в виду приведенная в статье Ященко строфа В.Шершеневича из сборника "Плавильня слов": "И работу окончив обличительно тяжкую, // После с людьми по душам бесед, // Сам себе напоминаю бумажку я // Брошенную в клозет".

"Кометой вытяну язык, // До Египта раскорячу ноги..."; "Богу выщиплю бороду..." — отдельные строки из стихотворения С.А.Есенина "Инония" (1918). См. коммент. к статье "Миссия русской эмиграции" (с. 536).

Молюсь ему матерщиною... — см. коммент. на с. 536.

Проклинаю дыхание Китежа, // Обещаю вам Инонию... — строки из стихотворения С.А.Есенина "Инония" (1918): "Проклинаю я дыхание Китежа // И все лощины его дорог. // Я хочу, чтоб на бездонном вытяже // Мы воздвигли себе чертог. // Языком вылижу на иконах я // Лики мучеников и святых. // Обещаю вам град Инонию, // Где живет божество живых!"

С. 163. *"Россия, Россия — Мессия!"* — имеется в виду стихотворение Андрея Белого "Родине", написанное в августе 1917 г., которое заканчивается строками: "Россия, Россия, Россия — // Мессия грядущего дня!"

Эх, эх, без креста, // Тратата! — Неточная цитата из поэмы А.Блока "Двенадцать". См. коммент. к статье "Миссия русской эмиграции" (с. 536).

...своего "Христосика в белом венчике из роз" — имеются в виду завершающие строки поэмы А.Блока "Двенадцать".

Ведь это Блок писал: "Народ, то есть большевик, стрелял из пушек по Успенским соборам. Вполне понятно: ведь там туполобый, ожиревший поп сто лет, икая, брал взятки и водкой торговал..." — см. у А.Блока в статье "Интеллигенция и Революция" (9 января 1918 г.): "Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой".

Конь мой, конь, славянский конь!.. — здесь и далее приводятся строки из стихотворения А.К.Толстого "Колокольчики мои, цветики степные!.."

С. 164. *...где высится Тмутараканский Болван, где "лисы лают на русские щиты"...* — используются образы из "Слова о полку Игореве".

"прозрений дивный свет" — слова из стихотворения С.А.Есенина "Стансы" (1924).

"Господи, отелись!" — строка из стихотворения С.Есенина "Преображение".

...играя заигранным словечком Герцена, некоторые бахвалятся: "Да, скифы мы с раскосыми глазами!" — имеются в виду строки из стихотворения А.Блока "Скифы" (см. комм. на с. 540). "Скифство" Р.В.Иванова-Разумника во многом опиралось на идейные построения Герцена, из романа которого "Былое и думы"

был взят и самый образ "скифа". (У Герцена: "Я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир").

"Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия: это не тенденция, это я сам..." — имеется в виду фрагмент из письма А.К.Толстого Б.М.Маркевичу от 7 февраля 1869 г. (перевод с французского): "Ненависть моя к московскому периоду — некая идиосинкразия, и мне вовсе не требуется принимать какую-то позу, чтобы говорить о нем то, что я говорю. Это не какая-нибудь тенденция, это — я сам. И откуда это взяли, что мы антиподы Европы? Над нами пробежало облако, облако монгольское, но было это всего лишь облако, и пусть черт его умчит как можно скорее" (Толстой А.К. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1964. — Т. 4: Дневник. Письма. — С. 259).

От скотов нас Дарвин хочет... — тринадцатая строфа из "Послания к М.Н.Лонгинову о дарвинисме" А.К.Толстого (1872).

С. 165. *...но есть мужик и мужик, как сказал толстовский Поток-Богатырь...* — имеется в виду девятнадцатая строфа "песни" А.К.Толстого "Поток-богатырь" (1871): "И, увидя Потока, к нему свысока // Патриот обратился сурово: // "Говори, уважаешь ли ты мужика?" // Но Поток вопрошает: "Какого?" // "Мужика вообще, что смиреньем велик!" // Но Поток говорит: "Есть мужик и мужик: // Если он не пропьет урожаю, // Я тогда мужика уважаю!"

Рос и воспитывался Толстой у дяди по матери, у Перовского... — мать А.К.Толстого, ее братья и сестры — побочные дети графа А.К.Разумовского — были узаконены в начале 19 века, получив дворянство и фамилию Перовские. Поскольку после рождения Толстого его отец и мать разошлись, он воспитывался в Черниговской губернии — сначала в имении матери, а затем ее брата — Алексея Алексеевича Перовского (1787–1836), известного писателя, члена Вольного общества любителей российской словесности, писавшего под псевдонимом Антоний Погорельский, образованном по названию села Погорельцы. Далее Бунин пересказывает письмо А.К.Толстого А.Губернатису от 20.2.(4.3.) 1874, в котором писатель рассказывает по просьбе адресата свою биографию. Здесь и далее Бунин неоднократно цитирует письма А.К.Толстого. Необходимо отметить, что в распоряжении Бунина не было научного, выверенного издания переписки А.К.Толстого. Несмотря на то, что отдельные письма Толстого начали печататься уже вскоре после его смерти, первая серьезная публикация появилась в "Вестнике Европы" в 1895 и 1897 гг. — только после смерти жены писателя С.А.Толстой. Объединенные под общей рубрикой "Письма к друзьям" послания Толстого печатались без указания адресатов, в основном в небрежно выполненном переводе с французского, с купюрами и даже произвольным объединением разных отрывков под одной датой. В 1908 г. журнальные публикации писем Толстого (в "Вестнике Европы" и некоторые другие) были объединены в "Полном собрании сочинений" издательства А.Ф.Маркса (том 4), которым, очевидно, и пользовался Бунин. Первое выверенное издание (насколько это было возможно, поскольку многие оригиналы писем не сохранились) избранных писем Толстого появилось в 1964 г. (Толстой А.К. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1964. — Т. 4: Дневник. Письма).

Сердце, сильней разгораясь от года к году... — Бунин цитирует шестистишие А.К.Толстого "Сердце, сильней разгораясь от году до году..." (1856), опуская 3–4 строки ("В ней, как железо в раскале, оно закипело: // Сделала, жизнь, ты со мною недоброе дело!")

...уход его будущей супруги, той, к кому обращены строки,— ныне столь известные, полные неувядающей прелести... — Бунин цитирует первые две строки стихотворения А.К.Толстого, написанного в 1851 году и обращенного к С.А.Миллер, с которой он познакомился в конце 1850 г. или в начале 1851 г. на маскараде в Петербурге. Их брак был официально зарегистрирован лишь в

1863 г., поскольку ему противились, с одной стороны, муж Софьи Андреевны, не дававший согласия на развод, а с другой стороны — мать Толстого.

С. 166. *...событие, о котором он сам рассказывал в письме к своему другу, княгине Витгенштейн...* — имеется в виду письмо к Каролине Сайн-Витгенштейн (1819–1887), гражданской жене Ференца Листа от 5(17) февраля 1875 г., отосланное из Флоренции. Бунин передает фрагмент этого письма с незначительными купюрами в переводе с французского. Письма А.К.Толстого к К.Сайн-Витгенштейн были впервые опубликованы в "Вестнике Европы" (1895. — № 12. — С. 616–634).

С. 167. — *О, отпусти меня, калиф, // Дозволь дышать и петь на воле!* — строки из поэмы А.К.Толстого "Иоанн Дамаскин" (1858?).

В заднепровье послышался лешего вой... — Бунин цитирует вторую часть шестой строфы "песни" А.К.Толстого "Поток-богатырь" (1871).

С. 168. *А за Потоком следует "Дракон", итальянские терции, от которых не отказался бы сам Данте...*— "Дракон: Рассказ 12 века (с итальянского)" — поэма А.К.Толстого, созданная весной-летом 1875 г. и впервые опубликованная в 10 номере "Вестника Европы" за 1875 г. Стилизованная под перевод поэма написана терциями.

Вот переводы из Гете, Шенье, Байрона... — А.К.Толстому принадлежат переводы стихотворений Д.Н.Г.Байрона "Ассирияне шли как на стадо волки..." и "Неспящих солнце! Грустная звезда!.."; шести стихотворений Андре Шенье, впервые опубликованные в первой книжке "Библиотеки для чтения" за 1857 г., и четырех стихотворений И.В.Гете.

Вот "летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод"... — конец первой строфы из стихотворения А.К.Толстого "Где гнутся над омутом лозы..." (1840-е гг.).

Край ты мой, родимый край... — Бунин приводит первые четыре строки из восьмистишия А.К.Толстого 1856 года "Край ты мой, родимый край..."

Когда в селах пустеет... — Бунин цитирует первые четыре строки "баллады" А.К.Толстого "Волки" (1840-е гг.).

"Средь шумного бала" — Бунин называет стихотворение А.К.Толстого "Средь шумного бала, случайно..." (1851).

"То было раннею весной" — первая строка стихотворения А.К.Толстого "То было раннею весной..." (1871).

"Вот уж снег последний в поле тает" — первая строка стихотворения А.К.Толстого "Вот уж снег последний в поле тает..." (1856).

Клонит к лени полдень жгучий... — Бунин цитирует начало второй части "Крымских очерков" А.К.Толстого (1856–1858).

С. 169. *"Коль любить, так без рассудку..."* — первая строка стихотворения А.К.Толстого "Коль любить, так без рассудку..." (1854)

"Господь, меня готовя к бою, мне душу пылкую вложил, но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил..." — неточная цитата из стихотворения А.К.Толстого "Господь, меня готовя к бою..." (1857). В оригинале: "Господь, меня готовя к бою, // Любовь и гнев вложил мне в грудь, // И мне десницею святою // Он указал правдивый путь; // Одушевил могучим словом, // Вдохнул мне в сердце много сил, // Но непреклонным и суровым // Меня Господь не сотворил" и т.д.

"Что ни день, как полымя со влагой, так унынье борется с отвагой..." — первые две строки из стихотворения А.К.Толстого "Что ни день, как поломя со влагой..." (1858)

Я не хозяин... Я уже давно утратил чувство собственности, если только я когда-нибудь имел его... — очевидно, имеется в виду фрагмент из письма А.К.Толстого к С.А.Миллер от 14 октября 1851 г.

Мой ум под влиянием страстей, но он направлен к добру, к прекрасному, к искусству... — имеется в виду фрагмент из письма А.К.Толстого к С.А.Миллер от 6 октября 1852 г.: "Мой ум медлен и находится под влиянием моих страстей, но он справедлив" (Толстой А.К. — Т. 4. — С. 59).

Я не знаю, как это делается, но почти все, что я чувствую, я чувствую художественно... — фрагмент из письма А.К.Толстого к С.А.Миллер от 14 октября 1851 г. (перевод с французского): "Я не знаю, как это делается, но большею частью все, что я чувствую, я чувствую художественно" (Толстой А.К. — Т. 4. — С. 54).

Одно время, в молодости, я всецело жил в веке Медичи... — имеется в виду фрагмент из письма А.К.Толстого к С.А.Миллер от 31 июля 1853 г.: "Я жил всецело в веке Медичи, и я принимал к сердцу произведения этого столетия так же, как мог это сделать современник Бенвенуто Челлини". (Толстой А.К. — Т. 4. — С. 61).

Вот он клеймит гонения на национальности... — имеется в виду, в частности, письма А.К.Толстого Б.М.Маркевичу от 26 апреля 1869 г. и от 24 мая 1869 г.

С. 170. *Вот его горячие строки о монархии и деспотии...* — имеется в виду фрагмент из письма А.К.Толстого Б.М.Маркевичу от 13 декабря 1868 г.(перевод с французского): "Я терпеть не могу деспотизм, так же как терпеть не могу ..., Сен-Жюста, Робеспьера и ... . Я этого не скрываю, я это проповедую вслух, да, господин Вельо, я это проповедую, не прогневайтесь, господин Тимашев, я готов кричать об этом с крыш, но я — слишком художник, чтобы начинять этим художественное творение, и я — слишком монархист, да, господин Милютин, я — слишком монархист, чтобы нападать на монархию. Скажу даже: я слишком художник, чтобы нападать на монархию. Но что общего у монархии с личностями, носящими корону?" (Толстой А.К. — Т. 4. — С. 246–247).

...или же Илья из Мурома? — имеется в виду "былина" А.К.Толстого "Илья Муромец" (1871).

Не терплю богатых сеней... — десятая строфа из "былины" А.К.Толстого "Илья Муромец" (1871).

Снова веет воли дикой... — неточно цитируется последняя, четырнадцатая строфа из "былины" А.К.Толстого "Илья Муромец" (1871). В оригинале: "Снова веет воли дикой // На него простор"...

И ведь сам же Толстой сказал про себя... — имеется в виду фрагмент из письма к Каролине Сайн-Витгенштейн от 9 мая 1869 г. (перевод с французского): "Рим — роковое место; я бы желал умереть в Риме, не переставая при этом считать себя русским; в сущности, я не знаю, осудите ли Вы меня за это чувство: я не принадлежу ни к какой стране и вместе с тем принадлежу всем странам зараз. Моя плоть — русская, славянская, но душа моя — только человеческая". (Толстой А.К. — Т. 4. — С.289).

Русско-планетарное Неуважай-Корыто — Бунин использует фамилию одного из крепостных Собакевича из поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые Души".

ведь и Илья почиет в Киевских пещерах — Святой угодник Илья Муромец, жил около 1188 г.

"Я западник с головы до ног, и настоящий славизм западный, а не восточный" — имеется в виду фрагмент из письма А.К.Толстого Б.М.Маркевичу от 28 декабря 1869 г.(перевод с французского): "Во-первых, я не презираю славян, напротив, я сочувствую им, но лишь постольку, поскольку они стремятся к свободе или независимости или выпускают археологические сборники. Но я становлюсь их отъявленным врагом, когда они воюют с европеизмом и свою проклятую общину (de gustibus non disputandum), как равенство, это дурацкое измышление 93 года, никогда не существовавшее ни в одной республике, а в Новгородской менее, чем в какой-либо другой, ибо Новгород был республикой

в высшей степени аристократической. Флоренция прогнала свою знать и тотчас же создала новую знать. Итак, я становлюсь врагом славянства, когда оно превращается в проводника социализма или равенства. Я западник с головы до пят, и подлинное славянство — тоже западное, а не восточное. Нет у него никаких оснований быть восточным" (Толстой А.К. — Т. 4. — С.336).

С Феодосием Печерским — Феодосий, преподобный, игумен Киевопечерский (1014–1074) — первый ввел устав общежительства Студийского монастыря. С этого времени полагают настоящее образование монастырей в России. Преподобный Нестор свидетельствует о посланиях Феодосия к великому князю Святославу, в одном из которых старец обличает своего адресата за похищение Киевского престола у брата его Изяслава. Обретение его мощей свершилось в 1091 г.

"Собирание земли,— писал он далее... — имеется в виду фрагмент из письма А.К.Толстого Б.М.Маркевичу от 26 апреля 1869 г.(перевод с французского): "Если бы перед моим рождением Господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться!" — я бы ответил ему: "Ваше Величество, везде, где Вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом!" (Толстой А.К. — Т. 4. — С.281).

С. 171. *...даже заборы растут и за этими "заборами низкорослыми"...* — имеются в виду строки из поэмы М.Герасимова "Октябрь" (см. коммент. на с. 543).

Российская человечина // Возрождение. — 1925. — 7 ноября (№ 158). — С. 2–3.

С. 171. *"У Ивана Ивановича..."* — фрагмент из рассказа Б.Пильняка "Человеческий ветер", впервые опубликованного в десятой книжке журнала "Новый мир" за 1925 г.

С. 173. *"Дни" недавно судили о собрании рассказов этого самого Бабеля, "которое является некоторым итогом его творчества", и нашли "творчество" это неравноценным.* — Имеется в виду рецензия Н.Берберовой (подписанная псевдонимом "Ивелич") на книгу И.Бабеля "Рассказы" (М., 1925) (Дни. — 1925. — 25 октября (№ 836)). См. в "Автобиографических заметках": "Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета "Дни" разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что "его творчество неравноценно" (*Бунин–1990.* — С. 198). Далее следуют те же цитаты с небольшими сокращениями. Завершается данный фрагмент в "Автобиографических заметках" иначе: "Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо "революционный" отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, с своей стороны, вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ее, заслуживала уже плахи, тем более, что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов". (*Бунин–1990.* — С. 198).

С. 174. *"Прожектор"* — "иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал"; в 1925 г. выходил под редакцией Н.Бухарина и А.Воронского; издание газеты "Правда".

С. 175. *И там опять обо мне, о Шмелеве, о Куприне, о Мережковском,— большая статья какого-то Воронского под заглавием "Вне жизни и вне времени" и с нашими карикатурными изображениями* — имеется в виду статья советского

критика и публициста Александра Константиновича Воронского (1884–1943), главы издательства "Круг", соредактора журналов "Красная новь" (1921–1927) и "Прожектор" (1923–1927) "Вне жизни и вне времени. (Русская зарубежная художественная литература)", опубликованная в № 13 за 1925 г. с карикатурами Бориса Ефимова. В той части статьи, где говорилось у Бунине, речь шла в первую очередь о сборнике "Роза Иерихона".

Чем это доказывается? Помимо "Несрочной весны", еще и многими другими произведениями из книги "Роза Иерихона". Там под каждой вещью поставлены мною даты... — в данном случае мы имеем дело с так называемой "терминологической путаницей". Для Воронского "эмиграция" Бунина начинается с момента неприятия революции, все рассказы, начиная с 1918 г. для него в этом смысле "эмигрантские". Для Бунина же эмигрантскими являются те произведения, которые написаны действительно в эмиграции. Воронский в начале своей статьи пишет о произведениях, вошедших в сборник: "Часть из них относится к дореволюционному времени: "Сны Чанга", "Петлистые уши", целый цикл стихов, преобладают все же произведения, написанные в 1918–1923 гг. На них мы преимущественно и остановимся". (С. 18).

Тем, что Шмелев написал "Солнце мертвых"... — отдельное издание "эпопеи" "Солнце мертвых", в которой нашли свое отражение впечатления и размышления Шмелева периода его Крымского "сидения под большевиками", вышло в издательстве "Возрождение" в Париже в 1926 г. Первая редакция книги была опубликована в "трехмесячнике литературы" "Окно" (Париж) в № 2/3 за 1923 г.

С. 176. *...рассказ Всеволода Иванова под заглавием "Орлиное время"...* — рассказ, опубликованный в том же номере журнала "Прожектор", что и статья Воронского.

Тут "Черный хутор", принадлежащий перу Николая Никитина... — рассказ, опубликованный в том же номере журнала "Прожектор", что и статья Воронского. Никитин Николай Николаевич (1895–1963) — русский советский писатель, с 1921 г. член объединения "Серапионовы братья". В 1924 г. выпустил книгу "Сейчас на Западе. Берлин-Рур-Лондон", где отразились впечатления от предпринятой в 1923 г. поездки по Европе.

Тут новая поэма Маяковского... — в том же номере журнала "Прожектор", что и статья Воронского, под названием "Париж: Из поэмы Владимира Маяковского" опубликовано стихотворение "Верлен и Сезанн".

С. 177. *В "Последних новостях" от 30 октября я недавно прочел следующее...* — имеется в виду передовая статья (Последние новости.— 1925.— 30 окт. (№ 1693)) "Революционизм и культурничество", в которой обсуждалась позиция Пешехонова и его точка зрения на Советскую Россию. По мнению автора, "это здоровое зерно вовсе не в каком-то примирении с советской властью. Оно в стремлении глубже понять психологию оставшихся там, в России, и с нею согласовать действия эмиграции". В то же время, "Пешехонов не совсем прав, когда изображает наши источники для ознакомления с современной Россией в виде двух "кривых зеркал" — советской и эмигрантской печати". Приведенная Буниным цитата предваряется рассуждением о том, что есть "лекарство" от "неизбежного эмигрантского окостенения", указанное П.Н.Милюковым, и лекарство это — "постоянное общение с Россией".

Записная книжка // Возрождение. — 1926. — 23 янв. (№ 235). — С. 2–3.

С. 178. *"И будет Фофанов писать..."* — имеется в виду строка из стихотворения Е.А.Боратынского (1800–1844) "Чтоб очаровывать сердца...", которым поэт ответил А.А.Крылову на направленное против него и Дельвига стихотворение "Вакхические поэты" (1821) (впервые — в "Русском Инвалиде" 31 января

1822 г. под заглавием "К***"; в другой редакции в сборнике "Стихотворения Евгения Боратынского" (М. 1827) под заглавием "К-ву (ответ)": "Напрасно до поту лица // О славе Фофанов хлопочет: // Ему отказан дар певца, // Трудится он, а Феб хохочет" (Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. — Л., 1989. — С. 90). Фамилия "Фофанов" образована Боратынским от слова "фофан" — "простак, простофиля, дурак, глупец" (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — М. 1955. — Т. 4. — С. 538).

Фофанов — Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — русский поэт, начал писать в 1881 г. См. о Фофанове дневниковую запись Бунина от 22 октября 1917 г.: "Жизнь Фофанова — "сюжет для небольшого рассказа" (*Бунин—1990.* — С. 52).

С. 179. *...посчитайте-ка всех этих Левитовых, Орфановых, Николаев Успенских...* — Ср. с характеристикой писателей-народников в "Заметках" от 9 ноября 1929 г. (с. 315 наст. изд.): "...Левитов и оба Успенских были столь замечательные писатели, что можно даже и теперь читать и перечитывать многие из их произведений. Прочие "народники" были совершенно бездарны и забыты вполне справедливо" и т.д.

С. 181. *Почти всю жизнь прожил в Москве, в Гиршах...* — Н.Н.Златовратский жил в Москве с 1884 г. С 1900 г. и до конца жизни он жил на улице Малая Бронная в квартире одного из шести доходных домов, владельцем которых был В.В.Гирш. По имени домовладельца эти дома прозвали "Гиршами". (См.: Федосюк Ю.А. Москва в кольце Садовых. — М., 1991. — С. 156; справочник "Вся Москва" за 1900—1911 годы).

Чехов однажды (по своему обыкновению, совершенно внезапно)... — этот же эпизод Бунин пересказывает в очерке "Чехов" (см. с. 265 наст. изд.).

Н.Н. — А.И.Южин-Сумбатов

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — русский писатель.

Записная книжка // Возрождение. — 1926. — 13 февраля (№ 256). — С. 2.

С. 186. *Я заношу их в свою книжку на французском пароходе "Патрас", который вот-вот должен покинуть Одессу, уже взятую большевиками* — Бунин эвакуировался из Одессы на пароходе "Патрас", на котором он оказался с женой 24 января (6 февраля) 1920 г., 25 января (7 февраля), когда большевики вошли в город, пароход отошел от пристани и стоял на внешнем рейде, 27 января (9 февраля) он вышел в открытое море, взяв курс на Константинополь.

Андре Шенье // Возрождение. — 1926. — 20 февраля (№ 263). — С. 2.

С. 186. *Ленотр* Жорж (настоящие имя и фамилия Теодор (в некоторых источниках Луи Леон) Гослен, Gosselin; 1857—1935) — французский историк. Его книги неоднократно издавались в русских переводах. См., например, "Революционный Париж" (М., 1895), "Путешествие на эшафот" (М., 1906), и т.д. Внимание Бунина именно к произведениям Ленотра могло быть обусловлено также и тем, что одну из книг историка — "Париж в дни революции" (М., 1913) — переводили Н.А.Тэффи и ее младшая сестра Е.А.Лохвицкая. См. также об этом: Карабутенко И. Настольная книга Бунина в период "Окаянных дней" // Новая Россия. — 1997. — № 3. — С. 146—152.

Камилл Демулен // Возрождение. — 1926. — 17 марта (№ 288). — С. 2—3.

Записная книжка // Возрождение. — 1926. — 1 апреля (№ 303). — С. 2. — В конце статьи как отдельный, самостоятельный фрагмент, без заглавия, через звездочки полностью перепечатана статья "Красный гимн" (см. ее на с. 68—71 наст. изд.), в связи с чем в настоящей публикации этот текст опущен.

С. 197. *Чего хохотать нам над статуей Маркса...* — повтор фрагмента из статьи "Страна неограниченных возможностей" (см. с. 117 наст. изд.).

"Человек, который умер от страха" // Возрождение. — 1926. — 10 апреля (№ 312). — С. 2.

Софийский звон // День русской культуры. — 1926. — 8 июня. — С. 2.

С. 203. *"Князь Всеслав в железы был закован..."* — Бунин полностью приводит свое стихотворение "Князь Всеслав", которое впервые было опубликовано в журн. "Летопись" (Пг., 1916. — № 3, март). Князь Всеслав Брячиславич — князь Полоцкий (XI в.). В 1067 г. киевский князь Изяслав Ярославич заманил его в Киев и заточил в темнице. В 1068 г. киевляне, недовольные Изяславом Ярославичем, провозгласили своим князем Всеслава Брячиславича. Он княжил семь месяцев и вынужден был бежать в Полоцк, так как прежний киевский князь, Изяслав, предпринял на него поход при поддержке поляков. О князе Всеславе Бунин пишет также в "Жизни Арсеньева" (кн. V. гл. 24).

Думая о Пушкине // Возрождение. — 1926. — 10 июня (№ 373). — С. 3–4.

С. 204. *Я обещаю вам Инонию... // Белогвардейца — к стенке! // А почему не атакован Пушкин?* — Искаженные строки из стихотворений С.Есенина "Инония" (1918) и В.Маяковского "Радоваться рано" (1918). См. коммент. к статье "Инония и Китеж" (с. 543).

...стали складываться стихи... — далее Бунин приводит свои стихотворения 1912–1916 гг. "Молодой король", "У гробницы Вергилия", "В Сицилии", "Помпея", "Псковский бор", "Дедушка в молодости".

К воспоминаниям о Толстом // Возрождение. — 1926. — 20 июня (№ 383). — С. 2–3.

С. 210. *Прочел "Встречи с Толстым" Н.А.Цурикова, напечатанные в "Возрождении"* — Цуриков Николай Александрович (псевд.: Иван Белеников; 1886–1957) — писатель и общественный деятель. Бежал из Крыма в Константинополь в октябре 1920 гг., с марта 1923 г. обосновался в Праге, работал в Русском педагогическом бюро. В 1928–1934 гг. являлся членом редакционного комитета газеты "Россия и славянство". Цуриков Н. Встречи с Толстым // Возрождение. — 1926. — 19, 20, 21, 22, 23 апреля (№ 321, 322, 323, 324, 325); 24, 27 мая (№ 356, 359).

Вот, например, недавно напечатанная в "Руле" статья г. Бродского о языке Толстого, основанная на воспоминаниях Гольденвейзера,— о языке Толстого не литературном, а житейском... — воспоминания московского пианиста А.Б.Гольденвейзера "Вблизи Толстого. (Записи за 15 лет)", изданные в Москве (Т.1. — 1922; Т.2. — 1923) вызвали широкий резонанс в эмиграции (см., например, рецензии: Последние новости. — 1924. — 7 февр. — С. 3; Руль. — 1924. — 5 апр. (№ 1015). — С. 2–3). Бунин цитирует книгу Гольденвейзера по статье Б.Бродского "Язык Толстого", опубликованной в газете "Руль" (1926. — 24 марта (№ 1614). — С. 4).

Записная книжка // Возрождение. — 1926. — 3 июля (№ 396). — С. 2.

С. 212. *Воспоминания г.Маргулиеса о князе Кропоткине* — Маргулиес Мануил Сергеевич (1868– ?) — адвокат, член партии кадетов.

В конце семнадцатого года... — в "Автобиографических заметках" Бунин почти дословно воспроизводит свой пересказ воспоминаний Маргулиеса без ссылки на последнего (*Бунин–1990.* — С. 204–205).

С. 213. *Конец семнадцатого года...* — комментарий Бунина к воспоминаниям Маргулиеса воспроизводится в "Автобиографических заметках" с незначительными изменениями и композиционными перестановками (*Бунин–1990.* — С. 204–205).

Бонч-Бруевич — имеется в виду Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873—1955) — советский партийный и государственный деятель, член КПСС с 1895 г., в 1917—1920 гг. являвшийся управляющим делами Совнаркома.

С. 214. *Я видел Кропоткина только раз...* — см. запись от 15 мая 1919 г. в "Окаянных днях": "Вспомнил, почему-то, князя Кропоткина (знаменитого анархиста). Был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света — и вполне младенец, даже жутко" (*Бунин—1990.* — С. 144). См. также в "Автобиографических заметках": "Весной того же семнадцатого года я видел князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в полифемском царстве Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократии, в молодости был одним из наиболее приближенных к императору Александру Второму, затем бежал в Англию, где и прожил до русской февральской революции, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлен при этом знакомстве: человек, столь знаменитый на всю Европу,— знаменитый теоретик анархизма и автор "Записок революционера", знаменитый еще и как географ, путешественник и исследователь восточной Сибири и полярных областей,— оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками белых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре, в обращении. Живые, ясные глаза, добрый, доверчивый взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь — и это трогательное младенчество..." (*Бунин—1990.* — С. 204).

Вот еще два знатных русских интеллигента... — имеется в виду книга Вячеслава Иванова (1866—1949) и М.О.Гершензона (1869—1925) "Переписка из двух углов" (СПб., 1921), вызвавшая большой резонанс в эмиграции.

С. 215. *Каким чудовищем надо быть...* — см. у Бунина в книге "Воспоминания": "Кем надо быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи?". (*Бунин—1990.* — С. 287).

А ведь бряцали... — данный фрагмент с незначительными изменениями вошел в очерк Бунина "Волошин", включенный в книгу "Воспоминания" (Париж, 1950): "А ведь Волошин бряцал..." См. также статью 1932 г. "О Волошине", включенную в настоящее издание.

...Носят ведрами спелые грозди, // валят ягоды в глубокий ров... — неточная цитата из стихотворения М.А.Волошина (1877—1932) "Бойня", пятого из цикла "Усобица (Цикл о терроре 1920—21 гг.)", опубликованного в 1923 г. в февральской книжке (№ 2) берлинского журнала "Новая русская книга" с следующим редакционным предварением: "Живущий в Крыму (Феодосия, дача Айвазовского) поэт М.А.Волошин прислал в редакцию нашего журнала цикл своих стихотворений о терроре, предлагая напечатать их вместо своей автобиографии за последние годы. "Эти стихи,— как пишет он в своем письме,— лучше, чем всякие письма дадут понятие, что делалось и что переживалось за эти годы. Они написаны с точностью документов" (с. 46). См. также отдельное издание: Волошин М. Стихи о терроре. — Берлин: Кн-во писателей в Берлине, 1923. Бунин искажает авторскую пунктуацию, тем самым искажая и смысл стихотворения. В журнальном варианте фрагменты песен (первые четыре из цитируемых строчек) идут в кавычках, как бы перебиваясь комментарием лирического героя (строки пять-шесть из цитируемых), а затем вновь идет фрагмент песни, опущенный Буниным. Неточность и в строке пять (в оригинале — "Пулеметом дробят их кости и кольем"). В другой редакции все шесть строк "причитает ветер".

Но и перед этим певцом в стане чекистов таяли от восхищения — см. запись в "Окаянных днях" от 16 апреля 1919 г.: "Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого "кристальная душа". Так и сказал: кристальная"

(*Бунин—1990.* — С. 93). Это же выражение Волошина Бунин повторяет в записи от 24 апреля: " А у "председателя" этой чрезвычайки, у Северного, "кристальная душа", по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин,— всего несколько дней тому назад,— *"в гостиной одной хорошенькой женщины"* (*Бунин—1990.* — С. 117). О встречах Бунина с Волошиным в Одессе см. также запись в "Окаянных днях" от 23 апреля 1919 г.: "Позавчера он звал на Россию "Ангела Мщения", который должен был "в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты". А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее" (*Бунин—1990.* — С. 110).

Вейте, вейте, снежные стихии, // Заметайте древние гроба! — Неточная цитата из стихотворения М.А.Волошина "Северовосток", в журнальной публикации открывающего цикл "Усобица (Цикл о терроре 1920—21 гг.)" (в оригинале — "заметая"). Волошин указывает, что это стихотворение было написано в Коктебеле в 1920 г. "перед приходом советской власти в Крым".

Верю в правоту верховных сил, // Расковавших древние стихии — с незначительными неточностями цитируется стихотворение М.А.Волошина "Готовность", в журнальном варианте восьмое из цикла "Усобица (Цикл о терроре 1920—21 гг.)". "в плавильне" — в оригинале "в плавильной печи".

С. 216. *...то переводы из Анри де Ренье...* — Волошин переводил Анри де Ренье с 1909 г. "Рассказы о маркизе д'Амеркере" в 1910 г. появились на страницах журнала "Аполлон" (№ 6), а в 1910 г. вышли в Москве отдельным изданием. В 1910 г. Волошин делает первые стихотворные переводы из Ренье. Сборник, включавший переводы 27 стихотворений, Волошин предполагал выпустить в издательстве "Омфалос" в Одессе в 1919 г.

И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие... — см. у А.Седых, передающего свои впечатления после чтения Буниным отрывков из "Воспоминаний": "Помню, я особенно обиделся за Максимилиана Волошина, которого в юности знал лично и любил. Бунин написал, что Волошин мог прервать самый горячий теософский спор, чтобы жадно наброситься на еду, и я не выдержал и упрекнул его:

— Да ведь и вы, Иван Алексеевич, очень любите закусить пирожками, и селедку любите, и водку. И пожалуй, ради закуски пожертвуете любым теософским спором...

Он на мгновенье уставился на меня и вдруг начал смеяться и потом несколько раз повторял:

— Так вы думаете, пожертвую? Что же, может быть, может быть..." (*Седых—1962.* — С. 229—230).

"Своими путями" // Возрождение. — 1926. — 22 июля (№ 415). — С. 3.

С. 216. *"Своими путями"* — "литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал". Издание Русского демократического Студенческого союза в Чехословакии. Выходил в Праге с ноября 1924 г. (№ 1/2 (октябрь-ноябрь). Ответственный редактор — Ю.Пак. Редакция — А.К.Рудин, А.И.Федоров, С.Я.Эфрон; № 3/4 — Н.А.Антипов, А.А.Воеводин, А.К.Рудин и т.д.)

Случайно просмотрел последний номер пражского журнала "Своими путями" — имеется в виду № 12/13 журнала (июнь 1926 г.). Летом 1925 г. редакция разослала крупным русским писателям-эмигрантам обращения с просьбой рассказать на страницах специального номера, посвященного русскому зарубежью

"о современной литературе и о себе". На призыв откликнулись М.А.Алданов, А.М.Ремизов, Ф.Степун, Марина Цветаева, Е.Н.Чириков и И.С.Шмелев. За их корреспонденциями, опубликованными в № 8/9 (август-октябрь 1925 г.) следовал редакционный комментарий, включивший в себя ответы З.Н.Гиппиус и И.А.Бунина:

"Вместо оценки русской литературы редакция получила от И.Бунина и З.Гиппиус следующие письма:

"К сожалению, я не могу ответить согласием на Ваше любезное предложение. Уже потому, что журнал ваш печатается по новой орфографии. Это затруднило бы меня даже в том случае, если б у меня имелись новые свободные стихотворения и фотографическая карточка. Но ни тех, ни другой у меня нет.

Д.С.Мережковский присоединяется к моему ответу.

Примите уверения в нашем к Вам почтении.

З.Н.Гиппиус".

"Весьма благодарю за любезное приглашение. Только простите — не имею представления о Вашем журнале и о том, кто именно будет в № 8/9. М.б., будете добры сообщить и кроме того выслать один или два № журнала? Впрочем, если журнал печатается по новой орфографии, не трудитесь посылать; тогда я во всяком случае не смогу принять участия.

С почтением Ив.Бунин".

Возможно, что после данного письма Бунину были высланы один или несколько номеров журнала.

Правда, имена, за исключением Ремизова, все не громкие... — *Болесцис* Николай (наст. имя и фам. Николай Вячеславович Дзевановский; 1897– ?) — член объединения "Скит поэтов" (Прага).

Кротков — в журнале "Своими путями" было опубликовано стихотворение поэта, критика и переводчика Кристины (Христины) Павловны Кротковой, в замужестве Франкфурт (? –1964), более известной под псевдонимом "К.Ирманцева". Она жила в Праге с начала 1920-х гг., с 1922 входила в объединение "Скит поэтов". В 1930-х через Париж переехала в Канаду, позже в Нью-Йорк. Умерла в США. В разные годы печаталась в журналах "Воля России", "Годы", "Новый журнал", "Перезвоны", "Русские записки", "Современные записки" и т.д.

Рафальский Сергей Милич (1896–1981) — поэт, прозаик, публицист, мемуарист. Во время гражданской войны — в армии генерала Врангеля. В 1921 г., после присоединения Волыни к Польше, принял польское гражданство; в 1922 г. из Острога переехал в Прагу, где стал одним из организаторов объединения молодых писателей-эмигрантов в Праге "Скит поэтов". Сотрудничал в "Воле России", "Сполохах" и др. В 1924 г. окончил юридический факультет Пражского университета, а затем работал до 1927 г. в Институте по изучению России. Переселившись в 1929 г. вместе с женой в Париж, трудился в мастерской по раскраске тканей, принадлежавшей Д.Кнуту.

Туринцев Александр Александрович (1896–1984) — поэт, критик, общественный деятель; протоиерей. В эмиграции жил в Варшаве, затем в Праге. Был участником кружка "Таверна поэтов", в 1922 вошел в число организаторов пражского объединения "Скит поэтов". Печатался в газетах "Дни", "За свободу", "Последние новости", "Свобода", журналах "Версты", "Воля России", "Годы", "Своими путями", "Студенческие годы", сборнике "Записки наблюдателя". В 1930-е переехал в Париж. Принял священство, стал настоятелем Патриаршего Трехсвятительского подворья.

Гингер Александр Самсонович (1897–1965) — поэт, прозаик, критик. Приехал в Париж в 1921 г.; в 1922 году в издательстве "Палаты поэтов" выпустил первую книгу стихов "Свора верных". Был членом литературных объединений "Палата поэтов" и "Через", с 1925 входил в Союз молодых поэтов и писателей.

В 1925 г. в Париже вышел его сборник под названием "Преданность". В 1930-е участвовал в заседаниях "Круга". В 1920-е — 1930-е сотрудничал в журналах "Благонамеренный", "Звено", "Русские записки", "Современные записки", "Числа" и др. В 1946 г. вместе со своей женой, поэтессой А.Присмановой, принял советское гражданство, но остался в Париже. Автор книг стихов "Жалоба и торжество" (1939), "Весть" (1957), "Верность" (1965), "Сердце" (1965).

Кнут Довид (наст. имя и фам. Давид Миронович Фиксман; 1900–1955) — поэт, прозаик, критик, переводчик. В 1920 г. приехал во Францию, изучал химию в Каннах, затем вместе с родственниками содержал кафе в Латинском квартале в Париже, а с конца двадцатых годов — мастерскую по росписи тканей. В первой половине 1920-х был членом парижских литературных объединений "Палата поэтов", "Гатарапак", "Через", в 1925 принял деятельное участие в создании Союза молодых поэтов и писателей, в 1928 примкнул к объединению "Перекресток". Вместе с Н.Берберовой и В.Фохтом входил в редколлегию журнала "Новый дом" (1926–1927, №№1–3), сотрудничал в литературных журналах "Благонамеренный", "Встречи", "Звено", "Новый корабль", "Числа". Во время войны состоял в еврейской группе французского Сопротивления; в 1944 была расстреляна его вторая жена, поэтесса Ариадна Скрябина. В конце сороковых годов переехал в Израиль. Автор сборников: "Моих тысячелетий" (Париж, 1925); "Вторая книга стихов" (Париж, 1928); "Сатир" (Париж, 1929); "Парижские ночи" (Париж, 1932); "Насущная любовь" (Париж, 1938); "Избранные стихи" (Париж, 1949).

Луцкий Семен Абрамович — был близок к участникам парижского объединения молодых писателей-эмигрантов "Палата поэтов". Первый его сборник — "Служение" — вышел в Париже в 1929 г.

Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. С лета 1919 г.— в Добровольческой армии, эмигрировав, два года жил в Константинополе, а затем переехал в Париж. Был близок к В.Ходасевичу; один из основателей и первый председатель "Союза молодых поэтов и писателей" (1925), глава поэтической группы "Перекресток" (1928). Член редколлегии литературных журналов "Новый дом" и "Новый корабль", постоянный сотрудник "Чисел". В разные годы печатался также в парижских "Встречах", "Днях", "Звене", "Современных записках", в нью-йоркских "Новом русском слове" и "Опытах", в "Современнике" (Торонто) и др. С 1955 вел критическую рубрику в газете "Русская мысль". С 1926 по 1965 издал 6 сборников своих стихов, в 1940-е выступил как прозаик, в 1953 опубликовал книгу воспоминаний "Встречи", в 1960 составил антологию эмигрантской поэзии "Муза диаспоры".

Газданов Гайто (наст. имя Георгий Иванович; 1903–1971) — прозаик, критик. Воевал в рядах Белой армии, с 1920 в эмиграции. Сотрудничал в журналах "Воля России", "Встречи", "Русские записки", "Современные записки", "Числа", альманахе "Мосты" и др. Был членом Союза молодых поэтов и писателей и объединения "Кочевье". В 1930 опубликовал свой первый роман "Вечер у Клэр".

Долинский Семен Григорьевич — прозаик, поэт, один из организаторов объединения молодых писателей-эмигрантов в Праге "Скит поэтов". Печатался также в журналах "Воля России" и "Искусство славян".

Еленев Николай Артемьевич (1894–1957) — прозаик, искусствовед, художник, историк, мемуарист. Эмигрировал через Крым и Константинополь вместе с частями Белой армии. С 1920 жил в Праге, где окончил юридический факультет Русского университета и философский факультет Карлова университета. Был членом литературного кружка "Далиборка". С 1926 сотрудничал в парижском "Возрождении". В 1946 перебрался в Париж, затем некоторое время

преподавал в США и Австрии. Печатался в журналах "Благонамеренный", "Грани", "Воля России", "Своими путями". "Сполохи" и др.

Тидеман И.И. (Фриш-фон-Тидеман Иван Иванович; 1894– ?) — прозаик, член объединения "Скит поэтов" (Прага).

Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941) — муж М.И.Цветаевой, офицер Белой армии, стал затем агентом НКВД, эмигрировал, учился в Пражском университете. Был соредактором журналов "Своими путями", "Версты", газеты "Евразия". Председатель "Союза возвращения на родину". В 1937 г. бежал в СССР, был расстрелян по обвинению в "двойной игре".

...недаром употребляют они большевистскую орфографию — см. выше письмо Бунина в редакцию журнала "Своими путями".

Капитан нам прикажет строго... — цитируется стихотворение Н.Болесциса "Из книги путешественника" (IX) (Своими путями. — № 12/13. — С. 2), строки из которого Бунин приводит с незначительными искажениями.

Кончить жизнь не стоило б труда... — Бунин цитирует стихотворение С.Рафальского "Туман над осенью, над памятью..." (Своими путями.— № 12/13.— С. 3).

С. 217. *Дебаркадер. Экспресс. Вагон— и Вы...* — приводятся отдельные строки из стихотворения А.Туринцева "На вокзале" (Своими путями. — № 12/13. — С. 3).

Всей душой полюбила душа моя... — приводятся первые две строки первой строфы и вторая строфа стихотворения А.Гингера "Всей душой полюбила душа моя...", включенного в опубликованную в журнале подборку произведений членов "Союза молодых поэтов в Париже" (Своими путями. — № 12/13. — С. 5).

За то, что ты спасал... — с незначительными искажениями приводится вторая строфа стихотворения Д.Кнута "Ковчег. (IV)", включенного в опубликованную в журнале подборку произведений членов "Союза молодых поэтов в Париже" (Своими путями. — № 12/13. — С. 5).

Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) — поэт, прозаик. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. В 1914 г. прервал учебу, так как был призван на военную службу и отправлен на фронт. Участник гражданской войны, офицер Белой армии. В 1920 г. эмигрировал через Египет во Францию. Один из организаторов Союза молодых поэтов и писателей, участвовал в заседаниях "Круга". Начиная с 1926 г. его произведения печатались в "Звене", "Иллюстрированной России", "Новом корабле", "Последних новостях", "Русских записках", "Сатириконе", "Современных записках". В 1946 г. принял советское гражданство, сотрудничал в газете "Советский патриот", был корреспондентом "Правды". 5.9.1950 г. был выслан из Франции. Некоторое время прожил в ГДР, а в 1955 г. переехал на постоянное жительство в СССР.

В Соленой и слепой стихии...— Бунин приводит последнее четверостишие из стихотворения А.Ладинского "Сентиментальный корабль", включенного в опубликованную в журнале подборку произведений членов "Союза молодых поэтов в Париже" (Своими путями. — № 12/13. — С. 6).

Не так ли, хвост поймать желая... — Бунин приводит последнюю строфу из стихотворения С.Луцкого "Мечту преследую упорно...", включенного в опубликованную в журнале подборку произведений членов "Союза молодых поэтов в Париже" (Своими путями. — № 12/13. — С. 6).

В журнале есть отдел под странным названием "Цапля", где между прочим высмеивается язык обращений Великого князя Николая Николаевича... — в отделе "Цапля" (Своими путями. — № 12–13. — С. 48–49) комментировались отдельные фрагменты из выступлений писателей, критиков, общественных деятелей и периодических органов эмиграции. В реплике, адресованной великому князю Николаю Николаевичу в связи с его "Новогодним поздравлением" и "Зарубеж-

ным приветствием", говорилось: *"Беззаконие, безверие и разврат продолжают править нашим отечеством... обескровленный и изнемогающий народ русский борется"*. И еще: *"Нестерпимы угнетение народа русского... преследование веры и церкви православной"*. Определение, поставленное после определяемого, приобретает свойство парафина ("Parlax"), на этой слабительной стороне держится весь т.н. "русский стиль": не "русский народ", как это было б по-русски, а "народ русский", да Бог с ним! высокопоставленным адресам время прошло" (Там же.— С. 49). См. по поводу критических замечаний Бунина в статье Марка Слонима "Литературные отклики: Бунин-критик.— Антон Крайний и Зинаида Гиппиус... О "Верстах" (Воля России. — 1926. — № 8–9), вызвавшей, в свою очередь, резкую отповедь Бунина (Записная книжка // Возрождение. — 1926. — 28 октября (№ 513). — С. 3–4): "Недавно "Своими путями" выпустили специальный номер, посвященный литературной молодежи (как известно, все о молодежи говорят и очень ей сочувствуют, но печатать ее не рискуют). Бунин этот номер прочел и сразу же объявил <...>: пражские молодые литераторы — комсомольцы, ибо в заметках "Цапля", высмеивающих курьезы и неправильности языка в эмигрантских изданиях, упомянули и о стиле воззваний вел. кн. Николая Николаевича. Стиль этот псевдонародный, под лубок, с раздражающими оборотами квасного патриотизма, который никогда не скажет "русский народ", "православная вера", а непременно "народ русский, вера православная". Автор "Цапли" этот народный слог княжеских салонов назвал парафиновым слабительным, а Бунин за великого князя обиделся. Бог весть, какое отношение Николай Николаевич, один из претендентов на разрушенный русский престол, имеет к литературе — но Бунин не стерпел: ведь тоже местоблюститель. Забавно, что комсомольцами обозвал (для Бунина выругал) он всех сотрудников "Своими путями", в том числе и автора "Цапли". А я, грешным делом, вчитываясь в заметки, помещенные в студенческом журнале, узнаю в них перо совсем уж не юнца в литературе и вовсе не комсомольца. Да и Бунин мог бы догадаться, да запальчивость, особенно политическая,— поспешна" (С. 89–90).

С. 218. *Смею уверить пражских комсомольцев...* — определение сотрудников журнала как "пражских комсомольцев" вызвало резкую реакцию М.Слонима (см. предыдущую сноску) и И.Тидемана (см. коммент. к статье "Версты").

"Версты" // Возрождение. — 1926. — 5 августа (№ 429). — С. 3.

С. 218. ***"Версты"*** — журнал, издававшийся в Париже в 1926–1928 гг. В журнале, объединявшем под своей обложкой произведения писателей-эмигрантов и перепечатки из советских изданий, проводилась "примиренческая" линия, определяли которую Д.П.Святополк-Мирский и С.Я.Эфрон. Негативную реакцию Бунина на первую книгу журнала предопределила как общая позиция издания, так и содержавшиеся на его страницах выпады лично против Бунина. В первую очередь это критическая оценка "Современных записок" в целом и эмигрантского творчества Бунина в частности в статье Д.П.Святополка-Мирского "Современные записки. 1–26. Париж. 1920–1925; Воля России. 1922, 1925, 1926. № 1–2. Прага", опубликованной в разделе "Библиография" (Версты. — 1926. — № 1). Определив состав "ядра" "Современных записок" ("Ядро — это собственно "зарубежная" литература — Мережковские, Бунин, Алданов, Ходасевич, Зайцев — все разные грани либерального консерватизма". С. 207), критик и один из редакторов "Верст" писал: "Литературное ядро "Современных записок" разнообразно и объединено признаком скорее отрицательным: ненавистью, более или менее брезгливой ко всему новому. Различны же они во всем: от ясного и ровного, хотя и неяркого, дневного света Алданова, до истерического хаоса Мережковского; от изощреннейшей культуры Зинаиды Гиппиус до

принципиальной (и природной) уездности Бунина; от чрезмерной ссохнутости и морщинистости Ходасевича до воздушной (воздушный пирог, и такой же розовый) пухлости Зайцева,— все оттенки" (С. 208). Говорилось в статье и непосредственно о сочинениях Бунина: "Наконец, Бунин, "краса и гордость" русской эмиграции, Столп Консерватизма, высоко держащий знамя Великого, Могучего, Свободного и т.д. над мерзостью советских сокращений и футуристических искажений — чистая традиция "Сна Обломова". Бунин редкое явление большого дара, не связанного с большой личностью. В этом отношении Бунин сродни Гончарову, которого он, я думаю, в конце концов не ниже. <...> В "Современных записках" (да и нигде) Бунин не дал ничего равного "Суходолу". "Митина любовь", самая, по мнению многих, замечательная вещь, напечатанная в "Совр. зап.", приятна, спору нет, и в лучших местах похожа, не фотографически, и ученически (и это хорошо), на памятные страницы толстовского "Дьявола". Но, конечно, если судить по "Митиной любви" о зарубежном творчестве — росту оно небольшого. И как она бледнеет и меркнет перед подлинной жизнью "Детства Никиты". В конце концов, ядро "Совр. зап." не дало в романе ничего равного напечатанному со стороны "Преступлению Николая Летаева"; в поэзии вещам Марины Цветаевой, напечатанным не в них; в философии "Гефсиманской ночи" "гастролера" Шестова" (С. 209). Упоминался Бунин и в статье Александра Туринцева "Опыт обзора": "Замятин <...> писатель "новый", писатель нашей, живой эпохи, а не из прошлого русской литературы (как Бунин, напр.)" (С. 217).

...первая (и громадная) книга "Верст"... — в первом номере "Верст" 270 страниц плюс 70 страниц занимает приложение.

Редакторы — Святополк-Мирский, Сувчинский и Эфрон, ближайшее участие — Ремизова, Марины Цветаевой и... Льва Шестова — место подзаголовка на обложке "Верст" занято указанием состава редакции и ближайших сотрудников: "Под редакцией кн. Д.П.Святополка-Мирского, П.П.Сувчинского, С.Я.Эфрона и при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова".

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович, князь (1890–1939) — критик и литературовед, один из виднейших "евразийцев". В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. В 1922–1932 гг. жил в Англии, вступил в компартию Великобритании. Был фактическим руководителем евразийского ежегодника "Версты", печатался в еженедельнике "Евразия". Сотрудничал также в "Благонамеренном", "Звене", "Современных записках". В 1932 г. вернулся в СССР, выступал с критическими и литературоведческими статьями в советской прессе, в 1937 г. был арестован, умер в лагере под Магаданом 6 июля 1939.

Сувчинский Петр Петрович (1892–1985) — музыковед, критик, публицист, издатель. Первым браком был женат на дочери А.И.Гучкова, вторым — на дочери Л.П.Карсавина. Эмигрировал в 1920 г., жил в Софии, с 1921 г. — в Берлине, с 1925 г. — в Кламаре под Парижем. Один из основателей евразийского движения: возглавлял издательство "Евразия", входил в редколлегию журнала "Версты" и газеты "Евразия". Помимо евразийских изданий печатался в журналах "Вещь", "Путь", "Эпопея". Позже начал сотрудничать во франкоязычной периодике и принял французское гражданство.

Эфрон С.Я. — см. коммент. на с. 555.

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — прибыла в Прагу весной 1922 г.; до отъезда в Париж в середине 1925 г. была наиболее заметной фигурой среди пражских поэтов. О ее влиянии на литературную молодежь вспоминает, в частности, Борис Лосский (В русской Праге (1922–1927) // Минувшее: Исторический альманах. — М.; СПб., 1994. — Вып. 16). Принимала ближайшее участие в издании парижского ежегодника "Версты". Печаталась в журналах "Благона-

меренный", "Воля России", "Встречи", "Окно", "Русская мысль", "Своими путями", "Современные записки", "Сполохи". В 1939 г. вслед за мужем С.Я.Эфроном возвратилась в СССР. Покончила с собой в Елабуге. О Цветаевой см. у Бунина в "Автобиографических заметках": "А сколько было еще ненормальных! Цветаева с ее непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в советскую Россию"... (*Бунин—1990.* — С. 195)

Шестов Лев (Шварцман Лев Исаакович; 1866—1938) — философ. Был выслан из РСФСР в 1922 г. Жил в Париже, принимал "ближайшее участие" в издании ежегодника "Версты", печатался в журналах "Окно", "Русские записки", "Современные записки", "Числа". См. у Галины Кузнецовой запись от 8 июня 1929 г.: "Читаю Шестова. Много говорю о нем с И.А." (*Кузнецова—1967.* — С. 105).

Треть книги — перепечатки из советской печати... — в первом номере "Верст" были перепечатаны из советских изданий стихотворения С.Есенина, Б.Пастернака, И.Сельвинского, произведения И.Бабеля и А.Веселого, а также "Отклики русских писателей на резолюцию XIII съезда РКП".

С. 219. *...выписываю его программу почти целиком, выпустив всего пять строк из первого абзаца, ни в каком отношении не важных* — переписывая программу журнала, Бунин исказил смысл редакционного заявления, опустив отрицательную частицу "не", за что подвергся резкой критике в статье М.Слонима "Литературные отклики: Бунин-критик.— Антон Крайний и Зинаида Гиппиус... О "Верстах" (Воля России. — 1926. — №8/9; см. коммент. на с. 562—563).

Но люблю я твой взор с поволокой... — строки из стихотворения С.А.Есенина "Не гляди на меня с упреком...", перепечатанного в числе четырех "посмертных" стихотворений поэта журналом "Версты" из второго номера журнала "Новый мир" за 1926 г.

С. 220. *"А было Стецюре двадцать годов..."* — строка из "новеллы" И.Сельвинского "Казнь Стецюры" перепечатанной в числе ряда других произведений поэта журналом "Версты" из советских изданий, в данном случае — из "Сборника литературного центра конструктивистов" (М.; Л.).

С. 221. *..."гениальный" Белый написал новый роман...* — в напечатанной в "Верстах" рецензии Д.Резникова на пятую книгу альманаха "Круг" сообщается, что "об Андрее Белом было известно, что он пишет роман из московского быта. В книге напечатан отрывок из романа "Москва", но оценка опубликованному дается скорее негативная (С. 231). Однако в уже упоминавшейся статье Д.Святополка-Мирского "Современные записки. 1—26. Париж. 1920—1925; Воля России. 1922, 1925, 1926. № 1—2. Прага" утверждается, что "ядро "Совр. зап." (к которому автор относит и Бунина — коммент.) не дало в романе ничего равного напечатанному со стороны "Преступлению Николая Летаева" (С. 209).

Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934) — русский писатель, начинал как "младосимволист". О Белом см. дневниковую запись от 26 апреля (9 мая) 1918 г.: "Сперва все время мой спор с Андреем Белым. Он вывертывается, по-моему, отрекаясь от большевиков, болтая мутно все одно, смысл чего: из этой грязи и крови родится нечто божественное — и т.д. При встречах он, впрочем, весьма симпатичен" (*Бунин—1990.* — С. 64). См. также его характеристику в "Автобиографических заметках": "Про обезьяньи неистовства Белого и говорить нечего"... (Там же. — С. 195).

Мне пишут... — имеется в виду бунинская статья о журнале "Своими Путями" (см. выше), вызвавшая резкую отповедь у членов противоположного лагеря.

...я прочел в воскресном номере "Возрождения" письмо г.Тидемана... — имеется в виду "Письмо в редакцию" И.Тидемана (Возрождение. — 1926. — 1 авг.

(№ 425)), протестующее против определения сотрудников журнала "Своими Путями" как "пражских комсомольцев" в статье Бунина "Своими путями".

Записная книжка // Возрождение. — 1926. — 17 окт. (№ 502). — С. 2. — Эти записи в несколько измененном виде под названием "Последняя осень" и с датой "1916" были опубликованы в 10 томе Собрания сочинений Бунина (Берлин: Петрополис, 1935).

С. 223. *После обеда прочли статью Мережковского о "Детстве" Горького* — имеется в виду статья Д.С.Мережковского "Не святая Русь: (Религия Горького)" (Русское слово.— 1916.— 11 сент.), в которой "Детство" М.Горького признавалось "одной из лучших, одной из вечных русских книг".

С. 224. *"Миколай Миколаевич младший..."* — Николай Николаевич (1856–1929) — Великий князь, дядя Государя Императора Николая II. Один из наиболее авторитетных и жестких военачальников, с именем которого многие связывали надежды на победу над немцами. В 1914–1915 гг. — Верховный Главнокомандующий, в 1915–1917 гг. — командующий Кавказским фронтом. См. у Галины Кузнецовой запись от 6 января 1929 г.: "И.А. пришел с сообщением, что умер Великий князь Николай Николаевич и что завтра надо ехать в Антиб на панихиду" (*Кузнецова–1967.* — С. 93).

С. 225. *Сухомлин* — Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) — генерал-адъютант, генерал-от-кавалерии, член Государственного совета. С 1904 г.— командующий Киевского военного округа, с 1905 г.— генерал-губернатор Киевский, Волынский и Подольский, с 1908 г.— начальник Генерального штаба, в 1909–1915 гг.— военный министр. Был обвинен в государственной измене, превышении власти, служебных подлогах и лихоимстве. Находился в Петропавловской крепости, затем под домашним арестом, после Февральской революции осужден пожизненно по обвинению в неподготовленности армии к Первой мировой войне. Амнистирован Советской властью в мае 1918 г., эмигрировал в Финляндию, затем жил в Германии.

Записная книжка // Возрождение. — 1926. — 28 октября (№ 513). — С. 3–4.

С. 225. *...когда я на днях прочел в "Последних новостях" статью о том, что в "Красной нови" какой-то Горбов опять шельмует писателей-эмигрантов...* — имеется в виду статья Н.Берберовой, подписанная псевдонимом "Ивелич", "Они" о "нас" (Последние новости. — 1926. — 14 окт. (№ 2031)). "*Красная новь*" — литературно-художественный и научно-публицистический журнал, издавался в 1921–1942 гг., в 1926 г.— под редакцией А.К.Воронского, В.Сорина и Ем.Ярославского. *Горбов* Дмитрий Александрович (1894–1967) — критик, литературовед, теоретик "Перевала", один из ведущих сотрудников критического отдела журнала "Красная новь". Берберова откликнулась на его статью "Мертвая красота и живучее безобразие", напечатанную в № 7 за 1926 г.

С. 226. *...уже лет семьдесят орудуют российские "Бесы"...* — имеется в виду антинигилистический роман Ф.М.Достоевского "Бесы".

Други, вы слышите ль крик оглушительный...— Бунин цитирует первую строфу стихотворения А.К.Толстого "Против течения" (1867), опуская строки 5–6 ("Сдайтеся натиску нового времени, // Мир отрезвился, прошли увлечения") и поменяв в конце 3 строки вопросительный знак на запятую.

"Этот живой труп совершенно не понимает и не знает русского народа" — цитирую по воспоминаниям Кони... — см. у А.Ф.Кони о Гончарове: "Ему не пришлось, подобно Тургеневу за "Отцов и детей" и Достоевскому за "Преступление и наказание", выслушать тупые и злобные упреки в оклеветании молодого поколения,— это было бы в конце шестидесятых годов уже устарелым при-

емом,— но пришлось узнать, что он певец крепостного права, что он не понимает и совершенно не знает русского человека и русской жизни..." (Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. — М. 1989. — С. 65–66). *Кони* Анатолий Федорович (1844–1927) — русский юрист и общественный деятель, автор многочисленных мемуаров ("Очерки и воспоминания (публичные чтения, речи, статьи и заметки). — СПб., 1906; На жизненном пути. — Т. 1. — СПб., 1912; Т. 2. — СПб., 1913; Т. 3. — Ревель; Берлин, 1922; Т. 4. — Ревель; Берлин, 1923; Т. 5. — Л., 1929; Некрасов и Достоевский: По личным воспоминаниям. — Пг., 1921 и др.).

С. 227. *А что было Чехову за его "Мужиков" и мне за мою "Деревню", "Ночной разговор"...* — ср. с фрагментом из "Окаянных дней" (от 16 апреля 1919 г.): "Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть "попа", "обывателя", мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина — словом, вся и всех, за исключением какого-то "народа",— безлошадного, конечно,— и босяков" (*Бунин–1990.* — С. 93–94).

См. о "Деревне" в дневниковой записи от 8 октября 1917 г.: "Думал о своей "Деревне". Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое" (Там же. — С. 45). О том же в "Окаянных днях" от 19 февраля 1918 г.: "А "Деревня" вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?" (Там же. — С. 71).

С. 228. *Заключись в святом уединенье...* — из стихотворения Ф.Шиллера "Начало нового века" (1801) в переводе В.Курочкина.

Это стихи какого-то Бориса Божнева — Божнев Борис Борисович (1898–1969). В 1919 г. приехал в Париж, где первое время жил перепиской нот. В 1924 г. три его стихотворения были напечатаны в Москве в третьей книге альманаха "Недра". В Париже входил в "Палату поэтов", затем в "Перекресток". Бунин цитирует стихотворения из книги Бориса Божнева "Борьба за несуществованье" (Париж, 1925).

Да любой Марк Слоним из "Воли России" — "Воля России" — периодический орган эсеровского направления, издававшийся в Праге, фактически "официоз" партии эсеров. В 1920–1921 гг. под этим названием выходила газета, из-за финансовых затруднений приостановленная, по заявлению редакции — "ввиду перенесения газеты в одну из стран, находящихся ближе к России". С января 1922 года издание возобновляется уже в качестве "общественно-политического и литературного еженедельника". Первоначально "Воля России" (еще в качестве газеты) выходила при ближайшем участии В.М.Зензинова, В.И.Лебедева и О.С.Минора, а ее издателем выступал один из старейших эсеров Е.Е.Лазарев. После трансформации в еженедельник В.М.Зензинов и О.С.Минор перестают влиять на редакционную политику, а во главе издания становятся В.И.Лебедев, М.Л.Слоним и В.В.Сухомлин, впоследствии четвертым соредактором становится Е.А.Сталинский. Издателем продолжает при этом выступать Е.Е.Лазарев. Наибольшую известность снискал "журнал политики и культуры", выходивший под данным названием и при сохранении в основном состава редакции с середины 1922 года. Первоначально обновленная "Воля России" выходила два раза в месяц. Объем книжек был увеличен до 100 страниц, в каждом номере были выделены отделы по образцу дореволюционных "толстых" журналов: Беллетристика, Политика, Иностранная жизнь, Литература и культура, Систематические обзоры, Экономическая жизнь, Русские за рубежом. По определению Глеба Струве, "на эмигрантском политическом фронте "Воля России" держала равнение налево. Не опускаясь до открытого сменовеховства, оставаясь журна-

лом эмигрантским и исповедуя антибольшевизм, "Воля России", как не раз указывалось ее противниками, тщательно отмежевалась не только от "правой" эмиграции, но и от республиканско-демократической, часто зло полемизируя и с "Последними новостями" П.Н.Милюкова и с "Современными записками" правых эсеров — журналом для "Воли России" и слишком умеренным и слишком "академичным" (Струве Г. Русская литература в изгнании.— 2-е изд., испр. и доп.— Париж, 1984.— С. 64). Литературное направление "Воли России" определял Марк Слоним.

Слоним Марк Львович (1894—1976) — литературовед, критик, публицист, переводчик; член партии эсеров. В эмиграции с 1919 (Берлин, Прага, Париж, США). В 1922—1932 был соредактором и одним из основных авторов пражской "Воли России". Редактировал также журнал "Новости литературы" (Берлин, 1922) и "двухнедельник литературы и искусства" "Новая газета" (Париж, 1931), печатался в нью-йоркском "Новоселье", белградском "Русском архиве" и др. В Париже организовал литературный кружок "Кочевье" (1928), в который входили А.Гингер, А.Присманова, Б.Поплавский и др.

С. 229. *Вот московский журнал "Прожектор" со статьей Воронского...* — см. коммент. к статье "Российская человечина" на с. 547—548.

Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933) — политический деятель, публицист. В начале 1900-х гг. близок к эсерам, с 1904 г. — член редакционного комитета журнала "Русское богатство", один из организаторов и лидеров Трудовой народно-социалистической партии. В мае—августе 1917 г. — министр продовольствия Временного правительства. В 1922 г. выслан из России. Жил в Риге, Праге, Берлине.

С. 230. *...тот самый Слоним, что сравнительно недавно выбрал из всех десяти томов любовных мемуаров Казановы эпизоды наиболее похабные...* — имеется в виду книга: Воспоминания Казановы / Пер. и вступ. ст. М.Слонима. — Берлин: Нева, 1923.

Отклики эти — обо мне, о Гиппиус и вообще об "эмигрантской литературной знати и ее придворной челяди", как с лакейской яростью выражается Слоним. А придрался он ко мне из-за журнала "Версты" — имеется в виду статья "Литературные отклики: Бунин-критик.— Антон Крайний и Зинаида Гиппиус... О "Верстах" (Воля России. — 1926. — № 8/9), в которой Марк Слоним писал:

"Есть в нашей эмиграции несколько писателей, которых бог поразил тяжелым недугом: они твердо убеждены, что "русская литература — это мы". В особо острых случаях этого заболевания каждый думает: "литература — это я!" И поэтому своей прямой обязанностью считает не столько писать романы и стихи, сколько с высоты престола — в качестве этакого местоблюстителя Аполлонова — представительствовать за русское искусство, стоять на страже русского языка и изгонять из собственных владений крамольников и иноверцев.

Конечно, никому не возбраняется забавляться в меру сил и разума, но для некоторых литературных местоблюстителей одной забавы мало: они рвутся в бой и ради этого даже выступают в неприсущих им ролях проповедников, публицистов и критиков.

Подобное происшествие случилось недавно с И.А.Буниным, заявившим себя в "Возрождении" довольно скверным критиком. <...>

Многие писатели совершенно не обладают чувством такта и их слух не режут скрипучие или хриплые ноты собственного голоса. Это блестяще подтверждается именно на примере Бунина.

Бунин очень хороший писатель, хотя для меня мертвый, потому что не двигающийся, застывший и принадлежащий к завершенной главе истории русской литературы. Она давно уже дописана, а Бунин к ней только приписывает. Он весь в прошлом — психологически, формально, по своим сюжетам, по своей

трактовке, по своим подходам к людям и России. Как и герой его рассказа "Несрочная весна", он может только уйти в Элизиум воспоминаний, и единственно живым для него является мир мертвых. И "что может быть у меня общего с этой новой жизнью, опустошившей для меня вселенную?" И может быть потому, что так всецело принадлежит он "потонувшему миру", что для часа сегодняшнего он неживой,— ему самому неживыми, призрачными кажутся те, кто пришли на смену, вместе с этим новым днем.

Я понимал и уважал бы Бунина, если б, осознав для себя невозможность примирения с этим новым, ушел он в сторону, замкнулся в одиночестве и молчании — ибо опустошена вселенная. Я еще более уважал бы его, если б он старался понять и принять это новое. Есть ведь такие писатели, которые умели замечать и в гроб сходя благословлять. Но для этого надо обладать внутренней чуткостью, душевной отзывчивостью и умственной широтой, то есть всем тем, что делает крупного писателя и крупным человеком, и чего нет у Бунина.

Бунин безнадежно глух, ослеплен политической злобой и скован самомнением и предубежденностью. Поэтому не может он сказать: "я не принимаю, потому что не понимаю". Для этого признания требовалось бы новое благородство жеста, которое у Бунина отсутствует: он не оценить хочет, а унизить, не разобрать, а ошельмовать. Злобу вызывают в нем все эти "новые люди" литературы, все эти нетитулованные пришельцы, к которым он, дворянин от искусства, относится с тем же презрением, что и крепостной барин к "хамам" и "кухаркиным детям". Для него они враги, он с ними борется, и в борьбе этой готов применить самые невероятные приемы. Ибо насколько сдержан Бунин-художник, настолько же распущен и не брезглив Бунин — критик и публицист. Еще и прежде говорил он невоздержанные речи в парижских собраниях, самому себе желая проникнуться собачьим бешенством, чтобы отомстить большевикам, или бросал неприличные фразы о Блоке. Но все это превзойдено Буниным в его последних двух "опытах", нашедших приют в весьма гостеприимном на подобные вещи "Возрождении" (поистине широкое, истинно русское гостеприимство для отчаянно бездарных рассказов и критических статей" (С. 87–89).

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) — поэт, прозаик, критик, мемуарист; жена Д.С.Мережковского. В 1906–1908 постоянно жила в Париже. В эмиграции с 1920 (Варшава, затем с 1921 Париж). Была организатором литературных "воскресений" и кружка "Зеленая лампа". В 1920-е–1930-е печаталась в газете "Возрождение", журналах "Встречи", "Новый дом", "Новый корабль", "Окно", "Отечество", "Русская мысль", "Современные записки", "Числа". В 1939 вместе с Мережковским редактировала сборник "Литературный смотр". См. о Гиппиус записи в дневнике Бунина от 24 и 26 августа 1917 г.: "Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойнее прочих — "новых поэтов". Но какая мертвяжина, как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!"; "Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической натуры в ней ни на йоту" (*Бунин–1990.* — С. 34, 35).

С. 232. *...как тот сосуд, полный гадов, что спустился во искушение Петру апостолу, когда он "взалкал и поднялся наверх, чтобы помолиться..."* — Деяния (10: 9-16).

...цитируя их программную статью, проглядел в одном месте частицу "не" и тем исказил одну совершенно незначительную для общей оценки "Верст" фразу, о чем и сожалею — М.Слоним по этому поводу написал следующее: "Подобный прием полемики носит совершенно определенное и далеко неблагозвучное имя. Прежде чем учить других хорошему тону, не мешало бы самому Бунину научиться некоторым правилам литературного приличия. Но цель оправдывает средст-

ва. А цель эта — охаять молодую русскую литературу и всех ее представителей и защитников изобразить в виде полуидиотов или большевистских лакеев. <...> Оплевать, разнести молодых и инакомыслящих — вот чего добивается Бунин. Я не могу даже сказать, что он их ненавидит. Ненависть — слишком высокое чувство. В ненависти — трагедия. В злобе же — неведение, самомнение, чванство, зависть. Злоба — чувство низшего порядка. И именно со злобой подходит Бунин и к современной России и к ее искусству.

Эта злоба в значительной мере питается незнанием. У Бунина и презрение от непонимания, которое и не желает быть просветлено, потому что основано на предвзятых взглядах, на упорстве политической страсти. Бунин слышит чужой язык, которого не изучает и не хочет изучать — и говорит: да это не язык, а собачий лай. Он читает авторов, пишущих не так, как он, и о том, чего он не видел и не знает — и говорит: да это и не литература. Он искусство мыслит только в ему самому привычных формах. Все иное — оскорбление величества. Все новшества — крамола. Все идущее из России — "революционное хамство и большевизм". Все, защищающее его в эмиграции,— сменовеховство" (С. 91—93).

О новой орфографии: Письмо в редакцию // Возрождение. — 1926. — 6 ноября (№ 522). — С. 3.

С. 232. *Петр Бернгардович* — П.Б.Струве. См. о нем коммент. на с. 571.

Гофман Модест Людвигович (1887—1959) — литературовед, пушкинист. После окончания Петербургского университета (1910) работал на кафедре истории русской литературы, участвовал в пушкинском семинаре С.А. Венгерова. В августе 1922 г. был командирован Академией наук в Париж, остался в эмиграции.

...в одной из своих последних статей... — имеется в виду "Записная книжка" (Возрождение. — 1926. — 28 октября (№ 513)). См. с. 228 наст. изд.

Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) — русский филолог, академик (1894), в 1906—1920 гг.— председатель отделения русского языка и словесности Академии наук.

С. 233. *...объявлена не большевиками, а Мануйловым...* — переход на новую орфографию инициировало Временное правительство, в котором Александр Аполлонович Мануйлов (1861—1929) занимал пост Министра народного просвещения. Ушел в отставку в июле 1917 г. После революции, по возвращении в Петербург из Тифлиса, преподавал в Московском университете (с января 1918 г.), в 1919—1920 гг. — работал консультантом наркома финансов, с 1924 г. входил в правление Госбанка.

Записная книжка // Возрождение. — 1927. — 13 февраля (№ 621). — С. 2.

С. 234. *"Слушайте, слушайте Музыку Революции!"* — имеется в виду обращение, завершающее статью А.Блока "Интеллигенция и Революция" (9 января 1918 г.): "Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию!"

В так называемом Ленинграде издавался недавно, "при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского", журнал "Русский современник"... — данный фрагмент в несколько измененном виде включен в "Автобиографические заметки" как подтверждение психической неполноценности Блока и предваряется фразой: "Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны" (*Бунин—1990.* — С. 196). Далее в "Автобиографических заметках" следует бунинский комментарий: "В этой нелепости ("а распространять заставили икающих попов — и Учредилку"), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна эта строка,— про апостола Петра — "дурак Симон с отвисшей губой") есть, разумеется, нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времен, началось еще с самыми

первыми дуновениями "ветра из пустыни" (*Бунин—1990.* — С. 197). *"Русский современник"* — литературно-художественный журнал (М.;Л., 1924. — №№ 1—4).

Замятин Евгений Иванович (1884—1937) — прозаик. Эмигрировал из СССР в 1932.

...в третьей книге этого культурного органа... — в третьем номере журнала "Русский современник" за 1924 г. была напечатана подборка неопубликованных произведений Блока, а также воспоминания о нем. В мемуарном очерке Замятина передавались слова Блока об эмигрантах, сказанные после знакомства с очередным номером журнала "Русская мысль": "Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи".

С. 235. *Прочитал — и вполне согласился...* — ср. в "Автобиографических заметках": "И впрямь — среди этих "замыслов" есть кое-что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его, ухмыляясь, "большим педантом". Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать не более, не менее, как "Пьесу из жизни Иисуса". И вот что было в проспекте этой "пьесы": <...>" (*Бунин—1990.* — С. 196). См. также письмо Бунина, приведенное в своих мемуарах Андреем Седых: "Вы не должны огорчаться за Блока. Это был перверсный актер, патологически склонный к кощунству: только Демьян Бедный мог решиться на такую, например, гнусность, как рифмовка (в последнем мерзком куплете "Двенадцати") — мне даже трудно это писать! — рифмовка "пес" и Христос. Только последний негодяй мог назвать Петра апостола (пришедшего в Рим на распятие — и потребовавшего, чтобы Его распяли вниз головой, ибо Он считал, что недостоин быть распятым обычно, так, как распят был Христос) "дураком с отвислой губой", а Блок именно так и написал: "дурак с отвислой губой Симон удит рыбу". И это — о Петре, красота души которого даже увеличивала эту красоту,— вспомните, как горячо кинулся защищать Христа (ухо отсек), как отрекся трижды от Него и как плакал потом..." (*Седых—1962.* — С. 232—233).

Памяти Юшкевича // Возрождение. — 1927. — 15 февраля (№ 623). — С. 2.

С. 236. *Юшкевич* Семен Соломонович (1868—1927) — писатель. Скончался 12 февраля 1927 г. в Париже.

"Возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его..." — Экклезиаст (12: 7).

Суета сует // Возрождение. — 1927. — 24 февраля (№ 632). — С. 3.

Записная книжка // Возрождение. — 1927. — 26 мая (№ 723). — С. 2.

С. 239. *...недавно им опубликованные в "Красной нови" воспоминания о Гарине-Михайловском...* — имеется в виду очерк А.М.Горького "Н.Г.Гарин-Михайловский (Воспоминания)", напечатанный в журнале "Красная новь" (1926. — № 4), в начале которого автор пишет:

"Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками.

Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству евангелий, был все-таки немножко педантом; родоначальник веселых праведников, вероятно, Франциск Ассизский, великий художник любви и жизни, он любил не для того, чтобы поучать любви, а потому, что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людьми" (С. 202).

У Чехова помещик Гаевский говорит своему лакею: — Отойди, братец, от тебя курицей пахнет! — Неточность Бунина. Имеется в виду реплика Гаева, обращенная к Яше, из первого действия "Вишневого сада" ("Отойди, любез-

ный, от тебя курицей пахнет"). Также именовал этого персонажа Бунин в статье "О Чехове" (см. с. 298 наст. изд.).

А в Париж приехал Луначарский... сопутствуемый одной из своих супруг — Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — советский государственный и партийный деятель, писатель, критик. Член РСДРП с 1895 г. С 1917 г.— нарком просвещения. См. о Луначарском дневниковую запись Бунина от 4 ноября 1917 г.: "Луначарский — мерзавец" (*Бунин–1990.* — С. 57), в той же тональности Луначарский оценивается и в "Окаянных днях": "...от этой гадины Луначарского" (от 17 апреля 1919 г. *Бунин–1990.* — С. 95). Очевидно, имеется в виду Н.А.Луначарская-Розенель — жена А.В.Луначарского в последние двенадцать лет его жизни; автор книги "Память сердца: Воспоминания" (2-е изд. — М., 1965).

...как околачивался он возле Горького на Капри, среди прочих лодырей и жуликов, из которых состояла тогда известная "коммунистическая школа", руководимая и питаемая Горьким... — *Каприйская школа* — фракционная партийная школа в августе-декабре 1909 г. на о. Капри, созданная "отзовистами", "ультиматистами" и "богостроителями", противопоставившими свои взгляды большевикам. Горький и Луначарский являлись в это время глубокими приверженцами идей "богостроительства". См. запись в "Окаянных днях" от 19 апреля 1919 г.: "Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь "Новой жизни" со стороны "царских опричников", что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?" (*Бунин–1990.* — С. 97).

С. 240. *В прошлом году Горький в "Вечерней Красной газете" напечатал статейку по поводу того, что я...* — имеется в виду вечерний выпуск "Красной газеты" (см. коммент. на с. 493), где была помещена заметка М.Горького "Из дневника", впервые опубликованная в журнале "Огонек" (1926. — № 31. — С. 6). Приведенный Буниным фрагмент предваряют следующие строки: "И.А.Бунин в Париже публично возопил: "Молю Бога, чтобы он до последнего издыхания моего сохранил во мне святую собачью ненависть к русскому Каину".

Вопль этот — эпилог рассказа Бунина о собаке нищего, убитого красноармейцами. После убийства собака стала бешено бросаться на всех, одетых в шинели".

Да и что ж ему, в самом деле, горевать, сидя в Сорренто? — уехав из Советской России "на лечение", Горький жил на вилле в Сорренто.

С. 241. *...Маяковский,— тот самый Маяковский, которого еще в гимназии звали Идиот Полифемович,— ржет то в Париже, то в Праге...* — см. запись в "Окаянных днях" от 3 марта 1918 г.: "Маяковского звали в гимназии Идиотом Полифемовичем" (*Бунин–1990.* — С. 84). См. также фрагмент в "Окаянных днях" о последнем посещении Буниным Петербурга (в начале апреля 1917 г.), повторяющийся почти дословно и в "Автобиографических заметках" (*Бунин–1990.* — С. 202–203): "Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем

сделал это он сам на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии!" Данную запись предваряет рассказ Бунина о банкете по поводу открытия выставки финских художников и о поведении Маяковского: "Но надо всеми возобладал — "поэт" Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему" и т.д. (запись "ночью на 24 апреля" 1919 г.) (*Бунин—1990.* — С. 113—114). О Маяковском см. *Бунин—1990.* — С. 65. См. также высказывания Бунина в изложении А.Седых: "Маяковский был "самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства"; "...величайшего холуя русской "поэзии" Маяковского при всей его холуйской небездарности" (*Седых—1962.* — С. 228, 231).

Нам пишут: "А в Праге Сейфуллина..." — Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1954) во время заграничной поездки в 1927 г. посетила, в частности, Прагу, где встречалась со многими эмигрантами, в том числе с членами Общества Сибиряков в ЧСР, выделявших из пореволюционных писателей-сибиряков В.Иванова и Сейфуллину как наиболее талантливых.

"Большие пузыри" // Возрождение. — 1927. — 6 июня (№ 734). — С. 2.

С. 241. *"Звено"* — ежедневная литературно-политическая газета, издававшаяся в Париже по понедельникам с 1923 г. под редакцией М.М.Винавера и П.Н.Милюкова, с 1926 г.— "еженедельный литературный журнал", с июля 1927 г. до 1928 г. — "ежемесячный литературный журнал" под редакцией М.Л.Кантора.

Получил "Звено" и прочел следующее... — имеется в виду начало раздела "Хроника литературы и искусства" из № 226 "Звена" (1927. — 29 мая. — С. 13), где сообщалось о подготовке издания новых произведений Д.Четверикова, М.Слонимского, Н.Баршева, М.Борисоглебского, Л.Раковского и Н.Никитина.

Д.Четвериков — псевдоним Бориса Дмитриевича Четверикова (1896—1981). Роман "Заиграй овражки" был опубликован в Харькове в 1928 г., роман "Любань" вышел в ГИЗе в 1928 г., роман "Синяя говядина" закончен в 1929 г.

Баршев Николай Валерианович выпустил книгу рассказов "Большие пузырьки" в ГИЗе в 1928 г.

Борисоглебский Михаил Васильевич выпустил сборник рассказов "Осколок" и первый том романа "Топь" в Ленинграде в 1927 г.

Раковский Леонтий Иосифович (1896—1979) выпустил сборник "Зеленая Америка: Повести и рассказы" в Ленинграде в 1927 г.

...попадаю я в такое положение по четвергам и субботам каждой недели, читая парижские газеты и журналы — по четвергам и субботам в эмигрантских периодических изданиях обычно публиковались обозрения литературных новинок.

С. 242. *Восемнадцати лет я уже печатался в "Неделе" и в "Вестнике Европы"...* — в 1888 г. стихи Бунина были опубликованы в ежемесячном журнале "Книжки "Недели" (редактор-издатель П.А.Гайдебуров).

...придя в гости к харьковской писательнице Шабельской...— Шабельская (наст. фам. (или урожд.?) Монтвид) Александра Станиславовна (1845—1921) — русская

писательница. О визите к ней см. "Заметки" от 19 сентября 1929 г. (с. 301–302 наст. изд.).

Авилова Лидия Алексеевна (1864(1865?)–1943) — русская писательница. В 1898 г. Бунин опубликовал в "Южном обозрении" (№ 624) под псевдонимом "И.Чубаров" рецензию на повесть Авиловой "Наследники" (Русское богатство. — 1898. — № 9) (См.: Лит. наследство. — М., 1973. — Т. 84: Иван Бунин: В 2 кн. — Кн. 1. — С. 334). Об Авиловой у Бунина см. также: Собр. соч.: В 9 т. — Т. 9. — М., 1967. — С. 230. В 1922 году выехала в Чехословакию к больной дочери, в 1924 г. вернулась в СССР. Эту историю Бунин повторяет в "Заметках" от 19 сентября 1929 г. (с. 302 наст. изд.).

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) — русский публицист и журналист, издатель и редактор ежемесячного литературно-художественного и общественно-политического журнала либерального направления "Вестник Европы" (в 1866–1908 гг.).

"Безграмотная ерунда" // Возрождение. — 1927. — 11 июня (№ 739). — С. 2.

С. 243. *Литература наша, писал два года тому назад покойный Арцыбашев...* — имеется в виду цикл статей русского писателя Михаила Петровича Арцыбашева (1878–1927) в варшавской газете "За свободу", и продолжавших в эмиграции серию его публицистических выступлений под рубрикой "Записки писателя" в газете "Свобода" (май 1917–май 1918) (отдельное издание: Записки писателя. — М., 1917. — Т. 1–3). Часть этих выступлений вошла в книгу "Записки писателя" (Вып. 1–2. — Варшава, 1925–1927).

С. 245. *А что сказать, например, о небезызвестной Софье Федорченко, которая недавно выпустила в Москве второй том своих записей "Народ на войне"?* — Первое послереволюционное издание книги Софьи Захаровны Федорченко (1888–1959) "Народ на войне" вышло в издательстве "Новая Москва" в 1923 г. В 1925 г. сокращенный вариант был опубликован в "Библиотеке "Огонька" (№ 49), а полный — издательством "Земля и Фабрика" (М.; Л.). В том же году московское издательство "Никитинские субботники" выпустило еще две книги С.Федорченко, объявив их вторым и третьим томом собрания сочинений, якобы начатого "ЗиФом": "Том 2. Народ на войне: Том 2. Революция" и "Том 3: Сказки". В 1927 г. писательница признала, что в ее книгах преобладает художественный вымысел: "...я твердо решила сказать, что все это почти стенографические записи, и отдать книгу эту как не свою" (Цит. по: Лит. наследство. — М., 1983.— Т. 93. — С. 13–14). В 1930 г. перевод книги Федорченко "La peuple a la Guerre" вышел в Париже. Негативное отношение Бунина к произведениям Федорченко отчасти можно объяснить и близостью последней к эсеровским кругам: в 1920 г. ее "сказки" печатались в газете "Воля России" и журнале "Современные записки". С 1922 г. писательница жила в Москве.

...сперва в "Речи", а потом отдельным изданием... — очевидно, имеется в виду киевское издание 1917 г. "Народ на войне: Фронтовые записи".

Джером Джером // Сегодня. — 1927. — 26 июня (№ 138). — С. 6.

С. 247. *Джером К. Джером* (Jerom K. Jerom, 1859–1927) — английский писатель, юмористический роман которого "Трое в лодке, не считая собаки" (1889) приобрел всемирную известность. Менее известны продолжение этого романа "Трое на велосипеде" (1900), а также многочисленные юмористические рассказы, пьесы и другие романы автора. В 1899 г. он посетил Россию, побывал в Петербурге, о чем писал в эссе "Русские, какими я их знаю". Эссе было издано в переводе на русский язык под названием "Люди будущего" (1906).

Очерк Бунина опубликован по случаю смерти Джерома К. Джерома, с которым он познакомился в Лондоне в феврале 1925 г. Бунин отредактировал этот текст для последующих газетных и книжных перепечаток и сократил его. В книге "Воспоминания" очерк начинался словами: "Я в Англии до 1926 года не бывал" — с ошибочной датой визита. В действительности Бунин приехал в Лондон по приглашению ПЕН-клуба в начале февраля 1925 года. Это подтверждают многие документы: запись в дневнике основательницы клуба Э.Доусон-Скотт, переписка Бунина с секретарем ПЕН-клуба Марджори Скотт, письма Бунина к А.В.Тырковой-Вильямс, помогавшей организовать этот визит (Русский Архив в Лидсе), а также дневники В.Н.Муромцевой-Буниной и другие свидетельства. К сожалению, дневники Бунина за февраль 1925 г., где он мог оставить свои непосредственные впечатления о пребывании в Англии, в Лидском архиве не обнаружены.

В Лондоне для Бунина был забронирован номер в отеле "Беркли" на Пиккадилли с понедельника 2 февраля до утра пятницы 6 февраля (документ— письмо хозяина отеля— хранится в Русском Архиве в Лидсе). Организаторы визита составили для Бунина напряженную программу: в день приезда, в понедельник 2 февраля, он был приглашен на обед в дом английской писательницы-суффражистки Мэй Синклер. На следующий день, во вторник 3 февраля, состоялось чествование Бунина в ПЕН-клубе. Хотя в молодости Бунин учил английский, читал и даже переводил с английского, говорить по-английски он не мог. Однако за обеденным столом, где ему было отведено почетное место рядом с основательницей клуба, ему, по всей видимости, пришлось обходиться без переводчика. Э.Доусон-Скотт записала в своем дневнике: "3-его февраля. ПЕН. Обед для Ивана Бунина, обворожительного худощавого седовласого джентльмена". Дальше она описывает забавную застольную беседу с писателем, во время которой они, с трудом преодолевая языковые трудности, говорили о национальной кухне французов и англичан. (Watts M. P.E.N. The Early Years: 1921—1926. — London: Archive Press, Hampstead, 1971. — P. 30). В предотъездный день, в четверг 5 февраля в доме А.В.Тырковой был устроен прием, на котором появился давно не выезжавший Джером К. Джером. Об этом вспоминал в своих мемуарах сын Тырковой Аркадий Борман: "При помощи мамы для И.А.Бунина был устроен многочисленный прием в обществе английских писателей. На этот прием в старомодном, плохо вычищенном сюртуке вылез даже сам Джером Джером. Интересно было наблюдать, с каким почтением относились молодые литераторы в смокингах к этому корифею английской литературы девятнадцатого века" (Борман А. А.В.Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына. — Лувэн-Вашингтон, 1964. — С. 217). Подробнее о визите Бунина в Англию см. кн.: Казнина О.А. Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. — М.: Наследие, 1997. — С. 374—381).

С. 248. *Ону* Александр Михайлович (1865—1938) — приват-доцент, лектор по современной истории в университете Петрограда; с 12 июля 1917 г. генеральный консул Временного правительства России в Англии. С 1917 по 1923 г. возглавлял русское консульство в Лондоне. Преподавал историю в британских университетах. О нем см в кн.: Ону А.М. Загадки русского сфинкса / Публ. и предисл. О.В.Соколовской. — М.: Ось-89, 1995. — С. 3—7.

"К писателям мира" // Возрождение. — 1927. — 17 июля (№ 775). — С. 1. — Отклик на "Обращение русских писателей к писателям мира" (Возрождение. — 1927. — 10 июля (№ 768). — С. 2; Последние новости. — 1927. — 10 июля (№ 2300). — С. 2).

Наш поэт // Возрождение. — 1927. — 4 августа (№ 793). — С. 3. Фрагменты этой публикации вошли в статью 1932 г. "Памяти Ивана Савина", включенную в настоящее издание (с. 383—385).

С. 250. *Иван Савин* (наст. имя и фам. — Иван Иванович Саволайнен; 1899—1927) — сражался в рядах Белой армии. Четверо его братьев погибли, а сам Савин, заболевший тифом и помещенный в джанкойский лазарет, попал в плен. Ему помогло финское происхождение, и пробыв некоторое время в Петербурге, он в 1921 г. эмигрировал в Финляндию. В 1926 г. в Белграде вышел его единственный прижизненный сборник стихов под названием "Ладонка".

"После долгой и тяжкой болезни..." — здесь и далее Бунин цитирует статью П.Пильского "Иван Савин" (Сегодня.— 1927.— 16 июля (№ 135).— С. 2).

С. 252. *...трагедию Новороссийска* — падение Новороссийска знаменовала собой конец Белого движения на Кавказе. 14 марта 1920 г. Новороссийск покинул главнокомандующий генерал Деникин, Добровольческая армия эвакуировалась в Крым.

Самородки // Возрождение. — 1927. — 11 августа (№ 800). — С. 2—3. — Содержание статьи перекликается с соответствующим фрагментом из "Автобиографических заметок" (*Бунин—1990.* — С. 176—181).

С. 253. *"Прочел "Роман без вранья" Мариенгофа...* — *Мариенгоф* Анатолий Борисович (1897—1962) — поэт, прозаик, один из теоретиков имажинизма. В "Романе без вранья" (1926) реальные факты сочетаются с художественным вымыслом.

Дон-Аминадо — Шполянский Аминад Петрович (Аминодав Пейсахович) (1888—1957) — поэт, прозаик, мемуарист. С 1920 г. в эмиграции. В 1920—1921 редактировал выходивший в Париже журнал для детей "Зеленая палочка". Постоянный фельетонист "Последних новостей", Сотрудничал в "Иллюстрированной России", "Современных записках", возрожденном "Сатириконе" и др. В книге его воспоминаний "Поезд на третьем пути" (Нью-Йорк, 1954) упоминаются и встречи с Буниным. В 1921 г. в газете "Общее дело" (27 июля. С. 2) Бунин опубликовал рецензию на книги Дон-Аминадо "Дым без отечества" и А.Ветлугина "Авантюристы гражданской войны" (см. с. 110—113 наст. изд.). Первые двенадцать строк из этого фрагмента фельетона Дон-Аминадо Бунин приводит в своих "Автобиографических заметках".

С. 254. *...равно как и перед прочими "скитальцами", оравшими на нас: "вы жабы в гнилом болоте!"* — по поводу этих строк см. в настоящем издании (с. 428) фрагмент в беседе Лоллия Львова с Буниным "Перед занавесом "художественников" (14 августа 1937 г.): "Помню, как на одном вечере публика пришла в полный восторг, когда Скиталец крикнул в нее свой стих: "Вы жабы в гнилом болоте..." О Скитальце см. также очерк "О Шаляпине" (30 апреля 1938 г.; с. 439—440 наст. изд.). Имеется в виду выступление в московском Благородном собрании на литературном вечере в пользу Высших курсов в декабре 1902 г. В конце вечера Скиталец, выступая непосредственно перед Буниным, прочел стихотворение, вызвавшее "нечто близкое к междоусобию и "беспорядкам". Вечер был прекращен. "Ни устроители вечера, ни сам автор и чтец никак ничего подобного не ожидали и не учитывали, — вспоминал Скиталец. — Никто не предвидел, что у тогдашней публики могло быть такое настроение, что разрешенные цензурой стихи, ничего "политического" в себе не заключавшие, могли, однако, подействовать как искра, брошенная в порох" (Скиталец. Светлые лучи любви: Повести, рассказы, воспоминания. — М., 1989. — С. 549).

. 255. *В.Ф.Ходасевич недавно напечатал в "Возрождении" статью по поводу "Романа без вранья" Мариенгофа и по поводу Есенина, героя этого романа* — *Ходасевич* Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, критик, мемуарист. В

эмиграции с 1922 г.(Берлин, Сааров, Прага, Сорренто, с апреля 1925 г.— Париж). С 1922 г. печатал критические очерки в газете "Дни", в 1923—1925 гг. был одним из руководителей журнала "Беседа", с 1924 г. по январь 1927 г. сотрудничал в "Последних новостях", с 1927 г. по 1939 г. вел отдел критики в "Возрождении" (рубрики "Книги и люди" и "Литературная летопись"). Печатался также в берлинских "Жар-Птице" и "Сполохах", в пражской "Воле России", брюссельском "Благонамеренном", парижских "Новом доме", "Новом корабле", "Сатириконе", "Современных записках". В июле-сентябре 1927 г. Ходасевич и Берберова жили в Каннах и навещали Бунина в Грассе. Имеется в виду статья В.Ходасевича "Цыганская власть" (Возрождение. — 1927. — 23 июня (№ 751). — С. 3—4), в которой роман Мариенгофа оценивался как "правдивая" и "искренняя" книга воспоминаний одного "из приятелей и собутыльников Есенина".

Еще в "Бесах" было это предусмотрено: "Нам каждая шелудивая кучка пригодится..." — цитата из романа Ф.М.Достоевского "Бесы".

...был друг-приятель и собутыльник чекистов, "молился Богу матерщиной"... — см. коммент. на с. 536.

...наряжался в шелковое белье на счет американской старухи, мордуя ее чем попадя и где попало... — имеется в виду Айседора Дункан. См. коммент. на с.517.

С. 256. *Один писатель как-то жаловался Чехову: - Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексия заела! Чехов сумрачно ответил ему: - А вы поменьше водки пейте"...* — этот же фрагмент воспоминаний Бунин цитирует в своем очерке "Чехов" (см. с. 268 наст. изд.).

...как пошли разночинцы, все эти Левитовы, Нефедовы, Омулевские, так и пошла писать губерния... — см. коммент. на с. 490, 533, 593.

Успенский... мы были с ним земляки, и я о нем много наслышался... — Бунин в юности собирал материал о жизни и творчестве Н.В.Успенского, неоднократно писал о нем. Фрагмент об Успенском и его трагической гибели Бунин с дополнениями и незначительными изменениями повторяет в "Заметках" 9 ноября 1929 г. (см. с. 316—317 наст. изд.).

С. 257. *...например, мы читали в "Современных записках" статью Ходасевича все о том же Есенине...* — имеется в виду мемуарный очерк В.Ф.Ходасевича "Есенин", впервые опубликованный в журнале "Современные записки" (1926. — № 27. — С. 294—322), вошедший впоследствии в книгу его воспоминаний "Некрополь". Ходасевич, описывая именины А.Н.Толстого в Москве весной 1918 г., рассказывал, как Есенин привел к Толстому Блюмкина: "Есенин с ним,видимо дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть — и простодушно предложил поэтессе: "А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою" (см.: Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1997. — Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма. — С. 140). См. запись в "Автобиографических заметках": "О Есенине была в свое время еще статья Владимира (так) Ходасевича в "Современных записках": Ходасевич в этой статье говорил, что у Есенина, в числе прочих способов обольщать девиц, был и такой: он предлагал намеченной им девице посмотреть расстрелы в Чека,— я, мол, для вас легко могу устроить это. "Власть Чека покровительствовала той банде, которой Есенин был окружен, говорил Ходасевич: она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу..." (*Бунин—1990.* — С. 180—181). См. также записанную З.Шаховской 27 апреля 1950 г. фразу Бунина: "Не могу переносить всех этих, которые то с Георгием Победоносцем или как Брюсов... А потом в другую сторону спинку гнут. Есенин, у него даже особая черта была — ухаживая, приглашал "посмотреть", как пытают в Чека" (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. — М., 1991. — С. 213).

Летом 1927 г. соредактор журнала *Современные записки* И.И.Фондаминский (Бунаков) жил у Бунина в Грассе. См. характеристику журнала в записи Галины Кузнецовой от 2 сентября 1928 г.: "За завтраком были одни и говорили о нужности для эмигрантов-писателей второго толстого журнала. И.А. и я возражали В.Н., которая находит, что раз дают деньги, надо делать журнал. Мы же, вспоминая весенние "редакторские заседания" с Илюшей во время прогулок и отсутствие материала даже для "Современных записок", говорили, что создавать другой журнал значит разбивать силы, размельчать материал и губить уже имеющийся и хорошо поставленный журнал и вообще пускаться в плаванье, обреченное на гибель" (*Кузнецова—1967.* — С. 70).

Мариенгоф сверхнегодяй — это ему принадлежит, например, одна такая строчка о Богоматери, гнуснее которой не было на земле никогда — имеется в виду строчка из стихотворения Мариенгофа "Твердь, твердь за вихры зыбим...". См. коммент. на с. 495. См. также в "Автобиографических заметках": "Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель"(*Бунин—1990.* — С. 178).

С. 258. *Так, с бухты барахты...* — Бунин почти дословно пересказывает фрагмент четвертой главы "Романа без вранья". См. также запись в "Окаянных днях" от 9 мая 1919 г.: "Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есенинами, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о "свечечках" и "речечках" или прикидывавшихся "разудалыми головушками"!" (*Бунин—1990.* — С. 138). Этот же фрагмент Бунин пересказывает в "Автобиографических заметках" (*Бунин—1990.* — С. 178).

<Ответ на анкету "Литературной недели" "Дней"> // Дни. — 1927. — 23 октября (№ 1215). — С. 3.

Проклятое десятилетие: *Письмо <в редакцию>* // Россия. — 1927. — 5 ноября (№ 11). — С. 3.

С. 259. *Петр Бернгардович* — П.Б.Струве (1870—1944) — экономист, политик. Один из основателей "Союза освобождения", депутат Второй Государственной думы, член ЦК партии кадетов; после октябрьского переворота — участник создания Добровольческой армии, член "Донского гражданского совета", член Особого совещания при генерале А.И.Деникине. В эмиграции с 1921 г.: в 1921—1925 гг. — в Праге, в 1925—1928 гг. — в Париже, до 1942 г. — в Белграде, затем вновь в Париже. Один из виднейших представителей правого крыла эмиграции; редактировал возобновленный им за рубежом журнал "Русская мысль" (1921—1925, 1927), газеты "Возрождение" (в 1925—1927 гг.), "Россия" (1928), "Россия и славянство" (1928—1932). См. в "Грасском дневнике" Галины Кузнецовой записи от 24 и 29 августа 1927 г.: "И.А. тоже не работает. Впрочем, его волнует история с "Возрождением", откуда он ушел из-за вынужденного ухода П.Струве. В доме по этому случаю бесконечные дебаты"; "Вчера после прихода почтальона меня позвали в кабинет и там я застала горячее обсуждение только что полученного от Шмелева из редакции "Возрождения" письма. Шмелев пишет, что не уходит из газеты, национальный облик которой необходимо сохранить. Это превыше, как он пишет личных счетов. В.Н., которая особенно горячо настаивала на уходе И.А. очень возмущалась этим письмом, находя его лицемерным, горячась, бранила Шмелева. Ей очень поддакивал Рощин" (*Кузнецова—1967.* — С. 28—29).

<Ответ на анкету о 10-летии октябрьского переворота> // Сегодня. — 1927. — 6 ноября (№ 251). — С. 1.

С. 260. *...примирить с собой всех "левых", всех Кусковых и Мартовых...* — *Кускова* (Прокопович) Е.Д. в 1899 г. написала "Краткое изложение взглядов", расцененное В.И.Лениным и Ю.О.Мартовым как теоретическое обоснование "экономизма". Затем вошла в "Союз освобождения". См. также коммент. на с. 521.

Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович (1873—1923) — организатор социал-демократической группы "Освобождение труда" (1891), один из создателей "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" (1895), делегат 2 съезда РСДРП (1903), один из лидеров "меньшевиков". С 1905 г. член ЦК РСДРП и редактор "Партийных известий". В 1906 г. был выслан за границу, вернулся в Россию 9 мая 1917 г., после выступления в тот же день на Всероссийской конференции меньшевистских и объединенных организаций РСДРП, в котором осуждались идеи коалиционного правительства и революционного оборончества, возглавил оппозиционную группу меньшевиков-интернационалистов. Выступал против вооруженного восстания против Временного правительства, затем против "ленинской диктатуры", "аракчеевского понимания социализма и пугачевского понимания классовой борьбы". В октябре 1920 г. уехал за границу для того, чтобы представлять партию меньшевиков в Интернационале, сохранил советское гражданство. Руководил созданной им Заграничной делегацией РСДРП, был одним из организаторов Венского 2 1/2 Интернационала, редактировал учрежденный по его инициативе в Берлине журнал "Социалистический вестник".

Заметки // Россия. — 1927. — 12 ноября (№ 12). — С. 2.

С. 261. *...пылкая статья Талина в "Посл<едних> нов<остях>" по поводу якобы "сыска", произведенного г. М. в "Возрождении", почему не едет в Россию Горький...* — *Талин* В.И.— псевдоним одного из ведущих критиков "Последних новостей" Стефана Ивановича Португейса (1881—1944). Его перу принадлежит также статья "Литератор И.Бунин об остальных" (Числа. — 1930. — № 2—3). В данном случае имеется в виду резкий отклик В.И.Талина на опубликованную в "Возрождении" статью М. [С.К.Маковского] "Горький и СССР" (1927. — 20 окт. (№ 870). — С. 3). См. по этому поводу ответ "Возрождения" (1927. — 2 нояб. (№ 883)), где под рубрикой "Маленький фельетон" на второй странице была напечатана статья А.Ренникова "Почему Талин не едет?":

"Сотрудник "Последних новостей" В.И.Талин в последнее время принял на себя довольно трудную роль:

Беспристрастного защитника угнетенных большевиков и оклеветанных эмиграцией большевизанствующих деятелей.

Не так давно, например, у нас в "Возрождении" появилась заметка "Горький и СССР", в которой приводился ряд разоблачающих фактических данных о двуличности советского Буревестника.

Заметка была ценна именно тем, что не голословными утверждениями, а точными справками, датами, письмами и сообщениями телеграфных агентств, устанавливала лицемерие Горького, славословящего коммунистический рай и в то же время упорно не желающего вернуться под сень древа советского познания добра и зла.

Казалось бы, такое оперирование исключительно фактическим материалом должно было вызвать восторг у профессионального газетчика, озаглавливающего свои печатные упражнения "Заметками журналиста".

И вдруг, неожиданно, вместо радости и гордости за русскую прессу, обычно страдающую избытком идей над фактической стороной дела,— почему-то гнев,

возмущение, ярость. <...> И затем, вместо похвал по адресу автора, неожиданный вывод: "Перед нами новая иллюстрация к ходовому положению правой эмиграции: в борьбе с большевиками все средства хороши. Горький — большевик, стало быть, допустимы публичные упражнения с фактами личной жизни Горького".

...затем большая брань в "Воле России" по моему адресу за то, что я коснулся Дункан и Есенина...— имеется в виду статья: А.Ч. Бунин о Есенине и самородках // Воля России. — 1927. — № 8/9. — С. 204—206.

Вырубова (урожденная Танеева) Анна Александровна (1884—1964) — фрейлина императрицы Александры Федоровны, чье имя не раз упоминалось в связи с Г.Распутиным.

Коллонтай Александра Михайловна (урожденная Домонтович) (1872—1952) — советский партийный деятель, профессиональная революционерка, член партии с 1915 г., член ЦК, в 1917—1918 гг. — нарком государственного призрения, с 1920 г. заведовала женотделом ЦК, с 1923 г. — полпред и торгпред в Норвегии, в 1926 г. — в Мексике, в 1930—1945 гг. — посланник, затем посол СССР в Швеции. Первая женщина-посол, была представителем СССР в Швеции во время получения Буниным Нобелевской премии. См. о ней запись Бунина в "Окаянных днях" от 24 апреля 1919 г.: "О Коллонтай (рассказывала вчера Щепкина-Куперник):

— Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы — "на работу". А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку — и шмыг с коробкой конфет в кровать ко мне: "Ну давай, дружок, поболтаем теперь всласть!"

Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток" (*Бунин—1990.* — С. 116). В записи от 11 июня ("четыре часа") Бунин повторяет: "Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, "ангельское" лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай" (*Бунин—1990.* — С. 163).

С. 262. *...вдруг попил бы чайку на улице Гренель?* — на улице Гренель в Париже располагалось советское посольство.

Дон-Аминадо. "Наша маленькая жизнь" (Париж. 1927) // Современные записки. — 1927. — № 33. — С. 523.

С. 262. *Дон-Аминадо* — см. коммент. на с. 569.

Заметки // Россия. — 1928. — 7 января (№ 20). — С. 1.

С. 263. *С месяц тому назад в газете "Возрождение" появилась статья З.Н.Гиппиус, в которой она заявила, что левые и правые пути изжиты и что нужен некий третий путь...* — имеется в виду статья З.Н..Гиппиус "Третий путь" (Возрождение. — 1927. — 4 дек. (№ 915). — С. 3—4), во второй части которой говорилось:

"Общая линия дневника — моя; и она, все та же самая, определяет для меня и позицию сегодняшнего дня. Как даже Милюкову ясно, что признав значение личности в истории, нельзя не признать и личной ответственности, так ясно мне еще многое другое. Мне ясно, что признав самодержавие отжившей и пагубной формой, и поняв, что иным путем, кроме революционного, оно свергнуто быть не может,— нельзя не утверждать революции февральской. Она происходила не вовремя? Да; но одни говорят: "слишком рано"; другие — "слишком поздно". Я говорю последнее; и мне не только не по пути с теми, кто эту революцию отрицает или проклинает, но даже с находящими, что она слишком "рано" совершилась. Для меня ясно,— и было ясно с первого момен-

та,— что святая (да, святая) белая борьба успеха иметь не могла, и не будет иметь, если возродится в прежней форме и с прежним содержанием. Я знаю, что никаким евразийцам Россию в Азию не превратить, а равно и коммунистам — не уничтожить собственного ее, вечного лика; но я знаю также, что идея только узконационалистическая, одна, в какой бы среде она ни действовала, бессильна в борьбе с интернационализмом.

Я не сомневаюсь, что если бы Милюков занял позицию вроде сегодняшней 12 лет тому назад, он мог бы сыграть, в ходе тогдашних событий, громадную и благодетельную роль; но мне слишком ясно, что, при коренной перемене соотношения сил и самих сил, теперь,— эта же (формально) позиция есть позиция распыления или омертвения, и — разложения. Мне далее ясно, что все старые, так называемые "левые" партии, одушевляемые некогда идеей свободы и шедшие на борьбу за нее,— ныне просто перестали, как таковые, существовать. Ни одна не сумела расширить, соответственно времени, свои основы и положения, и жизнь ушла у них из-под ног. Партия эсеров, самая когда-то живая и русская партия, раздавлена тяжелой ответственностью за "срыв России", тем более тяжелой, что она же этой ответственности не сознает. Одна часть партии еще пребывает в окостенелом виде, другая — насквозь изъедена тлей большевизма.

Стоит ли упоминать о группировках и партиях "правых"? Мой взгляд в эту сторону и так известен. Состояние же этих партий таково, что обеспокоен ими может быть сейчас разве только левый прозелитизм Милюкова.

Наконец, яснее ясного для меня следующее: из утверждения всех ценностей во всех областях жизни — должно вытекать абсолютное и всестороннее отрицание большевизма, в какой бы форме и где он ни проявлялся. Только такое отрицание может подвинуть на борьбу с большевизмом, но только при полном, четко определенном и открытом утверждении ценностей свободы, права и личности можно находить те, соответствующие моменту, конкретные формы борьбы, которая делала бы ее успешной.

Я подчеркиваю: из той единой общей линии, которую я здесь бегло, случайными чертами, намечаю, может и должно, рождаться самое определенное отношение ко всякому реальному явлению в сложном содержании сегодняшнего дня истории.

Мне скажут, конечно (даже те, кто основную линию нащупает): "Что же это за позиция? Как раз реально-то она и не существует. Вы не с Керенским, не с Милюковым,— у них нет адамантового камня непримиримости, что делает тактику их мерцающей, для нас неприемлемой. Вы и не с теми, кто, выражаясь условно, "прав": им не хватает других краеугольных камней. Где же вы? Просто ни с кем? Просто нигде".

Да, если ограничить поле зрения политическими вождями и тесным их окружением,— видимость будет именно такова. Больше: если ограничить время одной данной секундой — я не смогу указать даже на какое-нибудь определившееся течение... ибо и течения такового, вполне определившегося, еще нет. Существуют, однако, признаки, что оно может родиться, и как раз там, где мне, отнюдь не профессионалу, всего естественнее его искать и всего важнее найти: среди общей массы здешних русских людей. В большинстве она пока "беспризорна" (и слава Богу!), политически наивна (воображая, что аполитична) и живет, если угодно, обывательски... до того или другого серьезного момента, когда воочию сливаются "политика" и жизнь, когда нужно сделать "выбор" пути. Тогда выбор делается — не сознательно, лишь по интуиции, но гениальной, а потому выбор всегда верный, тот же, какой был бы сделан и сознательно. Не политические вожди его подсказывают, нет, он делается помимо них, а при случае даже вопреки им.

Так был, например, решен вопрос церковный, недавно ставший перед эмиграцией во всей остроте, и, конечно, в остроте определенно политической.

Две дороги" левая и правая... обе изведанные, исхоженные, утоптанные. Третья, прямая,— глуха. На ней почти никого. Но даже если б не было видимых знаков, обещающих на завтра новых путников, по третьей дороге, выходцев снизу,— кто и когда, из страха одиночества, покидал путь, который кажется ему прямым и верным?"

Это вызвало несколько резких замечаний в левых газетах: знаем мы, мол, этот третий путь — Гиппиус просто свернула направо, иначе как бы она могла появиться в "Возрождении"? — в первую очередь имеется в виду статья В.И.Талина (С.И.Португейса) в газете "Последние новости" от 8.12.1927. Отвечая на упреки левой прессы З.Н.Гиппиус писала в статье "Опасный дефект (Ответ г.Талину)" (Возрождение. — 1927. — 13 дек. (№ 924). — С. 3.):

"Недоволен, главным образом, газетой "Возрождение". Рассуждает так: это не "Последние новости", где пишутся левые вещи левыми людьми; в "Возрождении" должны писаться правые вещи правыми людьми. Следовательно, статья "Третий путь" — правая и автор ее — правый. А что он там говорит об отрицании сегодняшних представителей обоих направлений — это обычный "маневр" переходников направо. "Все" так.

Если я чего-нибудь не боюсь, то, конечно, обвинений в правизне (как и в левизне), имею, слава Богу, опыт... <...>

...у Талина нет "понятия личности". Прошу взять мои слова в точном смысле; именно понятия личности у Талина нет, а вовсе не самой личности. Напротив, она у него весьма имеется; но, благодаря отсутствию ее понятия (как всякой другой, так и собственной) — она у Талина находится не то что в загоне, а в состоянии полной беспризорности.

В воображении Талина умещаются лишь два гнезда: левое и правое. Выползла особь из левого — ясно, значит, что направляется в правое".

...все-таки "Возрождение" — не "Дни"... — после смены состава редакции "Возрождение" стало занимать более умеренные, "центристские" позиции. См. об этом письмо П.Б.Струве Бунину от 10 декабря 1927 г.: "Возрождение", конечно, превратилось в торговое заведение, то есть в "парламент мнений", сиречь "свободную трибуну". Это даже не "смена вех", а нечто хуже". Однако, естественно, позиция "Возрождения" все равно оставалась резко правой по сравнению с эсеровскими изданиями, в том числе и газетой "Дни" (Берлин; Париж, 1922–1928), выходившей с 1924 г. с подзаголовком "Русская республиканская газета" под редакцией А.Милашевского и при активном участии А.Ф.Керенского.

Н.Львов, уже напечатавший в "Возрождении" две горячих хвалебных статьи памяти П.А.Столыпина, а на днях — свою монархическую речь, сказанную в Российском центральном объединении, которое он возглавляет вместе с А.О.Гукасовым — имеются в виду два мемуарных очерка Н.Львова: "Гр.Витте и П.А.Столыпин" (Возрождение. — 1927. — 17 дек. (№ 928). — С. 3–4) и "1905 год: Воспоминание" (Возрождение. — 1927. — 24 дек. (№ 935). — С. 3), а также отчет о состоявшемся 12 января очередном собрании главного совета Российского центрального объединения, посвященном беседе на тему "Восстановление национальной России как залог всеобщего мира", где с вступительным словом выступил Н.Львов (Возрождение. — 1928. — 14 янв. (№ 956). — С. 5).

З.Н.Гиппиус напечатала в "Возрождении" (в пятницу 30 декабря) новую статью, в которой она неопровержимо доказала левым всю несостоятельность их подозрений... — 30 декабря 1927 г. в "Возрождении" (№ 941) была опубликована статья З.Гиппиус "Символический Вишняк".

Ильин — имеется в виду Иван Александрович Ильин (1882–1954) — русский философ, высланный из СССР в 1922 г. Среди книг Ильина — "О тьме и просветлении: Книга художественной критики. Бунин. Ремизов. Шмелев" (1959). Ильин — один из ведущих публицистов "Возрождения", вышел из состава редакции вместе с большой группой других сотрудников в знак протеста против ухода П.Б.Струве.

Струве — см. коммент. на с. 571.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) — депутат Государственной думы 2–4 созывов от Волынской губернии, один из лидеров монархистов, с августа 1915 г. один из руководителей Прогрессивного блока. Избранный в феврале 1917 г. Советом старейшин Думы во Временный комитет участвовал вместе с А.И.Гучковым в переговорах с Государем Императором об отречении и готовил Акт об отказе от престола Великого князя Михаила Александровича. После Октября 1917 г.— активный участник борьбы с большевиками, сепаратистами и немцами. Принадлежал к правому крылу эмиграции, был одним из постоянных авторов константинопольских "Зарниц", сотрудничал в "Возрождении", "Русской мысли" и т.д. Автор книг "1920" (София, 1921), "Нечто фантастическое. "Enfant, si j'etais Roi..." (София, 1922), "Нечто без окончания: Фантастический очерк" (София. 1925), "Дни" (Белград, 1925), "Три столицы: Путешествие в красную Россию" (Берлин, 1927), "В стране свобод" (Париж, 1930), "В стране неволи: Похождения князя Воронецкого. Исторический роман" (1934). О посещении Шульгиным Буниных в Грассе см. у Галины Кузнецовой в записи от 26 июня 1927 г.: "И.А. сам говорил мало и больше расспрашивал его, видимо, присматривался и прислушивался — он с ним познакомился очень недавно. Он уехал после часового разговора, обещав приехать как-нибудь завтракать с женой. После его ухода мы с И.А. ходили по саду и говорили о нем" (*Кузнецова–1967.* — С. 14). Вышел из числа сотрудников "Возрождения" в знак протеста против ухода П.Б.Струве.

С. 264. *Теперь "Возрождение" уже освободилось от своего вождя и верных его последователей...* — имеются в виду перемены в редакции "Возрождения", произошедшие на рубеже 1926–1927 гг. Пост главного редактора вместо П.Б.Струве занял Ю.Ф.Семенов, что повлекло за собой уход ряда ведущих сотрудников, идейно более близких к Струве, в том числе и Бунина, который стал писать для новых, созданных Струве, газет — "Россия" (1928) и "Россия и славянство" (1928–1932).

<*Обращение к Ромену Роллану*> // L'Avenir. — 1928. — 12 января. — Перевод с франц. М.А.Брянцева. В том же номере с аналогичным обращением выступил К.Д.Бальмонт. Открытые письма русских писателей стали ответом на приветствие Р.Роллана в связи с 10-й годовщиной Октябрьской революции. В заявлении Ромена Роллана от 4 ноября 1927 года, озаглавленном "Приветствие к величайшей годовщине в истории народов", говорилось:

"Я считаю 7 ноября 1917 года величайшей датой в истории человеческого общества с прославленных дней Французской революции; и на сей раз человечество сделало новый шаг вперед, еще более важный, чем тот, который отделял Французскую революцию от старого режима.

Русская революция, несомненно, совершала ошибки и преступления, но упрекать ее в них не имеют права ни Французская революция, ни те, кто в настоящее время ссылаются на нее, ибо Французская революция совершила преступления и ошибки большие и более тяжкие.

Ту и другую революцию встретила яростным сопротивлением и гнусной клеветой коалиция реакционной Европы, и очагом ее интриг как тогда, так и ныне, явилась Англия. Русская революция прошла уже этап Учредительного

собрания и Конвента и должна остерегаться Директории с двумя ее бичами: денежными тузами и военными диктаторами. Более мудрая, чем Французская революция, Русская революция должна воздержаться от вмешательства в дела других стран и прочно строить свой дом — Республику Труда. В тот день, когда закончится сооружение этого нового здания, мы увидим, как в Европе и в остальной части мира рухнет немало домов, источенных червями, и произойдет это без всякого внешнего вмешательства. Ибо день убивает ночь.

Я не увижу этого дня. Но, как птица Галлов, я возвещаю рассвет" (Печатается по: Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. — М., 1958. — Т. 13. — С. 152–153).

"Открытые письма" Бальмонта и Бунина вызвали бурную реакцию в прессе. В февральском номере журнала "L'Europe" за 1928 г. был помещен ответ Р.Роллана, перепечатанный в "Вестнике иностранной литературы" (М.; Л., 1928. — № 3. — С. 133–137. — Перевод с франц. Н.Явне). Перевод выступления Р.Роллана сопровождался опубликованной в том же номере "Вестника иностранной литературы" статьей А.В.Луначарского по поводу ответа Р.Роллана (С. 138–142). В мартовском номере журнала "L'Europe" за 1928 г. появилось письмо А.М.Горького, которое предварял комментарий Р.Роллана: "Желая проверить некоторые факты, относящиеся к моей вежливой полемике с Константином Бальмонтом и Иваном Буниным, я обратился к Максиму Горькому. Вот поразительная картина, которую он набросал в нескольких строках, рисующая положение русской литературы в настоящее время в России". Наконец, в ответ на высказывания Горького, Бальмонт опубликовал в газете "Возрождение" (1928. — 31 марта (№ 1033). — С. 3) статью "Мещанин Пешков, по псевдониму Горький".

Чехов // Последние новости. — 1928. — 7 июня (№ 2633). — С. 2–3. Бунин не раз обращался к мемуарам о Чехове. В августе-октябре 1904 г. Бунин по просьбе Горького пишет воспоминания для "Сборника товарищества "Знание" за 1904 год" (Кн. 3. — СПб., 1905), посвященного Чехову. В 1914 г. он дополнил эти воспоминания заметками "О Чехове: Из записной книжки" (Русское слово. — 1914. — 2 июля (№ 151)). В переработанном виде они вошли в воспоминания о Чехове, опубликованные в Полн. собр. соч. Бунина (СПб., 1915). В 1908 г. Бунин написал о Чехове стихотворение "Художнику". В 1911 г. М.П.Чехова просила Бунина написать биографию Чехова для собрания его сочинений — приложения к журналу "Нива", но этот проект не осуществился. К 50-летию со дня смерти писателя Бунин готовил книгу "О Чехове", но закончить ее не успел. Рукопись была подготовлена к печати В.Н.Муромцевой-Буниной и вышла в Нью-Йорке в 1955 г. Первое, заочное, "знакомство" Бунина с Чеховым произошло, когда Бунин в 16 лет купил на железнодорожном вокзале в Ельце его книгу "Пестрые рассказы", прочел не отрываясь и "пришел в восторг" (Бунин И.А. Собр.соч: В 9 т. — Т.9. — М., 1967. — С. 176). "Вы самый любимый мной из современных писателей",— признался Бунин в первом же письме к Чехову, отправленном из Ельца в 1891 г. Через пять лет Бунин обратился к Чехову с просьбой прочитать его рассказы, еще спустя 4 года они познакомились лично. Это произошло 12 декабря 1895 года в Москве, когда Бунин возвращался из Петербурга домой в деревню, а два дня спустя он подарил Чехову журнальный оттиск своего очерка "На хуторе". Правда, в беседе Лоллия Львова с Буниным "Перед занавесом "художественников" приводятся слова Бунина, якобы утверждавшего, что он познакомился с Чеховым в Ялте на набережной. Впоследствии, с начала апреля 1899 г., они часто встречались в Крыму. Вскоре после знакомства Бунин стал в семье Чеховых своим человеком. Куприн писал ему: "Я вижу, что в доме Чеховых тебя очень любят" (Цит. по кн.: Бабореко А.К. И.А.Бунин. — М., 1983. — С. 82). "У Чеховых я как родной",—

писал Бунин брату Юлию (Лит. наследство. — Т.68. — С. 398). С сестрой Чехова Бунин был в "отношениях почти братских". О личных и творческих взаимоотношениях писателей см.: Бабореко А.К. Чехов и Бунин // Лит. наследство. — Т. 68. — С. 395–406; Гейдеко В. А.Чехов и Ив.Бунин. — М., 1976; Лакшин В. Чехов и Бунин — последняя встреча // Вопросы литературы. — 1978. — № 10. — С. 166–188). См. замечание Галины Кузнецовой (запись от 27 августа 1928 г.): "Я разгорячилась, забывая, что к И.А. обычные мерки неприменимы и что надо помнить о его беспрестанных противоречиях, нисколько, однако, не исключающих основного тона. Так о Чехове, о котором он говорил как-то восхищенно, как о величайшем оптимисте, в другой раз, не так давно, он говорил совершенно противоположно, порицая его как пессимиста, неправильно изображавшего русскую провинциальную жизнь, и находя непростым и нелюбезным его отношение к людям, восхищавшимся его произведениями" (*Кузнецова–1967.* — С. 69). См. также сатью "О Чехове" (с. 294–300 наст. изд.).

С. 265. *Однажды он...* — данный эпизод Бунин пересказывает в своей "Записной книжке" (с. 181–182 наст. изд.), не называя Сумбатова-Южина.

С. 266. *Соловцов* Николай Николаевич (1857–1902) — русский актер, режиссер, антрепренер. В 1891 г. создал в Киеве с группой актеров "Товарищество драматических артистов", с 1893 г. ставшее антрепризой — театром Соловцова. Высоко ценил и постоянно ставил пьесы А.П.Чехова. Для Соловцова была написана и ему посвящена пьеса "Медведь", по его же заказу создавалась и пьеса "Леший".

...о ком сказал Саади... — Бунин цитирует главу 8 ("Об искусстве обращения с людьми") из книги Саади "Гулистан" ("Цветник роз").

Замечательная есть строка в отрывках из его записной книжки: - Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноко" — фрагмент из "Записной книжки 1" (См.: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — М., 1980. — Т. 17: Сочинения. — С. 86). См. там же: ср. Записная книжка 1, с. 121, запись 8. Бунин об этой "замечательной" строке — см.: Лит. наследство. — Т. 68. — С. 671.

Фрагменты из "Записных книжек" Чехова впервые были опубликованы во втором сборнике "Слово" (1914), изданном к юбилею писателя и целиком посвященном Чехову, затем публиковались во втором издании Полного собрания сочинений, предпринятом А.Ф.Марксом (Т. 23. — СПб., 1916) и повторившем его собрание сочинений 1918 г. (Т. 23). Отдельное издание "Записные книжки А.П.Чехова. Подготовила к печати Е.Н.Коншина. Ред. Л.П.Гроссмана" вышло в Москве в 1927 г. О "Записных книжках" Чехова см. запись в дневнике Бунина от 24 апреля (7 мая) 1918 г.: "Перечитал "Записную книжку" Чехова. Сколько чепухи, нелепых фамилий сколько записано — и вовсе не смешных и не типичных — и какие все сюжеты! Все выкапывал человеческие мерзости! Противная эта склонность у него несомненно была" (*Бунин–1990.* — С. 63). См. также в настоящем издании "Записи" от 10 июля 1932 г. (с. 381–382 наст. изд.), где Бунин приводит те фрагменты из записных книжек, что он сам слышал от писателя.

"Когда порядочный человек..." — неполный фрагмент из "Записной книжки 1" (См.: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — Т. 17. — С. 102). У Чехова далее: "...когда же праздный пройдоха кричит, что надо дело делать, то ему аплодируют" Ср.: Записная книжка 1, с. 124, запись 6.

"На одного умного..." — фрагмент из "Записной книжки 1" (См.: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — Т. 17. — С. 57). То же в "Записной книжке 4", в которую Чехов перенес неиспользованные записи из первой книжки (1891–1904). (Там же. — С. 162)

С. 267. *...ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им...* — см. у Бунина в "Автобиографических заметках": "Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком,— уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик" и т.д. (*Бунин—1990.* — С. 174)

"22 несчастья", "глубокоуважаемый шкап", "человека забыли" — фрагменты реплик из "Вишневого сада". См. у Бунина в "Автобиографических заметках" по поводу персонажей "Вишневого сада" и их высказываний: "...рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услыхать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: "Человека забыли..." Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: "Желтого в середину... Дуплет в угол..." Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: "Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкап). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости) Белый, весь белый сад мой!" и т.д. (*Бунин—1990.* — С. 174) См. также разговор с Буниным, переданный З.Шаховской в ее книге "Отражения" (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. — М., 1991. — С. 206).

"Единственный настоящий драматург — Найденов..." — Найденов (Алексеев) Сергей Александрович (1868—1922) — русский писатель, автор пьес "Дети Ванюшина" (1901), "Богатый человек", "Блудный сын", "Номер тринадцатый" (1903), "Авдотьина жизнь" (1905) и др. Эту фразу Чехова Бунин вновь приводит в своих "Заметках" 19 сентября 1929 г. (с. 306 наст. изд.). Там же см. характеристику Найденова. О том же Бунин говорил в беседе с Л.Львовым ("Перед занавесом "художественников", с. 428 наст. изд.).

...треплют фразу о "небе в алмазах"... — слова из финального монолога Сони из пьесы А.П.Чехова "Дядя Ваня": "...мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах...".

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933) — русский писатель, очеркист, автор воспоминаний "Рассказы о прошлом" (1901), "Близкие тени" (Т. 1. — 1909; Т. 2: "Литературные воспоминания". — 1916), "Воспоминания за 50 лет" (Л., 1929).

С. 268. *Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем ... "А вы поменьше водки пейте"* — Этот же фрагмент воспоминаний Бунин приводит в статье "Самородки" (см. с. 256 наст. изд.).

...так хорошо назвал "пересоленной карикатурой на глупость" Толстой... — см. коммент. на с. 490.

С. 269. *"Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать..."* — эту фразу Чехова Бунин приводит и в "Автобиографических заметках" (*Бунин—1990.* — С. 193).

С. 270. *Я подолгу живал в Ялте...* — в "Хронологической канве жизни и творчества А.П.Чехова в Ялте", составленной М.П.Чеховой (см.: Мария и Михаил Чеховы. Дом-музей А.П.Чехова в Ялте.— М., 1950) неоднократно отме-

чалось, что И.Бунин среди других писателей и артистов почти ежедневно посещал Чехова в апреле 1900 г., когда в Ялте выступал Художественный театр. Во многих письмах 1901 г. к О.Л.Книппер Чехов сообщал ей о посещениях Бунина: "Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день" (20 февраля), "Был Бунин здесь, теперь он уехал, и я — один" (23 февраля), "Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин" (9 сентября). Этот фрагмент с незначительными изменениями вошел в очерк 1929 г. "О Чехове" (с. 294–295).

...с моей женой, венгеркой Книпшиц... — имеется в виду О.Л.Книппер-Чехова (см. коммент. на с. 590).

...во мне находили "чеховское настроение" — см.: А.Измайлов: "О Бунине нельзя говорить, не беспокоя прекрасной тени Чехова. Бунин больше, чем "его школа". Он плоть от плоти и кровь от крови чеховского поколения, чеховского настроения, чеховских симпатий" (Измайлов А.А. Юбилей И.А.Бунина // Биржевые ведомости. — 1912. — 27 окт. (№ 13218). — Веч. вып.) У него же: "Как рассказчик он ...только один из многих, завороженных, зачарованных, увлеченных Чеховым" (Русское слово. — 1909. — 3 нояб.). А.Н.Мешков называет основным в творчестве Бунина "влияние Чехова — в смысле передачи неопределенно пессимистического настроения ..., растерянности и оторванности от родной природы и народа" (Путь. — 1912. — № 7. — С. 165). Бунин протестовал против подобных утверждений критики.

"Вы же дворянин, последний из "ста русских литераторов"... — см. коммент. на с. 590.

...я мещанин "и горжусь этим",— говорил он, смеясь, цитируя самого себя — ср. с репликой Пети Трофимова в 3-м действии пьесы "Вишневый сад": "Да, я облезлый барин, и горжусь этим".

Раз он купил книжечку, составленную из некоторых произведений Андреева и моих, с пышным заголовком... — имеется в виду книга: Восходящие звезды: Сборник рассказов и стихотворений / Собрал из разных источников С.С.Полятус (Одесса, 1902), включавшая произведения Л.Андреева, И.Бунина, Д.Мережковского, К.Фофанова, С.Фруга.

С. 271. *...пробудил того Чехова, который когда-то сказал в молодом задоре Короленке: "Хотите напишу рассказ вот про эту пепельницу?"* — имеется в виду эпизод, описанный В.Г.Короленко в его очерке "Антон Павлович Чехов", впервые опубликованном в шестой книжке "Русского богатства" за 1904 г.

"Этой историей он начал свой рассказ "В овраге" — см. фрагмент из "Записной книжки 1" (См.: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — Т. 17. — С. 56). Прим. ПСС: Бунин свидетельствует, что он рассказал Чехову историю с дьячком, съевшим два фунта икры (Лит. наследство. — Т. 68. — С. 672).

С. 273. *...из комнаты Евгении Яковлевны...* — имеется в виду мать А.П.Чехова Евгения Яковлевна Чехова (урожденная Морозова, 1835–1919).

"Любовь,— писал он в своей записной книжке,— это или остаток чего-то..." — фрагмент из "Записной книжки 1" (См.: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — Т. 17. — С. 77). См. там же: ср. Записная книжка 4, с. 7, запись 9.

С. 274. *"Последнее письмо я получил от него в середине июня 1904 года..."* — см. об этом письме в очерке 1929 г. "О Чехове" (с. 300 наст. изд.). Всего сохранилось 14 писем Чехова к Бунину и 17 писем и телеграмм Бунина к Чехову (см.: Переписка А.П.Чехова: В 2 т. — Т. 2. — С. 365–371).

С. 275. *Сергеенко* Петр Алексеевич (1854–1930) — русский писатель, биограф Л.Н.Толстого. Учился в таганрогской гимназии одновременно с А.П.Чеховым.

<Ответ на анкету "Русские писатели на отдыхе"> // Сегодня. — 1928. — 26 августа (№ 230). — С. 4.

С. 275. *...любопытнейшей в мире газете "Сегодня". А П.М.Пильскому, напечатавшему недавно в ней свою статью "Затуманившийся мир", передайте...* — *Пильский* Петр Моисеевич (1876–1942) — критик, журналист. В эмиграции постоянный сотрудник газеты "Сегодня" (Рига), автор предисловий к целому ряду книг рижских издательств, вышедших в 1920–30-е гг. Перу Пильского принадлежит несколько рецензий на книги Бунина. См. у Г. Кузнецовой запись от 14 января 1929 г.: "В "Сегодня" — хвалебный, на самых высоких нотах фельетон Пильского о Бунине. Пишет, что Бунин вышел сам из себя, ничей не ученик, подлинное чудо. Странно, что когда И.А. читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные" (*Кузнецова–1967.* — С. 95). В 1938 г. опубликовал мемуарный очерк, где вспоминал свою первую встречу с Буниным в 1906 г. (Сегодня. — 1938. — 29 апреля).

В статье "Затуманившийся мир", написанной в связи с изданием очерков М.Горького "О писателях" и мемуаров Ив.Белоусова и содержащей воспоминания о литературных взаимоотношениях начала века, речь идет о Скитальце, Л.Андрееве, Бунине, Шмелеве и др. Эта работа дала название книге П.Пильского "Затуманившийся мир" (Рига: Грамату Драугс, 1929), куда вошла также и статья "О тиграх" (С.147–154) — ответ на данную реплику И.Бунина.

Конец Мопассана // Последние новости. — 1928. — 4 ноября (№ 2783). — С. 2–3.

Название рассказу дала книга Г.Норманди "Конец Мопассана" (Normandy G. La fin de Maupassant. — Paris, 1927). См. записи Г. Кузнецовой от 11 января: "Вечером И.А. читал вслух "Пышку" Мопассана"; 17 мая: "И.А. читает "Конец Мопассана" и все время даже за столом делится с нами прочитанным. Из этих рассказов заключаю, что в каждом из нас есть сумасшедший"; 29 октября: "Утром отправила фельетон "Конец Мопассана". Сидя на террасе ресторана и глядя на закат, говорили о том, что солнце заходило также при Мопассане, при Башкирцевой и, еще раньше, в дали веков, при Александре Македонском. Говорили о "людях смерти", к которым И.А. причисляет себя"; и от 1 ноября 1928 г.: "Вечером в кабинете И.А. с величайшим вкусом читает Мопассана, сидя в своей великолепной красной пижаме от "Олд Ингланд". В.Н. слушает, уже лежа в постели" (*Кузнецова–1967.* — С. 48, 59, 78, 79, 80).

См. запись в дневнике Бунина от 2 августа 1917 г.: "Перечитывал Мопассана. Многое воспринимаю по-новому, сверху вниз. Прочитал рассказов пять — все сущие пустяки, не оставляют никакого впечатления, ловко и даже неприятно щеголевато-литературно сделанные" (*Бунин–1990.* — С. 28); от 3 августа: "Продолжаю Мопассана. Места есть превосходные. Он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины" (Там же); от 20 августа: "Все читаю Мопассана. Почти сплошь — пустяки, наброски, порой пошло" (*Бунин–1990.* — С. 32).

На поучение молодым писателям // Последние новости. — 1928. — 20 декабря (№ 2829). — С. 2. — Является откликом на статью поэта и критика Г.В.Адамовича (1894–1972) "О французской "inquietude" и о русской тревоге" (Последние новости. — 1928. — 13 дек. (№ 2822)). Бунин и Адамович долгие годы были близко знакомы. Адамович восхищался Буниным : "Я никогда не мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться, именно потому, что это

один из последних лучей какого-то чудного русского дня" (Адамович Г. Бунин: Воспоминания // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. — М., 1994. — С. 26). Вместе с тем взгляды писателей на литературу во многом расходились. В статье, вызвавшей раздражение Бунина, Адамович пытался подвести итоги эстетических исканий русского зарубежья. "Мы засиделись в Европе,— дольше, чем думали, дольше, чем надеялись,— писал он.— Во всяком случае, слишком долго, чтобы можно было вернуться домой ни с чем — ничего здесь не приобретя и ничему не научившись. "Пора домой" — это как бы лейтмотив, повторяющийся во всех наших здешних беседах. Пора — хоть и невозможно еще. Не удивительно ли, что в беседы эти редко вплетается другой мотив, казалось бы, столь естественный: что мы с собой в Россию привезем: "учености плоды, вольнолюбивые мечты", как Ленский, или что-нибудь иное?"

Далее Адамович писал о путях развития русской литературы, сравнивая ее с французской, и говорил о необходимости поисков обновления, обогащения, в частности, за счет опыта французской культуры. "В общем, в среднем французы пишут лучше нас, острее, яснее, тоньше, гибче. Писательская техника их несравненно богаче, опыт разнообразнее. Французские романисты уже не прельщаются ни натурализмом, ни "бытовизмом" (советское словечко), которые многим из наших писателей представляются сейчас не только средством, но и целью. В частности, они поняли, что нельзя без конца ставить ставку на внешнюю изобразительность и что здесь уже в конце прошлого столетия был достигнут некоторый "максимум". Ну, еще раз описана будет лунная ночь, так, что совсем "видишь" ее, ну еще раз одним мазком показан будет какой-нибудь Иван Иванович, "как живой",— а дальше что? Кто не согласен топтаться на месте, тот мало-помалу перестает описывать лунные ночи, или, вернее, делает это только попутно, не в этом видя цель. Рядом с внешним миром, как бы конечным для художника по возможностям своим, есть мир внутренний, вполне и безоговорочно бесконечный, вечно меняющийся, вечно новый. Он через видимое постигается, но лишь в том случае, когда это видимое не поглощает внимания, а как бы отходит на второй план... Все это французы поняли или чутьем почувствовали. У нас же еще многие молодые писатели тратят свои силы попусту и бьются в кругу, в котором после Толстого собственно делать нечего. Толстой, конечно, не был "бытовиком", но он дал образцы предельной бытовой и внешней яркости, и нужна была вся сила его духовного пламенения, чтобы сквозь эту густую плотную яркость светился свет. Показать что-либо яснее Толстого нельзя, и всякие надежды на этот счет надо оставить. Надо вообще оставить этот путь. На Толстом не кончается литература (и не в приемах же и не в методах Толстого его величие!) — есть другие выходы. Крайне интересно в этом отношении творчество даровитейшего и убежденнейшего из "толстовцев" Бунина, особенно поздние его вещи, после "Господина из Сан-Франциско",— исключительно четкие, безошибочно выразительные по внешности и все-таки куда-то дальше рвущиеся, как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства..." (Ср. с отзывом французского литератора Рене Гиля в его письме к Бунину в 1921 г.: "...Как все сложно психологически! А вместе с тем,— в этом и есть ваш гений,— все рождается из простоты и из самого точного наблюдения действительности: создается атмосфера, где дышишь чем-то странным и тревожным, исходящим из самого акта жизни! <...> Скажу еще об одной характерной вашей черте,— о вашем даре построения <...> он, кажется,— позвольте мне это сказать,— присущ гению французскому, и когда он с такой ясностью выступает у вас, мне (эгоистически) хочется в ваших произведениях почтить французскую литературу. И, однако, вы ей ничем не обязаны. Это общий дар великих талантов" (Возрождение. — 1925. — 2 нояб. (№ 153)).

Даже высокая оценка его творчества не могла примирить Бунина с декларируемым Адамовичем неприятием "внешней изобразительности", а главным образом, с призывом к молодым писателям свернуть с толстовской тропы и заменить "описательство" "мудростью" "в какой-то чудесной пустоте". Б.К.Зайцев в своей статье "Тринадцать лет", посвященной очередной годовщине смерти Бунина (Русская мысль. — 1966. — 10 нояб.), вспоминал: "Бунин Толстого обожал... В юности, как это ни странно, Иван был даже одно время толстовцем, о чем сам написал. С годами это ушло, преклонение же перед Толстым, толстовской зоркостью, изобразительностью осталось. У самого Ивана внешней изобразительности чуть ли не больше, чем у Толстого. Почти звериный глаз, нюх, осязание" (Цит. по изд.: Зайцев Б.К. Голубая звезда. — М., 1989. — С. 496). Не случайна нарочитая "оговорка" З.Гиппиус в адрес Бунина, которой он долго потом попрекал ее: "...вы ведь считаете, что я не писатель, а описатель... Я, дорогая, вам этого до самой смерти не забуду!" Г.В.Адамович, по чьим воспоминаниям цитируется этот случай, продолжает: "Упоминание о мнимом "описательстве" я слышал впоследствии от Бунина не раз. Неизменно оно сопровождалось сердитыми возражениями насчет того, что он вовсе не "описывает" природу или быт, а воссоздает их". (Адамович Г. // Дальние берега. — С.11—12). Вместе с тем в письме Л.Д.Ржевскому, автору рецензии на книгу "Воспоминания", Бунин рассерженно пишет: "Назвать меня реалистом значит... не знать меня как художника. Реалист Бунин очень и очень приемлет многое в подлинной символической литературе" (Цит. по: Бабореко А.К. Новое о Бунине // Проблемы реализма. — Вологда, 1980. — Вып. 7. — С. 167).В дневнике В.Н.Муромцевой-Буниной запись от 13 (26) февраля 1919 г.: "Ян недавно перечитал "Семейное счастье" и опять в восторге. Он говорит, что мы даже и представить себе не можем, какой переворот в литературе сделал Лев Николаевич. Ян перечитывает старые журналы, а потому ему очень ярко бросается в глаза разница между Толстым и его современниками. — По дороге неслись телеги, и дрожали ноги,— прочел он; ведь это модерн для того времени, а между тем как это хорошо! Ясно вижу картину" (*"Устами Буниных"*. — Т. 1. — С.208-209). В письме к Бицилли 5 апреля 1936 Бунин прямо говорит о своей "модерности" (См.: Русская литература. — 1961. — № 4. — С.153). Однако современники Бунина сохранили в памяти иное его отношение к модернизму. Например, М.Вишняк говорит в своей книге "Современные записки. Воспоминания редактора" о том, что Бунин "до самой кончины сохранил свое страстное, нетерпимое и несправедливое отрицание художников и мастеров слова не-бунинского толка — декадентов и символистов: Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого, Сологуба, не говоря уже о Есенине, Клюеве, Маяковском" (Блумингтон, США, 1957. — С. 129). О том же писала Н.Берберова: "Всю жизнь Блок был для него раной, и весь символизм, мимо которого он прошел, чем-то противным, идиотским, ничтожным, к которому он был либо глух, либо яростно враждебен. "Больших дураков не было со времени Гостомысла",— говорил он. " (Берберова Н. Курсив мой. — Нью-Йорк, 1983. — С. 293.)

Бицилли признавал, что "Бунин создал свой метод, который оказался прямой противоположностью методу символистов. Последние шли от слова к вещам, Бунин шел от вещи к словам" (Бицилли П. Бунин и его место в русской литературе // Россия и славянство. — 1931. — 27 июня).

Не без иронии цитируя в своей статье Блока и Белого, Бунин доказывает, что и их "независимые" строки не лишены изобразительности.

За два года до статьи "О французской "inquietude" и о русской тревоге" в "Звене" была опубликована статья Адамовича о творчестве Андрея Белого и А.Неверова (1926. — 6 июня (№175). — С. 1—2), где критик высказывает противоположную точку зрения на существо поднимаемой проблемы: "Совсем не

страшно, если русская литература опять глубоко погрузится в этнографию, обывательщину, протоколизм, если она опять станет бытовой и натуралистической. Поэзия в быту не задыхается и не умирает. Настоящий художник может создать какую угодно бытовую панораму, в каких угодно образах отразить эпоху, послужить разным временным целям,— как было и с Гоголем,— но сам собой, не заботясь о том, он во всем этом выразит лишь свою единую Идею. А другие, помельче, тоже не проиграют, отдавшись быту. Во всех смыслах полезнее и приятнее добросовестные кропотливые "сцены с натуры", чем любые литературные упражнения "вне времени и пространства". И , спустя годы, в своих воспоминаниях о Бунине Адамович расскажет: "Впоследствии мы мало-помалу договорились, что Толстой как бы вне времени, и вообще договорились до многого, многого, ошибочно и главным образом по моей вине отдалявшего меня от Бунина в первые годы знакомства" (Адамович Г. // Дальние берега. — С.12).

Через неделю после бунинского ответа Адамович печатает в "Последних новостях" (1928. — 27 дек.(№ 2836)) продолжение своей статьи, в которой сравнивает французскую и русскую религиозную мораль.

С. 284. *"Князь весь трясся, он был весь как в лихорадке... Настасья Филипповна вся дрожала, она вся была как в горячке..."* — Бунин здесь имитирует стиль Достоевского, упоминая главных героев романа "Идиот". Близкие к процитированным места можно найти у Достоевского в сценах из первой части романа, в главах X (" — Полноте, довольно! — проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения"), XIII ("...Настасья Филипповна, в самом деле ставшая бледнее и как будто по временам сдерживавшая в себе сильную дрожь"; "...она была как в истерике, суетилась, смеялась судорожно, припадочно..."), XIV ("Она сидела молча, в лихорадочном ожидании..."), в третьей части в главе III ("Что князь был как в лихорадке, это, разумеется, было справедливо".) и т.п. Ср. с воспоминаниями Г.Адамовича: "Не раз он говорил, что Достоевский был "прескверным писателем", сердился, когда ему возражали, махал рукой, отворачивался, давая понять, что спорить не к чему. В своем деле я, мол, знаю толк лучше всех вас.

— Да, воскликнула она с мукой.— Нет, возразил он с содроганием... Вот и весь ваш Достоевский!

— Иван Алексеевич, побойтесь Бога, этого у Достоевского нигде нет!

— Как нет? Я еще вчера читал его... Ну нет, так могло бы быть! Все выдумано, и очень плохо выдумано" (Адамович Г. // Дальние берега. — С.15).

в какой-то "голубой далекой спаленке"... — начало стихотворения А.А.Блока "В голубой далекой спаленке..." (4 октября 1905 г.).

кто-то "хохотал хриплым басом..." — из стихотворения А.Белого "На горах" (1903).

"Бродячая собака" — художественно-артистическое кабаре в Петербурге, находившееся на углу Итальянской улицы и Михайловской площади. Просуществовало с 1 янв. 1912 по март 1915 года. Бунин изредка посещал его, но держался в этой богемной среде демонстративно отчужденно.

С. 285. *...стонут, подобно чеховской няньке: "Пропали ваши головушки!"* — Имеется в виду нянька Карповна из повести А.П.Чехова «Моя жизнь» (1896).

Осоргин Михаил Андреевич (настоящая фамилия Ильин, 1878–1942) — прозаик, эссеист, публицист. В 1922 г. выслан из Советской России. Активно печатался в "Днях", "Последних новостях", "Современных записках".

С. 286. *"домоседная мудрость не далеко ушла от глупости"* — имеет некоторое сходство с репликой Луцио, персонажа комедии В.Шекспира "Мера за меру": "...я предпочитаю быть глупцом на свободе, чем умным в тюрьме" (Пер. Т.Щепкиной-Куперник).

"Вена" — ресторан в Петербурге, где любила собираться литературная богема.

"Большой Московский" — известный ресторан при одноименной гостинице в Москве. Находился напротив Иверской часовни на Воскресенской площади (ныне пл. Революции). У Чехова здесь был свой любимый номер. Частыми посетителями были Короленко, Горький. Здесь Брюсов познакомился в 1900 году с Горьким. См. о нем также в статье "Его памяти" (с. 436 наст. изд.).

"Русское богатство" — ежемесячный литературный и научный журнал подчеркнуто народнической ориентации, издававшийся в Петербурге в 1880–1918 гг. Бунин говорил, что "ни в одном журнале нет такой серой и скучной беллетристики, как в "Русском богатстве" (см. сб.: В большой семье: Проза, стихи, литературная критика.—Смоленск, 1960.—С. 240).

"Скорпион" — издательство в Москве (1900–1916 гг.). Выпускало преимущественно символистскую литературу: журнал "Весы" (1904–1909), альманах "Северные цветы" (1901–1904 и 1911), книги К.Д.Бальмонта, А.Белого, Ф.Сологуба и др.

"Аполлон" — художественно-литературный журнал, издававшийся в Петербурге в 1909–1917 гг. Редактором-издателем его был художественный критик С.К.Маковский. В "Аполлоне" печатались преимущественно произведения писателей постсимволистской ориентации.

Леонид Зуров // Россия и славянство. — 1929. — 12 января (№ 7). — С. 3.

С. 286. *Зуров* Леонид Федорович (1902–1971) — прозаик. Родился в г.Острове Псковской губернии, учился в технической гимназии. Служил добровольцем в армии Юденича, командовал ротой, дважды был ранен. Перенес сыпной тиф, уволился из армии и переехал в Ригу, где продолжил образование. В 1922 г. участвовал в студенческом съезде (Прага). Учился в чешской школе технологии. Изучал античное искусство под руководством Н.П.Кондакова. Вернувшись по состоянию здоровья в Ригу, был рабочим, художником. Первые произведения Зурова — сб. "Кадет" (Рига, 1928) и повесть "Отчина" (Рига, 1928) — были замечены И.А.Буниным, который в своем письме от 7 декабря 1928 года дал высокую оценку молодому автору: "... очень, очень много хорошего, а местами прямо прекрасно... У Вас же основа настоящая. Кое-где портит дело излишество подробностей, излишняя живописность, не везде чист и прост язык... Да все это, Бог даст , пропадет, если только Вы будете (и можете) работать". (Письма И.А.Бунина к Л.Ф.Зурову // Новый журнал. — 1971. — № 105. — С.225.) С ноября 1929 г. Зуров по приглашению Бунина перебирается из Риги во Францию. Поначалу работает в Париже ночным сторожем, затем переезжает в Грасс, становится близким человеком в семье Буниных.

З.Шаховская вспоминала: "Леню Зурова все любили. Да и трудно было его не любить. На Монпарнасе Леонид Зуров предстал как добрый русский молодец, высокий, румяный, сероглазый, русый, как бы прямо вступивший из древнего Пскова на парижский асфальт. Говорил он спокойно и благожелательно, в литературных склоках и интригах не участвовал, <...> шел своей дорогой". (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. — М., 1991. — С.274). После долгих лет проживания под одной крышей отношения между Буниным и Зуровым обострились — отчасти под влиянием сложных бытовых условий, отчасти по причине душевной болезни последнего. См. об этом: Голубева Л. И.А.Бунин и Л.Ф.Зуров. История отношений // Вопросы литературы. — 1998. — № 4. — С. 372–376.

В Париже вышли книги Зурова "Древний путь" (1934), "Поле" (1938), "Марьянка" (1958). В предвоенные годы Зуров — председатель Союза молодых писателей в Париже. По эскизу Зурова А.Бенуа выполнил крест над могилой Буниных на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Зуров унаследовал бунинские архивы. Часть их была впоследствии опубликована им в "Новом журнале".

Подробнее о Зурове см.: Brom L. Leonid Zurov. — Fresno (California), 1973; *Кузнецова—1967*; Бахрах А. Бунин в халате. — Bayville: Товарищество зарубежных писателей, 1979.

В сб. *"Кадет"* (Рига, 1928), кроме повести, давшей ему заглавие, были опубликованы следующие рассказы Зурова: "Город", "Плевок", "Студент Вова", "Смерть князя Даниила", "О городе и крепостице Санкт-питербург", "Последний поход", "Тот уголок земли".

"Перезвоны" — еженедельный литературно-художественный журнал, выходивший в Риге в 1925—1929 г. Литературно-художественным отделом руководил Б.К.Зайцев. В редакционном анонсе первого номера "Перезвоны" назывались "органом русского художественного слова и русского искусства и старины". Содержание выстраивалось по заявленному редакцией принципу — "Перезвоны русской культуры должны звучать в эмиграции". В журнале печатались Бунин, Алданов, Бальмонт, Цветаева, Ремизов, Тэффи, Шмелев, А.Черный, И.Лукаш и др.

"Отчина" — повесть Зурова, написанная на материале древних народных сказаний и былин, апокрифов и преданий. В ней рассказывается о трагической истории Псковского края, о нравственной и религиозной чистоте русского народа, о церквях и монастырях. Последние Зуров знал не понаслышке. Позже он сам принимал участие в реставрации Никольской церкви в Псково-Печерском монастыре. Просмотрев рукописную библиотеку, хранящуюся в ризнице, Зуров сделал зарисовки старинных букв, концовок, водяных знаков и кожаных тиснений, которые затем использовал для оформления своих книг.

Эртель // Последние новости. — 1929. — 14 февраля. (№ 2885). — С.2—3.

Бунин познакомился с А.И.Эртелем в Москве в октябре 1895 г., не раз встречался с ним. (См. об этом: Бабореко А.К. Бунин и Эртель // Русская литература. — 1961. — № 4. — С. 150—151).

С. 286. *Он умер двадцать лет тому назад... — Эртель* Александр Иванович скончался 17 февраля 1908 от паралича сердца в Москве. Похоронен на старом Новодевичьем кладбище.

С. 287. *Через год после того вышло в свет семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем* — собрание сочинений А. И.Эртеля в семи томах вышло в "Московском книгоиздательстве" в 1909 г., предваренное критико-биографической статьей Ф.Д.Батюшкова. Том писем вышел в том же году под редакцией и с предисловием М.О.Гершензона. Бунин цитирует письма Эртеля близко к тексту, но не всегда с абсолютной точностью. Автобиография Эртеля дается Буниным в пересказе. Также в вольном пересказе дана и вступительная статья Гершензона к тому писем А.И.Эртеля.

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк литературы, философ, писатель.

Толстой писал о "Гарденинных"...— предисловие Л.Н.Толстого к роману "Гарденины" и сам роман опубликованы в 5 томе Собр. соч. А.И.Эртеля.

С. 288. *...когда просмотришь автобиографию Эртеля.* — Автобиография Эртеля опубликована в томе "Письма А.И.Эртеля" с пометой "Письмо к В.Г.Черткову , 13 июля 1888 г., хут. на Грязнуше".

..."Историю Наполеона"... — Имеется в виду книга Поля Матье Лорана "История Наполеона" (СПб., 1842).

..."Путешествие Пифагора"... — Пьер Сильвен Марешаль "Путешествия Пифагора, знаменитого самоского философа, или Картина древних славнейших народов, изображающая их происхождение..." (М., 1804—1810).

С. 289. *..."Стеньку Разина" Костомарова ...* — "Бунт Стеньки Разина". Соч. Николая Костомарова. (СПб., 1859).

...старинный конский лечебник... — Михайлов Иван. "Конской лечебник, или Совершенное наставление как и чем вылечивать часто бывающия конские болезни, собранные из разных авторов". (М., 1800).

...комедию Чаадаева "Дон Педро Прокодуранте"... — Чаадаев Яков Петрович. " Дон Педро Прокодуранте, или Наказанной бездельник ". Комедия. Сочинение Калдерона де ла Барка. С гишпанского на российский язык переведено в Нижнем Новегороде. (М., 1794)

...несколько книг "Четьи-Минеи" — "Четьи-Минеи" — древнерусские сборники проповеднической литературы.

...сочинениями Дарвина "О происхождении человека" — Чарльз Дарвин "Происхождение человека и подбор по отношению к полу" (М., 1871 г., перевод Сеченова).

"Русское слово" — ежемесячный литературно-политический журнал,выходивший в Петербурге в 1859–1866 гг. При активном участии Д.И.Писарева с 1861 г. позиция журнала приобретает революционно-демократический характер.

Засодимский Павел Владимирович (1843–1912) — писатель-народник. Из автобиографии Эртеля: "В 1876 году ему <Засодимскому> случилось быть в Усмани, где жена его была в то время акушеркой. Там у Федотовых мы познакомились... Мы быстро сошлись" (Письма А.И.Эртеля. — С.18). Из воспоминаний П.В.Засодимского: "С первого нашего свидания,— можно сказать,— с первых же слов,— он внушил мне доверие к себе, и я близко познакомился с ним" (Засодимский П.В. Из воспоминаний. — М., 1908. — С.438).

...пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. — Эртель был арестован в начале 1884 г. и посажен в Петропавловскую крепость, где пробыл 4 месяца. Освобожден по состоянию здоровья, но с запрещением жить в Петербурге и Москве. Находился под гласным надзором в Твери до 1888 г.

С. 290. *"Даже и в пору увлечения Засодимским..."* — не совсем точная цитата из автобиографии Эртеля (Письма А.И.Эртеля. — С.18). Последнее предложение абзаца — произвольный "сплав" Буниным двух мест из автобиографии Эртеля: "Это шло рядом с сознательной любовью к народу, с сетованиями о его нужде, печалях, забитости, оброшенности" (Там же. — С. 19), и далее: "Итак, я жил как бы на две половины. Одною половиной — в мире теорий, в мире увлечений туманными и смутными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства, братства..." (Там же. — С. 20).

С. 291. *"Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов..."* — см. письмо Эртеля З.С.Соколовой 9 апреля 1893 г.: "Существует два сорта таких порядков и событий. Одни из них неустранимы и очевидно зависят от воли того великого неизвестного, которого мы иначе не умеем назвать, как Бог,— к таким порядкам и событиям должно относиться с резиньяцией, потому что бунт, протест, борьба ни к чему здесь не ведут и разве что ослабляют и делают глупым самого бунтующего. Другие ужасные вещи очень устранимы и, несмотря ни на что, устраняются с каждым веком, с каждым годом. Это те, которые зависят от воли самих людей. И вот тут-то необходима упорная, ни на минуту не затихающая борьба" (Письма А.И.Эртеля. — С.320–321).

"Безусловное понимание добра и зла..." — из письма Эртеля А.В.Погожевой 26 декабря 1892 г. (Там же. — С.296).

..."умеренность и аккуратность" — слова Молчалина из комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума".

..."Все не удается восстановить в своей жизни равновесия..." "Еще раз узнал..." — из письма П.А.Бакунину 24 декабря 1892 г.: "До сих пор мне не удается восстановить равновесия, при котором возможно взлетать "во области заочны..." Тревожная практическая деятельность; обыденная и, тем не менее,

хватающая за сердце действительность... Я узнал, что могу до самозабвения, до полнейшего упадка сил увлекаться "общественной деятельностью". (Там же. — С. 291).

..."нервическим раздражением"... или "лирическим отношением к вещам". — выражения из цитированного выше письма к А.В.Погожевой (Письма А.И.Эртеля. — С. 294, 297)

С. 292. *"...проникнуться учением Христа, "Который костью стал в горле господ Михайловских"..."* — в письме к А.В.Погожевой: "Христос стал костью в горле господам Михайловским... А между тем без Христа часовой механизм всегда останется без главной пружины. Нашей молодежи нужны не лирические призывы, а основательное проникновение учением Христа..." (Там же. — С. 298). *Михайловский* Николай Константинович (1842–1904) — русский социолог и публицист, литературный критик, редактор журналов "Отечественные записки" и "Русское богатство", один из главных представителей либерального народничества.

"Всякие "Забытые слова"..." — свободная цитата из письма к А.В.Погожевой (Там же. — С. 297).

"Несчастье нашего поколения..." — у Эртеля: "Несчастье нашего поколения семидесятых годов заключалось в том, что оно воспитывало в себе чувство протеста нервами, да односторонним изучением односторонних наук,— ведь интерес к религии, к философии, к искусству совершенно отсутствовал". (Там же. — С.299).

"Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен "дух"..." — из письма Эртеля П.А.Бакунину 24 декабря 1892 г. (Письма А.И.Эртеля. — С.292).

"Ты скажешь: а все же умели умирать за идею!.." ... *"... закона любви, установленного Христом..."* — свободные цитаты из письма А.В.Погожевой 26 декабря 1892 г. (Письма А.И.Эртеля. — С.295–301).

"Феденька" — по-видимому, общий знакомый Эртеля и А.В.Погожевой — некий "Ф.О." (неустановленное лицо), о котором идет речь в начале цитируемого письма. *Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907) — русский государственный деятель, с 1880 по 1905 — обер-прокурор Синода.

"Мне думается, писал он в своей записной книжке... ко всему живущему..." — выдержки из предисловия Гершензона, приведенные Буниным с незначительными неточностями (Письма А.И.Эртеля. — С.XII–XIV).

С. 293. *"...народнические грезы суть грезы... но не социализм"* — свободные выдержки из письма из письма А.В.Погожевой 21 августа 1898 г.

"...к революции в смысле насилия ... а что же прекраснее борьбы! " — свободные извлечения из письма Эртеля дочери 7 января 1907 г. (Письма А.И.Эртеля. — С. 394).

С. 294. *"Нет, никогда еще я так не понимал некрасовского выражения... на манер Ивана Грозного"* — из письма Эртеля Н.Я.Петрову 29 июля 1898 г. (Письма А.И.Эртеля. — С. 363, 368, 369).

..."человек без религии существо жалкое и несчастное..." — из письма Эртеля Б.Д.Вострякову 4 ноября 1902 г. (Письма А.И.Эртеля. — С.391).

"Золотые купола и благовест..." — см. в статье Гершензона: "Он понимал, что золотые купола и благовест колоколов — "преходящие формы той великой сущности, которая живет в душе каждого человека" (Письма А.И.Эртеля. — С. XYII).

"Страшные тайны Бога... Верую, что смысл жизненных страданий..." — из письма Эртеля А.Г.Пашковой 18 января 1908 г.(Письма А.И.Эртеля. — С. 397).

О Чехове // Последние новости. — 1929. — 14 июля (№ 3035). — С. 2. — Написано к 25 годовщине со дня смерти А.П.Чехова.

См. с. 265–275 наст. изд. и коммент. к ним. В данной статье Бунин вновь — со стилистической правкой, дополнениями и переделками — повторяет свои воспоминания 1914 года.

С. 294. *"...в его аутском доме..."* — в связи с ухудшением состояния здоровья и вынужденным переселением на юг по предписанию врачей Чехов покупает в Аутке (районе Ялты) земельный участок (26 окт. 1898). Дом на участке построен в 1899 по проекту архитектора Л.Н.Шаповалова.

С. 295. *"...с восторженной Машей, моей законной сестрой"* — сестра Чехова Мария Павловна (1863–1957), посвятившая свою жизнь брату, впоследствии, до самой смерти, хранительница ялтинского Дома-музея А.П.Чехова.

— ... *В вас народная кровь.— А в вас дворянская...* — Чехов — сын таганрогского купца III гильдии, Бунин — выходец из старинного дворянского рода. Писатели не раз шутливо касались вопроса собственного происхождения. Чехов величал Бунина "господином маркизом Букишоном"(Бунин И. Собр. соч. — Т.9. — С. 199), "французским депутатом и маркизом" (Т.9. — С.200), сам же подписывался "аутским мещанином" (т.9. — С.201) и "домовладельцем" (т.9. — С.200).

Прочтите-ка мою повесть "Три года" — герои повести Чехова "Три года" (1894) — вырождающееся купеческое семейство Лаптевых.

Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) — знаменитый русский ученый-византолог, историк искусства, академик, с 1920 г. в эмиграции.

"...не пишите, что я был симпатичный талант..." — Определение "симпатичный" было довольно расхожим у интеллигенции того времени. Ср. со словами Бунина из его рецензий: "Нельзя не обратить внимание на симпатичное отношение "Русского богатства" к молодым писателям...", "В этой же книжке "Русского богатства" напечатана небольшая повесть молодой и симпатичной писательницы Л.Авиловой...", "Г.Телешов — один из наиболее талантливых и симпатичных беллетристов..." (Лит.наследство. — Т. 84, кн. 1. — С.332, 334, 335).

Он принимался хохотать... — Станиславский вспоминал ялтинскую весну 1900 г.: "В одном углу литературный спор <...>, в третьей кучке И.А.Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит Антон Павлович и хохочет, помирает от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И.А.Бунин, когда он был в хорошем настроении..." (Чехов в воспоминаниях современников. — М., 1952. — С.321–322). По воспоминаниям А.М.Федорова, Бунин так умел рассмешить Чехова, что даже собственные юмористические рассказы в исполнении Бунина вызывали у него неудержимый смех. (О Чехове: Сборник воспоминаний. — М., 1910. — С. 285).

С. 296. *В детстве в нашей таганрогской лавочке...* — детство Чехова прошло в Таганроге. Бунин передавал воспоминания Чехова о его детских годах, семье, во главе которой стоял "истовый и строгий" отец, требовавший с самого нежного возраста, чтобы они сидели по очереди в качестве "хозяйского ока" в лавке. И чаще всего страдал Антоша — наблюдательный отец сразу отметил его исполнительность и чаще других засаживал его за прилавок, когда нужно было куда-нибудь ему отлучиться" (Бунин И.А. О Чехове. — Нью-Йорк, 1955. — С. 37). Дед Чехова был крепостным. Отец выкупился из крепостной неволи, стал торговать. К третьей гильдии принадлежали владельцы мелочных лавок.

Ах, какой там проклятый холод был!... — ср. рассказ Чехова "Мороз" (1887), в котором легко найти автобиографические черты и сходство одного из персонажей с отцом писателя: "Застынешь весь, обалдеешь и сам станешь жесточее мороза: одного за ухо дернешь, другого по затылку хватишь, а домой ввечеру придешь... и начинаешь свое семейство куском хлеба попрекать, шуметь, и так

разойдешься, что пяти городовых мало. От морозу и зол становишься". Мальчики претерпевали то же, что и отец, мерзли, помогая ему в лавке.

...Короленко до слез восхищался однажды стихами в "Русском богатстве" какого-то Вербова или Веткова.... — имеется в виду стихотворение Н.Ведкова "В ожидании утра" (Русское богатство. — 1899. — № 5).

" — А я вот тоже хочу жениться,— говорил он,— только непременно на немке — Ольга Леонардовна Книппер (1870—1959), на которой женился А.П.Чехов, имела по происхождению немецкие корни. Они познакомились осенью 1898 г., обвенчались в мае 1901 г. Из письма О.Л.Книппер Чехову 29 августа 1899 г.: "...звон колоколов <...> так умиротворяет меня (фу, скажете, сентиментальная немка, правда?)..." (Переписка А.П.Чехова: В 2 т. — М., 1984. — Т. 2. — С.223). Чехов в письме Книппер от 3 сентября 1901 г.: "Немочка, пришли пьесу Немировича." (Там же. — С. 258). В продолжение "матримониальной" темы Чехов писал Бунину 25 марта 1901 г.: "Приезжайте, сделайте милость! Жениться я раздумал, не желаю, но все же, если Вам покажется скучно, то я, так и быть уж, пожалуй, женюсь..." И вскоре после этого: "Дорогой Иван Алексеевич, завтра я уезжаю в Ялту, куда и прошу написать мне поздравление с законным браком..." (30 июня 1901 г.).— Цит. по кн.: Бунин И. О Чехове. — С. 54. В той же книге комментируемый здесь шутливый эпизод рассказан несколько иначе: "И неожиданно глухой тихий голос: — Знаете, я женюсь...

И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке..." (с. 71).

"...в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?" — Бунин имеет в виду Николая Александровича Добролюбова (1836—1861), известного русского революционного демократа, критика и поэта, постоянного сотрудника журнала «Современник».

С. 297. *"...что обо мне писали!"* — о "случайном выборе тем" у Чехова и его равнодушии к изображаемому писал Н.К.Михайловский в рецензии на рассказ "Холодная кровь" (Русские ведомости. — 1890. — 18 апр. (№ 104)). Увидел в том же рассказе поверхностное отношение писателя к жизни критик Р.А.Дистерло (см. его статью "О безвластии молодых писателей" // Неделя. — 1888. — № 1. — С. 33).

"И кровь-то у меня холодная..." — из рецензии Н.К.Михайловского на сборник рассказов Чехова "Хмурые люди": "Чехову все едино — что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца... Нет. Не «хмурых людей" надо бы поставить в заглавие всего этого сборника, а вот разве "Холодная кровь". Чехов с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает" (Русские ведомости. — 1890. — 18 апр. (№ 104)). Бунин вспоминал: "Холодным я его не видел. Холоден он бывал, по его словам, только за работой... Но, конечно, это была совсем особая холодность. Ибо много ли среди русских писателей найдется таких, у которых душевная чуткость и сила восприимчивости были бы сложнее, более чеховских?" (Бунин И. О Чехове. — С. 58)

"Холодная кровь" — рассказ из чеховского сборника "Хмурые люди", написан в 1887 г.

"...и изображать-то мне решительно все равно, что именно"... — Н.К.Михайловский укорял Чехова, что он одинаково "направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу, на муху и слона" (Русские ведомости. — 1890. — 18 апр. (№ 104)).

"Хмурые люди" — название сборника рассказов А.П.Чехова (Спб., 1890)

"Припадок" — рассказ Чехова 1889 г., позже вошел в сб. "Хмурые люди".

...последний из "ста русских литераторов" — помните, в старину такая книга была... — "Сто русских литераторов". — Спб.: А.Смирдин, 1839—1845. — Т. 1—3.

...только один раз в помещичьей усадьбе под Харьковом, у некоего Л. — три лета подряд (1888—1890 гг.) Чеховы проводили в усадьбе Лука возле г.Сумы Харьковской губ. Владела усадьбой помещица Линтварева А.В. (1833—1909). Бунин, очевидно, имеет в виду одного из двух ее сыновей. Подробно об обитателях этой усадьбы Чехов рассказывает в письме к А.С.Суворину от 30 мая 1888 (См.: Переписка А.П.Чехова: В 2 т. — Т.1. — С. 187—189).

С. 298. *Это незнание сказывалось и в "Дяде Ване"...* — Современники писали о сходстве персонажей пьесы с реальными лицами, в частности знакомыми Чехова по усадьбе Линтваревых (см.: Епифанский А. А.П.Чехов в Харьковской губернии: (Странички из воспоминаний о Чехове) // Солнце России. — 1911. — № 35 (37) (июль). — С. 3). Станиславский вспоминал, как разгорячился Чехов, узнав, что в одном провинциальном театре дядю Ваню играли опустившимся помещиком, в смазных сапогах и в мужицкой рубахе: "- Нельзя же так, послушайте. У меня же написано: он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, помещики лучше нас с вами одеваются. (А.П.Чехов в Художественном театре: Воспоминания // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1958. — Т. 5. — С. 338).

Героиня... написана только для того, чтобы была роль Книппер... — в пьесе "Вишневый сад" О.Л.Книппер играла помещицу Раневскую. По воспоминаниям Георгия Адамовича о последних днях жизни Бунина, он "постоянно говорил о Чехове, которым в то время усиленно занимался для будущей, оказавшейся уже посмертной книги: с восхищением о чеховских повестях и рассказах, с раздражением и даже недоумением о пьесах, лиризм которых находил нестерпимо слащавым. "И ты улыбнешься, мама!" ,— издевательски повторял он, подражая манерности плохих актрис. "Мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах..." По его убеждению, в том, что Чехов, наделенный от природы острейшим слухом к фальши, ввел этот дешевый лиризм в свои пьесы, повинна его жена, Книппер, и сделано это было будто бы в уступку ей и ее театральному окружению" (Адамович Г. Бунин: Воспоминания // Дальние берега. — С. 24)

С. 299. *Это было начало "Бабьего царства"* — "Бабье царство" впервые появилось в "Русской мысли" в 1894 году (№ 1. — С. 154—189), а закончено до 25 ноября 1893 г. Если описанный Буниным эпизод произошел действительно в декабре 1895 г., то на столе Чехова была, скорее всего, рукопись рассказа "Дом с мезонином", работа над которым была закончена в феврале 1896 г.

Кто этот поэт, догадываюсь... — в книге Бунина "О Чехове" также рассказан этот эпизод. Ответная реплика Чехова приведена более полно: "Кто этот поэт, догадываюсь, Бальмонт, конечно" (с. 94).

"Счет господину Букишону, французскому депутату и маркизу..." — "Букишоном он стал называть меня потому, что в какой-то газете он увидал портрет какого-то маркиза, который был на меня похож" (Бунин И. О Чехове. — С. 76).

В декабре 1903 г. мы расстались навсегда...— Бунин вспоминает об этих декабрьских московских встречах: "Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой... И эти бдения мне особенно дороги". (Бунин И. Собр. соч. — Т. 9. — С. 213).

...мы с Найденовым уехали в Ниццу — с 24 декабря 1903 и до начала 1904 г. Бунин и Найденов вместе путешествовали по Франции и Италии. До Варшавы с ними ехала журналистка и писательница Макс-Ли (прототип героини рассказа "Генрих"). Они посетили Флоренцию, Венецию. В Болье встречались с историком М.М.Ковалевским, в Монте-Карло — с П.Д.Боборыкиным и доктором В.Г.Вальтером. В Москву вернулись в начале февраля 1904 г. Бунин вспоминал об этом периоде своей жизни: "Как все было сказочно хорошо! Подумайте только — зимняя Москва, молодость, льстящая известность, рестораны, веселые

кутежи, "литературно-художественный кружок", писательские "Среды", беззаботность и легкость жизни... Однажды в середине зимы <...> я взял плацкарту в спальном вагоне теплого и уютного экспресса Москва-Вена и ни с того, ни с сего ускакал в Ниццу. В Вене я столкнулся со старым другом, драматургом Найденовым, который тоже не знал толком, что его принесло в австрийскую столицу <...>. Остановились мы в Ницце в отличной гостинице. Солнце, море, нарядная толпа... Но мне не сиделось на одном месте. Дня через два мы укатили в Венецию <...>. Все было доступно — только и жди, чего твоя левая нога захочет!" (Бахрах А. Бунин в халате. — Bayville: Товарищество зарубежных писателей, 1979. — С. 80, 101)

В январе 1904 г. он ... писал мне... — 8 января 1904 г. (Дата установлена по изд.: Бунин И. О Чехове. — С. 61).

...пьеса моя еще не шла и когда пойдет — неизвестно... — имеется в виду пьеса Чехова "Вишневый сад". Премьера ее состоялась в Московском Художественном театре 17 января 1904 г. Вернувшись в Москву, Бунин смотрел пьесу вместе с М.П.Чеховой 27 февраля 1904 г., но постановка ему не понравилась.

С. 300. *...огорчается только одним — грустью за Японию...* — речь идет о русско-японской войне 1904–1905 гг., в которой Россия потерпела поражение.

...я жил тогда в деревне... — Бунин прожил лето 1904 г. в деревне — сначала в Огневке Орловской губернии (имении брата Евгения), откуда на 18 дней выезжал на Кавказ, а затем у Пушешниковых в Глотове. Известие о кончине Чехова застигло его в Огневке.

...и вдруг точно ледяная бритва... — в газетах сообщалось, что 2 (15) июля 1904 г. А.П.Чехов скончался в Баденвейлере. "Смерть Чехова потрясла меня необыкновенно..." — писал Бунин А.М.Федорову (Лит. наследство. — Т. 68. — С. 401).

Заметки // Последние новости. — 1929. — 19 сентября (№ 3102). — С. 2–3.

С. 300. *Рассказ моего домашнего воспитателя...* — когда Бунину было 7 лет, в семье появился гувернер Николай Осипович (в воспоминаниях брата Бунина Евгения приводятся другие инициалы имени гувернера: "Н.И." — "Николай Иосифович"? — Литературное Наследство. — Том 84, кн. 2. — С. 230) Ромашков — сын богатого помещика, окончивший Лазаревский институт, знавший несколько языков, в том числе восточные, талантливый в живописи, в музыке и в литературе, который сыграл огромную роль в становлении характера и способностей будущего писателя.

С. 301. *"Наброски углем и карандашом"* — имеется в виду книга "Наброски карандашом Александры Шабельской" (Спб., 1884). См. также коммент. на с. 566–567.

Мне было семнадцать лет, я впервые приехал в Харьков — Бунин приехал в Харьков к брату Юлию в поисках работы при редакциях местных газет в начале 1889 г. Таким образом, ему было не 17, а 18 лет.

Нефедов Филипп Диомидович (1838–1902) — писатель, публицист, фольклорист. Редактор журнала "Книжник" (1865–1866), газеты "Русский курьер" (1879–1881). Автор социально-этнографических очерков, повестей и рассказов из жизни крестьян и рабочих.

Брат смеялся... — старший брат Бунина — Юлий Алексеевич Бунин (1857–1921) — журналист, литературно-общественный деятель. Был народовольцем, участвовал в революционном студенческом кружке в Москве. В 1884 г. был арестован. Год пробыл в тюрьме, затем три года под надзором полиции в Озерках. В августе 1888 г. уехал в Харьков, куда позже пригласил младшего брата. Братья Бунины были дружны и душевно близки до самой смерти Юлия.

...твои стихи в "Неделе" — стихи Бунина были опубликованы в 1888 г. в "Книжках Недели", одном из самых популярных журналов того времени.

С. 302. *Помню, например, как оробела однажды одна молодая писательница...* — эта история произошла с Л.А.Авиловой при первом ее посещении журнала (см. об этом в кн. Бунин И. О Чехове. — С. 138). См. также коммент. на с. 567.

С. 303. *Жемчужников* Алексей Михайлович (1821—1908) — поэт, почетный академик Петербургской Академии наук. Двоюродный брат А.К.Толстого. Вместе с ним и своими братьями Владимиром (1830—1884) и Александром (1826—1896) являлся создателем "Сочинений" Козьмы Пруткова. Впервые писатели познакомились заочно, когда Бунин прислал свой первый рассказ ("Танька") в журнал "Русское богатство". Тогда началась их переписка. Впоследствии Жемчужников помогал Бунину печататься в "Вестнике Европы". Бунин высоко ценил творчество поэта и посвятил 50-летию литературной деятельности Жемчужникова статью "Поэт-гуманист" (Вестник воспитания.— 1900.— № 3). В.Н.Муромцева-Бунина пишет: "Нанес он визит и поэту Жемчужникову, с которым несколько лет состоял в переписке. Жемчужников сразу оценил его стихи и помогал на первых порах устраивать их в "Вестнике Европы". Старший собрат принял молодого поэта с распростертыми объятиями, пригласил обедать и много рассказывал о прошлом..." (Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. — Париж, 1958. — С. 91).

Коневской Иван (наст. имя и фам. — Иван Иванович Ореус, 1877—1901) — поэт, критик. См. о нем также в бунинской "Записной книжке" (с. 325—326 наст. изд.)

Вышел месяц обнаженный // При лазоревой луне... — из стихотворения В.Брюсова "Творчество" ("Тень несозданных созданий..."). У автора: "Всходит месяц обнаженный // При лазоревой луне...".

С. 304. *"Мелкий бес"* (1905) — роман Ф.Сологуба.

...какого-то незнакомого господина в учительском фраке — Ф.Сологуб с 1882 по 1907 г. занимался педагогической деятельностью.

С. 305. *Чеботаревская* Анастасия Николаевна (1876—1921) — поэтесса и переводчица, с 1908 г. жена Сологуба, имевшая на него огромное влияние. Некоторые произведения писались ими совместно. В 1920 г. супруги хлопотали о выдаче им заграничной визы. Их долго не выпускали. Не выдержав ожидания, Чеботаревская утопилась.

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт. Цитатой из одного из его стихотворений назван рассказ Бунина "В одной знакомой улице..."

Читает свои стихи один знаменитый поэт. — Речь идет о К.Д.Бальмонте.

...Вел. кн. Константин Константинович — Романов Константин Константинович (1858—1915), в литературе известен под псевдонимом К.Р. Поэт, автор романсов, песен, исторической драмы и переводов. С мая 1889 г. и до конца жизни президент Петербургской Академии наук. Писал критические отзывы на представляемые в Академию наук произведения на соискание наград, в том числе рецензию на произведения Бунина (1909).

...На похоронах баснописца Крылова... — Крылов Иван Андреевич умер 9 ноября 1844 г. в Петербурге. Похоронен в Александро-Невской лавре.

С. 306. *"Дети Ванюшина"* впервые поставлены Петербургским театром Литературно-художественного общества и имели большой успех, который был повторен в московском театре Ф.А.Корша. Бунин присутствовал на премьере "Детей Ванюшина" в театре Корша 14 декабря 1901 г. Пьеса была переведена на ряд европейских языков.

После "Детей Ванюшина" Найденов написал еще несколько пьес... — в 1903 г. Найденов написал пьесы "Блудный сын", "Номер тринадцатый" и "Богатый

человек". "Блудный сын" пролежал 2 года в портфеле Художественного театра. Премьера "Номера тринадцатого" была в декабре 1904 г. в театре Комиссаржевской в Пассаже и, благодаря игре В.Ф.Комиссаржевской, имела восторженную критику. Спектакль шел очень часто в течение 1905 года. В 1904 г. Найденов написал "Авдотьину жизнь". Пьесы "Стены" (1906), "Роман тети Ани" (1913) и "Работница" (1915) не имели известности предыдущих.

...через некоторое время как-то затерялся... — в 1905 г. Найденов жил в Нижнем Новгороде, с 1909 г. — почти безвыездно в Крыму. Заболев туберкулезом, переехал в Ялту, жил неподалеку от Чехова. За ним, тяжело больным, ухаживали богомольцы-странники. В социалистической революции Найденов видел воплощение христианских идеалов. Крымский ревком выдал ему "Охранную грамоту", в которой говорилось, что он находится "под покровительством Советской власти" (Крымский областной архив, Симферополь).

...часто вместе ездили... — в письме от 27 декабря 1902 г. Чехов, который шутя прозвал друзей писателей "Бунин и Бабурин", сообщает жене из Ялты: "Ждем Бунина и Найденова, которые, по газетным известиям, уехали в Константинополь". (Газетное сообщение было неверно.) В письме от 1 января 1903 г. ей же: "Бунин и Найденов теперь герои в Одессе. Их там на руках носят".

...была наша семья ух какая русская, старозаветная! — отец Найденова, купец I гильдии Александр Петрович Алексеев владел двумя посудными магазинами. Детей в семье было 19 человек. Мать была очень религиозной и богомольной. В доме царили домостроевские обычаи.

С. 307. *...написав этих самых "Детей Ванюшина", вдруг взял да и послал их в Петербург, на конкурс...* — в 1901 г. владелец петербургского театра Литературно-Художественного общества А.С.Суворин объявил конкурс на лучшую пьесу. В жюри входили П.П.Гнедич, А.Р.Кугель и др. По результатам конкурса I и II премии решили не присуждать, 6 пьес были удостоены третьей премии, в их числе "Дети Ванюшина". О результатах конкурса Найденов узнал 4 октября 1901 г. из московской газеты "Курьер". 6 октября 1901 г. Найденов писал провинциальному антрепренеру П.А.Соколову-Жамсону, с которым у него была предварительная договоренность об участии в составе театральной труппы, гастролирующей в Ельце: "... сегодня уезжаю по делу постановки на сцене своей пьесы, получившей на днях премию на конкурсе Худ.—Литерат. театра. Из Петербурга, если ничто меня не задержит, я напишу Вам" (Рукописн. отдел ГЦТМ им. А.А.Бахрушина. Фонд П.А.Соколова-Жамсона).

С. 308. *Давыдов Николай Васильевич* (1848—1920) — юрист, мемуарист. Заметная фигура в московской литературно-художественной среде. С 1906 года председатель Театрально-литературного комитета при Малом театре.

С. 309. *Ленский Александр Павлович* (1847—1908) — актер, режиссер, педагог. С 1876 г. в Малом театре, с 1907 — его главный режиссер.

Росси Эрнесто (1827—1896) — итальянский трагик, один из крупнейших представителей реалистической школы. Гастролировал в России в 1877, 1878, 1890, 1895 и 1896 гг. Бунин писал брату Юлию 28 августа 1890 г., что он с В.В.Пащенко в мае ездил на неделю в Орел слушать Росси. (Бабореко А. И.А.Бунин. — С. 25).

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) — крупнейшая русская трагедийная актриса. С 1871 г. в Малом театре.

Правдин Осип Андреевич (1847—1921) — актер и театральный педагог. Играл в Тифлисе, Киеве, с 1878 г.— в московском Малом театре. Главные роли — в пьесах А.Н.Островского.

<Ответ на анкету "Что будет с Россией через десять лет"> // Сегодня. — 1929. — 29 сентября (№ 270). — С. 19. — Среди анкетируемых газетой писателей А.И.Куприн, В.Ф.Ходасевич и др.

Заметки // Последние новости. — 1929. — 9 ноября (№ 3153). — С. 2—3.

С. 310. *Печатать свои стихи я начал непристойно рано...* — первое опубликованное стихотворение Бунина — "Над могилой С.Я.Надсона" (Родина. — СПб., 1887. — № 8. — 22 февр.). В том же году в 9-ти номерах "Родины" были напечатаны стихи Бунина, а также рассказы "Два странника" (№ 39. — 28 сент.) и "Нефедка" (№ 51. — 20 дек.).

"Неделя" — еженедельная литературно-политическая газета, издаваемая в Петербурге с 1866 по 1901 г. С 1874 г. — редактор-издатель П.А.Гайдебуров. В письме от 20 ноября 1888 г. Бунин сообщал брату Юлию о словах Гайдебурова, что у него, Бунина, "есть несомненные задатки поэтического творчества" (цит. по кн.: Бабореко А.К. И.А.Бунин. — С. 17).

С. 311. *"Неделя"... напечатала сразу целых три стихотворения..."* — имеется в виду публикация в журнале "Книжки "Недели" (1888. — № 9) трех стихотворений: "За днями серыми и темными ночами...", "Когда вечернею порою...", "Прости мне, милый друг!.. Те скорбные мгновенья...".

...ко времени возникновения сборников "Знания"... — Сборники выходили при товариществе "Знание" с 1904 г., но работа над ними велась раньше. С 1902 г. руководителями товарищества стали М.Горький и К.П.Пятницкий. В письме к Н.Д.Телешову 9 марта 1903 г. Горький называет предполагаемых авторов сборника, в их числе Бунина. В первом сборнике "Знания" были напечатаны два очерка Бунина ("Золотое дно" и "Сны") под общим названием "Чернозем" и стихи ("Диза", "Перед бурей", "Сумерки", "Дома", "Кольцо", "В Евпаторийских степях", "Над Окой").

А что же сделал Горький? Себе назначил тысячу, а нам— по три сотни... — Горький, задетый этой публикацией, писал своему биографу И.А.Груздеву: " Не помню, чтоб я получал в "Знании" 1000 р. за лист, это только Чехову платили т<ысячу> и 1 1/2. Не думаю, чтоб и Бунин получал 300, вероятнее — 500. Гонорары "назначал" не я, а К.П.Пятницкий". (Архив А.М.Горького. — Т. 11. — С. 239—240). См. в ответном письме Груздева Горькому (август 1930 г.): "О гонорарах в сборниках "Знание" хотел узнать у Пятницкого, но оказалось, что он на даче. Вообще же, поскольку я знаком с историей литерат<урного> быта, мне кажется, что Бунин сильно "прибедняется". 200 руб. с листа Чехов и Гаршин получали еще в 80-х годах. В 90-х годах даже такой стесненный в средствах журнал, как "Северн<ый> вестн<ик> платил 250-300 руб. и при этом за лист уменьшенный (в 35 000 зн.). На рубеже же XX века гонорары сильно повысились, еще до "Знания". Ср.: в письме Горького С.А.Найденову в марте 1905 г.: "...я... определил полистный гонорар в 300 р. <...> Если Вы находите, что гонорар, полученный Вами, — недостаточен, это неприятно мне и Константину Петровичу, но увеличить гонорар Ваш — значило бы обидеть всех других товарищей по сборникам, а увеличить всем — значило бы получить убыток от книг" (Архив А.М.Горького. М., 1959. Т.VII. С. 53). Ср. также очерк "Горький" (с. 415 наст. изд.).

...редкую заботливость проявил ко мне... А.М.Жемчужников... — Жемчужников писал Бунину 28 апреля 1893 г.: "Из вас может выработаться изящный и самобытный поэт,— если вы не будете давать себе поблажки. Пишите не как-нибудь, а очень хорошо. Это для вас вполне возможно. Я в этом убежден" (цит. по кн.: Бабореко А.К. И.А.Бунин.— С. 42).

С. 312. *...новейшие научные работы насчет переливания крови...* — наличие у человека четырех групп крови установил чешский ученый Я.Янский в 1907 г.

Первую книгу рассказов я издал в конце 1896 года, у Поповой.... — имеется в виду кн.: Бунин И. "На край света " и другие рассказы.— СПб.: Изд-е О.Н.Поповой, 1897.— 256 с. *Попова* Ольга Николаевна (1848—1907) — издательница, владелица книжного магазина и библиотеки-читальни, писательница и переводчица. Издавала журналы "Русское богатство" (1894—1895), "Новое слово" (1895—1897). Книгоиздательскую деятельность начала в 1894 г. в Петербурге.

Первый сборник стихов— в "Скорпионе", в 1899 году — первый сборник стихотворений Бунина вышел приложением к газете "Орловский вестник": "Стихотворения 1887—1891" (Орел, 1891). В московском издательстве "Скорпион" в 1901 г. вышел сборник Бунина "Листопад".

Поляков Сергей Александрович (1874—1948) — организатор и владелец издательства "Скорпион" и журнала "Весы", математик и переводчик, промышленник, известный в московских кругах меценат. Писал в "Весах" под псевдонимом С.Ещбоев.

..."магов" и "аргонавтов", искателей "золотого руна нового искусства"... — См. в воспоминаниях А.Белого: "...Я написал стихотворение под заглавием "Золотое руно", назвав солнце руном; Эллис, прицепившись к нему, назвал нас "аргонавтами"; "аргонавты" не имели никакой организации; в "аргонавтах" ходил тот, кто становился нам близок..." (Белый А. Начало века. — М., 1990. — С.123).

С. 313. *Николай Успенский* — См. статьи Бунина "К будущей биографии Н.В.Успенского" (Собр. соч., т.9. М., 1967) и "Забытый человек" (Лит. наследство. — Т. 84, кн. 2) и примечания к ним.

"Весы" — ежемесячный журнал, основной периодический орган символистов. Выходил в 1904—1909 гг. при московском символистском издательстве "Скорпион". В 1904—1905 гг. выпускался как критико-библиографический ежемесячник, без беллетристического раздела. С 1906 по 1909 гг. в журнале добавились стихи, проза, драматические произведения. Фактическим руководителем являлся В.Я.Брюсов. Среди постоянных авторов были Бальмонт, А.Белый, Блок, Волошин, Гиппиус, В.Иванов, М.Кузмин, Мережковский, Сологуб и др. Основной предпосылкой идеологической позиции журнала являлась борьба с реализмом, писатели "Знания" воспринимались как главные идейные противники.

..."Весы"... достигли (на четвертый год своего существования) тиража всего-навсего в триста экземпляров... — Тираж журнала "Весы" в 1-й год издания составлял 670 экземпляров, в 1907 году — 1095, в 1908 — 1850. См.: В.Брюсов в письме к М.Шику от 1 (14) марта 1907 г.: "Весы" в этом году расширились. Вместе с тем увеличивается и их влияние". (ИМЛИ, ф.13, оп. 3, ед. хр. 45).

"Северные цветы. Альманах первый, ассирийский" — альманахи "Северные цветы" выходили с 1901 г. Всего вышло пять сборников. Один из них носил название "Северные цветы ассирийские".

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский философ-идеалист, поэт, публицист, критик. Бунин, очевидно, имеет в виду статью Соловьева "Красота в природе" (1889), где критик цитирует строки из стихотворений Ф.И.Тютчева "Как хорошо ты, о море ночное...", "Весенняя гроза", "Не остывшая от зною..." и др., говорит о хаосе как необходимом фоне всякой красоты, об описываемой Тютчевым грозе в летнюю ночь, "когда хаотические силы еще только медленно готовятся к предстоящей страшной борьбе". (Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. — 2-е изд. — М., 1990. — Т. 2. — С. 368.

Про меня... было однажды сказано... — В журнале "Весы" была опубликована рецензия С.Соловьева с резкой критикой 4-й книги стихотворений Бунина, изданной товариществом "Знание" в 1908 г. (Весы. — 1908. — № 8). Приведенные же Буниным слова взяты из другой рецензии С.Соловьева на 3-й том

стихотворений Бунина (1906 г.), опубликованной в журнале "Золотое руно": "Бунина нельзя назвать поэтом. Он — стихотворец, и притом из плохих. Бунин не только не искусен в стихосложении, но даже и не подозревает о законах метра, о разнообразии словесных средств изобразительности. То, что является азбукой для самого скромного поэта-парнасца, неведомо нашим гиперборейским парнасцам, вроде Бунина. Их стихотворные изделия можно сравнить с дешевыми сапогами, от которых отваливаются подошвы через несколько дней после покупки. Непрактично, совсем непрактично" (Золотое руно. — 1907. — № 1. — С. 89).

С. 314. *Соловьев* Сергей Михайлович (1885—1942) — символист, поэт, прозаик, критик.

Брюсова я узнал... — писатели познакомились в конце 1895 г. Брюсов записывает в дневнике 16 декабря 1895 г.: "В среду заходил ко мне с Бальмонтом Бунин, но не застал меня..." (Брюсов В. Дневники. 1891—1910. — М., 1927. — С. 23). Об их отношениях см. в дневниках Брюсова. После публикации Буниным в газете "Южное обозрение", фактическим руководителем которой он был в то время, стихов Брюсова, последний записывает в дневнике: "Мои стихи напечатаны Буниным в своей газете. Что бы там ни было, все же это первые мои стихи, напечатанные не мною самим" (Брюсов В. Дневники. — М., 1927. — С. 74). О Бунине: "Он гораздо глубже, чем кажется. Иные размышления его о человечестве, о древних египтянах, о пошлости всего современного и позоре нашей науки — даже сильны, производят впечатление" (Там же. — С. 80). В свою очередь и Брюсов издал в издательстве "Скорпион" бунинский сборник "Листопад" (1901).

..."вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!" — Александрийская библиотека— крупнейшее в древности собрание рукописных книг, созданное Птолемеем, военачальником Александра Македонского. Просуществовала около 200 лет. Часть библиотеки погибла в огне во время вторжения Юлия Цезаря (48—47 г. до н.э.). Остатки уничтожены в VII в. н.э. войсками арабского халифа Омара.

С. 317. *Первое выступление на литературных вечерах — осенью 1895 года...* — вечер состоялся 21 ноября 1895 г.

Кривенко Сергей Николаевич (1847—1907) — публицист либерально-народнического направления, член редколлегии журнала "Русское богатство".

Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927) — прозаик, представитель бытописательной литературы. В молодости пережил увлечение народническими идеями. Общий тон его произведений — мрачное и даже безысходное настроение — давал основание критикам поставить Баранцевича в ряд наиболее характерных писателей-пессимистов 80-х гг.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт, переводчик.

С. 318. *Савина* Мария Гавриловна (1854—1915) — драматическая актриса.

С. 319. *Жизни вольным впечатленьям...* — из стихотворения Н.А.Некрасова "Песня Еремушке" (1859).

...любит себя "как Бога"... — из стихотворения З. Гиппиус "Посвящение" ("Небеса унылы и низки...", 1894): "Но люблю я себя, как Бога,— любовь мою душу спасет..."

<Ответ на анкету А.Седых "Писатели о своих книгах"> // Сегодня. — 1930. — 1 января (№ 1) — С. 4; а так же: Последние новости. — 1930. — 1 янв. (№ 3206). — С. 4.

С. 320. *Пушкин был, конечно, прав, говоря "взыскательному художнику"...* — цитата из сонета А.С.Пушкина "Поэту" (1830).

...та часть ее, которая выходит теперь под заглавием "Истоки дней"... — первая часть романа Бунина "Жизнь Арсеньева", вышедшая отдельной книгой в издательстве "Современные записки" (Париж, 1930).

Записная книжка // Иллюстрированная Россия. — 1930. — № 21. — 17 мая. — С. 1–2, 4, 6; № 22. — 24 мая. — С. 6, 8; № 23. — 31 мая. — С. 1–2.

С. 320. *Мой домашний воспитатель...* — Н.О.Ромашков. См. коммент. на с. 592.

В уездном городе, где я учился в гимназии... — в Ельце.

С. 321. *Помню те необыкновенные чувства, которые я испытал однажды, стоя... возле сына Пушкина...* — речь идет о старшем сыне А.С.Пушкина Александре (1833–1914).

... каждое десятилетие ... всегда имело своих собственных героев, в свой срок неизменно притязавших на исключительное право быть "солью земли"... — "соль земли" — выражение из Евангелия, слова Иисуса ученикам: «Вы — соль земли» (Матф., 5: 13).

"Братья Карамазовы" — роман Ф.М.Достоевского.

"Клара Милич" — повесть И.С.Тургенева 1883 г. Полное название ее "После смерти (Клара Милич)".

"Песнь торжествующей любви" — рассказ И.С.Тургенева (1881)

"Вечерние огни" — общее название четырех последних прижизненных сборников стихотворений А.А.Фета (1883, 1885, 1889 и 1891 гг.)

"Смерть Ивана Ильича" — повесть Л.Н.Толстого (1884–1886).

"Крейцерова соната" — повесть Л.Н.Толстого (1887–1889).

С. 322. *"Русская мысль"* — научный, литературный и политический ежемесячный журнал. Издавался в Москве в 1880–1918 гг. Основан был В.М.Лавровым. До 1885 г. придерживался славянофильской, затем с приходом в качестве редактора Виктора Александровича Гольцева (1850–1906) — умеренно либеральной, пронароднической ориентации. В журнале сотрудничали Чехов, Г.Успенский, Златовратский, Боборыкин, Короленко. После закрытия "Отечественных записок" в "Русской мысли" печатались Гаршин, Плещеев, Чернышевский. Позже — Гарин-Михайловский, Горький, Мамин-Сибиряк, Мережковский. Бунин начал печататься в журнале с 1901 г., в № 6 (июнь) было опубликовано стихотворение "Высоко в просторе неба...".

...очень похоже на встречу одного известного русского поэта с Метерлинком...— поэт, о котором идет речь,— Бальмонт. (См. рассказ о том же эпизоде у Н.А.Тэффи в ее воспоминаниях «Бальмонт» // Тэффи Н. Смешное в печальном. — М., 1992. — С. 443).

Метерлинк Морис (1862–1949) — бельгийский писатель-декадент, основатель драматургии символизма. "Синяя птица" (1908) — одна из самых известных его пьес, право первой постановки которой он предоставил Московскому Художественному театру.

С. 323. *Я увидел его впервые в январе 94-го года.* — Бунин посетил Л.Н.Толстого в один из дней между 4 и 8 января 1894 г. 4 января он писал В.В.Пащенко: "У Льва Николаевича еще не был. Сегодня или к нему, или в итальянскую оперу... В Москве пробуду числа до 8-го". (Цит. по кн.: Бабореко А.К. И.А.Бунин. — С. 42).

Лохвицкая Мирра (Мария Александровна, 1869–1905) — поэтесса, дважды награждена Пушкинской премией, сестра Н.А.Тэффи.

...во второй приезд в Петербург... — Бунин приехал в Петербург во второй раз 30 октября 1896 г. и пробыл там до января 1897 г.

...с редакцией "Современного мира", вернее, с домом А.А.Давыдовой, издательницы этого журнала... — Александра Аркадьевна Давыдова (урожд. Горжанская,

1848–1902) являлась издательницей петербургского ежемесячного литературного и научно-популярного журнала "Мир Божий" (основан ею 13 декабря 1891 г.) Журнал был популярен в демократических кругах, в нем печатались Горький, Мамин-Сибиряк, Куприн и др. Спустя 4 года после ее смерти, после того, как в августе 1906 г. "Мир Божий" поместил статью о Выборгском восстании, журнал был закрыт. Но редакция получила разрешение на издание журнала с новой программой, и с октября 1906 г. журнал возобновился под названием "Современный мир". Редактировала его приемная дочь А.А.Давыдовой М.К.Куприна-Иорданская (1881–1966), первая жена А.И.Куприна.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) — профессор политэкономии, историк, один из представителей "легального марксизма". Муж Лидии Карловны — старшей дочери А.А.Давыдовой.

...встречался с Маминым-Сибиряковым — Мамин-Сибиряк (наст.фамилия — Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912) — писатель-реалист.

Немирович-Данченко Василий Иванович(1848–1936) — беллетрист, брат Владимира Ивановича Немировича-Данченко.

С. 324. *Воронцов* Василий Павлович (1847–1918) — экономист, социолог, по профессии врач, представитель либеральных народников, выступал против русских марксистов.

Волынский Аким Львович (настоящая фамилия Флексер, 1863–1926) — критик и искусствовед, постоянный сотрудник, а затем фактический руководитель петербургского журнала "Северный вестник" (1885–1898), на страницах которого в 1890–1895 гг. выступил со статьями о "русских критиках", восстав против материалистических основ в критике Белинского и Чернышевского, в защиту идеалистической эстетики. Н.К.Михайловский отзывался на статьи Волынского рядом полемических выступлений ("О новых мозговых линиях", "О г. Волынском и скандалистах вообще" и т.д.).

Лейкин Николай Александрович (1841–1906) — писатель-юморист, изображавший быт петербургских купцов и мещан, редактор-издатель журнала "Осколки".

Там на неведомых дорожках... — из поэмы А.С.Пушкина "Руслан и Людмила".

Гольцев В.А. — см. коммент. на с. 598.

С. 325. *А декаденты бредили альбатросами...* — Имеется в виду стихотворение К.Бальмонта "Альбатрос" ("Над пустыней ночною морей альбатрос одинокий...") из цикла "Безветрие" ("Горящие здания", 1900).

Мы — путники ночи беззвездной... — из стихотворения В.Брюсова "Свиваются бледные тени..." (1895).

Добролюбов Александр Михайлович (1876–1945) — поэт, в чьем творчестве декадентские настроения (проповедь "красоты смерти", "магизма", "демонизма" и т.п.) сменялись поисками христианских ценностей и сектантским самоотречением. В начале 1900-х годов порвал с цивилизованной жизнью и ушел в странствия среди сектантов.

С. 326. *...издал книгу своих стихов: "Из книги Невидимой или Натура Натуранс"* — Бунин соединил здесь название двух сборников Добролюбова: "Natura naturans. Natura naturata" ("Природа порождающая. Природа порожденная"; СПб., 1895) и "Из книги невидимой" (М., 1905).

Общество жило тогда больше всего знаменитыми "бессмысленными мечтаниями"... — слова Николая II из его речи 1895 г. к представителям дворянства. В тексте написанной для императора речи было так: "Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся несбыточными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу

народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель". Николай II читал речь по записке, вложенной в барашковую шапку, которую он держал в руках, и от волнения вместо "несбыточными мечтаниями" произнес "бессмысленными мечтаниями" (Николай II: Материалы для характеристики личности и царствования.— М., 1917.— С. 56—57). Фраза "бессмысленные мечтания" скоро приобрела большую популярность.

С. 327. *...**"Мужики", например, вызвали толки чуть не на несколько лет...*** — "Мужики" — повесть А.П.Чехова, опубликованная впервые в "Русской мысли" (1897. — № 4. — С. 167—194). См., например, рецензии: Фингала (И.Н.Потапенко) О критиках и мужиках (Новое время. — 1897. — 20 апр. (№ 7594)), И.Н.Игнатова "Мужики", рассказ А.П.Чехова» (Русские ведомости. — 1897. — 19 апр. (№ 106)), М.О.Меньшикова "Три стихии" (Книжки Недели. — 1900. — № 3. — С. 205), П.Б.Струве "Мужики" г. Чехова (Новое слово. — 1897. — № 8 (май, отд. II), А.И.Богдановича " Критические заметки" (Мир Божий. — 1897. — № 6 (отд. II). — С. 1), Д.Овсянико-Куликовский "А.П.Чехов" (Журнал для всех. — 1899. — № 2. — С. 136—137) и многие другие. Итог полемике подводил А.М.Скабичевский статьей "Мужик в русской беллетристике (1847—1897)" (Русская мысль. — 1899. — № 4 (отд. II). — С. 1—26; № 5 (отд. II). — С. 103—131).

*К тому же близилось пришествие и других **"властителей дум"**...* — "Властитель дум" — выражение из стихотворения А.С.Пушкина "К морю" (1825), в котором поэт назвал "властителями дум" Наполеона и Байрона.

*...**какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как "Песня о Соколе"**...* — Бунин неверно пересказывает сюжет "Песни о Соколе" (1895—1899) Горького. Уж не жалил Сокола, а предложил ему броситься с края ущелья: "Быть может, крылья тебя поднимут, и поживешь еще немного в твоей стихии". См. в воспоминаниях И.А.Груздева: "Очень примечательно, что Горький ничего не ответил на это злобное выступление своего былого соратника по "Знанию", хотя изобличить инсинуацию было проще простого. Видимо, сохранилось уважение к прошлым заслугам Бунина-писателя" (Груздев И. Мои встречи и переписка с А.М.Горьким // Звезда. — 1961. — № 1. — С. 173).

"Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в 69-м году..." — ссылаясь на словарь, Бунин ошибочно называет год рождения Горького. В словаре Брокгауза и Ефрона год назван верно (1868), а дата ошибочно (14 марта). На самом деле Горький родился 16 (28) марта 1868 г. Биография Горького в статье С.Венгерова из словаря Брокгауза и Ефрона начинается так: "По своему происхождению Г. отнюдь не принадлежит к тем отбросам общества, певцом которых он выступил в литературе. Апологет босячества вышел из вполне буржуазной среды. Рано умерший отец его из обойщиков выбился в управляющие большой пароходной конторы; дед со стороны матери, Каширин, был богатым красильщиком. В 7 лет Г. остался круглым сиротой, а дед начал разоряться, и для заброшенного, почти не знавшего ласки мальчика наступила та эпопея скитаний и тяжелых невзгод, которая побудила его избрать символический псевдоним Горького" (Новый энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз и Ефрон, б.г. — Т. 14. — С. 351). Далее Бунин вольно пересказывает автобиографию Горького по статье Д. Городецкого "Два портрета" (Семья. — 1899. — № 36. — 5 сент.).

С. 328. *Уже славился, кроме того, Горький сатирами,— например, **"О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал"**...* — Бунин искажает название сказочной аллегории Горького "О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины", впервые напечатанной в казанской газете "Волжский вестник" 4 сентября 1893 года и замеченной В.Г.Короленко.

...был известен как фельетонист... — Горький вел раздел фельетонов в "Самарской газете" в течение 1895—1896 гг.

... в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух: "Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький..." — Горький поселяется в селе Мануйловка Полтавской губернии весной 1897 г., где отдыхает и устраивает деревенский театр, участвуя в нем в качестве актера и режиссера.

А познакомились мы с Горьким весной 99-го года... — Е.П.Пешкова сообщает, что первая встреча Бунина и Горького произошла у витрины книжного магазина И.А.Синани, услугами которого часто пользовался Чехов и который был своего рода клубом писателей, артистов и художников, приезжающих в Ялту (Пешкова Е.П. Воспоминания // Лит. наследство. — Т. 84: Иван Бунин: В 2 кн. — Кн. 2). См. об этом также в статье "Горький" (с. 411 наст. изд.).

<Ответ на литературную анкету "Чисел"> // Числа. — 1930. — № 2/3 (август). — С. 318.

Из записной книжки // Русский инвалид. — 1930. — 24 декабря (№ 11). — С. 1–2.

С. 329. *Пришла весть с фронта, что убили Володьку* — ср.: "Окаянные дни", запись от 10 июня с пометкой "Ночью" (*Бунин–1990.* — С. 160–161).

С. 331. *Этот кричит на всю залу, требует Марсельезу.* — "Марсельеза" — французская революционная песня на слова и музыку К.Ж.Руже де Лиля (1792). При Третьей республике стала государственным гимном Франции.

Странствия // Последние новости. — 1930. — 25 декабря (№ 3564). — С. 2; 28 декабря (№ 3567). — С. 2.

Бунин объединил в этой подборке очерки и путевые заметки разных лет.

С. 331. *Низок* — торговое, складское, жилое помещение в заглубленном первом этаже.

С. 332. *...Россия, оправдывающая ныне слово преподобного Исаака Сирина...* — Исаак (Сирянин) — отец церкви VII в. Родом из г. Ниневии, в юности вступил в монастырь, позже удалился в совершенное уединение. Оставил 7 томов поучений христианского исправления и самосовершенствования. На русском языке перевод был дан в «Творениях святых отцов» (1854).

Забежала шакалка в пещеру Иоанна Многострадального... — Иоанн Многострадальный — печерский подвижник XII века. Всю жизнь, по житию, провел в усмирении плоти, закопав себя в землю по плечи в пещере. Умер в 1160 г.

С. 333. *...возле бывшей "Праги"* — "Прага" — ресторан в Москве, предпочитаемый интеллигенцией другим благодаря отменной кухне, бильярду, наличию отдельных кабинетов, зальцев, садов. После 1917 г. национализирован. В 1920-х гг. здесь были Высшие драматические курсы, книжные магазины, библиотека. В 1924 г. — общедоступная столовая Моссельпрома.

Стихиры — песнопения, посвященные празднику, поются во время Всенощной.

В начале апреля посетил в Хамовниках дом Толстого. ...следы жизни уже давней и забытой! — Имеется в виду дом в Долгохамовническом переулке в Москве, где Л.Н.Толстой с семьей проводил зимние месяцы с 1882 по 1901 г. Последний раз он был здесь в 1909 г. С 1921 г. — мемориальный музей.

С. 334. *Остафьево* — бывшая усадьба князей Вяземских. Вещи Пушкина, о которых идет речь, принадлежали его другу П.А. Вяземскому.

На могиле Гоголя... — Гоголь был похоронен в Даниловом монастыре, а в 1931 г. его останки были перенесены на Новодевичье кладбище.

...в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного — речь, вероятно, идет об усадьбе XVII века (палаты боярина Волкова), находящейся в Хоромном тупике, 4. По легенде, этот дом был связан с именем Ивана Грозного

(см.: Столица и усадьба. — 1914. — № 16–17). С середины XVIII в. домом владели князья Юсуповы. После революции 1917 г. юсуповское собрание картин и предметов старины национализировано и превращено в музей.

С. 339....*ходил в село Измайлово...* — В подмосковном селе Измайлове была загородная резиденция царя Алексея Михайловича, от которой сохранились отдельные постройки: Покровский собор (1679), Мостовая ("Думная") башня (1671), Западные въездные ворота (1682).

С. 340. ...*В августе ездил в Троицкое...* — поместье Троицкое-Кайнарджи, близ станции Кучино под Москвой, подаренное Екатериной II графу П.А.Румянцеву-Задунайскому. Дворец Румянцевых был разрушен в XIX в., церковь в селе Фенино (конец XVIII в.) сохранилась. Бунин описывает бронзовый памятник работы В.И.Демут-Малиновского, установленный у выезда из села: он состоял из скульптуры Екатерины II и статуи "Мир".

Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796) — граф, русский полководец, генерал-фельдмаршал.

С. 341. *В монастыре Саввы...* — Саввино-Сторожевский монастырь близ Звенигорода (конец XIV–XVII вв.). Церковь "на Старом городище" — Успенский собор "на Городке" (XV в.) близ Звенигорода.

С. 342. ...*посетил Макарьевский монастырь* — Троице-Калязин монастырь на Волге недалеко от Калязина. Его называли Макарьевским по имени основателя. Во время постройки угличской плотины территория монастыря была затоплена.

С. 345. *Юродивый был "как бы Голиаф"...* — Голиаф— великан-филистимлянин, побежденный Давидом (Ветхий Завет).

<Ответ на литературную анкету "Новой газеты" "Ваше первое литературное выступление"> // Новая газета. — 1931. — 1 марта (№ 1). — С. 1. — На вопрос анкеты отвечали в том же номере М.А.Алданов и Б.К.Зайцев.

С. 348. *"похвала нужна молодому артисту, как канифоль смычку"* — цитата из "Мыслей и афоризмов" Козьмы Пруткова: "Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходима канифоль смычку виртуоза".

Из книги "Серп и молот" // Последние новости. — 1931. — 8 марта (№ 3637). — С. 2–3. — Книга "Серп и молот" не была написана. Ряд пересказываемых Буниным событий не имеет под собой реальной основы, в некоторых других случаях он не был очевидцем описываемого.

С. 351. *Хлебников* Велимир (наст. имя Виктор Владимирович) (1885–1922) — поэт-футурист, экспериментатор в области языка, создатель «новой мифологии».

На одном собрании, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминания — имеется в виду Дмитрий Петровский, автор книги «Повесть о Хлебникове» (М., 1925).

С. 354. — *Кого это хоронят? — Говорят, какого-то Брюса. — Это который календарь написал?..* — Брюс Яков Вилимович (1670–1735) — граф, генерал-фельдмаршал, известен как составитель первого календаря, который появился в печати в 1709 г. Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) — поэт, прозаик, переводчик, литературно-общественный деятель. Умер 9 октября 1924 г., похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Свидетелем его похорон Бунин быть не мог, т.к. был уже в эмиграции.

"В годы Кука, давно славные...", " Березка родная в губернии..." — неточно приведены строфы из стихотворений В.Я.Брюсова "В Тихом океане" (1923) и "Родное" (1923) из вышедшего посмертно его сборника "Mea" (1924).

Петр Александров // Последние новости. — 1931. — 30 августа (№ 3812). — С. 2–3.

С. 357. *Ольденбургский* Петр Александрович (1868–1923) — принц, принадлежал к младшей ветви Гольштейн-Готторнской линии Ольденбургского дома, ведущей начало от двоюродного дяди Петра III Георга-Людвига.

С. 358. *...один из Ольденбургских, Эгильмар...* — Эгильмар правил в XII веке. Документ 1108 г. называет его «могущественным графом земель, пограничных между Саксонией и Фризией».

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) — один из лидеров партии октябристов, крупный помещик. В 1911–1917 гг. Председатель 3 и 4-й Государственной думы, в 1917 г.— Временного комитета Государственной думы. Впоследствии эмигрировал.

С. 359. *...Филиппа Эгалитэ* — Филипп, герцог Шартрский (1747–1793), во время французской революции перешел на сторону третьего сословия, голосовал в Конвенте за смертную казнь короля Людовика XVI и был назван Парижской коммуной "Эгалитэ" — "Равенство". Казнен революционным судом.

Заметки // Последние новости. — 1932. — 7 января (№ 3942). — С. 2.

По поводу этой статьи Горький писал И.А.Груздеву 18 февраля 1932 г.: "...Вам "по должности" биографа моего небезынтересны должны быть прилагаемые "Заметки" И.А.Бунина. В них я нахожу нужным отметить кое-какие неточности.

В.О.Ключевский — насколько я помню — был старичок небольшой, но аккуратно полненький, с признаками кругленького брюшка, — сытенький, кормленый в меру естества его.

Ужин состоялся не по моей инициативе, а по инициативе Саввы Морозова; устраивал ужин артист Судьбинин, ныне скульптор. Ужин был устроен для труппы МХАТа и Горький распоряжаться на нем едва ли мог. Ключевский на ужине этом не присутствовал. А я ушел ранее конца <..>. Фраза о рыбе размером с лошадь произнесена была Федором Шаляпиным в Московской гостинице, перед ужином после его бенефиса, когда он впервые пел Демона. Бунин и Ключевский на ужине этом — не были, а были: Дорошевич, Леонид Андреев, Скиталец, я, Телешов, Корещенко, Слонов и еще некие мало знакомые мне, в общем числе — не более дюжины.

Альфонс 13-й в 1905 г. королем еще не сидел. Бунин смешал его с бывшим "императором Бразилии" дон Педро, королем "Португейским". Он действительно подписал протест против моего ареста, я думаю, — он сделал это будучи сильно "выпивши", за что справедливо и осужден орловским дворянином Российской Империи.

Александр Михайлович Каширин, двоюродный брат мой, был действительно хороший человек, но босяк и потому — пьяница. Не алкоголик, а человек, — очень мягкий, безвольный и пьющий из чувства товарищества, "за компанию", романтик, лирик. Трижды судился за мелкие кражи. Но — воровал опять-таки из мотивов товарищества. <...> Я вывез его из Нижнего в Крым, пристроил в Симеиз сторожем в имение графа Милютина <...>, но Саша, прожив месяца три зимних, заявил мне: "Не могу жить без Волги" и — удрал.

Бунин едва ли видел его, ибо за все время службы в Симеизе Александр в Ялте не был, а Бунин — если не ошибаюсь — зимою 3-го года тоже не был в Крыму.

Александр — очень широкоплечий, был среднего роста, я выше его три вершка — 9 1/2. Он был веселый, тихий юморист, недурно пел, отлично играл на гармонике <...>. Он умер в 908 г., заболев тифом..." (Архив А.М.Горького. — М., 1966. — Т. XI: Переписка Горького с Груздевым. — С. 287–288).

С. 363. *...граф Салиас... истории совсем не знает* — Салиас (наст. фамилия Салиас-де-Турнемир) Евгений Андреевич (1840-1908) — граф, автор исторических романов "Пугачевцы", "Петербургское действо", "На Москве", "Свадебный бунт (1705 г.)" и др.

С. 364. *Это было после первого представления "На дне"* — премьера пьесы Горького "На дне" в Художественном театре и последующий за этим банкет в ресторане "Эрмитаж" состоялись 18 декабря 1902 г. См. письмо О.Л.Книппер-Чеховой к А.П.Чехову от 20 декабря 1902 г., где рассказывается о премьере "На дне" в МХТ: "...После первого представления мы все кутили в "Эрмитаже". Было очень непринужденно, просто, без речей, т.е. без серьезных. Были все наши, была Икскуль, Батюшков, Леонид Андреев с супругой, Бунин, Найденов, Скиталец, Крандиевская" (Переписка А.П.Чехова: В 2 т. — М., 1984. — Т. 2. — С. 275).

С. 365. *А где же ваша лира, тирс, тимпан?* — Бунин, шутя, называет "атрибуты" вакханки. Тирс — жезл Диониса и его спутников, изображаемый в виде палки, увитой плющом, листьями винограда и увенчанной сосновой шишкой. Тимпан — древний ударный музыкальный инструмент вроде бубна, литавров.

С. 366. *...я по сравнению с вами еще ребенок...* — на самом деле Лохвицкая на год старше Бунина.

...бесконечно давно была в Полтаве лавочка,... а над входом висела небольшая вывеска с моим именем... — Бунин открыл книжный магазин в Полтаве для распространения толстовских изданий зимой 1893–1894 г.

"Посредник" — книгоиздательство, созданное в 1884 г. В.Г.Чертковым для распространения в народе художественной и научно-популярной литературы по доступной цене. Л.Толстой написал для "Посредника" целый ряд произведений.

С. 367. *...я попал под всемилостивейший манифест...* — манифест о восшествии на престол императора Николая II, подписанный 20 октября 1894 г.

Толстой Сергей Николаевич (1826–1904) — брат Л.Н.Толстого.

С. 368. *Рубакин* Николай Александрович (1862–1946) — русский книговед, библиограф и писатель.

Один рассказ, весьма в то время знаменитый, был посвящен ему и касался смертной казни... — имеется в виду "Рассказ о семи повешенных" (1908) Л.Андреева, посвященный Толстому.

"Жизнь человека" — драма Л.Андреева (1907).

"Дни нашей жизни" — драма Л.Андреева "из студенческой жизни" (1908), в которой частично отразились автобиографические моменты.

С. 369. *Альфонс XIII* (1886-1941) — король Испании в 1902–1931 гг.

Этот Уткин (думаю, что этот)... — Советский поэт Иосиф Павлович Уткин (1903–1944) был уроженцем Хабаровского края, печататься начал с 1922 г. и ничего общего с самоучкой из Ефремова не имел.

С. 370. *...за трынку хочешь взять!* — Трынка — копейка серебром.

Записи // Последние новости. — 1932. — 6 марта (№ 4001). — С. 2–3.

С. 370. *Семенов-Тян-Шанский* Петр Петрович (до 1906 г. — Семенов, 1827–1914) — русский географ, статистик, ботаник и энтомолог, государственный деятель. Совершил ряд путешествий в Закаспий, Туркестан, на Тянь-Шань, руководитель и организатор экспедиций Н.М.Пржевальского, П.К.Козлова и др. Возглавлял работу по I всеобщей переписи в России.

...о печальной участи обширных мемуаров — Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары. — Пг., 1917. — Т.1: Детство и юность; М., 1946. — Т.2: Путешествие в Тянь-Шань.

С. 371. *Петрашевский* (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1866) — русский революционер, утопический социалист, руководитель общества разночинной молодежи в Петербурге.

С. 372. *Данилевский* Николай Яковлевич (1822–1885) — участник кружка петрашевцев, впоследствии теоретик славянофильства и естествоиспытатель, публицист, социолог.

С. 373. *Бунина* Анна Петровна (1774–1829) — русская поэтесса, переводчица, из древнего дворянского рода, к которому принадлежали также В.А.Жуковский и И.А.Бунин.

С. 374. *...сведения о ней можно найти еще в одной давней статье, принадлежащей Александру Павловичу Чехову.* — Чехов Ал. П. Замечательные русские женщины: Бунина // Исторический вестник. — 1895. — № 10.

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) — русский поэт, представитель сентиментализма.

Греч Николай Иванович (1787–1867) — писатель, журналист, автор "Практической русской грамматики", издатель журналов "Сын отечества" и "Северная пчела".

Императрица Елизавета Алексеевна (1779–1826) — русская императрица, с 1793 супруга Александра I.

Александр Благословенный — император Александр I (1777–1825).

Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) — поэт (автор известной песни "Среди долины ровныя..." и др.), переводчик, автор статей по эстетике.

Капнист Василий Васильевич (1758–1823) — поэт, автор сатирических комедий.

Шаховской Александр Александрович (1777–1846) — князь, драматург, стоящий у истоков формирования русской национальной комедии, член Российской академии, почетный член Петербургской АН.

С. 375. *Шишков* Александр Семенович (1754–1945) — писатель, адмирал, государственный деятель. Президент Российской Академии. Основал в Петербурге "Беседу любителей русского слова" (1811–1816), выступающую против новых литературных направлений и реформы русского языка, начатой Н.М.Карамзиным.

Озеров Владимир Александрович (1769–1816) — драматург, в чьих произведениях соединялись черты классицизма и сентиментализма.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — граф, государственный деятель, советник Александра I.

С. 377. *Любить меня иль нет, жалеть иль не жалеть...* — В полном собрании сочинений Буниной в 3 томах это стихотворение отсутствует. По-видимому, четвертая строчка, дублирующая вторую, является опечаткой.

Блэр Гуг (1718–1800) — шотландский писатель, проповедник.

"Дорогому Петиньке..." — так в оригинале. См. также кн.: Бунин И. Воспоминания. — Париж, 1950. — С. 170.

Записи // Последние новости. — 1932. — 10 июля (№ 4127). — С. 2

С. 377. *Огненная Земля* — архипелаг к югу от Магелланова пролива.

...монтировал... — От франц. Monter — подниматься, восходить. Т. е. был на подъеме, в приподнятом настроении.

С. 380. *Рассказ Поссе... как Горький был в первый раз у Толстого.* — Бунин пересказывает воспоминания В.А.Поссе о первой встрече М.Горького с Л.Н.Толстым 13 января 1900 г. (по книге: Лебедев Г.И., Поссе В.А. Жизнь Л.Н.Толстого. — СПб., 1913. — С. 119–120, 122–123).

"Фома Гордеев" — роман Горького (1899).

"Ярмарка в Голтве" — рассказ Горького (1897 г.)

В Москве недавно опубликованы еще некоторые заметки Чехова... — возможно, имеется в виду вышедший в 1929 г. 12-й том Собрания сочинений Чехова, в который вошли записные книжки и дневники писателя.

"Море смеялось" — начало рассказа Горького "Мальва" (1897).

С. 381. *Крылов* Виктор Александрович (1838–1906) — драматург, начальник Репертуарной части Петербургских Императорских театров.

С. 382. *Гиляровский* Владимир Алексеевич (1853–1935) — журналист, прозаик, поэт.

С. 383. *...стишки на Горемыкина* — Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) — русский государственный деятель, министр внутренних дел (1895–1899), председатель Совета министров (апрель-июль 1906, 1914–1916).

Памяти Ивана Савина // Последние новости. — 1932. — 14 июля (№ 4131). — С. 3. — См. коммент. на с. 569.

О Волошине // Последние новости. — 1932. — 8 сентября (№ 4187). — С. 2–3.

С. 386. *Волошин* Максимилиан Александрович (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877–1932) — поэт, критик, переводчик, художник.

...в статье А.Н.Бенуа в "Последних новостях"... — извлечения из статьи А.Н.Бенуа "О Максимилиане Волошине" (Последние новости. — 1932. — 28 августа) даны неточно.

...до наших последних встреч в Одессе... — о встречах Бунина с Волошиным см. в "Окаянных днях", записи от 13, 16, 23 апреля 1919 г. (*Бунин–1990.* — С. 92, 93, 109, 110).

"Мысли с рыданьями ветра сплетаются..." — из стихотворения Волошина "В вагоне" (1901).

"Из страны, где солнца свет..." — из стихотворения Волошина "Кастаньеты" (1901).

С. 387. *"Склоняясь ниц, овеян ночи синью..."* — первые строки стихотворения Волошина без заглавия (1910).

...содействие Горького и его "Борьбы" — "Борьба" — ежедневная большевистская газета, выходившая в Москве с 27 ноября (10 декабря) по 6 (19) декабря 1905 г. Официальным редактором-издателем был С.А.Скирмунт (1863–1932), а Горький входил в состав редакционной коллегии. За публикацию воззвания Московского совета рабочих депутатов с призывом ко всеобщей стачке и вооруженному восстанию газета была закрыта.

С. 388. *...Брюсова, еще летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии...* — вероятно, имеется в виду концовка стихотворения В.Я.Брюсова "Июль 1903": "В таинственных молниях виден Царьград // И Айя-София". О кресте над этим собором он писал позже, в стихотворении "На бомбардировку Дарданелл": "И на Айя-Софии в синеве полной чаек // Крест Юстиниана встанет вместо луны" (март 1915).

"Народу русскому: я скорбный ангел мщенья!" — из стихотворения Волошина "Ангел мщенья" (1905).

Помню еще встречу с его матерью... — Волошина Елена Оттобальдовна (урожд. Глазер, 1850–1923) — переводчица.

...он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора... — свидание М.А.Волошина и его невесты М.В.Сабашниковой в июле 1905 г. действительно состоялось на колокольне Страсбургского собора.

...в "Книге о русских поэтах" — "Книга о русских поэтах последнего десятилетия", под редакцией М.Гофмана (СПб.; М., 1909).

С. 389. *"Это гибкое, страстное тело..."* — из стихотворения М.А.Волошина "Голова мадам де Ламбаль" (1905-1906).

Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какого-то антропософского храма... — Волошин участвовал в построении антропософского храма в швейцарском городе Дорнахе.

...по приглашению своих друзей Цетлиных... — Цетлины Михаил Осипович (псведоним Амари, 1882-1945), поэт, прозаик, критик, и его жена Мария Самойловна (1882–1976). Были дружны с Буниным в течение 30 лет. В 1920 г. помогли Буниным переехать из Белграда в Париж, поселили в своем доме. Позже, перебравшись в Нью-Йорк, помогали материально. В 1947 г., уже после смерти М.О. Цетлина, отношения Бунина с М.С. Цетлиной резко прервались, после того, как она обвинила Бунина (в письме от 20 декабря 1947 г.) в том, что он с теми, кто взял советские паспорта.

С. 392. *А на другой день в "Известиях"...* — статья, осведомлявшая, что "уже успели пролезть белогвардейцы и буржуазные прихлебатели", и содержавшая личные выпады против Волошина, была опубликована одесскими "Известиями" 23 апреля 1919 г. На следующий день было сообщено, что М.А.Волошин отстранен от работы в комиссии по празднованию Первого мая. Письмо-протест Волошина напечатано не было.

...я публично развенчал Репина... — речь идет о статье М.А.Волошина "О смысле катастрофы, постигшей картину Репина" (1913), связанной с порчей душевнобольным в Третьяковской галерее картины И.Е.Репина "Иван Грозный и сын его Иван", и вызванной ею дискуссии.

...он уехал из Одессы... — Волошин уехал из Одессы 10 мая 1919 г.

...называл Татидой — Цемах Татьяна Давыдовна (1890–ок. 1943) — поэтесса, бактериолог.

С. 394. *...спасать моего друга генерала Маркса...* — генерал-лейтенант Н.А.Маркс (1860–1921), палеограф и краевед, был заведующим отделом народного образования; после прихода белых был арестован, приговорен к 4 годам каторги, но от отбытия наказания хлопотами М.А.Волошина освобожден.

...переслал Гроссману... — Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) — писатель, литературовед. В 1917-1920 гг. жил и работал в Одессе.

"Пути России" и "Самогон крови" — статьи остались неопубликованными.

... работаю над большой поэмой о св. Серафиме... — начатая Волошиным поэма "Святой Серафим" о Серафиме Саровском (1760–1833), знаменитом старце, иеромонахе Саровской обители, осталась неоконченной.

Верность за верность: Письмо // Россия. — 1934. — 17 ноября. — С. 1. — Соболезнование по случаю гибели короля Югославии Александра I (Александра Карагеоргиевича, 1888–1934), убитого хорватскими террористами 9 октября 1934 г. вместе с французским министром иностранных дел Барту в Марселе. Александр воспитывался в российском Пажеском корпусе и до конца жизни сохранил любовь к России. Король помогал русским в Югославии, ставшей центром военной русской эмиграции, выделял стипендии писателям. Не случайно И.С.Шмелев посвятил "священной памяти" Александра I свою книгу "Богомолье" (2-е изд.).

С. 395. *Алексей Иванович* — Ксюнин А.И.

<Ответ на анкету Российского общественного комитета в Польше> // Под русским стягом. — Варшава, 1934. — Перепечатано: Новое русское слово. — 1973. — 27 марта (№ 22932). Печатается по сб.: Бунин И.А. Великий дурман: Неизвестные страницы / Сост., вступ. ст. и примеч. О.Б.Василевской. — М., 1997.

Записи // Иллюстрированная Россия. — 1936. — № 11. — 7 марта. — С. 2–3; № 15. — 4 апреля. — С. 1–2, 4.

С. 395. *...старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни...* — Бунин жил в Грассе — маленьком городке на юге Франции с 1923 года: сначала на вилле Монфлери, потом на вилле Бельведер, впоследствии на вилле Жаннет.

С. 396. *...хорошенькая Киса Куприна* — Куприна Ксения Александровна (1908–1980) — дочь А.И.Куприна от второго брака, в бытность во Франции актриса.

...кто-то трогает меня за плечо... — см. об этом в книге Г.Кузнецовой "Грасский дневник", запись от 15 ноября 1933 г.: "Л.<Зуров> подошел сзади в темноте, нагнулся и, целуя И.А., сказал: "Поздравляю вас... звонок из Стокгольма..." (*Кузнецова–1967.* — С. 295).

С. 398. *В ночь с третьего на четвертое декабря я, со своими близкими, уже далеко от Парижа* — на вручение премии в Стокгольм Бунин ездил с В.Н.Муромцевой-Буниной, Г.Н.Кузнецовой и Я.М.Цвибаком (Андрей Седых) в качестве секретаря.

Колеса острый снег взрывали и скрипели... — Бунин с некоторыми разночтениями вспоминает свое стихотворение "На Невском" (27.VIII.16).

С. 399. *Нобель* Альфред (1833–1896) — шведский инженер и предприниматель, изобретатель динамита, завещавший часть своего состояния на учреждение международной Нобелевской премии. Премия присуждается ежегодно с 1901 г. (с перерывом на несколько лет во время Второй мировой войны) в различных областях: физики, химии, медицины, физиологии, а также за выдающиеся усилия в деле борьбы за мир. В области литературы премия присуждается за лучшие произведения изящной словесности "идеалистического направления". Вопрос о Нобелевской премии в этой области решается особой комиссией при Шведской академии литературы. В денежном исчислении премия представляет собой проценты от капитала, оставленного А.Нобелем.

Босоножка // Иллюстрированная Россия. — 1936. — № 24. — 6 июня. — С. 1–2, 4.

С. 404. *И я вспомнил образ этой женщины, автобиографию ее...* — Duncan Isadora. My Life.— New York, 1927. (Дункан А. Моя исповедь. — Рига, 1928; Дункан А. Моя жизнь. — М., 1930). Айседора Дункан довела свое повествование до приезда в Россию в 1921 г. Хотела продолжить, придумала заглавие будущей книги — "Мои большевистские дни", но не успела. Трагически погибла в Ницце 14 сентября 1927 г.

Бунин конспективно, иронически шаржируя, местами весьма вольно пересказывает отдельные моменты из книги А.Дункан.

С. 407. *Городок Каравассара...* — в действительности Карвазарас.

С. 409. *Двое ее детей (конечно, незаконных и некрещенных)...* — оба ребенка Айседоры Дункан: дочь Дердри (от режиссера Гордона Крэга, р. 24 сент. 1906 г.) и сын Патрик (от предпринимателя Патриса Зингера, р. 1 мая 1910 г.) погибли в апреле 1913 г. в автомашине, упавшей в Сену.

Горький // Иллюстрированная Россия. — 1936. — № 28. — 4 июля. — С. 1–2, 4.

С. 410. *Я уже это писал...* — Бунин кратко повторяет свой рассказ о Горьком из "Записной книжки" (Иллюстрированная Россия. — 1930. — №№ 21, 22, 23. — 17, 24, 31 мая; см. с. 326–329 наст. изд. и коммент. к ним).

С. 411. *Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения...* — 14 апреля 1899 г. Бунин писал брату Юлию: "В Крыму видел Чехова, Горького (с Горьким сошелся довольно близко,— во многих отношениях замечательный и славный человек)..." (цит. по кн.: Бабореко А.К. И.А.Бунин. — С. 73). Потом эта оценка Буниным Горького была повторена в письме к Телешову: "Был в Крыму, прогуляться и посмотреть на литераторов — там были Чехов, Горький — славный и интересный человек..." (Письмо от 23 апреля 1899 г. — см.: Переписка с Н.Д.Телешовым // Лит. наследство. — Т. 84, кн. 1. — С. 489).

...показал мне... карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках — жена Горького Е.П.Пешкова (урожд. Волжина, 1878—1965); сын Максим (1897—1934).

С. 414. *"Доколе же Ты..."* — неточная цитата из Библии: "Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?" (Иов, 7: 19).

...Андреев, Скиталец и прочие "Подмаксимки"... — в то время был широко известен шарж художника Коки (Н.И.Фидели) "Подмаксимовики", где Горький был изображен в виде большого гриба, от корня которого отходили три маленьких гриба: Л.Андреев, С.Скиталец и Бунин.

С. 415. *Мы получали в "Сборниках Знания"...* — см. "Заметки" (Последние новости. — 1929. — 9 ноября; с. 311 наст. изд.) и коммент. к ним (с. 595—596).

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри... — впервые Бунины прибыли на Капри в марте 1909 г. Устроились в отеле "Пагано" по совету М.Ф.Андреевой и прожили там 8 дней, "почти не разлучаясь с милым домом Горького" (письмо Бунина А.Е.Грузинскому 21 марта (3 апреля) 1909 г. — РГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед.хр. 126, лл. 6—7). В ноябре 1911 г. Бунины вновь на Капри, остановились в отеле "Квисисана". Бунин пишет брату о Горьком: "...А что до красноперого, то необходимость ходить к нему выбивает из интимной тихой жизни, при которой я только и могу работать, мучиться тем, что совершенно не о чем говорить, а говорить надо, имитировать дружбу, которой нету,— все это так тревожит меня, как я и не ожидал. Да и скверно мы встретились: чувствовало мое сердце, что энтузиазму этой "дружбы" приходит конец,— так оно и оказалось, никогда еще не встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь!" (Цит. по кн.: Бабореко А.К. И.А.Бунин. — С. 177). Через год — 16 (29) ноября 1912 г. Бунины опять приезжают на Капри и находятся здесь по апрель 1913 г. В этот приезд отношения между писателями теплее, чем в предыдущий. В письме Ю.А.Бунину от 19 марта (1 апреля) 1913 г., правленном и дописанном Буниным, Вера Николаевна говорит о Горьком и Е.П.Пешковой: "Отношения с ними нежнее. Предлагали поселиться у них,— вообще дружба!" (Там же. — С. 207).

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним дружески. — См. дарственную надпись на книге "М.Горький. Статьи 1905-1916 гг.": "Любимому писателю и другу Ивану Алексеевичу Бунину А.Пешков. 2-ое апреля 17 г. Светлое Христово воскресенье. Петроград" (Летопись жизни и творчества А.М.Горького. — М., 1959. — Вып. 3: 1917—1929. — С. 27).

В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре... — 3 (16) апреля 1917 г. праздновалось открытие выставки картин финских художников, на которое собрался "весь Петербург".

С. 416. *Когда я уходил, он... обнял меня, крепко поцеловал,— на вечную разлеку, как оказалось...* — После этого писатели действительно не встречались. В конце апреля 1917 г., когда Горький приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, она сказала Бунину по телефону: "Алексей Максимович хочет поговорить с вами". Бунин ответил, что "говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными".

Письмо в редакцию // Последние новости. — 1936. — 1 ноября (№ 5700). — С. 1–2. — Письму предшествовал заголовок: "Злоключения И.А.Бунина в Германии. Русского академика, Нобелевского лауреата подвергли на границе неслыханному унижению и издевательствам".

Спустя несколько дней в той же газете 5 ноября (№ 5704) официальное германское агентство "Д.Н.Б." дало следующее опровержение описываемому Буниным инциденту: "Иностранные газеты напечатали на днях неточную информацию, будто Иван Бунин, русский нобелевский лауреат, был арестован в Линдау (Бавария) "политической полицией" и подвергся плохому обращению. Соответствует действительности лишь то, что русский эмигрант Бунин, пробывший в Линдау 26 и 27 октября, был подвергнут валютному контролю в момент его въезда на германскую территорию из Швейцарии. Контроль носил чрезвычайно вежливую форму, и г. Бунин не подвергся ни плохому обращению, ни аресту". Однако комментарий "Последних новостей", где было опубликовано это опровержение, полон сомнений: "Сообщение германского агентства, очевидно, основано на неверных показаниях с места о происшедшем возмутительном инциденте. Это видно уже из того, что "контроль", которому был подвергнут И.А., был произведен в действительности не при его въезде, а при выезде из Германии. В каких формах "валютный контроль" был произведен, описано самим пострадавшим в напечатанном у нас рассказе. Читатель может судить, что значит "чрезвычайно вежливое" обращение в понимании агентства. Об "аресте" и о "политической" полиции в рассказе И.А.Бунина не говорилось, но вся процедура свидетельствует о культурном уровне обыскивавших чиновников. Агентству следовало бы озаботиться более точной информацией и затем принести, по крайней мере, извинение писателю, которого знает весь мир, не замалчивая того, что действительно произошло". "Последние новости" через несколько номеров вновь вернулись к этой теме, опубликовав письмо Правления Союза русских писателей и журналистов в Праге в поддержку Бунина, с протестом против произвола германских властей: "Союз русских писателей и журналистов в Праге, дорогим гостем которого вы были всего несколько дней тому назад, потрясен известием о том возмутительном насилии, жертвой которого вы стали при проезде через Германию. Произвол и насилие не пощадили и вас, писателя с мировым именем, русского академика, нобелевского лауреата, человека, ставящего свободу и неприкосновенность личности превыше всего, и во имя этой свободы покинувшего свою родину. Мы верим все-таки, что возмущенные голоса русской эмиграции и общественного европейского мнения утешат боль вашего сердца. Пусть прозвучит слово нашего протеста, отражающее настроение не только литературных кругов, но, как мы уверены, и всей русской эмиграции".

Письмо в редакцию // Последние новости. — 1936. — 27 ноября (№ 5726). — С. 2.

"Пушкинские торжества" // Иллюстрированная Россия. — 1937. — № 7. — 6 февраля — С. 34. — Этот номер журнала был посвящен 100-летию со дня гибели А.С.Пушкина. Заметка опубликована в разделе "Современные русские писатели о Пушкине", где свое мнение о великом поэте также высказали Д.С.Мережковский, И.С.Шмелев, К.А.Коровин, Lolo (Л.Г.Мунштейн), кн. В.В.Барятинский. Эту запись Бунин сделал для С.М.Лифаря, артиста балета и режиссера в театре Дягилева и в Гранд-Опера, организовавшего пушкинскую выставку в Париже. Бунин активно участвовал в юбилейных пушкинских торжествах. Поместил главу из "Жизни Арсеньева", посвященную Пушкину, в одно-

дневной парижской газете "Пушкин" (8 февраля 1937 г.). Выступал 11 февраля 1937 г. на торжественном собрании в зале Иена. Читал произведения Пушкина на вечере памяти поэта 6 марта 1937 г.

С. 419. *Красуйся, град Петров, и стой...* — из "Вступления" к поэме А.С.Пушкина "Медный всадник" (1833).

О, если б узы гробовые... — начало стихотворения Бунина "День памяти Петра" (1925).

А.И.Куприн // Последние новости. — 1937. — 5 июня (№ 5915). — С. 2.

В.Н.Муромцева-Бунина писала из Парижа первой жене Куприна М.К.Куприной-Иорданской: "...отношения Куприна к Бунину были очень не простые, тут понадобился сам Достоевский, чтобы все понять. Диапазон был большой: от большой нежности к раздраженной ненависти, хотя в Париже все было смягчено" (в письме 4 октября 1960 г.) "Ведь это он, так сказать, повенчал нас в церковном браке, он все и устроил, за что я ему бесконечно до смерти буду благодарна, так как успокоило мою маму, мое письмо о венчании было к ней последним... Он был моим шафером. Службу он знал хорошо, так как вместе с другим шафером они заменяли певчих. Он говорил, что очень любит устраивать и крестины и свадьбы" (3 февраля 1961 г.). "Иван Алексеевич всегда говорил, что он радовался успехам Александра Ивановича, он высоко ценил его художественный талант, но считал, что он мало читает и живет не так, как ему надлежало бы. Мне всегда казалось, что у Куприна была какая-то неприязнь к Бунину, но не на литературной почве. Она проявлялась, когда он был нетрезв. В нормальном состоянии они были очень нежны друг к другу и, пожалуй, ближе, чем с другими писателями" (9 февраля 1961 г.). (См.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. — М., 1966. — С. 222–223).

С. 419. *Это было очень давно — когда я... впервые увидал в «Русском богатстве» его имя..* — А.И.Куприн начал печататься с 1889 г., в "Русском богатстве" — с 1893 г.: "Впотьмах" (№ 6 и 7) и "Лунной ночью" (№ 11). В следующем, 1894 г., там же появился рассказ "Дознание".

С. 420. *...кто именно был его отец* — Куприн Иван Иванович (1834–1871) происходил из "детей лекарских учеников", служил письмоводителем у мирового посредника в Наровчате Фалина. Умер от холеры.

...по происхождению она была княжна с татарской фамилией... — Мать Куприна Любовь Алексеевна (урожденная княжна Кулунчакова, ок. 1840–1910) происходила из древнего рода татарских князей, игравших видную роль в жизни так называемого Касимовского царства, основанного Василием III для борьбы против Казанского ханства.

Дуров Владимир Леонидович (1863–1934) — артист цирка, клоун, дрессировщик, исполнитель сатирических монологов.

Киплинг Редиард (1865–1936) — английский писатель, которому Куприн посвятил статью (1908).

С. 421. *...с радостью услыхал однажды..., что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн...* — Бунин жил у А.М.Федорова в Люстдорфе (дачном месте под Одессой) в мае 1897 г., где и познакомился 29 мая с Куприным. Рассказ "Ночная смена" был напечатан в журнале "Мир Божий" (СПб., 1899. — № 2).

"Откуда я сейчас?... Служил в полку возле австрийской границы..." — после окончания юнкерского училища в августе 1890 г. Куприн служил в 46-м пехотном Днепровском полку, который был расквартирован в уездных городках Подольской губернии (Проскурове, Волочиске, Гусятине). Осенью 1894 г. он принимает решение выйти в отставку и покидает полк, имея всего 4 рубля.

Жил и охотился в Полесье — Куприн провел год в Полесье Ровенского уезда, где создал цикл так называемых Полесских рассказов ("На глухарей", "Лесная глушь", "Серебряный волк" и повесть "Олеся")

Там за гроши писал всякие гнусности для бульварной газетки... — с сентября 1894 г. Куприн сотрудничал в газетах "Киевское слово", "Жизнь и искусство", с февраля 1895 — в газете "Киевлянин", подписывая свои публикации, в основном, псевдонимами.

Слава Богу, что милые Карышевы приютили.. — Карышев Сергей Александрович — киевский нотариус, и его супруга Анна Григорьевна, в чьей семье Куприн занимался репетиторством. А.Г.Карышева стала прототипом госпожи Завалишиной из рассказа Куприна "Корь".

...начинал петь... эпиталаму Рубинштейна — имеется в виду эпиталама из оперы А.Г.Рубинштейна "Нерон".

С. 423. *...когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже...* — Февральская революция застала Куприна в Гельсингфорсе, где он находился по совету врачей на излечении. Он немедленно вернулся в Гатчину и приветствовал свержение самодержавия рядом статей. Однако Октябрьскую революцию Куприн не принял. 16 октября 1919 Гатчина была занята армией Юденича. Куприн в течение двух недель редактировал газету "Приневский край". В начале ноября 1919 г. вместе с отступающими белыми войсками Куприн оказался в Эстонии, откуда перебрался в Финляндию, а оттуда в середине 1920 г.— во Францию. Жил в Париже. Вторая жена — Елизавета Морицевна Куприна (1882–1942).

С. 424. *"Александр Иванович Куприн возвратился в СССР..."* — 29 мая 1937 г. Куприн выехал из Парижа в СССР. 31 мая приехал в Москву.

Перед занавесом "художественников": Беседа с И.А.Буниным Лоллия Львова // Иллюстрированная Россия. — 1937. — № 34. — 14 августа. — С. 15–16.

С. 424. *Львов* Лоллий Иванович (1888–1968) — поэт, критик, журналист.

Приезд в Париж Московского Художественного театра... — гастрольная поездка Московского Художественного театра в Париж, приуроченная к международной выставке, состоялась в августе 1937 г. Театр привез в Париж 3 пьесы: "Враги" М.Горького, "Любовь Яровая" К.Тренева и "Анна Каренина" Л.Толстого. Первоначально художественный совет театра выбрал для турне другой репертуар. Его утвердили директор театра Аркадьев и Комитет по делам искусств. Но Сталину этот репертуар не понравился — он нашел его аполитичным и недостаточно пропагандным. Аркадьев был арестован, репертуар изменен. (См. об этом: Елагин Ю. Укрощение искусств. — Нью-Йорк, 1952. — С. 218–219). С августа 1937 г. директором МХАТа стал Я.И.Боярский. Московская труппа выступала в Париже в театре Елисейских Полей. В рецензии В.Ходасевича (Возрождение. — 1937. — 13, 20 авг. (№ 4091, 4092)) говорилось о "полном провале" гастролей, о том, что театр "огрубел и снизился", "стал собственным эпигоном", "своего прошлого не уберег", "спектакли шли при полупустых залах". В то же время советская критика писала о восторженном приеме МХАТа французской публикой. В советском полпредстве состоялся торжественный прием в честь артистов, на котором выступил В.И.Немирович-Данченко.

Он разрезал страницы только что вышедшей из печати своей новой книги о Толстом "Освобождение Толстого" — книга вышла в Париже в 1937 г. в издательстве "YMKA-Press".

С. 425. *...вместе с Верой Николаевной он побывал и у знаменитого русского композитора, как раз только что вернувшегося на свою виллу под Люцерну...* — Бунин был знаком с С.В.Рахманиновым с 1900 г. Их связывали, помимо дружеских, творческие отношения: на стихи Бунина Рахманинов написал два романса

"Я опять одинок" и "Ночь печальна". Вилла, о которой идет речь, — поместье композитора, названное им Сенар (Сергей и Наталья Рахманиновы).

С. 426. *...первое, что я видел у них, был "Царь Федор Иоаннович", или, может быть, это была "Чайка"* — премьера трагедии А.К.Толстого "Царь Федор Иоаннович" состоялась 14 октября 1898 г. Это был первый спектакль, поставленный МХТом. Первое представление драмы А.П.Чехова "Чайка" было 17 декабря 1898 г.

Что вы скажете о переименовании Художественного театра в театр Горького? — В 1920 г. Московский Художественный театр (МХТ) получил наименование академического, а в 1932 г. ему присвоили имя М.Горького.

...всегда непонятно для меня переименование городов — Ленинград — до 1914 г. Санкт-Петербург, в 1914–1924 гг. Петроград, с 1924 г. в честь В.И.Ленина переименован в Ленинград.

С. 427. *Татаринова* Фанни Карловна (1863–1923) — владелица дачи в Ялте, издательница газеты "Ялтинский листок", хозяйка художественно-переплетной мастерской.

Это были "Мещане", "На дне"... — Постановки пьес Горького во МХТе: "Мещане" (26 марта 1902 г.) и "На дне" (18 декабря 1902 г.)

...пьесы которых ставил Художественный театр — о Леониде Андрееве, Юшкевиче, рано умершем Найденове — В МХТе были поставлены пьесы Л. Андреева "Жизнь человека" (12 декабря 1907 г.), "Анатэма" (2 октября 1909 г.), "Екатерина Ивановна" (17 декабря 1912 г.), "Мысль" (17 марта 1914 г.); пьеса С.С.Юшкевича "Miserere" (17 декабря 1910 г.); пьесы Найденова "Блудный сын" (28 января 1905 г.), "Стены" (2 апреля 1907 г.).

С. 428. *Предлагали даже стать артистом у них.* — 17 января 1910 г. Художественный театр отмечал 50-летие со дня рождения Чехова. По просьбе В.И.Немировича-Данченко Бунин в присутствии родных Чехова читал свои воспоминания о нем. Выступление Бунина вызвало восторг у публики и слезы у родных— так похоже передавал мемуарист голос и интонации писателя. (См. об этом: Бунин И. Собр. соч.: В 9 т. — Т. 9. — С. 217–218). После этого К.Станиславский с В.Немировичем-Данченко предложили Бунину поступить в их труппу, обещая роль Гамлета (см. об этом: Русские новости. — 1959. — 5 июня (№ 731)).

Октябрь // Последние новости. — 1937. — 3 декабря (№ 6096). — С. 2. — Ср.: К моим "Воспоминаниям" (с. 464–465 наст. изд.).

С. 429. *...гостил у Марьи Павловны.* — М.П.Чехова, сестра писателя. Евгения Яковлевна — мать писателя.

Софья Павловна Бонье (ум. в 1921 г.) — ялтинская знакомая Чехова и Бунина, член ялтинского Попечительства о нуждающихся приезжих больных (членом Попечительства был и Чехов).

С. 431. *Изгоев* (Ланде) Александр Соломонович (1872–1935) — публицист, сотрудник ряда одесских изданий.

Нилус Петр Александрович — см. коммент. к статье "Памяти П.А.Нилуса" (с. 616 наст. изд.)

Куровский Владимир Павлович (1869–1915) — член Товарищества южнорусских художников, хранитель Одесского художественного музея, служащий городской управы. Вместе с ним Бунин ездил в октябре-ноябре 1900 г. за границу (Варшава, Берлин, Париж, Швейцария, Вена, Мюнхен, Дрезден). Покончил самоубийством (1915). Бунин посвятил ему стихотворение "Памяти друга".

Буковецкий Евгений Иосифович (1866–1948) — художник, одесский приятель Бунина. Написал портреты Бунина и В.Н.Муромцевой-Буниной (хранятся в Государственном музее И.С.Тургенева в Орле). Член Товарищества южнорус-

ских художников. У него на квартире по четвергам собирались члены Товарищества.

С. 433. *Заузе* Владимир Христианович (1859–1939) — художник-график. Жил в Одессе с 1885 г., активный участник Товарищества Южнорусских художников. Написал романс на стихи Бунина "Отошли закаты на далекий север".

Эдвардс — Эдвардс (Эдуардс) Борис Васильевич (1860–1924) — скульптор, академик скульптуры (1915). В 1919 г. эмигрировал и поселился на острове Мальта.

Уточкин Сергей Исаевич (1876–1916) — спортсмен, один из первых русских летчиков.

Его памяти // Последние новости. — 1938. — 17 апреля (№ 6231). — С. 2.

С. 434. *Болен он был уже тяжело...* — с 35-летнего возраста Шаляпин страдал диабетом. Осенью 1937 г. болезнь обострилась, к ней добавилось чрезвычайное переутомление сердца и эмфизема легких. В конце февраля начало давать себя знать острое малокровие. Светилами медицины был поставлен диагноз: лейкемия. Парижские врачи уложили Шаляпина в постель. Из воспоминаний Г. Гуляницкой: "Чтобы не утомлять больного, число посетителей было строжайше ограничено, но все же в последние дни у Шаляпина побывали И. Бунин, писатель М. Алданов, ежедневно, а иногда и по два раза в день, заезжал С.Рахманинов" (Шаляпин Ф.И.: В 3 т. — М., 1976. — Т. 2. — С. 522).

Какая была в нем кровь? — Отец певца Иван Яковлевич Шаляпин — выходец из крестьян. Служил писцом в уездной земской управе в Казани. Мать в начале 70-х гг. была кормилицей в семье сельского пристава в Казанском уезде.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал... — Шаляпин рассказывает о своем первом посещении Толстого в своих мемуарах (см.: Шаляпин Ф.И. Маска и душа. Т. 1. — С. 280–281). Встреча произошла 9 января 1900 г. в Хамовническом доме Толстого. После игры Рахманинова и пения Шаляпина Толстой задал им единственный вопрос: "Какая музыка нужнее людям — музыка ученая или народная?" По свидетельству С.Л.Толстого (Очерки былого. — М., 1949), Лев Николаевич потом сказал своим, что Шаляпин песню "Ноченька" поет по-народному, без вычурности и подделки под народный стиль, остальные же произведения, в том числе "Судьба" Рахманинова и "Блоха" Мусоргского ему не понравились. См. также об этой встрече воспоминания А.Б.Гольденвейзера: "В этот вечер Лев Николаевич был дурно расположен, и мне казалось, что удивительное пение Шаляпина не произвело на него особенного впечатления... Шаляпин пел что-то Мусоргского, который никогда на Льва Николаевича не производил впечатления, "Судьбу" Рахманинова, показавшуюся ему фальшивой (слова Апухтина он назвал отвратительными), что-то Шуберта и Шумана и чудесную русскую песню "Ночь". За исключением Шумана, Шуберта и песни, Лев Николаевич ко всему остался совершенно равнодушен. Шаляпин не был в этот вечер особенно "в ударе", но пел все-таки чудесно, и я думаю, что пение его мало дошло до Льва Николаевича отчасти из-за выбора вещей, а главное, из-за того, что Лев Николаевич был не в духе" (Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. — М., 1959. — С. 58).

С. 435. *...какой-то кузнец... - Пой, Федя!* — Бунин пересказывает фрагмент из книги воспоминаний Ф.И. Шаляпина "Маска и душа" (Париж, 1932).

С. 438. *Раз, приехав на "Среду"...* — по словам Н.Д.Телешова этот импровизированный концерт состоялся в "один осенний вечер 1904 года" (Телешов Н.Д. Записки исателя. — М., 1948. — С. 297–298).

Так пел он однажды и у нас в гостях, на Капри... — Шаляпин приезжал на Капри в феврале 1912 г. Вечер 1 (14) февраля Бунины провели у Горького,

слушая пение и рассказы Шаляпина. (См.: Бабореко А.К. И.А.Бунин. — С. 182–183).

О Шаляпине // Иллюстрированная Россия. — 1938. — № 19. — 30 апреля. — С. 3–4. — Позднее оба очерка, посвященные Ф.Шаляпину, были объединены Буниным и опубликованы под заглавием "О Шаляпине" в газете "Новое русское слово" 11 апреля 1948 г. (№ 13135) и вошли в его книгу "Воспоминания".

С. 441. *...на торжественном сборище в Михайловском театре...* — см. коммент. на с. 610.

Перечитывая Куприна // Современные записки. — 1938. — № 67. — С. 309–316.

С. 443. ... *вроде Маныча...* — Маныч Петр Дмитриевич (ум. 1918) — литератор, журналист, один из многолетних постоянных спутников Куприна.

С. 444. *...*"*его нежная, почти женственная натура...*", "*стройная, грациозная фигурка Нины...*" — фразы из повести А.И.Куприна "Молох" (1896). Приведенные далее извлечения из повестей и рассказов Куприна даны Буниным не всегда точно, иногда — в свободном изложении.

Памяти П.А.Нилуса // Русские новости. — 1946. — 24 мая (№ 54). — С. 4.

С. 449. *...третья годовщина со дня кончины моего многолетнего друга художника Петра Александровича Нилуса...* — П.А.Нилус скончался 23 мая 1943 г. в оккупированном Париже. Бунин и Нилус познакомились летом 1898 г. в Одессе. Нилус был в числе экспонентов (а с 1899 г. и членов) Товарищества южнорусских художников, с которыми Бунин тесно общался. В 1901 г. Бунин посвятил Нилусу стихотворение "Счастье" ("Нет солнца, но светлы пруды...") и использовал ряд характерных черт художника в рассказах "Галя Ганская" и "Сны Чанга". В свою очередь Нилус посвятил Бунину картину "Одиночество" (1901) и написал его портрет (1918). Его же перу принадлежит статья "Ив.Бунин и его творчество", прочитанная автором на литературном вечере к 25-летию литературной деятельности Бунина 17 января 1913 г. в Одесском литературно-артистическом клубе.

...был учеником известного художника Костанди — Костанди Кириак Константинович (1852–1921) — живописец, передвижник, ведущий преподаватель в Одесской рисовальной школе (с 1899 г. — художественное училище).

Репин Илья Ефимович (1844–1930) — художник-реалист, член Товарищества передвижников, в течение ряда лет профессор петербургской Академии художеств.

Передвижники — художники, входившие в "Товарищество передвижных художественных выставок" (1870–1923).

С. 450. *Был он и талантливым беллетристом...* — Первый рассказ Нилуса "Утро" (1906) был посвящен Бунину. Несколько десятков рассказов Нилуса было опубликовано в периодической печати, вышли два его сборника: "Рассказы" (М., 1911) и "На берегу моря" (М., 1917). Бунин принимал активное участие в литературной судьбе Нилуса, всячески поощряя его писать, рекомендуя его рассказы к изданию и выступая их редактором.

Письмо в редакцию // Советский патриот. — 1946. — 5 июля (№ 89). — С. 3.

Интервью, о котором идет речь в письме Бунина, было напечатано в "Советском патриоте" 28 июня 1946 г. (№ 88). "Меня просто на удивление, дико оболгали",— возмущался Бунин по поводу публикации этого интервью в письме М.А.Алданову (см.: Переписка И.А.Бунина с М.А.Алдановым // Новый журнал. — 1983. — № 152. — С. 166–167).

"Панорама" // Русские новости. — 1946. — 30 августа (№ 68). — С. 4.

С. 451. *Гофман* М.Л. "Книга о русских поэтах последнего десятилетия" (СПб.; М., 1909). Автор ряда книг по истории русской литературы на русском и французском языках. См. также коммент. на с. 563.

Тхоржевский Иван Иванович (1878–1951) — переводчик Омара Хайяма и французских поэтов, автор книги "Русская литература" (1-е изд. — Париж, 1946; 2-е изд. — Париж, 1950). В предисловии "От автора" ко второму изданию Тхоржевский писал: "Первое издание этой книги разошлось очень быстро и вызвало в печати широкий отклик: и резкую брань, и восторженные похвалы, и придирчивые критические разборы. Настойчивый спрос на книгу, во всяком случае, продолжается,— так что полезность ее доказана. Книга написана в свободной манере, охватывает материал от "Слова о полку Игореве" до Паустовского и Пришвина. Статья Бунина вызвала немало откликов. В "Русских новостях" № 70 за 1946 г. появилось его письмо: "Я получаю много писем по поводу моей заметки о "Русской литературе" Тхоржевского. Среди них есть и такие, в которых говорится, что напрасно я в этой заметке "защищал" лично себя. Но почему же писатель не должен защищать свой труд от всяких зловредных хулителей? Это во-первых. А во-вторых, я ведь "защищал" и многих других, в том числе и таких, как Жуковский, Тургенев и сам Пушкин, про которого Тхоржевский дерзнул сказать, что он "только краешком копыт Медного всадника коснулся символизма" (совсем позабыв в пылу своей развязности, что даже у медных всадников не бывает копыт)".

С.452. *Котошихин* Григорий Карпович (ок. 1630–1667) — подьячий посольского приказа, бежавший в Швецию и составивший записку "О России" (1666). Казнен в Швеции за убийство в 1667 г.

Павлова Каролина Карловна (урожд. Яниш, 1807–1893) — поэтесса.

...и ее муж — Павлов Николай Филиппович (1805–1864) — писатель, женился на Каролине Яниш в 1837 г. Дом Павловых был широко известным в Москве литературным салоном.

Письмо <в редакцию> // Новое русское слово. — 1947. — 26 октября (№ 12967). — С.8.

Письмо <в редакцию> // Новое русское слово. — 1948. — 30 декабря (№ 13397). — С.3.

С.456. *Яблоновский С.* (наст. имя и фам. Сергей Викторович Потресов; 1870–1953) — журналист, литературный и театральный критик, поэт, переводчик, мемуарист.

<Речь о Пушкине> // *Седых–1962.* — С.220. — Примеч. публикатора: "У меня сохранился подлинник, написанный рукой Бунина". Речь была произнесена Буниным в Париже в публичном собрании по случаю 150-летия великого поэта.

"Мы не позволим" // Новое русское слово. — 1951. — 7 января (№ 14136). — С.3.

С.460. *Мир таинственный, мир древний...* — Бунин неточно цитирует стихотворение Есенина без заглавия "Мир таинственный, мир мой древний..." (1921)

С.461. *...отказался написать стихи в честь царя...* — Эта история, в крайне преувеличенной форме, но имеющая в первооснове реальные факты, получила известность после посмертной публикации автобиографических заметок Есенина.

...воспевая Ленина, слава которого "шумит, как ветр, по краю" и новую (ленинскую) эру, которая... "не фунт изюма вам" — строки из стихотворения Есенина "Стансы" (1924).

Сразу после публикации статьи Г.Александрова в ноябре 1950 г. Бунин прислал редактору газеты "Новое русское слово" А.Седых гневное письмо с бранью в адрес ее автора и угрозой: "И это (т.е. выступление Александрова о Есенине) совершенно отбивает у меня охоту продолжать печататься у Вас" (*Седых—1962.* — С.236—237). В письме от 15 января 1951 г. Андрею Седых Бунин писал в продолжении темы о Есенине: "...Мне Есенин уже осточертел, но не обрывать г. Александрова я все-таки не мог. А что написал Адамович о Есенине! Пушкинская свобода оказалась у Есенина! Есенинское хулиганство очень похоже на пушкинскую свободу! Есенин отлично знал, что теперешний читатель все слопает. Нужна рифма к слову гибель — он лупит наглую х... "выбель". Вам угодно прочесть, что такое зимние сумерки? Пожалуйста:

Воют в сумерки долгие, зимние
Волки грозные (!) с тощих полей,
По дворам в догорающем инее
Над застрехами храп лошадей...

Почему храпят лошади в зимние сумерки? Каким образом они могут храпеть над застрехами? Молчи, лопай, что тебе дают! Благо никто уж не знает теперь, что застрехой называется выступ крыши над стеной. Не знает и Адамович,— он вряд ли знает даже и то, что такое лошади! И умиляется до слез, как "блудный сын" (Есенин) возвращается к родителям в деревню, погибшую оттого, что возле нее прошло — уже 100 лет тому назад шоссе, от которого "мир таинственный" деревни "как ветер, затих и *присел*". Я нынче тоже написал, как именно Есенин возвращается к маме и папе — написал а la Есенин.

Папа бросил плести *лапоть*,
С мамой выскочил за тын,
А навстречу мамы с *папой*
Их законный сукин сын!

Целую Вас и прошу извинить меня за Есенина.
Ваш Ив.Бунин".

(*Седых—1962.* — С. 241—242).

В той же книге А.Седых вспоминает: "За несколько дней до нашего отъезда в Нью-Йорк Иван Алексеевич прислал мне в подарок свою фотографию (23 года!) с нежной, тронувшей меня надписью, но на оборотной стороне не выдержал и написал:

Оседлаю коня, коня борзого
И помчусь, полечу легче сокола —
Догоню, ворочу мою молодость!
Но, увы, нет пути к невозвратному
Никогда не взойти солнцу с Запада...

Кольцов.

Это не чета сукину сыну Есенину. Всю его лживую, писарскую лирику можно отдать за две строки Кольцова:

На заре туманной юности
Всей душой любил я девицу...
Ив.Бунин" (*Седых—1962.* — С.230).

Милые выдумки // Новое русское слово. — 1951. — 13 мая (№ 14262). — С.8.

По свежим следам история с Окуличем и Струве была изложена Буниным в письме от 18 августа 1947 г. Андрею Седых (Я.М.Цвибак): "...Я получил сперва одну вырезку, потом другую из "Русской жизни", которая где-то в Америке издается,— это "Письма в редакцию". Вот первое, подписанное <...> Глебом Струве (он теперь переселился в Америку из Англии, профессорствует в Беркли, в Калифорнии):

"Письмо в редакцию (письмо по старой орфографии). М.Г.г. Редактор! В № Вашей газеты от 19 с.м. напечатана статья *уважаемого* (подчеркивания в этом и во всех последующих письмах сделаны рукой И.А.Бунина.— Прим. А.Седых) И.К.Окулича, в которой он, как о факте, говорит о поездке И.А.Бунина после войны, в СССР и о возвращении его оттуда, почему-то *при этом сопоставляя этот факт с судьбой выданного* Москве американцами и *расстрелянного большевиками ген. П.Н.Краснова*, который, как известно, во время войны стоял на откровенно прогерманской позиции. *Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления*, я считаю своим долгом *внести поправку* в статью И.К.Окулича: И.А.Бунин в Сов. Россию не ездил и, *насколько мне известно*, ездить не собирается, хотя попытки "соблазнить" его поехать туда и делались. Можно так или иначе *морально*-политически оценивать *некоторые действия* И.А.Бунина после освобождения Франции, но нельзя взваливать на человека обвинение *в поступке*, которого он не совершал. Глеб Струве".

Каково! Ясно, что этот "уважаемый" Окулич приписал мне *"поступок"* предательства мною Краснова на расстрел — какой же иначе *"поступок"*? И каков Глеб! Недурно *"защитил"* меня, коварная <...>, — *"защитил"* столь *нежно*, по отношению к Окуличу и столь *двусмысленно* по отношению ко мне?..

И вот ответ Окулича — его "Письмо в редакцию":

"М.Г.г. Редактор! В № "Р.Ж." от 11 июля помещено письмо проф. Г.П.Струве, отметившего мою ошибку по поводу поездки Бунина в Сов. Россию и *возвратившегося*. (Опять — все подчеркивания мои. И.Б.) Я, конечно, *не знаю, насколько точны* сведения Глеба Петровича, но я писал о поездке г. Бунина на основании подробного письма человека, проживающего теперь в Западной Европе, *к которому питаю доверие*. Быть может, он и совершил ошибку. Но *действия* г. Бунина самого последнего периода давали право считать сведения о его поездке достоверными. *На это, по-видимому, намекает и сам Гл. П.* С истинным уважением Иосиф Окулич".

Глеб был прошлой осенью в Париже и я его видел у брата Алексея и он в постоянной переписке с ним — как же он "сомневается": ездил я или не ездил? *И почему он "не вдается в оценку по существу этого сопоставления"* (сопоставления Окуличем моей поездки и расстрела Краснова)? И кто же хуже — <...> Окулич или Глеб? <...> Да, какие такие "действия" я совершил? Напечатал несколько рассказиков в "Р.Нов." — да, это очень мне грустно, но нужда, нужда! И все-таки, ужели это "аморально"?

Что еще? Был *приглашен* в посольство *позапрошлой осенью* — и поехал — как раз в это время получил 2 телеграммы от Государственного Издательства в Москве — просьбы немедленно выслать сборник моих последних рассказов для издания и еще несколько старых моих книг для переиздания. Увы, посол не завел об этом разговора, *не завел и я* — пробыл 20 минут в "светской" (а не советской) беседе, ничего иного не коснулся и уехал. Ужели это тоже аморальные, преступные действия?

Позапрошлой зимой получил от писателя Телешова из Москвы известия, что издается большой том моих избранных произведений Государственным Издательством — и написал столь резкое письмо в это издательство ("Вы распоряжаетесь мною , как своим добром и даже не советуясь со мной, точно Вам наплевать на меня"), что получил позапрошлой весной французскую телеграмму от этого Государственного Издательства: "Согласно вашему желанию, издание ваших избранных произведений suspendue". <фр.— "приостановлено">.

Вот, Яшенька, *все мои* "действия". И никуда я не поехал, хотя советский консул и старший советник посольства довели до моего сведения, что, если бы я поехал, я был бы миллионер, имел бы дачи, автомобили и т.д. *Я остался доживать свои истинно последние дни в истинной нищете да еще во всяческих болезнях старости.* Кто поступил бы так на моем месте? Кто?" (Цит. по: *Седых—1962.* — С.216—218).

С.462. *Краснов* Петр Николаевич (1869—1947) — генерал от кавалерии, участник первой мировой войны. В октябре 1917 вместе с А.Ф.Керенским возглавил антисоветский мятеж: командовал войсками, направленными на Петроград. С конца 1919 находился в Эстонии, где возглавлял пропагандно-политический отдел в штабе армии генерала Юденича. Затем перебрался во Францию, где, не оставляя политической деятельности (как член Верховного монархического совета), занимался литературным трудом (трилогия "От двуглавого орла к красному знамени", романы из жизни старой армии "Опавшие листья", "Единая неделимая", "Понять — простить" и др., а также исторические романы). Во время второй мировой войны находился в Германии, где с сентября 1943 г. возглавлял Главное управление казачьих войск вермахта. В мае 1945 г. был выдан английским командованием советским властям и по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 16 января 1947 г. казнен. В дневнике Бунина есть запись от 28 июля 1940 г.: "Читаю роман Краснова "С нами Бог". Не ожидал, что он так способен, так много знает и так занятен" (*"Устами Буниных".* — Т.3. — С.55).

Письмо Георга Брандеса // Новое русское слово. — 1953. — 22 марта (№ 14939). — С.3

С.463. *Брандес* Георг (1842—1927) — датский литературный критик, который возглавил в начале 1870-х гг. в Дании движение за реализм в литературе, против романтизма.

К моим "Воспоминаниям" // Новое русское слово. — 1953. — 17 мая (№ 14995). — С.8

С.467. *...писатель Шмелев,.. горячий поклонник Гитлера...* — Основанием для этих слов послужил факт издания Шмелевым нескольких глав из романа "Лето Господне" в газете "Парижский вестник", выходившей в оккупационном Париже. См. ответ Шмелева на упрек в коллаборационизме в газ. "Русская мысль" 31 мая 1947 г.: "... Я шел на жертву, работая в такой газетке. Но что же делать? Хоть через вражий орган "шептать" правду...— поймут, вздохнут, хотя бы слабый лик России почувствуют. Меня читали — и были благодарны. И все это — никак не значит, что я "работал с немцами": моя работа шла как раз вразрез с их целью...".

Указатель периодических изданий*

Газеты

Возрождение — ежеднев. газ.: Орган рус. нац. мысли / Ред. П.Б.Струве (1925–1927), с авг. 1927 — Ю.Ф.Семенов (Париж, 1925–1940) — 9, 14, 210, 221, 255, 261, 263, 264, 451, *538, 541, 547–550, 552, 554, 556, 558, 559, 561–564, 566–577, 582.*

Галлиполи — изд. об-ва галлиполийцев (Белград, 1923) — *533.*

День русской культуры — однодневн. газ. (Париж, 1926) — *550.*

Дни — ежеднев. газ. / Под ред. А.Ф.Керенского (Берлин, 1922–1925; Париж, 1925–1928) — *570, 571, 575, 584.*

Наше слово (Одесса, 1919) — *472.*

Новая газета — двухнедельник лит. и искусства / Ред. М.Л.Слоним (Париж, 1931) — *561, 603.*

Новая русская жизнь — орган рус. освобод. нац.-гос. мысли / Ред.-изд. Ю.А.Григорков; При ближайшем участии В.Д.Кузьмина-Караваева, А.И.Куприна и др. (Гельсингфорс, 1919–1922) — *511.*

Новое русское слово — ежеднев. газ. / Глав. ред. [последовательно] А.Я.Кречмар, М.Е.Вейнбаум (1922–1973), с 1973 — А.Седых (Нью-Йорк, 1920–) — 454, *554, 572, 607, 616, 618, 619.*

Общее дело — ежеднев. газ. / Ред.-изд. В.Л.Бурцев (Париж, 1918–1922, 1928–1933) — 9, *493, 495, 496, 498, 500, 504, 507, 511, 512, 515, 520, 526, 530, 533, 569.*

Огни — рус. внепарт. газ. / Ред.-изд. Г.А.Алексинский (Прага, 1921) — *516, 518, 519.*

Одесские новости — ежеднев. газ. / Изд. Профессионального союза сотрудников и служащих, "Одесские новости" и "Малые Одесские новости" (Одесса, 1884–1920) — 32, 103, 422, *471, 483.*

Одесский листок — ежеднев. газ. / Основ. В.А.Навроцкий; Изд. С.М.Навроцкая (Одесса,1872–1920) — 21, *470.*

Последние новости — ежеднев. газ. / Ред. М.Л.Гольдштейн (1920–1921); с 1 марта 1921 г. под ред. П.Н.Милюкова (Париж, 1920–1940) — 9, 10, 20, 101, 145, 146, 155–157, 177, 225, 228, 232, 261, 264, 386, 416, 418, 419, *530, 532, 533, 535, 538–541, 548, 550, 553, 555, 559, 561, 568–570, 572, 573, 575, 577, 581, 584, 585, 586, 588, 592, 595, 598, 601–606, 610, 611, 613, 614.*

Родное слово (Одесса, 1920) — *484.*

Россия — однодневн. газ. (Белград, 1934) — *608.*

Россия — еженед. газ.: Орган национальной и освободительной борьбы / Ред. П.Б.Струве (Париж, 1927–1928) — *571, 572, 573, 577, 607.*

Россия и славянство — орган национально-освободительной борьбы и славянской взаимности: Еженед. газ. при ближайшем участии П.Б.Струве / Ред. комитет: К.И.Зайцев, Л.И.Львов, С.С.Ольденбург, Г.П.Струве, Н.А.Цуриков (Париж, 1928–1934) — *550, 571, 577, 583, 585.*

---

* В список вошли те периодические издания, в которых публиковались публицистические статьи И.Бунина.

Руль — ежеднев. газ. / Ред. Н.Радин; Осн. И.В.Гессеном; При участии А.И.Каминки, В.Д.Набоков (Берлин, 1920–1931) — 210, *512, 534, 535, 538, 541, 550.*

Русские новости / Ред. А.Ф.Ступницкий (1945–1951), М.Бесноватый (1952–1970) (Париж, 1945–1970) — 20, *615, 616.*

Русский инвалид — воен.-науч. и лит. газ.: Орган Главного правления зарубеж. Союза рус. воен. инвалидов / Редкол.: в 1929–1932 гг. Н.Н.Баратов, Б.К.Зайцев, Н.А.Тэффи, И.С.Шмелев, А.М.Черный, А.А.Яблоновский; гл. ред. Н.Н.Баратов; пом. Н.Н.Головин; в 1933–1939 гг. и.о. гл. ред. М.Н.Кальницкий; в 1961–1966, 1972 гг. гл. ред. С.Д.Позднышев (Париж, 1929–1933, 1936–1939, 1961–1966, 1972) — *601.*

Свободные мысли — обществ.-полит. и лит. газ. / Ред. И.М.Василевский (Не-буква) (Петроград; Париж, 1906–1921) — 102, *494.*

Сегодня — независимая демокр. газ. / Ред. Н.Г.Бережанский, М.И.Гофман (1922–1934), Б.О.Харитон (с 1925), М.С.Мильруд; Т-во "Народ" в лице Я.Брамса; Отв. ред. П.Н.Панов (Рига, 1919–1940) — *530, 567, 569, 572, 581, 595, 597.*

Слово — еженед. газ. / Ред. С.Ф.Штерн (Париж, 1922–1923) — *530, 531, 533.*

Советский патриот — орган Союза сов. патриотов (ССП) / Ред. Д.М.Одинец (Париж, 1945–1948) — 450, *555, 615.*

Утро — ежеднев. полит., экон. и лит. газ. / Ред.А.Ган; При участииА.Аверченко, И.Бунина, К.Бальмонта, Дон-Аминадо, А.Куприна и др. (Нью-Йорк, 1922) — *520, 528.*

Южное слово — ежеднев газ. / При ближайшем участии И.А.Бунина и Н.П.Кондакова (Одесса, 1919–1920) — 26, 183, 394, *473, 474, 476–478, 480, 482–484, 512.*

Журналы

Иллюстрированная Россия — еженед. лит.-илл. журнал / Ред. М.П.Миронов (1924–1930), А.И.Куприн (1930–1931) (Париж, 1924–1939) — *555, 569, 598, 608, 610, 612, 615.*

Современные записки — ежемес. обществ.-полит. и лит. журнал / Ред. кол.: Н.Д.Авксентьев, И.И.Бунаков, М.В.Вишняк (1920–1939), А.И.Гуковский (1920–1925), В.В.Руднев (Париж, 1920–1940) — 9, 257, *538, 540, 553–558, 561, 562, 567, 569, 570, 573, 574, 584, 615.*

Числа — сб. / Ред. И.В.де Манциарли (№ 1–4), Н.А.Оцуп (№ 1–10) (Париж, 1930–1934) — *554, 558, 562, 601.*

Именной указатель

А.А.Б. 212
А.Бн. *507*
А.Ч. *573*
Аввакум, протопоп 218, 219, 452
Аверченко А.Т. *485*
Авилов Б. *471*
Авилова Л.А. 242, 302, *567, 589, 593*
Авксентьев Н.Д. 93, 95, 96, *478, 491, 506, 507, 509*
Адамович Г.В. 14, 17, 20, 282–285, *581–584, 591, 592, 617*
Адан В. де Л. 389
Айвазовский И.К. *551*
Айхенвальд Ю.И. *536*
Аксаков С.Т. 135, 139
Аксаковы 146
Алданов М.А. 18, 20, 143, 229, 357, 358, 362, 424, 434, 453, *532, 553, 556, 586, 602, 614, 615*
Александр I 374, 376, *605*
Александр II 36, 165, 166, 213, 254, 294, 371, 467, *480, 551*
Александр III 36, 37, 261, 297, 357, 360, 450, *480*
Александр I Карагеоргиевич 395, *607*
Александр Македонский *581, 597*
Александр Невский *530*
Александра Федоровна *573*
Александров Г. 459–462, *617, 618*
Александров П. см. Ольденбургский П.А.
Алексеев А.П. *594*
Алексеев М.В. *473, 474*
Алексей Михайлович 339, *602*
Алисов, лавочник 182
Аллилуева С.И. 19
Алферов С. *492*
Альфонс XIII 369, *603, 604*
Амет, вице-адмирал *478*
Амфитеатров А.В. 82, 440, *503*
Андерсен Г.Х. 228
Андреев Л.Н. 22, 67, 87, 110, 270, 271, 275, 305, 327, 368, 413, 414, 428, 437, 439, 440, 442, 466, *471, 495, 514, 580, 581, 603, 604, 609, 613*
Андреева А.М. *604*
Андреева М.Ф. *512, 609*
Андреевский, городской голова в Одессе 433
Антипов Н.А. *552*
Антонов А.С. 130, 349, *521*
Анцыферов А.Н. 91, 93, *505, 506*
Апухтин А.Н. *614*
Аракчеев А.А. *572*
Аргунов А.А. *492*
Аркадьев М.П. *612*
Арсеньевы 211
Архипов П. 223–225
Арцыбашев М.П. 243, 244, 247, *567*
Аспасия (Аспазия) 70, *496*
Астапов Н.А. *492*
Астров Н. *492*
Афиногенов А.Н. 452
Афонский Н.П. 442
Ахматова А.А. 14

Бабель И.Э. 12, 14, 160, 172–174, 219, 231, 232, 244, *547, 558, 571*
Бабкин, купец 295
Бабореко А.К. *469, 577, 578, 583, 586, 594, 595, 596, 598, 609, 615*
"Бабушка" см. Брешко-Брешковская Е.К.
Багрицкий Э.Г. 391
Базаров В.А. *471*
Байрон Д.Н.Г. 168, 261, 389, *545, 601*
Бакаев И.П. 83, *503*
Бакунин П.А. *587, 588*
Бальзак О. де 283
Бальмонт К.Д. 118, 143, 239, 264, 299, 305, 314, 322–324, 461, *490, 491, 532, 576, 577, 583, 585, 586, 591, 593, 596–599*
Баранцевич К.С. 317, 318, *597*
Барер Б. де В. 190
Барту Л. *607*

Баршев Н.В. 241, 242, *566*
Барятинский В.В. *610*
Баттистини М. 435, 436
Батюшков К.Н. 127, 146, *519*
Батюшков Ф.Д. *586, 604*
Бауман Н.Э. 339
Бахрах А.В. *586, 592*
Бахрушин А.А. *594*
Башкирцева М.К. *581*
Бедный Д. *564*
Белинский В.Г. 325, 373, 374, *599*
Белоусов И.А. *581*
Белый А. 12, 13, 21, 120, 130, 137, 143, 163, 215, 221, 258, 284, 390, *470, 521, 522, 536, 543, 557, 558, 583–585, 596, 597*
Бенедикт, епископ 142
Бенуа А.Н. 386, 415, *585, 606*
Берберова Н.Н. 17, 20, *547, 554, 559, 570, 583*
Бернацкий М.В. *478*
Бетховен Л. ван 401, 434
Бицилли П.М. *583*
Благош 94
Блан Л. 169, 171
Бланк А.Д. *477*
Бланш 275, 276, 279
Блок А.А. 21, 22, 112, 119, 120, 137, 143, 144, 154, 159, 163, 164, 215, 234, 235, 258, 284, 326, 390, *470, 471, 517, 536, 537, 541, 543, 562–564, 583, 584, 596*
Блок Л.Д. 235
Блэр Г. 377, *605*
Блюмкин Я.Г. *508, 570*
Боборыкин П.Д. *591, 598*
Бобрищев-Пушкин А.В. *532*
Богданов А.А. 116, *516*
Богданов Б.В. *472*
Богданович А.И. *600*
Богомолов А.Е. 17
Богомолов, букинист 379
Богомолов, купец 289
Божнев Б.Б. 228, *560*
Болдырев В.Г. *509*
Болесцис Н. 216, *553, 555*
Болотников И.И. *517*
Бонч-Бруевич В.Д. 213, *551*
Бонье, литератор 406
Бонье С.П. 429, 465, *613*
Боратынский Е.А. 178, *548, 549*
Борисоглебский М.В. 241, *566*
Борман А.А. *568*
Боярский Я.И. *612*
Брандес Г. 463, 464, *619*
Брешко-Брешковская Е.К. ("Бабушка русской революции") 45, 95, 96, 116, *485, 492, 516*
Бродский Б. 210, *550*
Брусо 198, 199
Брут М.Ю. 191
Брюс Я.В. *602*
Брюсов В.Я. 21, 118, 209, 303, 312–314, 323, 325, 354, 388, *470, 471, 491, 570, 583, 585, 593, 596, 597, 599, 602, 606*
Будберг М.И. *501*
Буденный С.М. 184
Будылин И.Т. *472*
Буковецкий Е.И. 431, 432, *613, 614*
Булгаков В.Ф. 43, 139, *483, 484*
Булгаков М.А. 14
Бунин А.Н. 177, 208, 377
Бунин В.П. 374
Бунин Д.М. 377
Бунин Е.А. *592, 593*
Бунин И.П. 375
Бунин П.М. 374, 375
Бунин Ю.А. 5, 8, 208, 301, *578, 592, 594, 595, 609*
Бунина А.П. 16, 208, 211, 373–377, *605*
Бурцев В.Л. 9, 147, *511, 533, 538*
Бухарин Н.И. *547*
Быстров Н. 156, *541*

В.Т. *521, 522*
Валери П. 242
Вальтер В.Г. *591*
Василевская О.Б. *607*
Василевский (Не-Буква) И.М. 40, 41, 101–103, *482, 512*
Василий III *611*
Васильева О.Ю. *495*
Васнецов А.М. 434
Васнецов В.М. 76, 434
Ведков Н. 296, *590*
Вейнбаум М.Е. 454, 455
Вейнберг П.И. 317–319, *597*
Вельо *546*
Венгеров С.А. *563, 600*

Вениамин, митрополит 142, *531*
Вергилий М.П. 86, 205, 206, *550*
Вердье 238
Верлен П. *548*
Веселый А. 12–14, 219, 220, 231, 232, *558*
Ветлугин А. 110, 111, 113, *515, 569*
Виллет 236, 238
Вильгельм II 150, 429, 465, *535*
Вильсон В. 32, 62, *474*
Вильямс Г.В. *500*
Винавер М.М. *566*
Виноградов В.А. *509*
Вирт К.Й. *522*
Витгенштейн К.С. 166, *545, 546*
Витте С.Ю. *575*
Вишняк М.В. 91, 92, *504, 505, 575, 583*
Владимир I 159, 167
Воеводин А.А. *552*
Воейков А.Ф. 374
Воейковы 211
Вологодский П.В. *509*
Володарский В. *493*
Волошин М.А. 13, 16, 215, 216, 386–394, *479, 551, 552, 596, 606, 607*
Волошина Е.О. 388, *606*
Волынский А.Л. 324, *599*
Вольский В.К. 96, *509, 510*
Вольтер 236–239, 347, 452
Воровский В.В. *513*
Воронский А.К. 13, 14, 175, 229, *547, 548, 559, 561*
Воронцов В.П. 324, *599*
Ворошилов К.Е. 466
Воскресенский Н. *499*
Востряков Б.Д. *588*
Врангель П.Н. 8, 84, 87–89, 96, 107, 147, 251, 384, *473, 475, 503, 512, 534, 553*
Всеслав Брячиславич, князь 202, 203, *550*
Вырубова А.А. 261, *573*
Высоцкий 9
Вяземский П.А. *601*

Габсбурги, династия 150, *535*
Гавронские 9
Газданов Г.И. 216, 452, *554*
Гайда Р. 94, *508*
Гайдебуров П.А. *566, 595*
Галкин Н.А. 95, *509*
Галлен-Каллела А. *566*
Гальперин *538*
Гальстрем П. 400, 401
Гамсун К. 440
Гамэн Ф. 198, 200–202
Гарин-Михайловский Н.Г. 239, *564, 598*
Гаршин В.М. 211, 267, 287, 321, 463, *595, 598*
Гастев А.К. 75, *497*
Гауптман Г. 141, 142, *530, 533*
Гвоздев К.А. 48, *485*
Гегель Г.В.Ф. 33, 117, 295
Гейдеко В.А. *578*
Гейне Г. 389
Геккер 392
Гендельман М.Я. *509*
Герасимов М.П. 162, *543, 547*
Герцен А.И. 55, 121, 127–129, 133, 136, 137, 139, 164, 293, 452, *519, 520, 524, 526, 529, 530, 543, 544*
Гершензон М.О. 214, 215, 287, 290–292, *551, 586, 588*
Гессен И.В. *538*
Гете И.В. 109, 146, 165, 168, 178, 225, 227, 229, 242, 466, *545*
Гиль Р. *582*
Гиляровский В.А. 382, 383, *606*
Гингер А.С. 216, 217, *553–555, 561*
Гинденбург П. *495*
Гинс Г.К. *478, 479, 507, 508, 510, 511*
Гиппиус З.Н. 101, 147, 230, 258, 263, 264, 305, 318, 319, *471, 538, 541, 553, 556, 558, 561, 562, 573–575, 583, 596, 597*
Гирса В. 94, *507*
Гирш В.В. 181, 325, *549*
Гитлер А. 17, 18, 456, 462, 467, *620*
Глазунов А.К. 83, 89, *503*
Гнедич Н.И. *519*
Гнедич П.П. *594*
Гоголь Н.В. 128, 133, 146, 300, 334, 454, *520, 546, 579, 584, 601*
Годнев И.В. *478*
Годунов Б.Ф. 66
Гольденвейзер А.Б. 210, 211, *550, 614*
Гольцев В.А. *598, 599*
Гомер 283

Гончаров И.А. 146, 226, 323, 453, *557, 559*
Горбов Д.А. 10, 13, 14, 225, 226, 228, 229, *559*
Горемыкин И.Л. 383, *606*
Горовой Е.Е. 132, *525*
Городецкий Д. *600*
Городецкий С.М. 258
Горький А.М. 7, 16, 22, 50, 53, 58, 63–68, 74, 75, 77–79, 81, 83, 85–89, 92, 93, 102, 107–110, 114–116, 118, 134, 135, 143, 147, 163, 174, 223, 234, 239, 240, 254, 261, 262, 266, 275, 305, 311, 326–329, 364, 368, 369, 380, 387, 388, 410–416, 426–428, 435, 437–442, 465, 466, *470, 471, 483, 485, 490, 493–504, 506, 512–517, 526–528, 530, 533, 559, 563–566, 572, 573, 577, 581, 585, 595, 598–601, 603–606, 608, 609, 612–614*
Гофман М.Л. 232, 233, 451, *563, 606, 616*
Гоц А.Р. *491*
Гоцы 9
Гракхи 192
Греч Н.И. 374, *605*
Гржебин З.И. 108, *513*
Грибоедов А.С. 291, *587*
Григ Э. 401
Григорович Д.В. 302, 303, 321, 323, 324
Григорьев А.А. 452
Григорьев Н.А. 7, 72, *496*
Грин М.Э. 19, *469*
Гроссман Л.П. 394, *578, 607*
Гросшопф А.И. *477*
Груздев И.А. *595, 600, 603*
Грузинский А.Е. *609*
Грэм С. *491*
Губернатис А. *544*
Гувер Г.К. 145, *533*
Гукасов А.О. 263, *575*
Гуковский А.И. *491, 492*
Гуль О.А. 19
Гуль Р.Б. 9, 19, *474*
Гуляницкая Г. *614*
Гусев Н.Н. *490*
Гусев-Оренбургский С.И. *477*
Густав V 398–404
Гутман (Ган А.) А.Я. 93, *479, 507, 528*
Гучков А.И. 45, *485, 557, 576*
Гэррисон Дж.Э. *491*
Гюго В.М. 389

Даватц В. *534*
Давыдов Н.В. 308, *594*
Давыдова А.А. 323, 381, 421, *598, 599*
Давыдова Л.К. *599*
Даль В.И. *532*
Даманская А.Ф. *502*
Данилевский Н.Я. 372, *605*
Данте А. 168, 283, *545*
Дантон Ж.Ж. 195, 199
Дарвин Ч.Р. 164, 289, *587*
Дельвиг А.А. *548*
Демулен К. 188, 190–196, *549*
Демут-Малиновский В.И. *602*
Дени 236
Деникин А.И. 8, 29, 31, 61, 73, 84, 87, 90, 96, 147, 185, *473–476, 485, 491, 492, 504, 510, 569, 571*
Дербер П.Я. *509*
Державин Г.Р. 14, 146, 231, 232, 254, 256, 374, 375
Десницкий В.А. *471*
Джером К. Джером 16, 247–249, *567, 568*
Дзержинский Ф.Э. 77, 92, 109, 115, 240
Диккенс Ч. 146, 228, 389
Дистерло Р.А. *590*
Дитрихштейн Д. фон В.Д. 143, *532*
Дмитриев И.И. 374, *605*
Добров Ф.А. 466
Добролюбов А.М. 303, 323–326, *599*
Добролюбов Н.А. 296, *590*
Долгорукие 344
Долгоруков П.Д. *534*
Долинский С.Г. 216, *554*
Дон-Аминадо 16, 102, 110–113, 253, 254, 262, 263, *512, 515, 569, 573*
Дормуа 236
Дорошевич В.М. *603*
Достоевский Ф.М. 7, 26, 56, 80, 81, 115, 118, 134, 137, 146, 226, 242–244, 255, 284, 285, 321, 361, 371–373, 389, *473, 474, 500, 515, 516, 522, 526, 529, 559, 560, 570, 584, 585, 598, 611*
Доусон-Скотт Э. *568*
Дубец *472*

Думенко Б.М. 185
Дункан А. 13, 117, 255, 261, 404–410, 461, *517, 570, 573, 608*
Дункан Е. 404
Дуров В.Л. 420, *611*
Дуров С.Ф. 373
Духонин Н.Н. 63, 105, 151, *492, 493*
Дыбенко П.Е. 58, 123, *479, 490*
Дьякова *519*
Дюма А. 327
Дягилев С.П. *610*

Евлогий, архиепископ 8
Екатерина II 39, 261, 340, 374, *602*
Елагин Ю. *612*
Еленев Н.А. 216, *554, 555*
Елизавета Алексеевна 374, 376, *605*
Елпатьевский С.Я. 267, *579*
Емельянов-Коханский А.Н. 118, 303, 304, 323, 325, *517*
Епифанский А. *591*
Ермолова М.Н. 309, 414, 442, *594*
Есенин С.А. 12, 118, 153, 159, 160, 162–164, 168, 171, 204, 219, 253–255, 257, 258, 261, 409, 410, 459–462, *536, 541, 543, 550, 558, 569–571, 573, 583, 616, 617*
Ефимов Б.Е. *548*

Жавог 191
Жанен *507*
Жемчужников Ал-др М. *593*
Жемчужников Ал.М. 303, 311, 312, 323, 324, 367, *593, 595*
Жемчужников В.М. *593*
Жемчужниковы 211
Жеребков Ю. 16
Жибер 365
Жид А. 19
Жорес Ж. 37, *480*
Жуковский В.А. 146, 149, 165, 211, 374, 452, 467, *535, 605, 616*

Зайцев Б.К. 17, 229, 388, 424, 456, 467, *556, 557, 583, 586, 602*
Зак 431
Замятин Е.И. 14, 234, *557, 563, 564*
Зарудный А.С. *478*
Засодимский П.В. 147, 289, 290, 315, 317, 319, *587, 588*
Заузе В.Х. 433, *614*
Зеелер В.Ф. 467
Зелинский Н.Д. *514*
Зензинов В.М. 96, *491, 509, 510, 560*
Зингер П. *608*
Зиновьев Г.Е. *477, 493, 495, 528*
Златовратский Н.Н. 112, 121, 122, 147, 180, 181, 244, 290, 296, 315, 323–326, *518, 519, 549, 590, 598*
Зленко Г.Д. *470*
Золотарев С.А. 131, 133, *522, 523*
Зубков 261
Зуров Л.Ф. 16, 286, 452, *585, 586, 608*

Ибсен Г. 129
Иван IV (Грозный) 41, 42, 51, 168, 294, 334, 335, 340, 346, *482, 483, 588, 601, 607*
Иванов Вс.В. 176, *548, 566*
Иванов Вяч.И. 59, 104, 160, 214, 215, 312, 313, 390, *490, 551, 596*
Иванов Г.В. 452
Иванов-Разумник Р.В. 491, *543*
Игельстром А.В. *514*
Игнатов И.Н. *600*
Изгоев (Ланде) А.С. 431, *613*
Измайлов А.А. 443, *580*
Изяслав Ярославич *547, 550*
Икскуль В.И. *604*
Ильин И.А. 263, *576*
Иоанн Дамаскин 160, 167, 170, *542, 545*
Иоанн Многострадальный 332, *601*
Иорданский Н.И. 117, *517*
Иоффе А.А. 114, *515*
Исаак Сирин (Сирянин) 332, *601*

Кагарлицкий Ю.И. *502*
Казанова Д.Д. 230, *561*
Казаньяк 281
Калинин М.И. 145, *532*
Каменев Л.Б. 68, *495, 501*
Каменева 261
Каневской И. см. Коневской И.
Кант И. 290
Кантемир А.Д. 452
Кантор М.Л. *566*
Капнист В.В. 374, 375, *605*
Карамзин Н.М. 146, 334, 374, 375, *605*
Карахан Л.М. 63, 105, *493*

Карл I 38, 136, *481*
Карпинский А.П. 83, *503*
Карпов С. 117
Карсавин Л.П. *557*
Карташев А.В. 155, 156, *534, 535, 537–539*
Карышев С.А. *612*
Карышева А.Г. *612*
Карышевы 421, *611*
Карьер 407
Касанов 72
Катаев В.П. 391
Катон Младший 191
Каторжный А. 54
Каутский К. 37, *480*
Качалов В.И. 440
Каширин А.М. *603*
Каширин В.В. 327, *600*
Керенский А.Ф. 9, 28, 33, 34, 46, 62, 63, 83, 84, 95, 96, 116, 119, 120, 126, 151, 330, *475, 476, 478, 492, 504, 516, 517, 535, 574, 575, 619*
Кипен А.А. *473, 477*
Киплинг Д.Р. 420, *611*
Киреевский П.В. 57, *489*
Киреевские 146, 211
Кишкин Н.М. 33, *478, 521*
Клемансо Ж. 71, *496*
Клеопатра 304, *517*
Клименко (Н.К.?) *473*
Климушкин П.Н. 96, *510*
Клодель П. 389
Клюев Н.А. 258, *571, 583*
Ключевский В.О. 129, 146, 151, 152, 363, 364, *535, 603*
Ключников Ю.В. *532*
Книппер-Чехова О.Л. 270, 298, 413, 427, 429, *580, 590–592, 594, 604*
Кнут Д. 216, 217, *553–555*
Кнышевский П.Н. *495*
Князев В.В. 75, *497*
Ковалев Ю. *502*
Ковалевский М.М. *591*
Коган П.С. *536*
Козлов П.К. *604*
Кокошкин Ф.Ф. 60, 61, 108, 124, *491*
Колло д'Эрбуа Ж.М. 198
Коллонтай А.М. 261, *573*
Колчак А.В. 8, 71, 84, 94, 96–98, 147, 392, *478, 492, 496, 507–511*
Кольцов А.В. 165, 211, 254, *617, 618*
Комиссаржевская В.Ф. 267, *594*
Кондаков Н.П. 295, *473, 484, 585, 589*
Коневской И. 303, 323–326, *593*
Кони А.Ф. 226, 307, *559, 560*
Константин Константинович (К.Р.) 305, *593*
Коншина Е.Н. *578*
Корещенко *603*
Корнилов Л.Г. 8, 28, 63, 126, 147, 251, *473–476*
Корнфельд М.Г. *485*
Коровин К.А. *610*
Короленко В.Г. 147, 266–268, 271, 287, 295, 296, 321, 327, 367, 463, *580, 585, 590, 598, 600*
Коррадо 73
Корш Ф.А. *593*
Костанди К.К. 449, *615*
Костомаров Н.И. 53, 54, 120, 138, 289, *486–488, 529, 586*
Котошихин Г.К. 452, *616*
Коутс А. 62, *492*
Крамской И.Н. 323
Крандиевская *604*
Красин Л.Б. 142, 261, *501, 531*
Краснов П.Н. 18, 462, *618, 619*
Кривенко С.Н. 317, 323, 368, *597*
Кривошеин А.В. 8, 19
Кромвель О. 38, 136, *481, 529*
Кропоткин П.А. 212–214, *550, 551*
Кроткова К.П. 216, *553*
Крыленко Н.В. 58, *490, 493*
Крылов 143
Крылов А.А. *548*
Крылов В.А. 381, *606*
Крылов И.А. 73, 118, 305, 374, 375, *496, 517, 593*
Крымов В.П. 454, 455
Крэг Г. *608*
Ксюнин А.И. 395, *607*
Кугель А.Р. *594*
Кузмин М.А. *596*
Кузнецов *492*
Кузнецова Г.Н. *469, 537, 538, 558, 559, 571, 572, 576, 578, 581, 582, 586, 608*
Кук Д. 98, 354, *416, 602*
Кульман Н.К. 155, *535*

Куприн А.И. 7, 15, 22, 101, 102, 147, 175, 382, 396, 419–424, 442–449, 454, 463, *471, 491, 511, 534, 538, 547, 577, 595, 599, 611–612, 615*
Куприн И.И. 420, *611*
Куприна Е.М. 423, *612*
Куприна К.А. 396, *608*
Куприна Л.А. 420, *611*
Куприна-Иорданская М.К. 423, *599, 611, 612*
Курилов В. 450
Куровский В.П. 431–434, *613*
Курочкин Вас.С. *560*
Куртуа 199
Кускова Е.Д. 145, 146, 260, *521, 531–533, 572*
Кутепов А.П. *534*
Кшесинская М.Ф. 441, *565*

Лаброс 238
Лавров В.В. 20
Лавров В.М. *598*
Ладинский А.П. 217, 452, *555*
Лазарев Е.Е. 9, *560*
Лазаревский В.А. 456, 467
Лакшин В.Я. *578*
Ламбаль 279
Ланде (Изгоев) А.С. см. Изгоев (Ланде)
Ланин А.И. 328, 410, 415
Лапинер 63
Лацис М.И. 92, *505, 506*
Лебедев В.И. 95, 229, *509, 560*
Лебедев Г.И. *605*
Лев XIII 280
Левитов А.И. 57, 123, 179, 256, 257, 315, 316, *490, 549, 570*
Лейкин Н.А. 324, *599*
Лекуврер А. 236
Лелевич Г. (Л.Г.Калмансон) 14
Ленин В.И. 10, 22, 30, 35, 63, 64, 75–79, 86–88, 107–109, 115, 119, 120, 129, 151–153, 163, 164, 175, 213, 240, 261, 337, 348, 387, 426, 441, 461, 464, *472, 477, 479, 493, 494, 495, 497–499, 501, 504, 512, 513, 515, 516, 526, 535, 539, 551, 565, 572, 613, 617*
Ленотр Ж. 186–196, 198–202, 236–238, *549*
Ленский А.П. 309, 442, *594*
Леонардо да Винчи *538*
Леонтьев К.Н. 227, *537*
Лермонтов М.Ю. 57, 123, 179, 211, 256, 268, 389
Лесков Н.С. 146, 211, 227, 302, 321
Лехович Д. *475*
Лжедмитрий II ("Тушинский вор") 129, *518*
Лилина М.П. 429
Линдберг М.Я. *509*
Линтварева А.В. *591*
Липин Б. *474*
Литвин А.Л. *477, 478, 531*
Лифарь С.М. *610*
Ллойд Джордж Д. 120, *501, 518*
Лоло (Lolo, Мунштейн Л.Г.) *610*
Ломоносов М.В. 165, 254, 434
Лонгинов М.Н. *544*
Лоран П.М. *586*
Лосский Б.Н. *557*
Лохвицкая Е.А. *549*
Лохвицкая М.А. 323, 364–366, *598, 604*
Лукаш И.С. *534, 586*
Лукьянов С.С. *532*
Луначарская-Розенель Н.А. 239, *565*
Луначарский А.В. 108, 118, 239–241, 261, *499, 517, 565, 577*
Лурье А. 218
Луцкий С.А. 216, 217, *554, 555*
Львов В.Н. *476*
Львов Л.И. 424, *569, 577, 579, 612*
Львов Н.Н. 263, *575*
Людендорф Э. 66, *495*
Людовик XV 186
Людовик XVI 38, 191, 198–202, *481, 603*

М. <Маковский С.К.> 261, *572, 573*
М.Л. *533*
М.М. *525, 532*
Майков А.Н. 146, 227, 256, 302, 321
Майский И.М. *502*
Макдональд Д.Р. 154, *536*
Маклаков В.А. 17
Маковский С.К. 17, *585*
Макс-Ли *591*
Макса П. *507*
Максимович М.А. *486*
Малашкин С.И. 75, *497*

Малларме С. 389
Мамин-Сибиряк Д.Н. 317, 323, 324, 381, *598, 599*
Мамонтов К.К. 349
Мансикк В. *514*
Мануйлов А.А. 233, *563*
Манухин И.И. *535*
Маныч П.Д. 443, *615*
Марат Ж.П. 38, 136, 200, *481*
Маргулиес М.С. 212, 213, *550*
Марешаль П.С. *587*
Мариенгоф А.Б. 51, 68, 153, 162, 171, 253, 255, 257, 258, *485, 495, 536, 543, 569–571*
Мария Антуанетта 199
Маркевич Б.М. *544, 546, 547*
Марков С.Л. 474
Маркс А.Ф. *544, 578*
Маркс К. 37, 63, 84, 106, 117, 197, 324, 325, 413, *480, 550*
Маркс Н.А. 394, *607*
Мартов (Цедербаум) Ю.О. 260, *572*
Масарик Т.Г. *507, 508*
Маслов С.Л. *478*
Маслов С.С. 131–133, *523–525*
Матьяш 73
Махно Н.И. 8
Маяковский В.В. 76, 118, 162, 176, 177, 204, 241, 456, *543, 548, 550, 564–566, 583*
Медичи Л. 169, 170, *546*
Мейерхольд В.Э. 429
Мельгунов С.П. 463, 467
Менделеев Д.И. 115, *515*
Меньшиков М.О. *600*
Мережковский Д.С. 7, 101, 147, 155, 157, 175, 223, 229, 258, 318, 321, 323, *503, 512, 519, 534, 535, 538, 539, 547, 553, 556, 559, 562, 580, 596, 598, 610*
Мережковские 452, *538, 556*
Мерзляков А.Ф. 374, *605*
Мерио 280
Метерлинк М. 322, 323, *598*
Мешков А.Н. *580*
Микеланджело Б. 167
Милашевский А. *575*
Миллер С.А. см. Толстая С.А.
Милюков П.Н. 9, 10, 101, 108, 145, 155–157, 264, 416, 418, 419, *502, 511, 512, 521, 530, 533, 538, 539, 548, 561, 566, 573, 574*
Милютин Н.А. *546*
Милютин Д.А. *603*
Минор О.С. 63, 96, *492, 560*
Минский Н. 115, 311, 317, 318, 321, 388, *516*
Миньо, аббат 236, 237
Мирабо О.Г.Р. 193
Мирбах В. 93, *508*
Миролюбов В.С. *492*
Мирский Б. 41, *482*
Митуар, аптекарь 237, 238
Митуар, врач 238
Михаил Александрович *576*
Михаил Черниговский 155, 158, *537*
Михайлов И. *587*
Михайлов П.Я. *509*
Михайловский Н.К. 292, 317, 318, 323, 324, *588, 590, 599*
Молотов В.М. 466
Мономаховичи 7
Монтень М. де *484*
Мопассан Ги де 146, 275–283, 382, 448, *581*
Мопассан Густав де 276
Мопассан Л. де 276–279
Мопассан Э. 276, 280–282
Морозов С.Т. *603*
Москвин И.М. 429
Мстиславский С.Д. 491
Муйжель В.В. 244
Муромцева-Бунина В.Н. 7–9, 11, 18, 19, 415, 425, 457, *469–473, 476, 477, 482, 484, 492, 500, 511, 519, 568, 571, 572, 577, 581, 583, 593, 608, 609, 611, 612, 613*
Муромцевы *470, 476*
Мусоргский М.П. *614*

Н. 20
Н.С. <Смирнов Н.П.> 10, 157, *541*
Набоков В.В. *530, 534, 570, 579, 585*
Набоков В.Д. 140, 141, *530, 537*
Навуходоносор II 153, *535*
Надсон С.Я. 147, 311, 321, 461, *595*
Наживин И.Ф. 40–42, 103, 121, 122, *482–484, 512, 518, 519*
Найденов С.А. 267, 299, 306, 307, 428, *579, 580, 591–596, 604, 613*

Нансен Ф. 71, *496, 503*
Наполеон I 288, *586, 600*
Наумов Н.И. 315
Нахамкис см. Стеклов Ю.М.
Нахимов П.С. 430, 465
Нахимсон С.М. *493*
Неверов А.С. *583*
Неккер Ж. 194
Некрасов Н.А. 121, 146, 261, 294, 319, 327, 452, 461, *518, 533, 560, 588, 597*
Нельсон Г. 229
Немирович-Данченко Вас.И. 323, 324, *599*
Неимрович-Данченко Вл.И. 426, 428, *590, 600, 612, 613*
Немитц А.В. 392
Нестор *547*
Нефедов Ф.Д. 256, 301, 315, *570, 592*
Никитин И.С. 211
Никитин Н.Н. 176, *548, 566*
Николаевский Б.И. *538*
Николай I 137, *519, 520, 529*
Николай II 358, 360, 367, 369, 383, 429, 465, *559, 599, 600, 604*
Николай Николаевич (младший) (Вождь) 217, 224, 263, *555, 556, 559*
Нилус П.А. 431, 449, 450, *475, 613, 615*
Ницше Ф. 117
Нобель А. 19, 397, 399–404, 418, *573, 608, 610*
Нобель Э. 399
Новиков Н.И. 375
Норманди Г. 276, 277, *581*
Нот *507*

Овсянико-Куликовский Д.Н. 41, *477, 482, 600*
Одинец Д.М. 450
Озеров В.А. 375, *605*
Окулич И.К. 19, 462, 463, *618, 619*
Олеша Ю.К. 391
Ольга Александровна 357
Ольденбург С.Ф. 83, *503*
Ольденбургская О.А. 357, 360
Ольденбургский А.П. 362
Ольденбургский П.А. 16, 357–363, *603*
Ольденбургский Э. 358, *603*
Ольхин А.А. *486*
Омар 314, *597*
Омар Хайям *616*
Омулевский И.В. 147, 256, 315, *533, 570*
Ону А.М. 248, *568*
Орфанов М.И. 57, 123, 179, *490, 549*
Осоргин М.А. 285, *541, 584*
Островский А.Н. 146, *594*
Отрепьев Г.Б. 25, *473*

Павел I 357, 358
Павлов И.П. 77, 83, 87, 88, *498*
Павлов Н.Ф. 452, *616*
Павлова К.К. 452, *616*
Павлу Б. 94, *507*
Пак Ю. *552*
Панина С.В. 464, 465
Паншон 455
Парни Э. 57, 123, 179, *489*
Пасманик Д. *511*
Пастернак Б.Л. 12, 14, 219, 231, 232, *558*
Пасторет 188
Патейдель 94
Паустовский К.Г. *616*
Пашкова А.Г. *588*
Пащенко В.В. *594, 598*
Пепеляев В.Н. *507*
Перикл *496*
Перовская А.А. *544, 545*
Перовский А.А. (Погорельский А.) 165, *544*
Петерс Я.Х. 22, 77, *472*
Петлюра С.В. 68, 117, 197, *495, 496*
Петр I 39, 254, *426*
Петр III *603*
Петрашевский (Буташевич) М.В. 371–373, *605*
Петриченко С.М. *521*
Петров Н.Я. *588*
Петровский Д. 351, 352, *602*
Пешехонов А.В. 229, *478, 548, 561*
Пешков М.А. 412, *609*
Пешков М.С. 327, *600*
Пешкова В.В. 327, *600*
Пешкова Е.П. 411, *601, 609*
Пильняк Б.А. 160, 171–173, *542, 547*
Пильский П.М. 252, 275, 384, 448, 449, *569, 581*
Пирогов Н.И. 68
Писарев Д.И. 211, 226, 289, *587*

Писемский А.Ф. 146, 227
Пифагор 289, *586*
Плещеев А.Н. *598*
Плотин 218
По Э. 389
Победоносцев К.П. 292, *588*
Погожева А.В. *587, 588*
Подбельский В.Н. 21, *470*
Подвойский Н.И. 72, *496*
Поддубный И.М. 420
Познер С.В. *540, 541*
Поленц В. фон *490*
Полонский В.П. 13
Полонский Я.П. 211, 268, 302, 305, 321, *593*
Поляков С.А. 312, 313, *596*
Поляков (Литовцев) С.Л. *540, 541*
Полятус С.С. *580*
Понятовский А.И. *472*
Поплавский Б.Ю. *561*
Попова О.Н. 312, *596*
Поссе В.А. 380, 466, *605*
Потапенко И.Н. 181, 265, 266, 317, 319, 368, *549, 600*
Потехин Ю.Н. 143, 144, *532*
Правдин О.А. 309, 310, *594*
Преображенский Е. *492*
Пржевальский Н.М. *604*
Присманова А. *554, 561*
Пришвин М.М. *616*
Прокопович С.Н. *521*
Птолемей К. *597*
Пуаттевен А.Л. 276, 277
Пугачев Е.И. 25, 53, 137, 152, 293, *473, 572, 604*
Пушешниковы *592*
Пушкин А.А. 321, *598*
Пушкин А.С. 14, 22, 23, 51, 57, 118, 123, 138, 143, 146, 162–164, 179, 203–211, 226, 232, 242, 254, 256, 261, 289, 310, 311, 320, 321, 334, 379, 382, 384, 389, 411, 419, 420, 452, 457, *468, 472, 486, 529, 550, 569, 597–601, 610, 611, 616, 617*
Пушкин В.Л. 374
Пятницкий К.П. *595, 596*

Р.С. *538*
Радаков А.А. *485*
Разин С.Т. 33, 52–54, 58, 120, 124, 137, 138, 180, 289, 293, 460, *487, 586*
Разумовский А.К. *544*
Раковский Л.И. 241, *566*
Раковский Х.Г. 71, 261, *496*
Раскольников Ф.Ф. *479*
Распутин Г.Е. 261, *573*
Ратенау В. 131, *522*
Рафальский С.М. 216, *553, 555*
Рафаэль С. 162, *543*
Рахманинов С.В. 425, 438, *612, 614*
Рахманинова Н.А. *613*
Ревзин Ю. 196, 197
Регинин В.А. 71, *496*
Резников Д. *558*
Ремизов А.М. 12, 143, 216, 218, 220, 231, 424, *532, 553, 557, 576, 586*
Ренников А. *572*
Ренье А.Ф.Ж. де 216, 389, 390, *552*
Репин И.Е. 76, 392, 449, *607, 615*
Решетников Ф.М. 44, 57, *484*
Ржевский Л.Д. 15, 20, *583*
Робеспьер М. 38, 136, 170, 193, 195, *481, 546*
Робин 43, 393, *483*
Роговский Е.Ф. 96, *509*
Роден О. 406, 407
Родзянко М.В. 358, *603*
Родичев Ф.И. *511*
Розанов В.В. 220, 231
Ролан Ж.М. 199–201
Роллан Р. 264, 265, *576, 577*
Романовы 64, 88, 108, 157, 357, *494*
Ромашков Н.О. 300, 320, *592, 598*
Росси Э. 309, 442, *594*
Рощин Н.Я. *571*
Рубакин Н.А. 368, *604*
Рубинштейн А.Г. 421, *612*
Рубинштейны 323
Рудин А.К. *552*
Руже де Лиль К.Ж. *601*
Румянцев-Задунайский П.А. 340, *602*
Русанов Н.С. *491*
Рыбников П.Н. 57, *490*

Саади 42, 266, 379, *483, 578*
Сабашникова М.В. *606*
Савельев, помещик 288
Савельева 288

Савин (Саволайнен) И.И. 16, 250–253, 383–385, *569, 606*
Савина М.Г. 318, 381, *597*
Савина-Сулимовская Л.В. 384, 385
Савинков Б.В. 130, 390, *492, 520*
Савицкая Р.М. *501*
Савич И.Я. 155, *535*
Саволайнен М.И. 252, 385
Саволайнен П.И. 252, 385
Саенко Н.Ф. 123
Салазкин С.С. *478*
Салиас Е.А. 363, *604*
Салтыков-Щедрин М.Е. 321
Сарду В. 188, 407
Сафо (Сапфо) 365
Свердлов Я.М. 8, 30, 35, 106, *477*
Святополк-Мирский Д.П. 12, 13, 218, 219, 221, *556–558*
Святослав II Ярославич *547*
Северный (Юзефович) 392, *551, 552*
Седых А. 18, 20, 320, *468, 469, 536–538, 552, 564, 566, 597, 608, 616–619*
Сезанн П. *548*
Сейфуллина Л.Н. 160, 241, 244, *566*
Сельвинский И.Л. 12, 219, 220, *558*
Семашко Н.А. 143, 153, *535*
Семенов Н.П. 375
Семенов С.Т. 382
Семенов Ю.Ф. *576*
Семенов-Тянь-Шанский В.П. 370, 371
Семенов-Тянь-Шанский П.П. 370–374, 377, *604*
Семенова М.П. 375
Семеновы-Тянь-Шанские 16
Сен-Жюст Л. 170, *546*
Серафим Саровский 337, 394, *530, 607*
Сергеев-Ценский С.Н. *473*
Сергеенко П.А. 275, *580*
Сергий Радонежский 151, 152, 154, 340, *530, 535, 539*
Сеченов И.М. *587*
Симонов К.М. 17
Синани И.А. 426, *601*
Синклер М. *568*
Сиу 436
Скабичевский А.М. 6, 56, 123, 180, 227, 297, *489, 600*
Скирмунт С.А. 388, *606*
Скиталец С.Г. 58, 118, 119, 147, 254, 275, 327, 413, 414, 428, 437, 439, 440, *490, 569, 581, 603, 604, 609*
Скотт В. 146
Скотт М. *568*
Скрябина А.А. *554*
Славянофил *507*
Слоним М.Л. 12–14, 20, 228–232, *556, 558, 560–563*
Слонимский М.Л. *566*
Слонов И.А. *603*
Случевский К.К. 305
Смильг-Бенарио М. *477*
Смирдин А.Ф. 426, *590*
Смирнов С.А. *478*
Смурый М.А. 327
Собинов Л.В. 439
Соболь А. 117, 160, *517*
Соколов Б.Ф. 78, 79, *498–500, 505*
Соколов Н.Д. 60, 105, *491*
Соколов-Жамсон П.А. *594*
Соколова З.С. *587*
Соколовская О.В. *568*
Сократ 138
Соловейчик 63
Соловцов Н.Н. 266, *578*
Соловьев Вл.С. 161, 308, 313, 321, *541, 542, 596*
Соловьев С.М., историк 119, 120, 140, *517, 518*
Соловьев С.М., критик 314, *596, 597*
Сологуб Ф. 22, 258, 304, 305, 323, 324, *470, 471, 491, 583, 585, 593, 596*
Соломон 271
Сорин В. *559*
Сорокин П.А. *491, 492*
Спасский Г. *535*
Сперанский М.М. 375, *605*
Спинадель 216
Спиридонова М.А. 63, *492*
Сталин И.В. 466, *612*
Сталинский Е.А. 492, *560*
Стамболийский А.С. 131, *523*
Станиславский К.С. 409, 426, 428, 440, *579, 589, 591, 613*
Стасюлевич М.М. 242, 302, *567*
Стахович М.А. *490*
Стеклов (Нахамкис) Ю.М. 60, 105, 116, *491*
Степанова П. 463, 467

Степун Ф.А. *553*
Стивенс В. *491*
Стиннес Г. 131, *522*
Столыпин П.А. 263, *575*
Стравинский И.Ф. 218
Струве А.П. *618*
Струве Г.П. 13, 20, 462, 463, *560, 561, 618, 619*
Струве П.Б. 8, 9, 19, 232, 259, 263, 264, 323, 324, *534, 538, 563, 571, 572, 575–577, 600*
Суворин А.С. 302, 307, *591, 594*
Сувчинский П.П. 218, *557*
Судьбинин С.Н. *603*
Суханов (Гиммер) Н.Н. 116, *471, 516*
Сухомлин В.В. *560*
Сухомлинов В.А. 225, *559*
Сыробоярский *507*
Сыровы Я. 94, *507, 508*

Таборицкий С.В. *530*
Талин В.И. 261, 262, *572, 573, 575*
Татаринова Ф.К. 427, *613*
Телешов Н.Д. 17, 437, 439, *589, 595, 603, 609, 614, 619*
Терапиано Ю.К. 216, *554*
Тестов И.Я. 364, 382, 383
Тидеман И.И. 216, 221, *555, 556, 558*
Тимашев А.Е. *546*
Тихон, патриарх *531*
Тихонов А.Н. 108, 109, *471, 513*
Тодоров С. *523*
Толстая (Миллер) С.А. *544–546*
Толстой А.К. 6, 146, 158–161, 163–171, 226, 303, 426, 428, *541–547, 559, 593, 613*
Толстой А.Н. 393, 424, *468, 471, 530, 557, 570*
Толстой К.П. *544*
Толстой Л.Н. 5, 14–16, 22, 23, 30, 36–41, 43, 54, 57, 58, 115, 121, 123, 131, 136, 137, 139, 146, 179, 180, 210, 211, 224, 227, 242, 254, 256, 261, 267–269, 275, 283–285, 287, 292, 293, 305, 308, 321, 323, 324, 333, 358, 366–368, 380, 382, 397, 411, 418, 420, 424, 425, 429, 434, 446, 448, 454, 464, 465, 466, *473, 480–484, 488, 490, 515, 516, 522, 530, 550, 557, 579, 580, 582–584, 586, 598, 601, 604, 605, 612, 614*
Толстой С.Л. *614*
Толстой С.Н. 367, 368, *604*
Тренев К.А. 473, *612*
Третьяков П.М. 450
Три 237
Троцкий Л.Д. 22, 30, 35, 50, 53, 63, 114, 115, *472, 477, 479, 485, 495*
Трубецкой Н.С. *503*
Туган-Барановский М.И. 323, 324, *599*
Тургенев И.С. 6, 22, 23, 118, 131, 133, 146, 211, 226, 256, 257, 267, 270, 297, 317, 321, 373, 446, 452, 467, *471, 472, 522, 526, 559, 598, 613, 616*
Туринцев А.А. 216, 217, *553, 555, 557*
Тхоржевский И.И. 451–453, *616*
Тыркова-Вильямс А.В. *500, 502, 503, 534, 568*
Тэн И. 146, 452
Тэффи Н.А. 365, 424, 453, *549, 586, 598*
Тютчев Ф.И. 119, 121, 146, 211, 227, 256, 313, *517, 518, 596*

Уитмен У. 75, *497*
Ульянов И.Н. *477*
Урицкий М.С. 30, 63, 77, 106, 108, *477, 493*
Ус В. 54
Успенский Г.И. 55, 57, 122, 227, 287, 315, 317, 321, 327, *488, 489, 598*
Успенский Н.В. 57, 123, 179, 256, 257, 313, 315–317, *490, 549, 570, 596*
Устрялов Н.В. 143, *532*
Уткин И.П. 369, 370, *604*
Уточкин С.И. 433, 434, *614*
Уэбб Б. *501*
Уэллс Г. 64–68, 75, 81–89, 92, 93, 102, *494, 495, 500–503, 512, 530*
Уэллс Д. *501*

Фалин *612*
Федин К.А. *497*
Федоров А.И. *552*
Федоров А.М. 421, *473, 589, 592, 611*
Федоров И. 234
Федоров С.П. *499*
Федорович Ф.Ф. *511*
Федорченко С.З. 245–247, *567*

Федосюк Ю.А. *549*
Федотов М.И. 289
Федотовы *587*
Феодосий Печерский 170, *547*
Ферапонт, схимонах 344
Ферсман А.Е. 110, *514*
Фет А.А. 146, 211, 302, 321, *598*
Фигнер В.Н. *514*
Фидель Н.И. (Кока) *609*
Филипп Эгалитэ 359, *603*
Филиппов Д.И. 352
Филипченко И.Г. 75, *497*
Фихте И.Г. 93
Флобер Г. 146, 276, 280, 283
Фондаминский И.И. *571*
Фондаминские 9
Фортунатов С.О. 181
Фостиков М.А. *520*
Фофанов К.М. 321, 323, *549, 580*
Фохт В.Б. *554*
Франс А. 389, 453
Франциск Ассизский 239, *564*
Фруг С.Г. *580*

Хемницер И.И. *517*
Хитрово Л.А. 383
Хлебников В. 351, 352, *602*
Хмельницкий Б.М. 53, *486, 487*
Ходасевич В.Ф. 255, 257, *554, 556, 557, 569–571, 595, 612*
Холмогоров И. *483*
Худякова М.Я. 73

Цветаева М.И. 12, 13, 218–221, 230, 231, *534, 553, 555, 557, 558, 586*
Цезарь Г.Ю. *597*
Цемах Т.Д. 392, *607*
Церетели И.Г. 62, *492*
Цеткин К. 117, 197
Цетлин М.О. *607*
Цетлина М.С. 17, *607*
Цетлины 9, 389, 390
Цицерон М.Т. 192
Цуриков Н.А. 210, 211, *550*

Чаадаев Я.П. 289, *587*
Чахотин С.С. 142, *531, 532*
Чеботаревская А.Н. 305, *471, 593*
Челлини Б. 169, *546*
Чернов В.М. 94, 95, 130, 229, *478, 491, 508, 509*
Черный А. *586*
Чернышевский Н.Г. 146, 147, 226, 325, *533, 598, 599*
Чертков В.Г. *586, 604*
Черчилль У.Л.С. *503*
Честертон Г.К. *491*
Четвериков Д. 241, 242, *566*
Чехов Ал.П. 374, *605*
Чехов А.П. 5, 14-15, 16, 58, 122, 123, 181, 182, 227, 239, 256, 265–275, 285, 287, 294–300, 306, 321, 323, 327–329, 370, 380–382, 411, 421, 424, 426–429, 435, 439, 446–448, 453, 454, 463–465, 467, *490, 549, 560, 564, 565, 570, 577–580, 584, 585, 588–595, 598, 600, 601, 604, 606, 609, 613, 614*
Чехов Е.М. *589*
Чехов М.П. *579*
Чехов П.Е. *589*
Чехова Е.Я. 270, 273, 295, 429, 464, 465, *580, 613*
Чехова М.П. 270, 295, 299, 429, 464, 465, *578, 579, 589, 592, 613*
Чечек 94
Чиж Н. 349
Чириков Е.Н. 134, 147, 439, *526, 553*
Чубаров И.А. 208
Чубарова А.И. 209
Чуковский К.И. 234, *501, 512, 513, 563*
Чулков Г. *471*

Шабельская А.С. 242, 301, 302, *566, 567, 592*
Шабельский-Борк П.Н. *530*
Шаляпин И.Я. 435, *614*
Шаляпин Ф.И. 16, 83, 143, 261, 415, 434–442, *501, 502, 569, 603, 614, 615*
Шаляпина А.М. *614*
Шапиро 430
Шаповалов Л.Н. *589*
Шахматов А.А. 232, *563*
Шаховская З.А. *570, 579, 585*
Шаховской А.А. 374, 375, *605*
Шекспир У. 286, 382, 434, *584*
Шелудяк Ф. 54

Шенье А.М. 146, 168, 186–190, *468, 545, 549*
Шенье Е. 186, 187
Шенье Л. 186, 187
Шенье М.Ж. 187, 188, 190
Шершеневич В.Г. 118, 162, *517, 543*
Шестов Л. 218, 219, *557, 558*
Шехтман И.Б. *477*
Шик М. *596*
Шиллер И.Ф. 136, 146, 228, 389, *529, 560*
Шингарев А.И. 108, *478, 512*
Шишков А.С. 375, *605*
Шкаровский М.В. *530*
Шмелев И.С. 16, 155, 157, 175, 177, 467, *473, 535, 538–540, 547, 548, 553, 571, 576, 581, 586, 607, 610, 619*
Шопенгауэр А. 326
Шор Д.С. *483*
Шор С.М. 42, *483*
Шоу Д.Б. *530*
Шполянский А.П. см. Дон-Аминадо
Шрейдер (Г.И.?) 63
Штейн М. *477*
Штерн С.Ф. *533*
Штефаник М.Р. *507*
Штраус И. 407
Шуберт Ф. *614*
Шульгин В.В. 263, *576*
Шуман Р. *614*

Щепкин Н.Н. *492*
Щепкина-Куперник Т.Л. *573, 584*

Эдвардс (Эдуардс) Б.В. 433, *614*
Эллис Л.Л. *596*
Эренбург И.Г. 130, 160, 424, *536*
Эртель А.И. 16, 286–294, 321, 323, 463, *586–588*
Эртель И.Л. 288–290
Эртель Л. 288
Эфрон С.Я. 216, 218, *552, 555–558*

Юденич Н.Н. *492, 585, 612, 619*
Южин (Сумбатов) А.И. 181, 182, 265, *549, 578*
Юсуповы *602*
Юшкевич П.С. 32, 33, *478*
Юшкевич С.С. 16, 236, 428, *478, 564, 613*

Яблоновский А.А. 101, 115, 131, *515, 516, 522*
Яблоновский С.В. 456, *616*
Явне Н. *577*
Языковы *489*
Якко С. 406
Якушкин П.И. 57, *489*
Янгиров Р.М. *502*
Янский Я. *595*
Ярославский Е.М. *559*
Ясинский И.И. 21, *470*
Ясинский-Стахурск *507*
Ященко А.С. *536, 543*

Agrell S. 397
Böök F. 397
Brom L. *586*
Osterling A. 397
Watts M. *568*

СОДЕРЖАНИЕ*

О.Н.Михайлов. Страстное слово 5

<Интервью сотруднику "Одесского листка"> 21 470

Страшные контрасты 22 471

Не могу говорить 23 472

<Ответ на анкету "Южного слова" о Добровольческой армии> 26 473

В этот день 27 474

<Речь на банкете в честь А.И.Деникина> 29 476

Заметки (о еврейских погромах) 30 477

Заметки (по поводу второй годовщины октябрьского переворота) 33 478

Заметки (к девятой годовщине со дня смерти Л.Н.Толстого) 36 480

Заметки (об И.Ф.Наживине) 40 482

Заметки (по поводу критики предыдущей статьи) 42 483

Из "Великого дурмана" 45 484

О Горьком 63 493

Суп из человеческих пальцев 64 494

Красный гимн 68 495

"Пресловутая свинья" 71 496

"Многогранность" 76 498

<Ответ на анкету "Общего дела" по поводу трехлетия большевизма> 79 500

Несколько слов английскому писателю 81 500

Записная книжка (о калмыках) 89 504

Записная книжка (о "Современных записках") 91 504

Чехи и эсеры 93 507

Его вечной памяти 97 511

Записная книжка (о путешествии в Африку) 98 511

Из записной книжки 101 511

Самогонка и шампанское 103 512

*В первом столбце указана страница текста, во втором — комментариев к нему.

Записная книжка (о Горьком) 107 512
“Дым без отечества” 110 515
Об Эйфелевой башне 114 515
“Страна неограниченных возможностей” 116 516
О писательских обязанностях 121 518
Письмо в редакцию. От русских матерей 124 519
Записная книжка 126 519
С новым годом 128 520
Итоги 129 520
Горький о большевиках 134 526
Еще об итогах 135 528
Великая потеря 140 530
“Голубь мира” 141 530
Литературные заметки 142 531
Литературные заметки 145 533
<Ответ на анкету о Галлиполи> 147 533
Миссия русской эмиграции 148 535
Тем, которые “дали Богу души свои” 158 541
Инония и Китеж 158 541
Российская человечина 171 547
Записная книжка (о литературе) 177 548
Записная книжка (о декабре 1919 г. в Ростове) 183 549
Андре Шенье 186 549
Камилл Демулен 190 549
Записная книжка (об Одессе 1920 г.) 196 549
Человек, который умер от страха 198 550
Софийский звон 202 550
Думая о Пушкине 203 550
К воспоминаниям о Толстом 210 550
Записная книжка (о революционных годах в России) 212 550
“Своими путями” 216 552
“Версты” 218 556
Записная книжка (о сентябре 1916 г.) 221 559
Записная книжка (по поводу критики) 225 559
О новой орфографии 232 563

Записная книжка (о Блоке) 233 563
Памяти Юшкевича 236 564
Суета сует 236 564
Записная книжка (о Горьком) 239 564
“Большие пузыри” 241 566
“Безграмотная ерунда” 243 567
Джером Джером 247 567
“К писателям мира” 249 568
Наш поэт 250 569
Самородки 253 569
<Ответ на анкету “Литературной недели” “Дней”> 259 571
Проклятое десятилетие 259 571
<Ответ на анкету о 10-летии октябрьского переворота> . . 260 572
Заметки 261 572
Дон-Аминадо. “Наша маленькая жизнь” 262 573
Заметки (о газете “Возрождение”) 263 573
<Обращение к Ромену Роллану> 264 576
Чехов 265 577
<Ответ на анкету “Русские писатели на отдыхе”> 275 581
Конец Мопассана 275 581
На поучение молодым писателям 282 581
Леонид Зуров 286 585
Эртель 286 586
О Чехове 294 588
Заметки (о литературе и современниках) 300 592
<Ответ на анкету “Что будет с Россией через десять лет”> 310 595
Заметки (о начале литературной деятельности и современниках) 310 595
<Ответ на анкету А.Седых “Писатели о своих книгах”> . . 320 597
“Записная книжка” (о современниках, о Горьком) 320 598
<Ответ на литературную анкету “Чисел”> 329 601
Из записной книжки 329 601
Странствия 331 601
<Ответ на литературную анкету “Новой газеты” “Ваше первое литературное выступление”> 347 602

Из книги “Серп и Молот” 348 602
Петр Александров 357 603
Заметки (о современниках) 363 603
Записи (о Семеновых-Тянь-Шанских и А.П.Буниной) . . . 370 604
Записи (о современниках) 377 605
Памяти Ивана Савина 383 606
О Волошине 386 606
Верность за верность 395 607
<Ответ на анкету Российского общественного комитета в Польше> 395 607
Записи (о Нобелевской премии) 395 608
Босоножка 404 608
Горький 410 608
Письмо в редакцию (об обыске в Германии) 416 610
Письмо в редакцию 418 610
“Пушкинские торжества” 419 610
А.И.Куприн 419 611
Перед занавесом “художественников” 424 612
Октябрь 429 613
Его памяти 434 614
О Шаляпине 439 615
Перечитывая Куприна 442 615
Памяти П.А.Нилуса 449 615
Письмо в редакцию 450 615
“Панорама” 451 616
Письмо в <редакцию> 454 616
Письмо <в редакцию> 455 616
<Речь о Пушкине> 457 616
“Мы не позволим” 457 616
Милые выдумки 462 618
Письмо Георга Брандеса 463 619
К моим “Воспоминаниям” 464 619
Комментарии 468
Указатель периодических изданий 620
Именной указатель 622

И.А.Бунин
ПУБЛИЦИСТИКА
1918–1953 годов

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Российской Академии наук

Технический редактор Т.И.Мишутина

ЛР № 020961 от 17.02.95 г.

Формат 69x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Печ. л. 40,0. Тираж 1000 экз.

Специализированное издательско-торговое предприятие "Наследие"
121069, Москва, ул. Поварская, 25 а.

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099 Москва, Шубинский пер., 6.
Заказ 1